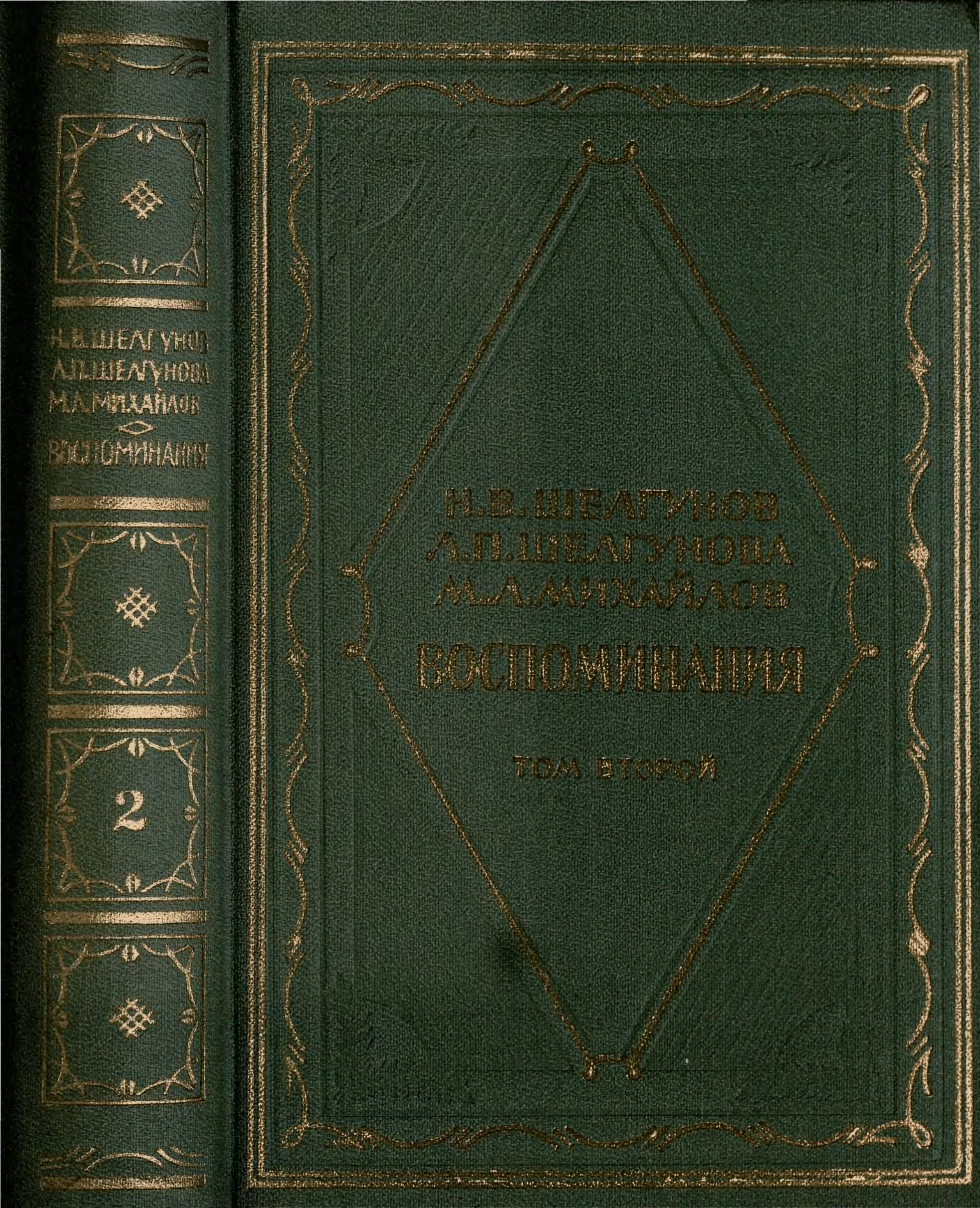


Н.В.ШЕЛГУНОВ
Л.П.ШЕЛГУНОВА
М.Л.МИХАЙЛОВ
ВОСПОМИНАНИЯ
2
Н.В.ШЕЛГУНОВ
Л.П.ШЕЛГУНОВА
М.Л.МИХАЙЛОВ
ВОСПОМИНАНИЯ
ТОМ ВТОРОЙ

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

Под общей редакцией

В. В. ГРИГОРЕНКО, С. А. МАКАШИНА,
С. И. МАШИНСКОГО, Б. С. РЮРИКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1967

ВОСПОМИНАНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

ВОСПОМИНАНИЯ Л. П. ШЕЛГУНОВОЙ И М. Л. МИХАЙЛОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1967

9 (с) 16
Ш 42

Подготовка текста
и примечания
Э. ВИЛЕНСКОЙ и Л. РОЙТБЕРГ

7-2-2
43-66

Л. П. Шелгунова
Фотография конца 1840-х гг.

Л. П. Шелгунова

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

ПЕРЕПИСКА Н. В. ШЕЛГУНОВА С ЖЕНОЙ

Все воспоминания раннего детства представляются мне в виде отдельных картин. Так, дом наш в Перми, где я родилась и пробыла до трех лет, рисуется мне отдельною картиною. Я помню гостиную только потому, что по вечерам, подсев к окну, я смотрела на темную, неосвещенную улицу, и мне представлялось, что посреди нее идут волки. Затем в памяти осталась дорога в виде тарантаса, где нас сидело очень много, и Москва с площадями, полными народа, и множество священников, которых я страшно боялась. Вероятно, взрослые говорили при нас, детях, о положении духовенства, потому что первое мое столкновение с цензурой произошло из-за сохранившегося у меня в памяти эпизода со священниками в Москве. Будучи в младшем классе пансиона и описывая на заданную тему Москву, я написала, что там для молебствий нанимают священников, которые могут служить их только натощах. Я описала картину, с необыкновенной ясностью представлявшуюся мне, а именно: несколько священников в полинялых подрясниках с туго заплетенными косичками торгуются насчет платы за обедни и молебны и, не сходясь в цене, говорят: «Не дашь, так откушу». И они подносили калач ко рту, желая этим положить конец торгу, так как обедню можно служить только натощах. Учителем русского языка у нас был Оберт, служивший впоследствии цензором; и вот всем были возвращены тетрадки с сочинениями, кроме меня. Оберт пришел несколькими минутами ранее назначенного часа, и я тотчас же была приглашена в комнату начальницы. На столе я увидала свою тетрадь, перечеркнутую красным карандашом, и тут мое начальство начало меня убеж-

дать, что писать этого не следовало. Но довольно трудно убедить пятнадцатилетнюю девочку, что нельзя рассказывать того, что она видела своими собственными глазами вместе с сотнею других людей. Я твердила только, что это правда и что это я сама видела.

Из Москвы я перенеслась на Васильевский остров в Петербург, в квартиру с бабушкой и прабабушкой Шелгуновой, которая вскоре и умерла. Прабабушка Ирина Дмитриевна Шелгунова была старуха довольно высокая, с морщинистым лицом. Она осталась в моей памяти в платье коричневого цвета. Слово «коричневый» никогда не употреблялось ни прабабушкой, ни бабушкой. Они определяли цвета всегда какой-нибудь вещью и говорили: кофейный, шоколадный, оливковый, серизовый, бирюзовый и т. п. На коричневое или кофейное платье с гладким лифом надевалась косынка шелковая или тюлевая, а на голову чепец с оборками и лентами. Чепцы прабабушки были значительно скромнее чепцов бабушки с густыми кружевными оборками вокруг лица. Чепцы эти шились дома, и я с наслаждением смотрела, как на бутылку, обшитую холстом, нашивались кружева и рюшь, и затем бутылка эта мылась в умывальной чашке в густо набитом мыле. Мои голые ручонки всегда участвовали в этом мытье. Вымытые на бутылке рюшь и кружева снимались и в полувысохшем виде гладились. Бесконечное количество рюша целой горой клалось на стол, и по вечерам бабушка делала из этого рюша оборки, называвшиеся фрезами, и такими-то фрезами обшивались ворота у платьев. Прабабушка ездила за пенсией на ту сторону сама. Она надевала свое кофейное платье, темный салоп с небольшим капюшончиком и черный стеганый капор, из-под которого кругом лица виднелась белая оборочка. Я не помню, чтобы она брала свой шелковый, табачного цвета, ридикюль, обыкновенно висевший на стуле у окна; но, одевшись, она выходила из комнаты, держа в руке сложенный носовой платок и в нем какую-то бумагу.

Возвращаясь однажды из казначейства, прабабушка увидала, что Исаакиевский мост, стоявший прежде между Исаакиевским собором и первым кадетским корпусом, хотят разводить. Остаться на той стороне, где, сколько мне помнится, даже не было близких знако-

мых, показалось прабабушке ужасным. Она почти бегом побежала по мосту, но половинки моста уже начали расходиться, и когда прабабушка прибежала на середину, то посреди моста было аршинное расстояние. Удержать старуху старались только криком. Не слушая никого, она прыгнула и, очутившись по другую сторону моста, то есть на своем родном Васильевском острове, остановилась, перекрестилась и пошла дальше. Все, кажется, прошло благополучно, но не совсем. В этот вечер никто за круглым столом не сидел, в комнату прабабушки носили что-то горячее, нас точно забыли, потому что побежали за священником. В такие минуты забытые дети обыкновенно чувствуют, что в доме что-то неладно; и мы трое — у меня было два старших брата,— прижавшись, сидели где-то в углу. Потом нас повели в комнату прабабушки, и там священник что-то читал, и мы крестились. Утром прабабушка лежала на столе.

Образ прабабушки соединяется в моем воспоминании с образами двух-трех кадет, которых я страшно боялась. Слова: «Позови Колю Шелгунова пить чай»,— приводили меня в трепет. Я не помню, вследствие чего кадет Шелгунов возбуждал во мне такой страх, но знаю только, что я его очень боялась.

Другой кадет морского училища, Кадьян, остался у меня в памяти, потому что он съел сразу сто домашних сухарей, только что испеченных. Сухари были поданы на стол, и когда бабушка, вышедшая за чем-то, вернулась, то на дне сухарницы она увидала только один сухарь и стала спрашивать, куда девались сухари? Бедный Кадьян страшно покраснел и молчал. Сцену эту прекратила моя мать, вероятно догадавшаяся, в чем дело, и сказала: «Их съели, вот и все».

Похороны прабабушки я тоже помню, и в особенности помню, что на них из Смольного монастыря привезли мою тетку Анну Егоровну. Я глаз не спускала с бледной смолянки и с классной дамы, которая ни на шаг не отходила от нее. Капор и салоп смолянки и тогда представлялись мне каким-то уродством.

Смерть прабабушки Шелгуновой оставила в квартире одну лишнюю комнату, и в эту комнату переехала старинная знакомая бабушки Лизавета Ивановна Шахова, фрейлина в отставке. Вставала эта фрейлина

очень поздно, и в то время как горничная чесала ее перед большим зеркалом, я садилась рядом с ней на стул и, болтая ногами, жадно слушала рассказы размалеванной руины. Волос на голове у нее было уже очень мало, но, несмотря на то что Шахова была девица, она носила чепец из кружев и лент. Многочисленные же морщины свои она замазывала белилами, на которых выводила брови, и затем на щеки накладывала два розовых пятна, точь-в-точь как было у моей куклы. Рассказывала она мне о своей жизни во дворце, и дворец мне представлялся таинственным замком со страшным государем. При котором из государей Шахова была фрейлиной, я не знаю, потому что, рассказывая, она всегда говорила просто о государе. Главную роль играли большие коридоры, куда за ней выбегал государь, и «ах! ах! ах!» вздыхала она, закатывая глаза и затем томно потупляя их. Бабушка с презрением говорила:

— Нашла кому хвастаться! пятнадцатилетней девочке...

Бабушка и муж ее, бригадир, настолько боялись дворцовой жизни, что не дали разрешения матери моей, получившей в Смольном первый шифр, поступить в фрейлины, как любимице императрицы Марии Феодоровны.

После смерти прабабушки дочь ее, Аграфена Ивановна, мать нашей матери, взялась за воспитание моих братьев и меня.

Аграфена Ивановна Афанасьева была вдовою полковника, командира артиллерийской бригады, которого она никогда иначе не называла, как бригадиром. Бабушка была очень хороша собою и очень представительна. Она с утра одевалась в корсет и одевалась всегда очень мило. Строгое и нравственное воспитание было ее коньком. Старшую дочь свою она высекла за то, что та, будучи десяти лет, при нескольких офицерах, громко выразила за обедом свое мнение о двух мухах. После этого происшествия из дому были изгнаны все животные мужского рода. Оставшись вдовою, бабушка получила казенное место в Александровском корпусе, где и воспитывался ее племянник Шелгунов.

Первые мои уроки чтения у бабушки были ужасны. Несмотря на все мое прилежание и старание, грамота

мне не давалась. Я не понимала, чего от меня хотели. Бабушка осталась мною очень недовольна и, связав розгу, положила ее на зеленое сукно ломберного стола, за которым я училась.

— Не будешь понимать, так я высеку,— сказала она.

После такого обещания я совсем поглупела и все думала о несправедливости бабушки, которая не ценит моего старания. Во время урока с розгой в комнату вошла моя мать.

Мать моя была очень умная женщина. В Перми знакомство с сосланными туда Герценом и Оболенским заставило ее много заниматься и читать, и она была действительно передовой женщиной, до семидесяти лет сохранившей свежесть взглядов и сочувствие всему молодому. Как-то Тургенев говорил мне, что он не понимает молодости, но уверен, что она права, так и мать моя не всегда понимала молодежь, но всегда оправдывала ее.

Увидав розгу, лежавшую передо мною, мать моя тотчас же спросила, что это значит. Я слушала начавшийся между матерью и дочерью педагогический спор и поняла только последнюю фразу своей матери:

— Если не понимает, значит, учить стали слишком рано.

Я была отпущена бегать и, кроме того, слышала, как мать просила бабушку не сечь ее детей.

Должно быть, это говорилось только обо мне, потому что вскоре произошло у нас такое событие. Второй брат мой, мальчик лет восьми, все вертелся около бабушкиного комода и несколько раз взлезал на него, причем ложился животом на комод, и мне снизу видны были только его поднятые вверх ноги в белых чулках и башмаках. В этот день бабушка ждала к обеду гостей, и на комоде стояло большое блюдо с пирожным.

Вскоре мы узнали, зачем Саша лазил на комод. Предполагая, что если он съест одно *целое пирожное,* то преступление его сейчас же будет открыто, он распорядился гораздо благоразумнее и от каждого пирожного отгрыз по кусочку.

Следствие было произведено; бабушка высказала приговор: высечь,— и бедного шалуна повели на расправу. Посреди комнаты была поставлена маленькая

скамеечка, и на нее положили брата, спустив штанишки. Я в ужасе прижалась к стене и, по приказанию бабушки, смотрела на казнь преступника. Бабушка уже взяла розгу из рук крепостной девушки Домны, как вдруг явилась избавительница в лице отвратительной рыжей собачонки Бижутки. Увидав, что хозяйка ее занесла руку с розгами над мальчиком, который всегда с нею играл и ласкал ее, Бижутка с быстротой молнии прыгнула на преступника и, растянувшись на нем, с визгом приняла удар розгами. Бабушка своих детей не любила так, как она любила Бижутку. Руки у нее опустились. Она начала гнать собаку, но собака на нее огрызалась. Это страшно огорчило бабушку. В конце концов собака таки отстояла Сашу, и экзекуция не совершилась.

Это было мое последнее знакомство с розгами. С тех пор у нас в доме о розгах не говорили. Но бабушка до конца дней своих осталась верна своей системе воспитания, и, приехав через много лет в Петербург и узнав, что я написала повесть, она вскричала:

— Это в шестнадцать-то лет! Высечь ее надо, больше ничего!

Должно быть, это на меня подействовало. Я повесть сожгла и бросила писать лет на пятнадцать, двадцать.

Бабушка всего лучше сохранилась в моей памяти с своими рассказами в зимние вечера.

Вечером, после чая, с круглого стола убиралась скатерть и на диван с выпуклой спинкой красного дерева и с твердым сиденьем, обитым жесткой, колючей волосяной материей черного цвета, садилась бабушка, полная, свежая, румяная, в круглых очках с толстой оправой, и работала что-нибудь на руках — днем же она всегда вышивала в пяльцах. Перед нею ставилась сальная свеча в медном подсвечнике, а поодаль — другая сальная свеча в таком же подсвечнике и между свечами жестяной выкрашенный лоточек со щипцами, которыми снимали нагар со свечей. В гостиной же у нас стояли восковые свечи в серебряных подсвечниках. Там, впрочем, на преддиванном столе стояла даже лампа, высокая, как каланча. По одну сторону бабушки сидела всегда ее крепостная девка Домна, рябая и круглолицая. Волосы у нее гладко заплетались в две косы и завязывались кругом головы. Домну я всегда помню в голубом

полосатом тиковом платье и с короткими рукавами в виде буф. Она была рукодельницей и сидела всегда за вышиваньем. По другую сторону сидела ходившая за нами, детьми, девушка Оленька, которая до смерти своей прожила в нашей семье. Оленька занималась починкою наших костюмов. Тут же сидела кухарка, тоже за работой, но личность кухарки совсем стерлась из моей памяти. Затем сидели мы трое. Себя я помню всегда в ситцевом платье с коротенькими рукавчиками в виде буф, с аспидной доской. На доске рисовался обыкновенно дом и труба, из которой идет дым. Дым делался пальцем, и с каждым новым рисунком он увеличивался, наконец рисунок совершенно исчезал и вся доска покрывалась сплошными белыми штрихами грифелем. На штрихи эти плевалось, и затем губкой, тряпкой, а иногда и пальцами выводились фантастические узоры, рельефно выделяющиеся по мере высыхания доски. Эти штуки можно было безнаказанно производить только тогда, когда бабушка с жаром рассказывала какой-нибудь эпизод из прошлого; но лишь только рассказ прекращался, то она окидывала стол глазами, смотря поверх очков, и меня тотчас же выводили из-за стола со словами «пачкунья!» и мыли. Для того чтобы пройти в другую комнату, со стола бралась свечка, так как все остальные комнаты стояли неосвещенными. Вымытая пачкунья возвращалась на свое место и снова принималась рисовать дом с трубой.

Гости принимались тут же, но кухарка при появлении гостей уходила, все же другие оставались на местах. В один из таких вечеров к нам пришел моряк Огильви, сделавший кругосветное плавание. Он целый вечер рассказывал о виденных им чудесах и, между прочим, о том, что в Рио-Жанейро флотских офицеров принимал бразильский император дон Педро, страдавший слоновою болезнью. Он рассказывал, что колени у него не сгибались, и, приняв их, он сел и, как деревянная кукла, вытянул ноги вперед. Далее мы уже ничего не слушали, а поочередно вышли в другую комнату, чтобы, раскачавшись, сесть и вытянуть ноги, как дон Педро.

Любимыми темами для рассказов бабушки были рассказы о проказах ее брата Васеньки, отца Николая Васильевича Шелгунова. Брат этот оставил по себе в семье

целые легенды. Он был, как говорили, очень умен, написал какую-то книгу и сделал сам скрипку. Когда у него родился сын Николай, наш будущий известный писатель, он был так доволен, что пригласил оркестр музыкантов; те грянули туш и так перепугали родильницу, что та чуть было не умерла. Эти рассказы, конечно, не интересовали нас так, как представлявшаяся нам картина братца Васеньки, который купил себе гадкую, шершавую лошадь, велел протопить баню, вымыл лошадь в бане и сделал из нее прекрасного, блестящего коня, которого выучил ходить по лестнице и постоянно приводил к себе в комнату. У братца Васеньки была широкая натура, и после получки денег он тотчас же нанимал оркестр и сам им дирижировал.

Два других брата бабушки были моряками и уехали в Америку, где их кто-то видел много лет спустя. Как теперь зачастую приходится слышать фразу: «Вот когда я выиграю двести тысяч, то сделаю то-то...» — так у нас в семье говорилось: «Вот когда из Америки получится наследство, и т. д.» И бабушка нередко, сидя на председательском месте, за круглым столом, вслух мечтала об американских миллионах.

Бабушка рассказывала очень много о наводнении, бывшем в 1824 году, и рассказывала с необыкновенным жаром. В эти вечера мне представлялось, что вдоль нашей Одиннадцатой линии бежит поток, по нему едут лодки и братец Васенька спасает какого-то священника из окна, что было в действительности. До сих пор это наводнение представляется мне с такою ясностью, точно я сама его видела.

После смерти прабабушки ее рассказы о прошлом тоже стали появляться на сцену. Говорилось много об Отечественной войне, но, к сожалению, я совершенно забыла все подробности, вероятно, потому, что у меня в характере ничего не было воинственного. Но зато рассказы об императоре Павле заставляли мое детское воображение тотчас же переноситься в описываемую обстановку, и, играя в куклы, я заставляла их встречаться с императором Павлом, вылезать из экипажа и, несмотря ни на какую грязь, становиться на колени.

— Как же, бабушка, платье-то,— любопытствовала я через несколько дней спустя после рассказа,— ведь грязью платье выпачкается?

Бабушка объяснила, что нарядные дамы могли становиться на колени на подножку кареты, то есть попросту приседать на подножку.

Тогда, да и во время моего детства, кареты были высокие, пузатые и из дверец отбрасывалась подножка, которая развертывалась, как лента, и образовывала ступени три, четыре.

При доме, в котором мы жили в Одиннадцатой линии, был сад. Этот сад казался мне громадным, с тенистыми аллеями и с таинственными украшениями. Лет через двадцать я из любопытства зашла в этот самый сад и даже удивилась, как он незначителен и непривлекателен. Таинственные тропинки совсем были незаметны, а беседки далеко не походили на замки, какими они прежде казались. Много лет провела я в этом саду. В этом же саду я познакомилась и очень сдружилась с девочкой Настей, племянницей того моряка, что рассказывал о бразильском императоре. Это была маленькая смуглая девочка, вся в веснушках, но прехорошенькая. Мать ее была вдова, очень состоятельная. Мы с Настей были большими друзьями, и я себя зачастую помню у нее в детской, за столом. Обе мы любили нанизывать бисер и делать колечки. Этот мой садовый друг остался моим другом и потом, и хотя мы лет тридцать не видались, но где только можно я всегда стараюсь наводить справки о Насте. Другие же садовые товарищи постоянно сменялись и почти все вылетели у меня из памяти.

Из Перми нас с матерью привез отец, служивший там советником губернского правления, и сам уехал обратно. Имея при квартире такой сад, мать на дачу не ездила, но, сколько мне помнится, в сад она тоже не ходила, зато беспрестанно делала экскурсии за город. Она забирала прислугу и отправлялась за грибами на острова: Петровский, Елагин и Крестовский. Несколько раз в лето брали на острова и нас. На Крестовский остров я ходить не любила, потому что там нельзя было сделать шагу, чтобы не наступить на лягушек. Мы располагались на берегу Невы или взморья и раскладывали свои пожитки. Разжиганье самовара представляло для нас хлопотливое и любопытное дело. Огонь добывался кремнем и огнивом, искрой от которого зажигался трут, а к труту прикладывалась серенка. Серенки давно уже вышли из употребления. Это были щепки в палец

шириною и в четверть длиною, заостренные в виде пики, с кончиком, обмазанным серой. Кончик-то серенок и вспыхивал от горящего трута. На дворе можно было видеть каждое утро чухну, с вязанками серенок на плечах, выкрикивавшего свой товар. И вот такая горящая растопка вкладывалась в трубу самовара, и самовар ставился. Конечно, на возвратном пути приходилось тащить не только грибы, но волочить и усталых детей, и потому где-нибудь на Тучковом мосту брался первый же извозчик и меня на него сажали с кем-нибудь из больших. Я до сих пор не могу без ужаса вспомнить о езде на тогдашних извозчиках. Посадят, бывало, на дрожки, называвшиеся гитарами или колиберами, и с них каждую минуту рискуешь скатиться. Эти колиберы были такого рода: от козел шло сиденье, как на беговых дрожках, до маленькой, но довольно высокой спинки. На такое сиденье садились двое: один, свесив ноги на подножку, с одной стороны, а другой — с другой. Представьте положение девочки, у которой ноги до подножки не доставали. Да и потом, когда я выросла и ноги до подножки доставали, то я находила езду на дрожках до крайности неудобной, потому что подножки были обыкновенно скользкие и покатые. Мужчины садились на такие дрожки верхом, как на лошадь, лицом к затылку извозчика. Однажды, возвращаясь с пикника, мы ехали с матерью, мать сидела к спинке дрожек и держала одной рукой корзинку с грибами, а другой — меня и зонтик. На коленах у извозчика стояла другая корзинка с грибами. Спустившись с Тучкова моста, извозчик, по неловкости, не мог вовремя остановить лошадь, хотя видел, что какие-то экипажи неслись как на пожар. Это было поздно вечером, но было еще светло. Я помню момент, как у моего лица очутилась морда лошади и дышло и мать с криком выпустила меня, чтобы защититься зонтиком. Я тотчас же стала съезжать и, конечно, упала бы на мостовую под ноги лошадей, но какими-то судьбами извозчик проехал в такое место, что покатость мостовой пришлась на сторону матери, и я не успела совсем съехать. Извозчик остановился, остановилась и коляска, и мы услыхали, как ехавшее лицо сильно бранило кучера за неосторожную езду.

— Это великий князь,— сказал извозчик.

— Да,— отвечала мать.

Момент моего критического положения казался мне часом, и долго, долго, припоминая его, я дрожала от страха.

Мать моя еще в те времена, то есть в конце тридцатых годов, говорила о правах женщин и о необходимости женского труда. Она была прекрасная музыкантша и, приехав в Петербург, стала брать уроки музыки у Гензельта и уроки генералбаса еще у кого-то. Гензельт ездил к нам и, окончив урок, садился за рояль и играл, играл без конца. Однажды он играл так хорошо, что ходившая по зале мать вошла к нам в комнату, где мы сидели все вокруг стола за работой, и, зарыдав, упала на пол. Все мы вскочили с своих мест, на сцену появился ковшик с водой, а Гензельт продолжал играть. Наконец кто-то догадался побежать к нему и просить его перестать играть. Я помню очень хорошо, как он вбежал к нам в комнату и остановился в дверях. Он с ужасом смотрел на мать, без чувств лежавшую на полу.

— Comment? C'est mon jeu qui a fait cela? [1] — сказал он.

— Oui, oui, monsieur Henselt! [2] — отвечала ему бабушка.

Не знаю, долго ли мать моя училась у Гензельта, но, окончив, она сама захотела давать уроки. Редактор «Санкт-Петербургских ведомостей» Амплий Николаевич Очкин был знаком с матерью и напечатал маленькую статейку, вероятно, в виде объявления, что ученица Гензельта желает давать уроки музыки. Уроки явились, и мать начала приобретать средства.

Очкины жили тоже на Васильевском острове, в здании Академии наук, в казенной квартире, на самом верху. Так как у них были дети, то и меня брали туда. Я всех их отлично помню, а голос Амплия Николаевича поражал меня и тогда. По своей мелодичности это был голос замечательный. Летом они жили где-то на даче, куда я с матерью ездила на извозчике и где мы оставались ночевать. Я была еще тогда настолько мала, что бегала по дивану, и за мной гонялся Иван Карлович Гебгард. Сам Очкин, маленький рябоватый господин в золо-

---

[1] Как! Неужели это моя игра так подействовала?
[2] Да, да, господин Гензельт!

тых очках, хотя с нами, детьми, и не играл, но мы его нисколько не боялись. Он выходил из кабинета очень редко, и только по субботам, когда у них собирались гости, дверь в его кабинет не была закрыта. Разговор он вел по преимуществу на французском языке. В те времена французский язык был в большом употреблении, и мать так боялась, что мы не будем его знать, что братьев моих она отдала жить в французское семейство Шевалье, где их готовили в гимназию.

Так как матери моей удалась профессия музыкантши, то она стала пробуждать и во мне любовь к музыке и для того часто брала меня в оперу. В те времена в Петербурге была немецкая труппа с знаменитой примадонной Генефетер. Я помню, что бетховенская опера «Фиделио» произвела на меня очень сильное впечатление. Мы с матерью спали в той комнате, где жила прежде прабабушка, и по вечерам, когда Оля, уложивши меня, уходила спать, а матери еще не бывало дома, я стаскивала с кроватки тюфяк на пол, а сама задрапировывалась в простыню и начинала петь арии из «Фиделио». Особенно часто повторялось мною то место, где Леонора, сидя на краю могилы, поет и падает, и я, взяв высокую ноту, падала на тюфяк.

Как я уже сказала, знакомство мое с Настей не прекращалось, и вот в светлый и летний вечер Оля повела меня на улицу к соседнему дому смотреть невесту: это мать Настина выходила замуж за Масальского, автора «Стрельцов». Моя мать была с нею очень дружна и, одевшись очень нарядно, отправилась к невесте, мы же с Олей встали у подъезда, под балконом. Вдруг с балкона меня окликнула Настя и тотчас же объявила, что мама уже надевает чулки. Она страшно суетилась, беспрестанно убегала в комнаты и, выбегая на балкон, кричала мне, какую принадлежность костюма надевает ее мама. Должно быть, она перечислила все принадлежности, потому что публика много над этим хохотала.

С этого времени возникло наше знакомство и тесная дружба с домом Масальских.

Вслед за появлением новых знакомых приехал из Перми отец, а бабушка взяла из Смольного монастыря дочь. В нашей квартире произошло полное перемещение. Шахова уехала. Внизу под нами были взяты две комнаты и кухня; в этой квартире поместились бабушка

с младшей дочерью, и мы туда ходили обедать. Появление смолянки, тетки, и институтки из патриотического института, Надежды Васильевны Шелгуновой, решило мою судьбу. Я знаю, что тетка Анна Егоровна плакала, что ее заставляли раздеваться при собаке, говоря, что это стыдно; на улице при виде мужика вскрикивала и пряталась за тем лицом, с которым шла, и находила, что слово бык — слово неприличное, а надо говорить, что: «Вот идет говядина». Вместе с этим мать застала двух институток в зале, у окна, в страшно горячем разговоре. Анна Егоровна, сверкая глазами, грозила убить Надежду Васильевну, если та подойдет к окну и покажется молодому человеку, жившему напротив нас.

— Какие дуры! — вскричала моя мать и затем твердо заявила, что дочь свою ни за что не отдаст в закрытое заведение.

Теща очень скоро не ужилась с зятем, и после одной очень крупной ссоры бабушка переехала с тетей Анной Егоровной на отдельную квартиру, и я ходила к ним каждый день учиться грамоте, которую я стала хорошо понимать. В музыке я делала большие успехи и семи лет играла в четыре руки на вечере у Очкиных. Я помню очень хорошо, что мне было семь лет, потому что мальчики острили по этому случаю таким образом:

— Сколько тебе лет? — спрашивал старший Очкин.

— Семь,— скромно отвечала я.

— Ну, так я тебя съем,— громко кричал он, бросаясь на меня, и я с испугу всякий раз отскакивала.

В это время мать взяла для меня маленькую француженку, мне ровесницу, Корнелию, и она жила у нас для разговора.

Тетя Анна Егоровна очень скоро сделалась невестой и вышла замуж. День ее свадьбы сохранился в моей памяти. Я очень хорошо помню, как одевались моя мать и невеста, которой башмаки надевал один из моих братьев.

На моей матери было светлое зелено-серое платье и берет, с которого я не спускала глаз. Берет был сделан из черного бархата, в виде маленькой тирольской шляпы с розаном, а на розане сверкала капля росы, которая казалось мне леденцом и возбуждала желание откусить ее.

Когда молодые приехали от венца, то на диване сидела известная в то время дама-благотворительница

Татьяна Борисовна Потемкина, и рядом с нею очень бледная и поразительно красивая девушка, которую звали султаншей. Это была дочь какого-то султана, жившая у Потемкиной. Бледность ее объясняли несчастной любовью. Она, как говорили, была влюблена в кого-то при дворе, но отец сказал ей, что проклянет ее, если она выйдет замуж за христианина.

Муж моей тетки, красавец мужчина, лужский помещик, оказался не совсем хорошим мужем. Где-то на вечере он выпил и, поехав домой с молодой женой, в пылу ревности стал ее душить хвостами, которые тогда носили, а потом приказал кучеру ехать под мост, чтобы утопить ее в проруби. Но кучер, зная своего барина, не только на это не согласился, а высадив собиравшегося вытащить барыню из саней, ударил по лошадям и увез молодую в город, прямо на Васильевский остров к бабушке.

Тетка прожила у матери недолго. Бабушка не принимала ни самого виновного, ни писем от него; но вот раз вечером она куда-то ушла, а тетка села давать мне урок музыки; вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел изверг-муж. Я так и замерла на своем месте, а тетка не только не испугалась, но тотчас же ушла с ним в другую комнату. Я слышала, как там плакали и муж и жена, и затем тетя вышла и просила меня передать бабушке, что она уехала с мужем.

Восьми лет меня отдали в пансион к старой англичанке, мадам Ловов. Пансион наш помещался в Одиннадцатой линии Васильевского острова, в двухэтажном каменном доме. Меня привели туда с утра, и начальница, мадам Ловов, ходившая в таком точно чепце, как моя бабушка, но только с двумя пучками седых локонов над висками, взяла меня за руку и сдала маленькой румяной курносой девочке. Пока она меня вела через гостиную, я заметила, что на ней было надето белое платье. В другом платье я ее никогда и не видала. Эта маленькая девочка, лет девяти, Мари Бентон, была в тот день дежурная и повела меня вниз накрывать на стол. Там она, спросив, как меня зовут, предложила мне такой вопрос: хочешь быть моим другом? Я, конечно, изъявила свое согласие, но скоро увидала, что быть другом значило быть в безусловном распоряжении маленькой Бентон, и поэтому дружба наша очень скоро прекратилась. Внизу было рядом пять больших комнат, кругом уставленных

совершенно одинаковыми красными шкапами. Таких шкапов в этих комнатах было несколько десятков. Они на ночь отворялись, и из них опускались кровати, а посреди комнаты стояли столы; обедали мы только в трех первых дортуарах, в четвертом иногда занимался маленький класс, а в пятом помещались больные девочки, у которых не было родителей. Многие предметы мы проходили на французском языке, так, например, мы учили по-французски священную историю, древнюю, среднюю историю по Ламефлери. Учили по-французски и ботанику, и географию, и многое другое, и мудрено ли, что, выходя из пансиона, мы все говорили по-французски. Было у нас всего четыре класса, и в следующий класс переводились девочки тогда, когда они могли переходить, а не в определенные сроки. Только в старшем классе мы серьезно стали заниматься русским языком. Нас было девяносто девочек. Половина из них была пансионерками, а другая половина уходила домой в восемь часов. Впоследствии, когда мадам Ловов умерла, явилось девочек десять, уходивших домой обедать. Я была полупансионеркой и уходила по вечерам домой.

Дни танцклассов мы считали самыми веселыми днями в неделе. После обеда, когда со столов все было убрано, являлись горничные с корзинками, в которых, вместе с нарядными платьями и обязательными кисейными передничками, непременно лежали какие-нибудь лакомства. Сумбур в дортуарах был невообразимый. В течение полутора часов все девочки бывали готовы и, одетые, ходили по зале. Ровно в три часа являлся наш учитель танцев Эбергард, толстый красный старик, с вьющимися седыми волосами, во фраке, черных чулках, доходивших ему до колен, и в башмаках с пряжками. Вместе с ним являлся печального вида высокий старик, плохо выбритый, со скрипкою в руках, и проходил в угол. Эбергард выражал свое неудовольствие щипками. Все это знали, но никогда никто не жаловался.

Строгость относительно разных шашней у нас была пуританская. Напротив нас находился патриотический институт, а рядом морской корпус. С наступлением хороших весенних вечеров на тротуаре перед патриотическим институтом начинали прохаживаться морские офицеры, а институтки высовывались из окон и переговари-

вались с ними. Мы страшно возмущались этим и никогда не подходили к окну, хотя наши гувернантки не делали нам ни малейших замечаний. Точно так же обожание учителей у нас вовсе не было в моде.

Года через два после моего вступления в пансион туда же была отдана и старшая дочь Очкиных, Мари. Хотя родители наши и были не только знакомы, но и дружны, мы с Мари были только в хороших отношениях, а подружилась я очень с Маркеловой, ныне Каррик, с которой дружна и посейчас. В какие только прения, рассуждения и мечтания мы не пускались с нею, шагая взад и вперед по большой прихожей, куда могли выходить только ученицы старшего класса.

Несмотря на очень высокую плату, кормили нас очень плохо, тем не менее все кушанья казались мне необыкновенно вкусными. Я так часто, будучи уже замужем, говорила о прелестях квасного киселя, что мать моя приказала мне сделать квасной кисель, и он показался мне отвратительным. Надо думать, что не менее отвратительна была и манная каша, сваренная на воде и подаваемая с сахаром, корицей и синеватым молоком.

Несмотря на это, в пансионе царил все-таки хороший дух, потому что, насколько мне помнится, наказаний у нас никаких не было, а учились мы хорошо. За закон божий отметок у нас совсем не ставилось, но не знать урока у батюшки Раевского считалось не только позором, но даже преступлением. Уроки закона божия производили на меня страшное впечатление. Дома я никогда ничего не слыхала о религии. Отец был лютеранин, а мать никогда не ходила в церковь и о вере мало говорила. Сомнения не могли не вкрадываться в мою душу, потому что споры Николая Васильевича (Шелгунова) с моей матерью, уже вышедшего в офицеры и ходившего к нам, мне приходилось невольно слушать. Когда я в первый раз услыхала выраженное мнение о Христе как о великом человеке, я горько плакала и промучалась всю ночь. И с этой минуты душа моя раздвоилась. После каждого класса батюшки Раевского я выходила с пылающим лицом и с негодованием на себя за то, что я смела сомневаться. Никому не говорила я о той борьбе, которая происходила в моей душе, и мучилась одна.

Масальский, женившись на матери моего друга Насти, вскоре заложил деревни жены моему отцу и на эти деньги купил журнал «Сын отечества». «Сын отечества» был в то время толстым журналом, и редакция его помещалась на Аптекарском острове у Карповского моста. Домик Масальских, кажется, существует до сих пор, но только тогда он стоял особняком, и хотя внизу выходило на улицу всего три окна, а наверху было только одно венецианское окно с балконом, но дом тянулся по двору и вовсе не был маленьким. За очень большим двором шел чудный старинный сад с двумя беседками, в одной из которых каждое лето жил кто-нибудь из родственников, а другая служила танцевальной залой, когда собирались гости. За этим садом шел еще фруктовый сад, забор от которого выходил на Песочную улицу.

Семейство Константина Петровича Масальского было громадное и крайне нервное. Один брат его воображал себя герцогом Лейхтенбергским, но жил не в больнице, а дома. Он потом выздоровел, и мы, дети, слышали странный рассказ о его выздоровлении. Он убежал из дому и, вернувшись через три дня, оказался здоровым. Где он был, что он делал — никто не знал, да и не спрашивал, так как доктор предупредил, что напоминанье о том, что с ним было, могло вредно подействовать на него. Одна из сестер тоже была больна чем-то странным. Она боялась 1 августа, и именно того момента, когда зажигались в первый раз фонари, и действительно умерла в это число, когда зажигались в первый раз фонари. В доме у них было еще несколько нервных больных, страдавших нервными болезнями самого странного свойства. Нам, девочкам, эти болезни рисовались в каком-то романическом свете, а в сущности, это были, как я теперь понимаю, простые, самые прозаические душевнобольные.

Сам редактор жил каким-то особняком наверху, где был его кабинет, спальня и библиотека. Эти комнаты находились так далеко от других комнат верхнего этажа, что представлялись особым государством. Проводя в этой семье все свободное время и все праздники в продолжение многих лет, я раза два-три бывала в спальне и в кабинете, в то время как я зачастую ходила в библиотеку за книгами. Эти три комнаты составляли один лагерь в семье, а другой находился внизу, где

жила сестра редактора, при которой жили его дети, сын и дочь от первой жены. Обед накрывался на длинном столе, за которым никогда не обедало менее пятнадцати, двадцати человек. Константин Петрович являлся обыкновенно к третьему блюду и ел уже холодный суп. Жена его, мать Насти, почти никогда не сходила вниз обедать, потому что почти постоянно была больна. Она была бледная, черноглазая женщина, говорившая очень тихо и постоянно молившаяся. Она видела видения религиозного характера и говорила только о религии. Домашнее хозяйство и воспитание детей было предоставлено тете Маше. После обеда Константин Петрович иногда садился за фортепиано и фантазировал. Он фантазировал прелестно, по нескольку часов сряду, и забывал тут все. Он всегда ненормально увлекался чем-нибудь и в таких случаях совершенно забывал о деле.

Масальские, живя на широкую ногу, держали массу прислуги, и все хозяйство велось по-помещичьи.

Кто участвовал в журнале, мы, дети, совсем не знали и не интересовались. Я помню только князя Кропоткина, который в продолжение многих лет на вопрос: «Что вы теперь пишете?» — отвечал вечно одно и то же слово: «Балладу». Он произносил букву *л* очень странно, и мы прозвали его Балладой. Да кроме того, там бывал постоянно журнальный работник Любенский. Попав из семинарии в дом, где было столько дам, он начал одеваться по моде и принимать вид светского человека. Придя на одну из сред — среды были назначенные дни,— он оказался завитым в виде барана, и когда сестра Масальского сказала ему: «Боже мой! какой вы франт!» — он очень важно отвечал:

«Comme ça toujours!» [1]

После этого за ним осталось прозвище Комсатужура.

Надо думать, что Комсатужур был единственной опорой журнала, потому что нам никогда не приходилось видеть других журналистов. Но добрым знакомым в семье он не был.

У Масальских, кроме своей семьи, жили еще две воспитанницы, значительно старше нас, девочек. Старшая воспитанница, бывало, сидит в зале на стуле и вдруг начинает приятно улыбаться, затем встает, поднимает

[1] Таков всегда!

руку, томно склоняет голову и несется по зале в вихре вальса с воображаемым кавалером. Она производила много странных движений; так например, раз она отворила дверь в гостиную и, остановившись в смущении, отвесила низкий реверанс. В гостиной, между прочим, никого не было, в чем я тотчас же убедилась, войдя туда.

Когда мне минуло двенадцать лет, у меня сделалась скарлатина, после которой я так плохо поправлялась, что на время была взята из пансиона и отправлена на Карповку, чтобы учиться с детьми Масальских.

В то время говорили очень много о магнетизме и о магнетизере Пашкове, который производил чудеса. Одна из дочерей Масальского заболела удивительной болезнью. После судорожного припадка она впадала в беспамятство и затем вскакивала и начинала бесноваться. Мы, другие девочки,— у Масальских была масса родных — присутствовали тут же и прыгали и скакали вместе с нею, совершенно забывая, что с ее стороны это делалось совсем неестественно. Зала при этом бывала ярко освещена, и я зачастую с нетерпением ждала, скоро ли начнется припадок и мы начнем танцевать? Такая странная болезнь, конечно, называлась нервною болезнью, и потому ее вздумали лечить тоже странным способом. Кто-то отправился к Пашкову с вещью больной, прося его спросить у кого-нибудь из магнетизируемых им особ: каким средством надо лечить эту болезнь? Полученный ответ не удовлетворил никого. Пашков прислал сказать, чтобы убили голубя и дали принять больной две капли его крови. Он и сам приезжал магнетизировать, но с девочкой тотчас же начинался припадок.

Когда отец мой вернулся в Петербург из Перми, Масальский заложил ему имение жены в Шлиссельбургском уезде, о чем я уже говорила выше, и мы вместо дачи поехали в свою будущую деревню. Мы поехали туда в первый раз в 1844 году, и переезд этот далеко не походил на переезд нынешнего времени. В Петербурге мы наняли лодку, под навесом которой нам устроили место для спанья. Лодка наполовину была набита каким-то товаром, и между этим-то товаром поставили наши вещи и устроили нечто вроде дивана и стола в той стороне, которая выходила к кормовой каюте, отданной тоже в наше распоряжение. На воздухе си-

деть мы могли только между навесом и кормовой каютой. Таким образом, мы поместились в эту лодку под Невским, куда приехали в объемистой четырехместной карете, набитой нами и подушками. Из-под Невского мы на веслах переправились на охтенскую часть Невы и там, высадив лошадь, стоявшую у нас на носу, двинулись бечевой. Верст через двадцать лодка остановилась, для отдыха лошади, и шестьдесят верст до Шлиссельбурга мы ехали почти двое суток, так как ночью, конечно, лодка не шла. У устья Невы лошадь снова ставилась на нос, мы пошли на веслах и через шлюзы вошли в Ладожский канал. Сто верст мы сделали в трое суток. В то время не находили это ужасным. На берег мы вышли в полночь, и, пока посылали в деревню за подводами, солнце уже высоко поднялось, и в жаркий полдень мы на телеге въехали в лес по узкой лесной дороге.

Теперь, глядя на наши жиденькие лесочки, остается только вспоминать то утро, когда мы ехали между громаднейшими соснами, распространявшими кругом смолистый запах и жужжание мух и пчел. Маленькая деревня с довольно хорошими избами, крытыми соломой, представляла нечто вроде покинутого селенья. На единственной улице не было ни одной живой души.

Обитатели деревни Подол никогда отроду не видывали господ и со страху все попрятались. Дом или, как тогда говорили, барские хоромы хотя и были выстроены, но в них никто не живал. Через час в людскую стали набираться бабы, в самых ярких костюмах, с платками на голове, подвязанными под подбородком и с острым уголком наверху, сложенным вроде носика бумажного петушка. Когда мать вышла в людскую, к ней первая подошла жена старосты и с поклоном подала чашку с голубым узором, в которой лежало приглаженное масло и кругом яйца. Все остальные бабы поднесли точно так же масло, сметану, творог, яйца, и всех их потом одаривали.

Я с первых же дней очень подружилась с старым ополченцем двенадцатого года, который был ранен под Данцигом, и постоянно ужинала у него в избе с ним и с его старухой.

С этого лета мы постоянно ездили в эту деревню, впоследствии доставшуюся отцу, месяца на три, на че-

тыре, а зимою продолжали жить на Васильевском острове.

Четырнадцатилетней девочкой я перешла в старший класс и воображала себя большой. Не понимаю, каким образом я могла переходить из класса в класс, да еще вдобавок считаться хорошей ученицей? Мне думается, что я тогда ровно ничего не знала, хотя и перешла в старший класс. Раз как-то в субботу вечером, вернувшись откуда-то с братом домой, мать встретила нас такой фразой:

— А у нас Коля Шелгунов.

Надо сказать, что когда Шелгунов вышел в офицеры, то я бояться его перестала, и, напротив того, мы с братьями всегда ликовали, когда Николай Васильевич приходил к нам. С отъездом бабушки, уехавшей в Лугу, к дочери Анне Егоровне, он бывал у нас очень редко, но посещения его отличались разными фокусами, шалостями и шумными забавами. Услыхав, что Николай Васильевич у нас, мы опрометью бросились в зал, и я вдруг остановилась в смущении. Я была уже в длинном платье, и Николай Васильевич, вместо шумных объятий и поцелуев, только сказал:

— Да, Людинька совсем большая!

С этого дня Шелгунов стал к нам ходить, сначала каждую неделю, а потом уж и каждый день. Я вышла из пансиона и серьезно занималась музыкой.

Я встретила в своем старшем брате, студенте Санкт-петербургского университета, протест против моих упражнений. К нему ходил ежедневно его товарищ Григорий Петрович Данилевский, чтобы вместе с ним заниматься. Я, в это же время, садилась играть и была уверена, что через час в дверях залы появится Григорий Петрович и начнет со мною говорить. Брат выходил из себя и заявил свою претензию отцу. Отец принял сторону брата, и мне позволялось играть только по прошествии трех часов занятий молодых людей. И занятия и беседы мои с Данилевским прекратились довольно странно. Он вдруг перестал ходить, и брат, думая, что он захворал, пошел к нему справиться. Данилевский оказался арестованным и посаженным в крепость. Все, знавшие Данилевского, недоумевали, потому что никогда никто никакого вольнодумства в нем не замечал. Спустя несколько месяцев дело объяснилось. Он был

арестован по ошибке вместо другого Данилевского, потом сосланного.

К Масальским мы продолжали ездить, на этот раз уже с Шелгуновым. Мать моя сотрудничала в «Сыне отечества», и первая статья Николая Васильевича была помещена там же. Шелгунов очень любил философские разговоры и говорил так запутанно, что подруги мои нередко просили меня затеять какой-нибудь спор, чтобы им послушать.

Мать не вмешивалась в наши разговоры, как не вмешивалась и в те книги, которые я читала по указанию Николая Васильевича. Она была твердо уверена, что я выйду за него замуж, и говорила:

— Он воспитывает себе жену, и мне мешаться не для чего.

Я же страшно желала сделаться умной, и когда мне Николай Васильевич принес философию Надеждина, то я принимала эту книгу как какую-нибудь микстуру. Читала и ничего не понимала, и опять перечитывала, заставляя мысль вернуться к непонятным мне местам. Когда я видела в конце концов, что не понимаю, я успокоивала себя надеждой, что такая гимнастика ума все-таки должна принести мне пользу.

По выходе из пансиона мы поехали в деревню. Это было в самом начале мая. С нами поехал Шелгунов и пробыл у нас несколько дней. Эта поездка решила нашу судьбу, и после этого я стала получать письма, которые перечитывала ежедневно по нескольку раз. Из четырех писем, полученных в это лето, два письма были моими любимыми и потому пришли в особенно ветхое состояние, находясь постоянно в кармане.

«<Петербург,> май 1848 года

Отчего так трудно написать к вам письмо? Принимаюсь уже за четвертое: два письма разорвал, усладительное написать не смею, не имею на то права, жесткое не могу, а между тем мне хочется сказать вам: один бог на небе, один дядя на земле, который умеет любить так свою племянницу, как я.

Уехав от вас, я готов был десять раз воротиться, чтобы провести хоть одну десятую минуты, но, к счастью или несчастью (право, не знаю), я этого не сделал по

общей слабости всех мужчин, щеголяющих воображаемою твердостью характера; на пароходе, когда возвращение в деревню сделалось невозможным для меня делом, я чувствовал, что мог бы заплакать,— так не хотелось мне с вами расстаться. Желая как-нибудь размыкать свое горе, я убежал в каюту и, сложив шинель в виде подушки, лег на своем старом месте,— кажется, я тогда думал, я мечтал о чем-то. Простившись с вами, я простился и со своим счастьем, нашли тучи громовые, и ветер начал дуть с севера, мне было холодно, страшно холодно, отогрелся уже дома; если бы вы видели, как встретили меня радостно, как старались исполнить, даже предугадать, мои желания,— теперь я убежден, что есть на свете люди, которые любят меня.

Однако письмо мое похоже несколько на дурную музыку в минорном тоне,— надобно улыбнуться.

Из Петербурга я выехал в почтовой карете; такое путешествие несколько удобнее поездки в телеге,— по крайней мере, не рискуешь откусить себе язык, что при тряской дороге очень удобно, и ночью не потеряешь фуражку».

Я делаю выписку из второго письма, потому что здесь выражен взгляд покойного Шелгунова на женщину. Не следует забывать, что это писалось более пятидесяти лет тому назад.

«<Петербург, лето 1848 года>

...Женщины, по общей их слабости, ищут обыкновенно в человеке наружных достоинств, им непременно нужно, чтобы мужчина был хорош собою, ловок и умел бы танцевать,— а если этих достоинств мужчина не имеет, то, смотря на него, женщина обыкновенно делает кислую гримасу, произносит «фи»... и отворачивается. Но правы ли женщины?.. разумеется, что нет. Вам, вероятно, еще не случалось подмечать за женщинами, которые любили на своем веку и для удовлетворения этой страсти жертвовали своими обязанностями и преступали даже законы супружества,— если имеете возможность, понаблюдайте, и вы удостоверитесь, что ни одна из них не оправдывает себя в душе и боится оглянуться на прошедшее. Но отчего это? — Оттого только, что они ошиблись в расчетах своего сердца, обманулись в своих

ожиданиях и вместо человека нашли в предмете своей любви только одну заманчивую наружность,— женщина не ищет в мужчине души, и в этом их всегдашняя ошибка. Может быть, в этом не совсем правы и мужчины, но поверьте, что вина мужчин есть следствие вины женщин. Только молодые люди еще уважают вполне женщин и видят в них все прекрасное и высокое, видят в них существа, говорящие душе; люди средних лет смотрят на эти вещи уже иначе, положительность берет в них перевес над духовной стороной, и оттого женщина для них не более как кусок мяса, большего или меньшего веса и объема. Такой взгляд является в мужчине потому, что рассудок его большей частью направлен к положительной цели, понимает хорошо обязанность человека, и поверьте, что, как бы человек в глубине души ни был черен, он всегда назовет подлецом человека, который поступает дурно, и если не говорит ему этого в глаза, то в душе всегда гнушается гадкого, грязного, низкого.

Девица или женщина, забыв свои обязанности и предавшись вполне на волю человека, ею любимого, никогда не возбудит в нем уважения к себе; удовлетворять своим страстям не значит еще любить, и потому мужчина, избранный женщиной, большей частью не любит ее и в душе непременно смеется над ней,— и он прав. Женщины учатся, по принятой у нас методе, только языкам, французской кадрили или другим смешным танцам и музыке,— о нравственном воспитании их никто не заботится; что же удивительного, что они выходят большею частью какими-то куклами с уродливыми талиями и уверенностью в свое воображаемое высокое назначение, способность любить и с другими претензиями, в которых нет ни куска здравого смысла.

Полюбив мужчину и забыв для этого свои обязанности, она нарушила закон своей совести, нарушила свое слово, и, следовательно, она п....— а кто уважает людей, делающих гадости и играющих своим словом? — никто,— в этом-то и причина, почему женщины находят — когда любовь еще остынет — любимых ими прежде мужчин недостойными своих жертв и раскаиваются, к несчастию, слишком уже поздно в своих проступках. Женщина до замужества может влюбляться сколько ей угодно, но должна, однако, владеть собою и, даже сказав «люблю», не позволять себе большего. Вышед же

замуж, она должна только помнить, что она жена — мать,— а об остальном мире может даже совсем и не думать. Что скажете вы, мой друг, рай моей жизни, на мою философию?.. В ответе своем на это письмо вы, верно, ответите что-нибудь. Я не позволил бы себе писать такого письма, если бы не был уверен, что, начав жить, вы предложили себе вопрос: «К чему дана жизнь человеку?» — и постарались разрешить его по возможности. Человек существо духовно разумное, и потому он должен понимать свое назначение...»

Из следующего письма я делаю выписку для характеристики Шелгунова, так как то, что писал двадцатитрехлетний юноша, мог бы написать и старец Шелгунов.

«<Петербург, лето 1848 года>

Не знаю, все ли люди созданы так глупо, как я,— представьте: мне необходимо нужно иметь подле себя человека, которого я люблю; если же это невозможно, то из окружающих меня людей я избираю одного, на которого обращаю всю свою нежность; теперь под моим покровительством находится один из офицеров моей партии, юноша с прекрасными способностями души и сердца; жаль только, что нравственное направление его не совсем верно; впрочем, все это может измениться,— все будет зависеть от общества, в которое он попадет. Мало того что я исполняю все его желания, но даже в виде сюрпризов покупаю ему иногда пряники или другие лакомства».

Да, Шелгунов всю жизнь увлекался кем-нибудь и скоро разочаровывался.

Во времена крепостничества среднее сословие было более обеспечено, и девушкам не приходилось бегать по урокам и бояться за завтрашний день. Я не помню, чтобы в разговорах, какие велись между знакомыми, проглядывала боязнь остаться без работы и оказаться чуть ли не на улице. Страшного призрака необеспеченности тогда точно не чувствовалось, и люди, живя на чужие труды, имели много свободного времени. Большинство барышень писало свои дневники. Не скажу, чтобы эти дневники не приносили своей доли пользы людям, способ-

ным анализировать себя. Пишет, пишет человек ежедневно, что он делает и думает, да наконец невольно увидит, если он думает все о пустяках, а делает все глупости.

Я тоже писала дневник и прятала его очень тщательно, так как в этом дневнике я раскрывала свою душу.

Когда к зиме все съехались в Петербург, к нам явился Шелгу́нов и стал бывать часто. Отец у меня был строгий, суровый немец, и мы все поголовно его боялись. Будь он домоседом, мы были бы совсем несчастны, но он любил вист и преферанс. До обеда он сидел в департаменте, после обеда ложился спать, а вечером уходил куда-нибудь играть в карты и возвращался часа в два, в три. Шелгунов вместе с нами боялся старика, и по вечерам, поднимая руку к звонку нашей двери, он задавал себе только один тревожный вопрос: «А что, если Петр Иванович дома?» Мать мою он не боялся, хотя зачастую негодовал на нее за то, что она напоминала ему, что он мне дядя и более ничего. К Масальским ездить он не любил и откровенно написал мне, почему не любит. «Я не могу быть,— писал он <из Петербурга зимой 1848 года>,— у тех людей, которые не видят во мне человека, которые полагают, что человек может быть человеком вполне только с сорока лет или с чина коллежского советника, и сортируют людей по чинам и летам. Будьте уверены, что человек, понимающий вещи таким образом, только далекое подобие человека, а не человек. Дурачье, они думают, что старость заслуга человеку,— как будто бы они не знают, что старых ослов много на свете, но их никто не ценит. Масальский, Калашников и ваш папенька не уважают меня как молодого человека, а я не уважаю их, потому что не вижу в них людей,— не вижу в них разумности и не считаю их выше себя за то, что они родились раньше меня на сорок лет. Вот причина, почему я не хочу быть у Масальских».

Моя няня, Оля, которая зорко следила за Николаем Васильевичем, раз утром пришла к моей матери и ехидно спросила:

— А разве Людинька у нас невеста?

— Нет.

— Так отчего же Николай Васильевич целует у нее руки?

Этот донос, как я называла это сообщение тогда, произвел объяснение, вследствие которого Николай Васильевич заявил, что ходить к нам в качестве дяди он не желает, и написал мне <той же зимой из Петербурга> следующее, далеко не сдержанное письмо:

«Благородство, чистота поступков, правда и желание добра ближним должны быть основанием действий человеческих; кто поступает иначе, тот не имеет права на уважение и не смеет претендовать на ум и доброту... Причины посещений моих в последние три года дома вашего папеньки были для всех ясны; известные причины дают известные результаты,— ваша маменька должна была знать это, и, разумеется, она знала, к чему приведет меня знакомство с вами. Вчерашний поступок ее со мною ниже всякой критики, относительно меня он черен по злости действия, а относительно вас он замечателен по безрассудству действий. Ваша маменька видела, что я люблю вас, но, кажется, она не умела понять, что любовь чистая, основанная на благородстве чувствования и уважения любимого существа, приводит человека к мысли о необходимости соединения с ним союзом, более твердым родственного знакомства.

Если по природной беспечности своего характера, по глубокому эгоизму своему и по непривычке рассуждать и глядеть вперед несколько далее своего носа и сегодняшнего дня Евгения Егоровна не хотела и не умела понять этих вещей, то, по обязанности матери, она должна была понять их и своевременно принять меры, которые разорвали бы наше знакомство и не завлекли бы меня так далеко. Евгения Егоровна уверяет целый свет, что в ней много материнского чувства, но, ради святого Николая, скажите, где это чувство относительно вас? Не в желании ли нарядить вас как куклу, выставленную напоказ зевающей и глупой толпы в окне игрушечной лавки? Не в хитро-радостной ли улыбке и глупо-животном самодовольстве при взгляде на толпу дурандасов, окружающую вас и восхищающуюся вашими телесными достоинствами без способности понять вашу прекрасную душу, ваше прекрасное сердце? Наконец, не в заботливости ли о вашем будущем, для которого Евгения Егоровна не сделает и полушага? Где же

это чувство, скажите? Может быть, в тех высоких нравственных правилах, которые, как результат опытности Евгении Егоровны, не годятся ровно ни для кого и должны остаться тайной Евгении Егоровны, потому что за подобные истины, сказанные вслух, закидывают грязью, забрасывают каменьями. Нет, Людинька, не в подобных вещах проявляется материнское чувство. Прежде всего оно должно излиться в нравственном образовании своих детей, в раскрытии им мира души и возбуждения в них сознания о необходимости жить умом, душою и сердцем на основании закона благородных, чистых побуждений и нравственных человеческих правил.

Вы помните, вероятно, слова вашей маменьки на мой вопрос: «Могу ли я посещать ваш дом?» — на основании того закона, который я чувствую глубоко и который в настоящее время составляет цель моей жизни. Вы знаете, что я могу быть у вас, я мог быть вашим дядей четыре года назад, но теперь быть им не могу,— или я ваш жених (на условии обеспечения вас на случай моей смерти или нежелания вашего жить со мною), или я никто — человек, вовсе не знакомый; иначе поступить не могу. Мы с вами должны расстаться, вы это сами понимаете. Прощайте, Людинька, не забудьте, что во всех действиях своих человек должен предлагать себе вопрос: «К чему это, добро это или зло, подло или благородно я буду действовать, поступая таким образом?» Я предложил себе этот вопрос вчера, обдумал свои действия сегодня утром и решил, что я должен поступить таким образом. Прощайте, Людинька, еще раз, дай бог, чтобы мы встретились еще когда-нибудь в жизни, а теперь мне не суждено видеть вас,— я вам чужой, даже незнакомый, потому что не могу быть у вас на тех условиях, на которых хотел бы быть у вас. Прощайте, Людинька, прощайте. В душе ваш друг, а для людей и для приличия ваш покорный слуга».

Они с матерью пришли к какому-то соглашению, и хотя мать моя встала на нашу сторону, но беседы наши глаз на глаз прекратились, и мы порешили ежедневно писать друг другу и по вечерам обмениваться написанным. Весь журнал Шелгунова у меня сохранился.

Вот выписки из него:

«<Петербург,> 7 апреля <1849 года>»

Я читал сейчас отрывки «Герой нашего времени». Не знаю, почему-то мне кажется, что я имею много общего с Печориным. Я не зол, но могу делать злое, хотя и жалею потом об этом. Я не способен огорчать человека умышленно, но если я задет им, то хочу выместить свое неудовольствие и не верю в действительность сделанного огорчения, пока не увижу слез или страдания на лице. Потом у меня является всегда раскаяние, мне жаль, и я готов загладить свою вину. Я говорю об отношениях своих к женщинам — мужчин огорчать не стоит, потому что нисколько не льстит самолюбию быть уверенным в подобном праве превосходства над ними. Коммунисты хотят равенства между мужчиною и женщиной, они, верно, никогда не любили, они вполовину мужчины, потому что не понимают наслаждения власти. Идея равенства была чужда творцу мира. Из двух людей, любящих друг друга, один всегда сильнее другого, и в таком случае сильнейшим лучше всегда быть мужчине, чем женщине. Да, я думаю, что и сами женщины отказались бы от права власти, потому что они потеряли бы право пленять и заставлять себя любить любовью страсти, выиграв взамен ее какое-то почтение и покорность. Что может быть смешнее покорности и смирения пред властью, когда покорность — мужчина, а власть — женщина?

Я не читал того, что написал пред этим, но знаю, что вы увидите не того меня, которого привыкли видеть; я всегда как будто бы смирялся пред вами, но меня всегда возмущала мысль, что я могу быть под властью, быть может, потому, что я избалован, потому, что я до сих пор не был под властью и мне повиновались большей частью, я же редко был покорен.

Власть, а как часто власть смиряется пред покорностью, как часто мужчина отдается вполне женщине и сам не замечая того. Любовь — единственная сила, которая может управлять всем, может срывать горы, уничтожать все преграды, уничтожить даже счастье человека. Как сильна женщина в самой своей слабости, и чего желать ей более, какой нужно ей еще власти? Глупцы мужчины, проповедующие равенство, дуры женщины, слушающие их,— в власти равенства, которого

они добиваются, они найдут свое бессилие и потеряют силу, которою владеют теперь, приняв малиновую фольгу за огонь. Женщина сильнее его, потому что слабее его.

Знаете мою заднюю мысль?.. Я боялся, что, обнаруживая свои слабости пред вами, я даю вам возможность со мной *действовать*. К несчастью, женщины созданы так или избалованы жизнью, но только выполнение своих желаний, оправдывающее всякие средства, даже *маленькие подлости,* — для них закон их жизни, от которого они не умеют и не хотят отказаться. Ни одна женщина в мире не умела еще владеть, господствовать над своими желаниями и страстями, и для них незнакомо торжество победы над собою. Людинька, закон жизни — не личная прихоть, а истина, которую мало кто из людей понимает, а особенно женщины. Все хлопочут о своих целях, но никто не думает о степени их разумности и справедливости.

Отчего человек сам создает себе несчастие? Отчего он не хочет понять, что тихая жизнь сердцем, основанная на уверенности, — основание жизни, ищет каких-то порывов? Неужели он делает это для того, чтобы не понимать впоследствии горькое чувство раскаяния? Жаль; право, об этом хлопотать не стоит. Тихую, спокойную жизнь поэты называют прозой, но неужели они не умеют понять, что и в тишине есть поэзия, — правда, не всеразрушающая, но что же до этого? Впрочем, у всякого свой взгляд на вещи.

Если сказать женщине, что она прекрасна и пуста, я уверен, что подобная похвала польстит ей гораздо более, чем уверенность, что она не пуста и не прекрасна. В ряду разумных созданий женщина менее всех понимает, что она может быть разумна, что она может быть человеком; она полагает, что создана только для того, чтобы пленять своими наружными достоинствами, и не любит, когда восхищаются ее душевными богатствами, полагая, что эти восторги отнимают много от ее наружности. Впрочем, я не знаю, к чему пишу об этом, — степень неразумности женщины всегда остается прямо пропорциональной восторгам дураков ее красоте. Отчего женщины, восстающие так сильно против материализма, не умеют понять, что похвалы их красоте ни

больше ни меньше как бессознательная тенденция мужчин к сенсуальности? Женщины считают себя высокодуховными существами и не умеют понять, что они поклоняются только телу».

«<Петербург,> 8 апреля <1849 года>

Как много на свете людей, которые счастливы, когда подле них сидит женщина, женщина по телу, а не по духу или душе. Женщины не понимают своего унижения и довольны производимым ими впечатлением. Нет, я не так смотрю на женщину, я хочу уважать ее, и потому мне нужно, чтобы подле меня сидело существо разумное, мыслящее, чувствующее и прекрасное. Я объясню вам, почему мне пришла эта мысль, если вы захотите знать это».

«<Петербург,> 9 апреля <1849 года>

Сейчас я пришел из департамента; дорогой мне попался Далматов, он идет к вам. Думая о нем, я, по закону человеческой мысли, перешел к своим отношениям к нему и вспомнил о его детской замашке трунить над людьми, которые гораздо больше его и передумали и перечувствовали. Люди часто употребляют многие слова, не понимая их смысла, например, «дурак» — слово вполне обыкновенное даже на языке дурака, но согласились ли люди в значении этого слова? — нет, каждый толкует его по-своему. Мне кажется, что дураком должно называть того человека, который видит человека в самом себе только и не понимает, что и другие могут быть тоже людьми, и не понимает, что человек — человек. Что он должен быть существом мыслящим, чувствующим, понимающим человеческие страдания, человеческие радости, и заслуживает уважения только в том случае, когда умеет уважать других».

«<Петербург,> 10 апреля <1849 года>

Неужели я не верю многому оттого, что у меня есть кусок ума (Людинька, ведь это не самоуверенность, это мне так кажется) в голове; отчего же есть на свете счастливцы, которые верят всему?»

«<Петербург,> 18 апреля <1849 года>

Я скажу вам, что думаю о поцелуях: большинство людей стремятся к телесным наслаждениям; в эти минуты человек забывает свою духовность, забывает все, а потому эти минуты называются минутами счастья, но есть еще минуты,— минуты высшего наслаждения, когда не чувство телесности управляет нашими действиями, но чувство бескорыстное, чувство высокой, чистой любви, дружбы. Поцелуи первого чувства хороши, но они часто оставляют за собою чувство разочарования, но если поцелуй будет результатом второго чувства, то легко делается на душе человека и нет в сердце его другого ощущения, кроме прекрасной, высокой радости, радости безотчетной и чистой, которая оставляет по себе вечное, приятное воспоминание. Причину этих двух противуположных результатов вы понимаете; в первом случае действует материализм, во втором — духовность. Я могу быть материалистом, я это знаю, но не хочу быть им относительно вас,— мне кажется, я оскорбляю тогда мое чувство, я оскорбляю вас».

«<Петербург,> 19 апреля <1849 года>

Во мне странным образом делится человек,— я не могу согласить духовного с телесным, и оттого во мне два отдельных человека. Относительно вас во мне почти всегда действует духовный человек — редко материальность, и в последнем случае я не бываю доволен собою; с другими же женщинами, разумеется исключая самых молоденьких и пожилых женщин, в которых я не вижу человека, а представляется мне нечто среднее между неразумным и разумным существом, я чистый материалист, я не верю в духовность этих женщин, не верю (кроме весьма редких исключений) в возможность духовных отношений с ними. Впрочем, и сами женщины такого же о себе мнения,— они думают нравиться только одною наружностью, а о голове и сердце своем нисколько не заботятся».

«<Петербург,> 20 апреля <1849 года>»

Людинька, заключимте условие: рассуждая о недостатках людей и причинах разных несовершенств и самых несовершенствах наших, то есть не собственно наших семейных отношениях, замечая дурное, будем взглядывать внутрь себя и, справедливо применяя хорошее и дурное и устраняя самолюбие, будем уверены, что мы желаем друг другу добра».

«<Петербург,> 21 апреля <1849 года>

Вы говорите, что если я браню женщин, то «все их недостатки приписываю вам»; это, Людинька, справедливо, но не вполне. Не уважая женщин за их тупые и смешные стороны, за их неразумность, я не хотел бы видеть в вас что-нибудь подобное, потому что, рассуждая о женщинах, я часто, или, лучше сказать, почти всегда, обращаюсь к вам, говоря как бы уверительно о недостатках женщин и приписывая их вам; но внутри меня нет уверенности в вашем дурном, а только сомнения в вашем хорошем; мне хочется услышать от вас самих, что вы чужды недостатка, о котором мы говорили, а вы не хотели никогда уверить меня в этом».

«<Петербург,> 28 апреля <1849 года>

Знаете, что нам нужно теперь сделать? Нам нужно узнать короче друг друга, и, уважая друг друга за хорошее, на недостатки будем смотреть как па странности и особенности характера извиняемые. Я не буду уже более раздражаться, мой друг, да я уже и не могу теперь более, потому что всякая моя досада на вас не имела никогда основания,— в этом я убежден теперь потому, что думал дорогой о причинах своей раздражительности. Странно, отчего это убеждение и даже мысль о нем не приходила мне в голову в Петербурге? Теперь я признаюсь, что был постоянно виноват перед вами».

В эту зиму я получила первую большую работу, переводную. Я пишу «первую большую работу», потому что ранее перевела какую-то биографию Данте и получила

за нее семь рублей. Эти семь рублей предназначались мною на ложу в итальянской опере. А деньги за перевод романа Ж. Санда «Франсуа-Найденыш» я, вероятно, отдала матери. Родители мои были люди обеспеченные, и отец меня так баловал, что цены деньгам я совсем не знала и у меня в заводе не было кошелька. Когда я вышла из пансиона, мать моя особенно заботилась, чтобы я занималась музыкой, и постоянно говорила:

— Когда-нибудь, может быть, придется ею хлеб добывать.

Не раз пришлось мне в жизни вспомнить ее слова.

Когда Шелгунов уехал в Самару, где получил прочное место, письма его стала мне приносить его мать, и я ловко получала их даже в присутствии свидетелей. Из Самары Николай Васильевич написал отцу и просил моей руки.

День получения письма был страшно тяжелым. Я была позвана в кабинет отца, и тот мне сказал о письме и прибавил, что не может дать своего согласия. Я этого ожидала, хотя причин отказа, на мой взгляд, не было никаких, и у себя в комнате приготовила ответ.

— Это все равно,— сказала я.

— Как все равно! — воскликнул отец.

— Да, потому что если меня за Николая Васильевича не отдадут, то я и так уйду.

Должно быть, я была страшно бледна, потому что отец не закричал и не вспылил. А я, проговорив приготовленную мною фразу, ушла из его кабинета и легла к себе на диван.

Я помню, как мать ходила в кабинет, горячо о чем-то говорила, и в этот же день отец прислал мне написанный им удовлетворительный ответ Николаю Васильевичу.

Когда вопрос о браке был решен и в синод было подано прошение о дозволении венчаться кровным родным, то мы уехали в Выборг шить приданое.

В Выборг товары шли из-за границы беспошлинно, и потому в те времена многие нашивали там белье и наряды и везли в Россию, как вещи, уже бывшие в употреблении. В Выборге мне было очень весело. Да и может ли быть где-нибудь скучно здоровой семнадцатилетней девушке?

Николай Васильевич и в этот год продолжал писать мне письма в виде дневника. Считаю не лишним поместить тут несколько из его писем:

«Самара, 27 июля <1850 года>

Людинька! вам известны мои некоторые недостатки, которые я сознаю в себе, вам известно, что я властолюбив, горд и не люблю быть вторым там, где я могу быть первым.

Вы говорите, что я не великодушен; выслушайте меня: я не великодушен с сильными, не уступлю равному бойцу и буду драться с ним насмерть до тех пор, пока он не положит оружия, я первый не положу его никогда, но с слабым я не тот. Вы видели это на себе, дерзости и неприятности я говорил вам всегда до тех пор, пока я видел, что вы боретесь со мною. Желчь кипела во мне до тех пор, пока я не видал, что огорчил вас действительно, а тогда сожаление и раскаяние сменяли во мне досаду, я готов был просить у вас прощение; разве я обижал когда-нибудь слабого? разве я начинал войну с тем, кто не мог поднять против меня руки? Нет, я не уступал никогда никому, кто шел на меня неприязненно, будь это хоть слабый, и не переставал бить его до тех пор, пока он не сознавал, что слабее меня. Зол и невеликодушен только тот, кто обижает лежачего врага, мужчины всегда считались и будут считаться существами великодушными, но этого достоинства, точно так же как способности рассуждать и видеть вещи немного дальше настоящего времени, никто никогда не приписывал и не припишет женщинам».

«Самара, 2 сентября <1850 года>

...Читая ваш дневник, где вы говорите, чего требуете от своего мужа, я чувствовал, что мое сердце сжалось, и я испугался за себя. Людинька, вы хотите, чтобы муж был в зависимости от жены, и тогда только видите возможность равенства. Но я хотел бы спросить у вас, что вы понимаете под словом «равенство»? Равенство материальное всегда было между супругами, то есть жена пользовалась одинаковыми правами за обедом,

чаем, в удобствах жизни и хозяйстве с своим мужем и даже была больше его, потому что мужья едят обыкновенно то, что велят приготовить для них жены, равенства же духовного я решительно не понимаю. Если жена командует мужем и служит ему во всем руководителем, то у такого мужа нет на плечах головы, а если и есть голова, то в этой голове пусто, как в пустом горшке; если мужчина отдается во власть женщины, в его сердце нет воли и характера, а мужчина без характера и воли не мужчина, а женщина. Вот каким образом я понимаю мужчину: мужчина должен быть умен, добр, кроток, благоразумен, рассудителен, с характером, волей (не упрямством) и великодушен. Женщина тоже должна иметь те же достоинства, но они будут в ней всегда в слабейшей степени; если женщина видит, что она умнее и выше характером своего мужа, она не будет любить его, потому что не станет уважать своего мужа. Да и скажите мне, что за мужчина, который слабее женщины, и возможно ли счастье там, где женщина глава семейства. Мне смешна женщина, когда она берет на себя ту власть, которую не думал давать ей бог, и жалок мужчина, если он в руках своей жены. В семейной жизни муж и жена равны по правам своим, и прав из них тот, кто говорит дело, спору о справедливости требований с чьей-либо стороны быть не может, когда супруги умны и рассудительны и знают, что можно требовать друг от друга. Как муж, я подчиняюсь своей жене в деле сердца, потому что мое сердце крепче сердца женщины, но как мужчина я буду жить своей головой, а не головой жены. Мое понятие о равенстве держится вот на каком убеждении: мужчина умнее женщины и выше ее характером, следовательно, эта часть должна быть в управлении мужа; женщина выше мужчины своим сердцем, и потому женщина должна быть главою дел сердца. В супружеской жизни великодушие и любовь мужа к жене — самые важные обстоятельства, и они возможны только тогда, когда муж чувствует свое превосходство над женою; передайте эту власть женщине — и мужчина, сознающий себя, будет стыдиться за свое ничтожество и не станет никогда любить жену.

Знаете ли что, Людинька,— прошу вас, только не сердитесь на меня,— идея равенства привилась вам,

вероятно, от маменьки, но не вытекает из требований вашего сердца; разберите этот предмет построже, и вы увидите, что в природе нет равенства. Возьмите двух людей, которые не знали никогда друг друга, поставьте их рядом после двух слов, сказанных одним и другим, один непременно подчинится другому. Равенство супружеское, которое я проповедую, должно заключаться в том, чтобы сильнейший не смел сказать: «Я требую», не смел показывать своего превосходства и не думал бы важничать своею силой. Жизнь супругов должна быть основана на товариществе, в котором равенство есть первое основание благоденствия. Понимая, что я муж, я подчиняюсь своей жене, я буду делать только то, что захочет моя жена, я убежден, что добрая, любящая, нежная жена всегда больше своего мужа, потому что на ее стороне сердце. В деле подчинения выйдет то, что вы хотите, но основанием подчинения будет не ваша идея. Вы хотите, чтобы муж подчинялся жене по закону равенства и по убеждению, что жена лучше сумеет управлять супружеским счастьем, а я подчиняюсь своей жене, как существо, сознающее свою силу и крепость, которое отказывается от этих прав, потому что хочет находиться под влиянием любви. По-вашему, выходит, что женщина глава, потому что она сильнее; по-моему же, потому только, что она слабее. Вот мысль, которую я хотел передать вам. Я отдаю вам власть не по сознанию своего бессилия, а по великодушию...»

«Самара, 2 октября <1850 года>

...Я непохож на всех мужчин, я ищу в браке не той стороны супружеских радостей и счастья новобрачных, которых ищут все мужчины в женщинах; мне нужно не это, и жена, по моему мнению, создана не для того, чтобы быть только красивой формой, а чтобы быть верной помощницей мужу во всех его действиях, готовой переносить с ним без ропота все дурное и несчастное этой жизни. Правда, я не вижу еще в вас (простите меня за мое откровенное мнение, я хотел бы, чтобы и вы были со мной так же откровенны) такого собеседника, как Евгения Егоровна, с которой я любил так спорить и горячиться, но знаю, что через два или менее года (менее, гораздо менее; после замужества

женщины развиваются вдруг, им открывается ясно начало почти всех действий человеческих) вы будете таким же собеседником. Супружеские обязанности, налагаемые богом и законом людей на супругов, меня пугают, я слишком уважаю невинность и девственную чистоту и полагаю, что первое сближение супругов, которое, по моему физическому и нравственному устройству, никогда не может меня лишить сознания и отуманить совершенно мою голову, испугает меня; мне кажется, что это сближение, требуемое законами божескими и человеческими, оскорбит некоторым образом женщину не в ее собственных понятиях, а во взгляде на нее мужчины, который видит в ней не женщину-человека, а женщину-ангела; материальное сближение прямо говорит: это женщина-плоть, а не женщина-дух; а я ищу духа, а не плоти. Что делать мне? Как согласить свое понятие с законами? А между тем не забудьте борьбу духа и плоти, которую мне придется испытывать постоянно. Ненадобно быть пророком, чтобы угадать, что плоть восторжествует над духом, и тогда... что тогда?? и тогда нужно понимать непременно, что связь супругов выражается хотя и в материальном их сближении, положенном богом, однако духовность — начало, причина и вина всего; нужно помнить, что не дух живет для плоти, а плоть для духа и сближение совершается не для их лица, а для выполнения закона божеского, следовательно, для цели более высшей, чем обыкновенное бессознательное сближение многих людей и всех животных. Людинька, я не извиняюсь перед вами за сегодняшний журнал, потому что я пишу к вам не как к Людиньке-девственнице, а как к Людиньке-жене. Вам должны быть известны мои взгляды на брак, цель которого заключается в высокой обязанности человека — произвести себе подобного и сделать его достойным имени человека, существа духовно разумного».

«<Самара,> 13 октября <1850 года>

...Думал о женщинах; почему женщины не любят, когда им говорят о женском материализме и подчиненности их мужчине? Потому, что самолюбие их не хочет этого. Эта же самая причина, при некоторой слабости головного мозга женщин, не позволяет им видеть, что

женщина значит гораздо больше мужчины, что в видимой слабости женщин и заключается их сила, да, наконец, в сердце женщины столько высоких достоинств, которые никогда не были, да и не будут, в сердце мужчины. Только женщина может любить с самоотвержением и без эгоизма и расчетов ума, и только женщина может быть матерью. Мужчины не умеют любить всем существом своим, потому что сердце мужчины никогда не заглушит его ума и рассудка.

Наконец, материнская любовь — это глубокое, полное, святое чувство знакомо слабо мужчинам. Неужели женщинам мало этих исключительных достоинств, мало их прав как женщин, что они хотят присвоить себе права мужчин?»

«<Самара,> 14 октября <1850 года>»

...Над этим местом смеюсь уже в четвертый раз: «Ах, Николай Васильевич, научите меня думать, но умно думать, я хочу развить свой ум непременно, хочу и добьюсь до этого». Вам для этого ничего не нужно делать, оставьте свой ум в покое — он развит. Вы будете умнее целой Самары; я не знаю здешних дам и девиц, но видел их всех и утвердительно говорю, что им не быть тем никогда, что вы теперь; не забудьте, что вам семнадцать лет, а что наши девицы в семнадцать лет? Пхе, как говорят турки, и больше ничего; не заставляйте себя думать и размышлять, но думайте о том, что думается; и какого ума хотите вы еще?.. Да скажите мне, что такое ум и что значит развить его? — понять себя как человека и других также, а вместе с тем отношения свои к человеку, человечеству и природе. Вполне понять этого никто не может, потому что это понятие заходит за предел человеческой мудрости...»

«<Самара,> 15 октября <1850 года>»

...Выслушайте меня: я ставлю женщину, вообще, так сказать, среднее число женщин, далеко ниже мужчин. Я не вижу, да и не могу видеть, в них ни здравого рассудка, ни правил, ни просвещения, ни понятий, которые возвышают мужчину на степень существа духовно разумного, нравственного и ответственного, а женщину

делают прекрасным, высоким существом, которому мужчина должен поклоняться.

Я начал бранить женщин с тех пор, когда полюбил вас. Причина моего неудовольствия на женщин была сначала бессознательная, но потом я понял ее. Полюбив вас, я увидал, что жизнь человека может обещать много высокого и прекрасного, если сердцу будет пища и когда сердце не ошибется в выборе своем и не раскается в нем. Но когда сердце не может иметь причины к раскаянию? Когда оно найдет себе верного друга, способного понимать и уважать его, и его чувствования, и благородные побуждения, и когда этот друг будет верен и постоянен. По большинству женщин, которое я видел, я увидел, что женщина хотя и может чувствовать, однако этот жар похож на жар железной печки, которая скоро накалится и скоро простынет,— я увидел, что женщины ищут в жизни не истины и правды и сознания своего значения и тех высоких правил, которые природа вложила в сердце человека, а удовлетворения пустых, мелочных прихотей сердца, не способного чувствовать и сознавать ни причин гордости человека (благородства), ни причин его унижения (подлости). Я увидел, что средняя цифра женщин не умеют отличить добра от зла, все происходит в них бессознательно, рядом с светлою мыслью стоит глупость, с благородным чувством — подлость, с любовью — мстительность, злость и коварство, с постоянством — ветреность и тщеславие. Как ни ройтесь в этом хаосе, вы редко вытащите что-нибудь хорошее, если же и вытащите, то впечатление добра изгладится тотчас же десятью грязными сторонами подобного сердца.

Полюбив, я понял, чего требует мое сердце, и я боялся за свое будущее. Вот причины моих постоянных нападок на женщин. Я не хотел видеть в женщине, которую люблю, тех сторон сердца и ума, которые вы найдете беспрестанно, потому что они между женщинами не редкость. Я хотел найти в вас способность любить верно, истинно, способность понять необходимость правды в каждой мысли, в каждом действии человека,— способность сознания всех своих поступков и проступков и важность и глубину нравственных правил, которые в жизни женщины выражаются в целомудрии физическом и *нравственном*, в строгом соблюдении правил супружеской верности, то-

же телом, *мыслью* и *чувством* и в способности понять важность брака и отношения свои к мужу. Наконец, способность подчинить себя тем обстоятельствам жизни, которые достались вам в удел, и уменье переносить без ропота все дурное и хорошее как в физической жизни, так и в отношении к мужу, без нарушения правил супружеской верности и благородства. Главное, я искал верности, верности, верности и истины во всем: в мысли, в деле, в глаза и за глаза. В тех женщинах, которых я знавал, не было ни верности, ни истины; и неужели, Людинька, вы можете сказать, что большинство женщин такого рода и с теми правилами, которых я требую? Нет, тысячу раз нет: я видел много женщин, смотрел на них строго, как мужчина, и почти в каждой из них (исключая старшей дочери Гурьевой) нашел глупую страсть нравиться без причины, тщеславие и недостаток нравственных правил.

Теперь выслушайте мое оправдание и тогда судите меня.

Я любил вас и искал вашей любви, мне нужно было найти в вас то, чего требовало мое сердце, мне хотелось, чтобы ваше сердце было полно тех истин и правил, которые, по моему мнению, должны быть в женском сердце. Я знал вас, когда вы были еще в пансионе, в вас была ветреность и кокетство с примесью женского тщеславия; при этих данных я не мог допускать в вас истины и верности, чего именно мне нужно было, и я стал говорить против женщин, начал выставлять их дурные стороны и действовал бессознательно, не с мыслью передать вам правила своего воззрения на женщин, а из боязни найти в вас общие женские недостатки. Особенно вооружался я против женщин в прошедшую зиму, когда любовь моя получила положительный характер и сердце требовало союза.

Любя вас, я верил вам, я видел также, что вы далеки от тех женщин, которых я не люблю, и боязнь за свое будущее оставила меня.

Теперь я уже не враг женщин, вы мой примиритель с ними, чрез ваши правила, вашу верность и истину я гляжу на остальных женщин и не раздражаюсь их дурными сторонами. Ведь я говорил против женщин только потому, что боялся найти в вас то, чего не хотело мое сердце...

Одного я только не понимаю: отчего вам было неприятно, когда я говорил против женщин? Неужели вы принимали мои слова на себя? Ведь вы исключительная женщина, вы такая отличная, Людинька; пожалуйста, если впредь мне случится как-нибудь говорить дурное о женщинах, слушайте об этом так же хладнокровно, как о недостатках мужчин. Если мужчин бранят, мне делается смешно — и только, но я никогда не связываю себя с общими недостатками не потому, чтобы их не было во мне, но потому, что я убежден, что в сердце моем есть благородство и нет связи с подлостями многих мужчин...»

«<Самара,> 27 фсвраля <1851 года>

Еще новая черта моего характера: мне надоедают скоро все; я кидаюсь обыкновенно горячо, готов за человека, который мне понравился, положить свою душу, но когда пройдет первый пыл и я начну смотреть хладнокровнее на предмет, который так поразил меня, я вижу, что это не то, что я ищу, голова моя недовольна тою пищей, которую ей предлагают, и сердцу недостает тоже чего-то,— и охладеваю. Это было со мной на веку уже несколько раз, было и в Самаре; Гедеонова и Путиловы не удовлетворили меня, и я остался недоволен ими. Я набросился теперь на одного молодого человека (Пекарский), но и здесь я уже предвижу разочарование. Объясните мне эту особенность моего характера, кто виноват: люди или я? И неужели для меня нужна исключительность, например, нечто вроде «пищи богов». Рассмотрите этот предмет и напишите свое мнение, но не забудьте».

«<Самара,> 28 февраля <1851 года>

Знаете что? Пуститесь в литературу, ведь в этом может быть кусок хлеба, хоть небольшой, ведь у вас и аппетит будет небольшой, да? Право, пуститесь, мы можем писать, я знаю это, потому что знаю и себя и вас...»

Ровно через год после отъезда Николая Васильевича в Самару мы были обвенчаны в Выборге и поехали в своем тарантасе в Самару.

Приехав в Нижний, Николай Васильевич порешил ехать до Самары водой. Нанята была вместе с каким-то чиновником, отправлявшимся в Томск с громадным семейством, большая некрытая лодка. В эту лодку поставили наши два тарантаса, и, взяв несколько пассажиров-мужиков, которые за проезд должны были работать, мы тронулись в путь. Плыли мы то на веслах, то под парусом посреди широкой и пустой реки. По берегам шли лодки бечевой, и тянули их на лямке бурлаки, тянули, обливаясь потом и едва передвигая ноги. Суда лямкою шли молча, и только кормчий покрикивал иногда: «Прибавь шагу, ребята!» Большие же лодки, плывшие на веслах, шли с песней «Эй, ухнем». Эта песня на пустой громадной реке, с пустыми берегами, далеко неслась по воде. Я замечала и во время нашей поездки, и потом, что при звуках этой унылой, утомленной песни смолкал разговор.

Таким образом мы плыли день и ночь, изредка встречая лодки и большие суда. Во время поездки мы встретили две коноводные машины, тянувшие хлебные караваны. Мне ничего подобного не приводилось видеть, и потому я внимательно смотрела на это удивительное сооружение. Это — громадное судно, на палубе которого устроены горизонтально лежащие спицы громадного колеса, и каждую такую спицу тянет лошадь, вертясь кругом оси, на которую навертывался канат, привязанный к якорю, заведенному вперед. Когда канат завертывался весь, лошадей отпрягали, канат развертывали, клали на лодку вместе с якорем и завозили вперед, где снова бросали его в воду. Вот такая-то машина и исполняла роль нынешних буксирных пароходов.

Во время нашей поездки в Самару по Волге случилось в нашем плавучем мире только два происшествия, оставшихся у меня в памяти. В каком-то большом селе Николай Васильевич вышел за провизией, и в его отсутствие произошла размолвка на лодке между хозяином и пассажиром-чиновником. [Н]а нашу лодку просились шесть мужиков, которые в случае нужды брались работать, но вместе с тем предлагали хозяину плату. Чиновник только и говорил:

— И без того много мужичья на лодке.

После этого спора явился Николай Васильевич, к которому хозяин и обратился с жалобой, прибавляя:

— Ведь это рабочий народ; они в случае чего на руках поднимут нашу лодку.

Услыхав это, Николай Васильевич распорядился просто.

— Бери,— сказал он,— и отчаливай!

С этого момента хозяин перестал обращаться к чиновнику, а обращался к офицеру, который слушал, по крайней мере, резоны.

Не доезжая Симбирска за день, мы остановились, и тут наш хозяин встретил земляка или свояка с пустым судном, гораздо большим и лучшим, чем наше, и, прицепившись к его боку, пошел рядом с ним. То судно шло на парусе, и мы плыли очень скоро. Погода стояла ясная и знойная. В Симбирске я вышла на берег, и мы с Николаем Васильевичем пошли в гостиницу пообедать. Когда мы поднимались на гору, стали надвигаться тучи; а когда возвращались из гостиницы обратно на судно, то уже начали падать крупные капли дождя. Придя в лодку, я просто ужаснулась! Волга и небо точно слились в одну свинцовую тучу, разрываемую яркой молнией. Хозяин стал торопиться отправкой. Хотя грома и молнии я не боялась, но удары начались такие страшные, что душа у меня заныла.

Чиновник и вся семья его умоляли хозяина переждать бурю, но он говорил, что судно его земляка полетит стрелой по этому ветру. Я стала тоже просить, но не хозяина, а Николая Васильевича. В это время грянул гром с такою силой, что все перекрестились. Николай Васильевич стал меня успокаивать и убеждать в безопасности, но это было бесполезно: я разрыдалась. Ничего не оставалось делать, как только исполнить мою просьбу. Николай Васильевич приказал отцепить нашу лодку от судна, и мы остались. Судно вышло сейчас же и понеслось, а я не могла никак успокоиться и дорыдалась до того, что заснула в тарантасе. Проснулась я от качки. Мы шли посреди Волги, которая все еще волновалась от бури, хотя ветер и утих; небо было ясно, и мы шли на веслах. В Симбирске дошел до нас слух, что в Самаре был страшный пожар. В первой же большой деревне после Симбирска, в которой мы остановились, слух этот подтвердился в более грандиозной форме. Тут уже говорили, что Самара сгорела вся. Здесь же мы увидали и судно, с которым должны были нестись по

вихрю, и узнали, что в него ударила молния и убила трех человек. Я ужасно гордилась, что мои слезы спасли нас.

От Симбирска до Самары мы ехали с тревожным чувством и перед Самарой уже знали, что тот квартал, в котором была квартира Николая Васильевича, сгорел.

Наконец судно наше причалило к городу, еще местами дымившемуся. Это была громадная черная площадь с торчавшими кое-где изразцовыми печами. Из нашей квартиры, как нам рассказывал бывший на берегу кучер Николая Васильевича, был наложен целый воз мебели, но лошадь не двинулась с места, и потому ее выпрягли, привязали во дворе, а кучер с мальчиком свезли воз на берег и оставили там. Когда кучер вернулся за лошадью, то увидел весь дом в пламени, и спасти ее было уже невозможно; оставленные на берегу вещи тоже воспламенились от искры и сгорели! Пожар этот был чем-то ужасным. Поднявшийся страшный ветер разносил горящие головни на далекие расстояния, и дома мгновенно вспыхивали. В одной улице не успели спастись даже пожарные и все погибли в пламени вместе с трубой. Жители целыми толпами бежали к реке Самаре и стремительно погружались в нее, спасаясь от огня. Несчастным и там не всегда приходилось укрыться. Вдоль берега реки тянулись настроенные хлебные амбары, которые не замедлили загореться, и пламя быстро перешло на суда, не успевшие заблаговременно выбраться в Волгу; к несчастью, все почти суда были нагружены смолою, которая ярко горела и превратила реку в настоящий ад. Пожар пощадил одну только часть города: расположенный на его пути сад поставил ему непреодолимую преграду и защитил собою постройки.

На первое время нас приютил начальник Николая Васильевича, снабдив нас комнатою, хотя и без меблировки, но мы и этому были рады. Впрочем, Николаю Васильевичу приходилось плохо; его сильно трепала лихорадка, которую он получил еще в Москве.

В Самаре лихорадка усилилась, и Николай Васильевич, благодаря отсутствию в квартире какой бы то ни было мебели, принужден был устроиться на полу, подостлав под себя одну шинель. С ним скоро сделался сильный жар, и он впал в беспамятство. Единственным нашим знакомым, принявшим живое участие в Николае

Васильевиче, был Пекарский, который привез доктора Гамбурцева и посодействовал к приисканию квартиры с мебелью, куда мы не замедлили перебраться. Лихорадка страшно подкосила здоровье Николая Васильевича и долго была памятна ему.

Из всех вещей, уцелевших после пожара, каким-то чудом сохранился мой рояль Гирта; его, перед отъездом за мною, Николай Васильевич дал аптекарю; скрипку же и корнет-а-пистон он передал Пекарскому. Аккуратный немец-аптекарь позаботился спасти чужую вещь, бросив всю аптеку; он с своими помощниками вытащил рояль — и только! Скрипка и корнет, разумеется, сгорели у Пекарского.

Прежде всего я познакомилась с Пекарским, прежним сожителем Николая Васильевича. Петр Петрович Пекарский, впоследствии академик, был, должно быть, ровесником Шелгунова и совсем молодым, высоким, красивым блондином. В пустую комнату, куда мы поселились, в первый же день перенесли рояль, и Пекарский был очень доволен, что жена его приятеля могла чем-нибудь отличиться в уездном обществе.

Через улицу напротив нас жил начальник Пекарского, и Петр Петрович просил меня в известный час сыграть что-нибудь блестящее. Вечером Пекарский пришел сияющий, рассказывая, что эффект, произведенный венгерским маршем Листа, был именно такой, какой он желал произвести.

Дома в Самаре стали расти как грибы, тем более что в воздухе носился смутный слух о переименовании Самары из уездного города в губернский. Переехав на квартиру с хозяйской мебелью, мы отправились с визитами к местным дамам. От этих визитов у меня особенно сохранилась в памяти только одна дама, которая заставила нас ждать минут десять в гостиной и затем вышла в ярко-синем шелковом платье, из-под которого внизу виднелся предательский серый ситцевый капот.

Денег у нас было так мало, что мы должны были соблюдать экономию во всем, но это нисколько не мешало нам веселиться и выезжать, тем более что о нарядах моих заботилась моя мать и мне ни разу не пришлось отказаться от выезда за неимением туалетов. Характер нарядов в то время был далеко не такой разорительный, как нынче. Платья из муслин-вапера с при-

колотым на голову цветком было безусловно достаточно для молодой дамы, не говоря уже о девицах. Хотя в то же время жены помещиков рядились там страшно, соперничая друг перед другом. Даже тогда мне это казалось ужасно глупым, и, глядя на какую-нибудь даму в сотенных кружевных оборках, подобранных бриллиантовыми цветами, я нисколько не завидовала и в своем простеньком платье веселилась от души. Никакие благотворительные концерты и спектакли не обходились без нас с Николаем Васильевичем. Одна из парадных дам города, отправлявшая в Петербург стирать белье, взяв свою падчерицу из института, конечно, страстно пожелала сбыть ее с рук. Окинув взором общество, она усмотрела маленькую квартиру лесного ревизора как ежедневный притон всей местной молодежи. Молодежь собиралась, рассуждала, спорила, кричала, горячилась и, закусив самым скромным куском, расходилась. Парадная дама, имевшая терпение по три, по четыре раза в день менять туалеты, приехала ко мне, увезла к себе и являлась ежедневно или для того, чтобы покататься, или для того, чтобы пригласить к себе. Расчет был верен. Вместе с нами являлась вся компания, и дочь в тот же год вышла замуж за одного из наших habitué[1].

Мы с Николаем Васильевичем остались прежними идеалистами: выходили из своих комнат вполне одетыми и продолжали говорить друг другу *вы*. В уезд Николай Васильевич никогда не ездил без меня, и единственный раз, когда ему пришлось ехать на следствие, он писал мне ежедневно.

До нашей женитьбы мы оба постоянно читали, но, живя в Самаре, я не помню, чтобы у нас в квартире водились какие-нибудь книги. Когда Николай Васильевич уезжал в управление, я садилась за рояль и играла, а затем уезжала в небольшой деревянный дом, где в мезонине жил старенький-старенький старичок на пенсии вместе с своей женой и двумя дочерьми. Я ездила к ним почти каждый день, и старуха учила меня искусству перешивать платья и шить новые. Все мои легкие платья были сшиты мною в небольшой комнатке мезонина. А в то время как мы работали, старшая дочь Ворониных читала нам вслух журналы. В какой восторг мы прихо-

[1] завсегдатаев.

дили от Теккерея! А к Диккенсу я тогда почувствовала такое боготворение, что именами из его романов называла всех животных, которых заводила.

Летом мы очень много ездили с Николаем Васильевичем в том самом тарантасе, в котором приехали из Петербурга. Не могу сказать, чтобы поездки по киргизским степям казались мне привлекательными. Зной обыкновенно утомлял Николая Васильевича так, что он лежал в тарантасе плашмя, а я постоянно высовывалась и смотрела: скоро ли станция? Долго не могла я поверить в миражи и всегда с восторгом кричала: «А вот и пруд!.. а вот и деревня!» Но затем вид незаметно колебался и принимал несколько другую форму, а я в душе негодовала на зной и на степь.

В первую же зиму как мы приехали, Самара из уездного города была превращена в губернский. Открытие губернии осталось у меня в памяти связанным с сенатором Переверзевым, который после обеда в Дворянском собрании спустился с крыльца и, сев на снег, крикнул: «Пошел!» Никакая умная речь на торжественном обеде, никакие гениальные мысли не доставили бы ему такой популярности, как это последнее обстоятельство. Он сразу стал своим, близким человеком всем уездным чиновникам. К открытию губернии приехал губернатор Волховский с добродушнейшей в мире женщиной — женой — и с молоденькой дочкой.

Конечно, лесной ревизор, штабс-капитан, живущий только на свое скромное жалованье, и жена его остались бы совсем незамеченными, но восемнадцатилетняя живая дама, которая могла выйти на эстраду и сыграть концерт Мендельсона, и лесной ревизор, который тоже мог выйти на эстраду и сыграть концерт на корнете, не могли остаться незамеченными, и потому местная аристократия искала их знакомства.

Из летних поездок по уезду у меня осталась в памяти поездка в Новоузенск, где брат младшей Ворониной, Веры Захаровны, был судьей, и потому Верочка, как мы ее звали, поехала с нами. Бесконечная дорога в Новоузенск тянулась по голым степям. Редкие станции не давали нам отрадного отдыха: это были глинобитные мазанки, кругом которых не торчало ни кустика, а распространялась только какая-то мгла с запахом гари от кизяка, которым топили печи. Между Самарой, Нико-

лаевом и Новоузенском была одна только станция, в которой росло несколько деревьев. Эти деревья так заинтересовали Николая Васильевича, что он вместе с нами отправился смотреть, каким образом они тут выросли. Посреди деревни протекал ручей, и по берегам его росли высокие и хорошие ивы или ракиты. Крестьяне гордились этими деревьями и ухаживали за ними, как за цветами. Теперь, через сорок с лишком лет, на этой станции, может быть, уже целая роща.

Можно ли было представить себе что-нибудь ужаснее и унылее Новоузенска? В городе было всего два деревянных дома, а все остальное состояло из глинобитных мазанок. Представьте себе сорокаградусный жар и ни единого деревца, под которым можно было бы укрыться. Днем мы не решались, конечно, выходить из дому. Если на севере жизнь отравляют комары, то в степях еще более отравляют жизнь блохи: это что-то невозможное и в городах немыслимое. Стоит только лечь, чтобы мириады черных точек появились на теле. Мы с Верочкой Ворониной укладывались то в комнате, то, убегая от духоты, отправлялись спать в тарантас. Поутру нам подавали разрезанный пополам арбуз и ложки. Арбузы составляют приятное развлечение в дороге по степям. Издали видишь бахчи с шалашом. Подъезжаешь к шалашу, и к тарантасу обыкновенно подходит старичок и, получив несколько копеек, наваливает целую груду арбузов, которые, падая, звенят о дно тарантаса. Эти теплые арбузы все-таки не так вкусны, как те, что подавали нам в Новоузенске. Дня через два мы познакомились с местной аристократией. Это показалось нам чем-то невозможным. Читающим кое-что печатное там оказался только один доктор, единственный врач на громадное пространство. Брат Верочки не советовал нам ходить около его дома, чтобы не рисковать встретиться с ним, так как купаться он ходил, для большего удобства, в костюме Адама. В городе это было всем известно, но никто против этого не протестовал.

Доктор считался чудаком и больше ничем, а если не чудаком, то душевнобольным.

Как я подумаю теперь, что это была за жизнь для только что кончившего курс врача! Можно было начать пить, но он не спился, а легко мог с ума сойти. Больницы, которою он бы занялся, не было; практики почти

никакой. Ну кто в таком городе, как Новоузенск, мог обратиться к доктору? Это была невообразимая дичь, в которой жили настоящие дикари, и жили только животной жизнью. Любопытнее всего, что в таком городе чиновники не интересуются ничем. Ведь жены их могли бы заняться чем-нибудь, ну, хоть бы развели садик, огород, завели животных. Ничего этого не было. Чиновницы тянулись за губернскими дамами, как губернские дамы тянулись за столичными, и старались подражать им в нарядах и в манерах.

Когда Самара стала губернским городом, то, конечно, наехало множество новых чиновников, и приехал губернский лесничий, непосредственный начальник Николая Васильевича. Иосаф Васильевич Хитрово был прелестнейший и преумнейший старик и к нам относился как родной, называя нас всегда деточками. В Самаре он пробыл только года два и затем был переведен в Петербург, куда тотчас же постарался перетащить Николая Васильевича.

Проводы наши случайно вышли не только торжественные, но и какие-то азиатские. Жена управляющего удельной конторой, задавшись целью выдать свою дочь замуж, устроила так, что муж ее поехал по делам по той дороге, по которой мы должны были ехать в Петербург. Она поехала с ним. И вот мы двинулись из Самары в таком порядке: управляющий ехал впереди в тарантасе с Николаем Васильевичем, затем в дормезе ехала его жена со мной и со своей падчерицей, бледной институткой, и с нами молодой человек, которого ловили в женихи и поймали; затем ехал тарантас с важным губернским чином и, наконец, наш тарантас с прислугой. К вечеру мы приехали в большое татарское селение удельных крестьян, и когда выехали и стемнело, то подле каждого экипажа появилось по два татарина с горящими факелами. Татары гикали, лошади несли вскачь, и за полверсты до дома помощника управляющего, где мы должны были остановиться, Николай Васильевич для большего гвалта достал свою трубу и затрубил.

У этого помощника с очень красивой женой мы пробыли три дня. Эта красивая жена тянулась за женой начальника, и весь дом принял особый тон. К обеду, позднему для провинции, все на английский манер переодевались, но только этот английский обычай вовсе

не согласовался с русским обедом из щей, баранины и т. д.

В Москве мы снова остановились у Гримме, уже женатого и уже не такого простого, каким он был прежде.

На этот раз из Москвы мы поехали по железной дороге. Правильные поезда еще не ходили, но мы как-то попали и, насколько мне помнится, даже даром.

Приехав в Петербург, мы наняли крошечную квартиру в Большой Конюшенной, и, пока Николай Васильевич устраивался, я поехала в Выборг, где жили в то время мои родители. Поездка эта послужила мне на пользу в том отношении, что мне были нашиты новые платья. В Выборге в это время давался концерт с благотворительною целью, в котором участвовала моя мать и мой брат, и заодно и я приняла в нем участие. Концерт этот повлиял на мою судьбу в том отношении, что меня просили петь, а я не решалась, потому что пела самоучкой. Вернувшись в Петербург, я отправилась к Шауберлейхнер и поступила в число ее учениц. Николай Васильевич, конечно, отыскал Пекарского. С этой осени началась наша рабочая жизнь, для Николая Васильевича кончившаяся с его смертью, а для меня продолжающаяся до сих пор. На гроб Николая Васильевича был положен венок с чрезвычайно верной надписью: «Умершему со знаменем в руках».

В эту зиму у нас почти не было знакомых, и так как мы жили рядом с моими двоюродными братьями и сестрою Нордштрем, то и виделись постоянно с ними. К лету Николай Васильевич был назначен на работы в Шлиссельбургский уезд, и мы переехали в маленькую деревеньку среди леса, которая называлась Городком. Там мы наняли избу, и в одну из ее половин поместился Пекарский, приехавший к нам гостить на лето. Пекарский писал тогда свой первый труд, и писал очень прилежно. Жизнь мы вели премилую. Утром вставали довольно рано и втроем уходили версты за две в лес или на берег очень живописного озера с раскинутыми на нем островами и там располагались на траве и варили на спирту кофе, для которого все бывало уложено в корзинку.

Во время этих утренних пикников нам в первый раз пришлось видеть, как крестьяне отправлялись на бар-

щину. Расположившись однажды около дороги, мы издали услыхали топот и пришли в полное недоумение, что это значит; топот между тем все приближался, и наконец из лесу показалась телега, запряженная парою лошадей, и за нею толпа мужиков в чистых белых рубашках. Это ехал бурмистр помещика Борщова на барщину, и хотя пристяжная в его телеге шла вскачь, но крестьяне-барщинники не отставали от своего бурмистра и под страхом наказания не смели отстать. Спустя некоторое время показались и бабы, но те уже шли, а не бежали. От них-то мы и узнали, что мужиков их всегда гоняют на барщину бегом.

Пекарского это зрелище привело в совершенное негодование, и он говорил, что внуки наши, читая о таком варварстве, верно, будут только дивиться.

Это лето мы провели очень мирно, тихо и все много работали: мужчины писали статьи, а я занималась музыкой и пением.

К осени мы переехали в Петербург, где уже взяли квартиру попросторнее, и одну комнату отдали Пекарскому. С этой зимы у нас начали появляться музыканты.

Когда я еще была девушкою, мы с матерью и Николаем Васильевичем были членами Симфонического общества, собиравшегося у Певческого моста в зале певческой капеллы. Там играли члены, и входить можно было только по членским билетам. Играли там только серьезные классические вещи по субботам вечером, а по утрам в воскресенье давались в университете музыкальные утра тоже с классической музыкой. Мы бывали и тут и там.

Когда мы приехали из Самары, то Симфонического общества уже не существовало, а в университете любители продолжали собираться и играть. Я взяла членский билет и, приехав, заняла то же самое место, которое занимала несколько лет тому назад. Гертвиг, уже в штатском платье, а не в сюртуке с синим воротником, играл по-прежнему на скрипке. Увидав меня, он положил свою скрипку, и когда симфония была доиграна, то подошел ко мне. С этого времени Гертвиг стал нашим добрым знакомым и, желая доставить нам удовольствие, прежде всего познакомил нас с виолончелистом Зейфертом. Сначала у нас составилось трио, потом

квартет и квинтет, и мы, не выходя из дому, наслаждались прекрасной музыкой.

Пекарский же познакомился через Нордштрема с Плетневым и постоянно мечтал о литературных знакомствах. Однажды, услыхав от меня, что я скучаю с музыкантами, он предложил мне поехать с ним в маскарад в Благородное собрание, которое находилось тогда на Литейном в доме, приобретенном теперь удельным ведомством.

— Ну, что же я буду там делать?

— Интриговать, и я вам скажу, кого.

Пекарский рассказал мне, что из его родного города Уфы приехал в Петербург его знакомый Михайлов, беллетрист, сотрудник «Современника» и «Отечественных записок», и что его можно интриговать.

После долгого совещания, на которое был приглашен и Николай Васильевич, было порешено, что я напишу Михайлову записочку на французском языке, в которой попрошу его приехать в Благородное собрание и ждать меня в красной гостиной. Узнать меня он мог по слову «Уфа», которое я ему скажу.

В назначенный день я оделась в домино и маску и в сопровождении Николая Васильевича и Пекарского отправилась на Литейный. Вышли мы все порознь, Пекарский подошел к Михайлову и стал с ним говорить, чтобы показать мне, что это и есть тот человек, которого надо интриговать.

Пекарский отошел и стал в дверях, а Михайлов сел на кресло. Это был небольшого роста господин, страшно худой, бледный и замечательно некрасивый, но элегантный. Я подошла и сказала «Уфа» и затем, взяв его под руку, стала говорить, как рада встретить старого знакомого, спрашивала о здоровье его родных, знакомых, припоминала встречи, рассказывала, где кто живет в Уфе. Одним словом, я говорила все то, что узнала от Пекарского. Михайлов терялся в догадках и перебирал всех уфимских барышень и дам. Почувствовав наконец, что весь мой запас сведений о нем иссяк, я подвела его к прежнему месту и сказала, что если он будет следить за мною и не согласится сидеть на одном месте в продолжение получаса, то он меня больше не увидит. Михайлов на все согласился, и мы благополучно уехали.

На следующий день, часов в шесть, к Пекарскому кто-то пришел, и затем Пекарский опрометью прибежал ко мне и сказал:

— Это пришел Михайлов, он будет говорить о вас. Встаньте в гостиной за драпировку в моей двери, а я дверь оставлю приотворенной.

Михайлов, не подозревая, что его вчерашняя маска слушает его, начал рассказывать, как он заинтригован какой-то маской и что пришел к Пекарскому, как к уфимцу, чтобы он помог ему отгадать, кто бы это мог быть.

— Ведь она и вас знает,— продолжал он,— она бывала у ваших в Уфе, ясное дело, что она оттуда.

Мы и потом удивлялись, как Михайлов не обратил в этот вечер внимание на неистовый хохот Петра Петровича, вообще большого хохотуна, но тут уже хохотавшего до неприличия.

К следующему маскараду в Благородном собрании Пекарский собрал мне еще кое-какие сведения о Михайлове, и я с новой энергией могла говорить. В эту зиму я его интриговала три раза, а затем мы познакомились с ним на балу в Благородном собрании.

Пекарский приходил в эту зиму в восторг от Ольги Сократовны Чернышевской и хотел непременно нас познакомить. Мы встретились на балу, где был и Михайлов, который оказался кумом Чернышевской. Таким образом знакомство и состоялось.

В те времена маскарады в Дворянском собрании были таким местом, куда не гнушались ездить и самые тонкие аристократки. Император Николай очень любил маскарады, и его зачастую можно было видеть разговаривавшим с маской. В маскараде к государю могли подходить все, кто хотел, и под маской преимущество отдавалось, конечно, умной женщине.

Безобразием Михайлова особенно возмущался мой большой друг Николай Фердинандович, или Федосеевич, Дамич, наш постоянный посетитель. Потом Дамич с ним сошелся и перестал его находить безобразным, как и мы все, так как остроумнее, привлекательнее и интереснее Михайлова ничего быть не могло. Мои родители были очень близки с Дамичами, и, когда я была маленькая, Николай постоянно занимал меня.

В то время это был офицер, живущий на свое жалованье и потом получивший небольшой капитал после своей матери. Затем он получил место в Тифлисе, где он, если не ошибаюсь, заведовал швальнями.

Николай Васильевич Шелгунов встретил его в Пятигорске или в Кисловодске, и он говорил ему, что желал бы завещать свои деньги Литературному фонду.

Мой способ интриговать очень понравился Михайлову, и он рассказал мне о семейной жизни и обстановке Александра Васильевича Дружинина, автора «Полиньки Сакс», которого я интриговала в продолжение нескольких маскарадов.

Михайлов жил с Полонским и был с ним очень дружен. У меня остался в памяти вечер, в который мы с Николаем Васильевичем были приглашены в холостую комнату приятелей. Во время чая горничная пришла сказать Михайлову, что его спрашивает молодой человек, Курочкин. Михайлов тотчас же вышел к нему и, вернувшись, рассказывал, что этот Курочкин неделю тому назад приносил свои переводы Беранже, которые оказались очень хорошими. Тут в первый раз мы услыхали о Василье Степановиче Курочкине, который впоследствии сделался таким известным переводчиком Беранже.

В Петербурге в это время, то есть в 1855/56 году, были две дамы, любительницы литературы. Одна из них графиня Толстая, а другая — Марья Федоровна Штакеншнейдер, жена придворного архитектора. Эти обе дамы собирали в своих салонах не только выдающихся литераторов, но и вообще всех людей, чем-нибудь прославившихся. Яков Петрович был близкий человек в этом доме и на следующий же год пожелал познакомить и нас.

— Друзья Якова Петровича и мои друзья,— сказала Марья Федоровна, и, таким образом, наше знакомство началось.

Жили Штакеншнейдеры тогда в Миллионной в собственном доме, и квартира у них была роскошная, с помпейской залой и зимним садом. Там бывали, кроме Полонского и Михайлова, Аполлон Николаевич Майков, Бенедиктов, Мей и Щербина. Не знаю, по какому случаю там устроился благотворительный спектакль, в котором принимали участие и мы.

Мои маскарадные знакомые — Дружинин, Тургенев и Григорович — настоятельно желали познакомиться со

мною где-нибудь и увидать, что за дама болтает с ними под маской. Я прямо назначила свиданье в ближайшую субботу у Штакеншнейдеров[1].

— Да, позволь, маска,— возражал Тургенев,— я ведь с нею не знаком.

— Это уж не мое дело,— отвечала я,— там всегда бывает Полонский.

И вот в назначенную субботу, когда мы все сидели вокруг стола у углового дивана, лакей подошел к Якову Петровичу и вызвал его в прихожую. Яков Петрович уже знал, в чем дело, и, взглянув на меня, пошел. В этот вечер ему пришлось представить троих видных литераторов, и добродушная Марья Федоровна была на седьмом небе от восторга, что на ее *фикс* собираются такие знаменитости. Она и не подозревала, что в доме у нее назначено свидание.

Так как сцена была у Штакеншнейдеров налицо, то явилось предположение устроить еще один благотворительный спектакль, и Тургенев, Дружинин и Григорович предложили пьесу под названием «Школа гостеприимства», с одной женской ролью. Эта пьеса долго хранилась у меня, но кто-то взял ее, и вряд ли она теперь существует, в особенности если у Григоровича не сохранился оригинал.

Цена местам на этот спектакль была назначена очень высокая, но все места были разобраны, и пьеса имела успех, тем более что в ней изображались кое-какие литераторы, и даже парикмахер был послан в зал, чтобы посмотреть хорошенько на Ивана Ивановича Панаева и сделать актеру точно такое же лицо с бородкой и положить на лоб такой же локон. В пьесе фигурировал генерал со звездой, которого в конце пьесы валят на соло-

---

[1] Способ мой интриговать тоже так нравился Тургеневу, что он просил меня не только заинтриговать, но и непременно завертеть молодого писателя графа Л. Н. Толстого. Как стоял за год перед этим в дверях Пекарский, так на этот раз в дверях залы Дворянского собрания стоял Тургенев, а я сидела на диване с графом и разговаривала с ним. Но все мое искусство говорить, вся моя болтовня не привели ни к чему. Я не могла заинтересовать своего собеседника и очень скоро вернулась к Тургеневу и сказала ему, что чары мои бессильны, что это какой-то волчонок.

Долго после этого Тургенев называл Толстого волчонком. ***(Прим. Л. П. Шелгуновой.)***

му и при криках: «Бей генерала!» — бьют. По окончании спектакля все были очень довольны, и в особенности хозяйка.

Дня через два оказалось, что на другой день к Штакеншнейдеру приехал Григорович и стал извиняться за конец пьесы, будто бы обидевший сидевших в первом ряду генералов.

— Как? Когда? Что такое? — в недоумении спрашивал архитектор.

Хотя из домашних никто ничего не заметил, но хозяин, на всякий случай, велел снять сцену и навсегда прекратить спектакли. Мы были крайне огорчены этим и продолжали бывать у них только на их субботних *фиксах*, а они бывали у нас на музыкальных средах.

На одном из танцевальных вечеров у Марии Федоровны, после того как я болтала разные глупости с Майковым, ко мне подошел Михайлов и говорит:

— А Майков сказал мне сейчас экспромт на вас, но только лично вам он не осмеливается передать его.

Довольно было сказать это, чтобы задеть женское любопытство. Я пристала к Михайлову, чтобы он передал мне этот экспромт, а я в настоящее время, как старуха, могу передать его читателям в доказательство того, что и бабушки когда-то были молоды и нравились. Вот экспромт Майкова:

Так роскошны ваши плечи,
В взорах много так огня,
Ваши ветреные речи
Раздражают так меня,
Что со всякою моралью
Кончив счеты, как нахал,
Охватил бы вас за талью
И насмерть зацеловал.

Это была зима 1855/56 года, и в эту зиму мне подарили альбом, в который я стала собирать автографы. Первый автограф был дан мне Аполлоном Николаевичем Майковым. Вот он:

Однообразье бальных зал
Не раз ваш смех воодушевленный
Передо мною оживлял.
. . . .
Среди толпы пустой и сонной
Невольно я стремился к вам,

Как к свежей розе, приплетенной
В венке к искусственным цветам.

А. Майков

1856, 6 февраля

Затем от других писателей я получила стихотворения:

ПЕРЕПУТЬЕ

Труден был путь мой. Холодная мгла
Не расступалась кругом,
С севера туча за тучею шла
С крупным и частым дождем...
Капал он с мокрых одежд и волос;
Жутко мне было идти:
Много суровых я вытерпел гроз,
Больше их ждал впереди.
Липкую грязь отряхнуть бы мне с ног
И от ходьбы отдохнуть!..
Вдруг мне в сторонке блеснул огонек...
Дрогнула радостью грудь.
Боже, каким перепутьем меня,
Странника, ты наградил!
Боже, какого дождался я дня!
Сколько прибавилось сил!

Мих. Михайлов

1856, 11 февраля, СПб.

Что ждет меня — венец лавровый
Или страдальческий венец?!
Каков бы ни был мой конец —
Я в жизнь иду, на все готовый.
Каков бы ни был мой конец —
Благослови мою дорогу!
Ты моему молилась богу,
Я был богов твоих певец.
Ты моему молилась богу,
Когда и сердце и дела
Ты на алтарь любви несла —
Была верна любви залогу.
Я был богов твоих певец,
Когда я пел ума свободу,
Неискаженную природу
И слезы избранных сердец.

Я. Полонский

1856, 3 марта

Воплощенное веселье,
Радость в образе живом,
Упоительное зёлье,
Жизнь в отливе огневом,

Кипяток души игривой,
Искры мыслей в море грез,
Резвый блеск слезы шутливой,
И не в шутку смех до слез,
Легкой песни вольный голос,
Ум с мечтами заодно,
Дума с хмелем, цвет и колос,
И коронка, и зерно...

В. Бенедиктов

1857, 30 апреля

В зиму 1856 года Николаю Васильевичу предложили место в Лисинском учебном лесничестве, и он взял его на условии, что ему дадут возможность съездить за границу. Мы оба сделались точно сумасшедшие.

В то время я часто хворала вследствие падения с дрожек, и хворала так, что зачастую от боли не могла пошевелиться. Доктор, чтобы предупредить такие припадки, дал капли.

Места в почтовой карете приходилось брать недели за две. В утро отъезда я вдруг начинаю чувствовать боль. Николай Васильевич приходит в ужас, потому что два места в карете до Ковно стоили недешево, да и кроме того, что плата за них должна была пропасть, отъезд пришлось бы отложить на неопределенное время.

До отъезда оставалось два часа, и вот Николай Васильевич вынимает из мешка капли и, накапав, дает мне принять. Боли начинают стихать, мы уже одеваемся, чтобы ехать в Большую Морскую (дом, ныне занимаемый министром внутренних дел), где находилась контора почтовых карет, как вдруг я лишаюсь чувств. Николай Васильевич тащит меня к форточке, суетится, кричит, а время между тем идет. Придя в себя, я потребовала, чтобы меня одели и везли в контору.

В контору собрались родные провожать нас, и после нового обморока двоюродный брат мой, доктор Нордштрем, посмотрел мне на зрачки и говорит:

— Ей дурно, потому что она отравлена.

— Как? Чем? Что такое? — закричали все тетушки и сестрицы.

— Да уж не я ли ее отравил? — проговорил Николай Васильевич и тут же рассказал, что с испугу налил мне бессчетное количество капель.

Рецепт был осмотрен, тут же явилась бутылка молока и Николай Васильевич получил предписание на каждой станции отпаивать меня молоком.

Этот вечер и эта ночь были страшно мучительны, так как обмороки и тошнота продолжались до утра, но к утру я заснула и совсем поправилась.

Так как я пишу свои личные воспоминания, то могу прибегать к журналу, который вела в ту пору.

«Сталюпень, 12/24 марта <1856 года>

Наконец мы в Пруссии. С нами едут (в наружных местах) два немца: молодой человек из прусского посольства — Шиллер, и частный курьер Каррас, который привез в Петербург из Америки путешественника.

Из Ковно мы поехали на перекладной. Характер дороги изменился, лишь только мы въехали в Царство Польское. Экипажи оказались дышловыми, а ямщики — в зеленых длинных ливреях с капюшонами, в фуражках с пришпиленным изображением маленькой трубы. На толстом шнурке через плечо висела труба, а в руках ямщик держал бич. Встречным он не кричал, а трубил им, а нам наигрывал иногда мазурки. Вечером, по случаю святой, нас не могли пропустить через границу, и мы принуждены были остановиться ночевать в Вержболове. Нас привезли в кондитерскую, где жидовский запах, частью напоминающий йод, так и обдал нас. Нам с Николаем Васильевичем дали отдельную комнату, мрачную и страшную, но я была так утомлена, что сейчас же заснула. Спутники же наши, Шиллер и Каррас, устроились на стульях в самой кондитерской. Им было жутко и страшно, и они целую ночь не выпускали из рук по ножу, так как евреи всю ночь шептались и кто-нибудь из них беспрестанно входил в эту комнату. Если спутники наши боялись, что их обкрадут, то, кажется, и евреи боялись того же самого, потому что они все заперли, а что нельзя было запереть — вынесли. Крысы и мыши прыгали по этой кондитерской и по окнам, и по стульям, и по столам.

В Сталюпень, первый прусский город, мы приехали в девять часов и тотчас же спросили себе бутылку красного вина и поздравили друг друга с приездом. Стены гостиницы оказались увешанными портретами членов

русской царской фамилии. Как в этом маленьком городишке все чисто, мило, светло. В то время как мы завтракали, к нам подошла какая-то родственница почтмейстера и обратилась к Каррасу:

— Прошлый раз, когда вы проезжали тут с американцем, месяц тому назад, вы забыли перчатки — вот они.

— Да здравствует прусская честность! — вскричал Каррас[1].

В Кенигсберг мы поехали в высокой четырехместной желтой карете. В карету было впряжено четыре лошади, по две в ряд, но на передней паре форейтора не было. Кучер в ботфортах, в высокой шляпе, с бичом и трубой».

«Берлин, 26 марта <1856 года>

В Берлин мы приехали уже рано утром по железной дороге, и он показался нам с хозяйственной стороны. Торговки несли припасы на рынок, или торговцы везли их в тележках, запряженных собаками.

Немало удивила меня запряженная двумя собаками в дышло тележка, в которой стояли жестяные кувшины с молоком, а подле шла молочница в зеленом платье, в черной мантилье и в черной шляпе».

В Берлине мы осмотрели все достопримечательности, и в памяти у меня сохранился только карлик, адмирал Том Пус. Такого карлика, по величине и соразмерности форм, должно быть, и не бывало с тех пор.

Из Берлина мы проехали в саксонскую деревушку Вермсдорф. Но, право, эта деревня лучше любого русского уездного города. Все улицы шоссированы, а перед каждым домом — садик, обнесенный живой изгородью. В гостинице мы наняли прехорошенькую комнату, на стене которой висели портреты масляной краской хозя-

---

[1] Но — увы! — через несколько лет мы с Николаем Васильевичем не могли бы сказать того же самого. Проезжая тут же, но уже по железной дороге, мы лишились самовара, который у нас вынули в багаже из закрытого ящика. Начальник станции посоветовал нам сделать заявление. Совет его мы исполнили, но самовара не получили. *(Прим. Л. П. Шелгуновой.)*

ина и хозяйки. Хозяин изображен с письмом в руках, а хозяйка нарисована сидящею на кончике дивана, и как будто ей ужасно узко платье или сзади колет булавка. В правой руке она держит розу.

Здесь, в гостинице, оказался зал собрания здешнего общества.

— По вторникам здесь бывают балы,— сказала мне горничная.

— Что же платят за вход? — спросила я.

— Платят за ужин десять зильбергрошей, и подают картофель, бифштекс, кофе, десерт и сыр.

Человек так создан, что не может не сравнивать того, что видит. Так и мы не могли не сравнивать деревни в Саксонии, в стороне от железнодорожной линии, с деревней в Новоузенском уезде, где мы вступили в разговор с бабой и должны были согласиться, что это вовсе не человек.

Хозяин наш, узнав, что мы желали бы посмотреть на бал у него в гостинице, сообщил об этом старшине клуба и в назначенный день пришел за нами в восемь часов и повел нас в зал. В зале был уже накрыт стол, и все сидели за столом. Николая Васильевича посадили подле какого-то молодого человека, а меня — подле пустого стула. Ужин начался с супа, и в продолжение всего ужина музыкант играл на фортепиано. Недалеко от меня сидела старуха, у которой я в то утро покупала тесемки. Она была в чепце и черной мантильке.

По окончании ужина на другом конце стола кто-то позвонил ножом по рюмке, и оратор громко сказал, что биллиард сокращал скуку длинных зимних вечеров и потому в честь его следует выпить тост.

— Го! го! го! — закричала вся зала.

Оказалось, что вечер этот давался на деньги, которые платили игроки за пользование биллиардом.

Вслед за тем около нас тоже постучали о стакан и предложили тост за нас, как за редких гостей. Все крикнули «го! го! го!» и начали с нами чокаться. Тосты предлагались и прозой и стихами, и ужин закончился тем, что все присутствующие пропели: «Wo ist des Deutschen Vaterland?» [1]. Столы убрали, посреди залы поставили рояль, и под звуки его начались танцы. Часа через

[1] «Где отечество германца?»

два явилась старуха с лейкой и стала поливать пол для того, «чтобы не было пыли, потому что пыль портит платья».

Из Вермсдорфа мы съездили на несколько дней в Лейпциг, где случайно познакомились с учеником лейпцигской консерватории, который посоветовал нам отправиться в театр, где давалась опера Мендельсона «Сон в летнюю ночь». Оперу эту ставил в Лейпциге сам Мендельсон, и в годовщину ее постановки съезжаются те же музыканты и дают в память композитора эту оперу. Мы пришли от оперы в полный восторг, и, как тогда, так и теперь, я жалею, что ее не дают в Петербурге.

Из Лейпцига мы вернулись в свою скромную деревню Вермсдорф. Жили мы в ней, потому что там было лесничество, в котором Николай Васильевич мог приобрести некоторые сведения. Неподалеку от деревни стоял замок Губертусбург, и в нем находился исправительный дом для женщин. По заведению проводить нас вызвался пастор. В исправительном доме три класса, и для отличия женщины одеты в разные формы. Если женщина попадалась несколько раз в исправительное заведение, то ей на рукав нашивалось столько желтых нашивок, сколько раз она попадалась. Работы раздавались, смотря по вине. С минуты вступления в дом виновной запрещалось говорить, за ослушание взыскивалось очень строго. Первое наказание заключалось в надевании на одну ногу кандалов, с прицепленной к ним двадцатифунтовой деревяшкой; второе наказание называется Engearest. Это крошечная клетка, но пол, стены и стул все зубчатые. Вместо платья надеваются штаны и куртка, которые запираются замком для того, чтобы нельзя было их снять и подложить под себя. Третье наказание — такая же зубчатая комната, но зубцы больших размеров. Обе комнаты совершенно темные. Четвертое — простой арест, в котором арестантка работает; пятое — спать в особой комнате. Мы вошли к одной арестованной и застали ее за работой. Она делала парик. При нашем входе она, вспыхнув, встала и опустила глаза. Как печь в ее комнате, так и постель ее, в виде ящика, были обиты. Пастор объяснил нам, что эта девушка страдала падучею болезнью. Лицо этой прелестной девушки долго не выходило у меня из головы. У нее был такой невинный голубиный взгляд, что невольно думалось — могла ли

такая девушка быть преступницей? Почем знать, может быть, теперь эту девушку стали бы лечить, а не наказывать?

В мае месяце я отправилась в Эмс лечиться и тотчас же познакомилась там с баронессой Притвиц. Дама эта была не глупее большинства богатых русских дам, разъезжающих по водам. Но знакомство с нею имело большое влияние не только на мою жизнь, но и на жизнь Николая Васильевича. При баронессе находился доктор Ловцов, который, познакомившись со мною, прежде всего стал спрашивать: что я читаю? Читала я романы. Сергей Павлович остался этим недоволен и дал мне «Былое и думы» Герцена. В продолжение шести недель курса я прочла все, что было издано из сочинений Герцена; когда Николай Васильевич приехал за мною, я познакомила его с Ловцовым, и вскоре Николай Васильевич сделался таким же поклонником Герцена, как и я.

В это же самое время в Эмсе брала ванны Татаринова, приехавшая с мужем, бывшим потом генерал-контролером. Как меня просвещал в чтении Ловцов, так и мне очень хотелось развивать ее, тем более что она выказывала мне большое расположение. Я посоветовала ей для начала читать романы Жорж Санда.

Перечитывая свой дневник, я нахожу в нем такое замечание: «Отчего это в богатых людях чаще встречается пустота, чем в бедных? Например, madame Притвиц волнуется от страха, что кто-нибудь из дам перебьет у нее фризера [1], а между тем она приехала лечиться, да и кроме того, Эмс окружен горами и лесами, смотря на которые как-то забываешь о пустяках. Я здесь живу двойственной жизнью. У ключа столько суетности, что я тотчас же заражаюсь ею. Всякая хочет одеться лучше другой, и я только о том и думаю, чтобы уверить себя, что это глупо, а между тем я все-таки женщина и мне хочется нарядиться. Придя же к себе в комнату, я отворяю окна, смотрю на зелень, на горы, и мне делается как-то грустно, но легко. Уходя с ключа, я думаю: «Ах, как тут пусто!», а отходя от окна, я говорю: «Ах, как тут хорошо!»

---

[1] парикмахера.

Николай Васильевич в это время ездил по своим лесным делам и писал мне очень часто. Он сильно скучал, что и видно из его писем, из которых привожу некоторые выдержки.

«<Ольденбург,> 27 мая 1856 года

Сегодня второй день, что я не обедаю и пью по утрам и вечерам кофе. Как пойдет дело дальше — не знаю, но мне хотелось бы выдержать месяц, если только не захвораю».

«<Ольденбург,> 29 мая <1856 года>

Сегодня я гулял утром до кофе и обошел весь город кругом в полчаса, это я говорю вам, не прибавляя ничего неправды; потом в другие полчаса я искрестил город по разным направлениям вдоль и поперек. При этом размечтался вот по какому случаю. Я хотел купить вам какую-нибудь безделушку, но ничего не нашел, такая дрянь магазины, что стыдно,— в Самаре гораздо лучше. А что же Михайлов, ведь и ему нужно, я так люблю его... тут пошли мечты дальше... Наконец приезд в Петербург, встреча с Михайловым, поцелуи — и я заплакал. Право, так — просто среди улицы,— даже стало стыдно, и я засмеялся сам над собою. Знаете что? ведь путешествие вещь очень скучная, оно может быть только тогда хорошо, когда странствуешь с теми, кого любишь, а один, как я теперь, просто тоска».

«Ольденбург, 30 мая <1856 года>

Ольденбург совершенно патриархальный город. Люди живут очень скромно, извозчиков нет — все ходят пешком. Но что значит любовь к родине! Сын содержателя гостиницы, в которой я стою, никак не верит, что может быть город лучше Ольденбурга. Вчера он уверял меня, что в городе есть замечательный замок, очень старый и древний. Пошли мы сегодня туда, и я точно увидел замок; был внутри, прошел все комнаты и увидел какую-то странную смесь нового с старым и не нашел ничего, стоящего внимания. Древности — это всего десять разных вещиц, между которыми есть один самопал, одни дрянные часы — вот и все. В этом замке жил покойный великий герцог, и все вещи лежат в таком поряд-

ке, как лежали при нем. Замечательно, однако, с каким благоговением смотрят немцы на своих королей — точно на богов; это я уже замечал во многих местах, заметил и здесь из слов провожавших меня лиц».

«<Гарцбург,> 31 мая <1856 года>

Я изменил свой образ жизни и в Ольденбурге постоянно обедал,— нельзя такому важному лицу, которому Негелейн делает визиты и которого он возит по окрестностям, не обедать,— да и к тому же я чувствую себя гораздо здоровее, когда поем и выпью пива. Несмотря на это, я все надеюсь сделать экономию, это мне нужно, и, когда при свидании с вами я объясню причину, надеюсь, вы бранить меня не станете».

«Гарцбург, 4 июня <1856 года>

Вам не знакома болезнь — тоска по родине? Мне тоже она незнакома, но я могу иметь о ней вполне ясное представление из другой болезни, которой я страдаю теперь,— это тоска по Людиньке. Я не шучу, я просто болен; еще когда я в лесу занят культурами — все легче, но как только дома, и особенно один, просто беда — ничего не хочется делать и ужасно скучно. Несмотря на это, я замечаю, что полнею с каждым днем все более и более; должно быть, моя болезнь имеет в основании тот же закон, как болезнь одного знакомого Щелкова,— когда он был влюблен, то ел за десятерых».

«<Гарцбург,> 5 июня <1856 года>

Вчера я делал тур по лесу, до обеда путешествовал с одним господином, потом в лесу нас встретил другой — все это было устроено заранее,— и мы отправились дальше. В два часа мы пришли к этому другому. Это ревир ферстер [1] Кобус. Подобного гостеприимства еще не встречал в Германии. Жена Кобуса, очень здоровая и немолодая баба, прислуживала сама за столом. Первое было нечто вроде нашей тюри,— это тертый ржаной хлеб, белое пиво, немного вина и очень много сахару.

[1] окружной лесничий.

Я насилу съел одну тарелку, но пришлось съесть еще, потому что хозяева просили, и я из любезности ел до тошноты; второе блюдо — блины с брусникой; третье — хлеб с маслом, наконец сушеные яблоки и кофе. Очаровательная хозяйка, чтобы полакомить гостя, купила какое-то кольцо из теста, вроде заварного, напоила меня до тошноты кофеем, и этого мало,— когда не больше чем через час я пошел в лес, чтобы добраться до дому, а для этого нужно было пройти семь верст,— то она притащила еще бутерброды. Истинно по-русски; ничего подобного я не встречал до сих пор и был совершенно доволен такими славными немцами».

«Гослар, 6 июня <1856 года>

Со мной случаются странные вещи: то мне очень скучно, то я готов хохотать и смеяться. В такие счастливые минуты я обыкновенно разговариваю с вами.

Не будет ли лучше, если вы напишете тоже письмо к Хитрово? Мне так хочется ехать во Францию, что моя поездка за границу без поездки в Париж будет иметь для меня только половину цены. А как вы знаете, если чего очень желаешь, то боишься, что желание не исполнится, поэтому я очень боюсь и как-то слабо надеюсь, что к 1 июля Хитрово вышлет деньги во Франкфурт. А если еще, на беду, откажут в премии? Вот уж это будет тоска. Впрочем, давно известно, что я глуп и создаю препятствия, где их нет».

«Герцберг, 7 июня <1856 года>

Сижу я в настоящее время на маленьком диване, в очень маленькой комнате и в самом верхнем этаже гостиницы, передо мною в красном деревянном подсвечнике стоит сальная свеча. Эта обстановка, несмотря на свою печальную наружность, очень мне нравится, ибо представляет в приятной перспективе *небольшой счет*. У меня, как вы уже заметили, главный вопрос — дешевизна, и приятные улыбки кельнеров, швейцаров и комиссионеров гостиниц первого класса очень не нравятся, потому что за эти приятные улыбки надо платить.

Кроме этого, мне очень не нравится, что я тороплюсь, я не успел даже написать к Хитрово и поэтому боюсь,

les femmes soient libres, éclairées, livrées, à leur propre génie pour qu'il sache et puisse se rélever.

Que les femmes de tous les pays se donnent la main...»[1] и т. д.

Этот месяц, проведенный в Париже, совершенно одурманил меня. Я дошла до того, что бредила эшафотом. Теперь это от меня так далеко, что я могу спокойно вспоминать и оправдывать одну русскую даму, которая, поговорив со мною, сказала мне полушутя, полусерьезно: «От вас каторгой пахнет!» Тогда я пришла от этого в совершенное негодование, но теперь, через сорок с лишком лет, я вижу, как многие были правы.

Из-за границы мы проехали прямо в Лисинское учебное лесничество, где попали в омут дрязг, сплетен и служебных неприятностей. Николая Васильевича там невзлюбили, и мне, конечно, старались делать во всем неприятности. Например, директор Лисина накричал на мою прислугу, что будто она выливает помои из окна кухни. Я приглашена была на двор, чтобы взглянуть на это безобразие. Настолько я была благоразумна, что не спорила с директором, хотя всякому было ясно до очевидности, что в течение одной зимы, когда были вставлены окна, нельзя было выпачкать стену, тем более что под окнами всех кухонь были такие же грязные полосы. Затем, все служащие выписывали журналы, но мне никогда не доставалось ни единого номера, и не будь там милого и доброго доктора Матвеева, нашего большого приятеля, который брал книги для себя и передавал мне, меня бы там совсем съели.

С наступлением весны Николай Васильевич начал ходить с молодыми лесными кондукторами в лес на практические занятия и возвращался всегда не только утомленным, но и возмущенным. А возмущало его вот

[1] Все пороки, все несчастья, как общие, так и частные, являются результатом приниженного положения женщины в государстве, обществе, семье и в образовании. Женщины в этом угнетенном состоянии приобретают все пороки рабства, а так как они суть первые воспитатели мужчин, скрыто влияющие на них и управляющие всей их жизнью, то этим понижается и уровень мужского характера, заглушаются высокие стремления. Если мы хотим освободить мужчин и вообще человечество, необходимо, чтобы женщины стали свободны, образованны, начитанны и могли бы расцвести в соответствии с собственным духом. Пусть женщины всех стран объединятся...

что. Казенная лисинская дача была вырублена воровским образом, и не тронутым лес оставался только по окраинам. Во время же ревизии столбы с вырубленных участков переносились на невырубленные, и ревизор, таким образом, бывал обманут.

— Да ведь здесь в лесу всякий дурак выучится воровать,— говорил Николай Васильевич.

Вдруг ни с того ни с сего директор присылает мне новый журнал и спрашивает, какой журнал я желаю иметь. Я пришла в полное недоумение, которое тотчас же и сообщила доктору. Мы вместе подумали, но не пришли ни к какому заключению. Через некоторое время доктор приходит и говорит, что Николая Васильевича прочат на какое-то новое место в Петербурге. Я же молчала об этом, потому что уже получила следующие письма:

«Все эти командировки и служебные треволнения до того отучили меня от Лисина, что я, не считая себя лисинским жителем и убежденный в переводе, сам не зная куда, жду чего-то — и не дождусь. Неловкость такого положения тем более неприятна, что хотелось бы упрочиться в Питере и все читать, читать, читать и покупать книги. Людинька, ведь мы устроим библиотеку, а? и хорошую? Голубушка, прощайте, я здоров, ем, сплю хорошо».

«Новая деревня, 5 июня <1857 года>

Я теперь решительно отрезался от Лисина и там был бы не в состоянии работать.

Не говорите обо всем этом никому ни слова.

Могу сообщить вам и интриги против меня. У Арнольда был Мальгин, и когда Арнольд сказал ему, что министр хочет взять с собою свободного офицера, то Мальгин ответил: «Я свободен и, пожалуй, поехал бы». А когда Арнольд сказал, что имеет в виду меня, то Мальгин, с видом участия, заметил: «Напрасно Шелгунова — он двуличный». Здесь, я думаю, просто выразилось желание Мальгина синтриговать и ехать вместо меня (в чем я, впрочем, сомневаюсь, то есть в своей поездке).

Вместо меня будет командирован в Лисино на лето Холщевников,— вот вам маленькое развлечение. Это барин с толком, но он немного фанфаронит и ленив. Пожалуйста, повлияйте на него, чтобы из него мог

что к 1 июля нового стиля у нас не будет денег для поездки во Францию, а через это мы потеряем и летнее время, и лишние деньги».

После Эмса мы уехали в С.-Мориц на железные воды, тогда только что открытые, так что мы с Татариновыми были первые русские, посетившие эти воды. Madame Татаринова очень ко мне привязалась, но по секрету сообщила мне, что муж недоволен ее дружбою со мной потому, что я посоветовала ей читать Жоржа Санда. После этого мне уже не удалось ей посоветовать читать Герцена, потому что муж не оставлял ее со мною глаз на глаз. После же разных споров с Николаем Васильевичем он говорил жене, что мы опасные мечтатели. Так знакомство наше и прекратилось. Но, должно быть, опасные мечтатели засели в душу молодой светской и даже придворной дамы. Много лет спустя Гербель рассказывал мне, что был на каком-то великосветском рауте и там, разговаривая с madame Татариновой, упомянул нашу фамилию и был очень удивлен, с каким волнением и нежностью она расспрашивала у него обо мне.

— И мне показалось,— прибавил Гербель,— что воспоминание о знакомстве с вами она лелеет как какую-то далекую, чудную мечту.

Ловцов нам дал адрес в отель в Париже, но, прежде чем ехать в Париж, мы из С.-Морица проехали в Швейцарию. Тогда путешествие по Швейцарии было действительно интересно, потому что железных дорог не было и ездили в дилижансах или ходили пешком.

Писать о Швейцарии здесь не приходится, и в памяти у меня особенно остался только собор в Фрибурге, куда вечером за небольшую плату пускали слушать орган. В церкви было так темно, что я чуть не наткнулась на что-то вроде гроба, и мне стало страшно. Тишина была мертвая, и при звуках органа мне стал понятен фанатизм католиков. Несмотря на плохую игру органиста, удовольствие получилось большое.

Въезд во Францию вызвал в нас новое и странное ощущение. Мы ехали в почтовой карете, и часов в одиннадцать ночи нас привезли в какие-то ворота и заперли их за нами. Перед лошадьми ворота тоже были заперты,

а по бокам кареты с обеих сторон шли площадки, освещенные двумя фонарями. По правую руку стояло существо мрачное, в наполеоновском плаще, в его шляпе и с булавою. Тут же стояло несколько солдат. Все это было так мрачно, что на сердце невольно налегала какая-то тяжесть. Дверца кареты отворилась, и один из солдат закричал самым грубым голосом:

— La douane — sortez s'il vous plait![1]

Всем чиновникам страшно хотелось спать, и потому они были довольно милостивы и не очень рылись.

В Париже мы проехали прямо в rue de la Michaudière, hotel Molière, хозяйка, mademoiselle Максим, отставная актриса с небольшой сцены, говорила с трагическими жестами обо всем. Указывая нам на мебель в комнате, она воскликнула, как Сарра Бернар, подняв руки:

— N'est ce pas... c'est sublime![2]

Сожитель ее, m-r Fauvety, редактор очень серьезного журнала «Revue philosophigue et religieuse», как человек занятой и серьезный, находился в подчинении у Максим и много возился с птицами, которых сам чистил. Кроме того, у этой четы была масса собак и кошек.

У них мы познакомились с m-me Jenuy d'Héricourt, docteur en médécine, очень некрасивой толстой маленькой женщиной, у которой я была на вечере и познакомилась со многими французскими писателями того времени.

Madame d'Héricourt была рьяной противницей Прудона и горячей защитницей женщин. Женский вопрос в России очень интересовал ее, и она с любопытством обо всем расспрашивала. Вот что она писала мне, между прочим, <из Парижа> 10 августа 1856 года:

«Tous les vices et tous les malheurs generaux et particuliers sont le résultat de l'inferiorisation de la femme dans l'état, la cité, la famille, l'éducation. Les femmes, dans cet ètat, de compression, prennent tous les vices de l'esclavage, et comme elles sont les premières institutrices des hommes, les influencent et les dirigent occultement toute leur vie, le caractère masculin se trouve abaissé, les grandes aspirations s'eteignent. Si donc nous voulons émanciper les hommes et l'humanité, il faut que

---

[1] Таможня — прошу выйти!

[2] Не правда ли... это великолепно!

выйти полезный человек и гражданин; жаль, когда подобные натуры не приносят той пользы, какую бы могли приносить.

Сегодня на радостях купил для вас подарки, именно: «Слово о полку Игореве» Мея, Пыпина — «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских», «Горе от ума», Шиллера, издание Гербеля. Будете ли довольны — не знаю. Купил еще книжицу, но не скажу какую, отгадайте.

Этим известием кончаю свое письмо. Прощайте, голубчик. Как бы сделать, чтобы вы не скучали в этом поганом Лисине? Я думаю приехать к вам в понедельник во всяком случае; при поездке с Муравьевым — чтобы проститься с вами и взять вещи, а в случае не поездки — для летних работ. Кажется, берег недалеко, и можно уже мечтать жить будущей зимой в Питере с приличным содержанием и иметь в месяц за расходами на квартиру еще сто рублей на хозяйство. Прощайте, голубушка, еще раз, для меня весело жизнь улыбается, и я живу, жаль только, что вы как пень среди долины».

Николай Васильевич заехал за мной, и мы с ним проехали в Новгород, где я и пробыла несколько дней, а затем уехала в Лисино.

Вот что писал мне Николай Васильевич о своей поездке с Муравьевым:

«Новгород, 4 июля <1857 года>

Завтра в девять часов утра я выезжаю в Тверь. Сначала на пароходе, потом по чугунке.

Как вы добрались домой? приехал ли Михайлов? Может быть, я забегу к нему в Москве. Я занят теперь собиранием сведений — теперь кончил.

Хотел писать путевые впечатления, может быть, впоследствии будет время, а теперь недостает. Уверен, что для вас подобные записки будут интереснее моего настоящего казенного письма,— и думаю, что в Твери найду для этого время. Теперь прощайте. Не забудьте же написать мне письмо в Москву, отправьте десятого, адресуя чрез московскую палату государственных иму-

ществ, а в конце припишите: *в Москве.* Не сердитесь за последнее замечание,— ведь случалось ошибаться в подобном роде.

Я начинаю влюбляться в Гине, или сначала.

Я говорю Гине: «Гине, я напишу жене, что начинаю влюбляться в тебя и что ты ей кланяешься?» — а он мне ответил: «И очень». К чему относится это «и очень» — к моей ли любви или к поклону вам, спросите Гине сами. Он мне не отвечает, потому что сочиняет рапорт к министру».

«Москва, 25 июля <1857 года>

Надобно быть чиновником при Муравьеве, чтобы понять, что значит работать свыше сил. Бывает, что делается в голове такой жар, налегает такой туман, что кажется, так вот и свалишься,— а ничего, работаешь. Я дохожу до убеждения, что все это дичь, и если придется всегда работать таким образом, не имея времени ни жить жизнью человека, ни читать,— то мое почтение, г. Муравьев, будьте здоровы и ищите себе другую машину.

Сейчас еду в Рязань, лошади на дворе, смазывают тарантас.

Пишу урывком, тороплюсь, ибо вчера Муравьев, прощаясь со мной, сказал: «Вы едете завтра раненько». Может быть, он думал, что я полечу в четыре часа утра, но ошибся, ибо теперь восемь,— а я еще не мылся, не уложился и пишу настоящее письмо в таком костюме, в каком бывают мужчины всегда утром, только что встав с постели.

Пишите мне в Тамбов. Ваше письмо уже должно быть отправлено.

Радуюсь за вас — вы не должны теперь скучать; но мало радуюсь за себя, ибо знакомлюсь не с Россией и лесами, а с управляющими палатами и губернскими лесничими».

«Тамбов, 2 августа <1857 года>

Проект писать интересные письма с моей стороны невыполним и вот почему: вчера я лег в двенадцать часов, а теперь шесть утра, и я пишу уже и сейчас же отправляюсь в палату. Так работаю каждый день, слу-

чается, что сплю четыре часа. Молодость помогает, но бывает, что изнемогаю.

Не знаю, глуп, умен, красив, безобразен, толков или нетолков я, но Муравьев благоволит ко мне настолько, сколько можно от него ожидать. Мне говорили даже, что он меня хвалил. Из Рязани я ехал с ним, то есть не в одном экипаже, а в одном поезде.

Полагаю, что наше предположение, ожидание или надежда осуществится; впрочем, после Новгорода об этом не было речи, а мне начинать говорить или спрашивать не приходится.

Я здоров, но хочется спать и боюсь отупеть.

Для чтения нет ни секунды».

«Пенза, 5 августа <1857 года>

Писать вам, что я заработался до боли в можжечке, незачем — скучно, а более интересного нет ничего. Чистая машина,— так можно поглупеть, а это скверно.

Сегодня пензенское дворянство дает Муравьеву обед, я тоже в числе гостей. Впрочем, это все дичь и только отнимает время, а поесть, как вам известно, я нынче не люблю.

...Ничего не читаю, а пишу только ревизии, страшная дичь и тоска; главное, что имеешь дело с дураками, хорошие люди редки.

Знаете что, Русь нравится больше, когда далеко от нее, а когда в ней, а особенно в середине,— дичь, дичь, дичь, застой и тупость. Ей-богу, страшно.

А другое — не сообразишь с деньгами. Я думал расходовать не более трех рублей в день, а выходит значительно более. Боюсь, что недостанет и зарвусь в ваши деньги; кажется, так и будет».

«Саратов, <середина августа 1857 года>

Пишу к вам в очень нехорошем состоянии духа. Самое скверное — зачем нет у нас ни гроша. Не служил бы ни минуты. Муравьев мне не нравится сегодня до того, что я готов выйти в отставку сию же минуту. Писать, почему все это так — не стоит; дело в том, что нехороший человек этот барин, и сомневаюсь, выйдет ли толк

из нового управления. Нужно широкое сердце, а этого-то у нас и нет.

Саратов мне напомнил Самару,— та же пыль, та же жара, в физиономии домов то же общее; как это жилось в такой дичи? А между тем жилось и нравилось и глупость людская принималась за человеческое.

Мне кажется, что самое несчастное существо есть мыслящий чиновник: он страдает вдвойне — и за жизнь, то есть тупость общую, и за тупость высших лиц, на долю которых досталось управлять людьми и строить их благоденствие.

При скверном вообще положении русского человека в России самый счастливый тот, кто не служит, а за ним — тот, кто работает для науки. Посмотрю, что будет дальше, и, может быть, стану проситься в Лесной институт. Уживусь ли и там? И отчего я не бываю нигде доволен? Или это хорошая, или дурная черта? Или, может быть, я болен? Правда, я измучен бессонными ночами, беспрерывной работой и ездой, и спина моя плохо гнется. Дело в том, что мне не хочется никого видеть, ни с кем говорить — все это какие-то льдины, существа в образе людей, но не люди. Чиновные машины, эполеты и звания на ходулях. Тоска. В свите Муравьева только один человек с сердцем — Лазаревский, но и с тем говорить некогда. Бедный, затрудился и тоже не спит.

Отчего это мне хорошо только с вами? Нет, не с одними вами, и с Михайловым, и с Евгенией Егоровной, и с Гримме, и с Гине, и с Яроцким. А с остальными все как-то неловко, и голову сжимает, и коробит сердце — одним словом, я не в своей тарелке.

И сегодня не хорошо. Телом я здоров, за исключением спины, которая гнется не совсем свободно,— это от излишнего сидения; а духом почти по-вчерашнему. Нето скучно, не разберешь. Или оттого, что в городе много пыли и жару. Какое было счастливое лето 1856 года. Неужели оно не повторится?

Всматриваясь в Саратов и припоминая Самару, я ни за что в мире не соглашусь служить в провинции — или в Петербурге, где хоть редки, но есть хорошие люди, или где-нибудь на хуторе в Малороссии. Там, среди зелени, на чистом воздухе, работая в саду и огороде с двумя хорошими людьми, и кровь поуходится.

Жаль, что своих денег нет, а пенсиона ждать долго; да и то много ли достанется — каких-нибудь девятьсот рублей. Да, не хорошо настоящее, но не розово и будущее. Одним словом — свинство.

Что у вас в Лисине? Читаете, гуляете? А я не имею даже времени писать письма. Неужели, если состоится наш перевод, будет то же,— я вовсе не намерен превратиться в чиновную машину. Прежде не было времени читать литературное, а теперь недостает читать и свое — лесное. Не браните, что пишу дичь. Пусто и в голове и в сердце.

Еще вопрос: неужели необходимо, чтобы человек был иногда не человеком? Посмотрите на губернатора или министра, когда он принимает просителей или подчиненных,— человек это? Нет. А отчего нет? Или это делается для толпы, в которой не хотят видеть ничего человеческого; да и так ли? А если быть человеком, неужели пойдет хуже? Говорят, что драпировки и ходули не должны существовать в XIX веке. Я думаю то же.

Такое рассуждение веду потому, что если я буду губернатором, то прежде всего я постараюсь быть человеком. До сих пор я никогда не драпировался, полагаю, что сохранюсь. Не смейтесь над моим губернаторством — мне хотелось бы быть такой важной особой для того, чтобы доказать нынешним губернаторам, что у них нет толку именно потому, что они забыли, что губернатор тоже человек. А не человеку может ли быть понятно человеческое? Понятна ли жизнь? Я думаю, что от непонимания этого у нас именно и существует так много разных свинств и пакостей».

«Нижний Новгород, 2 сентября <1857 года>

Вы для меня все, все, все, больше всех лесоводств, технологий, таксаций и всех знатных и сильных сего мира.

...Что будет с нами — не знаю. Муравьев глядит на меня доверчиво и тепло, между тем не думаю, чтобы он сделал какое-нибудь распоряжение раньше приезда в Петербург. В Москве мы будем к десятому, а к двадцатому сентября надеюсь приехать в Лисино.

Вчра Николай Васильевич получил приказание ехать дальше, но не прямо в Владимир, а верст на сто

дальше; а как фамилия Шелгуновых отличалась всегда безденежьем, каковая участь гнетет ее и в настоящее время, то Николай Васильевич, не имея средств купить что-нибудь теплое, немного смущается этой излишней поездкой, ибо ночи стоят очень холодные. Впрочем, куплю себе валенки».

Во время поездки Николая Васильевича с Муравьевым ко мне в Лисино приехал Михайлов и страшно захворал тифом с каким-то страшным осложнением. Милейший доктор все ночи проводил у нас. Недели через две после начала болезни, увидав какое-то осложнение, он сказал мне, что не надеется на себя и поедет в Петербург, чтобы посоветоваться кое с кем, и привезет с собою доктора. На следующий день он вернулся с своим товарищем, Николаем Степановичем Курочкиным.

Брат же доктора Курочкина, Василий Степанович, переводчик Беранже, настолько близко познакомился с нами, что приезжал к нам гостить на рождество. Сойдя в Тосно с поезда, он стал нанимать в Лисино лошадь, и к нему подошел какой-то лицеист в треуголке, который, как попутчик, предложил ему ехать вместе. Мороз был сильный, и на полдороге лицеист стал мерзнуть, и уши у него побелели, как бумага. Курочкин выскочил из саней, набрал снега и стал натирать уши юноше. В Лисино они въехали, погоняя лошадь, и тут вышли у одного и того же крыльца, и только когда доктор развязал уши лицеисту, то Курочкин узнал, что это мой брат, Евгений Петрович Михаэлис, а брат узнал, что он ехал с переводчиком Беранже.

Доктор Курочкин пробыл у нас день и затем уехал. Он был такой же брюнет, как и брат его, и сходство между ними особенно заметно было в голосе и в не совсем чистом произношении слов.

Михайлов прохворал очень долго и долго боролся со смертью. Когда он начал поправляться, то пускался даже на воровство, чтобы получить лишний крендель. Пойманный однажды мною у буфета, он не в шутку на меня рассердился.

Осенью мы переехали в Петербург, так как Николай Васильевич получил место начальника отделения,

и Михайлов поселился с нами. В эту зиму мы бывали довольно часто у Надежды Дмитриевны Хвощинской, остановившейся у какой-то своей родственницы. Там часто бывал поэт Щербина, маленький, довольно расплывшийся человек, с красивым, вызывающим лицом. Родственница Хвощинской, великосветская дама, ходила на задних лапках перед Щербиной, который, очевидно, был очень доволен этим поклонением. Я как теперь помню, как раз Щербина, войдя в гостиную, заявил, что он выносить не может запаха цветов, и хозяйка и весь штат ее бросились выносить жардиньерки с гиацинтами и другими цветами. Суматоха была такая, что со стороны можно было подумать, что явились артельщики перевозить жильцов на другую квартиру. Щербина был человек желчный и никого не оставлял в покое своими эпиграммами. Я уверена, что у кого-нибудь они сохранились и когда-нибудь выползут на свет.

Гербель в это время начал собирать переводы для издания Шиллера и беспрестанно ездил к Михайлову, который и переводил ему и делал указания. Гербель был тогда лейб-уланом, и, когда приезжал к нам в парадной форме, мы им любовались, как картиной. Это был высокий, стройный мужчина с пепельно-белокурыми волосами и необыкновенно красивый. Потом, выйдя в отставку, он растолстел, обрюзг и потерял свою красоту. Это был очень добродушный и хотя простоватый человек, но себя он никогда не забывал. Ему очень нравилась одна из моих приятельниц, очень умная и талантливая девушка, и когда я ему говорила: «Если она вам так нравится, то почему же вы на ней не женитесь?» — он отвечал мне, что никогда не женится на девушке с прошлым.

Михайлов, видя, как нам хотелось войти в литературный кружок, пригласил к нам Писемского, слава которого тогда сильно гремела. Кроме Писемского, собрались к нам наши обычные гости, и вот за ужином я превратилась вся в слух и глаз не спускала с выдающегося, талантливого писателя; а писатель между тем пил водку рюмку за рюмкой и заговорил самым простонародным языком, нарочно выделяя такие слова, как мещанка, которое он произносил «мешанка», и т. д. Одним словом, он напился так, что начал рыгать. Мне сделалось больно и обидно, и я встала со своего стула, отошла к две-

рям гостиной и встала в дверях. Ко мне подошли Михайлов и Павел Васильевич Анненков.

Павел Васильевич был совсем сконфужен.

— От лица всей литературы нам нужно просить прощенья у Людмилы Петровны за сегодняшний вечер,— сказал Анненков, обращаясь к Михайлову.

— Это надо было предвидеть,— отвечал Михайлов.

— Молодая, восторженная женщина хотела видеть автора тех вещей, которые ей нравились в печати, и что же она увидала? — продолжал Анненков.

И тут же кто-то рассказал, что Писемский напился у Тургенева и, тыкая горящей папироской в резьбу дорогого кресла, говорил:

— А вот ему, не заводи сторублевых кресел.

Тургенев так смущался присутствием такого пьяного человека, что очень обрадовался, когда тот собрался уходить, и пошел провожать его в прихожую, где Писемский никак не мог попасть ногой в галошу. Писемский сейчас же смекнул, что тот хотел поскорее избавиться от него, и тут же в прихожей стал язвительно над ним издеваться. Он сам рассказывал всем это происшествие, и впоследствии мне самой привелось слышать его рассказ.

Писемский в то время был уже толстым и обрюзглым и имел весьма неряшливый вид. Он был женат на Свиньиной, и жена его в литературных кружках называлась святой женщиной за ее снисходительное отношение к мужу, которому она извиняла его страсть к вину и поклонялась как даровитому писателю.

У Михайлова бывал Мей и, конечно, приходил на нашу половину. Мне особенно памятен один день, когда он пришел во время нашего обеда, и как мы ни упрашивали его сесть с нами, он ни за что не хотел и стоял в дверях. Мне показалось, что он смотрел на нас как-то особенно странно. После обеда он тотчас же увел Михайлова, и оказалось, что он приходил просить у него три рубля, говоря, что сегодня не на что было сделать обеда.

Мей был женат, и, кроме того, у него жила сестра жены. Нужда не отходила от их дверей, может быть, потому, что Мей любил выпить, но выпивший он не походил на Писемского, а старался сохранить свой лицей-

ский лоск. Он написал мне стихотворение; потом просил у меня его обратно, но я не отдала.

Вот оно:

ЗАГАДКА

Людмиле Петровне Шелгуновой

Развязные, вполне живые разговоры,
Язвительный намек и шуточка подчас,
Блестящие, как сталь, опущенные взоры,
И мягкий голос ваш смущает бедных нас,
Но угадайте, что поистине у вас
Очаровательно и сердце обольщает?
В раздумье вы?.. так я шепну вам на ушко:
Кто знает вкус мой, тем и угадать легко,
А кто не знает, пусть посмотрит: угадает...

Л. Мей

10 декабря 1857 года.

Майков очень часто бывал у Михайлова, и все свои стихотворения читал ему, как читал и Полонский, о чем сохранилось у меня письмо. Тургенев же уехал за границу, и, как говорили, навсегда. Это всех очень огорчало. А. Н. Майков написал ему письмо, и они с Михайловым дали мне его переписать, говоря: «Когда будете писать свои воспоминания, то письмо это вам пригодится». Они были правы. Я нахожу его в высшей степени характерным для освещения настроения того времени. Вот оно:

<Петербург,> 5 декабря 1857 года

Милый, дорогой Иван Сергеевич! Если уж я не могу победить в себе желание написать вам это письмо, может быть не имея на то никакого права, то уж это одно показывает, что дело, о котором я буду говорить вам, в высшей степени важно. Я не могу не сокрушаться сердцем, слыша разные известия о вас, слыша, как вы упали духом, как вы усумнились в вашем призвании и таланте, как вы, с сожалением смотря на якобы неудавшуюся свою деятельность, без цели *влачите ваши дни* посреди чуждых вам краев... Иван Сергеевич! напустить на себя такую дурь — грешно! Вы — чистейшее, благороднейшее и даровитейшее явление в нашем литературном кружке,

вы, который должен сознавать и чувствовать благотворное влияние свое на этот кружок,— вы от него отвращаетесь! Наше общество вообще молодо и незрело; оно и внешних форм разумной жизни себе не выработало, то же самое отражается и в литературном мире: ведь вы должны (и делали это) ему давать тон, вырабатывать для него формы, облагораживать и связывать его своею чудною душою. Да если бы у вас и не было вовсе таланта, то уж эта душа, любящая и чистая, постоянно пребывая в этом кружке, на то дана вам, чтобы, сталкиваясь с нею, мы все становились лучше, учились бы, как быть, как встречать события большие и мелкие,— словом, эта душа должна бы сглаживать неровности и шероховатости наши, цивилизовать нас. А к кому обратиться за советом? Кто примет чужое дело за свое и скажет любящее слово ободрения при упадке духа, кто кротко остановит на ложном уклонении? Иван Сергеевич! Ваша душа есть сама по себе талант, и если уж вы сами посвятили ее известному кружку, то уж он имеет на нее право, он смеет требовать ее к себе, он не может терпеть, чтобы она скиталась, бесприютная и праздная, в божьем мире, без дела, без пользы, без исхода любви, ее наполняющей.

Подумайте, в какое время мы живем! Старое борется с новым. Новое само по себе представляет хаос, в котором искры света мелькают и не собрались еще в один фокус, чтобы засиять солнцем; надобно усилие многих голов и лучших умов нашего поколения, чтобы каждый и пером и словом содействовал появлению света, сближением отвлеченных идей и страстных желаний с действительностью и возможными законными формами. И вы, на которого всякий гимназист указал бы в этом случае, вы позорно хандрите на каком-нибудь Корсо и оставляете нас, пигмеев, барахтаться с своими умишками, чтобы подвинуть хоть на шаг благое дело. Теперь в ходу дело о пересмотре цензурного устава, составился комитет для этого, и меня туда всунули. Я не уклоняюсь, потому что знаю, что и это счастье, что хоть один я подам голос, как сын нового времени, но меня бесит, что это я, что не лучший меня, не законнейший представитель занимает мое место. Положим, что я назначен как чиновник министерства народного просвещения,— и положим, что еще не подвинешь у нас на то, чтобы для

составления этого устава призвали также и литераторов,— вы все-таки своими связями, словом, авторитетом могли бы подготовить умы прочих членов для действия в таком-то духе. Конечно, все наши товарищи будут в это время ходить и к Щербачеву и к Вяземскому — но все ли могут с таким жаром выразить общую мысль? Нет, опять-таки грех вам спокойно распивать скверный шоколад в Кафе-Греко или на минуту знакомиться с тысячами англичан, французов, итальянцев и немцев, до которых вам нет ровно никакого дела! И что может быть у вас с ними общего? О, заблуждение! Я понимаю, что вы должны себя там чувствовать больным — больным оттого, что вокруг вас нет сферы сочувствия, нет любви, вам нет значения, нет общих стремлений, которые бы связывали и хватали горячо за сердце! Вспомните — тяжелые годы вы проводили здесь, вместе со всеми страдали,— и чуть первые волны света появились и еще не слились даже в один луч — вы ушли под чужое солнце,— да оно вас не греет — и не согреет! Наконец, в самом вашем разочаровании насчет таланта неужели не чувствуете вы этой Немезиды? Да кто и что скажет вам об этом таланте? над чем там выразится ваша сила? Уж не французские ли переводы ваших сочинений покажут иностранцам, что и кто вы? Для них это curiosité littéraire[1], и больше ничего. Да, я не могу иначе себе объяснить вашего постоянного упадка духа — я, который на себе испытывал всю прелесть и грацию вашей музы, не говоря уже и о том, что грудь ее наполняет. Батюшка Иван Сергеевич! ручки ваши целую; плачу, пиша эти строки; бросьте все в Европе, бегите к нам скорее, вы — Антей, сын родной земли, скорее ступите пятою своею на родную, и прежние силы и молодость, с прибавкою еще возмужалого ума, опять пробегут живительной искрой в вашей душе. Бросьте все там! Возвращайтесь сюда! Здесь строится, нужны работники — а главного артельщика и нет!..

Ну, кажется, я излил свою душу вполне. Ох, тяжело мне бывает на это решиться. Жизнь сделала меня робким. Много раз оскорбленный в чистейших моих убеждениях (к сожалению, часто ошибочных), я как-то боюсь теперь выходить из себя, но не уклоняюсь от мечты все-

[1] литературная достопримечательность.

таки принести пользу по мере сил — и не извиняюсь перед вами, что осмелился вам докучать моим письмом. Нет, что я говорил, то правда, и я не каюсь в том, хоть бы вы и обругали меня; не каюсь, потому что люблю вас, а любить не страстно я не умею. Авось-либо — до скорого свидания. Ваш *А. Майков*».

Все мы с большим нетерпением ждали ответа на это письмо. И ответ пришел, но я его даже не помню. Знаю только, что на следующий год у меня в гостиной у камина сидел Тургенев, и гувернантка моей сестры, очень восторженная особа, проходила несколько раз мимо, чтобы посмотреть на автора романов, которыми она зачитывалась, и не могла рассмотреть его, потому что Тургенев находился в таком подавленном состоянии, что сидел, закрыв лицо рукою.

Я помню очень хорошо, как он высказывал свое недовольство русской литературой и говорил, что даже редакция «Современника» представляет из себя какое-то гаерство.

Николай Васильевич между тем, будучи начальником отделения, проводил в департаменте целые утра до позднего обеда, затем занимался как редактор «Газеты лесоводства и охоты», да еще, кроме того, зачастую, когда все мы ложились спать, то часа в три вдруг раздавался звонок, и оказывалось, что Муравьев, очень мало спавший, требовал к себе Николая Васильевича для разъяснения какого-нибудь вопроса. Такая жизнь не могла не расстроить нервов Шелгунова, и он настолько стал хворать, что, не чувствуя никакой особенной болезни, нередко по целым дням лежал в кабинете на диване. Результатом его болезни была наша вторая поездка за границу.

За границу мы поехали с Николаем Васильевичем вместе, но я уехала на воды в Крейцнах, а он проехал на воды в Франценсбад. В эту поездку мы встретились в Берлине с Гербелем и Колбасиным, напечатавшим какую-то повесть. Увлекающийся Тургенев страшно носился с этим Колбасиным — еще молодым человеком — и предсказывал, что из него выйдет гениальный человек. Тургенев всегда и горячо приветствовал начинающих писателей.

Мы проехали с Колбасиным и Гербелем в Дрезден и Лейпциг и затем все разъехались по разным местам.

В то время как я лечилась в Крейцнахе, Николай Васильевич писал мне письма. Привожу кое-что из сохранившегося у меня.

«Франценсбад, 21 июня 1858 года

Мне кажется, что в деле я гораздо умнее, чем в слове. Помните ли, как я важничал в Лейпциге? Кончилось, однако, тем, что по приезде в Франценсбад я сел тотчас же писать к вам, ибо чувствую необходимость поговорить с вами. Брак объясняют привычкой; но в моих отношениях к вам есть нечто более привычки, есть истинное чувство, которое я высказываю за глаза — нежными именами, а в глаза или козлиными восторгами и прыжками, или неприятностями, которые я так часто делаю вам.

С Колбасиным я доехал до Plauen'а и там сдал его кондуктору, который обещал препроводить его и его вещи до Швейнфурта. Думаю, что кондуктор исполнит все это честно, тем более что имеет в виду получить на водку.

Колбасину хотелось бы ехать в компании с такими хорошими людьми, как вы, Гербель, Михайлов и я, в Лондон. Мне кажется, это можно уладить — нужно списаться, уведомьте, когда вы едете на морские воды, куда и насколько, тогда мы можем съехаться и плыть все вместе в Лондон. Я буду писать Колбасину в Киссинген.

На дворе слякоть и дождь, напоминающие Петербург. Я пил сегодня воду; встретил много русских; думаю, что русские, потому что только австрийская аристократия и русские генералы и дамы могут держать себя так глупо».

«<Франценсбад,> 26 июня <1858 года>

Я, кажется, писал вам о своем плане: после курса, до поездки во Францию, заехать к вам на день. Не знаю, будете ли вы рады, но я буду в восторге.

Знаете ли что? У меня слабы глаза, я не могу читать, особенно эти поганые немецкие каракули. Ведь надобно же было ухитриться выдумать такой рябой шрифт!»

«<Франценсбад,> 27 июня <1858 года>

Мне кажется, что я делал большую глупость, пивши в 1856 году разные воды — не они ли меня расслабили? Говорят, это возможно, особенно от железных.

Если вы не имеете понятия, что значит золотая неволя, то можете получить полное понятие об этом в Франценсбаде. Нападает род тупости.

За границей яснее всего неравенство образования нашего среднего, так называемого образованного сословия. Вот отчего, вероятно, порядочные русские не любят сходиться с незнакомыми им соотечественниками.

Познакомился с Савурским, о котором говорил мне Ловцов. Ловцов теперь в Швейцарии, после он поедет во Францию и затем в Крейцнах. Вот отчего вы не видите его в настоящее время на водах».

<Франценсбад,> 7 июля <1858 года>

Сегодня, после торфяной ванны, мне пришла в голову следующая умная мысль: дичь думать об экономии, когда дело идет о здоровье. Написал и усомнился: ну, а где взять, если негде?.. Разве недостаток денег не есть одна из главнейших причин, что человек принужден иногда страдать и делать не то, чего бы ему хотелось?..

Господи, какую дичь горожу; это все оттого, что сегодня скверная погода, а в такие дни я хандрю.

К Колбасину я написал весьма глупое письмо, потому что умного не умел.

Да напишите Михайлову, чтобы в случае передачи квартиры он бы выслал вам деньги, или взял их с собой, или отдал маменьке, или, наконец, в случае неуспеха, просил маменьку следить за этим делом и при передаче квартиры по отъезде Михайлова получить от Китнера деньги.

Счастливый человек, у вас, вероятно, нет насморка».

«<Франценсбад,> 10 июля <1858 года>

Как коротка жизнь человека! Я зрею только теперь, только теперь чувствую себя способным что-нибудь написать и сделать. Но что же сделаешь, что успеешь,

когда мне остается жить всего пять лет? Жить, то есть быть способным думать и работать; а там тряпка, опять на воды, чинить старую посуду.

Боюсь, чтобы не сделаться ипохондриком!

Мне остается здесь пробыть полторы недели; жду нетерпеливо, когда они кончатся; так надоело, так скучно и однообразно, хочется работать, но нельзя — не позволяют и не могу, ибо никогда не был так болен, как теперь».

«<Франценсбад,> 13 июля <1858 года>

Ваше грустное письмо я получил одиннадцатого вечером, хотел отвечать двенадцатого, и не отвечал, ибо хандрил, или, лучше сказать, дремал целый день. У нас стоит такая погода, что трудно выдумать что-нибудь более скверное.

За присылку письма от маменьки — благодарю. Взамен его посылаю два: одно от ваших, другое от Колбасина.

Хорошо бы нам всем съехаться в Париже, я буду писать сегодня Колбасину и сообщу ему следующее расписание моего маршрута: 22 или 23 июля я у вас, 24, или 25, или 26 я в Нанси, 3 или 4 августа я в Париже. Мы остановимся там rue de la Michaudière Hôtel Molière, № 13. Так ли?

Следовательно, если мы поедем в Париж и не в одно время, то все-таки имеем возможность найти друг друга. Я буду просить Колбасина уведомить меня, где остановился Гербель.

С вами, я думаю, мы тоже не уладим поездку вместе, но увидимся в Париже, где я думаю пробыть не более трех дней.

Прощайте, дружок! На меня напала какая-то тупость, голова совсем пуста, и нет жизни, а по утрам все хочется спать. Нетерпеливо жду времени отъезда и с воскресенья, 18 июля, начну уже укладывать, а в четверг или пятницу (22 или 23) я у вас».

«<Франценсбад,> 15 июля <1858 года>

Если человек может обойтись без другого день, он может обойтись неделю, месяц, вечность. Тут есть не-

много правды, но, кажется, есть и софизм. Правда в том, что мне не хотелось бы, чтобы она применялась ко мне и к вам».

«<Франценсбад,>16 июля <1858 года>

Как вы пишете свои письма?.. Под первым впечатлением?.. Я — как случится. От этого от ваших писем веет теплом, а от моих нередко несет холодом. Вчера с вашим письмом вышел маленький казус. Я, как вам еще неизвестно, ужинаю, то есть, ем компот из чернослива. Прихожу вчера в столовую, кладу шляпу на маленький столик, на котором стоят тарелки, и вижу письмецо — адрес написан знакомой рукой. Ваш почерк совсем не такая вещь, чтобы я его не узнал из тысячи. Гляжу, письмо ко мне. Кто положил, отчего его не отдали мне? Кельнеры не знают. Следствие. Оказывается, что письмо получила буфетчица, или как ее назвать, заведовающая отпуском кушанья и приемом денег от кельнера, и положила его на стол, не сказав о том никому ни слова. Не правда ли, глупо? Иду сейчас к почтальону и скажу, чтобы он приносил письма ко мне.

Вашей маленькой записочкой в маленьком конвертике я очень доволен. Во-первых, потому, что вы зовете меня «милый Количка», а во-вторых, что вы такая добрая и, кажется, любите меня. За приглашение благодарю и 23-го непременно буду у вас. Вы думаете, что я буду у вас писать и, таким образом, не потеряю время, и очень ошибаетесь; чтобы писать, мне нужно быть в Нанси, ибо там мне будет что писать, а у вас нет. Я еду к вам, ибо соскучился, посмотрю на вас и уеду, а там увидимся скоро и в Нанси, если вы заедете ко мне, и в Париже».

«<Франценсбад,> 24 июля <1858 года>

Ух, как скучно, если бы вы знали! Я даже сделался почти болен. От этой скверной воды, которую я пью, делается какая-то тяжесть во всем организме, после ванны хочется спать, нападает лень, и невозможно заниматься, потому что кровь бросается в голову.

Странное дело! Все лакеи австрийской аристократии, находящейся в Франценсбаде, похожи на Зейферта, тут не должна быть случайность.

Мое письмо ряд афоризмов, и иначе писать я не могу — в голове пусто, нет мыслей, нет связи; еще сердце согревается иногда. Сегодня, например, я сел писать к маменьке, развернул чашку из саксонского фарфора, прочитал надпись: «Der guten Mutter» [1], и мне сделалось так тепло, так хорошо. А все-таки более двадцати строк я не мог написать. Вы единственный человек, которому я могу и высказываю все, что есть у меня хорошего и дурного в голове и сердце, не касаясь лесных вопросов».

Как я уже писала, Полонский был очень дружен с Михайловым. Это была нежная дружба. Виделись они беспрестанно, и друг Яков был нашим общим другом. Перечитывая письма Полонского, постоянно натыкаешься на такие вопросы: «Ну, что Михайлов?.. Приехал ли наконец?» Так писал Яков Петрович из Берлина в июле 1857 года, и в одном и том же письме такой вопрос повторяется три раза. «Ну что бы приехать ему раньше, и повидались бы, и расцеловались бы, и наговорили бы друг другу с три короба всякой всячины. Досадно, что не видал его, очень досадно! Ради бога, попросите его написать мне в Баден-Баден».

В Баден-Баден Полонский уехал со Смирновыми в качестве гувернера их сына; но там он ушел от них и поехал в Женеву учиться живописи у Калама. «Если Калам,— пишет он,— и другие найдут, что у меня действительно есть талант, то надо остаться и к святой, на выставку в Академию художеств, прислать картину». Но в Женеве он не остался, а поехал далее, и в Риме столкнулся с графом Кушелевым и получил от него приглашение быть редактором «Русского слова». Он весь поглотился этим изданием и горячо набирал сотрудников. Вот что писал он мне из Рима от 29 января 1858 года: «...просьбе к вам уговорить Михайлова душой, пером, головой и сердцем быть моим будущим помощником в деле издания кушелевского журнала. Мысль об этом издании крайне меня сокрушает; на материалы, собранные графом, плоха надежда,— а будет

---

[1] «Доброй матери».

плох журнал — я не вынесу, на все плюну и ни на какие деньги не посмотрю...»

В Париже летом 1858 года Полонский встретился с дочерью псаломщика русской церкви, и, как он пишет: «Светлый образ и глубоко симпатичный голос, быть может, потрясли во мне давно болезненное и тоскующее сердце»... «О, как бы дорого мне было ваше присутствие в Париже. Ваши глаза увидали бы то, чего я не вижу. Вы поддержали бы меня, если б я упал духом; вы рассеяли бы страх мой за будущее, в тумане которого иногда являются мне призраки, с которыми борюсь я всеми силами души своей». После первой же встречи с Еленой Васильевной Полонский сделал предложение, которое было принято. Она была очень хороша собою и очень хорошая девушка. По-русски она почти что не говорила, так как мать у нее была парижанка, даже не понимавшая ни слова по-русски. Полонский же едва-едва объяснялся по-французски, так что обмена мыслей между ним и ею быть не могло. Это была просто любовь с первого взгляда. Я приехала в Париж па другой день после свадьбы и спрашивала Елену Васильевну, что понравилось ей в Полонском, тогда не молодом и не красивом и говорящем на языке для нее непонятном. Она подумала и потом мне отвечала, что il a l'air d'un gentilhomme[1]. Вот и все! И, несмотря на это, она в продолжение своей обидно короткой жизни очень глубоко любила его.

На свадьбу к Полонскому я, однако же, не поспела и приехала в Париж уже на другой день. В Париже съехались и Гербель, и Колбасин, и Михайлов и Николай Васильевич.

В Париже мы поместились опять-таки у своей Максимы, и Николай Васильевич вскоре поехал по своим лесным делам в Германию и Швецию.

Мы познакомились еще ближе с хозяевами нашего отеля, и познакомился особенно хорошо Михайлов, который по внешности и по характеру, живому и склонному к метким и юмористическим замечаниям, как раз подходил к парижской бульварной жизни. Он приветствовал всякое происшествие в нашем доме какимнибудь стишком, из которых в памяти у меня сохра-

[1] у него благородный вид.

шлось только одно, и то только потому, что оно было написано на мотив известного романса «Талисман», и написано по случаю раздачи всем жильцам пуховиков, чтобы покрывать ноги при наступлении холодов. Вот этот романс:

Где консьержа вечно плещет,
Моя грязные полы,
Где луна печально блещет
Сквозь туман кофейной мглы,
Где в подвале, наслаждаясь,
Дни проводит Под-Прудон,
Там Максима, извиваясь,
Мне вручила эдредон.

С наступлением холодов, однако же, русским, проживавшим в Hôtel Molière, пришлось искать помещения потеплее, и я переехала в пансион на Елисейские поля. За табльдотом напротив меня сидел старик, очень высокий и седой как лунь, с совершенно белой бородой. Старика этого называли генералом. В этом пансионе нам давали чай в общей гостиной, куда и я сошла, и там седой генерал прямо заговорил со мною и сообщил, что он генерал Дембинский, польский партизан восстания 1830 года, живущий на покое на пенсию, получаемую им от Наполеона III. Старик уговорил меня сесть за карты, выучил меня висту, и с этого же первого дня я приходила в гостиную каждый вечер, и старик так ко мне привязался, что если почему-нибудь не заслуживающему уважения, то есть театра или какого-нибудь вечера, я не приходила играть в карты, то ко мне подымалась какая-нибудь старуха и упрашивала меня идти, говоря:

— Le pauvre vieux est tout à fait malheureux [1].

Старик подарил мне свой портрет и написал мне несколько строк, но так неразборчиво, что прочитать я не могу и знаю только смысл написанного.

Он говорил иногда, что Польша скоро восстанет и что он в числе победителей въедет в Петербург и прямо приедет ко мне.

— Но, милейший генерал,— говорила ему какая-нибудь соседка за столом,— ведь вам уже не подняться на лошадь.

---

[1] Бедный старик, он так несчастен.

— Ну, так что же,— возражал генерал,— меня подсадят.

Пансионы в Париже носят чисто семейный характер. В них живут старики, получающие пенсию, и стареющие дамы, живущие на небольшую ренту. Из молодых в нашем пансионе жил только пианист, дававший уроки музыки, я и Михайлов, а остальные были все старые или калеки. Одинокие люди не чувствуют своего одиночества, живя в таких пансионах, где они в продолжение нескольких лет близко сходятся, и в случае болезни соседки не покидают страждущих.

Знакомство с д'Эрикур, женщиной-врачом, не могло не повлиять на меня, и я страшно захотела учиться и поступила в парижскую клинику, чтобы заняться сначала женскими болезнями.

В начале марта мы с Николаем Васильевичем поехали в Лондон, где жил в то время Михайлов, который и нанял нам комнату в пансионе очень чопорных мисс.

В Лондон мы приехали специально на поклон к Герцену. Познакомиться с ним трудности никакой не представлялось, потому что Михайлов был уже с ним знаком, и Герцен, услыхав, что русская дама хочет быть у него, сам приехал ко мне и просил к себе обедать.

Наши сборы походили на сбор мусульман к могиле пророка. За стол мы сели с особенным благоговением. Герцен, несмотря на свою полноту и красноватое лицо, был необыкновенно красив умом и энергией, светившимися в его взгляде. Говорил он прелестно, его можно было заслушаться. В то время как мы были в Лондоне, только что разыгралась его история с Некрасовым, история, вероятно, кое-кому известная, но которую я не нахожу нужным рассказывать. Некрасов приезжал с ним объясняться, но в таком деле объясняться было трудно, и потому Некрасов даже стал скрывать, что был в Лондоне, и в Париже, при свидании с Михайловым, он сказал, что в Лондоне он не был и не поедет. Затем на следующий день, показывая собаку и хваля ее, он сказал:

— Настоящая английская, сам купил в Лондоне.

— Да ведь вы в Лондоне не были?

Некрасов как-то странно посмотрел и ничего не сказал. Тогда мы еще не знали, отчего он скрывал свою поездку.

Герцен до мельчайших подробностей рассказывал это дело и возмущался всего более тем, что Некрасов всю вину сваливал на женщину. Жил он тогда вместе с супругами Огаревыми, и madame Огарева заведовала хозяйством. Огарев был несколько мрачен и молчалив. Впрочем, в присутствии такого блестящего ума, и к тому же любящего говорить, и трудно было кому-нибудь примировать. Madame Огарева говорила, что она представляется в своих собственных глазах смотрительницею какого-нибудь музея, которая показывает иностранцам и путешественникам сокровища и объясняет их значение. В Лондон приезжала масса русских, и все они, кто просто из любопытства, а кто и по истинному чувству благоговения пред талантом, являлись к Герцену, и всех в качестве хозяйки принимала Огарева. Она показывала его кабинет, огромный, как танцевальный зал, аркой соединяющийся с гостиной, из которой одна дверь шла в столовую, а другая выходила в парк. Самый дом, где жил Александр Иванович, назывался Park-House, вследствие большого парка, принадлежащего дому. Кабинет и гостиная не столько отличались роскошью, сколько комфортом. Вообще Герцен жил как богатый барин-помещик. Он принял нас в Лондоне как настоящий хозяин, то есть показывал все достопримечательности Лондона, ходил с мужчинами на митинг воров, в ночлежные дома, вообще был очень радушен. Часто заходил к нам и совсем очаровал нас.

Огарев, узнав, что я собираюсь учиться медицине и поступила уже в клинику, очень сочувственно отнесся к этому и написал даже мне стихотворение, которое прислал в Париж, куда мы проехали из Лондона.

Насколько мне помнится, я возвращалась в мальпосте[1] весною 1859 года и, приехав в контору на Большой Морской, не знала адреса нанятой для нас квартиры и была очень обрадована, найдя там записку от Гербеля, приходившего раза по три в день в контору.

Пробыв в Петербурге очень недолго, я проехала в деревню к своим родителям, куда Николай Василье-

---

[1] почтовой карете.

вич посылал мне свой дневник, который тут помещаю. Из-за границы он поехал с лесным офицером Гельтом через юг. В этих последних письмах уже совершенно ясно определяется нежелание Николая Васильевича оставаться деятелем в лесном мире.

«<По пути в Алешки,> 16 июня <1859 года>

Сбился в числах, но это все равно.

Николаев мы осматривали так, как осматривают города за границей, с той разницей, что ездили, а не ходили. Внешнее отличие наших городов от заграничных в том, что русский человек любит жить особняком и строит дом для одного постояльца. Большие дома — исключение. Кроме того, наши улицы так широки, что самая узкая из них могла бы служить большой площадью для любого города Германии. От этого городок с маленьким населением растянется так, что нет никакой возможности ходить пешком. К этому прибавьте жар, который теперь стоит, и вы не обвините меня за расходы на извозчиков, хотя на них истрачено п порядочно. Впрочем, и без этого вы не обвинили бы меня.

Совсем истомился ездой и дорогой, не могу писать.

Никак не угадаете, где я пишу к вам это письмо? Нет, невозможно... Теперь оказалось возможным; нет, приходится отложить. А все-таки буду писать.

Мое настоящее письмо не журнал, а воспоминание. Правда, прошедшее близко, тем не менее оно все-таки не сегодня.

Теперь я плыву на маленькой лодочке из Херсона в Алешки. Гельт правит рулем, а я, запасшись в Херсоне баночкой чернил, пишу к вам это письмо. Сначала не было удачи,— гребцы слишком качали, а один из них даже давал мне нередко толчки в спину. Слава богу, обстоятельства несколько изменились: мы пошли бечевой, и я принялся строчить вам это письмо.

С своей торопливостью, я решительно затрудняюсь найти время, чтобы писать к вам; усталость лишает меня всех способностей; а мне не доставляет удовольствия писать к вам казенные письма. Мне хочется быть вашим Количкой, но, увы! эти минуты приходят ко мне, когда я бодр,— а тогда я в дороге. Однако простите, что я варьирую все эту тему.

Вы знаете, что мы осматривали Николаев, как следует порядочным туристам. Видели мы городские сады и казенные здания и многое множество всяких офицеров. Николаев по физиономии и по жизни не походит на наши северные уездные города: здесь народ больше нараспашку и дышится легче. Может быть, Николаев показался бы мне другим, если бы здесь жило мое начальство; к счастью, этого нет, и я дышу до сих пор в России свободнее, чем я дышал за границей, где полиция давала себя чувствовать на каждом шагу.

Я уже говорил вам о своем отупении; чем больше вглядываюсь я в себя, тем более убеждаюсь, что это так. Ради бога, Людя, вылечите меня. Но снова спрашиваю я себя — так ли? И не происходит ли это спокойствие оттого, что я жил и живу в народе и не сталкиваюсь ни с начальством, ни с гадостью его дел? Посмотрю, что скажет Питер; думаю, что стану злиться снова. Жалею об одном, что приходится тратиться на лесное дело, к которому я охладел совершенно; для другой же работы не гожусь, ибо ничего не знаю, учиться уже поздно, ничему не успею выучиться основательно. Вот и призадумаешься: растратил человек свою жизнь на пустяки, а когда дошел до сознания своих сил, чувствует, что ему и вперед приходится толочь воду. А кто виноват? Разумеется, никто. Хуже всего еще то, что не вижу возможности предостеречь и других от того же опыта.

Из Николаева поехали мы в Одессу. Не видать ее хуже, чем быть в Риме и не видать папу. Утром раненько выехали мы из Николаева, и вечером в семь часов были на месте. Верст за двадцать было видно над городом какое-то сияние. Ямщик объяснил, что это пыль, в которой играло солнце. Слышал я еще в Петербурге об одесской пыли; но все, что я рисовал о ней, было ничто. Въехав в предместье, мы буквально ехали в облаке, невозможно было дышать,— и так во всю дорогу до гостиницы. Отчего же здесь столько пыли? Во-первых, потому, что здесь военным губернатором граф Строганов, а во-вторых, потому, что здесь делают шоссе из мелкого известкового туфа.

День дороги в здешних местах положит на путника нашей категории (тележного) такой слой пыли, что ведерка воды едва достаточно, чтобы походить на чело-

века. Умывшись, мы пошли в театр. И хорошо сделали; потому что если бы вздумали отдыхать, то едва ли увидели театр.

Вообще об Одессе имеют у нас мнение несколько преувеличенное; так думаю я, а почему — напишу в следующем письме. Это же кончаю по следующим причинам: во-первых, несмотря на восемь часов, здесь темно; во-вторых, недостает бумаги; в-третьих, комары не дают покою; в четвертых, идем снова на веслах».

«Симферополь, <вторая половина июня 1859 года>

Я приехал в Одессу в семь часов, а в восемь был уже в театре. Театр не похож ни на один, что мы видели: хуже и по устройству, а о чистоте я уже и не говорю — одесская пыль залезла и сюда.

Одесский музеум керченских и других древностей южного края плох. Часть взята в Петербург. Непонятно, зачем это Петербург хочет поглотить Россию?

О Щеголеве вы слыхали? В Одессе известно тоже его имя, но никто не мог показать знаменитую щеголевскую батарею. Отыскивая ее, мы наткнулись нечаянно на контору пароходства и узнали, что в Херсон плывет экстренный пароход. Это был такой прекрасный случай избавиться от почтовой тряски на сто восемьдесят верст, что мы тотчас же уложились, приехали на пароход и взяли место.

Пароходы черноморской компании носят странные названия: «Крикун», «Болтун», «Родимый», «Матушка», «Сестрица», «Братец» и т. д. Наш пароход прозывался «Братец».

Пароходы строят в Англии, а крестит их в России великий князь Константин. Ему кажется, что «Крикун», «Болтун» — чисто русские, народные прозвища. Теперь, как вы знаете, пошла мода на народное.

Мы уже готовились спать и даже поужинали, но явился капитан и сказал, что пароход, *может быть*, пойдет завтра. Что оставалось нам делать? Идти в гостиницу? Ночь. Ночевать на пароходе? Но имеем ли право? К счастью, капитан был так любезен, что не только не выбросил на берег нас и наши вещи, но даже позволил переночевать в кают-компании и дал мне свое

одеяло, которое он не употреблял, потому что летом не совсем удобно покрываться ватным одеялом.

Наутро мы узнали, что пароход пойдет, но уже не «Братец», а, может быть, «Крикун». Положительный ответ обещали в пять часов.

Этим временем мы воспользовались, чтобы посмотреть город еще раз, и я отыскал свои книги. Теперь ваша, а если вы не хотите, то Михайлова, библиотека обогатится новым приношением. «О казаках» — вещь хорошая. Не пренебрегайте.

«Крикун» снялся с якоря в ночь.

Когда меня рекомендовали новому капитану и я спросил:

— А «Крикун» идет сегодня положительно?

Капитан ответил весьма умно:

— Да-с, не отрицательно.

За ужином капитан рассказал нам о распоряжении императора Александра II уничтожить черноморский флот. Наш капитан не был юноша, он считал себе за пятьдесят лет, а между тем плакал, рассказывая, как они топили корабль «Трех святителей». Это был действительно рассказ поэтический, не подогретый хмелем. Корабль долго не хотел идти на дно, несмотря на множество смертельных ран; но когда он стал опускаться, то все зарыдало навзрыд. «Дети не плачут так, опуская свою мать в могилу»,— добавил капитан».

«Бахчисарай, <вторая половина июня 1859 года>

Всю дорогу ехали мы почти ровной степью; только местами попадались холмы да впереди рисовались Крымские горы. Подъезжая к одной балке (овраг), ямщик, молчавший всю дорогу, показал кнутовищем влево и сказал: «Там, в балке, тянется город верст на пять». Я приподнялся на телеге, посмотрел влево — и ничего не увидел. Мне показалось, что я не понял ямщика; но мы сделали крутой поворот влево, в лощину, и Бахчисарай очутился передо мной как на блюде. (Извините за сравнение, но мне хотелось обрисовать внезапность и полноту вида.)

В Турции я не был; но сколько знаком с ней по описаниям, мне кажется, что Бахчисарай — город вполне в турецком вкусе; город похож больше на непра-

вильно скученную деревню, а вдоль тянется кривая и очень узкая улица с лавками направо и налево. Несмотря на людность, город показался мне мертвым; причина в том, что женщины сидят дома. Мы встретили только одну особу женского пола, и та была закрыта чадрой. Впрочем, цивилизация коснулась и бахчисарайских женщин: встреченная нами имела для глаз щелку, хотя это и не дозволено законом.

Бахчисарай, как вы знаете, был столицей крымских ханов. Для столицы город, но хорошего в нем — ханский дворец. Его-то мы и отправились тотчас же осматривать, взяв, по татарскому обычаю, верховых лошадей.

Должно быть, я деревянный, потому что ни бахчисарайский дворец, ни фонтан Марии, в настоящее время разломанный, не произвели на меня никакого впечатления. Солдатик, приставленный к дому, провел нас по всем комнатам, выкликивая прозвище каждой.

Мне не хотелось покинуть дворца, не видав фонтана слез. Пришли — и, кроме груды камней, трех печников и разломанного фонтана, я не видел ничего. Фонтан отделывается заново. Михайлова, может быть, все это вдохновило бы, но я был далек от всякого поэтического чувства и смотрел на все больше с любопытством. Мудрено подогреться, когда ничто не говорит вам о прошлой жизни, везде маляры и каменщики, свежая краска и пустые комнаты, напоминающие более нашествие неприятеля.

В Крымскую войну дворец служил лазаретом для наших раненых. Больных клали на султанские диваны и ковры и сгноили все; теперь все возобновят совершенно в том виде, как было».

«Севастополь, <вторая половина июня 1859 года>

На пароходе «Крикун» есть машинист-англичанин. Этот англичанин, приехав в первый раз в Севастополь, взял горсть земли, поцеловал ее и заплакал. Так рассказывал мне капитан. Может быть, я уже слишком черств — не знаю; но ничего подобного я не сделал. Я чувствовал скорее озлобление против тех, кто устроил севастопольскую бойню.

Город — совершенная куча развалин даже теперь, несмотря на то что прошло четыре года после взятия его».

«Ялта, <конец июня 1859 года>

Нигде за границей мне не было так легко и светло, как здесь. Вот где нам нужно поселиться на старости. Я не буду описывать вам ни восход солнца, ни лазурь неба, ни вершины гор, освещаемые заходящим солнцем; обо всем этом вы читали тысячу раз и тысячу первый в письмах Марии Федоровны Штакеншнейдер к Полонскому из Италии.

Завтра накидаю вам вид из моей комнаты; он будет плох, но вы поймете, что в натуре это хорошо.

А случалось ли вам есть шелковицу? Предо мной целая тарелка, но я не ем, потому что в ягоде нет нисколько аромата, а взамен его какая-то неприятная маслянистость.

Сегодня я ездил целый день верхом по горам; смотрел леса и крымскую сосну. Не думайте, что из Севастополя я перескочил прямо в Ялту; было по пути многое действительно великолепное; но лучше Байдарских ворот я не видел нигде ничего до сих пор. Дело в том, что вы несетесь сломя голову по извилистой горной дороге, направо и налево горы, а сбоку глубокая лощина; все это начинает надоедать. Вы ищете нового, наконец делаете крутой поворот, и перед вами стоят каменные ворота, соединяющие две горы. Ямщик наш несся как сумасшедший, я только что уставился на ворота, как мы уже пронеслись через них и... я ахнул от удивления... Эти вещи не описываются.

Вам надо непременно быть в Крыму. И это путешествие мы смастерим: на пароходе по Волге на Кавказ, а потом Черным морем через Константинополь и Смирну — в Крым. Улыбается вам этот проект?»

«Ногайск, <июль 1859 года>

Из Крыма я проехал к Граффу, но, увы, не застал его дома. Теперь скачу в Екатеринославль, в надежде увидеть там Виктора Егоровича.

У Граффа живут двое наших молодых офицеров. От них я узнал, что Бекман не пропускает случая выставлять меня в дурном и смешном свете. Арнольд держится той же методы. Они говорят, что сделают, что я пойду под суд. Даже Греве, которому я не делал ничего, кроме хорошего,— и тот против меня. Все это сулит мне немного приятного в Лесном институте. Я не считаю делом своей жизни читать лекции по лесоводству, но, к сожалению, попал на неверную дорогу и растратился па знакомстве и изучении лесного искусства, как говорили в прошедшем столетии, или лесной науки, как стали называть эту чушь в нынешнем столетии. Теперь мне нет другого выхода и приходится поневоле оставаться покамест в цехе лесных мастеров. Впрочем, не теряю надежды научиться чему-нибудь более полезному, выйти на новую дорогу и очистить, таким образом, место для человека, более меня достойного быть лесничим. Вот после этого и мечтай быть полезным; при Арнольдах и Бекманах едва ли будет что-нибудь; надо иметь их толстую кожу и их медные лбы, чтобы переносить все и вся. Но надо и то сказать: они работают для себя; у них нет родины; это наемщики, и потому понятно, что природа дала им толстую кожу. Положение нас, русских, другое, и немцы всегда нас одолеют. Понимал я часто важность денег, а теперь понимаю еще больше. Людя, подумайте и дайте совет, что делать и где приклонить голову?

Путешествие в степи представляет мало приятного: все одно да одно, то есть жар днем, мухи и блохи ночью; есть нечего, а расстояния громадные. До сих пор только в Киеве я ночевал две ночи. Все еду и еду, и уже дорога начинает надоедать порядочно.

Сегодня мы сделали привал ранее обыкновенного, ибо на ближайшей станции ночевать невозможно. Городишко, где мы теперь, так же гадок, как и Новоузенск; но в степи рад и этому. Жду нетерпеливо Полтавы; будем там дня через три. Отдохну, напишу к вам толковое письмо, и вымоем белье.

До свидания, голубчик. Не сердитесь на это письмо; но лучше что-нибудь, чем ничего. Еще раз до свидания. Целую ваши ручки. Из Полтавы пришлю вам новый маршрут. Может быть, приеду в Питер к 28 июля. До свидания».

«Полтава, <июль 1859 года>

Вчера приехали в Полтаву. Сейчас же к Хитрово, и теперь квартируем у него. Он вручил мне шесть ваших писем, так что теперь я соображу, о чем и с чего начинать письмо.

Начну с ответов.

Я рад, что вы не разошлись с *Матюшей,* но, читая ваше письмо, я задал себе вопрос, какой Матюша, Матвеев ли — доктор? Если это точно он, то радуюсь еще раз. Я хотел даже писать к нему; но скажу вам откровенно — не ради приязни, а хотелось узнать, что за зло куют против меня мои приятели и кто они такие. Я никогда не был дипломатом, хотя и не лишен вовсе этой способности; но считаю непрямизной прилаживаться к кому-нибудь, хоть по слабости характера очень не люблю и избегаю всякую вражду. Дело другое — лесные вопросы, тут я, пожалуй, воин, но на одном условии: воевать открыто, а не под землею.

Верите ли, что во мне совсем пусто; так какая-то спячка всех способностей, и причину я понимаю: вечная езда, укладка, перекладка, плохая еда, жар и сон не вовремя. Например: торопясь в Полтаву, я встал в четыре часа, ехал целый день, а с Хитрово проболтали до двух часов ночи. А иногда мне кажется, что я выдохся. Это был бы для меня страшный удар; тем более что все лесное мне надоело до тошноты, я готов бежать из лесничих сию же минуту. Чувствую, что внутри меня сидит что-то, хочу работать: но — увы! — надо учиться, потому что я ничего не знаю. Не поздно, но нужно время. Людя, вы умный человек и должны мне помочь советом. Скажите, для чего я способен, что делать, чем заняться? Будет нужда — правда, но дело сделаю и лучше и больше на всяком поприще. Мне бы только год в Лесном институте, чтобы высказаться; а затем делать мне в лесном мире нечего. Не браните меня за это; к вам пишет человек, находящийся в фальшивом положении,— нужно выбраться на дорогу истинную.

Насчет Хитрово вы ошиблись; он был так рад мне, так ухаживал и кормил, что вы не можете себе представить ничего подобного, просто не дает сесть пылинке и только не отгоняет мух, которых здесь немало.

С Гельтом принял он меня так разно, что мой немец сделался похож на окунутого в воду.

Со мной сделался мой обыкновенный припадок. Это бывает со мной всегда, когда приходится идти к людям незнакомым, людям в чинах и со звездами, наконец, к людям, где я ожидаю встретиться с светскостью. Причиной этому, может, и мое дурное светское воспитание, а может быть, и мои демократические убеждения — не знаю; знаю одно, что мне очень неприятно, одолевает чувство ученика, не приготовившегося к уроку.

Может быть, вы захотите знать, кто и что причиной этого?

В поездку свою я бываю почти у всех управляющих, но до сих пор был так счастлив, что только у одного из них обедал. В Полтаве не удалось отделаться: я не умею отказываться и, как жертва вечерняя, еду в три часа к Яковлеву.

По маршруту нам следовало уехать из Полтавы еще вчера, но остались сегодня на утро для визита Яковлеву. А теперь — увы! — выедем только часов в шесть.

Какое славное письмо написали вы мне 17 мая. Вы совершенно правы, что чем больше живем на свете, тем меньше находим людей, и весьма вероятно, что под старость мы запремся. А отчего бы и нет? Чем же это худо, когда это будет так хорошо для нас.

Теперь я убеждаюсь окончательно, что я не способен ни к чему более; напишу последнюю статью в газете; выскажу свое окончательное мнение о лесах и лесоводстве в России, и конец моей деятельности. Байрон прав, что порядочный человек не должен жить более тридцати пяти лет. Моей силы хватило только на самую узкую и малую специальную деятельность и еще, к сожалению, на поприще, на котором я очутился бог знает почему. Все это грустно, но нет ли в этом всем, то есть в моем плаче и сожалении о бесполезно потраченных силах, эгоистического, скверного чувства? Не жажда ли это славы, не зависть ли? не честолюбие ли? Вы знаете лучше; я же знаю только, что я кое-что рядом с Гельтом, но совершенная дрянь рядом с Герценом.

Людя, вы меня смешите проектом зимнего сада: это мне улыбается; думаю, что все это очень умно,

дешево и хорошо. Воображаю, как будет отрадно болтать там по вечерам в своей компании. Одно дурно, что вы будете выгонять меня за курение. Впрочем, я исправлюсь.

Что вы переводите, куда и на каких условиях?

Прощайте, дружок; целую вас, поцелуйте всех наших. Пусть они не сердятся на меня, что я не пишу: ведь вы им говорите обо мне? чего же еще больше. Целую вас без счету».

«Харьков, <июль 1859 года>

Давно уж не испытывал такого мученья, как вчера. Ветра не было, солнце пекло, и сто верст ехали мы в облаке пыли; надо испытать эту каторгу, чтобы уметь сочувствовать несчастному, которого злой рок принудил страдать таким образом.

Дорогой я обыкновенно бодрюсь. Вчера, например, несмотря на истому и забытье, похожее на дремоту, я составил проект письма к вам и даже обдумывал первые лекции для Лесного института. С приездом же в Харьков забылось все, и я чувствовал только потребность отдыха. Лег рано, встал поздно — и все-таки не отдохнул. В Полтаве я был такой же, то есть измученный и неспособный ни думать, ни говорить. Чем долее живу, тем более убеждаюсь, что уже стар и, вероятно, скоро не буду годиться ровно ни для чего. Ну, как в тридцать пять лет быть слабым до того, чтобы совершенно раскиснуть от поездки на перекладной? Правда, мы сделали уже 3500 верст, а разве мне не случалось делать больше концы? Да, стар и гнил. Ну, а отчего спит голова? Усталость заставляет меня подумать, как бы сократить поездку, и, вероятно, изменив первый маршрут, мы покатим на Москву прямиком, останавливаясь только в губернских городах.

Вы одобрите этот проект, я знаю, но в Петербурге я буду жалеть, что не ехал так, как думал ранее. К Михайлову я писал три раза и в первом письме просил ответить в Полтаву. Михайлов же этого не сделал. Странное дело! Хитрово был всегда хорош со мною, а в нынешнее свидание он был до того внимателен, что за обедом и за ужином подавал шампанское, чуть только не укладывал спать. Встречи были с поцелуями и со слезами на глазах; а я — деревянный, все по-

прежнему с ним холоден. Вы скажете — виноват я; а я спрошу вас: отчего же все ласки его скользят по мне, не оставляя ни одного приятного следа, ни одного отрадного воспоминания? У меня сердце не так чувствительно: напротив, я слишком увлекаюсь, и в этом я и нахожу ответ на странные, по-видимому, отношения мои к Иосафу Васильевичу. Поверьте, в его ласках нет искренности: он больше кажется, чем есть, от этого-то и во мне молчит истинное чувство, и с Хитрово я нахожусь постоянно в каком-то фальшивом положении. До того, что день беседы с ним труднее для меня двухсот верст на перекладной. Я измучен, избит, изломан; хуже — во мне болят нервы.

Скоро ли я буду дома? Так хочется отдохнуть. Нужно окрепнуть, чтобы приготовиться к лекциям. Материалы все сидят во мне, но ничего не приведено в порядок. А говорить придется многое и против многого. Я счастлив, что буду читать такую невозможную вещь, как лесные законы, счастлив, потому что будет наибольшая возможность коснуться всех наших научных и других нелепостей и тупоумия отцов русско-немецкого лесоводства. В одном надо быть осторожным: ругать и смеяться, не наживая врагов. А это трудно. Другою трудною задачею будет жить в Лесном институте и не жить с лесными. Как сделать это — не придумаю. Я пишу к вам по какому-то раздражению, и в этом причина, почему мои последние письма будут скучны для вас. Но, Людя, будьте на моем месте, и с вами будет то же. Прощайте, голубь. Что ваше здоровье?

Надо отдать вам отчет.

Из Харькова предполагалось ехать только в Чугуев, а затем тотчас же дальше. Но вышло иначе: послали за губернским лесничим нарочного, и мы ждем — ждали вчера, ждем сегодня. А между тем солнце печет, печет ужасно. Вчера было 37° *в тени*. Сегодня такая же жара. Смотрю с ужасом на дорогу — просто разлагаешься от жара; а я еще, на беду, не имею ничего летнего: мое пальто на байке.

Вчера я думал заняться делами, но не сделал много. Зато начал и обдумал вполне. Как вы думаете, что? Первую лекцию из лесных законов. Вы смеетесь,— не торопитесь. Вот что я выдумал: доказываю, что лесоводство не наука, а специалист-лесничий при нынешнем

образовании — не человек. Как все это ни просто, а приходится написать, ибо нельзя обдумать в полной связи. Может быть, я написал бы и всю лекцию, но, к сожалению, к Ильину пришел его товарищ и с десяти часов утра просидел до десяти часов вечера.

Несмотря на все это, день прошел для меня незаметно, я потел от жара, лежал, писал и изредка говорил. Решено выехать после обеда. Теперь остается немного: Курск, Орел, Тула, Москва и Подолье. Однако раньше 28-го в Петербург не успеть; следовательно, в Подолье 30-го или 31-го.

Какую грусть, вернее, уныние, наводят на меня русские города. Ни летом, ни зимой не хочется их видеть, а жить в них — упаси боже! Лучше в деревне, в мужицкой хате, чем в каком-нибудь Харькове. А Харьков еще из лучших. Что же уездные города! Для меня все уездные города, которые я видел,— Новоузенски.

Хитрово удивляется нам. Ему кажется редкостью, что через восемь или девять лет мы еще пишем так часто друг к другу. Если редкость, то, значит, часты отношения противные. Хороши же должны быть наши браки! И зачем люди женятся! Вы, верно, не знаете, я тоже. Но чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что только человек будущего может быть счастлив в настоящем. Блаженнее же всех я; ибо с вами и Михайловым я живу в настоящем, с Веней и Машей, а впоследствии с нашим дитятей — в ближайшем будущем; а со всем остальным, кроме Гельта,— в самом отдаленном будущем. А что же Гельт? Это мой ад, мой искус. О, тупость непроходимая!

Людя, не устроите ли, чтобы Матюша был к 1 августа тоже в деревне? Это было бы для меня очень весело.

Мне все кажется, что Петр Иванович сердит на меня, что я не пишу к нему. Пожалуйста, уладьте мир. Право, нет времени.

А отчего Маша не отвечала мне на письмо из Харькова с загадкой и ее портретом? Скажите ей, что это нехорошо».

«Курск, <июль 1859 года>

Какой-то Монтрезор женился на какой-то Полторацкой и получил в приданое гостиницу в Курске. Монтрезор, человек бывалый, устроил ее тотчас же на евро-

пейский лад, приставил швейцара, Hausknecht'а и несколько кельнеров. Но проезжающим от этого вышло хуже: грязь и свинство остались прежние, русские, а на водку приходится давать на европейский манер.

А занимаетесь ли вы политикой? Нельзя ли без этого? Мы, русские, вышли настолько европейцами, что судьба какого-нибудь итальянского герцога нам ближе и знакомее дел России; мы толкуем о Европе — только толкуем, а для себя ни на пядень вперед.

А знаете ли, на что требуется менее всего смыслу и знания? Ответ: для рассуждений о политике. К этому заключению я дошел очень просто. Гельт за границей был очень умен с немцами: толковал о судьбах итальянского народа, значении Италии, великомазурнических целях Наполеона, а также о приросте сосны и о том, что леса России очень велики. Немцы слушали его с глубоким вниманием и уважением и пороли подобную же дичь. Говорить обо всем этом было не трудно: стоило только начитаться газетных политических вздоров. Но вышло совсем другое, когда мы въехали в Россию, здесь не спасали немецкие газеты, да и вопросы явились другого рода. Надо было читать не печатное, а жизнь русскую и самого русского человека в натуре. Немцы дожили до китайского равенства во взглядах и действиях, а у нас надо создавать все: место для постройки выбрано, навезены всякие годные и негодные материалы, но нет ни плана, ни строителя. При таком порядке трудно быть умным чужими идеями, надо понимать самому, и сел мой немец на мель: что ни слово, то пальцем в аптеку, а толки о политике вовсе невпопад. Да, в России быть умным гораздо труднее, чем где бы то ни было. Знаете ли, что нравится мне больше всего в России? — я не вижу нигде ни полиции, ни солдат, а между тем нет ни бунтов, ни разбоев. О полиции слышишь и видишь ее только тогда, когда речь о притеснениях и чиновничьих гадостях. Мне кажется, что Россия больше всех способна и имеет больше всех начал к самоуправлению. Дайте нам только образование. Мне случалось быть у молокан, куда менонистам! Несмотря на то что молокан жали и жмут. Наше несчастие, что мы чиновники и хотим управлять непременно всем сами... чувствую, что вы морщитесь, вы не понимаете, для чего я пускаюсь в государственную метафизику, и

вы правы, голубчик. Мое же оправдание в том, что по-русски умное и хорошее письмо написать очень трудно, и большую ошибку делает тот, кто в письме к жене говорит о постороннем, не касающемся ни ее, ни ее мужа. Скажу больше, не надо писать, когда в голове нет ничего, кроме политики; я, измученный ездою, совсем пуст и большею частью пишу письма к вам в то время, когда менее всего способен думать и чувствовать.

Дорога имеет на меня одно благодетельное действие: я поздоровел, покраснел и пополнел. Таким я себя давно не запомню.

Из Курска уедем сегодня, завтра в Орле, а там до Москвы уж недалеко. Прощайте, голубчик. Как ваше здоровье? А Веня будет в деревне к 1 августа?

Есть потребность писать. Какая-то внутренняя боль; чувствую полное одиночество. Музыка или газеты причиной — не знаю. Вот как было все.

Первое письмо из Курска я писал к вам утром; я был тогда деревянный, писал не потому, что писалось, а больше по порядку. Назначил еще раньше отправить к вам по одному письму из каждого города: Курска, Орла, Тулы и Москвы. Вы скажете — это глупо. Правда. Но тут нет лжи, и только этим я оправдываюсь. Разумеется, истиннее и честнее писать, когда пишется. Но, увы, во мне еще много немецкого, этой убийственной казенщины — системы.

Кончив письмо, я отправился на почту, потом в палату. Зачем? Думал встретить там наших молодых; но нашел тупых чиновников и старого и весьма глупого лесного капитана. Ко всему этому я так привык, что даже могу беседовать с этими господами, когда в этом нет решительно ни потребности, ни необходимости. Кончив с палатой, то есть убедившись, что там мне решительно делать нечего, поехали в трактир «Вену» послушать орган. Я давно не слышал музыки; вал за валом проиграли все: и Гурилева, и Верди с Доницетти, и даже польки Герца. Чтение «Московских ведомостей» шло своим порядком, так же, как и чай.

Не знаю, что повернуло меня, музыка или речь Я. Грота выпускным студентам Лицея, но я отдался своей любимой мечте: воспитанию и своим проповедям в форме лекций лесоводства. Только тут я чувствую себя на месте; это мое дело и вопрос моей жизни. Что будет

изо всего этого? А может быть, найдут меня неспособным, скажут, что о лесоводстве я говорю менее всего, и друзья помогут спихнуть меня. Не понимаю. Не верю, чтобы Арнольд считал лесоводство и таксацию делом. Из желания не лишиться теплого места он обманывает себя. А если иначе, то он глуп. Во всяком случае, убивать способности юношей больше чем преступление заставлять задалбливать специальную дичь и творить лесничего на счет человека — подлость непроходимая. Раскрыть глаза юношам, показать им, что лесоводство — знание очень простое, не составляющее *науки* в том смысле, как понимают это тупоумные немецкие и русско-немецкие лесничие, объяснить им, что они такое, какое отношение их ко всему окружающему, начиная, разумеется, с нас, преподающих, на что должны они себя готовить и как должен создаваться лесничий, чтобы быть человеком и гражданином, — вот задача моя и вот что я буду проводить во всех своих лекциях. Согласитесь, что мечтать обо всем этом — большое наслаждение. Я чувствую, что буду на месте, ибо, пройдя всю школу лесную, я вынес на своих плечах пытку воспитания и службы, проболел и за свое невольное лакейство и тупоумие, и оскорбление от старших и русского принципа. Наконец открылись глаза. Неужели я скрою результаты, до которых дошел? Невозможно. Следовательно, понятно, что я буду поучать иначе, чем Длатовский, Бекман и Арнольд. Вот в чем моя гордость. А если прогонят, то тем лучше для Арнольда и Бекмана. Но нет, их принцип отжил; еще сами они усидят на месте, но учение их умерло, а умершее не воскресает.

Людя, понимаете ли вы меня? Я пишу несвязно и бестолково. Чувствуете ли вы наслаждение быть с Веней и Машей; видеть, как из каждого из них творится что-то сильное, свежее? Да. Ну, и я тоже. Для меня нет выше наслаждения, как говорить с юношей, я счастлив только с ними, и вот почему я мог сидеть у кондукторов в Лисине по целым дням. Ох, учители, учители! Они думают, что воспитывают, заставляя долбить разницу между сосной и елью.

Да, новость! Воспитанники Лесного института поднесли Арнольду какие-то благодарственные стихи. Не понимаю!»

В эту поездку мы пробыли за границей ровно год и, поселившись в Петербурге, перестали заниматься музыкой, а отдались совершенно литературе. Полонский, уже счастливый муж и отец маленького сына, не заведовал редакцией «Русского слова», а вместо него Кушелев пригласил какого-то Хмельницкого. Откуда появился этот Хмельницкий — никто не знал. Литературного ценза у него не было никакого, и достало только смысла обратиться к Михайлову и шагу не делать без его совета. Михайлов был человек мягкий и бесхарактерный, и хотя страшно сердился на появление какого-то коновала, как он говорил, в литературе, но тем не менее помогал ему и делом и советом. В эту зиму Хмельницкий был у нас безвыходно. Кушелев задавал литераторам обеды и на этих обедах покупал разные литературные произведения. За ценою он не стоял, и за какую-то маленькую вещицу Писемского листа в два или менее было заплачено полторы тысячи рублей. Я эту цифру очень хорошо помню, потому что она постоянно цитировалась. Как велись денежные дела в журнале, можно судить по инциденту со мной. Мне был заказан перевод трехтомного романа Фрейтага, и по получении рукописи все было уплачено, но роман в печати не появился, потому что большая часть рукописи оказалась потерянною. Масса рукописей пропадала таким образом.

Кушелев затеял издание журнала, потому что сам писал повести, не находившие себе приюта на страницах других журналов. Но, увы, редакторы, которых он приглашал, или мягко уклонялись от печатания его произведений, или прямо резко отказывались, вследствие чего отношения с ним обострялись. Я помню, Михайлов рассказывал, как граф, описывая крайнюю бедность, говорил, что герой имел возможность есть только одну котлету и пить красное вино. Литература была для болезненного аристократа забавой, которая ему наконец надоела, и он *подарил* свой журнал Григорию Евлампиевичу Благосветлову. Сначала речь шла о продаже, но потом «Русское слово» было просто подарено. И это лучшее, что граф мог сделать, потому что Благосветлов, несомненно, был умный человек и дело свое знал. Но это совершилось все после.

В этот год явился к нам Пекарский с приглашением на свадьбу. Он женился на Лидии Фоминишне Кобеко.

После свадьбы мы очень редко виделись с Пекарским, и, можно сказать, даже совсем не виделись. У жены его были знакомые из совершенно другого общества, и знакомство, поддерживаемое редкими визитами, несомненно, должно было прекратиться.

На смену старым знакомым являлись новые. В эту зиму 1859 года явился Северцев, вернувшийся из плена у кокандцев с проткнутым ухом. Северцев зачастил ко мне так, что я его избегала принимать. Несмотря на всю свою ученость, это был человек дикий, и я даже не любила оставаться с ним глаз на глаз. Кроме того, он был точно не от мира сего, а зачастую на него нельзя было сердиться и все можно было объяснить его оригинальностью. Мне в его присутствии рассказывали о нем такой эпизод: в Павловске или где-то в другом общественном парке он шел по пятам за какой-то дамой, которая стала прибавлять шагу, и, когда спутник ее хотел обратиться к нему с серьезным объяснением, он вдруг ударил даму по плечу, поймал какое-то крылатое насекомое и стал рассматривать его своими близорукими глазами. Это не выдумка, потому что он не отговаривался и объяснял только, что экземпляр насекомого был редкий и он давно желал иметь его. Вероятно, это происшествие кончилось каким-нибудь скандалом, потому что о конце его всегда умалчивалось.

Наша прислуга не называла Северцева иначе, как сумасшедшим.

К этому времени, то есть к началу шестидесятого года, индифферентизм стал сильно преследоваться, и сидеть между стульями не дозволялось, надо было сесть либо на правый, либо на левый стул. Это давление я испытала на себе.

У меня был двоюродный брат, женатый на моей же двоюродной сестре — они были лютеране. Они относились ко мне как к кровной родной и являлись без всякого зова на наши среды. Но так как кузен мой служил в Третьем отделении, то мне сказали прямо, что считают невозможным к нам ходить и чтобы я сделала выбор между всеми моими знакомыми и чиновником, которого мы сами боялись. Выбор сделать было не трудно, но сказать открыто об этом было ужасно трудно, и я все-таки сказала, но, конечно, нажила себе непримиримого врага, которого через много-много лет увидала только

уже на столе, в белых панталонах и в мундире со звездами. Примирить разницу в воззрениях в то время было невозможно. Молодежь страшно горячилась, и слова: «Если ты не с нами — ты подлец», были ее лозунгом. У меня в ту зиму жил брат-студент, Михаэлис. Он не захотел оставаться в Лицее и поступил в университет. Должно быть, он пользовался в университете значением, потому что раз вечером пришел к Михайлову Добролюбов и сказал, что пришел познакомиться со студентом Михаэлисом, о котором много слышал. Добролюбов, услыхав, что в университете есть умный студент, не ждал, чтобы он пришел к нему на поклон, а сам пошел его разыскивать.

В это лето мы жили на даче в Гатчине, куда Михайлов привез Полонского прямо с похорон его жены, для того чтобы он прожил у нас некоторое время, но через два дня Полонский уехал, говоря, что не может сидеть спокойно. Эта осень была для меня очень несчастливой, потому что от паралича у меня отнялись ноги и я месяцев пять-шесть лежала неподвижно на спине. Никто из лечивших меня врачей не подавал надежды на полное выздоровление, и если мне случалось видеть во сне, что я хожу, то, проснувшись, я начинала горько плакать. Профессор Китер, почтенный старик, лечивший меня, был большой противник женского образования и развития и постоянно называл меня в насмешку «ученой женщиной».

— Я глубоко убежден,— не раз говорил он мне,— что будь вы простой светской дамой, вы прекрасно бы рожали детей и прекрасно бы кормили их. А вот на вас я вижу, что ученой женщине это безнаказанно не дается.

Если бы Китер был жив теперь, то мог бы убедиться, что действительно ученые женщины прекрасно и родят и кормят детей.

Чтобы доставить мне какое-нибудь развлечение, ко мне в комнату поставили обеденный стол, и я могла принимать участие в общем разговоре, а разговоры велись уже не только литературные, но и общественные, и, конечно, преимущественно об освобождении крестьян.

Муж кормилицы моего сына служил печатником в сенатской типографии и по воскресеньям часа на два приходил к жене. В одно такое воскресенье сказал он, что не придет теперь целый месяц. Им заявили, что отпус-

каться из типографии они не будут неизвестно сколько времени, потому что будут что-то печатать. Что-то о воле, говорят, прибавил он.

Действительно, в феврале месяце был объявлен манифест об освобождении крестьян. Разговоров до обнародования этого манифеста была масса. Тогда очень много говорили о молодом Серно-Соловьевиче, Николае Александровиче, служившем в Государственном совете и работавшем над вопросом об освобождении. Он был очень недоволен воззрениями комиссии и твердо верил, что если бы ему удалось поговорить с государем, то все пошло бы иначе.

Впоследствии он сам рассказывал мне, как он привел мысль свою в исполнение. Он написал записку на высочайшее имя и поехал с нею в Царское Село, где в то время жила царская фамилия. Узнав, когда государь гуляет в парке, он отправился туда и действительно в одной из аллей увидал государя с которым-то из его сыновей. Серно-Соловьевич пошел за ними и слышал, как маленький великий князь говорил государю:

— Он идет за нами.

Государь продолжал идти молча.

— Он идет за нами,— повторил мальчик.

Государь вдруг обернулся и строго сказал:

— Что вам надо?

— Хочу подать вашему величеству записку,— отвечал Серно-Соловьевич, подавая бумагу.

— Для этого есть канцелярия,— сказал император и, повернувшись, пошел.

Серно-Соловьевич — за ним.

— Он опять идет за нами,— проговорил маленький великий князь.

Государь обернулся.

— Что вам надо? — крикнул он.

— Хочу подать записку вашему величеству в руки.

— Как ваша фамилия?

— Серно-Соловьевич, ваше величество.

— Отдайте записку дежурному, а я вам даю слово, что, вернувшись с прогулки, прочту ее.

Серно-Соловьевич поклонился и ушел.

Через неделю он был вызван куда-то, теперь уж я не помню, и получил такой ответ:

— Государь прочел вашу записку и велел вас поцеловать.

Но принесла ли крестьянам пользу эта записка, я не знаю.

Чернышевский очень любил Серно-Соловьевичей и хотел непременно, чтобы мы с ними познакомились.

Чернышевский познакомился с Михайловым на первой же лекции в университете. Михайлов, получив домашнее образование, не мог поступить студентом и слушал лекции в качестве вольнослушателя. Видя подле себя невзрачного, близорукого и малокровного студента в стареньком форменном сюртуке, он обратился к нему с вопросом:

— Вы, верно, второгодник?

— Это вы предполагаете, видя на мне старый сюртук?

— Да.

— А я купил его на толкучке.

С этих слов между ними завязалась дружба, продолжавшаяся до смерти.

Николай Гаврилович Чернышевский был белокурый, с рыжеватым оттенком, среднего роста человек. Он был страшно близорук и рассеян. Если бы жена его, Ольга Сократовна, не заботилась о его туалете, то он ходил бы бог знает в каком виде, даже и при этом он зачастую являлся таким растерзанным, что мужчинам приходилось заботиться о нем.

Когда я к концу февраля могла чуть-чуть передвигать ноги, опираясь на костыли, Чернышевский привел к нам Серно-Соловьевича, Александра, человека блестящего, именно блестящего ума, энергичного и красивого, хотя очень небольшого роста. Один наш старый знакомый, Иван Карлович Гебгардт, увидав его как-то, спросил у меня:

— Как фамилия этого Кассио?

Он действительно имел вид заговорщика и ни в какие сделки с совестью не входил. В это же самое время у нас стала появляться масса молодежи, между прочим, Владимир Онуфриевич Ковалевский, впоследствии профессор, муж Софьи Васильевны. Это был прелестнейший человек, жизнь которого была сцеплением несчастий. Можно сказать, что судьба несправедливо преследовала его.

Я могу сообщить кое-что из его биографии. Между его отцом и матерью были какие-то нелады, которые огорчали Ковалевского, когда он был еще мальчиком. Отец его, вероятно, имел средства, потому что мог содержать двух сыновей, окончивших уже курс, и Владимир не поступил на службу по окончании правоведения, а уехал за границу и слушал лекции в Гейдельберге. Он был близким человеком в доме моих родителей, влюбился в мою сестру Марию и сделался ее женихом. Свадьба эта разошлась самым странным образом. Оба они до самой смерти ни одним словом не разъяснили, почему разошлись.

Часа за два до венчания, перед тем чтобы одеваться, жених и невеста завели какой-то разговор, после чего пришли к матери и заявили, что свадьбы не будет, что они расходятся. Это дело было в деревне. Ковалевский уехал, и потом, несмотря на всю свою дружбу ко мне, он говорил мне только, что любит Марью Петровну. Сестра моя тоже любила его, но в эту любовь замешался какой-то принцип.

Года через три или четыре, а может быть, и меньше, когда сестра моя была уже замужем за Богдановичем, в деревне было получено письмо на имя матери от Ковалевского. Он писал ей, что встретил удивительную девушку Корвин-Круковскую, которая хочет учиться, но родители не пускают ее, и просил мать мою взять ее к себе и дать приют. Мать моя с полным сочувствием откликнулась на это письмо. Но Софья Васильевна к нам в деревню не приехала, а затем Ковалевский написал, что они порешили заключить фиктивный брак. В то время фиктивные браки начали входить в моду. Фиктивный брак был заключен, и Ковалевские поехали учиться за границу. Они учились оба, и, как говорил мне Ковалевский, он учился, потому что ему было совестно перед женою за свое невежество. И вот тут-то начался новый роман. Ковалевский, фиктивный муж, влюбился в свою жену и был трагически несчастен.

Хотя человек он был идейный, но в нем была сильна жилка спекулятора, за что он подвергался сильным нападкам известного кружка. Сначала он взялся за издания, и Брем его шел отлично, потом он взялся за постройку дома и бань, и тут он все потерял, потому что планы были большие, а денег на оборот недостало.

Таким образом, спекуляции ему не удались, а между тем люди, мнением которых он дорожил, косо смотрели на его неидейные предприятия, и, сколько мне известно, это и свело его в могилу. Он лишил себя жизни, будучи профессором или доцентом при Московском университете, и лишил оригинальным способом, а именно до смерти надышался хлороформом. А. С. Суворин написал его некролог, во многих отношениях очень верный.

Два брата Серно-Соловьевичи кончили жизнь тоже очень печально. Старший брат, Николай Александрович, вышел в отставку и завел книжный магазин, потом перешедший к Черкесову, и затем был замешан в какое-то дело и умер от тифа в Иркутском остроге.

Второй брат, Александр, предвидя арест, успел уехать за границу, где он прожил лет пять то в больнице, то на свободе, так как он был душевнобольным, как была душевнобольной и его мать, и затем кончил дни свои самоубийством. Он покончил с собой угаром.

Весною того года меня в буквальном смысле слова увезли за границу. Мы поехали большой семьей, и в Берлине Михайлов привел ко мне Бертольда Ауэрбаха, которому интересно было познакомиться с переводчицей его шварцвальдских рассказов.

Ауэрбах был маленьким толстеньким евреем с выпуклыми глазами. Он непременно хотел нам показать город, и мы ездили с ним по разным садам в ландо. Его забавляло, что нашу кормилицу, одетую в русское платье и кокошник, его знакомые принимали за шварцвальдскую крестьянку.

Ауэрбах был царедворцем, но не настоящим врожденным царедворцем, а попавшим в господа из мещан. Он с первого же дня нашего знакомства выразил желание, чтобы я познакомилась с его женою, и при этом прибавил:

— Meine Frau ist ja doch eine «von» [1].

Сначала я даже не поняла, что это значило, и, только услыхав в тот же день раза четыре тот же самый припев, я уразумела, что он указывал мне, что его жена «фон», то есть дворянского рода. Из русских я мало кого встречала, кичившегося своим дворянским проис-

---

[1] Ведь моя жена «фон».

хождением, и потому в душе не могла не смеяться, когда он мне рассказывал о той роли, которую жена его играла при разных маленьких дворах. Он в продолжение нашего пятидневного знакомства много, много раз рассказывал мне, как Августа, в то время только королева прусская, встретив его жену, взяла с нее шаль и собственноручно положила ее куда-то. После того жена его почувствовала себя как дома.

— Не правда ли, как это было деликатно и мило? Nicht wahr? [1] — спрашивал он.

Потом я познакомилась и с этой «фон», и она с своими фанабериями заставила мужа проиграть одно дело.

Некрасов хотел купить у него роман в рукописи для перевода, и Ауэрбаху это очень улыбалось, так как цена была хорошая. Долго шли переговоры, и наконец уже к осени мне дана была доверенность заключить с ним условие.

Уезжая в Россию, я остановилась для этого в Берлине и отправилась к Ауэрбаху. Самого Ауэрбаха в Берлине не было, а жена его была дома. Отворившая мне дверь горничная сказала:

— Madame ist nicht zu sehen [2].

Я рассказала горничной, в чем дело, что я уезжаю, что мне надо переговорить, что это дело важно для них, а не для меня; горничная все это передала и вернулась с тем же самым ответом, что барыню видеть нельзя и что она принимает обыкновенно по средам от четырех до шести. Эта великосветская глупость страшно взбесила Николая Васильевича, и мы в тот же день уехали из Берлина.

Потом Ауэрбах выходил из себя, завел об этом переписку, но продажа ему уже не удалась. Через несколько лет к нему зачем-то ездил Гербель и потом без негодования не мог о нем говорить. Он рассказывал, что подобной напыщенности трудно себе представить и напыщенность эта становится особенно противна, когда подумаешь, что этот человек писал такие простые и прелестные деревенские рассказы.

Из Берлина мы проехали прямо в Наугейм, где я должна была лечиться.

---

[1] Не правда ли?

[2] Госпожа не принимает.

Лечение мое шло чрезвычайно удачно, и я уже ходила с одним костылем и с палкой. Приехав в Париж, я как-то вечером сидела одна, когда ко мне пришел Ковалевский и стал звать меня гулять на бульвар.

— Что за гулянье, когда все смотрят на молодую женщину на костылях!

— А мы костыль бросим. Я возьму вас под руку и буду крепко держать, а в другую руку вместо палки вы возьмите зонтик. Никто не заметит.

Мы так и отправились. Прогулка вышла удачною, и с этого дня я бросила костыль и до шестидесяти пяти лет ходила без костылей и не всегда даже с палкой.

Вернувшись в августе в Петербург, мы попали в самый круговорот. Все было недовольно, все кругом говорило о реформах.

После дела Михайлова Николая Васильевича не оставляли в покое, и в министерстве решено было каким бы то ни было образом выпроводить его из Петербурга. Министр Зеленый упрашивал, именно упрашивал, его ехать в Астрахань. Министр Зеленый был добрый человек и потому уговаривал Шелгунова не выходить в отставку, зная, что с неслужащим церемониться не будут. Николай Васильевич, однако же, ехать в Астрахань не согласился, а подал в отставку. Поступить иначе он не мог.

После отъезда брата и Михайлова громадная квартира наша казалась нам какой-то могилой, и мы переехали в три маленькие комнатки, где у нас бывал Чернышевский. Чернышевский поддерживал наше намерение ехать в Сибирь. Он очень любил Николая Васильевича и понимал состояние его духа.

Чтобы достать средства для отправки Михайлова со всеми удобствами и для обеспечения его жизни в каторге, мы пустили в лотерею часть его очень большой библиотеки, а другую часть отправили к нему в Сибирь.

Весною мы уехали в Сибирь. Ехали мы два месяца, и Шелгунов описал эту поездку в статьях, помещенных в «Русском слове» под заглавием: «Сибирь по большой дороге».

В Красноярске мы остановились, чтобы отдохнуть, вымыть кое-что из белья и поправить тарантас.

Город произвел на меня впечатление чего-то хорошего и чистенького. Утром я увидала в окно проезжав-

шего мимо на извозчике господина, до того оригинального, что я подозвала к окну Николая Васильевича. Это был довольно полный господин, с длинною черною с проседью бородой и с длинными, лежавшими по плечам волосами. Черные, большие выпуклые глаза, очевидно, были очень близоруки, и потому человек этот носил большие круглые очки. Одет он был в широкий белый балахон. Мы на него подивились, а Николай Васильевич, вернувшись потом домой, сказал мне:

— Знаешь, ведь это проехал давеча Петрашевский. Он сейчас придет.

Петрашевский с нами очень подружился. Он был блестящего ума человек, но у него положительно была idée fixe[1], а именно — законность, и что все должно делаться на законном основании. Отбыв каторгу, он вступил в пререкательство чуть ли не с сенатом, что осуждены все они были противозаконно.

Эта законность довела его в этом же году до острога, в котором ему пришлось посидеть, к счастью, недолго и куда его засадили местные власти, вероятно, для того, чтобы показать ему, что не все делается в нашем мире на законном основании.

В Нерчинске нас ждал брат Михайлова, горный инженер Петр Ларионович Михайлов, на прииске которого (Казаковский прииск) и жил каторжный Михаил Ларионович. В наш тарантас запрягли пятерку лошадей, с парой на вынос и с форейтором, и мы выехали из города еще засветло и буквально понеслись в какой-то бешеной езде по горам. Когда совсем стало темно, мы слышали только такие неутешительные переговоры:

— Паря, видишь что-нибудь? — кричал кучер.

— Ни зги не вижу! — отвечал форейтор.

Но тем не менее лошади неслись вскачь и благополучно въехали на деревенскую улицу и повернули во двор, где остановились у крыльца. Стук колес и крики ямщиков услышаны были в доме, и по всем окнам замелькали огоньки.

Когда мы подошли к дому, на крыльце стоял Михайлов. Он жил, как частный человек, у брата. В доме, очень небольшом, все мы и поместились и, конечно, стеснили хозяина, но на это он не жаловался, потому что

---

[1] навязчивая идея.

мы внесли большое разнообразие в жизнь молодого офицера, жившего на уединенном прииске. На прииске около этого времени случилась удивительная покража. Из каменного здания-павильона без окон и с одною железною дверью, у которой стоял постоянно караул, было украдено все находившееся там в банке золото. Подозрительные люди были посажены, но что с ними ни делали — ничто не помогало. Наконец-то решили посадить их вместе и слушать разговор. Это средство оказалось удачным. Преступники между собой перессорились и, упрекая друг друга, выдали тайну. Но куда они дели золото? Они свезли в лес, где был поднят куст, уже снова заросший, и под кустом оказалась банка с золотом. В павильон же они попали посредством подкопа.

На Казаковском промысле мы спокойно прожили очень недолго, то есть месяца два. В одно прекрасное утро, я пишу — прекрасное, потому что в Забайкалье, несмотря на холод, почти всегда ясно, прискакал верховой с эстафетой на имя Петра Ларионовича. Эта эстафета (казенная) была такого содержания: «Через Байкал я переезжал на пароходе с жандармским полковником Дувингом, который едет в ваши места. Зная, что у вас живут какие-то гости из Петербурга, счел нужным предупредить вас. *Князь Дадешкилиан*».

Это был сосланный кавказский князь, занимавший какую-то должность при генерал-губернаторе. Надо было иметь немалую гражданскую храбрость, чтобы сделать такую вещь. Рискованно было послать такую эстафету.

Мы тотчас же стали прибирать свои бумаги, а Михаила Ларионовича брат его перевел в больницу, устроил там ему кровать и над кроватью надписал его фамилию. Но все-таки Дувинг застал всех нас вместе в саду и объявил нам и показал две бумаги: по одной из них арестовывался полковник Шелгунов, а по другой — жена его, по высочайшему повелению. Нас предположено было увезти в Верхнеудинск и посадить там в острог. Перспектива далеко не отрадная, и потому мы восстали против этого всеми силами. Прежде всего я ушла к себе в комнату, легла, и так как ноги у меня действительно еще были плохи, то я прямо заявила, что не могу встать. Дувинг живет у нас день, живет два, а я все лежу. Наконец, на домашнем совете, который

происходил по ночам в моей комнате, было решено, что мы предложим Дувингу оставить нас под домашним арестом на месте.

На другое утро Дувингу это было предложено, но он решительно отказался и потребовал, чтобы было послано за доктором. Михайлов написал записку, и нарочный был послан к доктору, о котором мы понятия не имели. Доктор, фамилию которого я, к большому своему сожалению, забыла, приехал в тот же день, и первые слова его были:

— Хорошую ли вы болезнь выдумали?

— Да мадам Шелгунова действительно больна.

— Только при одной болезни больную нельзя перевозить.

Доктор вошел ко мне, переговорил со мной и в заключение сказал:

— Если потребуется еще доктор, выбирайте поляка — не выдаст.

Этот доктор так не выдал, что Дувинг бился, бился и затем согласился отвезти нас в соседнюю слободу за пятнадцать верст, а прямым путем по тропинке до нее было всего шесть-семь верст. Чтобы он не мог увезти нас насильно, мы устроили так, что Николая Васильевича он увез раньше, а потом повез меня, а маленького сына Мишу мы пока оставили под предлогом нездоровья в Казакове.

В Ундинской слободе нас оставили под присмотром казацкого майора Рика и жандармского фельдфебеля. Майор Рик был добродушный человек, а фельдфебель понимал, что рубли — деньги, и потому мы сравнительно были свободны и Михайлов почти жил у нас.

После нового года пришло приказание перевести нас в Иркутск и там до дальнейших распоряжений держать нас под домашним арестом.

И вот, простившись с Михайловым, двинулись мы по сорокаградусному морозу в Иркутск.

Более мы с Михайловым не видались. Он остался верен себе до конца дней своих. Как рассказывал мне его брат, Петр Ларионович, присутствовавший при его смерти, что и умер-то он вследствие своей доброты — бесхарактерности, как сам он называл свою доброту. В Кадаинском прииске был выстроен острог, и туда поместили политических. Михайлов уже высидел свой

срок, но после него должен был еще доживать какой-то поляк, и он из дружбы к нему остался в сыром остроге и во время своего добровольного заключения получил брайтову болезнь, от которой и умер. За несколько дней до смерти к нему приехал его брат Петр, и больной сказал ему, чтобы он взял с полки связанные и приготовленные бумаги и передал их мне в руки. Брат дал ему слово, что бумаги будут переданы мне, и слово это сдержал, хотя из комнаты покойника ему пришлось выйти с револьвером в руках.

И вот этот добрый, этот хороший человек, способный на высокие подвиги самопожертвования, лежит теперь в далекой Сибири под простым крестом.

Об аресте нашем знала вся местная Сибирь, то есть все Забайкалье, и поэтому не удивительно, что когда мы приехали в Читу, то со станции, по распоряжению губернатора Кукеля, нас привезли на частную квартиру офицера Малиновского, где мы расположились как дома.

На другое утро к нам пришел декабрист Завалишин и принес мне чудесный букет из живых цветов.

— Вот видите,— после первого приветствия сказал Завалишин,— какие цветы цветут в глухой Сибири в январе месяце. Не забывайте этого.

Я свято сохранила просьбу старика не забывать этого. Фигура Завалишина до сих пор рисуется передо мною как живая. Он был очень умен, любил говорить не столько о дне 14 декабря, сколько о последующих днях, и говорил увлекательно и хорошо. Но он оригинален был по своей одежде. Он сохранил фасон всего, какой носили в двадцать пятом году. С ним жили его две сестры, старые девицы, которые и шили ему его платье по старым выкройкам. Рукава были с высокими сборками на плечах. Но любопытнее всего был картуз с прямым козырьком.

В Иркутске нас посадили в две комнатки и держали неимоверно строго. Даже не позволяли выходить гулять по дворику. Мы, разумеется, протестовали, и вскоре арест с нас был снят, и мы переехали на частную квартиру.

Можно сказать, что мытарства наши этим не кончились, а только что начались. Николая Васильевича повезли в Петербург, и за час до нашего отъезда начальство нашло, что в новой присланной бумаге обо мне не

говорилось, следовательно, меня нельзя было отпустить из города. Телеграфа тогда не было, и разъяснения спросить было нельзя, и потому я осталась одна с ребенком и с няней в Иркутске.

С этого времени у нас снова началась переписка с Николаем Васильевичем, и я могу отступить на второй план.

«<Петропавловская крепость, июль>
1863 года

Прочел сейчас еще раз твое письмо, и так мне хорошо стало. Когда я еще был очень маленьким, мне рассказывала бабушка, а может, и кто другой, что в былые годы человек иногда превращался в муху. Это обыкновенно делывали молодые влюбленные мужчины, и залетали они в терема к предмету своей страсти. Нынче таких превращений с людьми не бывает, даже злые люди перестали превращаться в змей-горынычей. А куда как хорошо это было бы и нынче!

Сегодня я вообще доволен. До чаю, то есть к половине восьмого, я успел перевести двенадцать страниц, по времени мог бы еще, да заболела грудь. Но я доволен и двенадцатью, и еще осталось у меня довольно времени, чтобы походить и помечтать о тебе и о Мише. Смешит он меня своими разговорами. Странно, что я не могу никак припомнить его лица; у меня остались в памяти преимущественно его сапоги с красными отворотами и его способ ступания в них на всю ступню прямо, сразу, да весь шик его широких штанов и распущенной рубашки. Ты пишешь, что он краснеет, когда горячится, а отчего он горячится? Думаю — оттого же, отчего горячился и Веня; я и не умею вообразить теперь Мишу иначе, каким был Веня маленьким.

У тебя два или один том Шлоссера? Мне помнится, что, кроме XVIII, ты писала и о XVI? Если это так — оставь один для меня; с своей работой я буду готов совсем к 15 августа и тогда бы принялся еще за перевод; а при усидчивости и монастырской жизни своей кончил бы том в полтора месяца, то есть к 1 октября. Только неужели меня продержат так долго, или хоть бы держали, да сказали бы, по крайней мере, сколько будут держать. Эта же неизвестность и характер великой таинственности, который придается у нас судебным

делам, самая мучительная и тяжелая их сторона. Впрочем, я, кажется, одна из последних жертв этого отживающего порядка, потому что с гласным и словесным судопроизводством наступит и более скорый и менее неприятный порядок. Почти уж год, как тянется дело. Легко сказать! Только к чему я пишу все это? Лучше я вот о чем попрошу тебя: напиши к моей маменьке письмо да что-нибудь придумай в оправдание моего молчания. Писать же о том, где я,— только пугать напрасно старушку.

Насчет отзывов о моих статьях хотя слышать и приятно, но я не знаю, о каких именно идет речь. А вместе с тем жду нетерпеливо оттиски; если у тебя есть «Русское слово», ты бы вырвала их да прислала («Сибирь по большой дороге» у меня есть, а что после). Кстати о «Русском слове»: литературный отдел там весьма печален и грустен, плаксивый характер придает ему Витковский своими тоску наводящими повестями. Не понимаю, зачем редакция гнушается переводных романов? Да, не мешало бы ей взять пример с «Времени», которое поняло весьма верно, что нужно давать интересное чтение, разумеется, со смыслом, которого у «Времени» оказывается в наличности немного. Сегодня просил отправить в «Русское слово» свою статью «Новые люди». Она была готова у меня еще одиннадцатого числа; но как ты не ответила мне на просьбу о совете, посылать ее или нет, то я и не послал; а впрочем, может быть, медлил и не по этой причине, а просто потому, что, становлюсь стар; старики же все вроде Фабия Кунктатора».

«<Петропавловская крепость,> 25 июля
<1863 года>

Мне разрешено с тобой видеться, но *только* с тобой, в месяц три раза, или каждые десять дней один раз. Когда будет тебе можно, приезжай. Хотя можно видеть мне и Мишуньку, но... я представил себе, что для этого его нужно будить рано, везти не вовремя, оторвать от сада и занятий, одним словом — нарушить весь быт маленького мальчика, и для чего — чтобы привезти в пыльный Петербург, где он, пожалуй, еще захворает. Поэтому я думал бы не возить его теперь, а там посмотрим. Впрочем, как ты решишь, так и быть тому».

Л. П. и Н. В. Шелгуновы
Фотография 1860—1861 гг.

«<Петропавловская крепость,> 7 октября <1863 года>

Статьи мои разрешено печатать. Поэтому я прошу тебя, голубчик, распорядиться так: самой тебе ехать, разумеется, трудно, а потому попроси Машу приехать к г. коменданту и получить от него статьи, а затем отправь их в «Русское слово». Мне бы хотелось, чтобы это сделалось как можно скорее; может быть, одна из статей успеет для сентябрьской книжки.

Всех статей три: 1) «Литература и образованные люди», 2) «Старый Свет и Новый Свет» и 3) «Начала общественного быта». Последнее заглавие неудачно, то есть неясно, придется его изменить. По моему соображению, в них должно быть листов восемь или даже более. Поэтому понятно, что мне хотелось бы, чтобы они были помещены все, и все в нынешнем году. Попроси Благосветлова уведомить тебя, когда они будут напечатаны, и статьи отдай в собственные руки редактора. Все боюсь, чтобы как-нибудь не затерялись. Скажи ему, что написаны по его заказу. А что делает моя статья о Сибири? Будет ли она напечатана и когда,— пожалуйста, уведомь. Уж так будет жаль, если не напечатается: в ней около шести листов. Как получишь мои теперешние статьи и доставишь их в редакцию, пожалуйста, уведомь тотчас же и перечисли заглавия».

«<Петропавловская крепость,> 12 октября <1863 года>

Милый мой друг Людя! Все твои письма получил и крепко тебя за них целую — такое они мне доставили удовольствие. За съестные запасы очень тебе благодарен. А запасами их называю потому, что они поразили меня своим обилием и разнообразием.

Ты мне предлагаешь XVIII том. Очень тебе благодарен и с радостью принимаю эту работу. Только зачем ты меня обидела напоминанием, чтобы я переводил хорошенько? Милый мой голубчик, разве ты не знаешь меня: я работаю всеми силами и честно, а если может выйти неудача, то не от недостатка добросовестности — в этом уж виноваты мои способности: значит, не в состоянии лучше. Я работаю всеми силами ума и всем

сердцем, а если статья выйдет плохо, то уж, разумеется, не потому, чтобы я хотел этого, а потому, что недостало силы. Если ты довольна этим моим объяснением, то привези предлагаемый том и в добросовестности моей не сомневайся. Но какую половину ты мне уступаешь: первую или последнюю? Мне бы хотелось с заглавным листом, потому что тогда начальству виднее, что это за рукопись, и, следовательно, она придет к тебе скорее.

Вышла ли из цензуры моя статья о Сибири? Скоро ли появится сентябрьская книжка «Русского слова»? Пожалуйста, как только выйдет, пришли ее ко мне. Да не забудь «Тысячелетие России» Павлова.

Узнай от редактора «Русского слова», доволен ли он моими последними статьями и когда они будут помещены. Наконец, последняя просьба: я прошу г. коменданта дозволить мне возвратить тебе ненужные книги: их накопилось у меня много, только занимают даром место. Пожалуйста, как приедешь 16, не забудь их взять. Еще раз целую тебя за письма, но жду еще. Ты не поверишь, какое они доставляют мне удовольствие. Расцелуй Мишуньку».

«<Петропавловская крепость,> 17 октября
<1863 года>

Ты пишешь, что у тебя есть английская детская книга по естественным наукам. Отчего же ты ее не переводишь? Переведи, и, если хочешь, я исправлю. Жак Араго был бы, думаю, тоже интересен. Если издание его пошло бы, то пришли, я попытаюсь составить из него что-нибудь. Думаю об изданиях вот что: детские книги нам нужны, и их у нас нет. Но составление их — дело нелегкое; поэтому вместе с изданием детских книг и с приисканием способных для того людей было бы недурно издавать учебники, преимущественно или, еще лучше того, исключительно принятые министерством народного просвещения для учебных заведений. Этим делом занимался до сих пор Глазунов, но я не думаю, чтобы это было его исключительной привилегией. Переговори с каким-нибудь тебе известным издателем; что же касается до детских, то я готов трудиться для этого дела, и если мой первый опыт вышел бы неудачен, то, разумеется, я не стал бы требовать за него вознагра-

ждения. Лишь бы пошло дело: вот все, чего я желаю. Что касается до детских сказок, то нельзя ли сделать что-нибудь из собрания народных сказок Афанасьева и др.? Я знаю, что из многих сказок этих изданий не сделаешь ничего детского; по, может быть, найдутся и годные! Переговори и об этом. В случае возможности пришли мне Афанасьева и другие собрания, а я в виде опыта составлю из них несколько сказок и, если их одобрят, стал бы продолжать. Хорошо бы успеть к рождеству, это детская пора, но сомневаюсь, потому что рукопись от меня к тебе будет идти долго.

Жду тебя к себе в будущую пятницу и считаю каждый день — так мне хочется с тобой видеться и так мне отрадно свиданье с тобой».

«<Петропавловская крепость,> 28 октября
<1863 года>

Вчера, как ты и сама знаешь, выпал первый снег, который доставил мне минутное удовольствие, потому что даже самое незначительное разнообразие действует благодетельно на мои нервы. Я подумал о Мишульке. Думаю, что с прошлой зимы он уже забыл снег, а потому нынешний ему был новостью. Что он — обрадовался, удивился? Уж нынче ему не придется кататься на салазках, как прошлую зиму».

«<Петропавловская крепость,> 31 октября
<1863 года>

Милый мой дружок Людичка! Получил два твоих письма: одно с книгой и булочными печениями, а другое — отправленное тобою с почтой. Письмо с приложениями было для меня особенно приятно вследствие большого разнообразия впечатлений. Рассортировав съедобное, я умилился особенно при виде ватрушек. Но, как человек чернорабочий, с миросозерцанием экономическим, я задался при этом вопросом о делаемых тобой на меня расходах. Не отвергая нисколько высоких достоинств немецкого булочника Вебера, я тем не менее признаю весьма положительные качества и за русскими сайками и калачами, тем более что они гораздо дешевле. Разумеется, они не в состоянии заменить сладких печений, которые служат у меня вместо пирожного

после обеда. Заботясь о своем желудке с такою же нежностью, как и о глазах, я делю сласти на небольшие порции, так что запас, привезенный тобою в последний раз, тянется у меня и до сих пор, ибо рассчитан до понедельника. Понятно, что сегодняшнее изобилие несколько изменило мои соображения. Но так как изобилие не бывает никогда излишним, то, разумеется, я рад больше присылке, чем если бы ее вовсе не было. Не думай, однако, чтобы юмористический тон доказывал, что у человека на сердце легко. Нынешняя неделя мне особенно тяжела. Пишется туго; впрочем, кончу к понедельнику первую статью. А будет она называться: «Россия до Петра Великого». Теперь, получив перевод без обозначения срока, когда он должен быть кончен, я не знаю, за что приниматься: за продолжение ли статьи или за историю Америки. Узнай насчет срока».

«<Петропавловская крепость,> 6 ноября <1863 года>

Получил твое письмо, получил XVIII том и получил пирожные. До следующего твоего приезда прошу больше не присылать мне ни лакомства, ни съестного, ибо явится уже изобилие, превышающее силы моего желудка. Хотя из патриотического чувства я и выразился в пользу русских саек и калачей, но теперь убедился опытом, что то было увлечение воображения, рисовавшее сайки в преувеличенном свете. Они больше хороши для воображения, чем для желудка. Мой желудок больше немецких свойств, и сайки ему не под силу. Знаешь ли, что я не ем никогда черного хлеба, потому что он трудно варим для меня? Эта новость явилась уже в моей одинокой жизни, и, разумеется, с переменой жизни моей первой заботой будет позаботиться об укреплении желудка.

Меня очень огорчает, что я не могу сделать для Миши приятными наши свидания. Если играть с ним,— а для этого нужно возиться с ним, а следовательно, иметь силу, которой теперь у меня немного,— то придется мало говорить с тобой, а когда займешься беседой с тобою, то для Миши не остается времени. Это мне напоминает самарского доктора — фамилию его забыл,— который звал утку глупым жарким, потому что

одной ему мало, а двух — много. Впрочем, относительно свидания с тобою и Мишунькой я отличаюсь еще большей жадностью, чем самарский доктор, потому что если бы можно было вместо часу видеться с тобою шесть часов подряд, то и этого я не нашел бы излишним. Совершенно как бедный относительно денег — чем больше, тем лучше».

«<Петропавловская крепость,> 8 ноября <1863 года>

Если издатели не захотят переводить находящуюся у меня немецкую историю Северо-Американских Штатов, то я бы сделал из нее журнальную статью. Можно ли это?

Не знаю, как и начать письмо, чтобы одним словом выразить, как я тебя люблю и ценю. Друг Людя, милый друг,— все это не то, что я чувствую. Знаешь ли, что твое внимание ко мне тронуло меня до слез? Ты скажешь, что мои нервы расстроены от одинокой, однообразной жизни. Пусть так, но в таком случае я бы хотел, чтобы относительно тебя мои нервы остались навсегда такими, какими они у меня теперь. Так бы и полетел к тебе, чтобы расцеловать твои ручки и моего милого Мишульку. Ведь я только вчера вечером по сильному колокольному звону догадался, что сегодня праздник. И, спросив, узнал, что Михайлов день. Тогда я побранил себя за беспамятство и очень жалел, что в письме к тебе не просил расцеловать крошку именинника. Получил он от тебя какие-нибудь подарки и чем знаменуется для него сегодняшний день? Тебе показалось мое письмо веселым — очень может быть, потому что можно быть веселым даже и от того, что рассчитываешь просидеть еще четыре, а не восемь месяцев. Почему-то я смотрю с сильно радостным чувством на март месяц. Не близко!

Кто научил тебя быть такой внимательной? Не правда ли — глупый вопрос, как будто можно научить человека этому».

«<Петропавловская крепость,> 13 ноября <1863 года>

Знаешь ли ты, голубчик, что я чувствую в себе силу и способности писать к тебе письма такой же длины, как мои журнальные статьи? Но не бойся, я не стану

пугать тебя подобными посланиями и в отвлеченности вдаваться не стану.

Переходя на почву положительности, обращаюсь к тебе с следующими просьбами, которые забыл передать при свидании. Ведь ты не можешь себе представить, какой переворот совершается в моих мозгах, когда я иду к тебе,— точно кто-нибудь помешает у меня в голове палкой. Всегда все перезабуду, а между тем все-таки нахожу довольно предметов для разговора. Совершенно как влюбленный мальчик. Зато, явившись в мою комнату, я вмиг охлаждаюсь на несколько градусов и, сосредоточиваясь понемногу, припоминаю наконец все, что хотел или что следовало сказать. Одну ошибку я уже поправил в начале письма, теперь поправляю и другую забывчивость. Пришли мне вот какие книги: «Человек и место его в природе» Фохта, журнал «Вокруг света»; ты, кажется, говорила, что видела его у кого-то из знакомых. Мне все равно, хоть за один прошлый год, хоть даже разрозненный; роман графа Толстого «Князь Серебряный». Он помещался, кажется, в «Русском вестнике» за прошлый год; «Сказки» Афанасьева и «Сказки» братьев Гримм, они переведены на русский язык. Если вышли следующие издания: Бокль — «История цивилизации Англии», 2-я часть (первая у меня есть), Геттнер — «История литературы» (первая часть — Англия — у меня есть), Фохт — «Физиологические письма» (выпуск второй), то вышли их, а если нет, то попроси их выслать, когда выйдут. Да нет ли каких-либо иностранных изданий, чтобы составить журнальную статью? Я думаю, это может сказать Благосветлов; да у него же узнай, как решила цензура с моей статьей, и тотчас же уведомь».

«<Петропавловская крепость,> 1 декабря
<1863 года>

Если у вас там хорошая погода, зато у нас дурная. Это закон равновесия. Маленький кусочек неба, созерцанием которого я имею право наслаждаться, постоянно одного светло-серого цвета; несмотря на такой скромный цвет и на небольшой свой размер, он сыплет беспрерывно то снег, то дождь, из чего я заключаю с большим вероятием, что и в Петербурге стоит такая же скверная погода. Но это бы еще ничего, а, на беду лег-

коверным, ученые астрономы распускают слухи, будто бы на небе явилась та же комета, которая была видна в Петербурге в 1824 году, и предсказывают сильное наводнение на 6 декабря. Астрономы, разумеется, имеют полное право врать, потому что это не запрещено им никакими законами, но для людей доверчивых тем не легче. Соображая средства спасения, я кидаю благодарные взоры на печку, которая, подобно одинокой скале, примет меня на свою вершину с той книгой в драгоценном переплете, которую ты просила меня не испортить.

Очень я рад за Мишульку, которому швейцарский климат будет очень полезен, да думаю, что и Феня пополнеет от него, подобно тому как это случилось и в благословенной Ундинской слободе. Какой, право, очаровательный край и как счастливы те цивилизованные люди, которых судьба заносит к тунгусам и калошам!

Рад я и за Феню, что ей нравится за границей. Да, так и следовало. Ведь это только наша деревенская кормилица находила, что ее деревенская изба красивее Лувра и ее муж величественнее Наполеона III.

Перевод «Истории Америки» так для меня противен, что были дни, когда я из отвращения к нему не мог решительно работать. И отчего это отвращение? Думаю, оттого, что не уверен в деньгах и болит грудь. Я просил Евгению Егоровну дать знать издателю, что я переведу первую главу, а для второй чтобы он искал другого переводчика. Эту работу я кончу дня через три и тогда примусь за опыт рассказа для детей. Хочу для начала написать «Рассказы о животных»; тут будут лошадь, медведь, волк, лисица и заяц. Сначала напишу «лошадь» и «медведь»; если останутся довольны — буду продолжать».

«<Петропавловская крепость,> 10 декабря
<1863 года>

О себе писать мне, разумеется, нечего, ибо дни мои так похожи один на другой, как куриные яйца. Впрочем, я здоров и в окружающем меня мире заметил ту перемену, что вместо дождя из созерцаемого мною кусочка неба стал падать снег. Могу прибавить к этому, что около 6 декабря стояли довольно сильные морозы.

В именины были у меня Евгения Егоровна, Маша и Надя. Как свидание экстренное и торжественное, оно

было продолжительнее обыкновенного, что доставило мне, разумеется, большое удовольствие.

Наконец-то я кончил переводить первую главу «Истории Америки». Точно гора свалилась с плеч. Я не запомню работы более неприятной. Да и вообще начинаю чувствовать к переводам отвращение. Думаю, что это происходит оттого, что за переводами сидишь усидчивее и потому более устаешь. Наконец монотонность уроков вечно одного размера наводит такую же тоску, как и всякое однообразие, создающее, по словам Молешотта, филистерство.

Рад я за Мишульку, что швейцарский воздух имеет на него такое хорошее влияние. Впрочем, Миша в этом отношении счастлив, потому что с самого рождения путешествует в местностях с сухим, здоровым климатом. Напиши на маленькой бумажке письмецо и отдай ему от меня. Скажи, что пишет папа, и ответь мне, пожалуйста, что он ответит на это.

Ты хочешь выписать «Санкт-Петербургские ведомости». А не хочешь ли, кроме того, получать и «Русское слово»? Под бандеролю это обойдется не дорого (впрочем, надо справиться — попрошу Машу), но книга будет приходить несколько в истрепанном виде».

«<Петропавловская крепость,> 15 декабря <1863 года>

Теперь я начинаю снова чувствовать, что тебя здесь нет, милый мой дружок. И это я замечаю во всех мелочах. Ты говоришь, что русские больны не от дурного климата, а чисто от незнания физиологии и гигиены. Я скажу больше — они еще не в состоянии понять необходимости не только этих, но и других знаний. И вся наша беда от незнания и недостатка воспитания для дельности. Все мы, по-видимому, и добрые и хорошие люди, да только ни в чем нельзя на нас положиться и ничего нельзя нам поручить, потому что росли мы, как грибы, на авось и кое-как. Приведу тебе самый пустой факт, который мне испортил много крови: «Русское слово» вышло 29 ноября, а я, несмотря на письма к Благосветлову и к Евгении Егоровне о присылке книги и на личную очень убедительную просьбу о том Евгении Егоровны и Маши, получил книгу только 14 декабря.

Факт пустой, но повторяющийся в разных видах в нашей повседневной жизни. Мы как будто не имеем еще цивилизованных потребностей и не понимаем их в других. Мы берем деньги в долг и обещаем их отдать в срок — и не отдаем. Мы назначаем свидание, положим, в двенадцать часов, а приходим в три. Мы обещаем одно, а делаем другое. Мы не умеем ни трудиться, ни веселиться, потому что обращаем ночь в день, а день в ночь. И живем мы так, как живется, без всякой предусмотрительности и системы. Я знаю, что система, доведенная до немецкой крайности, создает филистерство. Но разве нельзя быть дельным, предусмотрительным и порядочным, не будучи филистером? Можно, и доказательством — американцы. Поэтому как можно больше полезных знаний и житейской порядочности по отношению к себе и другим, то есть такое развитие в человеке ума и сердца вместе с деловой практичностью — вот что хотелось бы воспитать в Мише. Думаю, что ты согласна со мной.

Сначала меня беспокоила мысль, чтобы не украли у тебя дорогой денег. Теперь же боюсь за твои вещи, отправленные с товарным поездом. Особенно если ты их не застраховала. Пожалуйста, напиши, когда их получишь.

Что это с Мишулькой, опять принялся за рисованье? И, верно, со страстностью? Укрепляй, ради бога, ему здоровье, чтобы вышел железный. Только в здоровом теле здоровый дух, и нужно, чтобы Мишулька полюбил свое тело, тогда только он поймет и пользу физиологии и гигиены. Расцелуй милого мальчика и говори ему чаще обо мне.

Прощай, мой дорогой друг; целую тебя много-много раз и целую Мишульку. Погода у нас печальная стоит, тепло, хотя рождество на дворе. До свидания, мой дружок».

«<Петропавловская крепость,>18 декабря <1863 года>

Так меня обрадовало твое последнее письмо, милый мой дружок. Теперь я знаю, что мы можем давать друг другу весть, как будто между нами телеграфная проволока. А то я уже начинал беспокоиться, не зная, чему

приписать, что к тебе не доходили мои письма. Из того, что к тебе мое письмо шло пятнадцать дней, а твои ко мне только пять, следует заключить, что от Петербурга до тебя втрое дальше, чем от тебя до Петербурга; подобный вопрос уже разрешался раз относительно Парижа в нашей литературе и, разумеется, не повел ни к чему.

Письмо твое доставило мне такое огромное наслаждение, что я читал его несколько раз и, засыпая, чувствовал у себя улыбку удовольствия на лице. Смешит меня Мишулька, обиду которого я понимаю вполне, хотя и смеюсь всякий раз, когда представляю его себе в обществе четырехлетней краснощекой немки. Ну, как же не обидно — нашел он себе товарища и не может сделать себя ему понятным, несмотря на все усилия и все красноречие. Впрочем, я думаю, они начнут скоро понимать друг друга, и вообще Миша, как я думаю, сделает в немецком и французском языках скорее успехи, чем Феня.

Очень благодарю тебя, мой друг, за портреты, хотя их еще не получал; но благодарю тебя за то, что ты предупредила мою просьбу.

Мое положение очень удобно для некоторых физиологических наблюдений над собственным телом, но это такая выгода, которую я, разумеется, не желал бы никому. Подождем еще.

Подобные философские утешения очень обыкновенны, и все-таки они весьма пошлы, как пошлы и неуместны стереотипные фразы в утешение об умершем: «так богу угодно», «все мы должны умирать», «видно, уж судьба» и т. д. Кстати, о смерти. Ты мне не говорила ничего, что умер Помяловский. Я не знаю этого человека, то есть не был с ним знаком и видел его только несколько раз. Но известие о его смерти так поразило меня, как будто бы я лишился самого близкого друга. Скажу тебе по секрету, что меня, как говорят, прошибло. Боже, боже, мало у нас и так даровитых и способных людей, да и те не живут у нас долго! В эти два года уже сколько выбыло подобных даровитых личностей. Бедная литература! И почему из литераторов должны выбывать только способные люди, а всякая дрянь, бездарность благоденствует и заносится, подобно каким-нибудь Скарятиным и Мельниковым. Грустно!»

«<Петропавловская крепость,> 31 декабря <1863 года>

Завтра Новый год. Встречу я его сегодня в постели, в глубоком сне. Странно, что я вижу иногда какие-то особенные сны. Нынче, ни с того ни с сего, видел вдруг Наполеона III, будто бы он женился на какой-то моей родственнице, и знакомые мои, бывшие на свадебном пиру, обращались со мной весьма почтительно, предвидя мое возвышение. А между тем тебя и Мишу, кого я люблю больше всего в мире и о ком я чаще всего думаю, я не вижу во сне никогда. Раз, впрочем, я видел тебя — мы поссорились из-за чего-то».

«<Петропавловская крепость,> 4 января 1864 года

Знаешь ли, чем выразилось мое довольство при получении карточек! Я начал хохотать, но внутренним, сдержанным смехом. Так выражается у меня нынче всякая сильная радость. Если бы было возможно шумное заявление радости, я бы хохотал громко; но как моя скромная жизнь возлагает на меня обязательство самовоздержания, то я и выражаю все свои восторги тихим, но самым сердечным смехом. Миша вышел поразительно хорош. Что это он держит в руке — яблоко или мячик? Что за душка Миша! Уж так я тебе благодарен. Я смотрю обыкновенно на вас вместе, сложив карточки рядом. Сначала мне твое лицо казалось серьезным; но теперь я досмотрелся в нем до тихой, спокойной улыбки, которая при беглом взгляде на портрет незаметна.

Детские рассказы, которые я было думал писать, теперь оставил. И для этого нужно быть на свободе, чтобы пересмотреть подобные же издания. Зная недостатки других, можно их избегнуть. А иначе напишешь, пожалуй, вздор, которого и без меня довольно. Будь я вольный казак, я бы выбрал своим критиком Мишульку, и тогда можно было бы написать что-нибудь порядочное...

С тех пор как я стал ожидать своего освобождения в очень отдаленном будущем, я впал в апатию: голова пуста и не хочет ничего делать, только бы лежал целый день. Глупое и унизительное состояние...»

«<Петропавловская крепость,> 15 января 1864 года

...Хочется мне писать к тебе еще, и потому беру сей полулист и пишу. И опять о Мише. Есть у немцев издание «Das Buch der Welt», по крайней мере, было; но существует ли оно теперь, наверно не знаю. Если нет его, то есть другие подобные. Русское «Вокруг света», что ты прислала мне, есть подражание этому изданию. Издания этого рода богаты изображениями животных, растений, насекомых, видами городов, местностей, замечательных сооружений и т. д. Все это иллюминовано, красиво, интересно и поучительно не только для детей, но и для взрослых. При каждом изображении есть описание...

...Если бы я не был разлучен с тобой и с Мишулькой, то я подписался бы на такое издание и сделал бы себе обязательство объяснять ему картинки по тексту. Это, разумеется, лучше всех глупых сказок о леших и домовых, потому что знакомит с действительной природой...

...Поручи мне что-нибудь сделать за тебя, так, чтобы тебе было меньше дела. Мне же это ничего, потому что я, как мне кажется, так поглупел, что не в состоянии писать оригинальных статей. От однообразной жизни, лишенной всяких развлечений, голова у меня ужасно устала...»

«<Петропавловская крепость,> 31 января 1864 года

...В те минуты, когда, валяясь ночью в постели, я не могу заснуть, я пускаюсь обыкновенно в придумывание разных изобретений. Таким образом, я выдумал новую мостовую (торцовую), не гниющую и требующую ремонта раз в десять лет. Даже и при первоначальных издержках она будет стоить гораздо дешевле нынешней и будет приготовляться из дерева, которое до сих пор пропадало в лесах даром. Потом я изобрел особую пушку... Ты не думай, что я шучу, я говорю серьезно и при первой возможности сделаю непременно опыт...

С тех пор как я узнал, что приобрел в твоем лице нового читателя своих статей, чего не бывало прежде, я стараюсь писать лучше и, в то время когда пишу, думаю: «Ведь будет читать Людя, нужно обдумать и изложить хорошенько». Видишь, как дорог для меня такой

критик и судья, как ты! Впрочем, давно уже известно, что похвала одного истинно умного и благородного человека значит гораздо больше, чем неосмысленные отзывы легиона глупцов».

«<Петропавловская крепость,> 16 февраля <1864 года>

...Нервы, мои нервы сильно ослабели. Придется целый год лечиться. А еще я обтираюсь холодной водой два раза в день; без этой предосторожности непременно бы захворал. Но зато более утончившаяся нервная впечатлительность сообщила мне некоторые свойства барометра, как его понимают в общежитии. Я могу предсказывать погоду и чувствую ее не одной какой-нибудь частью тела, как раненые или страдающие ревматизмом, а всей своей нервной системой. Впрочем, этой чувствительностью гордиться особенно нечего — ею владеет всякий петух. Дело только в том, что при печальной погоде не хочется ничего делать. И прекрасно, скажешь ты, и не делай, когда не хочется. Так я и поступаю и, не далее как сейчас, отложил занятия английским языком, потому что решительно ни одно слово не идет в голову...

...Нейман, в своей «Истории Северо-Американских Штатов», говорит о Франклине следующее: «Франклин был счастлив, происходя из фамилии с здоровым духом и телом. Его родители не были никогда больны. Отец умер восьмидесяти девяти, а мать восьмидесяти пяти лет. На еду и питье в их доме не обращали почти никакого внимания — ели то, что подавалось на стол, и о кушаньях не бывало никогда речи. Франклин оставался во всю жизнь верен этому порядку жизни, что и сохранило ему навсегда светлую голову, быстрое понимание и рассудительность». Когда я читал это место, то думал, разумеется, о Мише. Но когда написал, то стал сомневаться, чтобы ум, рассудительность и восприимчивость давались человеку таким легким путем. Отчего же все люди, едящие умеренно, не выходят Франклинами? Но как я люблю Мишу больше всего, даже до суеверия, то готов верить Нейману на слово, и если умеренной едой можно сделать подобие Франклина, то, разумеется, желал бы, чтобы превосходное физическое воспитание дало Мишульке здоровое тело и здоровый дух. Думая о Мише и его воспитании, я забегаю всегда слишком вперед.

Больше всего я боюсь наших общественных заведений, где молоденький мальчик легко может получить скверные и вредные привычки, которые скоро унесут всю его юношескую силу, и тогда прощай будущий Франклин! Сила ослабленных умственных способностей уже не воротится. Думаю, что лучше всего, если только позволяют средства, воспитывать до университета дома. Не правда ли, моя дальновидность, хватающая на пятнадцать лет вперед, слишком велика? Но ведь, Людичка, в одиночестве думаешь еще и дальше; я думаю беспрестанно о старости и даже о смерти. Теперешний мой путь жизни уж не на гору, а под гору...»

«<Петропавловская крепость,> 19 февраля <1864 года>

...Наконец я получил «Русское слово». С моей статьей поступили жестоко. Во второй главе «Нравственные влияния» зачеркнули сплошь весь конец, больше печатного листа, так что теперь не оказывается никакого нравственного влияния. Положим, что цензура может даже и совсем не пропустить статьи, но зачем же зачеркивать то, что уже напечатано в других сочинениях? Это неудобно в том отношении, что сбивает несколько с толку. Впрочем, живя на свободе, можно бы примениться к требованиям нынешней цензуры. «Русское слово», как ты увидишь, изменило к лучшему свою физиономию, то есть сделало красивее свою обложку. Не знаю, насколько оно выиграет в содержании, но вообще по характеру статей оно имеет больше ученое, чем публицистическое направление. Как в этом отношении, например, «Современник», который, кажется, ты получаешь или, по крайней мере, читаешь?

Еще относительно изданий: рукопись перевода нужно присылать в цензуру и уже тогда печатать. Не забудь этого. Ты видишь, как я ухватился за твою мысль, точно будто мы с тобой уже решили заниматься изданиями постоянно и завели в Петербурге книжный магазин. Впрочем, я берусь горячо за все твои проекты, потому что они всегда практичны и обдуманны. Ну, разумеется, нельзя иногда без неудач; так случилось с нашей фермой: но, во-первых, подождем еще будущего; а во-вторых, Наполеон I говорил, что во всяком деле

можно рассчитывать на одну треть; а две трети успеха предоставить удаче или счастью. Поэтому в наших общих делах расчет предприятий отдай мне, а себе возьми остальные две трети, то есть успех, потому что ты счастливее меня.

После нескольких дней печальной и страшно тягостной для меня погоды сегодня наконец светлый, солнечный день. Я, разумеется в качестве барометра, заявляю сочувствие к солнечному теплу и свету более спокойным настроением духа. Но чувствую грудную боль. Думаю, это оттого, что несколько дней сряду я был в очень раздраженном состоянии, а вчера так решительно был со мной какой-то нервный припадок. Мне говорили, например: не раздражайтесь, старайтесь быть спокойны. Такие советы напоминают мне просьбу одной добродетельной жены к своему мужу:

Чем болью мучиться такою,
Попробуй лучше не дыши.

Или человеку, у которого ломит голову от боли, говорят: не думайте, что у вас болит голова. Да как же не думать, когда болит? Можно молчать о своей болезни, это другое дело. Но ведь от молчания еще не выздоровеешь...»

«<Петропавловская крепость,> 27 февраля
<1864 года>

...Ты пишешь, что начала читать мою вторую статью. Но знаешь ли, что мне совестно за все, что я написал? Я доволен всякой своей статьей, пока она не напечатана, но как только она вышла из типографии, мне становится стыдно, точно я сделал глупое дело. Только за свои лесные сочинения я не стыжусь; и это потому, что я имел в лесном мире апломб, которого у меня нет в литературе. Особенно мне стыдно за «Старый и Новый Свет». Мысль была хорошая, но я недоволен выполнением, то есть бесталанностью изложения и языком, который я намеренно старался сделать более серьезным, вроде ученого языка «Отечественных записок». Ты спросишь, зачем я делал это,— а потому, что я не на своей квартире и решительно не знаю теперешней цензуры».

«<Петропавловская крепость,> 2 марта
<1864 года>

...На той неделе я читал «Взбаломученное море» Писемского и нашел только один недостаток — в Писемском нет вовсе ни того ума, ни того таланта, какой ему приписывали. Впрочем, у нас всегда любят прокричать человека. Сначала поднимут выше небес, а потом начнут топтать в грязи. Так сделали нынче и с Писемским. Увлечение, говорят, признак молодости; а что русские еще молоды, это мы и сами говорим про себя; следовательно, все в порядке вещей. В «Взбаломученном море» нет ни силы, ни глубины мысли...».

«<Петропавловская крепость,> 22 марта
<1864 года>

...Если бы я пользовался возможностью жить вместе с тобою, то мы могли бы хорошо организовать издательское дело: ты бы переводила и переводами уплачивала бы в типографию за наши издания, а я добывал бы средства для жизни журнальной работой. Какая, впрочем, грустная перспектива. Вечное писанье, вечное сиденье с сгорбленной спиной! Когда же отдых человеку и спокойная старость? Или нет ее труженику и придется повторить известную поговорку: кто в сорок не богат, тот и умрет так? Не думай, впрочем, что эти мрачные мысли я пишу с особенно мрачным настроением духа. Странное дело: вечные труженики обыкновенно мечтают о счастье сидеть сложа руки, но отними у них работу и дай им far niente [1] — они будут еще несчастнее, чем были прежде...

...Ты требуешь проекта для детской библиотеки, вот он: издание трех родов: для детей, которые только умеют смотреть, как Миша, и нужно им все разъяснять и толковать. Для детей лет шести — восьми, умеющих уже читать, и для детей лет десяти, приготовляющихся уже в гимназию.

Издание обнимает все отрасли знания; изложение самое популярное — гораздо проще, чем Вагнера, ибо я не совсем доволен его манерой. Он пишет так, что при

---

[1] побездельничать.

каждом слове является вопрос; а между тем нужно удовлетворить ребенка вполне, или, по крайней мере, по возможности вполне, что при вагнеровской краткости и скудости фактов невозможно.

Для детей первого возраста издаются только картинки, по возможности большого формата. Тут должна быть изображена полная зоологическая система с главными представителями родов. Главные племена людей и, пожалуй, национальности, резко бросающиеся в глаза своей внешней особенностью. Для руководства купи какую-нибудь полную зоологическую таблицу, и ты сама выберешь все, что найдешь интересным и поучительным для детей. Я не знаю, занимают ли детей ботанические изображения? Но считаю полезным употребить в дело и ботанику. Особенно растения, частью и плоды, которые или особенно интересны по своей наружности, или употребляются в хозяйстве. Предметы архитектурные: дома, мосты, замки, дворцы, разумеется, в виде ландшафтов, с людьми и разными сценами; пароходы, железные дороги. Из предметов домашней жизни — все, что более или менее возбуждает любопытство: экипажи, мебель, посуда. Сельское хозяйство: орудия сельского хозяйства, машины, оживленные изображением работающих на них людей, так, чтобы рассказать, что делают люди,— например, разных родов мельницы, толчеи, коровники, конюшни — с лошадьми и коровами; изображения сельских работ — паханье, бороненье, сев, жатва, молотьба и т. д. Технология сельскохозяйственная: как хлебное зерно превращается постепенно в хлеб; как из овцы выходит сукно; как из льняного семени полотно, а из быка сапоги. Ты понимаешь мою мысль. Общая технология: приготовление стекла, выдувание посуды, делание зеркал, горшечное производство, фарфоровое, сахарный завод, шоколадная фабрика и т. д., писчебумажное производство, обои, стеариновый завод. География: виды разных стран в главной их характеристике; Гренландия, Камчатка, Крым, тропические местности, гористые страны, с вечными снегами на вершинах гор, сельские виды, или, лучше сказать, виды населенных местностей: самоеды, остяки, лапландцы, русские, немцы, итальянцы, испанцы, разные дикари Азии и Африки и Америки, североамериканцы. Выбирать для этого такие резкие особенности, чтобы сейчас же составлялось

определенное понятие о каждой национальности, ее занятиях и образе жизни. Промыслы: охота и рыбная ловля в разных частях света и по разрядам животных — ловля китов, тюленей, собирание жемчуга, добывание золота и т. д. Из истории: памятники и монументы разным великим людям, оказавшим услуги цивилизации.

Кажется, что этого довольно. Тут материалу тысячи на две картин. Считаю удобнее издавать их в виде отдельных изображений, чтобы не стеснять выбора.

Для второго возраста, или для детей, начинающих читать, то же самое сопровождается отдельными монографиями, краткими, ясными, с изображениями в тексте, напечатанными крупно в формате изданий Таухница. Каждая монография отдельно. Кроме того, небольшие повести, рассказы из истории, анекдоты, сказки Пушкина, все с иллюстрациями. Наконец, описания некоторых физических явлений: дождь, снег, град, холод, тепло, горение — все это в применении и связи с ежедневной жизнью, вроде того как у Вагнера.

Для третьего возраста монографии превращаются в краткие курсы. Тут уж география — с мирозданием и кометами, затмения, приливы и отливы. Физические явления — тепло, холод, дождь и т. д., и вместе с тем и разные силы — электричество, магнетизм с их приложениями к жизни, например, телеграф. Описание народов, путешествия. Описание технических производств, фабрик и заводов; сельские процессы. Одним словом, изложение того, что для первого возраста только изображалось. Изложение только общих оснований, самое понятное и простое. Рассказы из истории в виде отдельных характеристик, биографий и полных изложений событий известной эпохи в связи. Стихи, повести, рассказы, даже целые романы. Химия, физиология, гигиена — даже гимнастика. Но везде и во всем непременно изображения; а при описании явлений и сил природы непременно техническое применение их к жизни. Например, полный трактат о воде может распасться на множество монографий — вода рек, озер и морей и жизнь в ней животная и растительная; вода глетчеров, ледники Гренландии и Ледовитое море с его жизнью; вода облаков и пара с приложением его к жизни и к паровым машинам. Здесь могут быть объяснены законы статики. Механика: машины, действующие в них силы, рычаги, закон разделения

сил и т. д., при этом объяснение некоторых приложений,— например, постановка Александровской колонны. Геология. О том, что жило на земле до человека. Многое из этого мог бы написать и я, и, как думаю, лучше русского перевода Вагнера. Не знаю, ясна ли тебе общая идея и как приложить ее в частности. Одним словом, я думаю о детской энциклопедии решительно по всем отраслям знаний в порядке и системе в виде одного обширного издания. Это было бы полезно и для наших взрослых людей, которые нередко знают менее, чем дети...»

«<Петропавловская крепость,> 25 марта <1864 года>

Дружок Людя. Есть у немцев две энциклопедии: «Die Wissenschaften in neunzehnten Jahrhundert» Ромберга и «Malerische Feierstunden» Шпамера. Изданий этих видеть мне не случилось, но знаю, что они хороши. Не наведут ли они тебя на полезные мысли относительно детской библиотеки и нельзя ли ими воспользоваться с известными переделками для твоего издания? Думаю, что можно. Но книги эти, вероятно, дороги, потому что их много. Взгляни на них и напиши мне свое мнение. Потом у немцев должны быть отличные монографии по отдельным изобретениям и открытиям, например: история открытия и приготовления пороха, книгопечатание и описание разных отдельных фабричных и заводских производств. Как жаль, что я не могу располагать собой: монографии по технологии, общей и частной, и физиологии и гигиене, по физике и химии я взялся бы писать с большим удовольствием и думаю, что справился бы вполне с этим предметом. Обрати внимание на две мои статьи: «Земля и органическая жизнь» в августе прошлого года и «Причины бедности» в феврале нынешнего. Мне кажется, они написаны весьма популярно и просто; если ты найдешь это так, то, значит, я могу писать для детей, ибо я в состоянии писать еще понятнее, если буду думать, что пишу не для взрослых, как было с этими статьями. Полагаю, что монографии по экономическим вопросам были бы тоже весьма полезны, например, что такое труд, богатство, капитал, торговля и т. д. Самое издание нужно разделить на серии по отдельным предметам, например: «Землеведение». Это мо-

жет быть целый бесконечный ряд монографий по землеописанию и путешествиям, с своей отдельной нумерацией томов, так чтобы по мере новых открытий продолжать выпуск последних известий, заменяя ими первые, уже отжившие выпуски. Точно такой же порядок принять и относительно других серий, например: история, зоология, технология. Научное заглавие серии помещать вместе с номером брошюры, или выпуска, только на корешке, а самый выпуск озаглавить популярным образом; например «Технология, вып. XX», а на обложке: «Как печатают книги» или «Приготовление сахара» и т. д. Скажу еще раз, что я нахожу свою мысль правильной и полагаю, что если подобными отдельными монографиями, не имеющими, по-видимому, связи, какую представляют полные научные трактаты (разумеется, не для детей), сообщится ребенку огромный запас разных отдельных интересных фактов и отрывочных сведений, то и в этом будет огромная польза, потому что нынешние детские книги не дают и сотой доли того, что дала бы подобная энциклопедия».

«<Петропавловская крепость,> 27 марта <1864 года>

...Часто думаю я о старости — мечтаю об отдыхе и спокойной жизни среди поля, сада, леса; хотелось бы теплых, ясных, солнечных дней, спокойной, безмятежной жизни среди сельских занятий».

«<Петропавловская крепость,> 11 апреля <1864 года>

...Я вижу в детских изданиях дело такой великой важности, которое, по-моему, затмевает все остальные. Что может быть важнее распространения полезных знаний и воспитания детей? И если пригласить к составлению книг «детской энциклопедии», или «библиотеки», известных писателей и ученых, например, по русской истории Ник. Ив. Костомарова и т. д., то, разумеется, можно ручаться, что издание будет хорошо и полезно. Даровитых и знающих сотрудников найти не трудно, если действовать честно и не рассчитывать исключительно на барыши и из великого дела не делать спекуляцию, как это позволяет себе Вольф.

Напиши мне, пожалуйста, голубчик, как слагается характер Миши, какие в нем хорошие и дурные стороны. Доктор Бок говорит, что первые четыре года в жизни ребенка самые важные во всей его жизни. Тут кладется основание будущим достоинствам и недостаткам человека. В возрасте от трех-четырех лет нужно стараться вселять в дитятю любовь к справедливости, так чтобы с первым проявлением сознания дитя имело уже хорошее нравственное основание. Добрые наклонности, образованные бессознательно привычкою, укрепляются впоследствии с помощью рассудка и служат твердою основою для благородного характера. Вообще нравственное воспитание до семилетнего возраста чрезвычайно важно, потому что чувство добра и справедливости образуется в эти годы легче, чем впоследствии. Это мнение кажется мне вполне правильным. К сожалению, много ли на свете людей, понимающих так дело воспитания? Обыкновенно дети растут как грибы: или без всякой заботы, воспитываясь одними внешними обстоятельствами и разными случайностями, или же приобретают от своих родителей познания, которые делают их на всю жизнь дураками. Вот причина такого обилия глупцов и медленности прогресса...»

«<Петропавловская крепость,> 29 апреля <1864 года>

...С редакцией я свел счеты и получил деньги по февральскую книжку включительно. Что будет вперед — не знаю. Но после запрещения цензурой статьи об уголовном правосудии Западной Европы я боюсь, что не напечатается, пожалуй, и моя последняя статья, представленная мною три дня тому назад: «Цивилизация прошедшего и будущего»; а ты сама знаешь, что в моем положении особенного богатства материалов и даровитости, или, вернее, плодовитости, ожидать от меня нельзя. Я удивляюсь еще, что у меня достало сил даже на то, что я написал до сих пор, и начинаю бояться, что скоро недостанет ни материалов, ни способности писать дальше. Не думай, что я хочу рисоваться этими словами: люди исписывались даже на свободе, люди с большими талантами; ну, а мои средства весьма ограничены. Понятно, что я имею полное основание бояться, что через два месяца, а может, и раньше, мне писать будет нече-

го. Теперь у меня голова совершенно пуста, что совершенно понятно, если обратить внимание на то, что при умственном труде нужен больший отдых и большее разнообразие жизни, чем при труде физическом...»

«<Петропавловская крепость,> 14 июня <1864 года>

...Сегодня я писал о часах и, разумеется, сейчас же перенесся мыслями к Мише и вообразил себе, как я дарю ему стенные часы и как мы с ним их разбираем и составляем. Сколько есть подобных предметов, которых изучение, нисколько не напрягая способностей, доставляет вместе с тем огромное удовольствие. Вся физика — предмет именно такого свойства в своих начальных основаниях. Разумеется, в своем дальнейшем развитии она несколько труднее, но ведь тогда и у ребенка ум становится крепче. А какой бездне фактов можно научить ребенка до десяти — двенадцати лет! И все эти факты он усвоит так же легко, как усваивает и всякие игры. Я знаю очень хорошо, что над системой воспитания детей игрушками все порядочные люди смеются, потому что эти отрывочные знания не приучают думать последовательно; но, с другой стороны, я знаю и то, что Миша сильнее своими способностями, чем телом,— следовательно, нужно беречь его голову, и для него, мне кажется, лучший способ воспитания будет заключаться именно в доставлении ему отдельных фактов, разумеется, не в разброс, а в последовательной связи; с двенадцати же лет можно будет уже вести голову и путем логического развития мысли математикой, которая лучше всех знаний приучает думать последовательно и правильно, а не прыжками и отрывками мыслей, как приучают думать девиц...»

«<Петропавловская крепость,> 1 июля <1864 года>

Дружок Людя! И в моей жизни есть и радости и сюрпризы. Так, Надя мне пишет, что в нынешней майской книжке «Русского слова» помещены две мои статьи: 1) «Прошедшее и будущее европейской цивилизации» и 2) «Современное значение уголовного права в Западной Европе». Случилось это так. Вторая статья, ко-

торой я дал заглавие «Уголовное правосудие Западной Европы», назначалась для мартовской книжки и, что очень огорчило меня тогда, была запрещена цензурой. Но, видно, нашли потом, что запрещение можно снять, и вот статья является в печати, хотя с несколько измененным заглавием. Но новое заглавие неверно, потому что «Уголовное право», как назвали ее, есть теория, а я говорю в статье не о теории, а о современной уголовной практике. Уведомляя меня о помещении этой статьи, Надя ставит две точки и прибавляет: «Не знаю — чья». От кого хотела секретничать Надя — не знаю, потому что имя автора известно и начальству и цензуре, а если его не выставили в журнале и пометили под статьей какие-нибудь буквы, так это просто потому, что в журналах есть обычай не помещать в одной книжке две статьи под одним именем. Этим путем составился случайно в «Современнике» мой псевдоним «Т. З.», который принялся и в «Русском слове». Первая статья тоже имела у меня другое заглавие, и гораздо короче нынешнего: «Цивилизация прошедшего и будущего». Тут сделала изменение, вероятно, редакция, которую я просил процензуровать статью до цензуры. Теперь ты очень хорошо понимаешь, что я жду нетерпеливо майскую книжку...

...С развитием книжного и журнального дела у нас стал являться литературный пролетариат. В Западной Европе это давно уже не новость; но у нас пока литературные рабочие печальная новинка, которой многие даже и не подозревают. Положение этих людей, разумеется, хуже положения крестьян, потому что у тех есть земля, а у этих ничего, кроме дырявых сапогов и прорванного сюртука...»

«<Петропавловская крепость,> 10 июля
<1864 года>

...Очень тебе благодарен за выписку из письма Вени. Одна половина его замечания вполне верна, а другая нет. Он находит слабой мою статью об отживающих словах. Причина в том, что подобные статьи не по моим силам. Я знаю, что не должен писать так называемых теоретических статей, ибо вследствие плохого воспитания я не умею думать в строгой последовательности, а думаю афоризмами. Этот недостаток, при внимательном чтении, легко заметить в каждой моей статье. К сожале-

нию, бывают случаи, когда писать хочется, а нечего, и оттого погрешишь иногда такой статьей, какой писать бы не следовало. К числу таких принадлежат и «Отживающие слова». Что же касается до совета Вени не писать статей по естественной истории, на основании того, что будто бы в статье «Земля и органическая жизнь» (август 1863 года) есть неверности против новейших теорий, то совет этот неправилен. С большей основательностью Веня мог бы сказать, что не следует писать, пока не узнаю новых систем. Это было бы верно, потому что по пословице — не боги горшки обжигали — естествознание совсем не такая вешь, которая была бы мне недоступна. Наконец, мне кажется,— статьи этой у меня нет,— что у меня нигде не «проглядывает вера в ту ветхую теорию, по которой за каждым геологическим периодом покоя следовал внезапный переворот во всей земле, убивавший все земное». Но если бы даже это и было, то оно прошло невозвратно; напиши Вене, что я прочитал и Дарвина и Ляйеля и что в настоящее время пишу статью по естествознанию. А между прочим, попроси его сообщить свой отзыв о моей статье «Прошедшее и будущее европейской цивилизации» (май 1864 года). С каким бы удовольствием я писал ему, а еще с большим удовольствием увидел бы его лично! Но ни то́, ни другое невозможно. Впрочем, по теории Евгении Егоровны, не следует огорчаться, потому что все кончается всегда к лучшему, и она уверена, что наступит наконец время, когда все те, кого она любит,— то есть ее детищи и в том числе и я,— соберемся около нее в Подолье. Скажу тебе, что эта мысль, то есть, что мы соберемся все вместе, мне очень улыбается. Нельзя сказать, что свидание со всеми детищами доставило бы мне одинаковое удовольствие, но уж один Веня в состоянии выкупить все недостатки остальных».

«<Петропавловская крепость,> 17 июля
<1864 года>

...Когда Креза поставили на костер, он сказал: «О Солон! Солон!» Я же, подобно ему, скажу: о свобода! свобода! Сегодня я выражаюсь что-то все сравнениями. Не знаю, объяснять ли это в худую или хорошую сторону. Даже не знаю, весело мне или скучно.

Ты скажешь — весело, а я скажу — скучно и сошлюсь на юмористов, которые большею частью писали в серьезном состоянии то, отчего другие помирали со смеху. В себе я заметил еще вот какую особенность, или, вернее, не в себе, а в своей судьбе. Моя судьба распоряжается мной по теории сюрпризов и экспромтов...»

«<Петропавловская крепость,> 23 июля
<1864 года>

На днях я кончил и представил по начальству статью «Древность и совершенствование человеческого типа», составленную по новейшим научным открытиям. Жалею об одном, что написал ее коротко, в некоторых местах надо бы развить. Статья эта хотя и не написана так талантливо, как пишет Писарев, но заключает много весьма интересных и большинству нашей публики неизвестных фактов о древности человека па земле. Между прочим, привел я доказательства, которые не понравятся нашим дамам, избалованным похвалами, о том, что женщина по анатомическим признакам приближается к животному типу более мужчины и имеет всегда мозгу меньше, чем у него.

В «Русском слове» опять новый цензор, которым еще менее довольны, чем прежним; но к октябрю, говорят, будет другой. Должно быть, перемена случилась по случаю лета, то есть отъезда старого цензора в отпуск или куда-нибудь. Вообще эти переходы чрезвычайно тяжелы для пишущих, ибо у каждого цензора свой царь в голове и каждый черкает по своему усмотрению. Один, например, особенно крут с статьями политического характера, но смотрит легко на экономические; другой опять снисходителен к политике, но зато сердит с экономизмом, где могут прокрасться идеи социалистические и т. д., так что один пропускает то, что другой зачеркивает. Вот тут и пиши как знаешь...»

«<Петропавловская крепость,> 25 июля
<1864 года>

Как ты живо описываешь хлопоты Мишульки! Я так и представил себе его суетню и откапыванье червяков. И, разумеется, все манипуляции при рыбной ловле

Миша свершает с торжественной важностью, с великой горячностью и с таким жаром, как бы дело шло о спасении чьей-нибудь жизни? При этом так же, конечно, разговор совершается на немецком языке. Ах, мой Мишуля! Мишуля! так бы и половил с ним вместе рыбу! А может быть, и придется когда-нибудь. Ведь у меня одно из приятнейших мечтаний думать именно о воспитании Миши. Оттого я и завидую тебе, что ты отправляешься с ним в зверинец. Когда Миша будет понимать больше, его нужно будет познакомить наглядно со всеми ремеслами, фабричными и заводскими производствами, то есть показать ему в натуре все то, что изображено в энциклопедии Лаукарта. Вообще всякой теории и всякому умозрению должны предшествовать практика, опыт. Тогда заключение составляется само собой без труда...»

«<Петропавловская крепость,> 12 августа <1864 года>

Дружок Людя. Я не думаю, чтобы ты брала на себя адвокатуру за женский мозг только потому, что ты сама женщина, что же касается до меня, то я излечился уже от мужского самолюбия и даю очень небольшую цену мужскому уму. Чем больше знакомишься с историей, чем лучше понимаешь, что было и что есть, тем больше убеждаешься в ничтожности мужского большинства. Да и можно ли говорить об уме, когда до сих пор все решалось... [1]

Впрочем, относительно женского мозга можно сказать то, что самый большой из известных до сих пор мозгов, весивший 1872 грамма, принадлежал женщине, следующий за тем наиболее тяжелый мозг в 1861 грамм был у Кювье, потом у Байрона, в 1807 граммов, а затем у одного сумасшедшего (1783 гр.). Уж из этого одного ты можешь видеть, что на развитии и весе мозга еще нельзя основывать точное суждение об уме. Вообще замечено, что люди, страдавшие головными болезнями, имели тяжелый мозг. Но есть другие анатомические признаки, по которым женщина считается переходной формой от мужчины к ребенку. Но и это не дает еще мужчинам никакого права сказать, что они умнее жен-

[1] Зачеркнуто. (*Прим. Л. П. Шелгуновой.*)

щин или способнее их к развитию, потому что то, что, собственно, считается у мужчин образованием и чем они кичатся перед женщинами, есть, в сущности, знание известных приемов внешней формально-общественной жизни, и только. А ведь этому можно выучить и обезьяну. Из этого ты видишь, что мы смотрим с тобой на вопрос о силе женского ума одинаково, и, не отвергая того, что на свете больше дур и дураков, я думаю, ты собственным наблюдением пришла и к тому убеждению, что благодаря бога есть еще, между прочим, и умные женщины и умные мужчины совершенно равносильных способностей.

Вопрос этот, впрочем, такого свойства, что по поводу его можно написать не только журнальную статью, но и, пожалуй, даже целое сочинение. Но не бойся, ни того ни другого я в письмах к тебе писать не буду...»

«<Петропавловская крепость,> 17 августа <1864 года>

Я прошу Надю сообщить мой проект Благосветлову. Вот его сущность: завести издание по подписке от редакции «Русского слова», то есть журнала честного и установившегося, следовательно, доверие публики будет. Подписная цена три рубля в год за шесть томиков формата Таухница, без пересылки. При отдельной продаже томик 65 копеек. Я предлагаю Благосветлову это дело пополам, и думаю, что для начала совершенно достаточно тысячи рублей. Если он согласится, то при заключении условия я выговорю себе перевод трех томов, которые и отдам тебе...

Проект этот может кончиться, как известная история с горшком молока, тем не менее я считаю его все-таки вполне верным и не сомневаюсь в успехе; боюсь только, что Благосветлов будет мямлить, а тут надо решать скорее да сейчас же и приступать к делу...»

«<Петропавловская крепость,> 25 августа <1864 года>

В твоем письме я подметил черту, чрезвычайно свойственную русскому складу ума. Это воздержание себя от всякого спекулятивного мышления. Только что чело-

век, по забывчивости, предастся отвлеченностям или логическим выводам, тотчас же спохватится и остановит себя, точно ему это стыдно. Так и ты. Заговорив о причинах, почему женщины делают так часто глупости при воспитании детей, ты сейчас же остановила себя вопросом: «К чему я это все написала?» Веня точно так же. Поэтому он и не любит и не переваривает никакой философии, что, впрочем, совершенно справедливо, ибо в том виде, как сочинили ее немцы, писавшие нарочно особенно запутанно и придумавшие термины, чтобы не сделать знания популярным и избежать преследований, наука эта так же тяжела для головы, как каменья для желудка. Впрочем, и помимо этих причин, русский человек не особенно жалует умозрения и любит больше существенное и положительное. Поэтому чтобы пишущий имел успех в публике, он должен уметь воздерживаться от парения в пустынях умозрения и должен предлагать то, что в простой, более осязательной форме, так сказать, наглядно и практически объясняет дело. Одним словом, у нас может иметь успех только форма простого изложения и рассказа, не возбуждающего особого напряжения мысли. Придерживаясь твоей системы, я бы должен был сказать: к чему я написал все это? Но я этого не сделаю, потому что иначе мне придется извиняться в каждом письме и я надоем тебе, моему голубчику... ты замечаешь: не то ужасно, что всю жизнь надо работать, а то, что можешь остаться без работы. Да ведь эта же мысль пугает и меня, с тою только разницей, что ты боишься пролетариата в пору силы, а я боюсь его как несчастия обессилевшей старости...»

«<Петропавловская крепость,> 27 августа
<1864 года>

Я получил «Русское слово», «Книжный вестник», сочинения Островского и «Древность человека»; наконец узнал, что три мои статьи: «Россия до Петра I», «Очерки из истории Амер. Шт.» и «Прошедшее и будущее европейской цивилизации» — названы в одном издании замечательными статьями. Авторское самолюбие, как ты знаешь, великая слабость всех пишущих, и потому поймешь, что эта похвала показалась мне розовым маслом или утешительным бальзамом на израненное сердце.

Человек, как и другие! Впрочем, с той разницей, что я чрезвычайно недоверчив ко всему тому, что пишу. Я всегда боюсь, что глупо. Оттого-то меня так и обрадовала похвала. Все это вместе доставило мне несколько приятных, радостных мгновений, тем более что ко всему, что я сказал выше, присоединился утвердительный ответ Благосветлова на мое предложение, от которого ты отказалась.

Он согласен на издание романов и даже думает расширить издание, то есть, кроме английских, и другие. Издание начинается с января, и нынче делается публикация и объявление на подписку. Основной капитал наш всего тысяча рублей, по пятьсот рублей с каждого. Если дело пойдет, то уже в будущем году я могу рассчитывать на тысячу рублей прибыли; если же лопнет, то я потеряю не более пятисот рублей. Впрочем, этого ожидать нет причин, ибо издание под фирмой установившегося и всем известного по своей честности «Русского слова». На этом-то и весь расчет успеха подписки. Теперь я выговорю тебе переводную работу. Хорошо? Но вот в чем горе. Есть много разных мелочных вопросов и обстоятельств, которые мне бы нужно разъяснить с Благосветловым; через переписку или постороннего это совершенно невозможно; например, выбор романов для перевода; с каких начать, ибо их тысячи; как устроить обоюдный контроль и учет и т. д. Мне бы хотелось лично переговорить с Благосветловым, но не знаю, как это сделать; а нужно бы теперь, то есть до объявления, ибо в нем должен быть уже выяснен для публики весь характер издания и указаны сочинения. Что, ты довольна этим делом? Непременно ответь...»

«<Петропавловская крепость,> 12 сентября
<1864 года>

Рад, что наше предполагаемое издание романов тебе улыбается. Уж конечно, если бы это дело удалось,— а еще нужно просить разрешение цензуры,— то есть по числу подписчиков было обеспечено, то было бы превосходно и для тебя, и для меня. Я уже писал, что мое условие, чтобы половина перевода была моя (имел в виду тебя).

Выбор романов еще не сделан, ибо сначала нужно покончить с разными формальностями, но я писал Благосветлову, что нужно поспешить. Я предполагал только одни английские романы, но Григорий Евлампиевич думает — еще и немецкие, итальянские и другие, вообще все, что есть хорошего. Эта мысль хороша и шире моей; но я боюсь, что мы раскидаемся. Лучше бы держаться более тесной программы. Я послал Благосветлову список романов Купера и Бульвера, у нас неизвестных, а между тем превосходных. Если дело состоится, что я узнаю, вероятно, скоро, то ты, несомненно, получишь работу. Во всяком случае, я думаю, нужно давать на половину из теперешних романистов (текущих) и романистов тридцатых годов, ибо они посильнее. Полагаю, что не нужно брезгать и Вальтер-Скоттом, ибо — сила.

Для кого ты переводишь Гете? если для В., то печально...»

«<Петропавловская крепость,> 18 сентября
<1864 года>

Я даже не уверен теперь в наши романы, потому что Благосветлов хотя и согласился, но в то же время предлагает другое предприятие: издавать популярные сочинения (переводные) по естественной истории и другим наукам. Но за это дело, как я слышал, уже взялась другая компания: Зайцев, Ковалевский и еще кто-то. Да если бы и не взялась, я все-таки считал бы романы лучшим делом. Я уже выговорил и получил согласие Благосветлова, чтобы половина переводов принадлежала тебе... Во всяком случае, в течение этого месяца дело разъяснится, то есть получится согласие почтамта и цензурного комитета».

«<Петропавловская крепость,> 2 октября
<1864 года>

Хотя в настоящем письме корреспонденция Миши ко мне прекратилась, но я не думаю отстать от него так скоро и посылаю ему сказку о Мише и Коле.

«Милаша Миша. Раз Коля и Миша пошли на озеро играть в камешки и увидели в земле дырку. «Пойдем

туда»,— сказал Миша. «Пойдем»,— ответил Коля. И вот полез сначала Миша, а потом Коля. Они ползли долго, долго — день ползли, два ползли и ужасно проголодались. На четвертый день услышали, что пахнет жареными сосисками. Миша так обрадовался, что брыкнул ногой и задел Колю за нос. Коля крикнул, и вдруг перед ними открылась комната... Мама доскажет конец».

«<Петропавловская крепость,> 10 октября
<1864 года>

Хотя главный цензор и отказал Благосветлову, но я думаю, что это произошло или от нежелания, или от неумения объяснить ему дело. Романы не были бы изданием редакции «Русского слова», они только соединялись бы с этим изданием ради выгоды пересылки и обеспечения подписчиками. Об этом я думаю написать Благосветлову, чтобы он объяснился с кем следует еще раз.

В «Русском слове» теперь цензором Еленев, тот, что был в «Современнике» в 1861 и 1862 годах. Это господин с очень мягкими, цивилизованными манерами, с дипломатической речью, но вместе с тем с пером несокрушимой, римской твердости, когда он вооружен им при чтении корректуры. Печальные последствия этой твердости я испытал на нескольких статьях, и потому все странные и внезапные переходы к новой материи или неясности и недостаток связи не станови в вину мне. Не мешает также заметить, что и корректор «Русского слова», должно быть, учился где-нибудь на Уналашке или в Ундинской слободе...»

«<Петропавловская крепость,> 11 октября
<1864 года>

...Затруднение, представляемое цензурным комитетом нашему изданию романов, заключается в том, что не разрешают издание независимо от «Русского слова». Говорят, что без редактора нельзя, а редактор и всякое новое периодическое издание тоже нельзя, ибо все новое запрещено до издания нового цензурного устава. Нужно просить разрешения министра».

«<Петропавловская крепость,> 16 октября <1864 года>

На все твои вопросы ответил, а теперь пойдет сказка Мише. Но думаю, что она ему не понравится. Уведомь, как он ее найдет.

«Милаша Миша. Раз маленький мальчик Миша, съев за ужином супу, лег спать. Только что он хотел засыпать, как слышит, что кто-то разговаривает. Он посмотрел на маму — спит, на няню — спит; взглянул себе под кровать и видит, что его сапоги развалились важно и говорят между собой. Левый сапог спрашивает правого: «Ты устал?» — «Нет,— говорит правый,— а что? А ты?» — «И я нет,— отвечает левый.— А что? Теперь нам есть время, Миша лег спать, сходим-ка к его папе, к комендантскому подъезду,— говорит левый сапог,— может, папа пришлет что-нибудь своему сынку».— «Пойдем». И вот сапоги вскочили и — топ, топ, топ, топ — побежали через горы, леса и озера, распевая во все горло Мишину песню «Віют вітры». Папа уже знал, что сапоги к нему идут и ждал их у подъезда с двумя корзинами: в одной был виноград, а в другой — яблоки и груши. Только что сапоги прибежали, папа насыпал в них доверху — в один винограду, а в другой яблоков и груш и говорит: «Теперь уже поздно, скоро Миша проснется, отдыхать вам некогда, идите скорее домой, да, смотрите, не рассыпьте».— «Уж будьте спокойны»,— ответили сапоги и поскакали домой так скоро, как воробьи. Скакали, скакали, и как прискакали к кроватке Миши, то в одном осталось всего пять виноградинок, а в другом одно яблоко и одна груша; все остальное они потеряли дорогой, потому что уж очень торопились. Миша, как проснулся, достал из сапогов виноград и яблоко с грушей и отдал их няне и говорит: «Няня, папа прислал мне бомбошки, возьми и спрячь, я съем их после обеда». Вместе с бомбошками Миша нашел и письмо, папа ему пишет: «Милаша Миша, если ты захочешь гостинца, то, ложась спать, вели своим сапогам идти ко мне, и я тебе пришлю».

А ты, Людя, вложи точно чего-нибудь в сапоги от меня».

Д. И. Писарев
Фотография 1860-х гг.

«<Петропавловская крепость,> 24 октября
<1864 года>

...Что тебе понравилась моя статья «Статистика смертности и рождений», меня это очень удивило, потому что я стыдился ее. Я даже думал, что хуже ничего и быть не может, но убедился, что может, когда просмотрел в той же книжке статью Щапова. Читать ее я решительно не мог, потому что этот человек думает задом наперед; так, чтобы понимать его, нужно выворотить себе мозги. У него в голове решительно каша с постным маслом, и я удивляюсь, что Благосветлов этого не замечает».

«<Петропавловская крепость,> 5 ноября
<1864 года>

...Что ты мне не отвечаешь, как тебе понравилась статья Щапова в «Русском слове»? Представь себе, что «Русское слово» до сих пор еще не вышло и даже неизвестно, когда выйдет. Не выпускает цензура. Но за какой статьей остановка — не знаю. Не думаю, чтобы за моей, ибо моя отличается большой скромностью, называется «Болезни чувствующего организма» и трактует о предмете Гризингера, то есть о душевных болезнях; но я пользовался не Гризингером, а Шилингом («Psychiatrische Briefe»), и статья, как мне показалось, вышла интересная. Не читаешь ли ты «Отечественных записок»? По поводу какой-то статьи в «Голосе» «Русское слово» обратилось с вопросом к Альбертини, и затем в «Русском слове» было напечатано его письмо, которое ты, разумеется, читала. После этого Альбертини, конечно, нельзя было оставаться сотрудником «Голоса». «Отечественные записки» (то есть тот же «Голос», ибо там и здесь Краевский) обрушились на «Русское слово» и всех его сотрудников назвали «бессмысленными наборщиками», а про Писарева сказали, что он «отличается неподдельною глупостью». Я думаю, что браниться в такой степени совсем не расчет, ибо рискуешь прослыть или глупцом, или сумасшедшим. Кто же не знает, что Писарев в настоящую минуту самый даровитый из всех критиков и публицистов русского пишущего люда».

«<Петропавловская крепость,> 21 ноября <1864 года>

...За поздравление с сорока годами благодарю. Но веришь ли, что у меня так и защемит сердце, как вспомню, что уже так близко старость и что в сорок лет нужно начинать улаживать всю жизнь сызнова. Я это вынесу, но я боюсь за тебя и за Мишу. Вот почему, мой дорогой дружок, я писал тебе раз о Подолье. Конечно, при недостатке средств это будет для тебя и Миши самым удобным, здоровым, приятным и спокойным местом жительства. Я предполагаю при этом, что ты будешь посещать иногда и меня...»

«<Петербург,> 26 ноября <1864 года>

Никогда, милый мой друг, не укладывался я в дорогу с такими мрачными мыслями, как вчера. Еду в Вологодскую губернию. Когда — не знаю; но в путь совсем готов и живу теперь на сенатской гауптвахте».

«<Петербург,> 2 декабря <1864 года>

Друг Людя. Настоящее письмо я пишу тебе в квартире Нади. Завтра с машиной еду в Вологду, но в каком городе буду жить, еще не знаю...»

«<Вологда,> 7 декабря <1864 года>

Дружок Людя. После разных треволнений я приближаюсь наконец к пристани. Пристанью этой будет служить для меня Тотьма — город, лежащий от Вологды в двухстах верстах. Удобство Тотьмы в том, что сообщение с нею не особенно затруднительно, так что если ты вздумаешь приехать ко мне погостить, то и при своей инвалидности одолеешь путь легко. Письмо это пишу к тебе, собственно, для того, чтобы получить поскорее от тебя известие. В настоящий момент я в Вологде и завтра еду в Тотьму...»

«Тотьма, 13 декабря 1864 года

Дружок Людя. Статистическая особенность Тотьмы в том, что на 3500 жителей приходится 541 вдова. Что

это за вдовы и откуда их явилось здесь так много, объяснить мне никто не мог.

Если ты представишь себе Ундинскую слободу, увеличенную в пять раз, то получишь понятие о Тотьме. Но мне в этой увеличенной Ундинской слободе будет труднее, чем там, потому что здесь я совсем один, как пень среди долины. От своей почвы оторван, дом разбит, а новых корней здесь не пущу и гнезда не совью.

Мне кажется, что я очень постарел; по крайней мере, физически я так слаб, как никогда не был прежде.

Свое жительство здесь я считаю временным, то есть боюсь, что по распоряжению начальства меня переведут внезапно куда-нибудь; но высылку из Петербурга считаю вечной, и оттого болит мое сердце. Особенно боюсь за невозможность существовать постоянно, то есть на продолжительное время, литературным трудом и потому решил копить деньги и ограничивать себя во всем...

...Письма мои и ко мне идут через руки начальства, то есть представляются и получаются распечатанными.

Вчера видел почти все здешнее общество в полном сборе — в клубе, на семейном вечере — и вывел то заключение, что если в каждом человеке сидит Мефистофель или Фауст, то в столичном обществе преобладает Фауст, а в здешнем Мефистофель».

«<Тотьма,> 28 декабря <1864 года>

...С устройством квартиры и хозяйства я уже покончил. У меня есть все, что нужно для порядка в вещах, платье и белье: комод, шкаф, умывальный столик, кровать и столик к кровати. Это вещи мои собственные; все остальное хозяйское. Хозяева мои люди превосходные. И я встречаю в их отношениях к себе ту деликатность, какую именно искал. Правда, эта семья выше обыкновенных мещан. Сам хозяин — ратман, жена его из духовного звания; а две дочери — взрослые, имеют вид барышень и читают книжки. Скромность же их поведения безукоризненна. Едой я тоже доволен. Одним словом, материальная сторона моей жизни сложилась вполне удовлетворительно; но нравственно — тоска. Я чувствую, что я здесь на чужой стороне, как путе-

шественник на станции, где обстоятельства задерживают его против воли и неизвестно когда кончатся. И тем сильнее чувствую я это, что совсем расстроен нервами от продолжительного заключения, и нет для меня ничего легче, как расстроиться от самой пустой причины, в особенности если я недосплю, то есть когда лягу после одиннадцати часов. Явилась во мне какая-то девичья слезливость.

За работу я уже принялся и через неделю отправлю в редакцию первую статью из Тотьмы. Здесь пишется легче, чем в равелине.

Прощай, друг. Расцелуй Мишульку...»

«<Тотьма,> 4 января 1865 года

Я здоров, но не вошел еще в колею жизни, не уселся, между тем за работу принялся. Работается легче и умнее, чем в равелине».

«Тотьма, 8 января <1865 года>

Дружок мой Людя! Знаешь ли, сколько я получил твоих писем с последней и сегодняшней почтой? — семь. Общее впечатление их то, что я отогрелся и оттаял; теперь мы с тобой друзья... Знаешь, почему я наставил эти точки? Когда я написал «теперь мы с тобой друзья», то опять где-то глубоко в сердце почувствовал, что зашевелилась снова неуверенность, что мы составим с тобой по-прежнему дом и будем жить вместе. Убеждения рассудка на меня не действуют; твои письма успокаивают меня на минуту, и затем опять овладевает мной чувство одиночества, которого я не испытывал в крепости и которое охватило меня, как только я вышел на свободу. Дома нет, корни вырваны, я один в четырех стенах, ты за тысячу верст, ко мне приехать нельзя — все это такие факты, из которых ни рассудок, ни сердце не извлекут ничего утешительного. И ты хочешь успокоить меня словами, когда меня могут убедить только факты. Ты знаешь, что человеку, жившему вечно в семье, одиночная жизнь — пытка. У тебя дети, вокруг — люди, которых ты любишь,

у тебя Феня и Софи,— одним словом, дом в полном составе. У меня же черные деревянные стены, и в них я так же одинок, как в равелине. Мне дома тоска. Я даже измышляю, как бы убегать из него почаще, и только журнальная работа удерживает меня в квартире. Как только кончу день — бегу, потому что мне нужен дом, и как его у меня нет — я ищу его вне. И нашел я нечто — лучшее, что есть, и отдыхаю там. В одно время со мной приехала в Тотьму девица Лизавета Николаевна Ракова, сестра здешнего судебного следователя. Я нашел в ней родственную натуру и примирился с Тотьмой. Ракова приехала с своей матерью к сестре, замужней за здешним лесничим и больной чахоткой (умерла и третьего дня похоронили). Теперь они остаются здесь еще, потому что жена самого Ракова (брата Елизаветы Николаевны) беременна, и потому мать хочет остаться до родов, а затем едет к себе в Устюг (вторая столица Вологодской губ., куда губернатор хотел меня отправить, но я перепросился в Тотьму, ибо далеко и северно). Жена Ракова весьма добродушная, хорошая и искренняя женщина. Мне у них совсем спокойно, так что нервы мои отдыхают и силы восстанавливаются после работы. Я думаю, и ты уже испытываешь (впрочем, это признак разбитого организма) разницу в беседе с одними и с другими людьми. С родственными натурами трещи хоть целый вечер — не устанешь, а с неродственными — точно тебя тянули за жилы, и измучишься, будто бы гонялся пешком за оленями. Я бываю теперь каждый день после работы (восемь часов) у Раковых и в одиннадцать часов возвращаюсь в свою убогую храмину. Так, по крайней мере, я стал делать дня три-четыре, а до тех пор все улаживался, устраивался, водворялся, или, короче, применялся к месту, квартире и новым условиям. Были у меня минуты очень отрадные: совсем тепло и хорошо; но мне уже сорок лет; для чего-нибудь я уже жил на свете и понимаю, на что я имею право и на что нет, что моя жизнь порченая, избитая, и годимся мы с тобой только друг для друга, чтобы через десять лет доживать вместе старость,— молодым же портить нельзя: им нужно помогать расчищать их собственный путь. Просто даже неприлично писать так стариковски. Впрочем, ты меня поймешь. Роману конец».

«<Тотьма,> 9 января <1865 года>

А хочешь ли знать, какой был у меня сегодня обед? Ленивые щи (говядину я выловил и съел с горчицей), потом две телячьи котлеты с шинкованной капустой и, наконец, три немецких блина, сложенные салфеточками с вареньем в середине. И подобный обед всякий день, и все это с квартирой и прислугой за пятнадцать рублей в месяц! Но есть такие человеконенавистники, которые это находят дорогим. Не верь им: это говорит в них постыдная зависть.

Как нервик, я живу привязанностями и без них не могу существовать. Бывает оттого, что за неимением белого хлеба ешь черный, и даже с мякиной; но худой хлеб все-таки лучше хорошего камня или совершенного голода. Мишулька смешит меня тем, что заслоняет в потемках рукой нос. Вчера я отправил статью, которой очень доволен: «Френологическая оценка человеческих поступков». Заглавие несколько хитро...

Я бываю доволен своими статьями, пока не увижу их в печати. Если бы ты знала, что сделал цензор с моей статьей в октябрьской книжке!»

«<Тотьма,> 11 января <1865 года>

Друг Людя! Тоска, тоска и тоска! Везде мне тоска. Дома тоже. Сейчас из гостей. А теперь всего девять часов. Или, может быть, я болен? Не знаю и не понимаю ничего. Впрочем, со мной, кажется, это бывало всегда. Это не мизантропизм, потому что я знаю человек пять, с которыми мне бывало всегда отрадно. Ты, разумеется, номер первый... Не могу писать даже тебе, милый мой друг, как будто хочу спать. Спать, разумеется, не лягу, ибо всего несколько минут десятого. Начну рыться в книгах.

Сегодня получил две фуфайки и три пары шерстяных чулок.

Не понимаю, чего усердствует почтмейстер: он не только вскрывал посылку в присутствии исправника, но еще и вытряхал фуфайки: верно, думал найти бомбы или ракеты. Странное дело, что у нас всякий хочет быть полицейским».

«<Тотьма,> 16 января <1865 года>

Всю эту неделю собирал материалы для статьи о Тотьме. Сегодня еду на деревенский девичник, хотя это и не нужно для статьи, но может и пригодиться. Бытовой стороны я вообще не касаюсь — тоска, а исключительно экономической и социальной.

За фуфайку, мой дружок, крепко, крепко жму тебе руку. Такой ты добрый, а главное — умный. Получив фуфайки, я не знал было, что с ними делать, но теперь стал надевать по утрам дома, и отлично, ибо у меня до двенадцати часов, то есть до конца топки, мороз. А уж на дворе какой холод! Стар я и слаб, крепость меня ужасно расстроила; явилась какая-то хилость; чувствую всем телом зловредность здешнего климата и не могу дышать на улице прямо носом, а утыкаю его в шарф.

Сегодня я испытал много сильных ощущений. В двенадцать часов (дня) я был приглашен на открытие библиотеки при уездном училище, то есть здешнем университете. Открытие заключалось в том, что десять русских человек заявили десять разных мнений относительно порядка, в каком подписчики должны получать один за одним журналы и газеты, и затем, поспорив и пошумев, впрочем, очень тихо и умеренно, наконец согласились и разошлись по домам. Затем я отправился на девичник. Это такое варварство, за которое всю деревню следовало посадить по меньшей мере в сумасшедший дом. Процесс заключался вот в чем. В избу набралась бездна баб, девок, девчонок и всяких детей и наполнила ее так плотно, что между людьми не оставалось ни малейшего промежутка. Затем из соседней, смежной горницы вышла невеста, накрытая белым платком, села и начала голосить, то есть притворяться, что оплакивает свое девичество. При общем мертвом молчании дело шло у нее плохо, так что она сконфузилась и, обратившись к девкам, сказала им: «Ну, что же вы». Тогда те принялись петь что-то до того непонятное и монотонное, что у меня расстроились нервы, и надо было искать спасенья на чистом воздухе. Когда кончилось пенье, невесту увели снова и заплели ей косу, перевязав ее веревкой, так что коса вышла тверда и плотна, как казацкая нагайка, и конец веревки дали невесте в руки. Теперь для публики предстояла задача

расплести косу. Это было бы, разумеется, не особенно трудно, если бы невеста позволила, но она тянула веревку во всю силу и кусала всех за руки и за что ни попало. Но как публики было много, а невеста одна, то, конечно, после получаса борьбы она, совершенно измученная, сдалась, и ей расплели косу. Но видно, что и для деревенской девки это была штука: для предупреждения обморока ей нужно было дать воды».

«<Тотьма,> 24 января <1865 года>

Ах ты, голубчик! У вас холодно! А что в таком случае там, где тридцать градусов морозу, где в комнате восемь градусов и где нельзя писать по утрам, потому что коченеют руки. Ты меня насмешила, что нашла Тотьму на карте некрасивой. А что в натуре, просто прелесть. У меня совершенно то же чувство, как в Сибири, но хуже еще: там я имел гнездо, были подле свои люди, а здесь тридцать градусов морозу, и только. Николаевск. Пожалуй, что и так.

Какое впечатление произвели старые знакомые? Да я не видал ни одного из них. Все были новые,— Вареньку я полюбил, Полонский показался очень глуп, сотрудники, или, лучше сказать, редакция «Современника», показались мелочной лавкой, продающей с трусостью и исподтишка модные мысли».

«<Тотьма,> 29 января <1865 года>

Я не помню, чтобы писал Евгении Егоровне какое-нибудь чувствительное письмо или заявил ей какие-нибудь факты, из которых бы она могла заключить о моем душевном расстройстве. Между тем она пишет мне именно так, как будто бы я малодушничал в письмах, что, как мне кажется, однако, случалось со мной в письмах из равелина к тебе. Впрочем, объясню и это. Положение мое было неприятно; хотелось вон; хотелось видеть тебя и Мишу; временами ужасно скучал, но все это было выносимо, потому что я никогда не впадал ни в малодушие, ни в отчаяние. Мне только хотелось раскрыть тебе свое сердце, чтобы мой друг знал, что происходит во мне. Но то, что я писал тебе, не имело и тени сходства с тем, каким я был на свиданье или во время

прихода ко мне Удима, Соболева и т. д. Может быть, откровенность моя была ошибкой, но, уж конечно, не относительно тебя, потому что я держался и держусь до сих пор, да буду держаться до конца дней своих, того правила, что близкие люди должны читать в сердцах друг друга. Есть люди, не имеющие привычки говорить о своих внутренних процессах много, такой человек ты; но из этого еще не следует, чтобы это делалось за отсутствием сердечных процессов и чтобы человек не чувствовал никогда боли или радости, а преимущественно боли. Вот это-то знание сердечной боли ближнего составляет для меня главный интерес. Считая это важным, сам я думаю, что и для других это знание настолько же важно. Вот откуда причина моих излияний — излияний, которые я делаю только тебе».

«<Тотьма,> 5 февраля <1865 года>

«Тереза» твоя получена, и Благосветлов писал мне по поводу ее: «Людмила Петровна прислала мне начало перевода одного хорошего романа, и я думаю, что выбор ее был удачен»...»

«<Тотьма,> 8 февраля <1865 года>

За предложение о разделе семьи благодарю. Но только за кого ты меня принимаешь?.. Здесь климат сибирский, разные детские болезни, дети мрут как мухи. Неужели тебе не шутя пришла мысль послать Колю в такой Севастополь? И неужели ты думаешь, что я соглашусь на это? До сих пор я не питал к Коле никакого чувства, но теперь его полюбил ужасно. Но я люблю его тем чувством, как люблю Мишу, то есть как будто это Миша двух лет или нечто подобное. А специального чувства, особенного для Коли, у меня нет, потому что его не видел.

Получив твое письмо, я плакал, но это были слезы приятные: прошиблась во мне последняя кора. Прощай, мой милый дружок. Расцелуй Мишу и Колю».

«<Тотьма,> 8 февраля <1865 года>

Друг Людя! Пред самым, о — нет, не так. Мои письма, как тебе известно, идут через исправника, и точно так же я получаю все с почты. Сегодня, когда мое

письмо к тебе уже было готово, исправник привез мне повестку на десять рублей. За посылкой я отправился на почту с полицейским надзирателем: оказалось шерстяное (байчатое) одеяло, о котором мне никто не писал ранее ни слова, и лексикон Рейфа. Надзиратель приехал с почты ко мне, следовательно, рассматривать вещей было некогда; я только черкнул слово к тебе, что одеяло и книга получены, и отправил письмо к исправнику.

Твое письмо — письмо чистого и благородного человека; но следует ли тебе предлагать мне Колю? Я знаю, что моя жизнь будет полнее, но нужно делать не то, что лучше одному, а что лучше многим. Если Коля останется у тебя, он не рискует ни здоровьем, не рискует возможностью получить дурной мужской уход вместо ухода матери, ни, наконец, лишить твою жизнь и людей, окружающих тебя, той полноты, какая принадлежит вам по праву. Ну а если Коля умрет? Во всю жизнь я не прощу себе этого. Мой климат не твой климат; мой уход не твой уход. И мне кажется, что я рассуждаю правильно, если решительно отказываюсь от присылки Коли в Тотьму. Но, может быть, меня переведут в другую, менее вредную губернию, куда и сообщение будет лучше: в таком случае я попрошу тебя отпустить Колю ко мне погостить на месяц или на два и затем отправлю его опять к тебе. Конечно, мне было бы приятно увидеть и Мишу.

Письмо твое дало мне надежду, что здоровье твое скоро совсем поправится. Дай бог тебе всего хорошего, а главное — спокойную и бестревожную жизнь. Последние три года были годами трудными, и ты вынесла их истинным молодцом, если не считать болезни, но и болезнь пройдет на берегу Женевского озера. А много бы я дал, чтобы приехать к тебе. Я даже не могу себе представить, в каком виде вышла бы моя радость. Это было бы для меня чувство совершенно новое, неиспытанное, потому что я хотя и радовался на своем веку, но такой радости, какая бы была тогда, мне иметь никогда не приходилось. Целую тебя и всех твоих. Целую Колю и Мишу. Уж мне кажется, что ты любишь Мишу меньше. Милый мальчик — поцелуй его от меня: от папы. Вспомнил о Мише, и прошибло меня; точно в равелине — и писать больше не буду. Прощай, друг».

«<Тотьма,> 14 февраля <1865 года>

Не то чтобы были у меня особые развлечения; но раза четыре был на чужих блинах. Впрочем, к чести Тотьмы нужно сказать, что еда здесь умеренная и не существует того дикого хлебосольства, какое бывало в губерниях с помещичьим элементом. Причина этого не в исключительных или каких-нибудь чрезвычайных добродетелях тотемцев, а просто в том, что Тотьма город чиновничий и очень бедный.

Впрочем, несмотря на масленицу, я написал все-таки шесть листов, в семь дней, второй статьи «Тотьма», и хотя статью еще не кончил — пишу девятый лист, но завтра и первого дня поста принимаюсь за «Домашнюю летопись». Кажется, я уже писал тебе, что Благосветлов не только предложил мне писать ее, раз в два месяца, но даже объявил об этом в декабрьской книжке. Если бы ты знала, что сделала цензура с моей статьей в этой книжке! Из трех листов вычеркнула ровно полтора, и ничего в статье не поймешь. Покорнейший слуга — на подобные темы писать вперед не стану.

Я писал тебе, что жить здесь дешево, но это не мешает мне тратить много денег. Рублей двадцать — нет, поменьше — истратил на вздоры, остальные — на дело. Маша мне пишет: «Людинька писала, что хочет послать к вам Колю, а если вы не согласитесь «его взять, то отдать его нам». И потому Маша просит меня уступить его ей, полагая, что он, может быть, стеснит меня в моих занятиях. Но как в то же время ей пришла и другая мысль, что, может быть, его присутствие будет развлекать меня «...в таком случае,— прибавляет она,— я готова отказаться от своей просьбы уступить его мне». Из этого я вижу, во-первых, что Маша никогда не собиралась ко мне, как писала ты ранее; а во-вторых, что Колю решили спровадить во что бы то ни стало из родительского дома. А потому уж я, конечно, пожелаю иметь его у себя и не уступлю Маше. Теперь я тоже думаю, что мой климат не хуже подольского».

«<Тотьма,> 22 февраля <1865 года>

С тех пор как я на свободе, я стал писать совершенно другой манерой, гораздо свободнее, с фамильярным оттенком. Пишу я совершенно искренно, то есть не

измышляю фамильярности, а как ложится под перо; но как это не то, что было прежде, то, пожалуй, тебе и не понравится. Если будешь читать мои статьи, то напиши; но только не по-спартански, как ты имеешь привычку делать, а с некоторыми подробностями.

Три месяца только, а мне кажется, что я живу здесь бесконечное пространство времени. Впрочем, я не скучаю, и поработавши дома, в восемь часов отдыхаю в разговоре, подчас остроумном, но вообще заставляющем меня смеяться. Ты, верно, думаешь о Тотьме как о лесном болоте где-то там на севере, но Тотьма из уездных городов Вологды самый передовой, и меня немало удивило, что я встретил здесь людей с таким образом мыслей, какого в уездном городе ожидать нельзя.

Сегодня у меня производилось мытье полов, и потому я наслаждаюсь теперь такими ароматами, которые происходят из смешения усердия здоровенной деревенской бабы — усердие, разумеется, не пахнет, но я выражаюсь так из деликатности — с запахом досок, пропитавшихся вонючими помоями. Но за это в окно смотрит солнце, и начинает таять с крыш. Это располагает меня к весенним мыслям, и я уже составил себе план переехать на лето в деревню, примыкающую вплоть к городу. По-видимому, все равно. А нет. Там и дома другого вида, и поле рядом с двором, и тише городского, одним словом — деревня и деревенский запах».

«<Тотьма,> 28 февраля <1865 года>

Сегодня у меня расстроены сильно нервы. Когда я бываю в обществе, то, конечно, никто не подумает, чтобы я был так слаб. И как мне легко расстроиться: стоит только лечь спать в двенадцать часов, а встать в шесть. Но в обществе нервы мои натягиваются тотчас же, как струны, и я, по-видимому, здоров, крепок и даже весел, а между тем мне тоска».

«<Тотьма,> 1 марта <1865 года>

Сегодня мои нервы в порядке, и потому тоска кончилась.

Получил сейчас письмо от Благосветлова. В январской книжке будет моих три статьи. Из них у одной цен-

зура отрезала ровно всю вторую половину. Вот это хорошо! А все молодец Еленев. И чего он упрямится?

Между прочим Благосветлов, во-первых, хвалит меня за аккуратность, ибо я послал ему много статей; а во-вторых, пишет, что на этой (?) неделе выходит новый цензурный устав и месячные журналы приглашаются выходить без цензуры. «Надо попробовать»,— говорит он. У министра внутренних дел отнимается вся цензурная власть, а будет судить сенат и сажать в крепость. Последнее ничего — в равелине пишется недурно, если знаешь наверно, что через месяц или два выпустят.

Двенадцатый том все еще не вышел; Надя пишет, что выручки нет решительно никакой. Печально».

«<Тотьма,> 5 марта <1865 года>

Сейчас меня оторвали от письма, и вот что я узнал нового. Благосветлов выслал мне триста рублей еще за прошлый год, и мне прислали его письмо из полиции с надписью, что на выдачу денег нет препятствий. Это что-то уму непостижимое. Да какие же могут быть препятствия? Вообще хорошо жить на свете. Относительно писем мне было в равелине легче: он, во-первых, на то и равелин; а во-вторых, комендант читал письма один, не посвящая в них членов своего семейства.

Два раза в эту зиму, или, вернее, в Тотьме, я наточил на себя ножик и дал его сам другим, чтобы меня порезали. О первом случае, при существующей цензуре на мои письма, я напишу тебе дня через три, ибо это чужая тайна, а второй в том, что я просился вон, тогда как здесь цветут розы и поют соловьи, и мне так хорошо с ними, и слушал бы я их целый день и смотрел бы на них с утра до вечера. Найду ли все это там, куда меня опять бросит судьба, не знаю; но здешнего сада не увижу уже наверное».

«Тотьма, 15 марта 1865 года

Друг Людя! Сейчас получил XII том Шлоссера. Вот уж истинно были трудные роды. Ждал я, ждал, наконец дождался. Надя говорит, что виновата типография и неисправность Голицына, который хоть и князь, но своего титула не выставляет, а от демократических

своих тенденций не сделался аккуратней. Перевод хорош, и вообще том очень интересный, в чем я и удостоверился, просмотрев его сейчас.

Твоя «Тереза» очень нравится тотемским читателям, но сам я ее еще не читал.

Сегодня послал Благосветлову «Рабочие ассоциации».

P. S. Как тебе нравится январская книжка «Русского слова»? Не правда ли, хороша? Узнаешь там и о моей Тотьме».

«Тотьма, 22 марта 1865 года

Друг Людя! Вопрос, который ты мне предложила по поводу madame Ольд, порешается, как мне кажется, весьма просто. Все дело в том, любят ли они еще друг друга и могут ли любить? Если все струны порваны и личное влияние невозможно, потому что невозможно уважение и нет никаких общих нравственных интересов и связей, то разрыв окончательный совершенно необходим. Madame Ольд, вероятно, его и порешила; но ее смущает только вопрос денежный, то есть предприятие, которое она получила от Ольда. В этом предприятии она, как кажется, видит кусок насущного хлеба для своего сына. (Кстати, ты пишешь: «Лучше пусть дети будут простые работники...» Разве у них дети, а не один сын?) По-немецки это так; но если нравственные связи порваны, то я бы отказался от всего, и мне кажется решение madame Ольд решением истинно честного, а главное, гордого, то есть с чувством достоинства, человека. Если бы она решила вопрос иначе, то на дне души остался бы у нее навсегда горький осадок и не смотрела бы она прямо и весело всем встречным в глаза. Пусть возвратит чужое, кому оно принадлежит; сын не будет ни нищим, ни блузником; а если же будет ремесленником, то какая от этого беда? как будто всем нужно быть генералами, и какое счастье заключается в генеральских эполетах?

Madame Ольд боится потерять свое при возвращении предприятия. Это печально, если это неизбежно; хотя я и сомневаюсь. Известно, в каком положении было принято дело; известны и все новые затраты; разве нельзя сделать верный расчет? Нужно чужому возвратить только чужое, а свое отдавать нечего, и тогда не будет

никакого убытка. Пусть она сделает только верное вычитание. Одним словом, все дело нужно поставить в такое положение, в каком оно находилось до поступления к madame Ольд. Как она порешит — увидишь.

Ну, а как твои дела? Литературные я знаю — хороши. Но меня больше всего интересует пансион; ибо — это убежище от бурь и житейских непогод; убежище не для тебя одной,— но для разных странников, которые соберутся с разных концов мира и, истомленные трудным путем, успокоятся наконец в мирном кружке и доживут вместе свою спокойную старость. У кого есть сила и возможность, пусть вьет успокоительное гнездо для таких стариков. Уж мы строили раз дом — разорили: этот не разорят. А думать вперед нужно; только, ради бога, не впускай в свое сердце и тени желания смерти. Такие минуты бывали со мной и в Тотьме, когда я был несчастлив; ко мне являлась тогда мысль о самоубийстве.

Я буду настолько экономен, насколько мне позволят обстоятельства, и все лишки стану отсылать тебе, чтобы выложить в гнездышке пухом несколько удобных местечек.

Насчет Коли я уже тебе писал: присылай. Но я ждал не Софи, а Феню и теперь только сообразил, что Феня, конечно, не захочет расстаться со своим Мишей. Ах, как я люблю милого Мишульку! Что за милый и умный мальчик.

Если твой № 15 заключал важный вопрос, то и мой ответный № 15 представляет вопрос не меньшей важности.

Случаются удивительные обстоятельства в жизни человека, слагаются роковые встречи, дающие то или иное направление всему нашему будущему. И ты и я знакомы уже с жизнью с этой стороны; но я еще не знал всех страниц этой книги и только теперь, приближаясь к старости, напал на главу, какой мне читать еще не приходилось.

Ты знаешь характер моей литературной деятельности: я писал до сих пор статьи научного содержания, но теперь я задумал роман. В главных чертах он обдуман мной вполне; могут измениться только некоторые частности; но мне нужен твой совет и твоя помощь. Я знаю, что не только найду то и другое, но что ты останешься

для меня тем же, чем была до сих пор, и в гнездышке выложишь пухом местечко еще для одного лишнего странника. Я говорю не о себе.

Вот содержание романа, который я задумал написать. Это, в сущности, проект семьи, может быть, из шести-семи человек, связанных не родовым, кровным началом, а единством нравственных интересов и общим мировоззрением. Так могут жить, конечно, только люди очень умные, очень честные, и таковы мои действующие лица.

На сцене — муж и жена. Муж уже не молодой — лет сорока, жена моложе его летами восьмью. Обстоятельства принудили мужа и жену жить довольно далеко друг от друга; но общечеловеческие связи их прочны и вечны, хотя юношеский пыл любви ими уже пережит. Одним словом, их теперешняя связь основана на фундаменте более прочном, чем любовная пылкость, и они нужны друг другу, как могут быть нужны два честных человека, уважающие один другого и уверенные, что они нужны для обоюдного счастья рассудительных людей.

Когда после пяти лет супружества любовные порывы кончились, муж десять лет не испытывал ничего подобного и не встретил ни одной женщины, которая бы зажгла его. Но вот случай сталкивает его, сорокалетнего старика, с девушкой, которая моложе его больше чем вполовину, и старик загорается совершенно тем же юношеским пылом, каким любил некогда свою жену невестой. Худо или хорошо поступил он, что не сдержал себя вначале, говорить я не буду; может быть, если бы он не был один, этого бы и не случилось; но дело в том, что явилась любовь обоюдная с полной решимостью устроить общее гнездо. Это часть первая, заключающая начало и развитие любви.

Часть вторая. Влюбленные уезжают в Малороссию, то есть, пожалуй, они могли бы ехать и в другое место, но нельзя. Да, виноват. Прежде чем они уехали, она учится, чтобы достигнуть экономической самостоятельности и иметь возможность жить своим трудом или, по крайней мере, вносить часть в общие расходы, во-первых, для жизни теперь, а во-вторых, для самостоятельности в будущем, потому что имеет самые ничтожные денежные средства, на которые жить независимо невозможно.

Жена знает все это и смотрит на все разумным оком. До сих пор в романах, например, «Подводный камень», «Полинька Сакс», отличались разумностью такой мужчины, я хочу, чтобы в моем выпала эта доля на женщину. Для большего самообразования и чтобы познакомиться с моей женой, моя героиня едет за границу. Я только не решил, когда ей лучше ехать — до поездки в Малороссию, то есть до разрыва связей с своими родными, или после. В первом случае одним из предлогов служит отвезти на время сына (у героя есть двухлетний сын) к его матери.

Обе женщины встречаются, как встречаются все честные люди. Старшая из них — существо редкое по уму, стойкости убеждений и силе характера. В девушке нет такой железной воли, но зато она чиста и искренна, чрезвычайно прогрессивна и умна. Нравственный перевес остался на стороне старшей, бороться им было не из-за чего, и женщины увидели, что они не помешают одна другой. Девушка возвратилась, устроив себе новую нравственную связь и приобретя нового друга.

Часть III. Обстоятельства позволяют новой чете ехать куда ей угодно. Они едут за границу. Со времени первой связи прошло пять лет: детей нет.

Я не решил еще, заставить ли их любить друг друга пылом страсти — со стороны девушки это еще возможно, но не будет ли мужчина стар для этого? Или же у них образовались только дружеские отношения?

Потом не решил я еще и вот чего: мужчина сорока пяти лет может уже успокоиться навеки от юношеской любви; но для женщины в двадцать три — двадцать пять лет эта пора еще только наступает. Следовательно, можно сделать два конца. Более правдоподобный, что мужчина довел женщину до самостоятельности и она, разлюбив одного, полюбила другого. Но такой конец мне не нравится. Ради торжества идеи я хотел бы устроить так, что они вдвоем приезжают к жене, в то же время приезжает издалека один старый друг мужа, и вся компания, тут же и дети жены, составляет счастливую семью умных и честных людей, связанных нравственными интересами и доживающих мирно старость. Только не знаю, где взять старость у героини, когда она моложе жены пятнадцатью годами! Напиши свое мне-

ние, но не забудь, что мой герой может <отступить и> остаться честным человеком только тогда, когда восстанут на него обстоятельства, от него решительно не зависящие; а сам он отступать не может».

«<Тотьма,> 25 марта <1865 года>

Друг Людя! Это письмо, как экстренное, номера не имеет. А экстренное оно вот почему. Я просился жить в Устюге, втором городе губернии. И разрешение дали мне внезапно. А как теперь наступила распутица, то я и тороплюсь отъездом и в путь завтра».

«В. Устюг, 4 апреля <1865 года>

Твое письмо я получил, уже садясь в повозку, чтобы ехать в В. Устюг. Ты спросила, зачем я поехал сюда, а главное — севернее и холоднее; но в твоем письме есть и ответ на этот вопрос. Отчего не идти в сад, когда отворяют двери?

Что за великолепное письмо написала ты мне и что ты за разумный человек! Но что-то ты мне ответишь на мой проект романа? Я уж делал разные догадки и, между прочим, думал, что ты восстанешь против романа в трех частях и назовешь последние глупыми. Но я думаю, что в одной или, в крайности, в двух частях он совершенно невозможен. Представь себе положение человека, разрывающего со всем прошлым: ведь не умирать же ему с голоду на улице?

Я совершенно доволен пока устюжской жизнью и вообще намерен жить здесь совершенным пустынником. Для этого, между прочим, перебираюсь на самый край города и думаю, что настолько буду далек от всех, что меня забудут. Впрочем, и в Тотьме, несмотря на свое знакомство со всеми, я жил так, что мне бы не мешали работать, если бы я сам не хлопотал об этом. Причина в том, что мне самому не сиделось дома и я постоянно влекся туда, где мне было тепло и хорошо.

Здесь я пока не организовал свою жизнь; но устрою ее так, что соединю жизнь для ума и сердца в одно, не мешающее друг другу целое».

«<В. Устюг,> 18 апреля <1865 года>

Устюг мне нравится гораздо более Тотьмы уже потому, что это большой город (восемь с половиной тысяч жителей). Следовательно, в нем и условия жизни более широкой. Ты догадываешься, что заставило меня переехать в Устюг, но вместе с тем ты хорошо знаешь и меня. Просидев девятнадцать с половиной месяцев при условиях, не особенно благоприятных для какой бы то ни было жизни, я, выскочив на свет божий и попав прямо в Тотьму, набросился на тотемских людей со всем пылом юношеской любви и преувеличивал в них решительно все; точно это не люди, а драгоценности и ангелы. Конечно, после тех людей, которых я видел, это были, пожалуй, и действительно люди более высокого сорта. Кончилось, однако, тем, что высокий сорт мне надоел и пресытил меня. А между тем я увлекся и наглупил. Но глупил я искренно, как честный человек. Теперь совершился во мне переворот. Я знаю, что это нехорошо относительно других, и стою теперь на распутье, не зная, что делать. Ты скажешь — глупо. Базаровы так не поступили бы. Я согласен. Но как же глупое сделать умным? Научи.

И всегда я был такой. Накинусь всеми силами, преувеличу, искипячусь, а потом остыну. А все-таки Устюг лучше Тотьмы.

Между прочим, и тем, что здесь есть и фотография. В доказательство чего и посылаю тебе две своих карточки. Одну возьми себе, а другую дай кому найдешь лучше, конечно, если пожелают взять.

Но должен я заметить, что в натуре я менее старообразен, чем вышел (между прочим, на одной карточке я сейчас сделал чернилами чернее глаза,— эту-то ты и подари) [1], а вышел таким потому, что в крепости очень похудел и, как мне кажется, очень теперь тощ. А впрочем, не знаю.

Новости. В Государственном совете уже утверждена отмена предупредительной цензуры, и новое положение о печати введут в сентябре. Благосветлов пишет мне, что цензура стала теперь легче. А впрочем, во второй моей

---

[1] Стало стыдно своей глупости и вместо ее положил другую.

статье о «Тотьме» цензор вычеркнул «Овен»; только одну фамилию, и больше ничего. Не знаю, почему ему не понравилось имя Овен. Некоторое ослабление цензуры объясняется тем, что государь заметил, что литература стала скучной и издатели постоянно попадают в долговые отделения».

«<В. Устюг,> 25 апреля <1865 года>

Я уже писал тебе, с каким азартом я накинулся на людей после освобождения и какие все казались мне превосходные. Теперь же я ушел в себя, и все мне... тоска, и никого я не люблю. Есть только одна прочная связь — это с тобою, так что я не могу представить себе жизнь без тебя. И потому — терпение. Думаю, что наконец заживу счастливо. Одно сокрушает меня. Накинувшись на людей, я готов был отдать им свою последнюю рубашку. А от этого явились и некоторые неблагоразумные расходы. Все это, конечно, нужно было пережить раньше, чем установиться. Но тем не менее денег вышло у меня много. Теперь я стал скупиться: хочу к концу года скопить малую толику и поступать так каждый год. Но, с другой стороны, боюсь, что в нынешнем году на этом поприще постигнет меня неудача, потому что придется заплатить за переезд Коли да самому при путешествии в новую губернию истратить двойные прогоны, так что доход всего года уйдет на прогоны да на обзаведение на каждом новом месте».

«<В. Устюг,> 1 мая <1865 года>

Дружок Людя. Сегодня написал я к Маше, к Вареньке, к Наде об отправлении ко мне Коли немедленно. Уж я его так люблю, потому что чувствую, что он заполнит мою жизнь. Я еще не заказал для него ничего; но закажу на днях: 1) кроватку. Она будет точеная и выкрашена отлично, как снег, белой краской, чтобы не укрылся ни один клоп, которых здесь в каждом доме мириады. Потом заказал уже филейную сетку из белых шнурков; ножки в чашках. 2) Будет у него: свой комод, свой гардеробный шкаф, свой стул, свой умывальный стол, ванна.

Теперь ты мне напиши инструкции, как вести его.

Дом, где я живу, состоит из двух половин и был бы для нас превосходен. Но вот беда — хозяйка и согласна бы уступить, да ей самой деться некуда. А было бы жить хорошо; при доме есть даже нечто вроде сада, то есть огород с березами. Здесь других дерев не растет. На днях вопрос решится. Она посоветуется с своими родственниками, и если добудет денег, то сделает к дому пристройку, куда и переселится. Я держусь этой хозяйки потому, что можно иметь от нее стол, не зная ни обзаведения, ни хлопот; ибо здесь беда с людьми: кухарок решительно нет. С прислугой просто бедствие. Забыл главное: почему я распорядился о немедленной доставки к себе Коли. Из министерства внутренних дел пришел на мою просьбу такой ответ: «Министр внутренних дел, ввиду обстоятельств, по которым полковник Шелгунов послан в Вологодскую губернию, не может разрешить ему выехать за границу, а также и переехать в другую губернию». Значит, лет на десять. Мой роман должен кончиться. Какую я сыграл роль? Я знаю — меня не винят. Но здесь ничего невозможно. Мне кажется, я весь уйду в Колю. Странное дело: точно человеку нужно любить, и только, а кого — все равно. Впрочем, в первом случае есть и трусость. Я знаю, что прочное невозможно, по неравенству нравственных и умственных сил. Но, с другой стороны, разве можно знать, куда и как разовьется молодой человек или, вернее, девушка? Одним словом, какое странное минутное увлечение. При других условиях, конечно, ничего бы не было.

Да, с чего ты взяла, что в сорок пять лет я *хочу непременно* сложить руки и доживать старость? Я вовсе не хочу, но боюсь, что это случится. Перцу во мне еще довольно. Но я всегда боялся, что останусь без здоровья и работы. Вот тебе и все. Целую тебя, мой друг, вот как крепко».

«<В. Устюг,> 16 мая <1865 года>

Роман, о котором я писал тебе и о котором ты сообщила мне свое мнение, писаться не будет; как говорится — лопнул. Теперь я задумал психологическую статью о том странном процессе и смене чувств, какая может происходить в людях. Если ты, гуляя в померанцевой роще и пленившись померанцем, сорвешь его, а потом,

идя дальше, встретишь померанец более привлекательный, сорвешь ли второй и бросишь ли первый или нет?

Я, кажется, не писал тебе о своих устюженских знакомых. Я знаком только с двумя семейными домами: Раковых (мать и дочь-девица) и Косаревых (муж, жена и дочь четырех лет). Раковы живут здесь постоянно, а Косарев служит в обществе Северодвинского пароходства и на лето уезжает в Архангельск. Вчера они отправились туда с первым пароходом. Косарева — молодая дама, сильной, сосредоточенной натуры и очень умная.

Кровать для Коли уже готова, но боюсь, что мой мальчик приедет ко мне, а у меня не будет готово для него помещение».

«<В. Устюг,> 20 мая <1865 года>

Если твое письмо бывает в грустном тоне, то оно всегда сшибает меня с рельсов. Как прочны у нас с тобой узы. Еще бы! Если жизнь пережить — не поле перейти, то думаю, что мы с тобой видали виды и вынесли своими костями малую толику. В год не расскажешь и не перескажешь всего. Поэтому, какое бы у меня ни было настоящее и какие бы цветы ни вырастали в моем вертограде, впереди рисуется мне всегда светлая точка в виде мирной, покойной жизни с тобой и мирной беседы перед камельком с старыми друзьями. Когда я спокоен за тебя, я, напротив, тотчас же начинаю вить гнездо, рассчитывая, что проживу же я ну хоть здесь, в Устюге, лет пять. И рисуются мне хорошие картины, и мне так хорошо и тепло. Помнишь, я всегда говорил, что я как пень среди долины. Теперь бы я сказал другое. Но вот сталкиваются два мира — будущий и настоящий, и человек выпивает стакан холодной воды, и опять ему тоска, и не знает он, что ему делать.

Бывают странные, непонятные процессы. Я уже писал тебе о померанцах. Я знаю, что для померанца нехорошо, что его бросают. Но лгал ли человек? Нет. Говорят, Базаров так не поступил бы. Но ведь мы еще не знаем, что бы было из него, если бы он загорелся, как сухое дерево. Да и странность не в этом, а в том, что является внезапно другая сила, в двадцать раз большая, и оттягивает тебя в сторону, и все прежнее отрубается сразу, точно топором, точно его никогда не было. Вопрос этот чисто психологический, я и отношусь к нему

теперь головным образом, не обвиняя и не оправдывая никого, ибо держусь органической теории.

Напиши мне свое мнение».

«<В. Устюг,> 27 мая <1865 года>

Ты находишь, что мои письма из Тотьмы отличались мрачным колоритом. Ну, еще бы! Ведь Тотьма не померанцевая же роща, а тамошние обитатели не соловьи, услаждающие слух. Только теперь я понимаю вполне, из какого болота я вырвался и какое подавляющее влияние могла бы иметь на меня жизнь в этом богоспасаемом городке, хотя люди там все хорошие и добросердечные.

В Устюге тоже не растут померанцевые рощи, этого мало— сегодня, 27 мая, нет в городе ни одной распустившейся березки; но тем не менее я все-таки довольнее Устюгом, ибо могу сохранить уединение в многолюдстве и быть сам с собой, обходясь без всяких лишних знакомств, которые, отрывая только от дела, не приносят никакой существенной пользы.

Твой «Рекрут 1813 года» переведен хорошо и нравится. И основываюсь я тут не на своем мнении, а на мнении одного очень умного и порядочного господина, проживающего здесь, в Устюге, на тех же основаниях, как и я.

Уж как я люблю тебя, дружок мой, и как ты меня смешишь празднованием нашей свадьбы! А я всегда забываю этот день. Но в будущем году буду праздновать его непременно, только особенным образом, не так, как празднуют вообще люди. Действительно, голубчик, мы имеем на то некоторое право, потому, если и не в начале, но когда сами развились и созрели, сумели размежеваться в жизни и создали себе счастье, которое дается не многим, да еще и долго не будет даваться, пока наши обыкновенные супруги будут пребывать в том остроумном турецком миросозерцании, в каком они обретаются».

«<В. Устюг,> 3 июня <1865 года>

Эх, написал бы я тебе о разных своих сердечных процессах, как говорится, выложил бы душу. Но при тех условиях, которым подвергается наша корреспонденция, разговоры о душе — вещь неудобомыслимая. Скажу

только одно, что я очень скучаю, какое-то неприятное чувство ожидания и постоянное нытье. К этому еще неуверенность, что меня не станут тревожить переводами. Теперь бы мне Устюга оставить не хотелось».

«<В. Устюг,> 10 июня <1865 года>

Ты думаешь, что Коля у меня? Так и было! Нашим петербургским размазням пиши об одном и том же по сту раз, да и то не делают. Особенно понравилось мне остроумие Нади. Получил от нее письмо, что Коля выезжает 27 мая. Жду. Затем получаю другое письмо, в котором она говорит, что, приехав к Зайцевым для вручения ста рублей на дорогу няни, она, то есть Надя, нашла двери квартиры запечатанными двумя черными печатями. И больше ни слова. Что за печати? Где Коля? Где Зайцевы? Одним словом, что и почему? Ведь бывают же такие головы, в которых не родится ни одного вопроса.

Спасибо Благосветлову, хоть от него узнал кое-что. Впрочем, тоже мало. Вот что он пишет во вчерашнем письме: «Почему не посылают вам вашего мальчика — это удивительно, когда об этом говорилось уже довольно давно. Разве арест Зайцевых — их арестовали, и мать и сына, по одному пустяшному делу и скоро выпустят на волю,— разве этот арест помешал отправить Колю, или Евгения Егоровна ублажает себя свиданьем с ним. Я поручил Нестерову исполнить вашу просьбу о немедленной отправке буквально». Вот тебе и все».

«<В. Устюг,> 17 июня <1865 года>

Хотя знакомых у меня почти нет и я почти нигде не бываю, но случается, что выхожу в люди. А в этом случае я нахожу, что ко мне относятся враждебно и смотрят на меня как на иностранца. Точно я не такой же русский, как они. Вдобавок к этому еще и врут. Например, один господин рассказывал, что я сослан за намерение убить мать. Положим, что все это пустяки, но, при моей нервной раздражительности, меня и пустяки беспокоят. Совсем отказаться от людей невозможно: уж такая штука человек, что ему нужно видеть человека. Хоть бы приехал скорее Коля. Впрочем, сомневаюсь,

чтобы он заполнил окончательно пустоту. Есть еще и другие струны, которые нужно удовлетворить. Одним словом, тоска. Да делать нечего. Потоскую, потоскую, да и перестану.

Сейчас писал моей маменьке, как раскидала всех нас судьба, кто — где. И в Сибири, и где хочешь. Неужели мы все так и умрем, не увидев друг друга. Глупая штука. Слова спокойны, а чувство возмущено. Зато при свидании можно даже упасть в обморок от радости».

«<В. Устюг,> 1 июля <1865 года>

Что я буду любить Колю любовью разумных людей, ты не сомневайся; но достанет ли во мне столько познаний, сколько нужно для хорошего его физического воспитания, не ручаюсь, хотя прочитаю все, что нужно для этого».

«<В. Устюг,> 4 июля <1865 года>

Превосходная, славная Варенька, которую я очень, очень люблю и которую прошу тебя поцеловать от меня так, чтобы у нее заболели зубы, совсем не похожа в своих отношениях ко мне на ту Вареньку, которую я рисую себе, любуясь ее карточкой. Варенька настоящая, проживающая теперь в Женеве, имеет сердце стальное, а та Варенька, которую я люблю, имеет сердце человеческое. Стальная Варенька требовала от меня писем, но я ошибкой написал к моей идеальной Вареньке; стальная, разумеется, не ответила и угасила мой светоч. Для стальной Вареньки дорог Устюг, потому что в нем будет Коля, а я при нем играю роль фигуры, стоящей на третьем плане. Я принадлежу к тому гордому, или как хочешь назови, сорту людей, которые возвращают ровно столько, сколько им дают. Далее — славная Варенька не хочет заглянуть в душу человека, находящегося в моем положении. Я видел недавно господина, который по опыту говорит, что в крепости сидеть легче, чем быть в ссылке. В моем же положении самое худое то, что меня постоянно мучит мысль, что я непрочен в Устюге; я нахожусь совершенно в положении человека на почтовой станции. Я больше ничего не хочу, как только того, чтобы меня оставили в покое. Уж я примирился с мыслью, что я пробуду в ссылке лет десять,

и хочу только одного, чтобы меня не переводили из города в город, как это делают с другими. Пусть стальная Варенька кидает теперь в меня камнем. Я же протяну ей руку и поцелую ее. Занятия не удовлетворяют меня, Коля не заполнит всей пустоты, и в сердце еще остается свободное место... только что же с ним делать? Разве наклеить ярлык и написать: «Отдается внаем»? Но кому нужна старая квартира! Пусть моя идеальная Варенька передумает и перечувствует мои вопросы, а я подожду от нее ответа, потому что вторую половину письма хотя я пишу и в третьем лице, но обращаюсь прямо к ней».

«<В. Устюг,> 8 июля <1865 года>

Наконец, вчера в двенадцать часов дня приехал Коля. Действительно, мальчик славный. Но бедняга хотя и вынес храбро дорогу, но, должно быть, усталость должна взять свое. Сегодня хнычет».

«<В. Устюг,> 29 июля <1865 года>

Моя жизнь тоже идет не совсем ровно. Все я вью себе гнездо, потому что, как ты сама знаешь, Коля не может заполнить меня вполне. Но нужно признаться, что Устюг не представляет в этом отношении никакого материала. Когда я приехал сюда, то познакомился с одной дамой — Марьей Платоновной Косаревой, и скажу тебе, что таких женщин не встречал. Замечательного ума и спокойной рассудочности. Если бы она жила здесь, я бы не хотел ничего лучшего. Но, во-первых, муж ее служит в пароходной компании (забыл сказать, что ей двадцать три года), и на лето они уехали в Архангельск, а во-вторых, она больна такими сложными болезнями, и в том числе водянкой, что теперь, как говорят, надо ожидать выхода самого грустного. Ты не можешь себе представить, как это меня печалит. Я верю слуху потому, что вот уже целый месяц, как я не имею от Марии Платоновны писем. Значит, что-нибудь худо. Сам же я пишу к ней теперь каждую почту, то есть два раза в неделю, и переписка эта доставляет мне истинное наслаждение. Если бы только болезнь не принесла печального исхода и если Мария Платоновна приедет на зиму сюда, то, конечно, я не позавидую ни Петербургу, ни

Лондону. Теперь же меня ужасно мучит мысль о том, что весь мой мир погибнет. Помнишь ли, я писал тебе о померанцах первого и второго сорта: я писал тогда о ней.

Однако я не пишу ни слова о Коле. Сейчас у него было великое горе, и бедняжка плакал горькими слезами: его стригли. Горе, конечно, великое, но избегнуть его было невозможно».

«<В. Устюг,>12 августа <1865 года>

Сегодня отправлял статью в «Русское слово» и потому теперь тороплюсь, чтобы не опоздать на почту. Хотелось писать и к Вареньке, но едва ли успею. Но только к Косаревой пишу, по обыкновению, длиннее, чем к тебе, но тоже коротко. Из этого ты видишь, что я горячусь. Меня ужасно испугали известия о Косаревой. Ей стало так худо, что она лежит уже месяц в постели не вставая. Бедная! И всего человеку двадцать три года. Я даже думал, что она не встанет. Но теперь я узнал, что ей лучше. Однако все не уверен, оживет ли она. Я знаю, что мои письма действуют на нее хорошо, и потому пишу к ней с каждой почтой. Для меня в ней все мое спасенье, а без нее такая пустота в Устюге, что ты себе и представить не можешь. Я сижу постоянно дома. Да и куда ходить и зачем? Человек я рабочий: почитываю и пописываю и с одеревенелым сердцем убиваю таким образом день за днем. Счастливые вы люди! А почем знать, так ли? В одном вы счастливее — знаю я положительно: вы свободны, как птицы».

«<В. Устюг,> 19 августа <1865 года>

Зачем мне сорок лет, зачем я не красив, зачем нет женщины, которая бы полюбила меня? А впрочем, я бы не мог любить. Неправда, мог бы, только без страстности, тихо и спокойно. Если бы ты, друг, была со мной, тогда бы во мне не было той пустоты, которую мне все хочется заполнить. Ты бы меня совсем не узнала, милая моя Людя, я такой спокойный, кроткий и тихий — точно и не я, а всему причиной продолжительное заключение, которое совсем изменило меня, то есть разбило и обессилило, так что вышел из меня почти весь перец и тот чернозем, который меня портил».

«<В. Устюг,>26 августа <1865 года>

В майской и июньской книжках «Русского слова» ты найдешь мое «Женское безделье». Статью эту я задумал писать потому, что, читая живую книгу русской жизни, я увидел, что русская женщина не знает ровно ничего; что ей неизвестны самые простые, основные житейские понятия и что только повести и романы удостоиваются ее внимания. Между тем экономические понятия составляют основную сущность всех остальных социальных понятий, и с ними нельзя познакомиться в романах и повестях. Это навело меня на мысль написать «Женское безделье» и посвятить его «прекрасному полу» потому, что без этого те, для кого писалась статья, читать бы ее не стали. Мысль, как ты видишь, была здоровая и обсужена была зрело. Но вот какие вышли последствия. Во-первых, «Голос», или, лучше сказать, один из подозрительных его сотрудников (ты знаешь, что в «Голосе» участвуют люди сомнительной общественной нравственности, и каждый из них старается скрыть свое имя), назвал мою статью болтовней, а меня — старой бабой. Об этом я говорю, собственно, потому, чтобы объяснить тебе второе обстоятельство, касающееся меня прямо. Некоторые из моих устюженских сограждан заподозрили меня в желании вывести их почтенные личности и нашли в моих статьях будто бы свои портреты. Разумеется, это делает честь их проницательности и сообразительности и, во всяком случае, рекомендует с хорошей стороны их нравственное чувство. Но с другой стороны, нужно заметить, что весь свет заполнен злыми старыми девами; все эти старые девы сплетничают и пересуживают и страдают повсюду тупоумием и невежеством. Не понимаю, почему устюженским девам понадобилось отыскивать себя в моих статьях и тем довести до общего сведения, что они именно страдают всеми теми умственными немощами, о которых я говорю? По-моему, это было не рассудительно. Дальше явились и между мужчинами подобные же сообразительные люди, а может быть, и галантные кавалеры, и два из них с поразительным усердием, какого они не выказывают никогда на службе, принялись развозить повсюду «Голос» и читать всем, что меня назвали бабой. Одним словом, радость была всеобщая, и я достиг своей цели, потому что моя

статья хотя и заставила почтенных устюжан побранить меня, но в то же время и заставила их подумать о том, о чем до сих пор думать им не приходилось. Попал, как говорится, в жилу. Мне бы хотелось, чтобы мои статьи, несмотря на свою болтливость, произвели во всех городах, уездных и, пожалуй, губернских, подобное же движение в мозгах местных обитателей.

Из всего этого ты видишь, что быть литератором в провинции небезопасно, и теперь мне остается только ожидать, что кто-нибудь, обидевшись какой-нибудь моей статьей, писанной без всякой мысли о нем, наймет каких-нибудь незнакомцев с дубьем, поставит их у моих ворот, и... ты понимаешь, что дальше. Увлеченные усердием незнакомцы приложат излишнее старание, и в одно прекрасное утро полиция г. Устюга найдет на тротуаре мой бездыханный труп».

«<В. Устюг,> 23 сентября <1865 года>

Дружок мой и дорогой, родной человек Людя. Напрасно ты думаешь, что мне пришлют нагоняй. Ваши предположения с Варенькой оправдались: Маша действительно выходит за Ковалевского, и, как писал мне Варфоломей Александрович, в половине сентября должна быть свадьба. Значит, дело уже кончилось.

Ты меня, голубчик, насмешила, так что я сейчас громко расхохотался. И этому причиной твое объяснение слова «всегда». Уж как там ни объясняй, а все выходит что-то не то. Ну, да не важно; тем более что наступит же наконец пора, когда мы снова заживем вместе.

Ужасно меня огорчило известие о смерти Михайлова. Он умер брайтовой болезнью, то есть болезнью почек и общей водянкой. Я спрашивал доктора, в сознании ли умирают при этом. Он сказал — нет и что смерть происходит от задушения. Вопрос свой я делал для того, чтобы разъяснить, мучился ли бедный Михайлов, и умер ли он в памяти. Михайлов знал, что ему не жить».

«<В. Устюг,> 30 сентября <1865 года>

Друг мой Людя! Ты не ошиблась, что известие о смерти Михайлова произведет на меня очень, очень тяжелое впечатление. Я уже писал тебе об этом. Тяжело

мне было потому, что я в будущем рисовал себе яркий камелек и перед ним компанию старцев, хороших, добрых, живущих одним миром. Теперь эта компания меньше. Ты не ошиблась и в том, что я стал еще более одинок. Сорок лет я кипятился и накидывался на людей с полной искренностью; я ненавидел ложь и обман в других, не позволял никогда их и себе. Я всегда был искренен и в этом считаю все свое достоинство. Но провинция дала мне последний урок мудрости житейской, и я утвердился теперь окончательно на той мысли, возведя ее уже в принцип, что лучше всего жить одному в своем собственном мире и держать себя подальше от того, что в провинции считается образованными манерами. Зайцев мне писал, что и Петербург занимается тем же, кидая грязью в людей, которых пустые болтуны даже и понять не могут. Ну, как не пожалеть после этого о том, что наш камелек расстраивается и убывает людей, с которыми жил бы и умер вместе! Ты пишешь, что сердце твое не принимает ничего остро, а больше уж как-то хронически. Со мной с лета началось то же самое, а с известием о смерти Михайлова я совершенно затупел к резким, острым ощущениям, как и ты. Одним словом, со мной сделалась головная реакция».

«<В. Устюг,> 7 октября <1865 года>

Вчера я прочел в «Книжном вестнике», что милый Михайлов умер в Кадаинском прииске. Опять сжалось сердце. С некоторых пор напала на меня какая-то апатия. Чувствую, что совсем пусто в голове и сердце. Какая-то притупленность и чувства и мысли. Вообще этот номер «Вестника» полон известиями о смерти наших знакомых: умерла Софья Дм. Хвощинская (Весеньев), умер Вольфсон и Брокгауз».

«<В. Устюг,> 21 октября <1865 года>

Друг Людя. Новое постановление о печати произвело в редакции «Русского слова» революцию. Месяц тому назад я получил от Зайцева письмо, в котором он сожалеет, что меня нет в Петербурге, а Писарев находится в уединенном положении. «Вы могли бы судить,— продолжает он,— о важности этого обстоятельства, только зная о тех реформах в журнале, каких я и Соколов до-

биваемся от Григория Евлампиевича. К сожалению, как ни необходимы эти реформы и как ни важны они для интересов не только «Русского слова», но и всей литературы, я потерял надежду склонить на них нашего почтенного издателя, который при всех своих достоинствах не одарен тою добродетелью, которою в такой степени отличаемся все мы, то есть быть пролетарием». Что все это значит, я понять не могу, хотя знал очень хорошо, что Григорий Евлампиевич далеко не пролетарий, и никогда не верил в искренность его липких и сладких фраз. Например, в письме от 4 сентября Благосветлов мне пишет: «В моих отношениях к вам столько прочного расположения, столько задушевного уважения, что изменить эти отношения может разве только смерть да вы сами. Я третий год работаю с вами в одном журнале и, что гораздо важнее, в одном умственном направлении; я третий год переживаю нравственно ту тяжелую пору вашей жизни, за которой я по необходимости должен был следить... Я не испытал десятой доли того, что испытали вы, но я могу понимать, что значат ваши опыты и какая благородная натура должна быть у того, кто в этом водовороте сумеет сохранить полнейшее присутствие светлой мысли и спокойного характера...» и т. д. Затем, в письме от 7 сентября, то есть через три дня, Григорий Евлампиевич является уже другим. Письмо написано в каком-то раздраженном состоянии и с очевидным неудовольствием на меня, причем намекается, что для двух отделов работать трудно и статьи выходят спешные. Кроме того, заявлена боязнь сидеть в тюрьме по милости сотрудников, которые вместо дела вздумают разряжаться трескотней фраз. Не понимая, к кому относится это предостережение, я отвечал вообще. Вчера получаю ответ на это письмо, где Григорий Евлампиевич говорит в прежнем тоне: «По правде сказать, только вы и Писарев связываете меня нравственными отношениями к «Русскому слову»; я люблю его именно настолько, насколько могу любить и уважать вас... вчера я подал просьбу об утверждении меня редактором серьезного отдела. Кроме того, предполагается предложить Зайцеву особый отдел для редакции. Не знаю, как все это устроится... прошу вас убедительнейше высылать поскорее статьи...» Как поскорее? Значит — чаще, значит — больше статей, а прежде писал, что для двух отделов много,

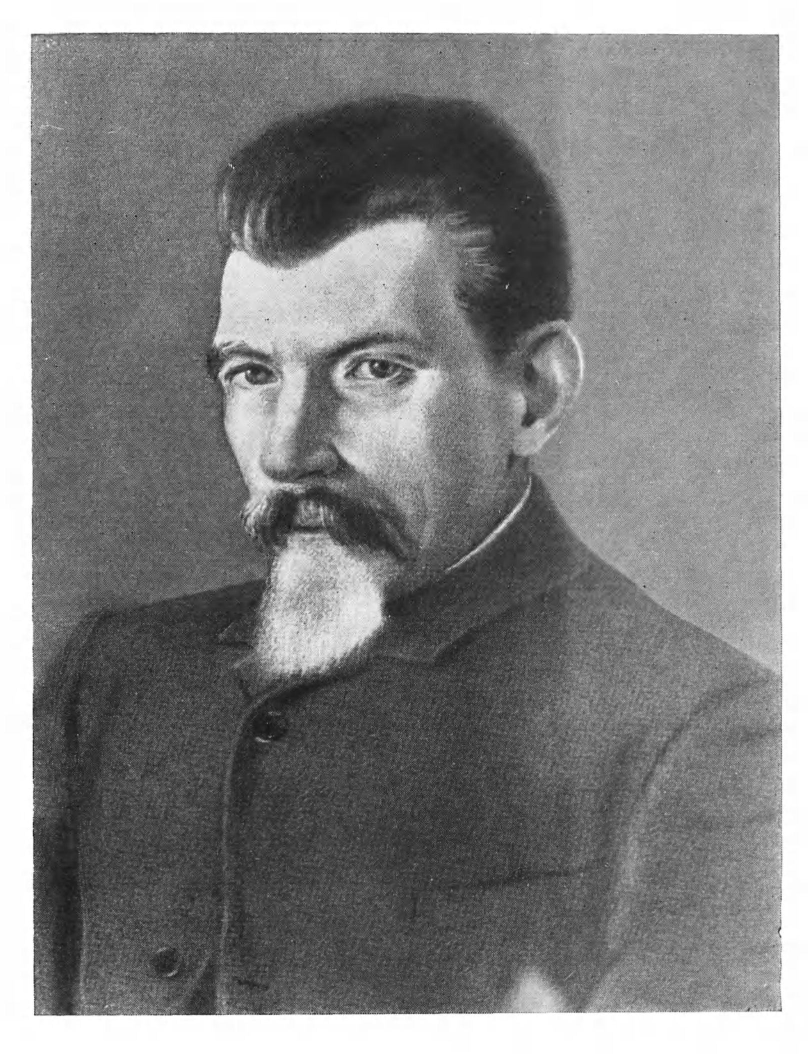
и намекал на три-четыре листа в месяц? Ничего не понял. Но вчера же я получил письмо и от Зайцева. «Я, Соколов и Писарев,— пишет он (но разве Писарев на свободе?),— подали нынче в отставку от «Русского слова» и *всей журналистики* (?). На днях об удалении нашем будет напечатано или в книжке «Русского слова», или в «Петербургских ведомостях»...» Но какая причина этого происшествия? Причина очень простая: дело в том, что Григорием Евлампиевичем овладел страх и он сделался хуже всякого Веселаго. Кроме того, он имел неосторожность в пылу спора сознаться, что цель его — только собрать теперь подписку, которую он рассчитывает в четыре тысячи, потом издавать книжки как можно экономичнее, рублей в шестьсот этак, не дороже, и к концу 1866 года откланяться публике и отправиться на лоно природы... Он дошел до того, что предлагал в редакторы «Русского слова», по случаю отказа Благовещенского (спраздновавшего трусу), то Чужбинского, то Порецкого, то одного старого семидесятилетнего подъячего, то, наконец, своего рассыльного!.. Я полагаю, что это извещение будет для вас не лишнее и если не вызовет вас к чему-нибудь теперь, то хотя даст возможность знать, чего ждать в будущем».

На свои отношения к «Русскому слову» я никогда не смотрел как на прочные и знал, что так или иначе они должны кончиться: вот почему я и писал тебе о переводах. В Петербурге все это ничего; но когда живешь один в голой степи, то есть о чем задуматься. Что делать? Прощай, друг. Коля здоров и весел».

«<В. Устюг,> 28 октября <1865 года>

Мне ужасно понравилось твое выражение по поводу Авдеева: «Он хороший был человек, не знаю, как теперь». Именно так! В последнее время нам пришлось узнать людей, ну, и нужно согласиться, что на свете совершаются великие превращения; всякий так и хлопочет продать своего ближнего; истинные братья во Христе!

Революция в «Русском слове» кончилась общим примирением. Все остались налицо, и журнал разделили по редакциям: критический отдел — Зайцеву, экономический — Соколову, Благовещенскому и Благосветлову —



Н. В. Шелгунов

1880-е гг. С портрета (масло) неизвестного художника

остальные. Если бы Писарев и я были в Петербурге, то и нам достались бы свои отделы. А теперь и так.

Зайцев пишет же мне вот что: «8-го числа (октября) помещено в «Голосе» следующее объявление: «От редакции «Русского слова». Во имя общественной пользы, экономической правды и достоинства самой журналистики, которая должна быть не только свободной, но и честной, объявляется: 1) издатель не считает подписной суммы своей собственностью; 2) подписная сумма не должна расходоваться произвольно; 3) издатель, как поверенный подписчиков, есть главноуправляющий конторою журнала; он обязан давать в известные сроки полный отчет во всех расходах по изданию; 4) отчеты эти должны печататься в самом журнале за подписью издателя. На этих началах, которые мы признаем справедливыми и полезными, будет издаваться «Русское слово». Г. Благосветлов, Н. Благовещенский, В. Зайцев, Н. Соколов». И дальше: «Нынче я, Соколов и Дмитрий Иванович <Писарев> заключили между собой тайный оборонительный союз, условия которого состоят в том, что управляющий конторою не может исключить или удалить против воли никого из постоянных сотрудников, какими мы считаем себя, вас и Благовещенского. Удаление одного влечет за собой немедленный выход остальных (то есть из нас троих пока)». Я тоже вступлю в этот союз, но только не понимаю, зачем он тайный; в чистых делах незачем секреты; тем более что договор идет против Благосветлова, то он, разумеется, и должен знать о его содержании».

«<В. Устюг,> 25 ноября <1865 года>

Друг мой Людя. Хоть твое письмо не заключает особенно веселой сущности, но оно повлияло на меня хорошо, ибо зашевелило во мне надежду с тобой увидеться. Ах, Людя, Людя, какой бы это был для меня праздник. Я уже представляю себе приятный камелек, тебя и Вареньку и мирную и теплую беседу. Мне ужасно стыдно, что я до сих пор не пишу Варваре Александровне. Но знаешь ли — отчего? Ну что я стану писать к ней? какую-нибудь тоску или поднимать вопросы, вызывающие на размышления? Еще куда ни шло —

у камелька. Но и там едва ли бы я пустился в подобные странствия.

...В подобном положении нахожусь я в Устюге; про меня не говорят, что я ворую, но что я убил свою мать. Кроме того, есть и такие доброжелатели, которые желают меня отправить в Колу. Наконец, и это большинство здешнего общества, то есть все те, с кем я не знаком, смотрят на меня исподлобья и озираясь, точно я вот сейчас протяну руку и вытащу у них из кармана носовой платок. Конечно, я доставил бы этим простодушным людям возможность смотреть на себя веселее; но и то немногое знакомство, которое я имею, отрывает меня от дела, особенно теперь, когда я работаю и должен буду еще целый декабрь работать усиленно».

«<В. Устюг,> 9 декабря <1865 года>

Дружок Людя. Пожалуйста, голубчик, узнай через Вареньку, но только осторожно, какая перемена во взгляде явилась у Зайцева на меня. У них в редакции между Благосветловым и Соколовым были великие споры по поводу моего «Женского безделья». Соколов совершенно не согласен с моим экономизмом, и как он имеет большое влияние на Зайцева, то и «успел внушить ему на мой счет самые комические сомнения». Это весьма любопытно, и я просил Благосветлова разъяснить, что это значит. При своем разъяснении не упоминай ни меня, ни Благосветлова: они уж и так все переругались, а как будто ты прослышала стороной.

Ты мне написала совсем неясно, в чем заключается sans façon'ство[1] Благосветлова с твоими переводами Шатриана. Где он их напечатал?

Благосветлов мне тоже писал о размолвке и жалуется на Соколова и Зайцева, хотевших оттереть его от «Русского слова», и на разные сплетни, интриги и личности. С нового года Благосветлов будет платить мне по шестьдесят рублей с листа. Не знаю, будет ли мне это выгоднее, потому что все зависит от числа напечатанных листов».

---

[1] бесцеремонность.

«<В. Устюг,> 16 декабря <1865 года>

Сегодня мне привезли «Голос». Зайцев и Соколов отказываются от сотрудничества в «Русском слове» и в <«Голосе»> говорят: «То же самое уполномочил нас сообщить от своего имени Д. И. Писарев». Без Писарева «Русское слово» немыслимо. Что будет, не знаю. Но все это очень глупо. Как мне кажется, всю эту кутерьму наделал Соколов, человек, сколько это видно из его «Маску долой!» (вызов «Современнику»), горячий, но не умный. Во всяком случае, все это нехорошо, потому что если «Русское слово» захворает холерой, то и твоему покорнейшему слуге приключится болезнь и отощание. Ты мне писала о переводной работе, но мне ее и до сих пор никто не присылал. Одним словом, жить за тридевять земель, как я, и удовлетворяться отрывочными газетными объявлениями — положение не завидное. Мне кажется, что если бы я был в Петербурге, то Зайцев не был бы в лапе Соколова и не выскочил бы из кожи. Я даже думаю, что ничего подобного не случилось бы, если бы была в Петербурге Варвара Александровна».

«В. Устюг, 9 января 1866 года

...Ах, как тяжело и скверно жить на свете! Чего бы я ни дал, чтобы быть с тобой, мой друг. Но увы! хотя и есть земные силы, которые могли бы это сделать, но они не сделают, а небесные — давно уже перестали помогать людям. От Зайцева я получил два письма: одно — содержания воинственного, с подозрениями; другое — примирительное, ибо он сам все напутал, обещав мне писать и не исполнив своего обещания. Подробнее напишу в четверг. Между прочим, он предлагает мне отказаться от «Русского слова» и вступить к ним и отдавать свои статьи для задуманного ими «Опыта», сборника статей. Первая книжка выйдет 20 января. Я ответил, что хотя душой я и в их компании и действительно я люблю его и Писарева, но нужно подождать новых обстоятельств, чтобы я мог оставить «Русское слово». На первый раз Зайцев предлагает мне сто пятьдесят — двести рублей. Видишь, как!

Миша пусть простит меня, что до сих пор ему не отвечаю; да и отвечу не по-немецки; во-первых, труднее для меня и, во-вторых, что нерусское письмо должно быть отправляемо чрез вологодское начальство...»

«В. Устюг, 13 января 1866 года

Дружок Людя. В заголовке следующего письма ты встретишь уже не В. Устюг, а Никольск, куда меня переводят. О причине перевода я напишу тебе в следующем письме. Теперь же я в хлопотах: заказываю ящики, нанимаю возчиков, завтра все укладываю, и если успею, то послезавтра отправляю вещи, а сам трогаюсь в понедельник (сегодня четверг). Понедельник вывез меня раз из Орла и привел в департамент, не вывезет ли он меня и ныне в Петербург или за границу...»

«Никольск, 26 января 1866 года

...Благоприятно подействовал Никольск и на меня: я здесь спокоен духом и имею всего трех знакомых, из них двух знал раньше: исправника и лесничего, и нового знакомого приобрел в лице помощника исправника. В Устюге же меня одолевали знакомые. Но какая же причина, что я попал в Никольск? Не угадаешь и очень удивишься: я дал пощечину (две) одному судебному следователю, господину в высшей степени дерзкому, глупому, зверю в семейной жизни и т. д. Люди, знающие его, говорят, что ему следовало получить их давно, но из местных жителей не нашлось ни одного человека, способного на это. Мои пощечины — только финал истории, которая началась еще весной и в которой я действовал как третье лицо. Ты догадываешься, что тут замешалась любовь и ревность. Господин, получивший пощечину, имел смелость не только сказать мне грубость, но даже погрозить пальцем; я воспылал, как пироксилин, и ответил грубияну языком, ему единственно понятным. Мало места, друг, с следующей почтой получишь подробное описание. Переводом в Никольск я очень пока доволен...»

«Никольск, 30 января 1866 года

...Меня ужасно обрадовало известие, что в октябре ты приедешь в Петербург. Жаль только, что октябрь не скоро.

«Русским словом» получено второе предостережение, после третьего журнал закроют. Благосветлов мне пишет: «Вот что надо делать: выбрать другое заглавие для такого же журнала, как и «Русское слово», и продолжать его издание при тех же сотрудниках и подписчиках». Посмотрим.

Я в Никольске уже десять дней, и живется мне в нем легко. В Устюге постоянно я чувствовал над собой полицейский надзор, и это такая пытка, который ты, конечно, представить себе не можешь. В Никольске умные власти, а в Устюге — сама угадай: я не скажу. Прощай, мой голубчик. Целую тебя. Напиши, пожалуйста, Вареньке, что я целую ее ручки и что она божественная. С следующей почтой я напишу к ней большое письмо. Целую ее. Пожалуйста, напиши. Мишульку целую.

Я постоянно тороплюсь, потому что мало времени. И теперь горячусь, чтобы не опоздать на почту...»

«Никольск, 6 февраля <1866 года>

Я писал несколько раз к Зайцеву об адресе, но безуспешно. Когда же у него вышел окончательный разрыв с Благосветловым и мне нельзя было писать через редакцию «Русского слова», то я отправил с письмом к Евгении Егоровне письмо для доставления к Варфоломею Александровичу. После этого Зайцев и я успели написать друг к другу два раза, а от Евгении Егоровны все еще нет и первого ответа.

Тебе не верится, чтобы Бубка[1] мог сделать что-нибудь неблаговидное. Еще бы! Я совершенно и глубоко верю в искренность и честность его, а не Благосветлова, хотя скажу, что одно время я вследствие писем Благосветлова сильно обвинял Бубку. Теперь же, особенно после последнего письма Варфоломея Александровича, я еще не знаю, в какие отношения я стал бы к Благосветлову, если бы был в Петербурге.

Из письма к Вареньке, которое я прошу тебя переслать к ней, ты увидишь, что Зайцев и со мной готов идти на разрыв. Но мне это обидно, и я его до этого не допущу. Впрочем, несмотря на это, я все-таки не согласен с приемом, избранным Соколовым.

[1] Сокращенное Варфоломей. *(Прим. Л. П. Шелгуновой.)*

Разве твой пропавший перевод не был застрахован? Сколько мне помнится, во Франции за пропажу на почте рукописи выдается всего пятьдесят франков. Если столько же и в Швейцарии — печально.

Хотя бы меня перевели в губернский город! — пишешь ты. В лучшее не переводят, а все в худшее. Любопытно, что в письме от 17 января Зайцев пишет мне о моем переводе в Никольск; но в то же время (немножко раньше) пришло и распоряжение из Вологды. Неужели губернатор телеграфировал в Петербург и исполнил только тамошнее приказание?

Вместо меня Мише отвечает Коля. Я думаю, Миша этим будет более доволен...»

«Никольск, 13 февраля 1866 года

...Благосветлов пишет, что Писарев воротился в «Русское слово», но повредил себе своими рекламами в глазах крепостного начальства, и потому положена на него епитимья — писать в «Русском слове» под именем Рагодина. Впрочем, епитимья продолжится месяца два, а потом возвратят ему его собственное имя...»

«Никольск, 6 марта 1866 года

Друг Людя. Ты, конечно, уже знаешь о третьем предостережении «Русскому слову» и о запрещении его на *пять* месяцев. Если бы подобные дела могли быть обсуждаемы гласно, то, конечно, цензурному управлению это принесло бы большую пользу. Теперь же, например, оно смело говорит, что я в статье «Честные мошенники» придаю воровству значение «труда», тогда как я, напротив, эксплуатации в форме ошибочно понимаемого труда придаю значение воровства. Впрочем, что об этом толковать. Уж такая наша участь горькая, что плетью обуха не перешибешь...»

«Никольск, 13 марта 1866 года

На свое дружеское письмо к Зайцеву я не имею ответа. Если он на меня сердит, то мне останется только думать, что он, как нянюшка Коли, не переносит самых кротких, дружеских, справедливых замечаний. Но за что он может сердиться на тебя,— или только за то, что ты

Шелгунова? Странное понятие о солидарности между мужем и женой. Впрочем, может быть, я ошибаюсь и сегодня получу от Зайцева ответ. В таком случае все сказанное беру назад.

Ты пишешь о довольно дерзком письме от Благосветлова. Он человек нервного характера и в письмах иногда горячится. Впрочем, из всех его писем ко мне только в одном я нашел выражения, которые мне не понравились. По какому случаю он написал неприятность тебе?

Ты говоришь о манифесте. Благосветлов писал мне, что ожидают много милостей по случаю серебряной свадьбы государя. А будет она 16 апреля нынешнего года...»

«Никольск, 29 марта 1866 года

...Меня удивляет твоя история с Варей. Но зато я понимаю, почему, написав ко мне, она просила адресовать прямо в Берн, на имя ее матери. Сначала меня это удивило, ибо я всегда посылал через тебя. Брат ее мне не ответил ни слова и отвернулся от протянутой мной ему руки. Из этого выходит только то, что я не считаю его, как прежде, рассудительным и порядочным человеком. В самом деле, что за странные люди! У них, должно быть, трихины. Только непонятной болезнью и можно объяснить подобные непонятные разрывы, по-видимому, прочных отношений.

Как твое здоровье? Мне тоска. Да и погода скверная.

До свидания, друг. А было бы хорошо, если бы мы увиделись с тобой зимой...»

«Никольск, 18 мая 1866 года

Друг Людя. Неделя эта была для меня неделей тяжких размышлений. Вот основания для них: 1) Благосветлов арестован...

...Из всего этого я вывел вот что: не сегодня, так завтра «Русское слово» прекратит свое существование, и моей литературной деятельности конец, ибо и писать некуда, и мое сотрудничество не будет никому нужно...

...С прекращением работы придется перебиваться, то есть продовольствоваться какими-нибудь пятнадцатью рублями в месяц. На эти деньги жить с Колей нельзя. Я придумал и еще более мрачные вещи, да уж о них не хочу писать...»

«Никольск, 7 июня 1866 года

Твои письма изменили совсем все мои проекты, и я стал снова надеяться на лучшее.

Что «Русское слово» существовать не будет, в этом я уверен.

Литературное дело, которое я сначала так полюбил, начинает мне теперь противеть. Я бы с удовольствием променял его на такое занятие, где видишь, что делаешь, и будь я в большом городе, я постарался бы приискать что-нибудь. В Никольске нельзя найти никакого дела. Здесь не нужны даже лакеи. В минуту горьких размышлений и безнадежности я решил просить казенное содержание, которое дается ссыльным: четыре рубля пятьдесят копеек на еду и рубль пятьдесят на квартиру в месяц.

Теперь же, в ответ на твои письма, я думаю вот что:

1) Совет Марии Федоровны неосуществим: я не могу писать больше ни по лесоводству, ни по технологии, ибо я сказал все, что знал, и нового больше ничего сказать не могу. На повторения же, особенно когда они никому не нужны, не поднимается рука. Одним словом, моя лесоводственная литературная деятельность кончилась и воскреснуть ей невозможно. Всякой овощи свое время.

2) О заграничной поездке я, разумеется, и не мечтаю. Но теперь потерял надежду и на перевод в другой город. Я даже уверен, что за пощечину, данную одному негодяю, устюжское начальство аттестует меня дурно, хотя вся эта история не имеет ровно никакого политического характера. Одно средство устроить что-нибудь вперед лучшее: *твое личное хождение по моему делу.* И вот мой план. Ты приезжаешь в Петербург — чем раньше, тем лучше. (У меня есть триста пятьдесят рублей, следовательно, до января я с Колей проживу.) Тотчас же разузнай, на кого нужно действовать: быть ли у Суворова, Долгорукова, Валуева, Шувалова, Мезенцева. Не поскупись на время и труды. Объясни состояние моего здоровья и т. д. и проси перевода в такую местность, где возможно жить без литературного труда. В самом деле, не ходить же мне по миру, или непременно хотят этого? Если бы Никольск был университетский город с медицинским факультетом, я бы занялся

медициной; об этом я уже думал. Я готов даже дать подписку, что не буду ни с кем знаком. Но во время учения нужно же пить и есть. А чем? Переводами, что ли? Вот и опять ты должна устроить литературные сношения. Одним словом, свое время в Петербурге употреби на мой перевод и обеспечение моего содержания или каким-нибудь местом, или верной, постоянной работой. Если бы ты знала, как тяжела поднадзорная лямка! И особенно в таком городе, как Устюг! Если бы ты знала, что там за люди из тех, кто имеет голос и влияние! Можно с отчаяния застрелиться, только чтобы не видать их. Ох, голубчик, тяжело. Вести отовсюду скверные. Без тебя я как без рук. Сам своими средствами я ничего сделать не в состоянии...

...Дружок Людя, сообщу тебе еще яснее свою программу. Так как жизнь вышибла меня из колеи, то нужно мне опять создать себе дорогу, опять взобраться на гору и подготовить тебе и себе спокойную старость, а Коле и Мише дать образование.

Вступил я было на литературный путь и даже утвердился на нем, так что если бы не было помех, можно бы идти и устроить свое будущее. Но и с этого пути обстоятельства сбили меня. Нужно покинуть журнальное поприще. И так с двух путей я уже сбит — служба и журналистика. Куда идти? где искать и пробовать еще?

Вот чем бы я мог быть и готов хоть сейчас: я бы с великой охотой занялся экономической статистикой России, ибо в сей момент наша экономическая (финансовая, торговая, промышленная) внутренняя и внешняя политика страдает больше всего от недостатка точного знания современных экономических условий страны. И я полагаю, что дельный, обширный труд, на который бы я охотно посвятил пять лет, был бы действительно полезен и дал бы мне имя в ученой литературе. К подобной работе я совершенно подготовлен всей предыдущей деятельностью.

Но вот в чем помеха. Заняться таким делом можно только в центральном статистическом комитете министерства внутренних дел, а меня туда не возьмут.

Учиться медицине и стать доктором недурно; в два года можно успеть; но нужно эти два года чем-нибудь жить. А как пойдет потом практика? Этот путь наиболее скользкий и неверный.

Есть еще одна дорога. Служить по акцизу у Грота. Думаю, что новых доказательств моих служебных способностей и честности мне представлять не нужно. Что же касается до моего общего и политического мировоззрения, то я думаю, что при определении крепости спирта и учете винокуренных заводов мировоззрение не играет ровно никакой роли и никому оно не нужно.

Если что придумаешь более верное и лучшее, уполномочиваю тебя действовать за меня. Ты знаешь и мои наклонности, и мое направление, и мои слабости,— значит, не ошибешься. Помни только, что пощечина, данная мною судебному следователю Сутоцкому — человеку, о котором ты можешь судить по тому, что он услыхал о Гарибальди в первый раз только тогда, когда явилась шляпка á la Гарибальди, и который звал меня человеком подозрительным и ссыльной собакой,— причиной, что устюжский исправник, друг и приятель Сутоцкого, аттестовал меня, конечно, очень дурно. Но неужели ответить пощечиной на грубость значит быть *поведения неблагонамеренного?* Пожалуйста, объясни это, если понадобится, кому следует.

Я писал через Надю к Благовещенскому, и главный мой вопрос, будет ли существовать «Русское слово». Если получу ответ «нет», то до перемены в своем положении, которого надеюсь достигнуть через тебя, напишу к кому-нибудь о переводной работе.

Ответь мне поскорее на это письмо; и когда ты приедешь в Петербург? Если ты придумаешь что другое и потребуются к начальству от меня письма, то я вышлю их к тебе для личного доставления. Тут ты и переговоришь.

Посылаю тебе виды дома, в котором я живу. Дом на самом скате к реке Югу, маленький, скверный, полугнилой; вокруг печаль и нищета. Против дома — ванна, устроенная здешним лесничим, и я купаюсь в ней три раза в день регулярно. Вспомнил я сегодня в ванне подобное же регулярное купанье, но только не здесь и не с теми. Вспомнил Гатчину. Какое славное было лето, какие славные люди, какие золотые мечты! Теперь мы точно стадо куропаток, разогнанное охотником. Одни умерли, другие далеко. Все вразброд. Прежде я мечтал о том, что хотя на старости соберемся все снова у камелька, а теперь уже не мечтаю. Все не соберутся.

Не знаю, какой получу ответ о «Русском слове», но, чтобы не пропало время, сегодня сяду писать вторую статью («Домашняя летопись») для августовской книжки. Понадобится — готово; если нет — все лучше работать, а не сидеть, сложа руки».

«Никольск, 15 июня 1866 года

Друг Людя. Твои письма от 5 и 8 июня получил в одну почту. На них и отвечаю.

С тех пор как ты порешила жить со мной или вообще возвратиться из-за границы, камень свалился с меня. Сообщаю в дополнение к последнему письму еще вот что: если тебе не удастся добыть мне перевод в другую губернию или какое-нибудь место и занятие, в таком случае нужно будет тебе выхлопотать у вологодского губернатора или, еще лучше, в Петербурге перевод мне в ближайший город к Вологде. Есть два таких города — оба за сорок две версты от Вологды: Грязовец и Кадников. Грязовец лучше, ибо там превосходный предводитель дворянства (они играют здесь роль) и хороший исправник. Кроме того, Грязовец лежит на ярославском тракте в ста шестидесяти верстах от Ярославля. А от Ярославля до Петербурга сообщение на пароходе (до Твери), а затем железная дорога...

...Все свои надежды на улучшение положения я возлагаю на твое личное ходатайство, ибо мои письма и просьбы решительно остаются без ответа.

Надя мне пишет, что Благосветлов свободен и очень весел. Еще бы! Далее: «Не украли ли у тебя твоего вида об отставке? — пишет Надя.— Я слышала от одного знакомого, будто бы нашли твой вид у одного молодого человека, замешанного в нынешней истории, и странно, он в то время у него был, когда тебя содержали в крепости; ты здесь вовсе не причастен, а это украдено у тебя». Такие вещи бывают: в Устюге есть доктор Вышинский; под его фальшивым паспортом был схвачен в Западном крае один господин из банды. У Вышинского сделали внезапный обыск и нашли паспорт настоящий.

«Русское слово» и «Современник» запрещены. Значит, деревня сгорела и нужно подумать серьезно о прочном устройстве своего будущего: журнальному моему поприщу конец. Если бы ты приехала поскорее в Петер-

бург! Устроив наши дела, ты бы могла, до зимы, доехать с удобством до Вологды, если не удастся устроить что лучшее. Посоветуйся с знающими людьми, а между прочим, с В. Матв. Лазаревским. Надя скажет, где его можно видеть. Он укажет тебе, когда и к кому удобнее обратиться в министерстве внутренних дел...»

«Никольск, 22 июня 1866 года

Друг Людя. Ты считаешь упадком духа то, что, по-моему, далекая предусмотрительность. «Разве люди, знающие хоть что-нибудь, умирали с голоду?» — спрашиваешь ты. Да, умирали. Умирали буквально. У меня примеры на глазах, что люди в Устюге, городе с восьмью с половиной тысячами жителей, не могут найти себе никакого занятия и, получая шесть рублей казенного содержания в месяц, ходят исхудалые, как тени. Ты говоришь — давать уроки; но уроки давать строго запрещено. И, зная Никольск, я вместе с тем знаю, что нам существовать в нем местными средствами совершенно невозможно. Так как Благосветлов был арестован, а ты в Женеве, то я считал все свои источники существования закрытыми.

Я писал тебе свою программу. Самое приятное было бы бросить журнальную работу и приняться за какое-нибудь занятие распорядительного характера. В Петербурге ты можешь это сообразить, уладить и устроить. Не забывай того, что крепость унесла у меня на десять лет силы и здоровья.

Возвращайся поскорее и устраивай, ибо только то и будет, что сделаешь ты. Мне же из Никольска делать ничего нельзя: не к кому писать, некого просить — никто не слушает.

На литературу плоха надежда, да и смотрю на нее как на крайнее средство и до получения письма от Благосветлова, который обещал писать (но не пишет), я ничего сказать не могу.

Помни, что в Никольске нам жить нельзя: или в губернии, ближайшей к Петербургу, по железной дороге, или на Волге, или в Вологде, или же в ближайших к ней уездных городах — Кадникове или Грязовце. Одним словом, на путях сообщения, поближе к Петербургу и к центрам той деятельности, которая будет давать нам суще-

ствование. Что-нибудь хозяйственно-распорядительное, с хорошим жалованьем было бы для меня самым лучшим».

«Никольск, 29 июня 1866 года

Друг Людя. Григорий Евлампиевич мне пишет: «Людмиле Петровне посоветуйте пока не возвращаться, потому что жар стоит невыносимый и духота самая неприличная. Надо дождаться более умеренной температуры». Из Никольска я не могу судить о петербургской духоте и потому от себя не прибавляю никаких соображений.

Второй том «Луча» должен был выйти около 20 июня. Но Благосветлов боится, что его конфискуют, ибо происходит давно небывалое преследование книг. Печально!

Целый месяц я ничего не делал. Не мог. Теперь легче. Завтра сажусь писать по поводу Гризингера «Душевных болезней»».

«Никольск, 13 июля 1866 года

...В том положении, в котором нахожусь я, оставаться долго невозможно: нужно установить свое положение и найти прочное дело. Ради бога, спеши. К твоему приезду петербургские умы успокоятся. Будешь действовать *лично* и энергически — все сделаешь. Все мои мысли направлены только на то, чтобы избавиться от вологодских трущоб. Я точно на почтовой станции: ничего не хочется делать, все жду перемены. Будет печально, если придется повторить слова Козлова:

Она чего-то все ждала,
Не дождалась и умерла...»

«Никольск, 3 августа 1866 года

...Второй том «Луча» остановила цензура, и хотя нецензурного в нем ничего не найдено, но он будет предан суду. Ты спросишь — кто? — «Луч», и за то, что в нем оказались те же сотрудники, что были в «Русском слове». Вероятно, при этом встретилось то конфузное обстоятельство, что судьи станут в тупик, ибо ни одной статьей русского закона сотрудникам «Русского слова» не запрещено писать, а что не запрещено, то дозволено; как разъяснить недоразумение суда Главного управле-

бург! Устроив наши дела, ты бы могла, до зимы, доехать с удобством до Вологды, если не удастся устроить что лучшее. Посоветуйся с знающими людьми, а между прочим, с В. Матв. Лазаревским. Надя скажет, где его можно видеть. Он укажет тебе, когда и к кому удобнее обратиться в министерстве внутренних дел...»

«Никольск, 22 июня 1866 года

Друг Людя. Ты считаешь упадком духа то, что, по-моему, далекая предусмотрительность. «Разве люди, знающие хоть что-нибудь, умирали с голоду?» — спрашиваешь ты. Да, умирали. Умирали буквально. У меня примеры на глазах, что люди в Устюге, городе с восьмью с половиной тысячами жителей, не могут найти себе никакого занятия и, получая шесть рублей казенного содержания в месяц, ходят исхудалые, как тени. Ты говоришь — давать уроки; но уроки давать строго запрещено. И, зная Никольск, я вместе с тем знаю, что нам существовать в нем местными средствами совершенно невозможно. Так как Благосветлов был арестован, а ты в Женеве, то я считал все свои источники существования закрытыми.

Я писал тебе свою программу. Самое приятное было бы бросить журнальную работу и приняться за какое-нибудь занятие распорядительного характера. В Петербурге ты можешь это сообразить, уладить и устроить. Не забывай того, что крепость унесла у меня на десять лет силы и здоровья.

Возвращайся поскорее и устраивай, ибо только то и будет, что сделаешь ты. Мне же из Никольска делать ничего нельзя: не к кому писать, некого просить — никто не слушает.

На литературу плоха надежда, да и смотрю на нее как на крайнее средство и до получения письма от Благосветлова, который обещал писать (но не пишет), я ничего сказать не могу.

Помни, что в Никольске нам жить нельзя: или в губернии, ближайшей к Петербургу, по железной дороге, или на Волге, или в Вологде, или же в ближайших к ней уездных городах — Кадникове или Грязовце. Одним словом, на путях сообщения, поближе к Петербургу и к центрам той деятельности, которая будет давать нам суще-

ствование. Что-нибудь хозяйственно-распорядительное, с хорошим жалованьем было бы для меня самым лучшим».

«Никольск, 29 июня 1866 года

Друг Людя. Григорий Евлампиевич мне пишет: «Людмиле Петровне посоветуйте пока не возвращаться, потому что жар стоит невыносимый и духота самая неприличная. Надо дождаться более умеренной температуры». Из Никольска я не могу судить о петербургской духоте и потому от себя не прибавляю никаких соображений.

Второй том «Луча» должен был выйти около 20 июня. Но Благосветлов боится, что его конфискуют, ибо происходит давно небывалое преследование книг. Печально!

Целый месяц я ничего не делал. Не мог. Теперь легче. Завтра сажусь писать по поводу Гризингера «Душевных болезней»».

«Никольск, 13 июля 1866 года

...В том положении, в котором нахожусь я, оставаться долго невозможно: нужно установить свое положение и найти прочное дело. Ради бога, спеши. К твоему приезду петербургские умы успокоятся. Будешь действовать *лично* и энергически — все сделаешь. Все мои мысли направлены только на то, чтобы избавиться от вологодских трущоб. Я точно на почтовой станции: ничего не хочется делать, все жду перемены. Будет печально, если придется повторить слова Козлова:

Она чего-то все ждала,
Не дождалась и умерла...»

«Никольск, 3 августа 1866 года

...Второй том «Луча» остановила цензура, и хотя нецензурного в нем ничего не найдено, но он будет предан суду. Ты спросишь — кто? — «Луч», и за то, что в нем оказались те же сотрудники, что были в «Русском слове». Вероятно, при этом встретилось то конфузное обстоятельство, что судьи станут в тупик, ибо ни одной статьей русского закона сотрудникам «Русского слова» не запрещено писать, а что не запрещено, то дозволено; как разъяснить недоразумение суда Главного управле-

ния по делам печати, решить не берусь; но боюсь какого-нибудь административного софизма. Ведь Благосветлову запретили же писать, иметь книжный магазин и типографию. Могут повторить опять историю Кулиша. А впрочем, «не будем опережать событий», как выражался не знаю кто. Подождем, посмотрим и увидим.

Хлопочи о том, чтобы нам не быть в Вологодской губернии. Если уж никак нельзя иначе, то бей на Вологду. Если и этого нельзя, то Грязовец. Последний зависит от губернатора. Не забудь, что для полного успеха у губернатора нужно переговорить *предварительно* с правителем его канцелярии — Павел Васильевич Тишин. Дело уладится. Будет нужно — укажу еще людей из вологжан, которые помогут тебе в хлопотах.

До свиданья, мой дорогой друг. Уж как мне хочется тебя увидеть! Вот будет весело. Холера в Петербурге ослабевает; но все-таки запасись средствами.

Целую тебя крепко».

«Никольск, 10 августа 1866 года

Друг Людя. Благосветлов пишет мне: «Да, вы уже были бы в нем (то есть в Петербурге), если бы всем нам не напакостило несчастное 4 апреля. Я положительно знаю, что мы жили бы под одним градусом и работали бы, может быть, на одной улице». Конечно, Благосветлову незачем бы писать *положительно,* если бы это была неправда. Известие это укрепляет меня еще более в надежде на успех твоих хлопот. Кончился бы только поскорее суд над Каракозовым. Вероятие будет еще сильнее.

Ты сама, с самого же начала, будешь иметь возможность определить степень благоприятности настроения петербургских официальных умов. И чем больше благоприятности, тем ближе забирай к Петербургу. При maximum'е благоприятности хлопочи о дозволении жить в Подолье или, вернее,— в Шальдихе. При minimum'е — Самара. О Вологде проси только при отсутствии всякой благоприятности. Вообще проси больше и упирай на то, что ты и я больные люди. Пусть посмотрят в моем деле; там есть несколько медицинских свидетельств, правдивость которых стоит вне всякого сомнения. Вологодская губерния то же, что тундра. Если меня ссылали, то, ко-

нечно, только для того, чтобы сделать безвредным, а не на преждевременную смерть. Я писал Долгорукову, что если бы закон требовал моей смерти, то суд приговорил бы меня не к ссылке, а к смертной казни. Неужели это для них не будет понятно?

За личное оскорбление я вызываю тебя на дуэль. Ты мне пишешь, что я опять ною и скриплю. Так как я скрипеть перестал уже давно и главнейше с тех пор, когда ты написала, что возвращаешься в Россию, то в твоих словах я вижу единственно злой умысел нанести мне обиду. Но как, с другой стороны, дуэль, во всяком случае, средство опасное и запрещенное, то я предлагаю тебе мир. Поцелуемся...»

«Никольск, 18 сентября 1866 года

...Посылаю тебе письмо к Шувалову.

Если не найдешь возможным вручить его лично, пошли по почте. Боюсь, что я ошибся в имени. Узнай, так ли.

Самое лучшее, если отдашь лично. Получила бы, по крайней мере, прямой ответ. Не пожалей дня и поезжай к Шувалову.

Может быть, тебе пригодятся следующие сведения. Пусти их в разговоре в ход, если окажется уместным и поведет к пользе. Генерал-аудиториат обвинил меня:

1) В сношении с государственным преступником Михайловым. Но я был с ним в сношениях, то есть, яснее, *виделся* и в Петербурге, с разрешения князя Суворова; в Сибири виделся тоже с разрешения начальства. Отчего же дозволенное в Петербурге не дозволено в Сибири?

2) Что «вел переписку с разжалованным рядовым В. Костомаровым». Но, во-первых, переписку с рядовыми у нас не запрещено вести; а во-вторых, я *никогда* не вел переписки с *рядовым* Костомаровым, а писал к нему всего одно письмо из Наугейма, когда Костомаров был еще офицером. Пусть справятся в деле. Тут очевидная ошибка.

3) Что «имею вредный образ мыслей, доказывающийся не пропущенной цензурой статьей». Сам по себе образ мыслей, не проявляющийся никаким внешним актом, не может составлять вины; а если обвинять за

статьи не цензурные, то есть ли хотя один литератор, статьи которого не запрещались бы иногда цензурой? Вот если бы статья явилась в печати — дело другое. Да и то, при существовании цензуры, виноват не автор.

Все три обвинительных пункта генерал-аудиториата я считаю недоразумением. Если бы судили меня нынче гласным судом, то меня бы оправдали. Все это дает мне право рассчитывать, что если Шувалов убедится представленными тобою доводами, то я могу надеяться даже на возвращение в Петербург. Все зависит от искусства ходатая. Не может ли быть полезен Суворов? Разузнай и сделай все, что нужно и можно.

А нельзя ли добыть разрешения приехать мне в Петербург хотя на три дня? Если бы это удалось, то я почти уверен, что успел бы убедить людей власти, что приговор генерал-аудиториата заключает в себе преувеличенную строгость и вовсе не применяется к 32 ст. дисциплинарных взысканий, на которой он основан».

«Никольск, 20 сентября 1866 года

Друг Людя. Жизнью управляет закон противоречий — акций и реакций. Когда, обольщаясь надеждой, я рисую будущее розовыми красками, ты преподносишь мне тотчас же стакан холодной воды. Когда Евграф Егорович начинает малевать все черными красками, ты пишешь, что они преувеличивают и глядят на все слишком мрачно. Но стакан холодной воды меня не успокоивает, и я не могу и не хочу думать иначе, пока еще есть возможность. Я знаю, что настоящее мрачно, но также думаю, что мир не дом же умалишенных. Вот почему я возлагаю великие надежды на твой приезд в Петербург и, основываясь на своем опыте, то есть, что я достигал всегда того, к чему стремился, полагаю, что если ты не устранишь всех препятствий, то, по крайней мере, устроишь многое к тому, чтобы берег не виделся в таком густом тумане. Если бы я не был связан по рукам и по ногам, то, конечно, поберег бы твой труд и твои хлопоты, но если невозможно ничего одному, то нужно делать другому, ибо иначе утонешь и ты.

Я получил от Григория Евлампиевича письмо, которое подействовало на меня так же, как известие о запрещении «Русского слова». Пишешь, пишешь, сидишь

с утра до вечера и только для того, чтобы цензура запрещала. Из сорока восьми листов, набранных для первой книжки «Дела», двадцать два запрещены. Подумаешь, что авторы пишут какие-нибудь ужасы. Ничего не бывало. У меня было заготовлено несколько статей. Одни из них запрещены безусловно, о других идут цензурные толки и рассуждения в комитете. Такое заглавие, как «учение о нравственности», считается нецензурным, и необходимо придумывать более приличное. Шульгина предостерегают, чтобы в его журнале не участвовали сотрудники «Русского слова». Что же им делать? Моих статей, которые пробовали провести в первую книжку, пропало на шестьсот целковых. С этим я бы еще помирился. Но у меня пропало время. Я рассчитывал, что напишу еще три статьи, и тогда на весь нынешний год комплект статей выполнен и я могу заняться месяц или два другой работой, а между прочим. и Шлоссером. Теперь начинай снова. Лучше бы я провалялся все время на диване, задрав ноги в потолок, по крайней мере, отдохнул бы. Ведь это камень Сизифа. Я не плачу и не охаю потому, что

Безумный плачет лишь от бедства,
А умный ищет средства,
Как делом горю пособить.

Но нахожу; что такой порядок жизни глуп, и нельзя же тратить свои силы без всякого полезного результата. Я знаю, что сообразить все и выйти на дорогу дело трудное; но знаю также, что тому, кто в Петербурге, дело это легче, чем тому, кто в Никольске. Лазаревский назначен теперь членом совета министра внутренних дел и Главного управления по делам печати. Может, и он будет в состоянии сделать какое-нибудь полезное указание. Имей его в виду.

Что за журнал «Женский вестник»? Благовещенский приглашает меня в сотрудники, но не сообщил своего адреса. Право, точно путник на распутье: миллионы вопросов,— и ни на один нет ответа. При моем активном характере это особенно тяжело. Полагая, что этим письмом я исчерпал до конца вопросы, касающиеся нас, я ставлю окончательную точку и буду ждать теперь ответов от тебя.

С нынешней почтой письма от тебя не было.

Да, с твоим приездом кончится и другое мое неустройство: у меня пропадает почти все утро не то чтобы на хозяйство, которым я вовсе не занимаюсь, а так куда-то. То помешает Коля, то нужно сменить няню, то рассуждать с кухаркой, то какая-нибудь непредвиденная помеха.

Никольские жители благодарят тебя за желание провести к ним телеграф. До сих пор к ним не было даже прямой дороги из Вологды, и приходится делать крюк в двести верст на Устюг.

Говорят, в Вологду будет назначен вместо Хоминского губернатором генерал-майор Ушаков. Я уверен, что Хоминский перевел бы меня в другой город, но не знаю, сделает ли это Ушаков. А потому будет лучше, если все дела ты покончишь в Петербурге».

«Никольск, 30 сентября 1866 года

Друг Людя. Ты хочешь уверить меня, что меня не переведут в другую губернию. Вероятно, тебе неизвестно, что вследствие моего письма к государю обо мне собирались справки от губернатора — это было в феврале — и дело остановилось только по случаю 4 апреля. Теперь все подобные дела должны получить движение, если нет никакой прикосновенности к делам, производящимся в верховном уголовном суде, тем более что по случаю приезда принцессы и свадьбы наследника (когда — не знаю) собираются уже справки от министерства.

Тебе нет никакого расчета ехать прямо в Вологду и затем уже в Петербург, чтобы хлопотать о моем переводе. Если ты обделаешь все сначала в Питере и тогда поедешь ко мне, то очевидно, что у тебя останутся деньги от одного пути. Я не понимаю твоего расчета.

...По высоте петербургского барометра ты увидишь сама, о чем просить возможно. Нужно необходимо видеться тебе лично с Шуваловым, Мезенцевым и даже посоветоваться с Кранцем. Нельзя ли пустить предварительно камуфлет через Тучкова?

Я знаю, что все дела устроятся, лишь бы ты только захотела хлопотать.

Не забудь переговорить и с Благосветловым об устройстве литературно-денежных дел...»

«Никольск, 30 ноября 1866 года

...*Важное дело.* Между мною и Григорием Евлампиевичем есть какие-то, непонятные для меня, недоразумения. Я не люблю неясных, замаскированных отношений. А что есть что-то, я заключаю из того, что он перестал мне писать и, несмотря на мои многократные просьбы о высылке книг, не высылает ничего.

Постарайся увидеться лично с ним и переговори. Статьи я высылал первое время на его имя, потому что он не сообщил мне адреса «Дела», я же *первый* просил его об этом.

Если не нужно мое сотрудничество, пусть мне пишут прямо; по крайней мере, я приму заблаговременно меры, чтобы не остаться без работы; но вымораживать меня, как таракана, не высылая никаких материалов для работы, может быть, и очень деликатно с дипломатической точки зрения, но ведь я плохой дипломат и люблю идти прямо, ибо короче. Разъясни этот вопрос, и если мои подозрения не оправдываются, то распорядись, чтобы выслали ворох книг, русских и иностранных.

В воскресенье 4 декабря высылаю последнюю статью и затем складываю руки, ибо решительно нет материала. И эту статью уже я выжимал из своей утробы. Так работать нельзя. Ты спрашиваешь, получил ли я от Благосветлова сто рублей? Получил 1 августа, при его письме от 18 июля — и только. Затем в письме без числа (должно быть, в начале октября)...

......Не думал ли Григорий Евлампиевич, что я не желаю работать с ним? Этой мысли у меня никогда не было. Тут или сплетни, или собственные ошибочные толкования и соображения подозрительных и недоверчивых людей...

Разъясни все и успокой меня приведением отношений в ясность...»

«Никольск, 16 декабря 1866 года

...Сообщи редакции «Дела», что с сегодняшней почтой я высылаю «Потерянный труд» и что я очень ценю эту статью, потому что мне стоило большого труда выискивать цифры, выводить средние числа и проценты.

Говорю не к тому, что хочу высшую плату, а к тому, что считаю статью хорошей и, так сказать, желаю, чтобы меня похвалили. Претензия простительная...»

«Кадников, 27 декабря 1866 года

Вот вопрос: обязательна Ветлуга или нет? Разузнай наверное.

Именно безумие оставлять Кадников для Ветлуги. Первый от Вологды сорок две версты,— значит, доктора рядом; вторая от Костромы больше трехсот верст. Значит, нужно оставаться в Кадникове во что бы то ни стало; если невозможно лучшее. Лишь бы не потревожили из Петербурга, а вологодские власти оставят здесь...»

«Кадников, 7 января 1867 года

Друг Людя. Я не устал, а изнемог. Нет, уже стар; хлопоты и движение мне не под силу. В две недели едва нашел квартиру, и то уступил сам жилец. Бывали дни, когда я бегал за квартирой с утра до девяти часов вечера. Описывать все — нужно три печатных листа. Нервы натянулись, как струны; раздражаюсь теперь всякою мелочью; просто ад. Жду тебя, как ангела-успокоителя. Нужно переезжать — нет кухарки. Новая беда... Узнай от столоначальника секретного стола, насколько мы можем считать свое водворение в Кадникове прочным. Я все боюсь, чтобы не потурили нас в Ветлугу».

Я в эти три года жила в Швейцарии, ездила лечиться в Наугейм и с осени до января обила в Петербурге все пороги, ездивши хлопотать по делам о переводе Николая Васильевича куда-нибудь в более благоприятный город.

Должно быть в 1863 или 1864 году в Петербурге стали устраивать общежития под громким названием коммун.

Одну из таких коммун устроил беллетрист Василий Алексеевич Слепцов. Это был человек замечательной

красоты. Когда он заходил куда-нибудь, то сейчас же было видно, что человек этот сознает, что он так красив. Зайцев говорил про него, что «Слепцов несет свою красоту...» Но при своей красоте Слепцов был умен и талантлив. В это лето у нас в деревне гостили Зайцевы, а ему очень хотелось заполучить в коммуну Зайцеву-старуху с дочерью и сыном-писателем, чтобы придать более почтенный вид общежитию. Чтобы убедить Зайцевых, и Слепцов приехал тоже к нам в деревню. Но убедить Зайцевых ему не удалось.

В этой же коммуне жил такой почтенный и немолодой уже человек, как Ап. Головачев.

Идея таких общежитий, с общей работой, не привилась, и все они рассыпались. Предполагалось работу — ну, хоть бы переводную — брать не отдельному лицу, а коммуне под общей ответственностью. Но, кажется, и этот план не удался. Вообще, сколько я помню, коммуны в первый же год рассыпались.

Перед отъездом в Кадников у меня часто бывал Зайцев, и с ним иногда приезжал Соколов. Кроме постоянных неудовольствий на Благосветлова, они страшно негодовали на цензуру.

Выпущенный из крепости Писарев тоже приехал ко мне, и, когда зашла речь о том, что его желали бы выкурить из литературы, он вскочил с таким азартом, что головой ударился о лампу, висевшую над столом.

— Вот эта лампа скорее их меня уничтожит! — сказал Писарев, потирая ушибленное темя.

Об этом происшествии мне пришлось вспомнить на следующий же день. Прямо от Благосветлова ко мне приехал Зайцев, и расстроенный и озабоченный.

— Вы ничего не заметили вчера в Писареве? — спросил он.

— Решительно ничего. А вы?

— И я тоже ничего не заметил.

— А что случилось?

— Ведь он с ума сошел.

«Неужели от лампы», — подумала я.

Сумасшествие его проявилось, кроме несвязного вздора, который он начал говорить, и в том, что он стал раздеваться при всех. Благосветлов одел его и увез к матери. Это был острый припадок помешательства, от которого он скоро поправился.

В Кадникове жизнь наша шла спокойно, однообразно и страшно скучно. Исправником там был человек без всякого образования, выслужившийся из почтальонов, и вот такой-то человек должен был цензуровать статьи Николая Васильевича перед отправкой их в редакцию. Те вечера, в которые Николай Васильевич ходил к исправнику читать свои статьи, походили на операционные сеансы. Я ждала возвращения уже совершенно обессиленного, больного человека. Каждая фраза в статьях казалась исправнику подозрительной, или лучше сказать, что он не пропускал того, чего не понимал, а он не понимал очень многого, и Николай Васильевич часа три объяснял ему, что статья эта пойдет в цензуру и что цензор не пропустит ничего мало-мальски подозрительного. Такой трехчасовой разговор с почтальоном мог уложить и более здорового, чем Шелгунов, человека.

Но вдруг ссыльный страшно поднялся в глазах уездного общества, и случилось это вот вследствие чего: князь Суворов проездом остановился в Кадникове. Все начальство ему являлось, а Николай Васильевич пошел к нему в виде частного лица. Жена его была подругой по Смольному монастырю с моей матерью, и они остались близкими до самой смерти и постоянно виделись. В ту минуту как Николай Васильевич вошел в зал, где представлялось уездное начальство, и Суворов заметил его, он подошел к нему, расцеловался с ним и, обняв его, увел в гостиную, где и сел, чтобы хорошенько поговорить. После так явно оказанного предпочтения перед всеми акции Николая Васильевича сильно поднялись, и его почему-то перевели в губернский город Вологду. В Вологде мы повели даже светскую жизнь.

В Кадникове мы прожили менее года; и к весне, когда еще не стаял снег, к нам приехал Лавров с своей старушкой матерью.

Шумное веселье нашей вологодской жизни, в сущности, вовсе не было весельем, и Николай Васильевич по поводу его очень метко приводил стих из оперы «Аскольдова могила»:

От тоски мы их поем.

Действительно, многое, очень многое, что не делалось бы на свободе, делалось тут от тоски.

От Писарева мы оба получили письмо, в котором он говорил нам о своем полном разрыве с Благосветловым. Неудовольствие копилось уже давно, а тут подвернулась женщина. Писарев требовал, чтобы Благосветлов извинился перед ней за какую-то сделанную им невежливость, в противном случае он грозил, что выйдет из журнала. Благосветлов же писал Николаю Васильевичу, что не может дорожить сотрудником, который из-за таких пустяков бросает журнал.

Мне пришлось поехать ненадолго в Петербург, и в это время я получила письмо от Николая Васильевича.

«<Вологда,> 29 января <1868 года>

Дети здоровы. Я пишу и читаю. В сей момент Розалия убежала в гости. На дворе тепло. В квартире у нас холодно. Между прислугой царствует согласие.

Посылаю письмо к Зайцеву и Писареву. Начинай переговоры с ними тогда, когда убедишь Благосветлова. Нам необходим орган вроде «Русского слова» для юного поколения. Старые деятели отжили. Они подавляют голыми фактами, а юношеству нужны не факты, а объяснения их, им нужны идеи. «Дело» могло бы явиться таким журналом, но лишь при участии Писарева. Только он один владеет талантом изложения. Если увидишь податливость, напирай в упор и устрой примирение. О новых сотрудниках пусть при тебе же напечатают объявление. Это важно.

Какие мои статьи будут напечатаны во второй книжке?

Статьи ненужные возьми и привези сюда. Достань 2 кн. «Луча». Прощай. Целую тебя.

P. S. Сейчас я проглядывал библиографию Ткачева. Думаю, едва ли удастся примирение «Дела» с Зайцевым, ибо его крепко ругают. При неудаче переговори с Благосветловым. Письмо мое Зайцеву не отдавай. Впрочем, уполномочиваю тебя поступить, как велит благоразумие».

Благосветлов, Григорий Евлампиевич был умный, но очень неприятный человек. Можно сказать, что у него не было близких людей, и никто из коротко знавших

его людей не любил его. А он между тем понимал, что сотрудники должны были видеться между собою, и потому иногда собирал к себе кое-кого на обед и потом назначил даже фиксы. Как хозяин он был мил, потому что хлебосольнее его трудно было представить человека. Покойный поэт Минаев, любивший выпить, не раз скандалил на этих вечерах. Только что он начинал хмелеть, в нем являлось тотчас же желание убедить Благосветлова, что все его благосостояние составлено сотрудниками и потому он, как сотрудник, мог делать в квартире все, что ему угодно.

При мне раз спор об этом зашел так далеко, что Минаев бросился на Благосветлова, а тот забежал за карточный стол с играющими, и враждующие стороны стали бегать вокруг стола, но наконец Минаев ухватил Благосветлова за грудь и, встряхивая его, кричал:

— Все наше! все наше!

Играющие соскочили и выручили редактора.

Несмотря на свое хлебосольство, Благосветлов был скуп до болезненности.

Я лично вела с ним счеты очень аккуратно и об авансах даже никогда и не заикалась, но раза два мне случалось бывать у него, уже по выходе книги вечером, и я ему говорила:

— Все равно, дайте мне теперь деньги, чем присылать поутру.

— Ни за что.— Он соглашался лучше прислать в шесть часов утра, хотя и сознавался, что деньги у него дома.

Минаев в таких случаях говорил:

— Так не даешь?

— Не даю,— отвечал Благосветлов.

Минаев прямо шел к окну и грозил сорвать занавеску.

Это мне рассказывал сам Благосветлов.

— И вы дали ему? — спросила я.

— Дал, конечно. Ведь занавеска стоит денег,— отвечал он.

В Вологде жил в то время сосланный туда же Василий Васильевич Берви, человек твердых принципов, не допускавший никаких уступок; у него была такая же

чудная принципиальная жена Гермиона Ивановна. Берви писал в том же благосветловском «Деле» под псевдонимом Флеровского. Они не вели такой светской жизни, как мы, и круг знакомых их был очень ограничен.

В эту зиму к нам пришел очень молодой человек и познакомился с Николаем Васильевичем. Это был Павел Владимирович Засодимский. Он уроженец Вологды и жил в ней. Он привез письмо от Благосветлова, и тут мы впервые с ним познакомились. Впоследствии я встречалась с ним у Благосветлова и близко сошлась и с ним, и с его женою.

Как о Берви, так и о Засодимском я совсем не могу писать. В то время как я знала Берви и жену его, я была проникнута глубоким уважением к этим принципиальным людям, и уважение это сохранилось в моей душе. А Засодимских я, кроме того, нежно люблю. Я знаю, что если бы им предложили поступиться своими убеждениями и зажить привольно или же в противном случае лишиться своего теперешнего далеко не обеспеченного существования, то ни тот, ни другая даже и не задумались бы над этим.

Из последующих писем Николая Васильевича видно, что я снова начала хлопотать о повышении его в чинах, как он называл свои переезды в более хорошие города.

«<Вологда,> 16 июня <1868 года>

Друг Людя. Благодарю тебя за хлопоты о моем переводе. Посмотрим, что-то будет недели через три.

Обидело меня, что́ ты говорила обо мне с Благосветловым. Есть только одно основание для умственной оценки человека: прогрессивно или не прогрессивно он думает. Нравственная усталость определяется поворотом мысли назад.

Письмо Благосветлова меня раздражило против тебя... «Сейчас я проводил Людмилу Петровну,— пишет он мне,— проговорив с нею часа полтора. Кажется, разговор наш был самый веселый, а по уходе ее мне сделалось ужасно грустно». Одна фраза, одно слово *«устал он»* (подчеркнуто в подлиннике) произвело на меня самое скверное впечатление... Еще более утвердило меня в мысли, что ты говорила с Благосветловым что-то

такое, следующая его фраза: ««Старый вопрос» посылаю вам. Зачем вы берете его назад? *Будьте искренни со мною»*.

«<Вологда,> 23 июня <1868 года>

Я очень рад, что дело выяснилось. Не оправдывая Благосветлова, который с больной головы валил на здоровую, я все-таки очень ему благодарен. Обвинить тебя было с моей стороны ошибкой, ибо если бы «он устал» сказала и ты, то, во-первых, со стороны виднее, а во-вторых, и что самое главное, это замечание заставляет меня подумать о будущем теперь же, ибо, когда оно наступит, думать будет поздно».

«<Вологда,> 22 июля <1868 года>

Смешит меня Благосветлов: он поет мне заупокойную и в то же время советует тебе не писать мне об отказе в переводе! Отказ объявлен мне официально.

Берви перевели в Тверь, и послезавтра он уезжает. Как кажется, министр внутренних дел распоряжается независимо от III Отделения. Но, впрочем, попытайся, и если есть возможность, то уж лучше бы в Тверь, если не в деревню. Ярославль меня уже не пленяет, и путь Берви нравится больше.

Напрасно ты молчала, когда Благосветлов говорил обо мне. Он точно выпытывает и вызывает тебя на откровенность. Я еще никогда не писал таких зрелых статей, как нынешнее лето. Но изменились обстоятельства, и изменились читатели. Следует ли из этого, что упали таланты публицистов?

Твоя мысль о детской истории совершенно правильная, и я принимаю со всею готовностью твое предложение. Составляй пробные листы и присылай. Ты думаешь начать с римской? Пожалуй, и так, но и древнейшая любопытна, только мне казалось, что древнейшую лучше в виде очерков или картин: будет занимательнее, ибо возможен занимательный выбор. Не начать ли историей Китая? Я бы думал так: предпринять целую серию детских изданий под одним общим названием: например, «Библиотека подрастающего поколения» или «Библиотека для молодых читателей»; и затем — отдельные заглавия: древняя история, римский мир, греческий мир

и т. д. Далее — и я бы писал охотно — думалось мне написать для детей политическую экономию под заглавием: «Очерки из истории труда» или вроде этого. Рассказ будет прост и занимателен, если писать тем приемом, как писал Адам Смит.

Если ты одобришь эту мысль, то вышли русский перевод Адама Смита, Мальтуса, «Историю открытий и изобретений» (издал, кажется, Вольф, а первый — Бибиков) и биографии Уатта, Стефенсона, Аркрайта, Адама Смита, Фультона и других. Согласишься, напишу подробнее».

«<Вологда,> 23 сентября <1868 года>

Друг Людя. Пожалуйста, дай моему письму такую же важность, как я ему даю.

Ты знаешь по личному опыту, что значит писать как в яму, не получая никаких известий. Подобная история повторяется со мною в сей момент. Григорий Евлампиевич нем, как рыба, я в таком безденежье, что через месяц приходится закладывать или продавать вещи.

Выручи меня из беды, и вот каким образом: если источник моих доходов прекратился, то устрой мне какое-нибудь получение и вышли немедленно деньги, но чтобы я мог их заработать и чтобы заблаговременно я мог перестроить свою жизнь по новому размеру.

Мне кажется, что от тревоги я сойду наконец с ума».

«<Вологда,> 3 октября <1868 года>

Друг Людя. К Благосветлову я пишу вместе с сим. Нужно улаживать дело. Если ты бываешь у Благосветлова, то поезжай, ибо письмо уже у него.

Михаил Федорович Негрескуло живет в деревне, в Лужском уезде. Имей это в виду и узнай, когда Негрескуло приедет в Петербург.

Жить в Вологде становится трудно, но как вырваться? Принимаю твой совет и пишу письма. Но все ли их переслать по почте или некоторые ты возьмешься представить лично? Ответь мне с первой почтой. Будешь ли действовать через Суворову?

Однако не обрадовали мы друг друга письмами, которыми только что обменялись. Мое от 23, а твое от 28

построены на одном камертоне. Я уже приходил в отчаяние. Но наконец-то со вчерашней почтой получил письмо от Благосветлова и деньги».

«<Вологда,> 10 октября <1868 года>

Никогда мне не была так тяжела ссылка, как нынче. Я потерял почву. Смотрю мрачно и безнадежно на будущее, и является апатия к настоящему.

Странное дело. Не получая от Благосветлова ответа на свои десять писем, я писал наконец к Шульгину и Ткачеву. Не получили ли они моих писем или не хотят ответить?»

«<Вологда,> 18 ноября <1868 года>

А уж как болит у меня сердце ожиданием. А все эта противная обольстительная надежда подсказывает какую-то перемену. Перемена мне эта необходима, я это чувствую как нельзя больше. С ума, конечно, не сойду, но впаду в апатию. Кстати о сумасшествии: 26 октября умер Гризингер в Берлине после продолжительной болезни на пятьдесят втором году жизни.

Заедает меня безденежье. Никогда еще я не был так беден, как в нынешнем году. Правда, у меня двадцать пять рублей расходов в месяц на других. Да нельзя иначе.

Не видишь ли ты Ткачева? Я писал к нему. Он не отвечает. Письмо он получил. Мне это обидно».

«<Вологда,> 9 декабря <1868 года>

Друг Людя. Я никогда не находился в таком позорном и унизительном положении, как нынче. Последние сто рублей мне высланы 9 октября. Я задолжал кругом.

Теперь у меня налицо ровно два рубля. Через три дня они выйдут, и мне даже занять не у кого. Придется обратиться к ростовщикам и заложить часы.

Я писал и телеграфировал. На письмо не отвечают, на телеграмму от 1 декабря получил 3 декабря ответ: «*На днях* получите деньги и подробное письмо. Извините. Продумайте для первой книжки получше что-нибудь». Слышишь — продумайте. Да я только и думаю о том, что мне делать. Две недели ровно не могу ни чи-

тать, ни писать. Мысли не там. Я никогда не лгал, а теперь учиться лгать поздно. Если я пишу Благосветлову, что его письма действуют на меня хорошо, то пишу это не для красного словца. Пишешь точно в пропасть. И такая история второй раз в нынешнем году! Пишу к Ткачеву, тоже молчит. Я ужасно озлился на Ткачева.

Ответ о деньгах — когда посланы и сколько — мне нужен по телеграфу. Может быть, у тебя найдется рубль. Если нет — попроси Благосветлова, если по расчету времени высланные мне деньги до меня еще не дошли: почта идет четыре дня.

Был я у Мерклина. Советует не проситься в Ярославль, а в поволжские города, начиная от Казани — вниз. Говорит, что непременно нужно хлопотать, иначе и умрешь в Вологде. Если мои дела пойдут как теперь, то я долго тянуть не стану. Такая жизнь невыносима. Я никогда не задумывался и не был рассеян, а теперь стал.

Отказ в переводе при безденежье и полном невнимании ко мне людей, с которыми я имею дела, прогнал даже мой сон. Я прежде спал, как сурок, теперь же ворочаюсь с боку на бок часов до двух, до трех. Хуже жизни не было».

«<Вологда,> 20 декабря <1868 года>

К рождеству мне нужно непременно отдать остальные долги, да и праздники требуют исключительных расходов.

Если ты найдешь возможность, объясни Благосветлову, не раздражая его, мои личные свойства: мне бы хотелось, чтобы он знал, что я никогда не лгу и не пишу того, чего нет или чего не думаю; что точность и верность слову считаю одной из первых добродетелей: что я педант в своих требованиях; что в ссылке жить скверно, что в Вологде у меня нет ни одного человека из денежных, к кому бы я мог обратиться, а к кому могу обратиться, у тех нет денег. Что по совокупности всех этих обстоятельств я и не приищу названия для того вожения за нос, которое позволял себе со мною Григорий Евлампиевич. Что я бы просил его на будущее время действовать со мною открыто и прямо. Ну, нет денег, так и напиши. Зачем прятаться

в дыру или финтить? И так тошно жить, а тут еще мучат и свои, нехорошо.

Потом, он пригласил меня писать «Внутреннее обозрение». Я послал две статьи, а он не поместил ни одной. Что же это значит? Так шутить нельзя. Нельзя заставлять работать на ветер. Наконец, мне хотелось бы знать, что получают остальные сотрудники за лист».

«<Вологда,> 13 января <1869 года>

Друг Людя. Я написал к тебе письмо 6 января с жалобой на безденежье и с поручением к Благосветлову. Но не послал, ибо пришла повестка — сначала обрадовался, а потом разочаровался.

Пять лет Благосветлов был со мною точен и правдив. Только теперь стали обнаруживаться факты противоположного свойства.

Впрочем, все это мелочи, и я остаюсь при своем прежнем взгляде на Григория Евлампиевича, основываясь, кроме моих личных взглядов, между прочим, и на отзывах о нем Писарева».

«<Вологда,> 31 января <1869 года>

Друг Людя. Пишу тебе коротенько, но зато тепло. Уж как я изболел в это время. И все причиной этот мучитель Благосветлов.

Я всегда был мучеником той мысли, что я никому не нужен. В Вологде я убеждаюсь в этом на каждом шагу, а тут еще свой лагерь сторонится».

«<Вологда,> 2 февраля <1869 года>

Если бы ты знала, как скучаю я! Начал было ходить в клуб и ужинать, но хуже тоска. И тоска с раскаянием: я считаю полнейшим развратом ложиться в два часа. Теперь все жду кукушки. Прощай, друг».

«<Вологда,> 4 февраля <1869 года>

Людя! Что ты со мной делаешь. Вместо письма прислала какую-то коротенькую телеграмму и затем ни гугу. Напиши свой разговор с Шуваловым. Сходи в

департамент полиции исполнительной (у Чернышева моста), спроси там начальника отделения и попроси его убедительно поспешить предписанием губернатору. Возьми число и номер. Опять упала душа. Точно ты поманила меня Новгородом и обманула. Продавать ли вещи? Вообще нам нужно списаться. Пиши скорее».

«<Вологда,> 28 февраля <1869 года>

Друг Людя. Благодарю тебя за участие. Посылаю тебе карточки — Коли и свою. Нервы у меня натянуты, как струны. Дай успокоиться, напишу много, ибо есть о чем».

«<Вологда,> 10 марта <1869 года>

Еду хоть к черту на кулички, лишь бы не оставаться дольше в Вологде.

Еду вдвоем с Колей, что, впрочем, очень неудобно, ибо придется быть няней, в чем я недостаточно опытен, да и руками не ловок.

Нужно устроить повыгоднее и поудобнее поездку.

Если все уладится, так как же мы увидимся в Москве? О дне выезда я буду телеграфировать. Ну, а дальше? Где остановиться и т. д. Сообразите, составьте план и напишите В. С.

Людя, почему ты меня пугаешь потерями сотен рублей? Какие-то намеки на отношения к Благосветлову. Что знаешь, напиши.

Если найдете удобнее для свидания, я готов в путь так, чтобы быть в Москве хоть в первый день святой. А Благосветлова увижу?

Кончил сегодня статью «О школьной грамотности». Статьей доволен потому же, почему довольна каждая женщина, когда родит. Уж каким красивым кажется ей ее ребенок.

Мне бы очень хотелось, чтобы статья эта была напечатана в апрельской книжке, ибо это вопрос, за который меня выругали в «Голосе» и не согласились (в вежливых выражениях) в «Новом времени». Следовательно, чем скорее ответ, тем лучше. А то и вопрос забудется.

Но на майскую книжку писать нечего. Нет решительно материала. Благосветлов хотел прислать книг, я

просил его об этом опять недавно; но ничего не высылает. Пожалуйста, попроси. Ему я уже боюсь писать часто, так и скажи».

«<Вологда,> 31 марта <1869 года>

Друг Людя. В нашей корреспонденции после оживления последнего времени наступила заминка. С моей стороны причины нет никакой. Принялся за статью и заленился на письма. Но жду, жду и жду писем от тебя, ибо Калуга засела у меня в сердце. Если оборвется всякая надежда, будет уже очень обидно.

У нас снег и вьюга. Тоска. Свистит в окна. И так мало оживления на улицах, а теперь летают только вороны».

«<Вологда,> 11 апреля <1869 года>

Намучили же меня разнообразные известия о переводе и ожидание, в котором я нахожусь до сих пор. Не то чтобы это мешало работать, работаю я теперь постарому, но я утратил устойчивое равновесие, как выражаются в физике. Я подобен выкорчеванному пню: лежит он хотя и на той же почве, но корней его в ней нет. Но ведь такая жизнь ху́же, чем на почтовой станции в тоскливом ожидании почтовых лошадей, когда все в разгоне».

«<Вологда,> 20 апреля <1869 года>

Дружок Людя. Уж я и не знаю, как благодарить тебя за хлопоты и беспокойство. Хотел написать, что целую, ну, да это какая благодарность!

Но только, странное дело, я вовсе не радуюсь, а не только безразличное, но скорее какое-то тоскливое, беспокойное чувство.

Зато Коля, когда я сказал ему, что едем в Калугу, пришел в козлиный восторг и стал прыгать. Я спрашиваю: «Чему ты радуешься?» — «Увижу Мишу и маму»,— ответил он мне. В этот вечер он усердно целовал свою галерею праотцев, или, вернее, фамильную галерею. Галерея эта — над его кроваткой портреты: твой, бабушки и мой».

Дом Шелгуновых в Подолье
Фотография 1965 г.

В Москве мы с Николаем Васильевичем съехались и вместе проехали в Калугу, где прямо наняли дачу, куда вскоре к нам приехал Благосветлов, а после него приехал Гайдебуров с женой.

Чтобы иметь постоянную переводную работу, надо всегда вертеться перед глазами, что никак невозможно, если человек живет в провинции, и потому осенью я уехала в Петербург и работала у Благосветлова.

«Калуга, 31 января 1870 года

Друг Людя. Что с Благосветловым, что он плачется? Уж не сходит ли с ума? У него нервы очень разбиты. Хотя у меня с Благосветловым порвалась прежняя нравственная связь, но если вы, господа, своими панегириками подливаете так усердно масло в огонь, да и компания «Недели» меня так пленяет, что я писал Гайдебурову, не надумается ли он расширить программу «Недели» и превратить ее с 1871 года в ежемесячный журнал. А нынешний год формировать состав сотрудников. Знаешь, что мне вчера сказали? Что, если из 1869 года отнять мои статьи, то в «Деле» читать нечего. Я не знал, как принять замечание — за комплимент или нет? Впрочем, говорил человек прямой.

Я послал в «Дело» статью против Каткова. Узнай мнение Благосветлова и пойдет ли она в феврале?»

«Калуга, 6 марта 1870 года

Людя, голубчик. Ты говоришь, что я пишу казенные письма. Я не знаю, что со мной делается. Я не знаю, чепуха это или не чепуха, смешно или не смешно, но мне оттого не легче. Сердце болит и ноет, например, сегодня, с утра, какое-то боязливое щемление, просто скверно. Во мне постоянно борются два встречных процесса — активный и пассивный. Первому я не могу дать воли, ибо я понимаю и свое положение, и... И вот напускаю я на себя пассивность и тогда начинаю мучиться. Но активность опять прорвется и позволяю себе говорить то, чего не следует, но что мне говорить позволяют. Ну какие тут писать письма? Сама ты это дело понимаешь. А вот ты бы доставила мне большое одолжение, если бы написала, какие вы делаете на мой счет предположения.

Только теперь разобрал, что ты пишешь не *казенные, а неясные*. Если бы я разобрал раньше, то, конечно, не так бы начал письмо. А теперь не взыщи. А впрочем, это начало объяснит то, что было не ясно. Но, с другой стороны, ты меня не обижай. Зачем ты смеешься, что я летаю. Ты небось никогда не летала! Или я, может быть, стар! Вот в этом-то моя и беда! Тело износилось, впрочем, не совсем, а перцу еще много, и я лезу на стену. Что же это я в самом деле несу какую-то дичь. Кому это нужно знать?»

«Калуга, 17 апреля 1870 года

Милый дружок мой Людя. Что ты падаешь духом? Что за страхи? Ах, как бы славно, если бы мы были вместе. Я все надеюсь увидеть тебя скоро. Лично для меня это совершенно необходимо. Я чувствую в себе полнейшую нравственную пустоту, до того, что не могу работать, ибо мне нечего сказать. Какая разница с Вологдой! Но и я-то глуп. Надо читать. Книги — лучшие друзья, когда нет налицо других».

«Калуга, 9 мая 1870 года

Какой же ты метафизик, друг Людя! Ты говоришь, что вопрос не в любви, а в предмете и что любящий сам и судья. Вот уж не ожидал таких рассуждений от реалиста! Любовь, как и красота, чувства субъективные. Судья любви и предмета любви тот, кто смотрит со стороны. Иначе Христиан Андреевич, просивший тебя выбрать ему невесту, был бы прав. Как ты думаешь, можно тебе назначить, кого ты должна любить?

Что Гайдебуровы не приедут — этому, пожалуй, я немножко и рад, ибо я полон теперь жизнью и вовсе — впрочем, пока — не нуждаюсь в возбуждении во мне энергии. Вот твой приезд — другое дело, я очень настойчиво желал бы даже, чтобы ты приехала. На сколько времени можешь ты приехать? Друг, приезжай непременно. Когда удобнее, сообрази сама. Я жалею теперь, что послал тебе два предыдущих письма. Ты забудь о них. Мы обо всем переговорим с тобою...

...Я постараюсь, чтобы ты была довольна этой поездкой и тебя тянуло бы сюда еще раз. Варшава мне так улыбнулась, что я тебе сказать не могу. Город европей-

ский, и я вообразил себя на его стогнах, ну, конечно, ты догадываешься, с кем. Зато Тверь — фи! Я помню Тверь, и ни один город не сидит так твердо в моей памяти. Тишина, безлюдье, мертвечина. Вот уж могила-то!

Но устраивай как знаешь, если не Варшава и не деревня.

Целую тебя крепко, крепко!..»

«Калуга, 15 мая 1870 года

Друг Людя. Более скверное состояние духа, как мое теперь, ты и представить себе не можешь. Так пусто, так пусто во мне, что и сказать не могу. Бросил бы все, отказался бы от всякой работы и валялся бы только на диване. Вот тут и пиши умные статьи. Странное, однако, дело — отчего те статьи, которые я сам считаю хорошими, другие считают слабыми. Например, «Глухая пора». А вот статья о Страхове (женский вопрос), пожалуй, понравится...

...Все бывало в нашей жизни; но старость, думаю, будет у нас мирная, дружная, хорошая. И как будто нельзя устроить жизнь, чтоб всем было хорошо? Я ведь сильно мечтаю, что Ольга Андреевна будет в Шальдихе. Писал ей все, не знаю, что ответит.

К Благосветлову я уже писал насчет работы тебе, и очень убедительно. Постарайся увидеться с ним и узнай, что и как...»

«<Калуга,> 25 августа 1870 года

Друг Людя. Какой скверный день! Видел во сне, что мы — ты, дети, я — ссылаемся в Сибирь и сидим в остроге; встал с головной болью; потом — плен Наполеона и, наконец, твое письмо от 21 августа.

Я объяснился с губернатором. Он представит меня в Новгород, с благоприятной аттестацией. Сегодня я пишу ему письмо с тем же существенным содержанием, как твои. Говорит, что и на словах и на письме аттестовал всегда хорошо. На словах, нынче с М. также говорил в мою пользу и вообще находит, что я держу себя осторожно.

Буду и через Смирнова, но он еще не приехал из Москвы. Я думаю, что этим ничего не испорчу; но если

есть ходатайство,— значит, и хорошая аттестация; а когда аттестация хороша — нет дурной.

Нет ли недоразумения или чтобы удобнее отказать тебе? Не понимаю. А между тем и до неприятных известий я снова начал чувствовать подавленность и беспокойство, чего при тебе не было...»

«Калуга, 11 ноября 1870 года

Я справедливо могу возгордиться своими литературными заслугами, ибо «Русский вестник» в июле и, *кажется,* августе или сентябре 1870 очень усердно меня ругает. Если случится — прочитай. Я оказываюсь нигилистом, чего я до сих пор не подозревал. Но я остался доволен статьей «Русского вестника», ибо она послужит мне для введения в статью о Писареве, которую я думаю приготовить для январской книжки...

...Получил из Саратовской губ. от неизвестной мне Аристовой хвалебное письмо за «Женское безделье». Сравнивает меня чуть не с Аполлоном Бельведерским...»

«Калуга, 25 ноября 1870 года

Друг Людя. Что это вы со мной сделали? За что этот подарок? У меня даже сжалось сердце... чем я вам отвечу? Отвечу, когда осуществится моя думушка. Есть ли надежда на перевод? Тверь, Новгород,— только бы ближе и чтобы жить вместе. Только об этом и мечтаю. Напиши, ради бога. Крепко целую тебя...»

«Калуга, 28 ноября 1870 года

Друг Людя. Очень обрадовался твоему письму, потому что мой светлый период опять кончился. Захандрил. Надежда на перевод заколебалась. Ведь я живу только этой надеждой! Потом я стал похварывать: все какое-то недомогание, то зубы, то глаз, то простуда.

Какой, в самом деле, лжец Благосветлов! Неужели ты так зависишь от него? Я могу еще зависеть, потому что меня не возьмут ни в один журнал; но для тебя открыта работа повсюду. Или нет этого повсюду? Я смотрю умиленно на Авдеева и Дудышкина. Мне кажется,

можно бы затеять журнал, только не замешивать в просьбе о разрешении имени Авдеева. Опять ушел год! Теперь поздно, и придется продолжать кабалу еще год, если только и на будущий что-нибудь выйдет.

В то время как, думая об Авдееве, я писал последнюю статью, он думал обо мне. Сегодня получил необычайного размера посылку с надписью: «Магаз. Черкесова, книги на 5 руб.». Конечно, я частью изумился, частью испугался. Оказалось in folio[1], в прекрасном фиолетовом переплете, с тиснениями и с напечатанным: «Сочинения М. В. Авдеева». В книге нашел надпись автора, заявляющего мне свое уважение. Конечно, я обрадовался: не зная Авдеева лично, я люблю его за свежесть.

Поблагодари Михаила Васильевича и скажи ему, что, если он думал обо мне 20 ноября, когда сделал надпись, я в ответ ему думал о нем от 20 до 24 ноября, когда писал «О раздумье»!

Хотелось бы мне писать по поводу Авдеева, но удобно ли в «Деле», где он печатает? Лично я думаю, что это не важно, но что скажет Благосветлов, потому что писать на ветер мне бы не хотелось.

Если ты видишься с Благосветловым, спроси его. У нас, значит, пойдет ряд статей по женскому вопросу, ибо на январь я пишу по поводу Ожигиной («Своим путем») и «Алины- Али»».

«Калуга, 17 декабря 1870 года

Ну я наконец-то доволен собой. Статья о Писареве, которую я посылаю сегодня,— первая статья, после которой я могу сказать, что могу писать. Я бросил перчатку молодому поколению за Писарева. Вижу, какой поднимется вой. Я восстановляю равновесие; ну и не особенно мягко. Впрочем, чего же я спешу. Прочитаете и сами будете судить...»

«Калуга, 19 декабря 1870 года

...Настаивай энергично на журнале. Как это Евдокимов, имея перед глазами Благосветлова, не разобьет лоб, чтобы иметь подобную же выгоду! «Дело»

[1] в одну вторую бумажного листа.

в 1871 году пойдет лучше и все будет идти в гору. Еще осенью я писал тебе об этом. Эх вы! С 1871 года могло бы быть у нас свое дело. Теперь ничего не поделаешь, и с марта начинается расчет. Но какой же я могу быть собственник, когда у меня нет ни гроша. Я пошел бы охотнее в редакторы и в сотрудники, но, конечно, на более выгодных условиях, чем у Благосветлова. Если я не самообольщаюсь, то со статьей о Писареве (на январь и если пропустит цензура) я заберу силу. Это первая моя статья с отвагой. Пожалуйста, напиши мне, что ты слышала о моей деятельности за 70-й год. Хотя отзыв Авдеева. Это мне важно знать для того, чтобы определить, как держать себя в переговорах».

В Калуге я прожила затем безвыездно три года. Переводов, как я уже писала, достать было нельзя, и потому я принялась за другой заработок, а именно — стала давать уроки музыки. В первую же зиму я достала их массу, так что по целым дням бегала по урокам. В Калуге у нас были очень близкие знакомые — Языковы и Кавтарадзе. Языков был несколько причастен к литературе тем, что был действительным другом Белинского и знал коротко весь литературный кружок того времени. Это был почтенный, очень образованный старик, в семье которого мы были как родные.

Но с товарищем прокурора Кавтарадзе мы были еще ближе. Это были действительные наши друзья, с которыми мы виделись постоянно. Николай Васильевич в те времена еще был человеком с очень горячим характером и очень часто ссорился с Языковой, толстой и почтенной особой. Они, бывало, даже доходили до того, что поругаются и Николай Васильевич уйдет, говоря:

— Никогда нога моя тут больше не будет.

И затем, спустя некоторое время, то есть почти что на другой же день, становятся опять друзьями.

Не помню, что такое случилось, но меня в один день собрали в путь, и я уехала в Петербург хлопотать о переводе в какой-нибудь лучший город. Николай Васильевич, естественно, страшно волновался, что видно по его письмам.

<Калуга,> 25 января 1874 года

Друг Людя. В «Московских ведомостях» телеграмма от 22-го о высочайшем повелении об облегчении участи. В том же виде, как писали и в «Новом времени». Если известие несомненно, то начнется переписка, разъяснения и представления губернаторов. Не меньше месяца. Не поможет ли твое личное присутствие, чтобы миновать эту длинную процедуру? Губернаторская аттестация к 1 января уже в Петербурге. Баранова тоже. Кроме того, еще в марте или апреле прошедшего года Баранов представлял III Отделению, что полагает совсем снять с меня надзор. Наконец увольнение меня в Петербург — все это, мне кажется, слишком говорит в мою пользу, чтобы делать новые запросы губернатору и жандарму. Воздействуй, чтобы III Отделение сообщило прямо департаменту полиции исполнительной предписание сюда. Мне кажется это возможным, если захотят. Проси о снятии надзора совсем. А где жить?»

<Калуга,> 2 февраля 1874 года

Голубушка Людя, а мне кажется, что Петербург тебя обманул и что тебе даже скучно.

А вот какое дело ты мне обделай, но *непременно.* Сегодня я высылаю Благосветлову «Попытки русского сознания». Статья вторая, а первая должна быть в январской книжке. Там ли она или Благосветлов не поместил? Потом, он мне пишет, что должен был пожертвовать в ней «Сперанским». Мне это больно не потому, что пропал целый лист, а потому, что «Сперанский» — лучшая глава статьи, что в ней я говорю то, чего о Сперанском не говорили. Посылая сегодня вторую статью (не забудь: «Попытки русского сознания»), я бы желал, чтобы она была помещена *вся* — больше *трех* листов ни за что не составит. Мне важны не три листа, а полнота статьи; если Благосветлов ее разобьет на две, то положительно в ущерб цельности впечатления на мысль и отнимет от статьи силу. Итак, уладь. Возьми с него честное слово, или как там делается, но чтобы статья явилась *вся.* Сокращения домашней цензуры дадут ему возможность сделать ее короче. Но пусть *выковыривает* заведо-

мо не цензурные места, а не уродует ее и не *истребляет* последовательности.

При сохранении целости позволяю выставить мое имя, а иначе *ни за что*».

Хлопоты мои увенчались успехом: Николая Васильевича перевели в Новгород и позволили приехать в Петербург посоветоваться с врачами. Я проехала прямо в Новгород, наняла там квартиру и приготовила все для приезда. В Новгороде мы прожили что-то около года с небольшим, и затем Николая Васильевича перевели в Выборг, я же переехала совсем в Петербург, где дети поступили в гимназию, и, не разгибая спины, принялась за переводы фельетонных романов и детские рассказы. Пока Николай Васильевич жил в Выборге, между нами частой переписки не было, потому что ему позволяли ездить в Петербург. В Выборге жить ему скоро надоело, он захотел вернуться в Новгород, и я снова принялась за хлопоты.

Из следующих писем видно, как Николай Васильевич торопился уехать.

«Выборг, 17 апреля 1876 года

Друг Людя. Горянский *«поздравил»* меня, что Потапов подписал к министру внутренних дел о переводе меня в Новгород. Тот же Горянский обнадеживал меня, что *мне разрешат ехать* в Новгород *теперь же* и там дождаться распоряжения департамента полиции исполнительной.

В этой уверенности я написал к Шульцу, написал и Горянскому, прося уведомить выборгского губернатора по телеграфу.

Все вещи уже уложены—белье, платье, книги; в квартире сено, рогожи, обрывки бумажек — и все как при отъезде. За квартиру я рассчитался; с кухаркой тоже. Ждал с минуты на минуту ответа; по три раза в день бегаю на телеграф, по два раза — на почту; упрямая мысль сидит клином и не дает ни минуты покоя, просто не найду себе места, и опять заболел позвонок. Да, в доме ни полена, и третий день у меня не топится. Пытка и мучение. Ну, точно в крепости, когда мучишься ожиданиями и не знаешь, когда придет светлая весть. Вы-

борг просто убьет меня. Мне дали два месяца отдыха от журнальной работы, и я рассчитывал, что в апреле и мае отдохнет мой мозг. Но апрель выходит пыткой, и если он протянется таким до конца, то я слягу. На квартиру свою я не смотрел бы. Хочу бежать в гостиницу и в то же время каждую минуту жду разрешения. Нужно видеть и Балинского; нужно купить электрическую машину, нужно быть у Милька, чтобы получить очки. *Везде сказал, что буду на днях,* потому что Горянский обнадежил, и никуда не попадаю; между тем *в Новгороде,* положившись на обещания Горянского, я нанял квартиру. Положение такое подлое и такое неопределенное, что я даже начинаю сомневаться в переводе.

Вопрос в том, чтобы узнать: разрешит ли Третье отделение отъезд мне в Новгород *теперь же».*

Как часто приходилось мне слышать отзывы о «прекрасном положении переводчиц»! Может ли быть прекрасным положение, которое всецело зависит от здоровья? Стоило только захворать, чтобы остаться на мели со всеми детьми. Теперь, когда я почти что доплыла до конечного берега, я с благодарностью оглядываюсь на свою специальность. На свой перевод я прожила и подняла на ноги детей и никогда не бывала в таком положении, что не обедала, чтобы не на что было бы купить провизии. Жизнь мою омрачал только страх остаться без работы. Ноги у меня тогда ходили, и я, кончив какой-нибудь перевод, тотчас же неслась на поиски нового. Конечно, работа была приятнее у милого и хорошего редактора, но ведь не все редакторы милы.

Михаил Васильевич Авдеев, автор «Подводного камня», был моим старым добрым другом и, желая мне как-нибудь помочь, просил за карточным столом в сельскохозяйственном клубе одного редактора-генерала доставить мне работу. Генерал звякнул шпорами и сказал, что с удовольствием доставит. Авдеев тотчас сообщил мне, чтобы я отправилась в такую-то редакцию. Меня встретил генерал, вежливо звякнувший шпорами, и вежливо, а именно прибавляя к каждому слову «с», заявил, что может дать мне перевод. Я получила работу, в сущности, очень приятную, потому что мне дали очень много журналов, из которых я самостоятельно могла брать подхо-

дящий материал. Постороннему человеку могло бы показаться, что такой работой можно было дорожить; но для работника это было не то. Редактор-генерал, человек не только обеспеченный, но даже богатый, с презрением смотрел на работницу; он заказывал перевод и из него делал компиляцию; платил же только за то, что было напечатано. При малейшем неудовольствии он, прибавляя букву «с», говорил, что работу мою он может передать: «Любой офицер генерального штаба возьмет ее». Эта работа была каторжной. Но ведь таких издателей и редакторов не очень много, между ними попадаются и такие, которые ценят труд. Например, уговорившись с Гайдебуровым по двенадцати рублей с листа, я получила от него следующую записку:

«За ваш перевод считаю недобросовестным платить по двенадцать рублей, позвольте предложить вам пятнадцать».

Вот такие слова многого стоят.

Много курьезов могла бы я рассказать об издателях прежних и нынешних. Когда появились дешевые иллюстрированные журналы, то издатели, конечно, должны были искать и дешевый материал. Однажды я пришла в редакцию одного из таких журналов, и жена издателя, или вообще какая-то дама, прежде чем говорить со мной о работе, начала хвалиться, что в их журнале участвуют такие-то лица; каково же было мое удивление, когда она начала перечислять все совершенно незнакомые мне фамилии.

«Вероятно, это все нарождающиеся таланты»,— подумала я.

Но, насколько мне известно, эти фамилии и теперь мало или, лучше сказать, совсем неизвестны.

— Редакция будет очень рада приобрести такую опытную переводчицу,— продолжала дама.—Нам нужны переводные романы, переделанные на русский лад. Иных мы не берем.

— Как это на русский лад?

— А вот как. Например: в романе стоит Rue de la Paix, а вы пишите — Большая Морская, ну и фамилии все выдумайте русские. Ну, и под переводом надо подписаться.

— Как, подписать свою фамилию?

— Можете выбрать псевдоним.

Я молча ушла из редакции журнала, который не умер в борьбе с равнодушием публики, а до сих пор процветает, и в нем до сих пор помещаются подобные переводы.

Некоторые из нынешних издателей стали упрощать вопрос о переводах. В третьем годе я получила письмо от одного из издателей, который предлагал мне работу и, между прочим, писал, что он предлагает небольшой гонорар потому, что перевод этой книги, сделанный кем-то и уже напечатанный, он мне пришлет, и мне надо будет только переменить кое-какие слова — вместо «потому» написать, «так как» или наоборот — и затем подписать свою фамилию как переводчицы. Но в этом случае я промолчать не могла и написала ему довольно резко. На свое письмо я получила ответ, что я его не поняла и что он никогда не осмелился бы делать мне подобных предложений.

Всего лучше для переводчицы работать в газетах. Уж лучше потому, что такая работа может продолжаться не месяцы, а годы. Я в продолжение пяти лет работала в «Новостях».

В «Живописном обозрении» я работала двадцать лет.

Из Новгорода Николаю Васильевичу позволили переехать в Петербург, и по смерти Благосветлова он сделался редактором «Дела». Работа утомила его, и он поехал лечиться.

<Киев,> 17 мая 1882 года

...И толкнуло же меня сделать визит Кулишеру! Через него познакомился с Костяковским и Мищенко — и пошла та же петербургская жизнь. Вчера обедал у Кулишера (редактор «Зари»); сегодня обедаю у Костяковского, а завтра буду обедать или у Антоновича, или у Мищенко, сегодня вечером у Кулишера, с профессорами и сотрудниками. Оно все бы ничего, да только все эти разговоры знаешь наизусть. Оттого так и рад поговорить с парикмахером, извозчиком, колбасником, мужиком. А впрочем, ведь и эти в большом количестве нестерпимы. Свои все легче.

А я точно человек между добродетелью и пороком. Не знаю, Киев добродетель или порок, но я в нем точно

уселся и о Крыме только думаю, не подымаясь с места. Правда, на совести «Внутреннее обозрение», которое я должен написать здесь, да и Кулишер манит к себе на дачу, но тянет и Крым, хотя пугают расходы.

Какая прелестная погода, какая зелень! Если бы не обеды у знакомых, я был бы вполне счастлив. Чувствую, что с знакомыми не поправлюсь. Вперед постараюсь быть больше волком.

Костяковский вспомнил старину. Спрашивал о тебе, о Маше, о Вене. Изумил он меня своею памятью».

На следующий год, 6 декабря, технологи давали бал и привезли Николаю Васильевичу почетный билет. Бал этот кончился для него очень печально: его обвинили в речи, которой он не говорил, и выслали в Выборг. Правда, что ошибка была открыта: Николаю Васильевичу позволили переехать в Царское Село и поехать за границу, но все-таки ему пришлось отказаться от редакторства, и, таким образом, расстроились дела.

«Выборг, 27 января (8 февраля) 1883 года

Меня утомляют гости, и пропадает много времени. Я понимаю, что они приезжают с самыми христианскими намерениями, и ценю это; но ничем не умею их отблагодарить, кроме весьма упорного молчания, которому нынче предаюсь. Свою молчаливость я приписываю усталости и нервному расстройству. Мне легко только с теми, с кем не приходится стесняться.

Ты плохо веришь, что приедет Николадзе; а он не только приедет сам, но с ним едут еще пять человек (три женщины и трое мужчин <всего>).

Особенно большой приезд предстоит, как я узнал от Людмилы Николаевны, на масленице. Они с двумя детьми, ты с Колей и Людинькой; это все свои; но Михайловский говорит, что и Скасси (с кем-то еще) к нам же. Но у нас всего пять кроватей. Свои устроятся: кто на кровати, кто на диване. Ну а не своих устроить мудрено. У нас недостает и постельного белья. (Привези простыни и одеяло Людиньке).

А сегодня ровно два месяца, как мы здесь. Да, тянулся! Тянулся и тянул жилы.

Попроси Мишу зайти в редакцию и насбирать сведения о цензуре и всякие другие. Гайдебуров мне пишет как о слухе, что редактор «Делу» утвержден не будет.

А вот и еще просьба. Получил письмо от Ольги Андреевны Карачаровой. Она оставила Мясоедовых и просит меня о месте в Петербурге, хотя бы даже в банке. Видно, скверно! Женщины лучше умеют устраивать такие дела. Не поговоришь ли ты с кем-нибудь?»

«Выборг, 7/19 февраля 1883 года

Друг Людя! Очень гнетет меня вот какая мысль, и гнетет до того, что не могу работать. Ну, какой я редактор или соредактор из Выборга! Просто пенсионер, получающий даром сто пятьдесят рублей. Если бы еще через месяц предвиделось освобождение — куда ни шло бы эти два даровых получения. Я думаю отказаться до лучших времен. Но на полистной оплате мне не прожить: много всяких расходов, кроме личных на прожитие, по крайней мере, в Выборге. Нужно, значит, ехать в деревню. Но как? Все положение настолько неопределенно и зависимо, что просто становится страшно. А между тем все это нужно решать скорее. Подумай и ты. Меня удерживает от решительного действия надежда. А уж, кажись бы, «всю надежду кинь...».

«Выборг, 17/29 февраля 1883 года

Друг Людя! Жалею, что не просил тебя раньше побывать у В. П. Гаевского. Я думаю, через него можно бы узнать, за что я выслан и надолго ли? О Михайловском кое-что узнали. Самый точный источник, конечно, Плеве. И, может быть, я попрошу тебя побывать у него.

Ужасно долго не выходит «Дело». Что с ним? Писал я Гайдебурову. Просил напомнить Русанову об уплате 250 р. (всего 500 р.) Срок к марту. Очень неприятно платить, когда не из чего. Спрашивал и о ревизии секретарских дел фонда. Но не отвечает. Или не получил моего письма? Не решаюсь думать, что он уклоняется от переписки со мной.

Привези большой запас новостей да извести точно, когда выезжаешь: день и поезд (а еще лучше при вы-

езде дай телеграмму — стоит 30 к.), чтобы я мог тебя встретить...

Совсем одолели гости: приехала сейчас Цебрикова. Статья опять останавливается: хотел кончить до масленицы, теперь придется работать».

«Воробьево, 4 марта 1884 года

Друг Людя. Дорогой от Петербурга до Москвы я был преисполнен благодарных чувств к тем, кто меня провожал, и из Москвы хотел написать благодарность. Но приехал измученный и писать не мог. Когда увидишь Бартеневу, поблагодари ее очень, очень за внимание; я его совсем не заслужил, ибо держал себя с нею всегда букой.

Ужасно измучила меня дорога, да к этому еще и простудился, когда ехал из Смоленска. Хотел ехать сегодня (третий день), но не пришел в себя и еду завтра. От Смоленска до Вены придется высидеть пятьдесят четыре часа. Не знаю, как они сойдут мне. Думаю, что новые люди да новая жизнь придадут силы нервам и авось вынесу дорогу... Как, однако, я развинтился: много ли написал, а уж устал... И все-то в Петербурге делается в напор. Противный город! А тянет к себе и засасывает. Только, конечно, не теми людьми, от которых наконец сляжешь. Но нельзя и без «отношений». От работы не устаешь; устаешь от людей. Как же устроить жизнь? Другие умеют — я не умею».

Вскоре после приезда Николая Васильевича из-за границы я уехала в деревню, а он нанял дачу в Парголове.

«Парголово, 10 июня 1884 года

...На «Деле» оказалось долгов тридцать две тысячи, и Лебедев, типографщик, было хотевший купить его, отказался. Вольфсон, второй наш покупщик, остается при своем желании и завтра даст решительный ответ. Переговоры он ведет с Станюковичем через поверенного...

Как видно, Александр Николаевич не прочь видеть «Дело» в руках Ольги Николаевны и предлагал ей двадцать тысяч. Но это вещь рискованная, и мне что-то

чуется, что подписка упадет еще. Даже Цебрикова желала бы купить «Дело». Эк их сколько охотников.

С нового года, говорят, заводит толстый журнал Суворин.

Пока что, а «Дело» совсем без гроша, и я не получил ни копейки гонорара».

«Парголово, 14 июня 1884 года

Друг Людя. Вчера совершилось рукобитье, и «Дело» мы запродали. Покупает Вольфсон. Он работал в «Знании», а последнее время в «Семье и школе». Вольфсон больше ученый, чем журналист, но ничего, привыкнет. Я считаю себя теперь в «Деле» лишним и не сегодня-завтра его оставлю. Это я решил. Охотников на «Дело» нашлось довольно; даже типографщик Лебедев зарился, да недостало смелости. Станюкович оказался вполне на высоте своей задачи: на «Деле» тридцать три тысячи (с сотнями) долгу; да жене своей он выговорил одну тысячу. А если бы «Дело» велось как следует, то должно было быть в кассе двадцать одна тысяча.

Трудное было это время. Совсем я изустал. Теперь стал купаться. Поправлюсь. В Подол приехать будет невозможно: мы с Бажиным теперь только вдвоем».

«Парголово, 21 июня 1884 года

...А у нас здесь скверно.

Если «Дело» умрет — великий позор ляжет на нас: долги не будут заплачены, подписчики останутся неудовлетворенными. Подписчики знают только редакцию, таков уж русский читатель.

Погода у нас очень хорошая, даже слишком хорошая, но уж не до нее. В редакцию езжу по-прежнему два раза в неделю, и затем должен целый день отдыхать — до того измучусь физически и нравственно. А дело тянется изо дня в день как канитель и тянет жилы».

«<Дом предварительного заключения.> 29 июня <1884 года>

Друг Людя. Я было уже приступил к осуществлению такого плана. Переговорил с новым издателем «Дела» Вольфсоном (а зовут его Владимир Дмитриевич и ад-

рес... [1]), отказался от участия в редакции и рекомендовал Скабичевского как знающего работника. Затем я предполагал остаться до возвращения из плавания Коли и уехать на мельницу. В эти два месяца с продажей «Дела», да и вообще с журналом, было столько хлопот, всякой суеты и езды, что я совсем изболел и только ждал, ждал, когда же это наконец наступит покой и конец.

Осуществление моего так хорошо задуманного плана, как ты видишь, остановилось на самой первой его части».

«<Дом предварительного заключения,> 16 июля <1884 года>

...Вчера мне дали из библиотеки «Мальтийского жида» в переводе Миши. Мне думается, что после учительства Миша примется опять за литературу. Ведь это его природное дело».

«<Дом предварительного заключения,> 20 июля <1884 года>

...Из письма к Коле ты узнаешь обо мне, писать другого нечего. Завтра жду Бартеневу. Погода сегодня с утра унылая и давит на нервы. Иокай говорит, что если природа скучает, то и люди скучают. Сегодня, впрочем, Илья. Человеческие голоса, колокольный звон, городской шум, свистки пароходов, говор голубей — все это сливается в одну общую гармонию, и мне постоянно слышатся гармоничные переливы звуков, точно отдаленная игра на фортепьяно, хотя никаких фортепьян здесь нет».

«<Дом предварительного заключения,> 26 июля 1884 года

Друг Людя. Спасибо тебе за ласку и внимание. О моей болезни не тревожься. Это и не болезнь, а просто старая испорченная машина не хочет работать как следует. Доктор смазывает и поддерживает меня микстурами да порошками. Мне все думается, что это от

[1] Пропуск в тексте.

слишком сильного напряжения в последние два месяца. Я теперь совсем «пустая кишка» и работать ничего не могу. Устаю даже после письма».

«<Дом предварительного заключения,> 28 июля 1884 года

...Когда я поступил в лазарет, доктор говорил мне: живите внутренней жизнью. Да разве можно жить другой жизнью? Весь вопрос в том, с каким материалом иметь дело и много ли его. У монаха, живущего одиноко в келье, какой же может быть материал для жизни,— и у меня тоже. Мысль не работает, потому что не над чем и все процессы ее какие-то первичные. Сидишь и, по-видимому, думаешь, а когда спросишь себя, о чем — видишь, что ни о чем. Когда во время гулянья, в промежутке между хождением, я сяду на лавочку, то совершенно бессмысленно смотрю на небо и слежу за облаками или смотрю, как идет дым из труб, или провожаю взглядом летающих голубей. Как киргиз, едущий в степи, поет свою бесконечную песню, думая вслух, что он видит, так и я мог бы слагать бесконечную и скучную песнь об облаках, дыме и голубях. Иногда я считаю окна или отыскиваю разницу между ними. Ну, вот тебе и мои мысли. Читаю ли я роман — я отдаюсь его интересу, в особенности если много действия, как это бывает в французских бульварных романах, но и тут я ничего не думаю. Иногда я только удивляюсь, для чего пишутся такие романы. Это сказки, и очень дурные сказки. И знаешь, что это сказки — и все-таки их читаешь, но читаешь, так сказать, сверху вниз, точно сидишь в театре, когда дурные актеры играют дурную пьесу. Что же во всей этой обстановке, условиях и занятиях может шевельнуть нутро? Да ничего. Мысль и чувство без материала лежат точно под спудом».

«<Дом предварительного заключения,> 5 августа <1884 года>

...Вчера был для меня опять приятный сюрприз. Отворяется дверь, и... ну, угадай кто? Миша! Вернулся из Крыма — все такой же! — и нарочно приехал в Петер-

бург, чтобы увидаться со мною. Привез он мне из Крыма черноморскую раковину — пепельницу и мундштук для папирос. Миша уверяет, что он пенковый, а я думаю, что из простого мелу. Я очень был рад видеть Мишу, говорил он очень много, так что остальным места не оставалось, был весел и остроумен. Забыл сказать, что, кроме пепельницы и мундштука, он привез мне икры. Сейчас видно мужчину. Женщины приносят всё сласти. У меня, кроме других сластей, накопилось шесть банок разного варенья».

«<Дом предварительного заключения,> 12 августа <1884 года>

Особенно о твоем приезде хлопочет Люба. Она думает, что, как только ты приедешь, в Петербурге немедленно наступит весна, зацветут деревья и вообще наступят какие-то чудеса. Я ей не возражал. Приезжай около 20-го, но прежде повидайся со мною. Даже и не около 20-го, а до 20-го, это нужно будет и для Коли. Может быть, тебе придется повидать его командира. А зовут его Василий Алексеевич Давыдов. Живет он в училище. Просьбу об увольнении Коли в деревню нужно подать в училище за две недели и подпись руки засвидетельствовать в полиции или у нотариуса. У них на этот счет очень строго, и прошения не засвидетельствованные остаются без исполнения.

В. А. Давыдов — племянник Цебриковой. Хотя, как она мне говорила, она и давно его не видела, но экстренные обстоятельства иногда извиняют многое. Завтра Цебрикова будет у меня, и я попрошу ее побывать у Давыдова, чтобы навести предварительные справки».

«<Дом предварительного заключения,> 23 августа <1884 года>

Друг Людя. Доктор называет мою болезнь «старческим истощением». В таком случае это не болезнь, а «состояние», и лечиться нечего. Да в этом я и сам убедился. Нынешнюю ночь, повернувшись к стене, я почувствовал, что у меня начинается кашель, стал наблюдать, как он образуется, и утром действительно встал с кашлем. Это

любопытно. Я ужасно стал чувствителен к переменам температуры и воздуха, так что могу служить вместо термометра, барометра и гигрометра. Слизистая оболочка вся расстроена. Желудок выносит только жидкое, и я не ем, по крайней мере, недели две, пью только чай и за обедом ем только суп. Лекарств у меня много, и каждое чинит что-нибудь свое, и в целом я бы, кажется, должен быть совсем починен; но починка не выходит, и я начинаю сомневаться, чтобы пословица о битой посуде была справедлива. Пока было лето — я еще держался, но когда почувствовал осень — я стал распадаться на свои составные части. Самое любопытное, что я вижу, как все это делается, и наблюдаю за собой, как за какой-нибудь ретортой, стоящей в химической печке. Сил реагирующих до того во мне мало, что я не могу ни раздражаться, ни сердиться — я только наблюдаю и понимаю. Если ты педагог, то поймешь меня и вместе с тем поймешь, почему физически слабые дети бывают обыкновенно хитры. Ну, прощай. Когда приедешь?

Умерла мать. Будь здорова и не скрипи, подобно мне. А впрочем, «все там будем», хоть я и не думал, что мой конец наступит так рано».

«Воробьево, 3 ноября <1884 года>

Друг Людя. Только едва сегодня чувствую маленький порядок в голове. Двое суток по железной дороге и сорок верст на колесах произвели во мне такие разнообразные нарушения, что поправиться в два дня впору такому крепкому, как Коля, а совсем не мне. Но и я ничего, ем много, сплю хорошо, гуляю и недавнее прошлое, вероятно, скоро не оставит следов.

А приятно встать утром, зная, что не нужно идти в редакцию и вытягивать нервы в ненужных разговорах с ненужными людьми. Господи, господи, что это за омуты, даже вспомнить страшно! А как мы с Михайловым мечтали о редакторстве! Счастливый, он умер, надеясь и веруя, что оставляет много хорошего в сем хорошем мире.

В сей момент я нахожусь в моменте отдыханья (сказать так можно?), и потому планов у меня никаких: буду ли иметь работу и где — не знаю.

В Москве виделся с Соболевским[1], и он предложил мне вести земский отдел. Трудновато, да и материалов нужно много, а читать мне тяжело. Со временем все, конечно, установится. Одним словом, время и меня вылечит и все установит.

В Любани меня встретили Михайловский и Людмила Николаевна. Распили бутылку шампанского, и поехал дальше. Теперь же думаю, что ничего бы не произошло, если бы в Любани пробыл день. В Москве пробыл несколько часов на Смоленском вокзале, и добраться до него от Николаевского вокзала было целым подвигом. Ехали, ехали по грязи, даже надоело, показалось верст двадцать, выбоины, лужи, грязь по ступицу, даже извозчик потерял терпение и назвал Москву «Азией». Зато публика европейская. На Николаевской дороге петербургские пассажиры отличаются молчаливой и презрительной сдержанностью, на Смоленской же пассажир, севший только на полчаса, вступает немедленно в разговор и, оставляя вагон, жмет руку.

В Смоленске я пробыл два часа и посвятил их «цвибель клопсу»[2] и кофе. Александр Николаевич, встретивший меня на вокзале, в это время бегал по своим делам. Властей никаких не видел».

«Воробьево, 6 декабря <1884 года>

Ты права, что я нахожусь в отдыхе; но вот беда, что это отдых бессилия. В Петербурге я бы тянул нервами и не знаю, чем бы это могло кончиться. Здесь я даже перестал спешить, но зато и ничего не пишу. Частью оттого, что не вошел еще в силу, частью оттого, что я из другого оркестра и камертоны, которые есть, не в мой тон (отец Антон).

Писал я Катерине Григорьевне и из деликатности не сообщил ей своего адреса, чтобы не обязывать ответом. Но мне было бы очень приятно получить от Катерины Григорьевны хотя извещение, что она получила мое письмо. Если же она напишет более одной строчки, я буду очень доволен. Поклонись ей, пожалуйста.

---

[1] Редактор-издатель «Русских ведомостей». *(Прим. Л. П. Шелгуновой.)*

[2] тефтелям с луком.

Рассуждаем мы здесь о процессе Мироновича. Вот так гусь! А ведь какой богомольный. В предварительном молился день и ночь, и все на коленях».

«Воробьево, 16 декабря <1884 года>

Отослал я статью в «Неделю» и не имею от Гайдебурова никакого ответа. Послал ему на днях еще статейку (передовую), да тоже сомневаюсь, чтобы напечатал. Думается мне, что для «Недели» я не сотрудник.

Как попал я на лоно природы, так и стало мне виднее, какое жалкое дело наша печать,— по крайней мере, та, которою орудуют нынешние петербургские газетчики; чистые они лавочники и кустари. Подождем, хотя и мало надежды, что будет лучше».

«Воробьево, 23 января 1885 года

Если увидишь Бартеневу, передай ей, пожалуйста, от меня самые теплые, любящие чувства. Ужасно полюбил ее».

«Воробьево, 11 апреля <1885 года>

Задумал я ряд статей (по-моему, интересных) «Из прошлого и настоящего». Первую статью, служащую вступлением, отправил еще 11 марта в «Вестник Европы». Ответа до сих пор не имею. Не знаю, какой у них срок для ответа. Послал «Вступление» и в «Русские ведомости» (это, правда, 3 апреля) и тоже не имею ответа. Если бы устроиться в «Вестнике Европы» и в «Русских ведомостях», было бы не дурно.

Погода у нас серая и холодная; но уже пашня началась. Сил во мне прибавилось, но одолевает хронический кашель, приобретенный мною на сквозняке. Уж я боюсь, чтобы не случилось то же, что у Костомарова».

«Воробьево, 23 мая <1885 года>

Друг Людя. Был я, как ты знаешь, в Москве и остался поездкой очень доволен. Пробыл четыре дня, и все вместе с Михайловским.

В Москве я советовался с Остроумовым. Он все мои болезни свел к расстройству нервов и предписал электрическое лечение; но для этого требуется доктор, и —

как суррогат электричества — он предложил мне теплые ванны из соды или соли.

Начну.

С работой я улаживаюсь медленно, и если сводить мой труд к деньгам, то в результате почти нуль. На заработок съездил раз в Смоленск, затем нынче в Москву и нажил пятьдесят рублей долгу. Вот так заработок.

Послал статью в «Вестник Европы», но, как писал Пыпин, она оказалась не цензурной (может быть, и цензурной; Пыпин писал так: «журнал затруднился печатать вашу статью по некоторым подробностям статьи»)».

«Воробьево, <конец мая> 1885 года

Чем дальше, тем большим клином заседает во мне желание выскочить из Воробьева. Ведь одиннадцать лет я знаком с Поповыми, что было с ними пережито и переговорено, и все забор между нами, все чужие. Если бы у меня были деньги, чтобы им платить, тогда бы еще ничего, а жить на их счет, когда нас разделяет забор,— совсем свинство, и остается или повеситься, или убежать».

«Воробьево, 28 ноября 1885 года

Друг Людя! Пожалуйста *поспеши* сообщить мне подробные и обстоятельные ответы на следующие вопросы:

1) Отчего у Миха не состоялось издание с Гербелем «Века» и куда исчезло право на эту газету.

2) Когда Мих родился, когда умер, от какой болезни и какое влияние на смерть имело заключение. Тут замешан какой-то поляк.

3) Где Мих учился. В медицинской ли академии или университете, кто был его товарищем из известных людей. Кажется, и Николай Гаврилович.

4) Литературное прохождение Миха. Чем начал (стихами?), где («Москвитянин»?), когда написал «Адам Адамыча» (как его звали в действительности), где напечатал. Чем составил известность. Когда вступил в «Современник».

5) История (кратко) Петра Ларионыча с генералом (или кто он?) по поводу оставшихся рукописей и где они?

6) Нет ли у тебя каких-нибудь его писем ко мне?

7) Не найдешь ли возможным прислать и свои письма (то есть его к тебе), имеющие *общий* биографический интерес или объясняющие его литературные планы, надежды и т. д.?

8) Нет ли у тебя чего выясняющего его личную и литературную характеристику?

За всякую мелочь буду очень благодарен. Но нужно очень скоро, ибо я уже дошел до 1858 года и нашей общей поездки за границу. А хотелось бы создать чистый, симпатичный, честный образ. Ни выдумывать, ни гадать тут ничего нельзя, а материалу нет почти никакого.

Не знаешь ли ты каких подробностей о «Веке» Вейнберга (ведь не...[1] Гербеля?) и нашем последующем артельном его издании?.. Сообщи, что знаешь, и как можно скорее».

«Воробьево, 19 декабря 1885 года

Друг Людя! Благодарю за письмо Петра Ларионовича и за сведения. Пока для первой статьи о Михе и этим не всем воспользовался, ибо дошел до конца 1859 года. Затем посмотрю, что скажет цензура, и в 1861 году, если окажется возможным, буду смелее. Если цензура пропустит хорошо — пришлю тебе третью статью. Она идет в январе».

«Воробьево, 9 июня 1886 года

Читала ли ты мои воспоминания? Если да, отчего ты мне о них не написала ни слова? Как ты нашла их общий тон и о Михайлове? Да жаль, что нажали и больше писать не придется. На днях (с Колей) уеду в Москву и там поразузнаю, как и что, а то перепиской ничего не выяснишь. Мое здоровье так себе, должно быть, сделался прострел (то, что было у Лерхе). Люба в июле едет к тебе в Подол, а думает, что, может быть, и раньше.

А Мишка вовсе никуда не годится: ни сам ничего о себе не пишет, ни от других ничего о нем не узнаешь».

«Воробьево, 2 февраля 1887 года

Друг Людя. Ничего не понимаю, точно все умерли. Истомился я весьма этими неизвестностями и ожиданиями страшно. Перестал работать — не могу.

---

[1] Одно слово не разобрано.

Получил от Михайловского телеграмму, что он будет в Москве в пятницу 30 января.

Послал в Смоленск нарочного.

Жду и волнуюсь.

Отправил в Москву через Соболевского («Русские ведомости») письмо к Николаю Константиновичу, что телеграфирую 5 февраля, если приеду.

Опять жду смоленской почты и волнуюсь — и опять ничего.

Посылаю новое письмо к Николаю Константиновичу (через Соболевского). Александр Николаевич мне сказал, что Михайловский, может быть, проедет ко мне. И я сообщил адрес для телеграммы.

Начинаю ждать Николая Константиновича к себе.

Получаю телеграмму от него из Петербурга. Телеграмма от 2 числа (но февраля или января — не знаю): «Не посылай рукописи до моего письма».

Ничего не понимаю и остаюсь в полнейшем недоразумении.

Пишу в Москву к Гольцеву, чтобы узнать у Соболевского насчет моих писем и телеграммы и в Москве ли Николай Константинович.

Ответа еще не получил.

Получил от тебя письмо, и то отрадного и светлого нет ничего и есть много нового, о чем писать неудобно.

Ну, конечно, веселее мне от этого не стало.

Вообще в это время расстроился до того, что явилось еле живое состояние.

Вот какая просьба, если найдешь возможным ее исполнить. Не повидаешься ли ты с Михайловским? Прочитай ему, что до него касается, выясни и напиши. Спроси, кстати, какая судьба постигла мою рукопись о сибирской печати (писал я о ней ему не раз, писал и в Москву). Если статья не пойдет в «Северном вестнике», не вышлет ли он мне ее. Я бы попытался поместить ее в «Русской мысли».

«Воробьево, 13 апреля <1887 года>

Весна или что другое, но у меня совсем нет сил. Три недели не мог ничего делать. Если с Колей случится беда, надо будет его поддержать,— значит, вопрос о моих силах очень важен. В 1882 году мне очень помог

кумыс. Думаю, что и теперь он поможет. Но не знаю, как мне поступить. Мне необходимо что-нибудь предпринять: посоветоваться в Москве с Остроумовым и ехать на кумыс в Самару, или что он там назначит. Мне совсем нехорошо. Только помни, что в Самарскую губернию. В Москве буду совещаться с Остроумовым (считается теперь лучше Захарьина, который и стареет и небрежен)».

«Самара, 16 июня <1887 года>

Друг Людя. Из письма к Коле ты увидишь, что со мной. Повторять не буду.

После множества пожаров от той Самары, которую мы с тобою знали, не осталось и следа. Но какой некрасивый, грязный и вонючий город! Зато раскинулся в ширину и длину вдвое, чем был при нас. Мне очень тоскливо, и боюсь, что кумыс принесет меньше пользы, чем я ожидал.

Ах, господи, господи, когда же это все кончится. Я крепко, крепко жму тебе руку. Пожалуйста, пиши».

«Воробьево, 2 августа <1887 года>

Друг Людя. Очень ты обрадовала меня подробностями своего письма. Такого длинного ты мне еще никогда не писала. Только, по бестолковости «Русской мысли», оно ушло в Смоленск. Теперь я и не знаю, куда тебе писать, в Подол или в Петербург».

«Воробьево, 7 декабря <1887 года>

В Москве от Коли письма не было, но в Смоленске получил два, одно из Курска, другое из Харькова.

Остроумов нашел меня в очень дурном положении, в особенности нервную систему и кишечник. Между прочим, послал к Беляеву, специалисту носа и т. д., и тот нашел у меня полип. Назначил операцию на другой день, ибо я был в приемный день, когда резать некогда. Беляев назначил мне приехать к нему через два месяца. Полип, конечно, не бог весть какая опасная болезнь, но

в мои годы он уже вовсе не полезен и вредит голове и легким.

А затем писать не знаю что. Все перезабуду».

«Воробьево, 10 декабря <1887 года>

Совсем у меня испортилась память, и ничего я не могу припомнить сразу.

Здоровье мое плохо; ушло пудами, а входит золотниками. Зато уж и сплю часов по четырнадцати. Право».

«Москва, 9 февраля 1888 года

Друг Людя. Сейчас от Беляева (доктора). Ах какой ловкий, просто артист. Как он, например, свертывает жгутик из ваты, да никакая швея этого не сделает. Теперь сижу с заткнутыми ватой ноздрями. Завтра будет прижигать.

Был у Остроумова. Вот милейший-то! Нашел меня совсем плохим. Прибавила много последняя петербургская поездка. А прибавила она, главное, к катару кишок. А все, в свою очередь, от разбитой нервной системы. Буду электризоваться и купил машинку. Электризовать все тело: голову, грудь, спину, живот, руки и ноги. А затем массаж, мясной порошок, молоко с овсом и промывательное с танином. Нужно проделывать все эти истории целый месяц».

«Воробьево 6 марта <1888 года>

Последнее письмо от Коли от 10 февраля (его число), почтовый штемпель Александрополя 15-го числа, я получил его 24 февраля. С тех пор ни строчки. Не понимаю, что это значит».

«Воробьево, 8 <марта 1888 года>

Кто у тебя исполняет книжные поручения Коли? Высылают ему совсем не то, что он просит. Так, он просил: «Каталог книг *военного* магазина» и «Диктовки Смирновского для справок *взрослому*», а ему прислали: «Каталог книг для *нижних чинов»* и диктовки *первоначальные.* У тебя комиссионерствует, вероятно, Анна

Федоровна. Человек она, несомненно, хороший (кстати — поклонись ей от меня), только относительно военных книг, я думаю, она менее компетентна, чем в массаже».

«Воробьево, 3 сентября <1888 года>

Есть у меня к тебе убедительная просьба: 10 октября двадцатипятилетний юбилей Шеллера. Хотел послать ему письмо через редакцию «Живописного обозрения», но в календаре Суворина она обозначена на Невском, 4/10 — вранье, а адреса верного не знаю.

Пожалуйста, 10 октября пошли прилагаемое письмо к Александру Константиновичу, и с распиской в получении».

«<Кисловодск,> 25 июля <1889 года>

Завтра в пять часов утра выезжаю из Кисловодска, в одиннадцать часов утра сяду в поезд прямого сообщения. 28-го в восемь часов вечера буду в Москве, 29-го в шесть часов вечера выеду на Смоленск и в Смоленске 30-го утром. Лечение вышло плохое. Брал только ванны из нарзана, а воды побросал, ибо занялся делами.

Предполагал я съездить в Тифлис, но Тифлис сам сюда приехал, и вышло лучше. В Тифлисе редко все бывают в сборе, а здесь не только оказались в сборе все власти, но водяной режим очень упростил все сношения с ними».

«Воробьево, 4 сентября <1889 года>

Здоровье мое до того потрясено, и в Кисловодске я нашел для себя такой «губительный Кавказ», что вот уже месяц, что сижу на овсянке, принимаю стрихнин. Доктор запретил читать, писать, говорить, велел быть одному и по возможности избегать людей. Счастье мое, что голова еще свежа. Есть у нас соседка, очень почтенная дама, была она больна подобной же атонией и сидела на бульоне и белом сухарике пять месяцев, а поправилась как следует только через год. Уж конечно, это утешает меня мало. Моя болезнь только финал того, что ты частью могла наблюдать в мои приезды в Петербурге. У меня теперь является панический страх при всякой мысли о дороге. Что за пытка были эти четверо суток, что я ехал с Кавказа. В последнюю ночь пути от

Москвы до Смоленска со мной от качки или тряски, что ли, сделалась сильная рвота. Но, несмотря на все это, я все-таки рад поездке в Кисловодск, ибо устроил и отношения, да и пошло дело о переводе Коли».

«<Воробьево,> 30 ноября <1889 года>

Первое впечатление твоего известия было очень подавляющее. Но потом я сообразил, какие такие могут быть у тебя дела, чтобы за них потерпеть.

Лаврову о высылке твоих переводов написал; но ведь они, москвичи, особый народ, их и пушкой не прошибешь.

Сил еще мало. Сижу на мышьяке, на железе, электризую спинные нервы, для укрепления ног, и промываю желудок. Смешная операция. Люба не может ее видеть. Она думает, что я задохнусь от кишки. Набравшись этими способами сил, я должен переговорить серьезно с Остроумовым и врачом нервных болезней (психиатром) о чем-нибудь радикальном и восстановляющем. Вот для этого мне и нужна Москва».

«Воробьево, 27 февраля 1890 года

Мне очень совестно перед Людинькой, что я ей до сих пор не ответил. Ей мне не хотелось бы писать казенное письмо. А написать по душе, тепло и ласково, с теми чувствами, которые у меня к ней, не приходит настроение, я валяюсь на постели буквально целые дни. Шесть часов в день трачу на разные лечебные эксперименты. Писать мне даже записку трудно. Пускай меня Людинька извинит. Попроси ее об этом и крепко, крепко обними и поцелуй за меня».

«<Воробьево,> 19 сентября <1890 года>

Друг Людя. Хотя я окончательно надорвал свое здоровье и едва ли поправлюсь, но еще креплюсь. Впрочем, большую часть дня я лежу в постели. Но, однако, еще не умираю».

«<Воробьево,> 6 декабря <1890 года>

Благодарю тебя за ласку и привет. Ах, как я болен, как я болен. Люба говорит: «Людмила Петровна даже и не думает, как вы больны». Я на вид девяностолетний. Полнейший упадок сил, неврастения, блуждающая почка, атония кишок. Целые дни лежу. Ходить почти перестал. Решил в Москве лечь в больницу или в клинику. Уж написал два раза, чтобы навели справки, как и у кого лечь. Хотел бы у Остроумова. Но ехать теперь не могу. И в Петербург бы хотел. Невозможно. А может быть, до свидания».

Это было последнее письмо Николая Васильевича ко мне, и слова Любы кольнули меня так, что я тотчас же оделась и поехала к Николаю Константиновичу Михайловскому, как самому близкому Шелгунову человеку. С ним мы порешили, что всего лучше Николая Васильевича выписать, и телеграфировали ему, что его присутствие необходимо для проведения через цензуру его сочинений. Павленков начал тогда издавать их.

Николай Васильевич тотчас же согласился приехать. Дочь Людмила поехала за ним на вокзал. Приехав, он, не раздеваясь, прошел ко мне в комнату, и сел в шубе. Это так не походило на него, что я тотчас же подошла к нему.

— Раздень,— проговорил он.

Я раздела, и, должно быть, лицо мое ясно выражало изумление.

— Ты поражена? — продолжал он.

Я действительно была поражена. Ничего подобного я не ожидала. Передо мною сидел не Николай Васильевич, а покойник. Он прохворал четыре месяца, и хотя не кричал и не стонал от боли, но во время припадков, бывших по нескольку раз в день, он лежал молча и неподвижно.

До самых последних дней Николай Васильевич, по-видимому, надеялся поправиться. О том, что у него рак, он и не подозревал, и, как говорил профессор Манассеин: «слово рак не должно было быть произносимо у вас в доме», действительно ничего подобного не говорилось. За неделю, или менее того, до смерти он поехал в гости, простудился и получил воспаление в легких.

Все четыре месяца, которые он пролежал у меня в Петербурге, его навещали знакомые, и в особенности дамы. Хотя он и морщился от этих посещений, но я уверена, что они доставляли ему большое удовольствие. В момент его смерти навестить его пришла жена художника Ярошенко, которая поехала к Михайловскому сообщить о смерти. Михайловский как раз в эту минуту должен был выйти на эстраду что-то читать на литературно-музыкальном вечере, и, как мне рассказывали, от волнения читать он не мог, и потому публика узнала, что Шелгунов скончался.

Я же, оставшись с Засодимской около покойника, никак не могла понять, почему стали приходить целые толпы студентов и дам.

М. Л. Михайлов

‹ЗАПИСКИ›

ДОМА

I

В последний день августа, поутру, я зашел зачем-то в книжную лавку Кожанчикова, на Невском проспекте. Я стоял у прилавка и перелистывал какую-то книгу. В это время туда явился, гремя саблей, приземистый жандармский офицер в шинели,— судя по апломбу и по немолодой корявой роже, уже в штабских чинах. Он обратился к стоявшему около меня приказчику с вопросом, где тут живет управляющий домом. Приказчик сказал, что в глубине двора, и прибавил, что можно пройти через магазин. Жандарм попросил провести его и пошел вслед за приказчиком.

Другой приказчик, на другой стороне лавки, старый мой приятель, Василий Яковлевич Лаврецов, пришел в неописанное волнение от этого неожиданного визита.

— Да ведь это Ракеев! — кричал он мне.— Ракеев ведь!

— Какой Ракеев? — спросил я.

— Вы Ракеева не знаете? Ракеева? — восклицал Лаврецов.— Ведь это он меня в Третье отделение брал.

Лаврецов был довольно долго библиотекарем в публичной библиотеке Крашенинникова (бывшей Смирдинской), на Михайловской площади, и там я с ним познакомился. Его знание своего дела, симпатичный характер, страсть к чтению и большая любознательность сблизили его скоро со многими молодыми людьми, посещавшими библиотеку для своих ученых и литературных занятий.

Как бедный мещанин, Лаврецов не получил никакого образования и обязан был всем себе. В 1857, кажется, году он был арестован за то, что выдавал для чтения абонентам библиотеки несколько лондонских русских изданий, собрать которые стоило ему большого труда. Его продержали несколько времени в Тайной канцелярии и затем отправили из Петербурга в Вятку, под надзор полиции; правительство тогда еще либеральничало, вертя перед публикой радужную призму будущих реформ и воображая, что может держаться одним красноречием, не купая рук в крови. Около того же времени, помнится, в газетах было напечатано, что кто-то (кажется, Мухин по фамилии) читал в одном трактире в Петербурге во всеуслышание «Колокол» и был за это *только* сослан под полицейский надзор в Петрозаводск или куда-то в другое место на север. Теперь за это шлют уже в каторгу. Лаврецова вскоре возвратили, и он поступил приказчиком в книжный магазин Кожанчикова.

— Он это! он! — продолжал Лаврецов волноваться.— Ракеев! Его лицо. Я его хорошо помню,— не ошибусь. Это ведь Ракеев был? — обратился он к возвратившемуся приказчику.— Зачем он?

Я вскоре ушел и, конечно, забыл бы об этой встрече, если бы о ней не напомнило мне очень ясно следующее утро.

II

В это утро, то есть 1 сентября, когда только что начинало светать, меня разбудили торопливые шаги горничной мимо моей спальни к двери прихожей.

— Что такое? — спросил я.

— К вам кто-то; того и гляди, колокольчик оборвут.

Тут и мне послышался звонок, который надо было рвать слишком сильно, чтобы у меня было его слышно.

В отворяемой двери прихожей загремели сабли, и около двери спальни тотчас же показалась высокая фигура полковника с красным воротником. Слегка притворяя дверь, он произнес:

— Потрудитесь одеться, monsieur[1] Михайлов. Мы обождем.

---

[1] господин.

Лицо этого господина мне было несколько знакомо; но я не сразу вспомнил, где я его видал.

Цель, с которой он прибыл, для меня тотчас объяснилась, когда из-за него выглянул голубой мундир и исковыренное лицо вчерашнего полковника. С ними был еще квартальный, длинный, испитой и бледный.

Когда я набросил халат и вышел в кабинет, ранние гости отрекомендовались мне:

— Полковник Золотницкий.

— Полковник Ракеев.

Первый, полицеймейстер званием, объявил мне с должными извинениями, что они имеют поручение произвести у меня *маленький* обыск.

Затем он спросил, где кончается моя квартира, и затворил дверь кабинета в половину Шелгуновых.

— Вы, как имеется сведение, привезли что-то недозволенное из-за границы,— объяснил Золотницкий.— Позвольте посмотреть ваши бумаги, книги.

Жандармский уселся за мой письменный стол, спросил, нет ли у меня в нем денег и драгоценных вещей, и стал выдвигать ящики, вынимать бумаги, письма и проч.

— Это что-с?

— Это семейные письма.

— Это мы не станем смотреть.

— А это-с?

— Это корректуры журнальных статей.

— Всё больше по литературной части?

— Да.

— Какой у вас порядок во всем! Приятно видеть.

Он, может быть, хотел сказать: «Приятно производить обыск».

Иное он клал назад, в ящики, другое оставлял на столе. Полицеймейстер тоже брал какую-нибудь бумагу или тетрадь и опять опускал на стол, говоря: «Что же тут, ничего такого...»

— А вот нет ли у вас каких запрещенных книг? — обратился он ко мне,— или «Колокола», например? Я уже давненько его не читал. Вы, верно, привезли последние номерки. Интересно бы прочесть.

Между прочим, им попался мой заграничный паспорт.

— Это мы отложим. Как же вы это его не представили? Ведь следовало по приезде тотчас предъявить в канцелярию генерал-губернатора.

Этого вовсе не следовало; но следовало, чтобы тотчас по приезде адрес мой был записан в квартале,— а этого дворник не сделал, хотя я воротился уже больше месяца.

По этому поводу Золотницкий сообщил мне, что меня очень долго искали, не зная, где справиться об адресе. Заграничный паспорт и аттестат мой об отставке, служивший мне видом на жительство, он отложил, чтобы взять с собой.

В столе и в бумагах ничего не оказалось. Да притом полковники, кажется, и сами не знали чего ищут.

— Да нет ли у вас чего? — стали они приставать ко мне.— Вот из книг-то, из книг-то. Вы уж лучше скажите!

Обилие книг, по-видимому, смущало их.

— Да каких же вам запрещенных книг? Вот смотрите! Ну, вот Прудон был прежде запрещен, Луи Блан. А теперь не знаю. Да у кого же нет таких книг?

— На французском?

— Да.

— Нет-с, это что! Вот на русском бы чего-нибудь.

Мне так надоели эти господа, что я готов был сунуть им что-нибудь, чтобы они только уехали поскорее. Им же, кажется, не хотелось уезжать с пустыми руками.

— Ну, вот Пушкина есть берлинское издание,— сказал я, сымая с полки книгу.

— Что же Пушкин! помилуйте! — воскликнул Ракеев, глядя на меня своими маленькими светло-серыми зрачками, которые почти сливались с раскрасневшимися воспаленными белками.

Я заметил потом, что эти воспаленные белки — одно из характеристических отличий жандармских лиц. Не оттого ли, что их часто будят по ночам?

— Пушкин! — продолжал с некоторым пафосом Ракеев.— Это, можно сказать, великий был поэт! Честь России! Да-с, не скоро, я думаю, дождемся мы второго Пушкина. Как ваше мнение?

Он задвигал как-то особенно нелепо своими колючими подстриженными усами и заговорил почти трогательно:

— А знаете-с? Ведь и я попаду в историю! Да-с, попаду! Ведь я-с препровождал... Назначен был шефом нашим препроводить тело Пушкина. Один я, можно сказать, и хоронил его. Человек у него был,— Осипом, кажется, или Семеном звали... Что за преданный был

слуга! Смотреть даже было больно, как убивался. Привязан был к покойнику, очень привязан. Не отходил почти от гроба; не ест, не пьет. Да-с, великий был поэт Пушкин, великий!

И Ракеев вздохнул.

Полицеймейстер перелистывал между тем взятую книгу и с некоторою любовью остановился на отрывках из «Гавриилиады».

— Да ведь тут,— обратился он к жандармскому, называя его по имени и по отчеству,— тут все запрещенные стихи Пушкина. Это надо, я думаю, взять.

— А! если так,— воскликнул с явным удовольствием жандармский,— отложите! Да нет ли у вас еще чего-нибудь в этом роде? — обратился он ко мне.

Золотницкий подошел к одному из шкафов и тупо читал заглавия книг.

— Это вот-с что такое? — спросил он.— О революции, кажется?

— Да, «Французская революция» Карлейля.

— А! Ну это ничего! Да уж, верно, у вас есть что-нибудь из русского заграничного.

И он начал придвигать книги к задней стене, к которой они были поставлены не вплоть,— и как раз тот ряд, где было несколько лондонских изданий.

Я начал уже терять терпение:

— Ну, вот вам брошюрка! — сказал я,— она, может быть, и запрещенная. В Лондоне напечатана.

Это были речи международного революционного комитета, изданные под заглавием «Народный сход».

— А! вот-с, вот-с!

И полицеймейстер передал ее жандармскому.

— Отложим, отложим,— произнес Ракеев.

Он встал из-за стола, подошел к одному шкафу, поглядел на книги, подвигал их, к другому, к третьему, наконец и он и Золотницкий подошли к столу между окнами и стали раскрывать и закрывать коробки с бумагами.

Золотницкий взял лежавший на столе альбом и готов был раскрыть его, но в это же время рассматривал портрет Герцена в простенке, разбирая под ним факсимиле.

Я очень опасался, чтобы он не стал рассматривать альбом и не наткнулся в нем на подписи Огарева и Гер-

цена: тогда альбом прощай! Я решился пожертвовать портретом, чтобы не лишиться альбома.

— Это ведь Герцена портрет,— объяснил я.

Ни полицеймейстер, ни жандармский, должно быть, никогда не видали его портрета и, снявши, принялись рассматривать с великим вниманием. Маневр мой был удачен относительно альбома: его отложили в сторону и совсем забыли.

— Это надо взять, непременно надо взять,— сказали оба почти в один голос.

— Как же вы это так на виду его держали? — с укоризной заметил Золотницкий.

— А это кто?

Он указал на другой портрет.

— Это Гейне.

— Ну, это другое дело. Это ведь, кажется, немецкий сочинитель?

— Да.

Квартальный все это время стоял, держась за спинку кресел около дивана, и молчал. Только на предложение мое выкурить папироску отвечал, что не может, потому что болен, вчера был с вечера в бане, думал, все пройдет, да только хуже разломило всего; а тут еще и соснуть не удалось.

— Ну-с, я думаю, и акт можно составить? — заметил жандармский, овладев портретом.— Нет ли у вас чемоданов, сундуков?

— Нет.

Полицеймейстер пошел в спальню, отворил столик около постели, заглянул туда, взглянул на стены и воротился в кабинет.

— Я думаю, можно уж и акт составить? — повторил жандармский.

Но полицеймейстер снова, чуть не в десятый раз, обратился ко мне с вопросом, нет ли у меня еще чего. Вообще этот идиот с оловянными глазами, каким-то нелепым завитком на лбу и конусообразной головой, притом с развязными гвардейскими манерами, казался мне вдесятеро гаже жандармского.

— Садитесь,— обратился Ракеев к квартальному.— Вы знаете, как пишутся акты?

— Знаю-с.

Квартальный сел и принялся выводить писарским почерком:

«Сентября 1-го дня сего 1861 года, прибыв, по приказанию высшего начальства», и так далее.

Ракеев диктовал, повторяя фразы раза по два, чтобы слог вышел лучше.

— Как-с вы эти французские-то книги называли? — спросил он меня.— Это, я думаю, тоже записать не лишнее? — обратился он к Золотницкому.— Имеют ли они право их держать?

— Да, записать! записать! — подтвердил Золотницкий, грациозно раскачиваясь на ногах.

— Так как же-с вы их назвали? — спросил меня Ракеев.

— Луи Блан, Прудон.

«При обыске найдены сочинения Луи Блана и Прудона на французском языке»,— диктовал он.

С заботами о слоге диктовка длилась не менее получаса. Весь же обыск продолжался, наверное, часа два с лишком.

Наконец полковники подписали акт и попросили расписаться меня, потом завернули две книжки и портрет и запечатали моей и своею печатями и, к великому удовольствию моему, удалились с прежним грохотом сабель. При прощании были, разумеется, разные извинения, что обеспокоили.

Эта деликатность была особенно некстати после того, как эти незваные гости, заслышав в другой комнате стук чашек и ложек, напрашивались тонким образом на чай,— именно замечали, что на дворе холодно и что они не успели еще в это утро напиться чаю. Они, видно, вовсе не считали своего посещения неприятным для меня. Я, однако ж, остался глух к их намекам.

На свертке с портретом и книгами они попросили меня написать, что эти вещи действительно взяты у меня. Я написал. Им, конечно, нужен был мой автограф.

III

Почти вслед за отъездом двух полковников я отправился к Цепному мосту, в Третье отделение, чтобы узнать от Шувалова о причине обыска.

В приемной меня встретил Золотницкий, только что вышедший из кабинета, и очень удивился моему приезду.

— Зачем вы? Ведь ничего у вас не нашли,— говорил он мне.— Разве вас призвали сюда?

— Нет.

— Так уезжайте лучше. Что вам тут с ним разговаривать?

Я, однако ж, остался.

Шувалов, выйдя, пригласил меня в кабинет, тот самый кабинет, где мне после того случалось быть еще не один раз, и спросил о причине моего приезда к нему. Я, в свою очередь, спросил о причине бывшего у меня неприятного посещения. Он немного замялся. Я сказал, что, кажется, к этому не было с моей стороны никакого повода.

— Разве только мой образ мыслей кому-нибудь не понравился? — прибавил я.

— Помилуйте,— возразил на это Шувалов.— Дело не в образе мыслей. Я сам человек либеральный.

Слышать такое золотое изречение от шпиона en chef[1] и не засмеяться стоило мне некоторого усилия.

Видя, однако ж, что я не уйду без объяснения, Шувалов сказал мне, что на меня есть подозрение по делу московских студентов, у которых открыта тайная типография и литография; но что так как дело это передано из Третьего отделения в министерство внутренних дел, то я оттуда получу на днях вопросные пункты.

— Вы ведь никуда не собираетесь ехать из Петербурга?

— Никуда.

IV

Весть о московских студентах немного удивила меня. Я знал, что с их стороны не может быть на меня ничего, кроме голословных показаний. Только на другой день, на сходке у Николая Курочкина по поводу Шахматного клуба, узнал я об аресте Всеволода Костомарова. Но и тут мне в голову не приходило, чтобы Третье отделение могло что-нибудь знать о воззвании «К молодому поколению». В этот именно вечер оно было распространено по Петербургу. Между тем, как потом

---

[1] главного.

оказалось, Костомаров успел уже объяснить Шувалову все, что знал о прокламации и что даже только подозревал. Собственно, знал-то он немного. У меня искали именно ее.

После того как прокламация распространилась, старания найти ее источник были, разумеется, удвоены. За мной, вероятно, следили, и особенно старался в Петербурге и в Москве частный пристав Путилин. Этот усердный молодой человек, как я узнал потом в Тайной канцелярии, был там правой рукой.

Как же было и не усердствовать какому-нибудь частному, когда агентами шпионского отделения с величайшею готовностью соглашались быть и особы в генеральских чинах, не имеющие надобности хлопотать о Владимире в петлицу, и притом совсем постороннего ведомства? Ты, конечно, помнишь, как меня удивила записка от цензурного глухаря, барона Медема, о том, не я ли доставил к нему какую-то небывалую статью о бельгийской конституции. Курьер ждал от меня тотчас же ответа, точно дело шло о пожаре или наводнении. Мою записку я видел потом в Третьем отделении. Ее сличали с двумя рукописями, взятыми у Костомарова (вернее — представленными им), и нашли, что я писал то, чего никогда не писал.

V

Я делал разные предположения, прежде чем меня арестовали; но мне ни разу не пришло в голову, что Костомаров подлец (уже потом я слышал, что один близкий к Третьему отделению человек говорил одному литератору: «Хороши ваши литераторы! Сваливают друг на друга». Это относилось именно к Костомарову).

Кажется, дня через четыре после бывшего у меня обыска заехал ко мне Гаевский, никогда прежде у меня не бывавший, чтобы сказать, что хотят сделать обыск в какой-то деревне, тогда как у меня никакой деревни нет и я никуда не ездил из Петербурга. Откуда могли идти такие вести? Тот же Гаевский говорил, что в Третьем отделении убеждены, что подозрения на меня вполне основательны и что у них есть мои рукописи, компрометирующие меня.

Все эти глухие слухи не просветили меня, к несчастию, относительно Костомарова, и я продолжал отно-

сить всю вину на человека, который был нисколько в этом не виноват, да и быть-то виноват не мог. Мне совестно думать теперь об этом подозрении.

А между тем Костомаров, в последний приезд свой из Москвы, произвел на меня далеко не такое приятное впечатление, как прежде. Я в этот раз убедился, что он любит лгать, и, когда он мне рассказывал, что брат грозит ему доносом, не верил ему и потому слушал его довольно хладнокровно. Я думаю, что все это вздор и никакой брат не думал на него доносить; но если это была даже правда, отчего он не постарался уничтожить улики?

Я припоминаю теперь еще одно обстоятельство, которому, впрочем, не хочу придавать важности. Упомяну о нем только потому, что оно не раз приходило мне на ум в продолжение следствия надо мной. Ты знаешь, как часто жаловался Костомаров на свою бедность, на то, что литература не дает денег, что журналисты не платят, и пр. Именно в последнее свое свидание со мной он говорил, что, если будет так продолжаться, он поступит в жандармы. Он прибавил, что сделал бы это во вкусе Конрада Валленрода, и говорил шутя, но слова его чрезвычайно неприятно подействовали на меня.

О Костомарове, впрочем, речь впереди.

Как бы то ни было, я вовсе не подозревал, что дело идет именно о прокламации «К молодому поколению». Если я принял кой-какие предосторожности, уничтожил разные письма и бумаги и пр., то лишь потому, что думал: подозрение может пасть на меня по какому-нибудь новому поводу.

Меня мало тревожили и слухи о том, что меня арестуют, распространявшиеся не раз по городу. Помнишь приезд Блюммер и ее предложение спрятать меня в своей квартире и потом выпроводить за границу?

Второй обыск нагрянул совсем неожиданно. Сведения были собраны уже довольно обстоятельные, и можно было явиться ко мне с двойным трезвоном и с большею наглостью.

VI

Утро 14 сентября было так богато разными наглыми и возмутительными подробностями, что его нельзя забыть. И при всем этом известная деликатность обраще-

ния! Не деликатен разве был только звонок, которым можно бы насмерть испугать больного.

А все остальное (даже призыв в твою спальню, для присутствия при твоем одеванье, бабы Аграфены) было так все светски и гвардейски вежливо. Черту неделикатности выказал, правда, также один из свидетелей или понятых,— помнишь, тот, что был одержим глухотой и облечен в зеленый сюртук с гербовыми пуговицами. Он садился все в разных местах, и где ни сядет, непременно возьмет со стола бумагу какую-нибудь или письмо и примется читать. Но ведь это даже нельзя и неделикатностью назвать. Просто глупость. Притом же, как только я сказал, что это мне не нравится, гвардейские любезники его тотчас остановили. Благодушный полковник Щербацкий наклонил также свою мягкую физиономию к моим письмам и также не без любопытства почитывал их. Но ведь это было полным его правом. А какая тонкость в обращении жандармского полковника Житкова! («Вы *твердо* изволите писать или *добро* в вашей фамилии?» — спрашивал его тот же квартальный, на этот раз уже здоровый, выписывая начало акта. «*Те...Жит...*, а не *Жид...*» — отвечал полковник.) У него белки были тоже красные, все в напряженных жилах. Но как ласково он смотрел! Как мило улыбался! Наибольшую серьезность хранил черный сыщик Путилин, показавшийся всем нам особенно загадочным лицом, но и он раза два улыбнулся, и голос у него был такой мягкий. Его глаза, с черными маслеными зрачками и с какою-то синеватою тенью под веками и на белках, я готов бы признать такими же характеристическими для шпиона, как красные для жандарма; но не слишком ли уж это будет? А именно, точь-в-точь такие глаза и такой же вид, почему-то напоминающий ворона, был и у следователя, который трудился выклевать у меня признание в Тайной канцелярии.

Воспоминание об этом гнусном утре до сих пор возбуждает во мне желчь. Эта куча народа — ведь одних солдат жандармских и полицейских было человек десять (не считая бабы и четырех высших шпионов, расхаживавших с двумя понятыми по всем комнатам), эти поганые глаза, осквернившие своим взглядом столько чистых страниц, эти дрянные воровские руки, готовые пачкать

все своим прикосновением, это расхаживанье из комнаты в комнату и собачье обнюхиванье всего, эта наглость, сопровождаемая или предшествуемая извинениями, наконец, самая продолжительность этой пытки, тянувшейся с пяти часов утра чуть не до часу пополудни,— у меня теперь от одного того, что я припомнил их, сохнет во рту, как сохло в то утро.

До сих пор я не могу объяснить себе одного факта. Когда жандармский сидел в гостиной, пересматривая твои письма, а Щербацкий занимался сниманьем с полок и перелистываньем книг у меня в кабинете, Путилин, притворив дверь, в прихожей шептался с высокой, красивой и молодой дамой к которой его вызвали. Этой даме он, кажется, что-то передавал, и чуть ли она не два раза тут была. Я приотворил дверь и смотрел на них, но ничего не слыхал. Я тут же спросил Путилина, что это значит. Он глухо отвечал, что это к нему по постороннему делу. Я потом очень хорошо узнал эту даму во дворе Третьего отделения. Она не раз проходила там.

VII

Уже судя по продолжительности и по тщательности обыска (при котором все-таки ничего особенного не найдено), можно было догадаться, что меня не оставят дома. Если бы им вздумалось тут же читать груду бумаг и писем, без толку набранных у меня и Шелгунова, им пришлось бы тут гостить дня два. Когда коробки с бумагами были запечатаны и в доме ничего не осталось не обшаренного, даже до чердака, полковник Житков, предпослав приличное извинение, объявил мне, что «принужден пригласить меня с собой».

Я только что умылся и принялся одеваться в спальне, как ко мне вошел жандармский и конфиденциально спросил, как же я оставлю свои вещи и нужно ли их опечатать и передать кому-либо.

Я сказал, что пусть они остаются как есть, у вас на руках, без всякого опечатания.

— Я должен, однако ж, вас предупредить,— сказал он еще конфиденциальнее,— что и *они* (он кивнул на кабинет), может быть, должны будут быть удалены из квартиры. Впрочем,— продолжал он, как бы сообра-

жая,— покамест можно будет оставить. Теперь вы поедете только одни.

Ты, разумеется, помнишь, что он говорил вроде утешения:

— Вы, вероятно, часа через полтора узнаете о них (то есть обо мне).

Это было сказано с целью, именно для меня, и я слишком поздно догадался, с какою.

Я был сильно встревожен, когда мне пришлось прощаться со всеми. У меня точно было уже предчувствие, что дело разыграется именно так глупо, как оно разыгралось. Преследование было слишком нагло, и мне поневоле думалось, что оно не может же основываться на каких-нибудь пустяках.

Уже сходя с лестницы, я был как будто охвачен всеми теми мыслями, которые потом все росли и давили меня в Тайной канцелярии. Я простился внизу с Николаем Васильевичем и Веней, но подумал взглянуть наверх, на окна нашей квартиры, только уж тогда, как карета отъехала от ворот.

VIII

На передней лавке кареты поместили коробки с бумагами и чемодан мой с бельем и кой-какими книгами, взятыми мною на время ареста. Рядом со мною сидел жандармский в шинели.

Мне смутно помнится, что утро было яркое и не холодное и слышался церковный звон (был праздник воздвиженья). Близ наших ворот, у соседнего дома, на углу, у гимназии, стояло немало народа, явно привлеченного жандармами в воротах и у ворот.

Это любопытство не понравилось моему полковнику.

— Я всегда говорю,— заметил он,— что обыски гораздо лучше делать по ночам, как прежде делали. А этак поутру — непременно наберутся любопытные.

Мы, сколько помнится, ехали Большой Морской, потом, кажется, Миллионной, к Летнему саду.

Житков предложил мне несколько вопросов, может быть, с целью, а может быть, и так, именно: давно ли я вернулся из-за границы, долго ли там проездил и где жил.

Я чувствовал такую сухость и горечь во рту, что мне не хотелось и слова сказать. Было как раз время завтрака, а я утром выпил только стакан чаю без хлеба. Я сказал, что поездка в Третье отделение не дала мне и позавтракать.

— Как жаль, что теперь не вечер,— заметил на это Житков,— а то мы могли бы заехать с вами в какой-нибудь ресторан и закусить.

Действительно, жаль. Какое было бы прекрасное препровождение времени!

— Впрочем, вы можете спросить, чего вам угодно, и там.

Это *там* было уже почти *здесь*.

Мы переехали Цепной мост; но опытный извозчик не повернул по набережной, где мне было известно парадное крыльцо Тайной канцелярии, а поехал в Пантелеймоновскую (кажется, так) улицу и в конце ее повернул направо в ворота, в которых стояли жандармы.

— Вы посидите покамест в карете,— проговорил Житков, выскакивая.— Я сейчас.

И точно, минуты через две он явился к дверцам и попросил меня следовать за собой. Тут же под воротами в подъезд стали мы подыматься по довольно опрятной лестнице. Здесь вышел к нам навстречу во втором этаже (из двери, на которой я прочел: «Зарубин») офицер с красным воротником и общеармейским лицом. Это был еще человек молодой, белокурый и самого беззаботного вида.

— Вот-с господин Михайлов,— объяснил ему Житков.— Поместите их. А мне надо спешить. Мое почтенье, monsieur Михайлов.

И мой провожатый с архангельскою легкостью запорхал вниз по лестнице, по-архангельски гремя о ступени своим длинным мечом.

— Пожалуйте за мной,— обратился ко мне Зарубин, как оказалось, смотритель дома, смотритель каземата при Тайной канцелярии, эконом, одним словом, нечто вроде домашнего гения этих милых мест.

Мы и без того были уже высоко; но пришлось подыматься еще выше,— и наконец-то, пройдя еще десятка три ступеней, я вступил в дверь, где капитану брякнул на караул ружьем солдат.

— Ох, высоко! — проговорил и смотритель, отду-

ваясь, хотя бегать взад и вперед по этой лестнице ему было, вероятно, в привычку.

Тут я очутился в какой-то горнице, похожей и на грязную лакейскую в беспорядочном помещичьем доме, и отчасти на буфет какой-нибудь захолустной харчевни, и, наконец, на сторожку. Тут пахло сапогами и угаром и возился около стола с чайными чашками и сапожными щетками высокий и неуклюжий человек, видом и одеждой похожий на дворника.

— Где же вахтер? — крикнул смотритель.— Вахтера послать!

Вахтер, черный, приземистый, в серой шинели, был легок на помине.

В двери, выходившей в описанную мною комнату, повернулся большой ключ, и передо мною распахнулась моя первая тюрьма.

В ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

I

Это была довольно просторная комната, очень обыкновенного вида, оклеенная обоями, с двумя большими окнами. Что это тюрьма, напоминали, однако ж, очень ясно железные перекладины за этими окнами. Кроме койки, был тут небольшой стол, довольно удобный диван и несколько стульев и в одном углу снаряд, показывавший, что из этой комнаты нельзя выходить даже по крайней надобности.

Из окон виднелись только крыши да трубы; двор внизу представлялся чем-то вроде колодца — так высоко поднялась эта тюрьма.

Смотритель велел внести мой чемодан и сказал, что сейчас придет дежурный — записать мое имя и осмотреть вещи. Сам он ушел.

Вскоре явился гусарский офицер глупого вида и молодой, с одной особенно одутловатой щекой, которая была будто во флюсе; но этот флюс — потом я увидал — был постоянный. Гусар принес шнуровую книгу. За ним вошел вахтер с кучкой белья. Чемодан мой поставили на пол.

Гусар спросил мое имя, звание и проч. и записал

в своей книге. Потом он объявил мне, что я должен раздеться и надеть все казенное. Мне пришлось снять с себя все дочиста — даже чулки. Взамен мне дали казенные чулки, белые штаны с костяными пуговицами, сшитые на человека вдвое выше и толще меня, рубашку и, поверх всего, белый больничный халат, а на ноги старые стоптанные башмаки.

Пока я переодевался, черномазый противный вахтер производил обыск по всем карманам моего платья, которые выворачивал и опять вправлял. Все, что было в них, я заранее выложил на стол. Белье из чемодана тоже было выложено, переписано в книгу; все, что было на мне, тоже; часы, кошелек с деньгами, шапка... Ничего изо всего этого, объявил мне гусар с флюсом, не может быть оставлено при мне.

— А книги?

— Книги тоже надо передать в экспедицию. Там просмотрят. Только сегодня уж некому — праздник.

Гусар обещал со временем хорошего шпиона. Мало того, что при нем были обшарены мои карманы — он велел вахтеру вскрыть запечатанный ящик с папиросами, взятый мною из дому, и, когда вахтер раскрыл его, он начал перерывать папиросы своею пястью с самым серьезным видом и даже чуть ли не с сознанием собственного достоинства.

Ему было па вид лет двадцать; усы маленькие; бороду он едва ли еще брил. Надежды подает приятные. Впрочем, таких милых юношей в мундирах разных полков я видел больше десятка во время пребывания моего у Цепного моста. Все они прикомандированы к начальнику Третьего отделения в чаянии мест адъютантов и чиновников особых поручений по жандармерии; состоят тут как бы на испытании и должны зарекомендовать свою скромность и показать отчасти свою дельность. Шляясь по трактирам и по гостям в свободные от дежурства дни, они обязаны от времени до времени поддерживать хорошее мнение о себе в глазах начальства легкими доносиками. Должно быть, они очень дорожат своим положением, потому что отвечают самым уклончивым образом даже на самые обыкновенные вопросы, вроде справок о погоде.

Обобрав меня дочиста, офицер с вахтером ушли, и дверь за ними была заперта. Я уж не помню теперь,

была ли она стеклянная, как в другом моем помещении, или с квадратным оконцем, прикрытым снаружи железным клапаном, как в тюрьме. В этой комнате я пробыл слишком недолго.

Смотритель, уходя, спросил меня, не хочу ли я обедать или чаю. Я спросил чаю, и мне принес его тот косолапый, похожий на дворника человек, о котором я упоминал.

Чай, конечно, не успокоил моего нервного раздражения после этого отвратительного угра. У меня разбаливалась голова. Я попробовал лечь на койку и задремать; но сон не шел, хоть я и не выспался в эту ночь как следует. Притом я не мог отделаться от разных предположений относительно своего ареста; но в них все-таки не подходил даже и близко к настоящему их поводу, доносу Костомарова. Мне хотелось, чтобы хоть эта нерешительность скорее миновала,— чтобы меня позвали на допрос.

II

Вскоре опять явился смотритель и за ним — вахтер с моими сапогами и платьем.

— Потрудитесь одеться,— сказал смотритель,— мы вас переведем в другой номер.

Я стал одеваться и спросил — зачем.

— Здесь высоко, неудобно и далеко от экспедиции,— сказал смотритель,— а вас часто будут спрашивать. Велели поближе перевести.

Мы спустились с лестницы в сопровождении вахтера, несшего за нами больничный халат и стоптанные башмаки. Пройдя первый двор, загроможденный страшным количеством дров (смотритель говорил мне потом с гордостью, что у них на шпионскую канцелярию выходит их в год на 8000 р.), мы вступили на второй двор, неправильной формы и поменьше. Дальше были еще ворота, в которые виднелся жалкий садик. Не доходя до них, вправо, почти в углу, была небольшая дверь, около которой стоял жандармский часовой. Дверь была отворена; но вахтер в темных и грязных сенях, откуда шла вверх такая же грязная лестница, позвонил в какой-то разбитый, но громкий колокольчик. Он давал знак наверх о прибытии начальства.

Мы поднялись на второй этаж. Тут перед нами оказалась тяжелая дверь из продольных железных жердей, как у звериных клеток, с тяжелым замком. За дверью полумрак; там в недлинном коридоре, шагов в тридцать, виднелись солдаты с ружьями, двое или трое.

Вахтер отомкнул замок, и мы прошли в самую глубь коридора, мимо трех одностворчатых дверей, со стеклами в верхней половине, которые снаружи были задернуты белым коленкором. Такую же дверь (это была крайняя) отперли мне.

Новый номер был далеко не так изящен, как первый. Стены голые, просто выбеленные; диван крошечный, старинного фасона; вместо стола какой-то шкафчик и два старомодных стула. Койка была такая же железная, как и там. Около нее у самой печки (больше некуда было поставить) возвышался громадный ящик, крышка которого не совсем плотно прикрывалась. Постоянная отрава из этого ящика слышалась в тепло натопленной комнате. Потолок был низкий, опять-таки не то что в первом моем помещении, где он был и высок, да вдобавок еще и с лепными какими-то украшениями. И печь, выходившая на полкирпича в комнату, была самая простая, а там изразцовая и с разными художественными орнаментами. К счастию, в моей новой комнате было два окна, и оба еще об одной раме. Их можно было отворять. Решетки были в них такие же.

Номер имел форму трапеции, как и двор перед окошками. Кровать стояла у стены, образовавшей тупой и острый углы.

Опять раздеванье, и опять я был в белом халате. Смотритель с вахтером ушли; я остался один и стал смотреть в окно.

Во дворе было пусто. Изредка проходил какой-нибудь жандарм, то солдат, то в офицерской шинели, приезжал курьер в тележке, с пакетами, баба проходила или дама. Появление дам заставило меня предположить, что в самом здании есть шпионские квартиры, со шпионшами и шпионятами. Им-то, конечно, принадлежали эти окна в третьем этаже, справа от моих окон, завешенные гардинами, с горшками цветов. Этажом ниже были видны в окна столы, этажерки с бумагами и все прочие обычные принадлежности присутственного места. Это было, как я предположил, самое ядро шпионской деятельности.

У одного из окон показывался то дежурный гусар с флюсом, то чиновник со светлыми пуговицами, должно быть, тоже дежурный.

Я заслышал шаги у своих дверей и оглянулся. Белая занавеска, заслонявшая с той стороны стекло, была отдернута, и ко мне глядело солдатское лицо с черными усами и бакенбардами, в какой-то белой куртке. Вслед за тем повернулся ключ в замке, и этот самый длинный солдат, несколько облысевший спереди, с худощавым и довольно добродушным лицом, внес ко мне нанизанные на ремень судки с обедом. Он постлал на шкафчике, заменявшем стол, салфетку, вынул из него солонку и затем расставил судки, показывая мне содержание каждой глиняной чашки, словно хотел пленить меня. «Вот суп, ваше высокоблагородие, а вот холодное, а вот жареное,— а огурцы тут (огурцы лежали в застывшем говяжьем сале); а вот и пирожное на закуску, ваше высокоблагородие».

Несмотря на чувство как будто голода, я не мог есть. Неприятное раздражение все еще не проходило. Я хлебнул ложки две жидкого трактирного супу, и мне показалось, что, если я съем еще ложки две, меня, пожалуй, стошнит. К супу была серебряная ложка; но к остальным блюдам таких опасных орудий, как нож и вилка, не полагалось.

III

Только к сумеркам я стал немного успокоиваться; но успокоился ненадолго. Опять слегка отдернулась занавеска, опять повернулся ключ в двери. Вошел черный вахтер с моим платьем и предложил мне одеться.

— Куда?

— Не могу знать-с.

Я оделся.

Тут пришел гусар с флюсом и сказал, что меня просят в «экспедицию».

Когда в коридоре вслед за нами хотели направиться в виде конвоя два солдата, гусар развязно махнул им рукой и сказал гуманно и современно: «Не надо!»

Мы вышли во двор, потом в ворота направо, где был цветник, обошли его кругом и по разным лестницам и коридорам пришли к двери, на которой было напи-

сано: «2-е отделение». Я прочел эту надпись совершенно равнодушно, еще вовсе не подозревая, что она почти равняется для меня, по значению, надписи над вратами Дантова ада.

Прихожая; потом что-то вроде канцелярии. Тут за тремя или четырьмя столами сидело человек пять, несмотря на праздник, и строчило какую-то черноту. (Дела, как я заметил потом, тут много. Все пишут и пишут.) Прогресс давал о себе знать тем, что некоторые из этих господ вставали с места и закуривали у камина папиросы. Как вообще всякий чиновник, они желали высказать свой вес тут при постороннем: проходя мимо, принимали какую-то особенно развязную походку и беспечный вид. Лица, разумеется, пошлые, как и следует иметь шпионской мелюзге.

— Посидите, пожалуйста, здесь,— обратился ко мне опухший гусар, а сам отправился доложить.

Через несколько минут дальнейшая дверь отворилась, и оттуда сделал несколько шагов вперед высокий чиновник во фраке с светлыми пуговицами и с Станиславом на шее. Остановясь почти посредине комнаты, он обратился ко мне с приглашением:

— Не угодно ли вам пожаловать сюда, господин Михайлов?

Я пошел и, через маленькую проходную комнату, очутился в самом сердце второй экспедиции. Дверь чиновник за собою затворил.

IV

Тут стояли всё шкафы кругом и один только письменный стол.

Чиновник, стоявший теперь передо мной лицом к лицу, был еще почти молодой человек (он сказал мне как-то потом, что ему тридцать шесть лет). Лицо у него было сухое, бесстрастное и не злое. В выражении было что-то напряженное, как будто он постоянно прислушивался к чему-то; фамилия чиновника — Горянский. Эконом и сторож называли его не иначе, как «Федор Иваныч». Он был худощав, с несколько втянутыми щеками, с тонкими и постоянно запекшимися губами, как будто от долгого поста или от долгого молчания. Черные волосы, черные глаза с синевой под веками, тонкий нос,

смуглый цвет лица сообщали ему вороний характер. Эти черты были почти постоянно в нервном движении так же, как и сухие руки.

— Я очень уважаю ваш талант, господин Михайлов,— сказал он с возможно любезным видом,— и очень сожалею, что мне приходится познакомиться с вами при таких обстоятельствах.

Как будто я мог бы познакомиться с ним при других!

— Да в чем дело? — спросил я.— В чем меня подозревают?

— На вас падает сильное подозрение, во-первых, в сочинении прокламации к крепостным людям, во-вторых, в привозе из-за границы другого печатного воззвания — «К молодому поколению» и в распространении его.

— Да на чем же основываются эти подозрения?

— Против вас есть показания некоторых лиц, и, кроме того,— вот-с!

Он взял со стола письмо и подошел с ним ко мне. Я сел у окна.

— Известна вам эта рука?

Довольно было взглянуть раз на рукопись, чтобы узнать почерк Костомарова. В первых же строчках бросилось мне в глаза: «М. Михайлов».

— Чье это письмо, не знаю,— сказал я.— Дайте прочесть.

Горянский боялся дать мне его в руки. Он положил его на окно и придерживал сверху, вероятно, чтобы я не схватил и не разорвал его.

В письме Костомарова, адресованном к Ростовцеву, говорилось, что на него, Костомарова, сделан донос его собственным братом и при этом украдены рукописи, из коих одна писана рукою М. Михайлова и может его сильно компрометировать. Далее он просил справиться у Плещеева о моем адресе и поехать или послать ко мне в Петербург, предупредить меня, чтобы я (вот что было умнее всего) «принял все зависящие от меня меры уничтожить»,— не то чтобы уничтожил, а именно сделал со своей стороны все возможное, чтобы уничтожить все до единого экземпляры «Молодого поколения» (и это подчеркнуто для большей выразительности).

Какое сцепление мыслей заставило Костомарова писать подобные вещи, когда за ним наблюдали (он и это упомянул в письме),— зачем понадобилось ему

извещать меня, когда пять строк, написанных моею рукой, без его собственного показания, не подали бы никакого повода подозревать не только меня, но и кого бы то ни было,— понять все это очень трудно. Если это письмо было написано не с преднамеренною целью выдать меня, то в это время в голове Костомарова происходил странный процесс. И добро бы оно обличало торопливость, состояло из набросанных наскоро беглых строчек! Нет, оно было довольно длинно и написано спокойной рукой. Только тупоумный человек мог дописать его до конца, не уничтожив. И хоть бы это писалось в другой город; а то в том же городе посылать подобную цидулку с горничной. Ничего не понимаю. В письме именно говорилось с изумительной логикой: «За мною следят, так я посылаю это письмо с Александрой» (так, кажется, была названа горничная).

Дальнейшее содержание письма просто озлобило меня своею подлостью. Костомаров прямо говорил, что он ничего не скроет про московских студентов, потому, видите ли, что они не стоят того, чтобы их беречь!

Я уж никак не могу сказать, чтобы поступал умно в Третьем отделении. Но этому немало содействовало опасение, что откровения, сделанные уже Костомаровым (как я сразу увидел из слов Горянского), могут сопровождаться еще большими откровениями.

— Вы признаете руку Костомарова? — спросил меня Горянский.— Он признал это письмо.

Я промолчал и еще раз перечитал письмо.

Горянский в это время говорил, что упорство мое в показаниях только повредит мне, именно заставит перевести меня в крепость, где я буду содержаться с величайшей строгостью. Этим он, кажется, хотел испугать меня, но, конечно, без толку.

— Третьему отделению,— продолжал он,— хорошо известны и лица, содействовавшие вам в распространении воззвания. Уж и теперь арестованы некоторые, но придется арестовать и других.

Он назвал несколько имен.

— Мы давно уже не арестовывали женщин,— продолжал Горянский,— а теперь должны были прибегнуть и к этой мере. Арестованы мать и сестра Костомарова. Часа через полтора после вас взята и полковница Шелгунова.

Перечитывая письмо Костомарова, я думал, как бы объяснить его так, чтобы оно не могло служить обвинением мне. Я, разумеется, прежде всего не признал бы самого письма, если бы меня не сбили немного с толку слова Горянского.

Мне казалось самым удобным сказать, что из-за границы я действительно привез несколько экземпляров воззвания (именно десять), но их не распространял, а уничтожил, боясь ответственности; что Костомаров видел у меня только один экземпляр, что было совершенно справедливо; а что касается рукописей, то я не помню, какие у него могут быть компрометирующие меня бумаги. Пусть мне покажут.

— Их у нас нет,— отвечал Горянский,— они переданы следственной комиссии, назначенной над студентами, но вы их увидите завтра.

Вскоре его потребовали к «графу Петру Андреевичу», и он попросил меня выйти с ним опять в канцелярию и там подождать.

V

Тут на этот раз был Путилин в черном фраке и со Станиславом на шее. Этот Станислав здесь чуть не на каждом шагу. Он немедленно подступил ко мне с сладкой улыбкой и стал тоже предлагать вопросы. Я отвечал ему вскользь. Он возбуждал во мне особенное отвращение.

Он обратился ко мне прежде всего с вопросом:

— Ведь вы изволите знать Благолюбова?

— Нет, не знаю.

— Как не знаете-с? Он-с ведь в одном с вами журнале участвует.

— Нет, такой не участвует.

— Ах, виноват-с. Я хотел сказать, Добролюбова. Его знаете-с?

— Знаю.

— Давно с ним виделись?

— Недавно.

— На той неделе-с?

— Не помню.

— Вы ведь изволили с ним вместе за границей быть?

— Вовсе нет.

— Но с ним там виделись?

— И того нет.

Все в таком диком роде.

Смеркалось уже. Зажигали свечи. Глупые вопросы Путилина были прерваны приходом Горянского, который попросил меня идти с ним к Шувалову.

Я прошел разными коридорами и лестницами в ту самую приемную, где дожидался Шувалова в день бывшего у меня обыска. Горянский юркнул сначала к нему в кабинет, потом ушел из приемной. Тут был только дежурный, развязно садившийся то на тот, то на другой стул, но не гусар с флюсом, а другой.

Шувалов выглянул и позвал меня.

VI

У него горела свеча на письменном столе и топился камин. Этот кабинет, куда, как в лужу, стекаются эссенции доносов и шпионства, был уже мне знаком, но я его еще не описал. Довольно большая комната эта была тоже обставлена с одной стороны довольно красивыми шкафами. Почти посредине, задом к камину, письменный стол. На камине часы, канделябры. Несколько мягких кресел, кажется, и диванов. Вообще кабинет имел вид более домашний, чем официальный.

Шувалов остановился по одну сторону стола, я — по другую. У него лицо как-то странно подергивало.

— Вы не хотите сказать, господин Михайлов, той правды, которая нам очень хорошо известна,— начал он.— Когда вы были у меня, тогда я уже очень хорошо знал вашу виновность; а теперь все окончательно подтвердилось. Теперь вы заставляете меня действовать, как бы мне и не хотелось.

(Тут же мне пришлось узнать, что он не только либеральный, но и честный человек. Он уверял в этом, ударяя себя в грудь.)

Затем те же вопросы почти повторил мне и Шувалов, которые я слышал уже от Горянского.

Он все уверял меня, что я писал прокламацию к крепостным людям, и говорил, что это несомненно и подтверждается сличением ее с моим почерком сколькими-то сенатскими секретарями.

Я стоял на своем и требовал, чтобы мне показали рукописи.

— Хорошо-с, завтра вы их увидите,— сказал Шувалов.— Я не хочу брать у вас признания нахрапом.

А он, верно, к этому привык в полиции.

— Вы привезли с собою не десять экземпляров печатанной прокламации, как говорите. Это что? Пустяки! Из-за этого вас бы нечего и преследовать. Вы привезли ее в большом количестве и распространяли со своими приятелями. У меня есть очень верные данные. Одному Костомарову вы предлагали для Москвы сто экземпляров. Ведь предлагали?

Я, конечно, отвечал, что нет.

— Костомаров сам вам это сейчас подтвердит.

Шувалов подошел к двери и спросил громко:

— Что, привезли арестанта... из крепости? — прибавил он, вероятно, для устрашения меня.

Я сильно сомневаюсь, сидел ли Костомаров в крепости.

Минуты через две (в кабинете было молчание; Шувалов закурил коротенькую папироску, ни он, ни я не садились) вошел Костомаров. Я не вдруг бы узнал его в каком-то толстом пальто и обросшего большой бородой. Он мне улыбнулся; но у меня не нашлось в ответ улыбки.

Известное письмо лежало уже на столе у Шувалова. Он положил его перед Костомаровым и сказал, указывая на известные буквы:

— Что это такое? «К молодому поколению»?

Костомаров молчал.

— Господин Михайлов сознается, что это так.

— Если он сознается,— сказал Костомаров,— то это действительно так.

— Предлагал он вам сто экземпляров?

Тут я перебил его, чтобы (глупое заблуждение) дать знать Костомарову, чего ему держаться в своих показаниях.

— Я не мог ему предлагать и не предлагал такое количество, потому что у меня самого было всего десять экземпляров. Но и их Костомаров у меня не видал. Он видел только один экземпляр.

— Так ли это, Костомаров?

— Так.

— Ступайте! — сказал ему Шувалов.

Я остался. Шувалов чрез минуту выглянул из кабинета и спросил:

— Ушел?

Ему там отвечали.

— Вы можете тоже теперь идти,— обратился он ко мне.

Не успел я выйти из кабинета, как ко мне вынырнул откуда-то из мрака Путилин и сказал по секрету:

— Попросите у графа, чтобы он возвратил письма госпоже Шелгуновой. Полковник давеча взял их к себе в карман. Их, пожалуй, представят при следствии.

От этих слов меня покоробило, но я промолчал.

Гусар с флюсом ждал уже меня, и мы отправились.

VII

Когда, пройдя двор с садиком, мы вошли в ворота, я взглянул на окна своего каземата. Окно рядом с моими окнами было освещено. Штора не была спущена, и мне показалось — у окна сидит девушка, белокурая, с распущенными на плечи волосами. Горянский, значит, не врал о женских арестах. Это меня встревожило.

Наш коридор был освещен газом. Вахтер явился за одеждой. Самохвалов (так звали сторожа — длинного унтера с черными баками) принес стакан чаю с хлебом.

Ночь я провел тревожно и почти не спал до самого света. Если эта ночь была первая, то не последняя.

Когда я лег в постель, Самохвалов принес ночник, поставил его на окно, опустил шторы, потушил свечу и пожелал мне спокойной ночи. Затем он запер дверь и вынул из нее ключ, который днем обыкновенно оставался в замке. Я думал, сердился и на себя, и на Костомарова, волновался, обсуживал и проворочался всю ночь с боку на бок. Понятно, какого рода мысли не давали мне спать. Я упрекал себя, что не стоял на совершенном отрицании всего, что сознался и в десяти экземплярах, хотя дело и могло окончиться в этом случае непродолжительным арестом. Я чувствовал уже, что Костомаров не поддержит меня. Мне становилось ясно, что Костомаров высказал все, что знал, и даже что подозревал. И в то же время мне не хотелось так дурно думать о нем. (Это-то и сгубило меня.) Я придумывал, как по-

ступать дальше; но видел, что уже сразу испортил дело. И надо всем этим господствовало опасение, как бы в дело не впутали других.

Во дворе было от времени до времени движение. Слышалось бряцанье сабель, приезжали какие-то тележки. Я вставал и смотрел в окно, отогнувши штору. Мне воображались целые истории арестов, которых, может быть, и не было. Только к утру движение совершенно прекратилось, за исключением мерных шагов смены, причем слышалась команда и бряцанье ружей. Тогда раздавались громкие шаги и в нашем коридоре. Гремела железная дверь, шагали солдаты, отдергивалась занавеска у двери, и лица с усами смотрели, что делает арестант. И часовой, оставшись уже один у двери, тоже по временам заглядывал.

Ночник у меня стал гаснуть. Мне не хотелось вставать, чтобы поправить его. Вдруг я услыхал голоса во дворе и потом на лестнице:

— Что ж это? там ночник погас. Зажечь!

— Эй, Самохвалов! в номере шестом ночник.

— Что, погас?

— Да. Дежурный увидал.

— Сейчас.

Я встал, поправил светильню спичкой, и она ярко загорелась. Мне не хотелось, чтобы ко мне лезли и ночью, и Самохвалов, заглянув в мою дверь, остался, по-видимому, очень доволен и произнес с удивлением:

— Горить.

С тяжелой головой пролежал я до рассвета, почти не умея еще сообразить и часов по смене. Я слышал и звон к заутрене и ранней обедне и заснул, видно, всего часа на полтора.

Чтобы позвать к себе сторожа, нужно было только постучать в стекло двери. Часовой передавал требование дальше.

Самохвалов принес умывальник и полотенце, подал мне умыться, убрал постель, вымел комнату и потом вскоре принес чаю. Он спросил меня, не желаю ли я чего-нибудь читать, и сказал, что у них есть книги, которые переходят из номера в номер, казенные. Я просил принести. Это были разрозненные номера «Русской беседы», «Библиотеки для чтения», «Revue étrangère». Читать в них было нечего, да и охоты у меня не было.

Часов до двенадцати я ходил из угла в угол или смотрел в окно. Во дворе проходили опять то жандармы, то чиновники, то дамы, вероятно, шпионские жены и дочери. Точно так же, как и накануне, приезжал в тележке курьер с бумагами, и пр. Окна не были закрашены.

VIII

Часов в двенадцать вахтер принес платье, пришел дежурный офицер, уже другой, другого полка, и я пошел опять в экспедицию. Тот же Горянский выложил передо мною две известные мне прокламации: к солдатам и к крепостным людям, разумеется придерживая их слегка.

При этом он сказал мне:

— Костомаров показывает, что он взял эти рукописи в квартире студентов Петровского и Сороки.

Это меня очень смутило возможностью новых компрометирующих показаний.

Может быть, это и глупо было с моей стороны, но опасение худшего заставило меня сказать, что только одно из этих воззваний мог он взять у Сороки, а другое получил от меня.

Когда я указал на строчки, написанные мною в прокламации к солдатам, Горянский был, по-видимому, удивлен. По их соображениям выходило (вопреки показанию Костомарова), что, напротив, прокламация к крестьянам написана моей рукой.

Вот и все почти, что произошло в это свидание. Да, я забываю одно.

Накануне я видел в экспедиции взятые у меня коробки с бумагами еще завязанными и запечатанными. Теперь не было на них уже ни бечевок, ни печатей и все из них было, по-видимому, выбрано. Это я заметил тотчас, как вошел, и тотчас же спросил Горянского, почему не призвали меня и не распечатали этих коробок при мне. Я мог бы при этом кое-что объяснить. Да к тому же для чего иначе было прикладывать к коробкам мою печать?

Горянский принял при этом несколько торжественный вид, насколько это было возможно при его фигуре, и заметил с гордостью:

— Вы забываете, господин Михайлов, что здесь кан-

целярия его величества. Печать ваша не имеет здесь значения.

И я-то наивен! Как будто не знал, что тут-то именно и письма специальным образом подпечатываются.

IX

Только что воротился я в свой номер, сторож принес обед, совершенно похожий на вчерашний. Но я не съел и двух глотков супу, как Горянский явился ко мне в номер. Обед и без того был мне противен; а тут я, разумеется, уже и в рот не мог его взять. Я сказал, чтобы его убрали.

Горянский старался отбросить свой официальный, чиновничий характер, но это ему не удавалось. Он сел, попросил позволения закурить папиросу и спросил меня, не знаю ли я, где в настоящую минуту студенты Сороко и Петровский. Их найти не могут. Оказалось, что до показания Костомарова на них и подозрения никакого не падало. Я же, напротив, по слухам, думал, что Сороко арестован.

Потом Горянский спросил:

— А где брат Костомарова, вы не знаете?

— Какой брат?

— А вот про которого он пишет, что донес на него.

— Да вы разве не знаете этого? — спросил я с удивлением.— Я-то его и не видывал никогда.

— Мы его давно ищем и не знаем, где он.

Я тогда же начал думать, что донос брата — выдумка Костомарова. Хотелось бы разъяснить эту историю.

Скажу несколько слов о Горянском. Вообще это редкий подлец, подлец до глубины души, до мозга костей. Я сказал, что в выражении лица у него не было злого; но подлость характеристически отпечатывалась в каждой черте, в каждом движении мускулов. У меня было довольно времени всмотреться в это гадкое лицо. Со второго дня моего ареста он меня посещал ежедневно в течение двух недель. Заходил и потом, но уже не так часто. Любопытнее всего было наблюдать за той игрой, которую он старался искусственно сообщить своему лицу. Игра эта не удавалась ему. Сухое, черствое лицо не поддавалось усилиям выразить то, что требо-

валось выразить в данную минуту, на основании тонких шпионских соображений. Но в усердии с его стороны в этом отношении не было недостатка. Напротив, он иногда, можно сказать, весь превращался в это усердие. Надежды терять, впрочем, нечего. Он еще молод. К старости, того и гляди, постоянная практика сделает свое, и его теперь неподатливое лицо будет принимать какую угодно маску, если только мы будем оставаться со своим тысячелетним терпением покорными зрителями этого разбойничьего вертепа у Цепного моста.

X

С этого второго дня моего ареста я могу более или менее одинаково охарактеризовать все дни моего заключения. В первые две недели я не знал ни одной спокойной минуты. Только вечером, да и то после известного часа, мог я уже не ждать посещения Горянского или Путилина или того, что меня потребуют в экспедицию или к Шувалову.

Говорить с этими господами было для меня истинной пыткой. Они постоянно делали мне в разговоре разные пугавшие меня намеки, на которые я старался не выказывать никакого ни любопытства, ни внимания, тогда как внутренно они меня очень тревожили. На принесенные мне Горянским вопросные пункты о прокламации «К молодому поколению» я ответил то же, что и на словах (рукописи, конечно, казались им не особенно важным делом). По этим ответам со мною нельзя бы было сделать ничего особенного. Я решился стоять на этом до конца, и, если б не страх, что Костомаров замешает еще кого-нибудь, дело окончилось бы разве высылкой меня из Петербурга. Намеки не сходили у Горянского с языка. Он играл передо мною, как фокусники играют ножами, разными именами, не уставая повторять их. Между прочим, мне предлагали вопросы о Вене, давно ли он приехал из деревни, был ли в Петербурге, когда я вернулся из-за границы. Но это было много спустя, почти перед самым переводом меня в крепость (вероятно, в это время держали его в Третьем отделении, дожидаясь, что я скажу).

Говоря об этих ежедневных вопросах, мучивших меня и сами по себе и особенно теми тревожными мыслями,

которые они всякий раз оставляли во мне,— я говорю, собственно, о посещениях Горянского, у которого я был, кажется, главным предметом наблюдения все это время. Путилин, не знаю почему (верно, по глупости своей), был для меня еще противнее; но он заходил реже, и я почти ни на один его вопрос не отвечал, так что он должен был поневоле уходить от меня довольно скоро.

Оригинальнее всего были расспросы Шувалова, к которому меня водили раз пять или шесть. Он обыкновенно спрашивал в таком роде:

— Как вы ни запирайтесь, а госпожа Шелгунова знала об этом деле. Это мне известно как нельзя лучше.

— Не знала.

— Нет, знала.

— Нет, не знала.

— Нет, знала.

И так далее, до злости.

— Ну, я понимаю,— переменял он тему,— что вы не хотите выдавать женщину; но брат ее знал. Мы не можем оставить его без наказания.

— Нет, не знал.

— Нет, знал и помогал вам.

— Нет, не знал.

— И что вы его защищаете? Знал.

— Нет, не знал.

— Знал, я вам говорю.

— А я вам говорю, что не знал.

Это он, должно быть, называл: не брать нахрапом. Пример допроса, приведенный мною, я взял из времени, следовавшего уже за моим показанием. До этого вопросы были и другие, но характер исследования был тот же.

— Зачем вы не хотите сказать, что распространяли прокламации *вы*?

— Да я не распространял.

— Распространяли.

— Нет.

— Распространяли.

— Нет же!

Кроме допросов Горянского, меня, впрочем, ничто не смущало. Он с каким-то особенным искусством умел разнообразить свои вопросы и томить меня по целым часам.

XI

Дни, разнообразные только по моим беспокойным думам, тянулись так. Я вставал около семи-восьми часов. Следовало умыванье, питье чая, к которому не подавалось молока и давалась трехкопеечная булка. Потом начиналось досадное ожидание посещений. Я пробовал читать, но не находил в этом развлечения. Я спросил у Шувалова газет, и мне приносили «Петербургские ведомости», «Инвалид». Но это было только в первую неделю. Потом газет мне не стали давать. Таким образом, я лишь случайно узнал по попавшему ко мне отдельному номеру «Русского мира», что университет закрыт. Об этом событии я, правда, слышал от Путилина и от смотрителя, но не совсем им поверил. Достаточно было пробыть тут три-четыре дня, чтобы видеть, что изо всего рассказываемого по меньшей мере три четверти оказывается ложью.

Поутру обязан ходить по номерам дежурный с вопросом, не желает ли арестант чего-нибудь. Но ко мне дежурные не всегда заходили. Эта подающая надежды молодежь часто ограничивалась тем, что, отдернув занавеску двери, заглядывала ко мне в стекло. Утром же довольно часто заходил ко мне смотритель, капитан Зарубин. Он сообщал мне преимущественно театральные новости. На каждую новую пьесу он ездил. Вдавался иногда и в политику и либеральничал. А вслед за тем жаловался на бездну хлопот в Третьем отделении. Все, говорил, так было хорошо. Сколько времени почти все номера стояли пустыми, а теперь не знаешь девать куда всех, кого арестуют. «Правительство ведь идет же понемножку вперед,— рассуждал он.— Нельзя же вдруг. А вы, господа прогрессисты, очень уж торопитесь. Все бы вам сразу».

День, два, три и четыре я не прикасался к обеду. Не говоря уже о том, что он успевал простыть по пути из трактира (откуда его брали), а если его подогревали, то вонял салом и вообще был довольно противен; я не мог есть и потому, что приносили его в двенадцать, в час. Это случалось, значит, или непосредственно вслед за приятными беседами со мной моих милых следователей, или в ожидании их, или же, наконец, во время самых визитов. Только в сумерках я как будто чувствовал себя немного легче. Беспрестанные отворянья же-

М. Л. Михайлов
Фотография 1861 г.

лезной коридорной двери, голоса разных местных распорядителей, шаги их и распоряжения по коридору только тут умолкали. В остальное время, прислушиваясь к этим голосам и шагам, я того и ждал, что вот идут мучить меня разговорами. Это так и случалось. Капитан Зарубин был наиболее сносным исключением. Он, по-видимому, не имел ни обязанности, ни особенного призвания разузнавать у меня что-нибудь, говорил больше сам, и все-таки я узнавал от него, хоть урывками, кой-какие новости. Я ему сказал, что совсем не могу есть так рано, и он мне предложил присылать обед в четыре или в пять часов. В двенадцать же я хотел иметь кофе. Он и на это согласился. Около сумерек чиновники расходились из присутствия по домам, Шувалов (если бывал в Третьем отделении) тоже уезжал. Значит, можно было вздохнуть посвободнее. Я следил обыкновенно из окна, как они расходятся. Перемена времени обеда не прибавила мне, однако ж, аппетита. Я заметил некоторое изменение в характере блюд и спросил у Самохвалова, не из другого ли это трактира обед. Он сказал мне, что об эту пору они из трактира обед не берут, а этот от капитана Зарубина, который снабжает им всех арестантов, обедающих так поздно, как я. В это время и сам он обедает.

— Такая эта капитанша милосердная,— заметил Самохвалов,— что поискать другой.

Его удивляла моя умеренность. Я редко ел что-нибудь, кроме супа да салата, иногда разве только оставлял у себя кусок какого-нибудь сухого пирожного.

— Что вы не кушаете, ваше высокоблагородие? — говорил он ласковым и добродушным тоном.— Разве не нравится вам?

— Нет, не естся что-то.

— Да вы огорчаетесь, я полагаю, ваше высокоблагородие? Так вы не огорчайтесь. Что ни бог! что ни бог, ваше высокоблагородие! У нас иные и по десяти месяцев сидели, да на волю выходили. Что ни бог, ваше высокоблагородие!

Не было почти дня, чтобы у меня не болела голова и не билось сердце до тошноты. Я продолжал мучиться бессонницей. Ночь проходила у меня в возне с боку на бок. Если я и засыпал на полчаса, на час, то этого нельзя назвать сном. Какая-то чуткая дремота это была, наполненная в то же время беспорядочными и неприят-

ными грезами. В них все продолжались и допросы, и думы мои, и опасения. Малейший шум в коридоре будил меня. Сплошь и рядом я не мог разобрать, дремал ли я или просто думал. Я с тоской ждал, считая смены, скоро ли дневной свет сделает ненужною эту лампадку, тихо потрескивающую на окне. Я потребовал на третий или четвертый день взятые с собою книги и хотел начать писать. Мне дали и бумаги, и перьев, и чернил. Но книг моих разом мне не дали, а давали по одной, по две. Мне казалось, что во время письма мне удастся лучше сосредоточить свои мысли на чем-нибудь постороннем. Но это было заблуждение. Писать мне было еще труднее, чем читать. Только сильнее разбаливалась и тяжелела голова. Я бросил и это и, оставаясь один, только ходил из угла в угол, считая концы. Таким образом, и тут (как потом, в крепости) мне случалось насчитывать в течение дня до 1500 концов. Устав ходить, я ложился на постель и рассеянно читал. Иногда, застав меня лежащим, Самохвалов замечал: «Вы опять на койк*ю* (он произносил именно так мягко) легли, ваше высокоблагородие, должно быть, все огорчаетесь. Что ни бог, ваше высокоблагородие. У нас что,— вот, не дай бог, в крепости! А здесь что? Подержат, да и выпустят. Что ни бог, ваше высокоблагородие!»

Я вступал с ним иногда в разговор и старался его порасспросить кой о чем. Но он трусил отвечать, понижал голос и косился на дверь. Он жаловался, что дела ему много, что все номера в его отделении заняты, что с одними обедами хлопот пропасть. А там еще уборка комнат, чай и пр.; что некоторые арестанты так пачкают пол и сорят сигарами, что надо каждый день мыть; что некоторые очень капризны, сердятся, кличут каждую минуту за вздором, беспрестанно спрашивают, который час.

— Хочу уж часы в коридоре повесить. Есть там в сторожке. Пусть тут бьют.

Он и сделал это. Но боем часов я наслаждался всего дня два. Начальство приказало их снять. Верно, считало это баловством. Моих часов мне не давали, хотя я просил не раз.

Я спросил Самохвалова, есть ли между арестантами женщины. Он сначала не хотел отвечать, но потом сказал шепотом, что теперь нет, а бывали. Только им прислуживают бабы, а не он. Мне хотелось знать, кто же

это около меня. Он сказал, что это молодой человек, совсем мальчик, волосы по плечам. Я догадался потом, что это был один московский студент. Я видел его, из окна, во дворе, в студенческом мундире, и думал, что его выпускают на свободу; но — как мне сказали потом в следственной комиссии — его перевели только из Третьего отделения на съезжую (кажется, Обер-Миллер фамилия). В другой раз я увидал в окно — как мне показалось — Владимира Обручева, идущего с дежурным офицером, вероятно, из экспедиции. Я думал, не ошибся ли. Но это потом подтвердилось. Но чаще всего, по нескольку раз в день, видел я одного арестанта: господина с седой французской бородкой, в сером инвернесе. Меня удивляло, что его так часто допрашивают; но Самохвалов объяснил мне, что он ходит просто гулять по садику. Я мог бы тоже отправляться на прогулку, но у меня не было на это ни малейшей охоты.

Пред арестом моим я слышал, что в Третье отделение взят некто Перцов, тоже отчасти литератор. Я почему-то решил, что это именно он. Раз он вышел с каким-то узелком. Во дворе стояла извозчичья карета. Он сел в нее один и уехал. Я так и думал, что его освободили. Видя его потом во дворе, я предполагал, что он приходил за какими-нибудь справками. Но жандармы, везшие меня до Тобольска, сказали мне, что он все еще содержится у Цепного моста, а тогда ездил, в сопровождении вахтера, в торговые бани. Раза два-три проходил по двору Боков. Он смотрел на мои окна и, вероятно, узнал меня. Я нарочно становился ближе и смотрел в открытую форточку. Однажды он поднял руку ко рту и сделал как будто три воздушных поцелуя. Может быть, они относились к Обручеву, а может быть, и к обоим нам. Я забыл сказать и скажу теперь кстати, что меня не раз спрашивали, не известно ли мне, откуда идет «Великорусс». На отрицательный ответ мне замечали: «Знаете, да сказать не хотите». Но и только.

XII

Почти две недели допросов и надоеданий не подвинули дела моего ни на шаг, и я уже начинал думать, что тем все и кончится. Однажды, призванный к Шувалову, я услыхал от него следующее:

— Я имею положительные данные, что прокламацию «К молодому поколению» написали вы.

— Какие же?

— Мне говорил один литератор, что вы читали прокламацию свою в рукописи еще другому литератору, то есть не литератору, а брату литератора, именно Серно-Соловьевичу,— что вы на это скажете?

— Что это выдумка. Какой вам это литератор говорил?

— Да Костомаров; вы с Соловьевичем советовались, и он еще говорил вам, что вы этою прокламацией восстановите против себя всех помещиков. Вы ему читали это перед своим отъездом в Лондон.

— Что это вздор, ясно уж из того, что я с Серно-Соловьевичем познакомился по приезде из-за границы.

Шувалов несколько смутился.

— Действительно?

— Да.

Об этом потом он уже не поминал.

XIII

Вскоре после этого ко мне явился Путилин с портфелем под мышкой. Он вынул оттуда печатку в виде ручки с бархатным рукавом и спросил, знаю ли я эту печатку. Она была очень хорошо мне знакома.

— Нет.

Он вынул несколько конвертов, прошнурованных и пропечатанных, и показал мне адреса.

— А это вы писали?

— Я.

Это были адреса моих писем к Костомарову.

Он вынул еще два пакета и показал мне.

— А это?

— Это не я.

— Вы только себе вредите, не сознаваясь,— заметил Путилин.— Это ваша же рука, и печать вот эта ваша.

Он повернул пакеты другой стороной.

Довольно долго приставал он ко мне и с другими вопросами, слышанными мною уже сто раз. Наконец сказал, что Костомаров прямо говорит, что прокламацию привез я в большом количестве, предлагал ему взять в Москву сто экземпляров и пр.

— Вы это от него самого услышите-с,— прибавил он.— Вам дадут с ним очную ставку. Он это все на очной же ставке показал. Тут из Москвы есть один господин теперь.

Не добившись от меня ничего, Путилин ушел.

Не больше как чрез четверть часа после его ухода меня позвали в экспедицию.

XIV

Там встретил меня Горянский почти теми же вопросами, как и Путилин. Он говорил, что «нравственное» убеждение их, то есть Третьего отделения, в моей виновности так сильно, что они употребят все средства добраться до конца в своих открытиях. На сцену опять явились печать, конверты и пр. Он что-то заговорил было о чернилах, о сургуче; но, видно, сам увидал, что зарапортовался, и потому поспешил поправить дело, показав мне ответы Костомарова на предложенные ему вопросные пункты. Эти ответы были действительно очень компрометирующего характера. В них он говорил о прокламации «К молодому поколению» как о *моей* брошюре, утверждал, что ни у кого и быть ее не могло в Петербурге, кроме меня; о числе привезенных мною экземпляров он не упоминал, но в то же время на вопрос, зачем я привез их, отвечал,— вероятно, по его мнению, остроумно,— что, конечно, не с тою целью, чтобы оклеить экземплярами воззвания стены своего кабинета вместо обоев. Он подтверждал также, что рассказывал в Москве о моем предложении ему взять прокламацию с собой,— и еще немало было глупостей самого скверного свойства в этих ответах. По особенному тупоумию меня более всего поразил, помню, ответ на вопрос: зачем он, Костомаров, предупреждал меня письмом? «Затем,— отвечал Костомаров,— чтобы Михайлов, получивши письмо, уничтожил все экземпляры (!), и тогда если б письмо и попалось в руки полиции (?), то нельзя было бы никак догадаться, о чем в нем идет речь». Этот ответ, чуть ли не дважды подчеркнутый Горянским красным карандашом, как особенно замечательный, рассмешил меня. На все красноречие Горянского я ответил одним, что к тому, что сказал раз в своих ответах, я ничего не прибавлю, да и прибавлять мне нечего.

— Вот сейчас сам господин Костомаров будет здесь. Вы поговорите с ним.

Я и не думал, какой оборот могло принять и приняло это свидание. Я решился не принимать на себя ничего более того, что уже принял, и, конечно, выдержал бы свое решение, если б Костомаров не вывел меня из терпения своими упреками. Он пришел в сопровождении Путилина. Горянский попросил его объяснить разные пункты в его ответах. Я уже не помню хорошенько этих объяснений, но мне памятно, что Костомаров как-то неловко старался вывернуться из нелепых фраз. Например, относительно того, что он воззвание постоянно именовал *моей* брошюркой или статьей, он сказал Горянскому что-то вроде этого: «Ведь, говоря про этот стул, на котором вы сидите, что этот стул *ваш,* я этим не хочу сказать, что он принадлежит вам». Когда дело дошло до рассказов его в Москве о прокламации, Путилин с сладостною улыбкою сообщил, что г. Костомаров подтвердил сказанное в ответах сейчас на очной ставке. Горянский спросил его. Он сначала молчал, потом сказал, что он действительно подтвердил сейчас на очной ставке, да и теперь подтверждает, что рассказывал, что в сентябре месяце может добыть сколько угодно экземпляров воззвания. Я на это заметил ему, что он мог говорить такую вещь и не имея на это прочного основания. «Всякому из нас,— сказал я,— случалось в разговорах преувеличивать. И вы, верно, не станете утверждать, что говорили на этот раз правду». Я уже начинал сильно сердиться. Костомаров стоял на своем. Я очень кротко, стараясь выбирать выражения, напомнил ему один пример сделанного им преувеличения в разговоре со мной. Он вдруг вспыхнул и рассердился.

— Вы хотите, кажется, свалить все на мою голову,— сказал он мне.— Валите, валите!

— Я ничего на вас не валю, да и нечего мне валить. Напротив, все, что касалось меня в вашем деле, я объяснил, хоть и со вредом для себя.

— Говорите, господин Костомаров,— сказал Горянский.

— Да что мне говорить? — возразил Костомаров.— Он (указывая на меня) хочет играть роль невинной жертвы. Ну, обвиняйте меня!

— Нам не обвинить кого-нибудь нужно, а узнать истину,— сказал Горянский.— Говорите, господин Костомаров.

Костомаров помолчал и потом резко сказал:

— Не удивительно, что я молчу, а удивительно, что молчит он.— Он показал на меня.

— Что такое вы сказали? — вскричал Горянский.— Это замечание важное, и вы должны написать его.

Он положил лист бумаги на конторку, облокотясь на которую стоял Костомаров, и подавал ему перо. Костомаров не брал пера.

— Нет, вы должны это написать, должны,— настаивал Горянский.— В ваших словах намек очень серьезный, и он должен быть разъяснен. Пишите же, господин Костомаров. Как это вы сказали? Не удивительно, что молчите вы, а то удивительно, что молчит господин Михайлов. Извольте написать эти слова.

Костомаров все еще колебался. Я едва сдерживал злобу, которая раскипалась во мне.

— Господин Костомаров никогда не покажут несправедливо,— вмешался сладким голосом Путилин, вообще мало тут говоривший и бывший, вероятно, лишь в качестве свидетеля.— Я их довольно хорошо знаю по Москве.

— Пишите, Костомаров,— сказал и я.

Он уже взял перо, но только занес его над бумагой, я остановил его словами, что у меня было гораздо большее число экземпляров, чем я показывал. Я сказал тогда, кажется, что сто пятьдесят, но потом в показании прибавил еще сто, потому что иначе не мог достичь нужного правдоподобия. Длить эту сцену очной ставки в экспедиции мне стало омерзительно. Я боялся, что она примет еще гаже характер, и уже не в ущерб мне, а, может быть, и другим. Надо было покончить. Костомаров отошел к окну, опустился на стул и начал плакать, говоря бессвязно: «Ко мне пристают с утра до вечера. Мать моя в горячке...» Путилин предложил ему выпить стакан воды. Он подошел к столу, выпил и сказал, что желал бы уйти. Горянский объявил, что это можно. Я забыл упомянуть, что, как только я сказал о том, что у меня было сто пятьдесят экземпляров воззвания, Горянский обратился и ко мне с требованием, чтобы я написал это. Я отказался наотрез и сказал, что мне в таком случае мало писать

одну цифру, что я напишу все, что нужно, у себя в номере, а отвечать на отдельные вопросы теперь не стану, не хочу. Горянский выразил было какое-то колебание; но Путилин обратился к нему (обычная уловка) с такими словами:

— Да господин Михайлов напишут. Разве можно в этом сомневаться? Уж если они раз сказали, то, конечно, напишут.

Вслед за Костомаровым ушел в свой номер и я.

XV

Горянский стал томить меня еще чаще своими посещениями. Он уже не предлагал мне вопросных пунктов, а сказал, чтобы я написал просто показание. Ты знаешь уже это показание в его позднейшей форме. Прежде чем оно приняло ее, оно было вдвое короче. Но я должен был прочесть его Шувалову в черновой рукописи, и многие подробности явились только вследствие того, что им в первоначальном виде не удовольствовались бы и все-таки предложили бы мне еще немало вопросных пунктов. Я не помню теперь всего; но укажу кое-что. Так, например, у меня сначала было глухо сказано, что я привез воззвание с собою, а о происхождении его не говорилось. Это прибавлено. Так точно не упоминалось в нем и вашего имени. Но Шувалов и все его клевреты говорили, что я приехал вместе с вами и что в Лондоне вы должны были находиться вместе со мною. Надо было и на это ответить. Вообще многое, что казалось мне самому потом совершенно излишним (когда мне прочли это показание пред судом), было вызвано назойливыми вопросами и придирками в Третьем отделении. Когда, по-видимому, все было удовлетворено, Шувалов, прослушав показание, сказал мне: «Вам, конечно, все это неприятно. Но, согласитесь сами, принявши единожды это место, не мог же я поступить иначе». Он сказал мне, что будет стараться и надеется, что меня не более как отправят куда-нибудь в отдаленную губернию на жительство. Но может, конечно, случиться, что государь захочет меня предать суду. Потом прибавил (повторив уверение в своей честности), что у него было в руках несколько писем, взятых во время обыска жандармским полковником, но так как

мне могло бы быть неприятно, если они попадут в чужие руки, то он передал их запечатанными вам. Это (как оказалось) было вранье, которым он поддерживал вранье Путилина. Писем никаких Житковым не было взято.

Горянский пришел ко мне вскоре с просьбой указать ему кого-нибудь из моих знакомых, кто сообщил бы ему о моих прежних литературных занятиях. Это было нужно ему, как он говорил, для будущего доклада государю. «Я пошел бы к Аполлону Николаевичу Майкову или Николаю Алексеевичу Некрасову. Я их несколько знаю. Но вы ведь знаете, как на нас смотрят. Скажут: шпион!!» Он особенно выразительно произнес слово *шпион,* словно хотел передать во всей силе то презрение, с каким его обыкновенно произносят. Горянский, как он говорил мне как-то, сам сочинял стихи и чуть ли не носил какую-то поэму своего произведения к Некрасову. Я вызвался лучше сам ему продиктовать, что ему нужно. Только после этого показания я стал немного покойнее и по ночам перестал метаться без сна. Чтение, однако, все-таки плохо развлекало меня, хотя, признав за собою всю вину, я уже перестал тревожиться за спокойствие других. Другая тревога, за себя, была слишком ничтожна в сравнении с тою.

XVI

Я почти забыл, что письмо Костомарова сделало меня прикосновенным и к другому делу, по которому следствие производилось особой комиссией. Забыть было и нетрудно. Оно было слишком ничтожным для Третьего отделения сравнительно с тем, что им нужно было узнать, для чего у меня было произведено два обыска и сам я был арестован. Нет сомнения, что, будь у них в виду только эта прикосновенность моя, и обыск у меня не повторился бы и меня позвали бы в следственную комиссию, не арестуя.

Совершенно неожиданно принесли мне раз вечером платье, и смотритель пришел объявить, что я поеду сейчас в следственную комиссию для отобрания от меня показания. Я поехал в извозчичьей карете, в сопровождении молодого офицера, капитана Федорова, не знаю, какого полка, будущего кандидата в жандармы, прикован-

дированного с этою целью к Шувалову. На козлы рядом с кучером сел вахтер. Редко встречал я таких дураков, как этот офицер. Глупость его выказывалась в разных рассуждениях, с которыми он не отставал от меня всю дорогу от Цепного моста по Миллионной и Большой Морской. Не знаю даже, могу ли я назвать этого господина и не вполне испорченным человеком. Он выказывал, что стыдится своего положения, и старался как будто оправдаться в том, что поступил в жандармский штаб, с тем чтобы получить со временем место в провинции, что-нибудь вроде адъютанта при жандармском штаб-офицере. Он в то же время с какою-то завистливою восторженностью говорил о быстрой и блестящей карьере Шувалова и изумил меня немало, когда вдруг произнес от слова до слова формулярный список шпионского начальника. Он как-то упомянул, что был сначала преподавателем истории где-то в военно-учебном заведении. В хронологии действительно был силен. Он только что не называл мне месяцев и чисел, когда Шувалов был произведен в такой-то чин, переведен на такое-то место; но года приводил он с точностью хронологической таблицы. Чтобы оправдать свои жандармские стремления, он пускался в восхваление гуманности Шувалова и говорил, что все стремления этого добродетельного сановника направлены на то, чтобы «облагородить» службу по жандармскому ведомству, чтобы люди всё служили образованные (при этом бывший преподаватель истории имел, вероятно, в виду и себя), чтобы уничтожить всякие тайные допросы (мне-то это было кстати рассказывать) и предоставить все дела, бывшие прежде исключительною специальностью Третьего отделения, обыкновенному суду, а самим только наблюдать за чиновниками по всей империи: не брали бы взяток, и проч. Мне любопытнее было узнать что-нибудь про городские новости: но он ничего не знал или не хотел говорить, кроме того что дебютировал в итальянской опере какой-то новый певец да что приехала какая-то новая танцовщица. Он выразил мне, кроме того, свое сочувствие к литературе, сказал, что предпочитает всем журналам «Время», и пожалел, что в этот месяц «Современник» запоздал.

Странное чувство не оставляло меня во весь этот недалекий переезд. Окна кареты были опущены, и я с ка-

кою-то жадностью смотрел по сторонам, всматривался в лица проходивших по освещенным тротуарам Большой Морской, будто хотел узнать в толпе хоть одно знакомое лицо. Мне хотелось в то же время ударить по виску и оглушить этим моего спутника, вмешаться в толпу и вдруг неожиданно явиться у Аларчина моста.

— Нельзя ли нам проехать мимо бывшей моей квартиры,— сказал я неумолкавшему жандармскому кандидату.— Мне хотелось бы посмотреть хоть на ее окна.

— А где вы жили?

Я сказал.

— Ах, жаль, что не по дороге. Я, знаете, с удовольствием бы, но это в сторону. Как бы чего не вышло. Вон вахтер ведь у нас на козлах.

Я не настаивал. Первая адмиралтейская часть находится на Большой Морской, рядом почти со зданием почтовых карет, откуда я провожал тебя в предпоследнюю нашу поездку за границу. Тут-то собиралась комиссия по делу печатания и распространения московскими студентами запрещенных сочинений под председательством, как сообщил мне мой проводник, действительного статского советника Собещанского.

XVII

Мы въехали во двор, поднялись по довольно узкой лестнице во второй, а может, и в третий (уж не помню) этаж, и я вошел в тускло освещенную, довольно большую комнату, где стоял посредине письменный стол и сидели мои следователи, весело разговаривая и куря. Проводник офицер остался в комнате рядом, между прихожей и той, где производилось следствие. В числе следователей мне было одно знакомо лицо. Это был Стороженко, которого я раза два-три встречал у Дружинина. Из остальных я ни с кем не встречался прежде. Кроме председателя Собещанского и Стороженко, я узнал имена Фонвизина и Любимова (обер-секретаря сената). Кажется, это были и все, не считая канцелярских чиновников, сидевших за другими столами. О комиссии этой, собственно говоря, нечего бы и поминать; я вписываю только для полноты факт моего визита в первую адмиралтейскую часть. Следователи (насколько я могу судить по двум сделанным

мне допросам) были всё люди порядочные. Им, по крайней мере, не для чего было заранее считать меня преступником, как это было в Тайной канцелярии. Мне предложили в оба раза по нескольку вопросов такого рода: зачем были у меня взятые при обыске две книги и портрет? Справедливо ли показание Костомарова, что одна из взятых у него рукописей писана мной? Зачем я передавал их? Я ответил, что одна рукопись действительно переписана мной с дурного списка, где были пропуски, а другая, не помню откуда, попала ко мне как интересная новость, ходившая, как я слышал, по рукам в рукописи; что передавал я рукописи для прочтения — и только. Пока изготовляли вопросы, за столом шел общий разговор о других предметах. Я сидел насупротив председателя и принимал в разговоре участие. Тут я узнал, что студенты по делу типографии все содержатся при полиции, а не в Третьем отделении, что некоторых они распускают по домам; что одного выпущенного, не имевшего при себе ни гроша, приютил в своей квартире Стороженко; что они собираются всею комиссией в Москву для получения сведений на месте. Оба раза я ездил в следственную комиссию вечером с тем же глупым офицером и возвращался в свой шестой номер у Цепного моста часов около девяти или десяти; между допросами у меня было дня три промежутка.

XVIII

Хотя ко мне, после того как я отдал свое показание, стали реже заглядывать шпионские физиономии, но я все-таки не был настолько спокоен, чтобы чем-нибудь заниматься в течение дня. Читать давали только старые русские журналы, давно мною читанные. Только под вечер я стал пробовать хоть переводить что-нибудь в стихах из тома «Chambers»'а, бывшего у меня. Несколько тревоги, хотя и много удовольствия, доставила мне весть, принесенная Зарубиным, о беспорядках в университете. Хотя он говорил и глухо как-то, но я мог понять, что дело не шуточное. Он же сообщил мне потом о множестве арестов и говорил, что арестованы все, кто издавал «Великорусса».

Раз во время обеда пришел Путилин, как я понял, с целью узнать впечатление мое при вести об аресте студентов, именно первом, когда был арестован и Веня. Я спокойно выслушал его рассказ, что студенты наделали «глупостей» в университете, нагрубили начальству и что многие арестованы и университет закрыт. Вероятно, с тем, чтобы вызвать у меня вопрос, не арестован ли Михаэлис, Путилин сказал мне: «Ваши все здоровы, кланяются вам». По-видимому, он так и ждал, что я спрошу: «А где вы их видели?» и «по какому случаю?» Но в тоне его на этот раз было столько фальши, что я был убежден, что он врет, и не спросил ничего, даже не сказал ни слова. В этот или в другой раз он сказал мне, что Костомарова очень огорчает, что я на него сержусь за его образ действий, и что он просил его, Путилина, передать мне его огорчение. К этому времени относятся предложенные мне Шуваловым вопросы о Вене, которые я привел выше. В это время он, вероятно, сидел в Третьем отделении.

XIX

Горянский, заходя ко мне, говорил обыкновенно, что он является не как чиновник, а как частное лицо, и принимал при этом огорченный вид. Он предлагал мне в то же время, понижая голос, передать что-нибудь — на словах и, пожалуй, письмом — моим друзьям. Нашел дурака. В разговоре у него то и дело проскакивали фразы, из которых ясно было видно, что ему хочется выведать от меня еще кое-что. Он начал, между прочим, говорить мне, что для доклада государю мне следует изложить дело как можно короче, в форме письма, что всего показания моего государь читать не станет (слишком длинно) и что резолюция на таком письме решит мое дело. Без этого письма, как он утверждал, я не избегну суда, который может кончиться для меня плохо, а главное — что суд не ограничится мною одним, а постарается притянуть и всех, кто только был со мною в дружественных отношениях. Какой мог быть назначен суд, я не знал, и мне представлялись те судебные комиссии, которые отличались в царствование Николая Павловича. Я не настолько был убежден в нашем прогрессе, чтобы предпо-

лагать невозможною такую комиссию, как, например, по делу Петрашевского. Следствие в адмиралтейской части не могло успокоить. Я видел очень хорошо, что Третье отделение смотрело на дело московских студентов далеко не так серьезно, как на мое.

XX

Порядок жизни шел между тем неизменно в нашем коридоре и в моем номере; нарушение его заключалось только в том, что в окна вставили двойные рамы. Когда в моем номере возился стекольщик с мальчиком, на меня напала особенная злость. Как будто я должен был остаться тут на зиму! Потом раза два случалась необычная возня по коридору, с криком и растворянием железных створов.

— Что это там было такое? — спрашивал я Самохвалова.

— Кровать вносили.

— Какую? Зачем?

— Да вот тут в номер. Там одна кровать, так теперь другого туда еще сажают. Другую и койку надо.

— Разве уж места нет?

— Должно быть, что нет, ваше высокоблагородие. А впрочем, не знаю.

Раза два-три Самохвалов объявлял мне о том, что ждут Шувалова, что он собирается обойти все номера по случаю скорого возврата князя (Долгорукова). Самохвалов с особенною тщательностью тер полы мокрой шваброй и потом душил меня дымом каких-то благовонных порошков, которыми окуривал коридор и номера. Но Шувалов так и не был. Он вскоре после моего показания (то есть после студенческой истории) совершенно перестал ездить в Третье отделение, где бывал до того ежедневно. Эти сведения сообщал мне Самохвалов, да я и сам мог знать, когда Шувалов тут, когда нет, по его экипажу во дворе. До меня стали доходить слухи, что он болен, что собирается вскоре за границу; Самохвалов говорил, что вместо его назначен будет Анненков, брат апоплексического критика; но это не подтвердилось.

XXI

Взамен ожидаемого Шувалова ко мне в номер явился не ожиданный мною вовсе шпион генеральского чина Кранц, со звездою на фраке. Это был господин значительно пожилой, довольно высокий, но немного согнутый, с вьющимися русыми волосами с проседью; лицо круглое, слегка рябоватое, не особенно неприятное, кроме маленьких глаз, которыми он не смотрел прямо и которые как будто хотел спрятать под сильными очками. Я его видел постоянно во фраке со звездой; сапоги были у него без каблуков, и он ступал неслышно, как кошка. Голос мягкий и тихий, впрочем, как у всех в этом шпионском царстве. Он начал свое знакомство со мной почти теми же словами, как и Горянский: объявил, что очень уважает мой талант, но к этому прибавил, что я сделал непростительную («извините за мое выражение, но я вам говорю от души») ошибку. Ошибка была, видите ли, в том, что я не хотел понять, что государь совершенно одинакового со мной образа мыслей! По словам Кранца, он был в отсутствии, ездил в свою деревню, только что воротился и лишь вкратце успел познакомиться с моим делом.

Он повторил мне слова Горянского о необходимости письма к государю, чтобы дело было предоставлено административному решению. Потом он попросил у меня позволения закурить папиросу (он курил тоненькие папиросы, самые легкие, дамские какие-то, что было как-то некстати в Тайной канцелярии), сел и начал меня спрашивать о Герцене: когда я с ним познакомился, когда виделся в последний раз, как он живет и где, большое ли у него знакомство в Лондоне. Я отвечал общими местами.

— А правда ли,— спросил он,— что Герцен был нынче в Гамбурге и оттуда собирался в Петербург?

— Вам это лучше знать,— отвечал я,— а я ничего подобного не слыхал.

XXII

Не помню, в тот ли же день или на другой, только что-то вскоре после первого визита этого почтенного старца ко мне пришел Горянский и тоже (чего прежде с ним

не бывало) начал расспрашивать меня о Герцене. Он только что вошел ко мне, как сказал: «Знаете, какие нелепые слухи распространились о вас по городу, господин Михайлов? Рассказывают, что вас здесь, в Третьем отделении, отравили. Ну, есть ли в этом смысл? Кажется, кроме уважения, вам здесь ничего не оказывается». Затем Горянский, разумеется, сказал, что он пришел побеседовать со мною как человек, а не как чиновник, и почти ex abrupto[1] перешел к вопросам, очень интересовавшим его как человека, а не как чиновника, именно о частной жизни Герцена. На большую часть вопросов я ему отвечал, что он может это узнать из «Колокола» (например, о квартире) или же из «Былого и дум». Затем на некоторые я отзывался незнанием, а на другие отвечал явную дичь, которую Горянский тем не менее благоговейно принимал к сведению. В вопросах этих не было ничего любопытного. Это были все большей частью справки о том, хорошо ли, то есть богато ли, Герцен живет, много ли он получает от своих изданий, большой ли у него круг знакомых, бывает ли он в таких домах, например, у важных членов парламента, где бывает и наше посольство, и т. п.

Наконец он спросил:

— А русские газеты он получает?

— Как же.

— А есть у него портреты русских кого-нибудь?

— Есть.

— Коллекция?

— Да, и довольно большая.

Мне казалось, он имеет в виду известное, очень распространенное сведение о том, что у Герцена есть портреты шпионов, находящихся на посылках у Тайной канцелярии.

— А есть у него любовница? — спросил под конец Горянский.

Я уж тут не мог удержаться от смеха. Он, должно быть, понял всю неловкость своего вопроса после того известия, которым начал разговор со мною, пробормотал что-то о том, что он интересовался всем этим *лично,* как человек, а не как чиновник, и поспешил удалиться.

---

[1] Здесь — сразу.

XXIII

Кранц приходил ко мне еще раза три. Раз он принес показание мое и говорил, что оно неудовлетворительно.

— Чем же?

— Вы не одни распространяли воззвание — это раз. Потом, вы не показали, кому вы передали остальные экземпляры. Вы привезли их больше.

— К тому, что мною написано,— отвечал я,— я не имею ничего прибавить.

— Скажите лучше, не хотите.

— Не имею.

— Я не буду настаивать,— сказал он,— но вам не избегнуть ответа на эти вопросы.

— Вы знаете мой ответ.

Потом он принес мне два или три конверта, в которых была разослана прокламация, и сказал, показывая их:

— Это не вы писали.

— Нет, я.

— Это не ваша рука.

— Я изменил свой почерк.

— Это женская рука.

— Может быть, и похоже на женский почерк, а писал-то все-таки я.

— И это?

— И это я.

Кранц ушел; это было уже в конце месяца после моего ареста.

XXIV

Ровно через месяц, именно 14 октября, Кранц пришел ко мне поутру, говоря, что я, желая, чтобы мое дело кончилось административно и в него не были впутаны другие, должен написать короткое письмо к государю и что это надо сделать сегодня же, потому что приезда его ждут с часу на час. Как ни возмущалось все во мне против этого, но суд страшил меня тем, что к нему будет призван Костомаров и его ответы запутают дело и бросят тень подозрения на кого-нибудь, кроме меня. Я после увидал, что вправе был этого бояться, если бы Костомарова Третье отделение не выгородило из суда. Я постарался написать покороче, с строгим соблюдением

казенных форм, и только подтвердил в нем те мотивы, которыми оправдывал распространение прокламации и в показании. В три часа старец со звездой зашел ко мне опять, сказал, что он сейчас едет к Шувалову, взял мое письмо в карман и тотчас ушел. Не прошло и получаса, как ко мне явился Горянский с похоронно вытянутым лицом и, вздыхая, сказал мне, что принес мне неприятную весть.

— Что такое?

— Сию минуту пришло высочайшее повеление о предании вас суду. (Потом я узнал, что оно пришло накануне или даже за день.)

— Как же письмо-то?

— Мы уж отправили его; но повеление пришло по телеграфу сейчас.

Меня злость взяла. Тут только я слишком поздно догадался, что вся эта махинация была подведена, чтобы я не мог отказаться перед судом от моего показания. Письмо считалось актом полного сознания, и отречься теперь от показания значило бы удвоить свою виновность. Я хотел сделать перед судом другое,— именно объяснить причины написания этого письма. Ты знаешь, отчего я этого не сделал.

— Вы сегодня переедете от нас в крепость,— дополнил свое известие Горянский.— Вот как смеркнется. Мы употребляли все старания,— продолжал он,— чтобы дело обошлось тише и не так ужасно для вас, как оно, вероятно, кончится; но в городе было слишком много толков и неудовольствия. Литераторы подавали адрес об освобождении вас из-под ареста. На нас идут такие нарекания! А вот вы сами видели, есть ли на что жаловаться. Выдумывают про Третье отделение бог знает что! Будто здесь есть какие-то опускные полы, что секут у нас. Покамест я не служил здесь, я сам всему этому верил. Но это такой вздор! В крепость свезет вас смотритель. Мы отпустим с вами ваши книги, бумагу возьмете, карандаши. Вам это все позволят. Мы уж распорядимся. Прощайте-с! Не браните нас. Такое уж наше, собственно, положение.

Горянский застал меня за обедом. Понятно, что его известие отшибло у меня всякую охоту есть. Я сказал по уходе его Самохвалову, чтобы он убрал со стола и взамен обеда дал мне чаю. Когда я сказал ему, что пере-

езжаю в крепость, он всплеснул руками. «Ах жаль, ваше высокоблагородие! Жаль! Ну, да что ни бог, ваше высокоблагородие, может, и опять вернетесь сюда; а там и выпустят». После чаю пришел ко мне гусар с флюсом и с прошнурованной книгой, чтобы я расписался в обратном получении своих вещей, которые и были все принесены вахтером. Потом пришел и Зарубин, когда я был совсем одет. Кошелек с деньгами передал гусар ему, так что я не мог и на водку дать Самохвалову. Зарубин на это не согласился. Вахтер пришел сказать, что карета готова. Совсем уж стемнело. Было часов семь. Я в последний раз прошел по нашему освещенному газом коридору и спустился с лестницы. Мой чемодан, книги, сверток бумаги лежали уже в карете. Вахтер сел на козлы и скомандовал кучеру: «В крепость!» Вечер был холодный, и мне зяблось после чаю и теплого шестого номера в моем пальто. Зарубин сидел около меня уж в шубе. Но дорога была недолга. Мы скоро миновали Летний сад и поехали по мосту. Как теперь помню, именно на мосту спросил я Зарубина, открыли ли наконец университет и выпущены ли из-под ареста студенты.

— Где же так скоро их разобрать! — возразил он.

— Да их сколько взято?

— Легко сказать! ведь больше трехсот.

Он, однако ж, не хотел объяснить дело подробно и отделывался на все общими фразами. Наконец мы въехали в ворота крепости. Мы остановились перед комендантским подъездом, где я потом прощался с тобой. В сенях, налево от входа, ты помнишь, может быть, небольшую дверь. За этою дверью помещается канцелярия, и туда вошел я с капитаном.

В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

В первой комнате, куда мы вошли, было очень яркое освещение. Она была очень невелика, но в ней горело по малой мере восемь свечей. При свете их на трех или четырех небольших столах производился скрип перьев дюжиною военных писарей. Насколько я мог судить по взгляду мельком на их работу, они составляли какие-то списки. Бумага была разграфлена. Это были, вероятно, списки арестованных студентов.

В дальнейшей комнате, еще меньшего размера, стоял только один стол, и из-за него встал нам навстречу небольшого роста человек с конусообразной белокурой головой и полицейски любезным выражением лица. Он был в сюртуке с красным воротником, и опять-таки со Станиславом на шее.

— Что это? — воскликнул он, подавая руку Зарубину,— долго ли вы еще будете возить? Куда я помещать-то стану? Тоже из студентов? — спросил он, обращаясь отчасти как будто и ко мне.

— Нет-с, господин Михайлов, сочинитель. Уж вы, пожалуйста, отведите номер получше.

— И рад бы, да нету.

— Вот и вещи их тут.

— Не угодно ли садиться?

Я сел у стола и взял номер «Русского инвалида», лежавший тут.

Человек с красным воротником (делопроизводитель канцелярии и — как я узнал потом, правая рука Тайной канцелярии в крепости) вызвал Зарубина в другую комнату, пошептался там с ним, потом сказал громко, что пойдет доложить коменданту.

Я прочитал между тем в «Инвалиде» немало удививший меня приказ по военному ведомству о предании суду и аресте Семевского, Энгельгардта и Штрандена за участие в беспорядках, произведенных студентами.

Когда Зарубин воротился к столу, у которого я сидел, я спросил его, что значит это и разве не одни студенты были виновниками беспорядков.

Капитан присел на место делопроизводителя и, наклоняясь ко мне, произнес:

— Да ведь там целый бунт был. Войско надо было вывести. С окровлением дело-то было, с окровлением.

Больше он, однако ж, ничего не рассказывал.

Делопроизводитель, воротясь, сказал, что комендант не совсем здоров и меня к нему водить не нужно. Он расписался в книге, привезенной Зарубиным, что получил в целости как меня, так и вещи мои, и, когда тот удалился, он пригласил меня идти с ним, а сам распорядился, чтобы следом принесли и вещи.

Мы пошли только вдвоем.

Всю дорогу от комендантской квартиры до куртины, где меня заключили, он болтал без умолку: извинялся,

что теперь у них нету помещения лучше — все битком набито, говорил, что кой-какие улучшения сделаны в содержании, что дают теперь утром и вечером чай, чего прежде не было, что с 1 ноября и в ночниках будет гореть деревянное масло.

— Нельзя же в наше время,— заключил он,— держаться старых порядков.

Мы поднялись по темной лестнице в длинный каменный коридор, который тускло освещался висевшим со свода фонарем.

Жалкая светильня еле мерцала, как в уличных фонарях самых далеких и глухих петербургских захолустьев. По коридору медленно шагали или стояли в полумраке солдаты с ружьями. Часовой у входной двери, едва вступили мы в коридор, громко крикнул:

— Старшего!

Возглас этот пронесся до самого конца коридора, и скоро навстречу нам шел, гремя ключами, с оплывшей сальной свечой в руке, унтер-офицер в каске, в шинели и при тесаке.

— Отвори восьмой номер. Да где плац-адъютант?

— Они в баню ушли.

— Ну, хорошо. Отвори.

Я не припомню только хорошенько — восьмой ли это был номер или шестой. Знаю, что он был крайний направо по коридору.

Отворили тяжелую дверь, и на меня пахнуло еще худшим сырым и затхлым воздухом, чем какой был в коридоре. Не было тут только масленой копоти и чада, как там.

Я очутился под совершенно круглым, от самого пола идущим, сводом, но в номере настолько просторном, что в нем помещалось шесть кроватей. Два полукруглых и довольно больших окна, закрашенных снаружи, с мелким переплетом, белели в глубоких темных амбразурах, будто занесенные снегом. Стены были закоптевшие, с приметами сырости, со свода висела бахромой паутина.

— Это у нас было больничное отделение,— заметил смотритель,— да больше теперь решительно нигде места нет. Если *они* привезут еще кого-нибудь, поместить будет некуда. Эй! — крикнул он ефрейтору,— кликни людей. Вынесть отсюда лишние койки.

Пришло несколько солдат, и вынесли.

Смотритель взял свечу и поднял ее у себя над головой, рассматривая потолок.

— Эй! паутину обмести. Возьми метлу кто-нибудь! обмети паутину.

Две метлы зашаркали по своду. Паутина, белила, пыль летели нам в изобилии на голову.

— Ночник подай!

Старый, сгорбленный сторож, инвалид, в каком-то рубище, не напоминавшем его военного звания, принес жировой ночник, от толстой светильни которого подымалась толстой черной струей копоть.

Я спросил, нельзя ли получить свечу.

— Я думаю, можно будет, конечно, на ваши собственные деньги,— отвечал смотритель.— Вот как плац-адъютант воротится из бани, вы ему скажите. Покамест вы останетесь в своей одежде. Он уж там всем распорядится. Он скоро. До свидания-с покамест.

— Курить-то у вас позволяется?

— Разумеется-с, сколько угодно.

И он ушел. Дверь затворилась, ключ тяжело повернулся в замке, и я остался один в моем новоселье.

Деревянная койка стояла в довольно широком простенке между окнами, изголовьем к стене, впрочем, не близко. И в Тайной канцелярии постель не отличалась опрятностью и удобством, а уж здесь и подавно. Парусинный мешок, скудно набитый соломой, был прикрыт грязною простыней, подушка была тяжелая, из нее торчали острыми концами перья и летели во все стороны, только что прикоснешься. Наволочка, сшитая, очевидно, на подушку вдвое больше, была чистотою под стать простыне.

Впрочем, подушек было две, но нижняя соломенная. Одеяло из толстого солдатского серого сукна было (вероятно, с год тому назад) подшито толстой холстиной.

Около изголовья направо стоял небольшой столик без столешника, на нем помещалась оловянная кружка с крышкою, для воды. Около стола стоял стул с глухим деревянным сидением.

Больше ничего не было в номере.

Тут было не холодно, но я скоро почувствовал сырость. Только краешек железной печки, топившейся из коридора, выходил сюда.

Как ни противна была мне эта неопрятная постель,

но надо было примириться с нею, я ведь не знал, как долго придется мне спать на ней. Как ни пасмурна и печальна была окружавшая меня обстановка, даже в сравнении с казематом Тайной канцелярии, у меня было как-то легче на душе. Сознание, что я перестану видеть перед собою ежедневно шпионские физиономии, снимало как будто какую-то ненавистную тяжесть и с моего мозга. Вообще я рад был своему темному своду, как перемене к лучшему.

Я промерил раз пятьдесят мой номер из угла в угол, иногда в забывчивости утыкаясь лбом в свод, потом прилег на постель.

Ночник беспрестанно нагорал, и, когда я ленился встать, чтобы поправить светильню принесенными для этой цели лучинками (ночник стоял на окне), по своду слабым сиянием ложился свет коридорного фонаря, сквозь стеклянную раму над дверью. Отражение рамы протягивалось веером по своду, и чем больше мерк мой ночник, тем ближе тянулись эти радиусы слабого света к моей постели.

Когда я лежал таким образом, поджидая плац-адъютанта, у меня все звенело почему-то слово Зарубина: «с окровлением», и в этот первый мой вечер в крепости сложились у меня в голове известные тебе стихи с этим припевом. Они, может быть, и плохи, но я ими в тот вечер был очень доволен.

Прошло, вероятно, более полутора часа, прежде чем опять раздался оклик: «Старшего!» — загремели ключи, и ко мне вошел в шинели с меховым воротником толстый плац-адъютант с большими черными усами и с высоким облысевшим лбом, старательно прикрытым редкими черными волосами.

— Вы студент-с? — спросил он меня, отрекомендовавшись и пожавши мне руку.

— Нет.

Я назвал свою фамилию.

— А! вы сочинитель! это, верно, по прокламации.

— Да.

— Это все пустяки.

Он говорил с такою уверенностью, как будто сам он должен был произносить надо мною суд.

— Вас скоро выпустят.

Старший принес между тем арестантскую одежду.

В числе улучшений в крепости делопроизводитель, провожая меня в куртину, упомянул, между прочим, о том, что они (он говорил *мы*) выхлопотали, чтобы белье было потоньше — кадетское.

Рубашка и все прочее, принесенное мне, было ужасно сыро, почти мокро, и я мог только надеяться, что согреюсь в шинели из серого солдатского сукна, которая заменила мне здесь больничный халат Тайной канцелярии.

Я переоделся и свою одежду переписал карандашом на бумаге. Старший связал ее веревкой, употребив вместо завертки мое пальто, и унес. Книги плац-адъютант у меня оставил, но бумагу, карандаш взял для спроса о том коменданта. Свечу обещал он мне доставить завтра, а пока обойтись ночником. Часы тоже взял.

Впрочем, они были и не нужны. Куранты на соборе разыгрывали то и дело разные коленца, не считая уж «Коль славен наш господь в Сионе» и «Боже, царя храни».

Последний гимн особенно здесь кстати. Так как его никто, конечно, не может повторить сознательно под этими сводами, то лучше всего было предоставить это занятие бессознательным медным языкам колокольни.

— А что, ужинать еще не давали? — спросил плац-адъютант.

— Никак нет-с,— отвечал старший.— Сейчас подадут.

— Давай!

В дверь вошла целая процессия вроде той, которая выходит из царских врат, вынося разные ложечки и плошечки и поминая Анну Павловну, королеву нидерландскую. Только блеску, разумеется, того не было. Это ведь были просто солдаты, несшие арестанту ужинать.

Один принес глиняную пустую кружку и налил ее, поставив на стол, чаем из черного от копоти большого медного чайника, другой, с корзинкой в руках, вынул и положил на стол белую булку, два куска сахару и два ломтя черного хлеба, третий принес оловянную чашку с куском жареной говядины и соленым огурцом, четвертый — солонку. Этот уж вполне уподобился тому скромному попу, который выносит какую-то жалкую вилочку и на долю которого именно приходится поминать коро-

леву нидерландскую Анну Павловну. Да, еще одного забыл, переменившего воду в оловянной кружке!

Поставивши передо мною эту трапезу, солдаты разошлись, а вслед за ними ушел и плац-адъютант, пожелав мне спокойной ночи. Меня заперли до следующего утра.

В первый раз после моего ареста я почувствовал действительный аппетит, а тут, как нарочно, еда была самая непривлекательная. Я перенес ночник с окна на стол и при его тусклом освещении принялся за говядину. Она была жестка и, как водится, не разрезана, но я уже в Третьем отделении успел немного привыкнуть есть, как едят звери в зверинцах. С трудом отрывая зубами волокна жесткого жареного мяса и купая руки в масле, я уничтожил его все, добрался потом до трех картофелин, съел и огурец, сам изумляясь своему аппетиту. Так сильно было, однако ж, во мне довольство, что я уже не в Третьем отделении, что я не ограничился одною говядиною, но съел и весь черный хлеб и белую булку, поданную к чаю. Чай — надо правду сказать — подавался мало похожий на чай. Это была какая-то трава без запаха и без вкусу. Но к чему нельзя привыкнуть? Привык я и к нему.

После этого ужина я почувствовал себя отчасти как дома, в крепости. Спать еще было рано, и я уложил на окне в порядке свои книги. Еще в первый раз, по выезде из дому, у меня оказывалось их такое большое количество. Как я уже сказал прежде, в Третьем отделении мне сразу их не давали, вероятно, чтобы не баловать слишком.

Спал я в своем печальном новоселье тоже лучше, чем в Тайной канцелярии; но, к несчастию, мне пришлось раза три пробуждаться от самого сладкого сна. Часовой, ходивший мерными шагами по коридору, частенько приподымал железный ставень над оконцем моей двери и, заметив, что ночник у меня гаснет, стучал в стекло оконца и кричал, приложившись к нему лицом:

— Ночник!

Я просыпался, вскакивал, надевал на босую ногу башмаки, подходил к окну и поправлял лучинкой толстую и обгоревшую грибом светильню.

Поставить же ночник на стол, поближе к себе, чтобы, не поднимаясь с постели, поправлять его, я не решался. Он слишком уж коптел.

В эти промежутки между сном меня поражал более всего — это я замечал во все пребывание свое в крепости — тяжелый храп спавших в коридоре солдат, чередовавшийся с бредом и порой с пронзительными криками, так что часовой обыкновенно начинал будить спящего, чтобы избавить его, вероятно, от мучительной грезы.

При воспоминании о крепостном моем заключении всего живее представлялись мне именно тамошние ночи. Ночь длилась особенно долго, потому что рассвет под моим сводом начинался поздно, этак в исходе десятого, а в три и даже в половине третьего днем нельзя уже было даже близко к окну читать. И эти четыре-пять часов света нельзя назвать днем. Ложась на койку при наибольшем свете, читать было уже невозможно. Только у окна еще не совсем утомлялись глаза.

Ночник, данный мне в первую ночь, был еще из лучших, пока с 1 ноября (как объявлял мне делопроизводитель) не стали жечь деревянного масла. А то приносилась плошка, вонявшая на весь номер и коптевшая так, что наутро тяжело было поднять с подушки голову и копоть была не только в носу, но и в горле. Чтобы избежать этой неприятности, я стал зажигать на всю ночь стеариновую свечу, а ночник гасил. Но это было недолго. Мне объявили, что комендант отдал приказание, чтобы везде в десять часов гасить свечи и зажигать ночники. Поводом было, как объяснил плац-адъютант, что студенты засиживаются при свечах долго. Таким образом, я не избег ни ночника в стакане на окне, ни вонючей плошки в углу на полу, ни неожиданного постукивания часового в стеклышко двери с окликом:

— Ночник!

Точно так же скверно горел фонарь и в коридоре. Это я лучше всего мог следить по отражению дверной рамы на моем своде. Иногда и при потухающем нагоревшем ночнике у меня мерцание на потолке слабело, слабело и, наконец, совсем исчезало. Тогда часовой будил сторожа, и я слышал скрип блока и звон опускаемого на нем фонаря. Светлый веер на потолке, впрочем, недолго оставался светлым. Иногда меня будил часовой и непроизвольно. Не раз, вероятно, задремавши, он ронял ружье на пол, и бряк его раздавался громко по безмолвному коридору. Слабая полоска света ложилась и на косяк одного из окон от фонаря, прибитого снаружи стены.

В ночной тишине звон крепостных часов с их патриотической музыкой раздавался громче. Номер на ночь холодел, и в нем больше чувствовалась сырость. Печку, правда, топили два раза, утром и вечером, но она была слишком мала, чтобы нагревать мою тюрьму. К утру она совсем остывала, и мне только-только было сносно под одеялом и сверх него под толстою шинелью.

Я поднимался с постели довольно рано, обыкновенно часа за два до света, и взамен ночника зажигал свечу. Большею частью мне приходилось ждать, когда совсем рассветет, чтобы умыться. Часов около десяти, а иногда и позже, слышался оклик: «Старшего!» — и я знал уже, что это идет плац-адъютант.

Ключи гремели, а ко мне, можно сказать, вламывалось чуть не десяток солдат — под предводительством дежурного ефрейтора,— каждый с чем-нибудь в руках. Вслед за ними входил плац-адъютант, впрочем, иногда входил и один только ефрейтор. Вся эта многочисленная военная прислуга как будто торопилась делать дело и выказывала при этом такую косолапость, какой я, по правде, вовсе и не ожидал от русского солдата, проходящего такую длинную и тяжелую школу всевозможных выправок. Старик сторож кидался стремглав сначала к ночнику, потом к кружке с водой, потом к ящику с глухой крышкой в углу номера; что нужно, он мыл, что нужно, выносил; двое принимались скрести метлами по сухому полу или же (это бывало, кажется, через день) поливать его и пускать в ход швабры. Приносился стул, таз, и один из солдат подавал мне умываться из кружки. Кроме того, являлись, как и вечером, хлебодары и чаечерпии со всеми принадлежностями. Утром только чай давали без всякого иного завтрака, кроме булки.

Один из ефрейторов, бойкий, грамотный малый, о котором я скажу подробнее потом, особенно заботился о воздухе в моем номере. Воздух был действительно ужасен: сырость и затхлость поражали при входе, после посещения этого десятка солдат оставался притом запах сапожной кожи, чад от ночника, вонь от коридорного фонаря, запах грязной воды от сырого пола,— все это сгущалось так, что запах табаку (а я курил довольно) совершенно пропадал и оставался только дым. Крошечная форточка в одном окне совсем не освежала, а ино-

гда в нее еще валил новый запах и чад кухонный, вероятно, из подвального этажа.

Заботливый ефрейтор кропил стены и пол ждановской жидкостью и курил на раскаленном кирпиче квасом, и только это немного и ненадолго улучшало воздух.

Умывшись и напившись чаю, я оставался опять один до обеда, если не заходил ко мне комендант или плац-майор. Их посещения, конечно, не имели ничего похожего на те визиты, от которых я изнывал в Тайной канцелярии. Комендант Сорокин, сухой военный формалист, заходил лишь изредка и ограничивался краткими вопросами о моем здоровье, о том, всем ли я доволен, и проч. Напротив, посещения доброго и любезного плац-майора доставляли мне удовольствие.

Часов около двух приносили мне обед, который вовсе не возбуждал во мне желания прикасаться к нему, если это не были щи да гречневая каша. К сожалению, эти простые блюда подавались редко; считалось почему-то нужным разнообразить обед и придавать ему отчасти «дворянский» характер. Ведь крепость не просто острог. Поэтому давался суп, например, и макароны, или суп и говядина с соусом из хрена, или суп и говядина с картофелем. Всегда два кушанья, и только раза два или три прибавлялся к этому пирог с кашей. Для обеда на арестанта ассигновано было одиннадцать копеек в сутки. На этакие деньги при петербургской дороговизне не очень-то разгуляешься, особенно как в этот же счет кладется и поддержка ночников. Не удивительно поэтому, что суп обыкновенно не представлял никакого отличия от грязной горячей воды, что говядина была похожа, по выражению Хлестакова, на топор, что масло было горькое, и проч. Искусство крепостного повара особенно проявлялось в приготовлении макарон. Они подавались в виде какой-то плотной массы, которую нужно было резать, чтобы есть. Но у меня, как я уже сказал, не было не только ножа или вилки, но и ложки, чтобы размешивать чай. Один из ефрейторов, видя, что я мешаю чай одним из концов лучинки, другим концом которой поправлял светильню ночника, принес мне без всякого намека даже с моей стороны две лучинки, обструганные одна в виде лопаточки, а другая — в виде вилки. Последнюю я сломал, а лучинка-ложечка у тебя,

Дня через два мне так опротивел крепостной обед, что я принялся бы, конечно, довольствоваться одним чаем, если бы...

Вскоре после переселения моего в крепость, именно дня через четыре, меня потребовали в суд, в сенат. За мною пришел городской плац-адъютант Панкратьев. О суде я буду говорить дальше особо, а теперь упоминаю кстати, по случаю обеда.

Кроме книг, бывших со мной, я стал получать здесь журналы и только тут начал вполне понимать, что читаю. Почти все время и до обеда, и после обеда, и вечером я читал. Писать у меня как-то не было охоты, да притом комендант выдал мне всего один лист бумаги.

Часто после обеда я спал, потому что засиживался вечером слишком долго и вставал поутру слишком рано.

Вечером я с каким-то особенным нетерпением, почти с жадностью, ожидал чая и ужина. После скудного обеда меня обыкновенно уже часов в пять начинал пронимать голод.

За ужином следовала такая же ночь, какую я уже описывал.

Вот как тянулся день за днем, без всякого разнообразия.

Особенно памятны остались мне только мои поездки в сенат, приезд Суворова, о назначении которого генерал-губернатором я еще не знал и потому думал, что это Игнатьев ко мне приехал. В первый визит свой он пробыл у меня очень недолго и сделал только несколько самых обыкновенных вопросов: какое мое дело? Откуда я? Не желаю ли чего-нибудь? Доволен ли содержанием? и т. п.

Потом осталось у меня в памяти утро в ноябре, в которое, по случаю царских каких-то крестин, палили в крепости из пушек.

Грусть часто таки нападала на меня все это время, хотя я всячески старался побороть ее в себе чтением, или, по крайней мере, не выказывать перед тем, кто меня видел.

Особенная горечь на сердце, помню, была у меня в тот день, как выпал первый снег. Я отворил крохотную форточку свою и увидал, что комендантский сад с его голыми деревьями (только этот сад да окружающий его серый забор и видно было в эту форточку) побелел.

Помню, мне живо представилась печальная и дальняя дорога, которой я действительно не миновал. В унылом саду, расположенном перед окнами моей тюрьмы, я видел раза два толпы прогуливавшихся там студентов, но меня им нельзя было видеть. Раз я встретил их также во дворе, отпросившись у коменданта погулять и хоть немного освежиться. Они шли, кажется, из бани, и я мог раскланяться с Залесским, в енотовой шубе и летней шляпе с широкими полями. В прогулке этой (снегу тогда еще не было, кажется) меня сопровождал плац-адъютант. Я вышел с ним за ворота крепости и посмотрел — это было в последний раз — на угрюмый и серый Петербург, па мерзнущую Неву, на сердито нахмуренный вдалеке Зимний дворец.

СУД В СЕНАТЕ

Я не сидел, кажется, еще и пяти дней в крепости, как плац-адъютант, войдя ко мне поутру, вскоре после чая, сообщил мне, что меня требуют в сенат. Я оделся в свое платье, и в мой номер вскоре пришел вместе с крепостным плац-адъютантом плац-адъютант городской, Панкратьев. Мне подали было обед (это было уж часов около двенадцати), чтобы я поехал не на тощий желудок, но я предпочел пообедать потом, по возвращении, и велел пока все убрать. Мы вышли из куртины и прошли к дому, где помещается — если не ошибаюсь — крепостной плац-майор. Против подъезда этого дома стояла извозчичья четвероместная карета. Я думал сначала, что мы поедем только вдвоем; но Панкратьев сказал мне, что будут еще два провожатых «архангела». С подъезда действительно сошли два жандарма. Они молча поместились в карете напротив нас, задернули тафтяные занавески на окнах двери, и мы поехали...

Мост был еще не разведен, и дорога шла по Дворцовой набережной; тут, отогнув немного занавеску со своей стороны, я заметил огромный съезд у Государственного совета. Но вот мы проехали и площадь, въехали под арку сената и тут повернули в первые ворота направо. И перед воротами и во дворе была толпа народу, так что карета едва подвигалась. Панкратьев не знал, кажется, где остановиться, и мы проехали почти в глубь двора, где стояло порядочное количество экипажей.

Панкратьев вышел из кареты и побежал справиться. В это время два-три кучера, привезшие, должно быть, сенаторов, указывали на меня в отворенную дверь кареты и, вероятно, острили надо мной, потому что разражались самым веселым смехом. Жандармскому унтер-офицеру это не понравилось, кажется, и он притворил дверь.

Нам пришлось вернуться к подъезду у самых ворот, опять в толпу, которую я никак не приписывал своему приезду. Я предполагал, что по обилию дел в сенате здесь всегда такая толпа.

Жандармы вышли из кареты первые, выхватили из ножен свои палаши и стали по бокам выхода из кареты. Я пошел, с ними по сторонам и Панкратьевым, по лестнице, тоже переполненной народом...

Секретарская комната перед присутствием пятого департамента (где я должен был подождать) очень невелика. Тут первое лицо, обратившее на себя мое внимание, был священник, сидевший в уголке и державший завернутые в епитрахиль крест и Евангелие. Я сел поближе к столу секретаря. В комнату наведывались разные господа, и сенаторы в мундирах, и чиновники помельче. Обер-секретарь Кузнецов с толстым корявым и тупым лицом, затянутый в мундир, выходил от времени до времени из присутствия и справлялся, кажется, готовы ли для меня вопросные пункты. Мне пришлось, впрочем, ждать очень недолго, не более четверти часа.

Кузнецов опять вышел и, как-то минуя меня своим тупым взглядом, сказал:

— Пожалуйте.

Я вошел.

За длинным столом, покрытым красным сукном и украшенным зерцалом, сидело пять сенаторов в своих позлащенных одеждах. По неподвижной важности лица и поз они показались мне очень похожими на позлащенных бурханов.

Особенно выдавались из них двое: Карниолин-Пинский, своею умною, но злобно-хитрою физиономией, с длинными, беспорядочно торчавшими на голове волосами, да еще Бутурлин, но этот, напротив, обличал лицом своим тупость и что-то закоснело солдатское; у него была крашеная голова и крашеные усы на одутловатом, дряблом лице, глаза смотрели довольно свирепо. Низень-

кий старичок Карнеев имел вид крайне добродушный — вот и все, что можно сказать про него. Венцель обратил на себя мое внимание особенно неподвижною и прямою своею посадкой; он сидел на своем кресле, будто верхом на лошади перед фронтом, и, вытянув длинную и тонкую свою шею, глядел на меня совсем бессмысленно своими серыми глазами. Председатель, Митусов, был лицо, не вполне для меня незнакомое: ты знаешь, что я видел его на свадьбе доктора Матвеева, у которого он был посаженым отцом. Про его наружность сказать совсем уж нечего — чиновник как чиновник. За отдельным столом, у окна, сидел обер-прокурор (фамилию его я слышал, но не помню), самое антипатичное для меня по наружности лицо, даже антипатичнее противной рожи обер-секретаря Кузнецова, хотя и гораздо красивее,— таково было общее впечатление его на меня; но я не могу припомнить даже, какого характера было у него лицо. Из судей моих, восседавших за красным сукном, двое были в военных мундирах, именно Бутурлин и Венцель, остальные в гражданских.

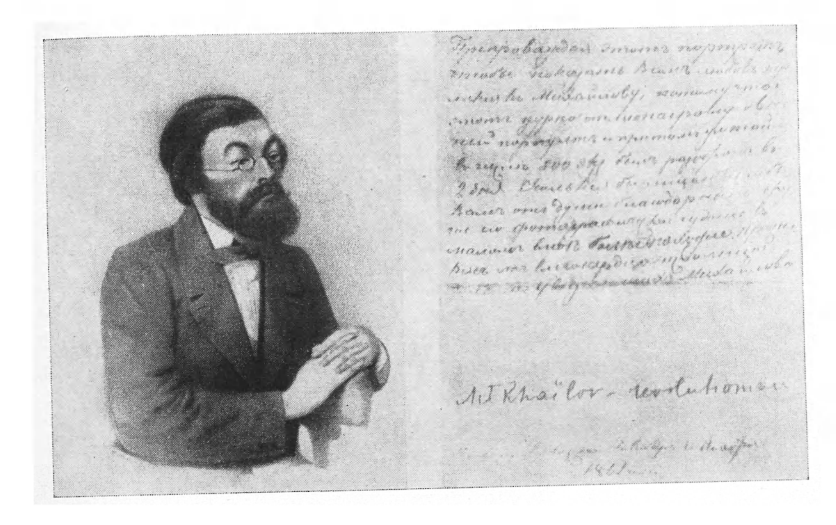
Не мешает, кстати, упомянуть, что один из моих судей, и, как мне говорили, самый злостный, был мне известен по рассказам отца. Это был именно Карниолин-Пинский. Он начал свою карьеру скромно — учителем гимназии в Симбирске.

Отец мой служил уже тогда, но, недовольный своим жалким образованием, присогласил кой-кого из своих сослуживцев просить Карниолина-Пинского читать им лекции особо от гимназистов. Тот согласился, и отец — помню — всегда вспоминал о нем с каким-то благоговением. Он приписывал ему пробуждение в себе серьезной мысли, любознательности и здравых понятий о значении образования.

Обер-секретарь указал мне место, где я должен был встать перед судьями, в конце красного стола, и сам поместился около меня, тоже стоя вполоборота ко мне. У него была в руках бумага.

Не помню, объявил ли мне сначала на словах Митусов с другого конца стола, что я предан по высочайшему повелению суду, или прямо обратился к обер-секретарю с приказанием прочесть мое отношение шефа жандармов, заключавшее в себе это повеление.

Обер-секретарь начал читать громко и внятно. Едва ли



М. Л. Михайлов

Фотография 1860—1861 гг., пересланная неизвестным лицом из России в 1861 г. А. И. Герцену в Лондон с надписью на обороте: «Препровождаю этот портрет, чтобы показать Вам любовь публики к Михайлову, потому что этот дурно отлитографированный портрет, и притом же тайно, в числе трехсот экземпляров был разобран в два дня. Сколькие бы лица были бы Вам от души благодарны за другое его фотографическое издание в малом виде, более похожее. Просим Вас от всего сердца исполнить желание уважающих Михайлова. Михайлов сослан в Сибирь в декабре 1861 г.».

к кому шла в такой мере, как к нему, знаменитая характеристика Фамусова — «с чувством, с толком, с расстановкой». Главное, с чувством читал. При словах «государь император» или «высочайше повелеть соизволил» он принимал торжественно-благоговейный тон; произнося слова «государственное преступление», он упирал на них с каким-то трагическим пафосом.

Слова о государе императоре и о высочайшем его величества повелении произвели на судей моих (совершенно для меня неожиданное) внезапное действие. Точно всех их жигнул кто-нибудь прутом сзади. Они вдруг вскочили со своих мест, как вскакивают лакеи в передней, когда проходит барин, и выслушали они повеление, стоя благоговейно навытяжку. Я едва удержался от улыбки. Трудно представить себе весь комизм этого вскакивания, которое пришлось мне видеть два раза. У большей их части ноги, видно, были уже не тверды в коленях от старости, и, чтобы разом подняться с кресел, нужно было помочь руками, упереться в стол. Особенно смешон был Бутурлин, у которого ноги как-то разъезжались при этом, словно все пружины ослабли. После той бурханской важности, с которою они сидели на своих местах, такой пассаж был мне совершенным сюрпризом.

Прочитал обер-секретарь, и они опять уселись. Председатель показал мне тут мое показание, препровожденное из Тайной канцелярии вместе с экземпляром листка «К молодому поколению», и спросил меня, признаю ли я это показание.

Я отвечал:

— Признаю.

— Прочтите! — обратился он к обер-секретарю.

И опять началось то же *чувствительное чтение.*

Когда он кончил, Митусов сказал мне:

— Мы имеем дать вам несколько вопросных пунктов; но предварительно священник сделает вам духовное увещевание. Пригласите его сюда,— прибавил он, обращаясь к обер-секретарю.

Обер-секретарь направился к дверям комнаты, куда я был предварительно введен; но этого мог бы он и не делать. Оттуда в полуотворенную дверь любопытно глядели к нам головы чиновников, и попу, верно, сейчас же передали, что час его приспел.

Он вступил в комнату суда во всеоружии своем, в епитрахили и с воздетыми руками — в одной Евангелие, в другой крест.

Остановившись передо мной на том месте, где стоял до этого обер-секретарь, поп начал жиденьким голосом читать заученную, вероятно, заранее речь о важности присяги и ее нарушении, о необходимости раскрыть преступление во всех его подробностях, о неукрывании никого из сообщников (на это он особенно напирал), потом стал рассказывать бессвязно, дико, и притом ни к селу ни к городу, какую-то притчу из Евангелия о рыбарях и о мрежах, решительно мне неизвестную.

Видя, что поп уже слишком зарапортовался и начал говорить совсем дичь, Митусов несколько раз говорил ему: «Довольно, батюшка! Довольно!» — но он никак не хотел отстать, не кончив своей истории и не примазав к ней какой-то морали, вероятно из начатков христианского благочестия протоиерея Кочетова. Я имел время в подробности рассмотреть безобразную живопись на кресте и на Евангелии, пока поп разглагольствовал. Из опасения рассмеяться я лишь изредка взглядывал в глупое, золотушное лицо проповедника. Он был еще молодой человек.

Наконец-то он отстал и ушел, а обер-секретарь вооружился тетрадкой вопросных пунктов.

Суд выразил свою снисходительность ко мне тем, что обер-секретарь прочел мне сразу, один за другим, вопросные пункты. Потом стал он читать каждый пункт отдельно, и на каждый пункт я сначала отвечал словесно, а потом отходил с обер-секретарем к стоявшему в стороне большому письменному столу, садился там и давал письменно ответ, данный перед тем на словах. Ни один из судей не спрашивал меня ни полсловом о чем-нибудь, не находившемся в вопросных пунктах. Они выслушивали мои ответы в мертвом молчании и только глядели на меня.

О содержании вопросных пунктов не стоит и говорить. Они ничего не прибавляли к показанию моему, и их, пожалуй, можно бы было и вовсе не предлагать мне. Ни один из них не мог ни смутить меня, ни найти врасплох. Я слишком хорошо все обдумал.

Во второй допрос, когда обер-секретарю сказал председатель, чтобы он точно так же, как и в первый, прочел

мне сначала все вопросы сряду, я отказался от этой снисходительности, сказавши:

— Зачем это? Читайте один вопрос, я отвечу, потом другой, и так далее.

На лицах судей показалось удивление, и Венцель, переглянувшись со всеми, особенно внимательно устремил на меня глаза.

Во второй и в третий допросы, такие же пустые по содержанию, как и первый, не все сенаторы, однако ж, хранили прежнее суровое молчание. Они, должно быть, увидали, что я вовсе не бука и что со мною можно говорить. Не думай, впрочем, чтобы это был действительно разговор, а так какие-то вовсе не идущие к делу вопросы. С ними обращались ко мне только два: Карниолин-Пинский и Митусов. Первый спросил, например, почему-то, говорю ли я по-английски. И еще два-три вопроса были такого же рода, ни важнее, ни интереснее.

Только в последний допрос Митусов решился на вопрос, по-видимому, более серьезный. По поводу двух прокламаций, найденных у Костомарова, он обратился ко мне с такими словами:

— А вы не ходили в казармы к солдатам и словесно не возбуждали их к неповиновению?

— Нет.

— И крестьян тоже не собирали, не ездили по деревням, чтобы подстрекать их?

— Нет.

Я теперь не могу уже припомнить, в какие именно дни были три допроса мне в сенате. Знаю только, что между первым и вторым был краткий промежуток, а третьего допроса я ждал что-то очень долго.

Во второй раз такая же толпа была на лестницах.

В третий раз приняли, видно, меры и обратно провели меня какими-то задними ходами. Сенатские чиновники зато проявляли страшное любопытство и собирались сотнями на моей дороге или глядели, толпясь в дверях, когда меня привозили и увозили.

Тебе едва ли не лучше меня известно, что происходило в промежутки между моими допросами. Два месяца, проведенных мною в крепости, слились у меня в памяти в однообразный ряд длинных и скучных дней, и только ярко светится в этих тюремных потемках

несколько отрадных минут, о которых пока я не вправе говорить.

. . . .

В сенат сопровождал меня все тот же Панкратьев. Из жандармов унтер-офицер был всегда тот же Ефимьев, выражавший желание проводить меня и до Тобольска. Другой жандарм менялся.

Кажется, после третьего допроса, которым, собственно говоря, кончался мой суд, перевели меня из Невской куртины в главную гауптвахту, о чем я скажу потом. Но до него, если не ошибаюсь, я был призван к коменданту, который подал мне бумагу и просил сесть к столу, чтобы отвечать на нее.

Это были еще вопросные пункты от следственной комиссии, с которою я еще познакомился в здании первой адмиралтейской части. Тут я, как нельзя лучше, понял, чего мог я ожидать от Костомарова, если б он был призван со мною вместе к суду и ему были предложены вопросы относительно моего дела. Каждый из вопросов, бывших теперь у меня в руках, начинался словами: «Корнет Всеволод Костомаров показывает, что...» или «Корнет Всеволод Костомаров на очной ставке показал...», и проч.

Читая эти вопросы, можно было только одному удивляться, для чего было говорить о том, чего никто не знал, кроме меня, да и знать не мог.

Подумавши, я увидал, однако ж, что этими показаниями вся вина сваливается на меня и на московских студентов.

Стараясь в ответах своих оградить по возможности последних, я не выгораживал себя.

Во все это время, начиная со второго сенатского допроса, меня более всего томило ожидание, скоро ли наконец решение. Надо вспомнить, что во второй раз, когда возили в сенат, от меня уже была отобрана подписка, что при суде и следствии мне не было делано пристрастия. Из этого можно было заключить, что вопросов более предлагать мне не будут, и действительно то, что спрашивали меня на третьем допросе, были совершеннейшие и бесполезнейшие пустяки.

Весть о назначенном мне наказании, разумеется, огорчила меня, но не столько, сколько огорчило бы меня помилование, если бы оно последовало, вследствие глу-

пой выходки моей, беспокоящей меня и до сей поры. Я, впрочем, никак не ждал такого большого срока каторжной работы.

Мне помнится, я при тебе читал как-то статьи закона, касающиеся «преступлений» вроде моего, и мне постоянно думалось, что высшим сроком должно быть шесть лет.

Еще до произнесения мне приговора в сенате получил я известные стихи и письмо от заключенных в крепости студентов. И то и другое сильно меня растрогало. Я не мог удержаться от слез и тотчас же отвечал им стихами, которые ты знаешь.

Кажется, 7 декабря приехала за мною карета, чтобы свезти меня в последний раз в сенат. Панкратьев вошел в новое мое помещение, сообщил мне, что мне будет прочитана конфирмация. Выкурил папиросу, пока я обедал,— и мы поехали. На этот раз я был, кажется, потребован раньше, чем в прежние мои поездки.

Полиция, разумеется, приняла меры, чтобы прежних любопытствующих не было на лестнице и во дворе, и точно, когда мы приехали, было довольно пусто у входа.

В этот раз меня провели в другую комнату, вероятно канцелярию отделения, но тоже выходящую дверями с другой стороны в палату, где производились мне допросы. Формальности, с которыми сопряжено произнесение в сенате приговора, были уже мне известны.

Мне пришлось прождать тут с четверть часа. Около меня образовался целый кружок чиновников, большею частью молодежи. Некоторые рекомендовались мне, другие прямо заговаривали.

Тут мне сказали, что «с моей легкой руки» еще начинается в сенате дело такого же рода, как мое. Ведь на мне был сделан первый в России опыт обыкновенного суда над политическим преступником. Теперь, как мне сказали, был предан суду за распространение «Великорусса» Владимир Обручев, и с ним еще четверо или пятеро молодых людей и, между прочим, мой знакомый доктор Боков. Потом, как я узнал, все, кроме Обручева, были освобождены от суда и следствия.

Наконец сенаторы изготовились к произнесению мне приговора. Обе половинки дверей в комнату их заседания были отворены, позвали приехавших со мной жандармов,

велели им обнажить палаши и поставили их по сторонам двери на пороге. Позвали меня.

Обер-секретарь Кузнецов, с бумагою в руке, стоя по ту сторону порога, указал мне на него и сказал: «Остановитесь тут».

Я стал между жандармами, и Кузнецов начал чтение своим источным и торжественным голосом. Он мог бы быть хорошим диаконом.

Все, что он читал, за исключением мнения Государственного совета, было мне уже очень хорошо известно. Чтение длилось долго, и я пользовался этим временем, чтобы наблюдать за моими судьями. Они сидели за тем же столом, но в несколько ином порядке, и между ними я увидал совершенно незнакомого мне генерала.

Кто-то из чиновников говорил мне перед этим:

— Подлец Карниолин-Пинский нарочно сел сегодня задом, чтобы не смотреть на вас. Видно, совестно же стало под конец.

Это предположение было несправедливо. Он действительно сел задом, но весь повернулся в мою сторону и один из всех сенаторов смотрел на меня так пристально, не отводя ни на минуту своих прищуренных злобных глаз. Седые волосы его и без того торчали во все стороны, но он беспрестанно еще более ерошил их, запуская в них пальцы. Другой, не менее пристальный взгляд был направлен на меня сбоку, от того стола, за которым я писал ответы на вопросные пункты. Тут сидел какой-то молодой человек очень аристократического вида в мундире (каком именно, я уже не помню) и, подавшись вперед на своем стуле, тоже не спускал с меня своих глаз.

Мнение Государственного совета зашевелило во мне злобу на себя, и я рад был только тому, что и сам Государственный совет понял, по-видимому, всю неискренность моего обращения к государю и не принял его во внимание.

Когда Кузнецов, приостановившись с чтением на минуту, прокашлялся и с еще большею торжественностью возгласил громогласно: «На мнении Государственного совета собственною его императорского...» и т. д., позлащенные идолы вскочили с своих мест.

Слова резолюции: «Ограничиваю каторгу шестью годами, а в прочем быть по сему»,— Кузнецов прочитал уже совсем достойно диакона, возглашающего многолетие.

Перед тем как меня позвали выслушивать это чтение, один чиновник сказал мне, чтобы я не смеялся во время его. Я и не смеялся, хоть мне подчас хотелось улыбнуться, слушая тонкие соображения сената над фактами, которые были ему известны в таком превратном виде.

Тем не менее я, говорят, заслужил неудовольствие сенаторов и даже самого государя, что выслушал решение не с достаточным благоговением и страхом. Верно, нужно было, по их мнению, стоять, вытянув руки по швам, а я держал их скрестивши и не изменил положение даже в то время, когда сенаторы вскочили по-холопски со своих мест.

По прочтении конфирмации Кузнецов вынес мне бумагу для подписи.

— Что же написать? Что я доволен вашим решением?

— Только имя и фамилию,— произнес Кузнецов, тревожно и суетливо кладя бумагу передо мною.

Что такое было тут написано, я не прочитал и прямо подписал: Михаил Михайлов.

И вся прихожая, где я надевал пальто и калоши, и вся длинная площадка и значительная часть лестницы были полны любопытных. Сенатские чиновники, верно, забросили тоже в эту минуту свои дела. N. догнал меня, чтобы пожать мне руку на прощание. В толпе стоял Боков и, когда я проходил, выдвинулся проститься со мной. Я был очень рад его вниманию и от души пожал ему руку.

. . . .

Внизу, когда я вышел уже с подъезда, справа послышались женские голоса: «Михаил Ларионыч! Прощайте». Это были Варенька и Машенька. Они бросились ко мне, и я поцеловался с ними. У Машеньки глаза были полны слез. Варенька протянула ко мне руку, когда я и в карету сел.

— Куда прикажете? — спросил извозчик.

— В крепость! — крикнул Панкратьев и вскочил в карету.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НА ГЛАВНУЮ ГАУПТВАХТУ

Ты, может быть, знаешь лучше меня, что заставило крепостное начальство перевести меня из Невской куртины на главную гауптвахту. Плац-майор говорил мне,

что это делается для большего моего спокойствия; плац-адъютант,— что меня хотели удалить от студентов, которые туда переводятся. Последний, впрочем, не знал сначала, что меня переведут именно на гауптвахту, и не без соболезнования говорил, что меня, кажется, хотят поместить в Алексеевском равелине.

Я знал, что там сидит, между прочим, Владимир Обручев, и не находил в этом ничего удивительного.

Как бы то ни было, но меня перевели. Когда именно, я не помню, но вскоре после третьего допроса — около 20 ноября.

Я это предполагаю потому, что еще в куртине узнал о смерти бедного Добролюбова, а 20-го я написал стихи на его смерть, уже на гауптвахте. Это был день его похорон.

От крыльца Невской куртины до главной крепостной гауптвахты лишь шагов полтораста. Я перешел туда поутру вместе с одним из плац-адъютантов. Тут кстати сказать, что два крепостных плац-адъютанта разделяли сначала между собою всех крепостных арестантов на две половины и каждый заведовал своей половиной. Потом они нашли более удобным для себя разделиться днями: таким образом, два дня приходилось дежурить одному да два другому. Тут я познакомился ближе и с другим крепостным плац-адъютантом Пинкорнелли, которого видал до тех пор лишь изредка.

Пока еще не время характеризовать этих двух ближайших ко мне лиц из крепостного начальства; но я не могу не вспомнить с особенно теплым чувством доброго и милого Пинкорнелли...

Новое помещение мое было гораздо лучше. Комната была меньше, чем в Невской куртине, но тут был зато прямой потолок, и меня уже не давил этот тяжелый сырой свод. Окно было одно, зато большое и светлое, хотя тоже забеленное снаружи и с еще более крепкими решетками. В довольно большую форточку я мог видеть Невские ворота крепости, где было обыкновенно немало проезжих и прохожих. Одним из украшений здешней моей жизни была, между прочим, большая круглая печь. Она топилась у меня, и топка ее всегда развлекала меня. Еще развлечение, кроме смотрения в форточку и печки, представляли беседы солдат в караулке рядом со мной, которая отделяла мой номер от кордегардии. Все, что тут го-

ворилось, слышно было у меня как нельзя лучше, и я очень часто, в особенности под вечер, ложился на постель и слушал солдатские прения и разговоры. В постели тоже произошло улучшение — здесь был волосяной матрац сверх соломы. Платье мое хранилось тут у меня же, а не уносилось, как прежде, ефрейтором на сбережение куда-то.

Вот и все изменения, а затем все шло точно так же, как в куртине. У дня был тот же порядок, и прислуживали мне те же лица.

Я был особенно доволен, когда на дежурстве был бойкий белокурый ефрейтор небольшого роста, тот самый, который выстругал мне из лучинок вилку и мешалку для чая. Он был грамотный и либерал. Еще когда я был в куртине, он обратился раз ко мне с просьбой дать ему какую-нибудь книжку почитать. У меня из русских книг была только скучная и глупая «Всемирная история» Вебера. Он взял первый том, но вскоре возвратил мне его как вещь незанимательную. В караулке при гауптвахте он обыкновенно читал вслух, и здесь, слушая это чтение и рассуждения солдат, я мог убедиться еще раз (если б не был и прежде убежден), как нелепо *сочинять* какую-то особую литературу для солдат, для народа и проч. Ефрейтор читал «Солдатское чтение» или что-то подобное, рассказывавшее о воинских подвигах, какие-то исторические рассказы о Петре Великом и об Александре. Тон рассказа, с подделкою под народный говор, никому не нравился, и самое содержание казалось невероятным.

— Это так только для нас написано,— замечали некоторые,— а ничего этого и быть не могло.

Зато всех приводило в восторг чтение пушкинских «Повестей Белкина». Эти повести читались несколько вечеров, и особенно заняли всех рассказы «Барышня-крестьянка» и «Станционный смотритель».

Солдатский либерализм тоже замечателен.

Когда либеральный ефрейтор был дежурным, я не подвергался тому шпионству, которое почему-то явилось недели за две до моего отъезда в ссылку. Что было причиною внезапных строгостей, новый ли плац-майор, какой-то мямля, или какие-нибудь инструкции свыше, я не знаю; но только все чаще и чаще солдаты поднимали покрышку дверного оконца и наблюдали за мною, и я слышал иногда вопросы и ответы: «Не пишет ли?» —

«Нет, лежит, читает». Подглядыванье это, сопровождаемое шушуканьем, меня сердило.

И сам комендант стал внимательнее и строже. Он заметил у меня как-то на столе некрепостную чашку с серебряной ложечкой, и из-за этого, как я узнал из солдатских разговоров, вышло что-то вроде следствия и допросов находившимся в карауле солдатам.

Глядя из своей форточки, я часто видел арестованных студентов. Почти как раз против моего окна было крыльцо другого отделения Невской куртины, и на нем нередко собирались студенты, сидели, курили, уходили и вновь приходили. Тут я видел Веню, Штакеншнейдера и раз явственно слышал, как они говорили, указывая на меня: «Это Михайлов, кажется».

Дня за четыре до произнесения мне приговора на площади я почти все утро простоял у форточки, глядя на роспуск их по домам. Наехало пропасть мужчин и дам, верно, все родных, и студенты сновали по крыльцу, подбегали к подъезжавшим саням, пожимали руки и весело разговаривали. Некоторые из приезжих родных или знакомых проходили на крыльцо, вероятно, с тем, чтобы посмотреть, как это содержатся люди в крепости. Слышал слова:

— Можно?

— Идите, ничего. Можно.

— Да ведь нельзя, господа!

и т. п.

Внятнее всего доносился до меня голос Пинкорнелли, суетливо распоряжавшегося в куртине.

Признаюсь, я позавидовал этим юношам, выпархивающим на волю из тюремной западни.

Явственно слышал я и такие вопросы:

— Что, стихи-то взял?

— У тебя списаны стихи?

Я предполагал, что дело идет о моих стихах, и, кажется, не ошибался. Мне было известно, что они переписывали их для себя.

Я, однако ж, потерял хронологическую нить своего рассказа. Надо вернуться к тому утру, когда мне была прочитана конфирмация в сенате.

Только что вернулся я из сената, ко мне пришел комендант и привел с собою попа, Михаила Архангельского, как он мне отрекомендовался, и оставил его со мной.

Еще прежде спрашивал он у меня (в куртине), не желаю ли я побеседовать со священником; но я отказывался.

Поп был человек еще молодой, хотя и лысый. Мне не понравилось в нем что-то лисье. Он заговорил со мною об исповеди, о том, что мне следовало бы выслушать и божественную литургию, и все в этом роде; но в то же время он вел как будто и какой-то допрос: спрашивал, не было ли у меня каких сообщников, не собираюсь ли я избежать наказания посредством бегства и еще что-то в этом роде. Особенно налегал он на побег.

Все последнее время у меня была одна тревога; я страшился, что вам придется уехать из Петербурга раньше меня, и каждая весть, приходившая от вас, все более и более утверждала меня в моих опасениях.

Из доставленной мне статьи свода законов о церемонии, совершаемой на площади, я узнал, что поп обязан усовещивать меня две недели, если я выражу нежелание исповедаться. Эти две недели могли решить ваше дело, и я тотчас же решился не выставлять попу своих убеждений, а исполнить себе формальность, на которой он настаивал.

Я сказал ему, что чем скорее это сделается, тем лучше.

— В таком случае исповедуйтесь завтра.

— Хорошо!

Он зашел ко мне и вечером в тот день, принес святцы и Евангелие, прочитал мне несколько молитв, а в Евангелии заложил лентой главу от Иоанна «Да не смущается сердце ваше» и советовал прочесть ее.

Просидел он у меня довольно долго; мы говорили о всякой всячине,— но он не раз обращался в разговоре к моей судьбе и все старался изобразить яркими красками те ужасы, которые ожидают меня, если буду столь неблагоразумен, что решусь на побег.

Откуда шли вести, что я собираюсь бежать с дороги или что меня хотят отбить от жандармов,— не знаю, но об этих вестях я слышал не от одного попа.

Я, в свою очередь, спрашивал его, не знает ли он о дне, когда будет объявлена мне на площади сентенция суда и вообще повезут ли меня для этого на площадь, но поп отзывался неведением — и врал, потому что ему был, как я потом догадался, известен этот день. Вопросы о том же, обращенные мною к коменданту и плац-майору, тоже

оставались без определенного ответа. Они отвечали только «не знаю» да «не знаю». Одно только говорили мне утвердительно, что я не буду из крепости перевезен в острог, как это требуется законом. Впрочем, об этом я и сам мог догадаться, так как ко мне явился здесь поп со своими увещеваниями.

На следующее утро (это было, если не ошибаюсь, во вторник, 12 декабря, плац-адъютант пришел звать меня в церковь при комендантском доме, как меня накануне предуведомил отец Михаил. Эта маленькая домашняя церковь была совсем пуста. Меня встретил здесь комендант с попом, комендант удалился, а поп пригласил меня на исповедь к аналою, поставленному перед царскими дверьми.

Исповедовал он по какой-то книжке гражданской печати, которую скрывал от моих глаз; в нее у него была вложена какая-то записочка.

Все вопросы почти исключительно касались моего дела; поп расспрашивал, не скрыл ли я имен сообщников в деле, не принял ли на себя более, чем следовало, и потом — не сговаривался ли с кем-нибудь о побеге.

После исповеди он живо отслужил обедню.

Как, однако, он ни торопился, я успел продрогнуть в нетопленной церкви и был очень доволен, когда по окончании этой церемонии комендант пригласил к себе в кабинет и меня и отца Михаила и угостил нас горячим чаем с ромом.

Перед сумерками, часа в три, приехал ко мне Суворов и сообщил, что на днях будет мне позволено видеться с моими друзьями. Он назвал поименно всех. Оставался он у меня довольно долго, говорил о том, что в дороге мне будут предоставлены все удобства, жалея, что не может *спасти* меня от кандалов, и т. д. Между прочим, он спрашивал меня (это по-английски), знаком ли я с Герценом и Долгоруковым — и заметил, что Герцен совсем не то, что издатель «Будущности». Все, что ни пишет Герцен, все так gentlemanlike[1], тогда как Долгоруков и бездарен и мало видно в нем честности.

Суворов в заключение сказал, что он еще зайдет ко мне проститься.

Только в этот вечер я сообразил, что, вероятно, мне будет произнесен приговор на площади в четверг, то есть

---

[1] по-джентльменски.

14 декабря,— и это вот почему: поп намекнул мне поутру, что не мешало бы мне выслушать послезавтра литургию, но я наотрез отказался.

Накануне 14 декабря я уже с большою уверенностью ожидал церемонии и вслед за нею свидания с вами; последнее ты знаешь очень хорошо. Я и ждал, что вы приедете посмотреть на мою казнь, и в то же время боялся, не узнаете о ней; в газетах, как мне говорили, не было еще объявлено.

Тринадцатого я нарочно лег раньше в постель, чтобы встать поутру раньше самому, а не дожидаться, пока меня разбудят [1].

В ДОРОГЕ

...Молчание жандармов продолжалось недолго. Я разговорился с ними, они стали расспрашивать о моем деле, я рассказал, что считал для них интересным; они начали рассказывать о том, что слышали обо мне, и, таким образом, в первый же день между нами водворилось взаим-

---

[1] Утром в пять часов 14 декабря Михайлова вывезли на эшафоте, или на позорной колеснице, спиною к вознице, в серой арестантской куртке и в арестантской шапке, на Мытнинскую площадь, что на Петербургской стороне. Там, при барабанном бое, его поставили на колени, и, прочитав приговор, палач переломил над его головой шпагу. Площадь была почти пуста, так как было еще темно, а близкие друзья Михайлова ничего не знали. Милый старик Пинкорнелли, крепостной плац-адъютант, был очень глух, и хотя Михайлов просил его съездить к Шелгуновым и сказать им, что его вывезут на площадь, но он этого не слыхал и не съездил.

В этот день к Михайлову приезжали все его друзья, а вечером его посадили в казенную повозку с двумя жандармами, а его возок с жандармами поехал вперед. Это было устроено на тот случай, если бы молодежь вздумала отбивать Михайлова.

Рано поутру кибитка въехала в ворота Шлиссельбургской крепости. К вышедшему из возка Михайлову тотчас же явились сторожа с полотенцами и стали обвязывать ему кандалы.

— Чтобы как-нибудь не обеспокоить сидящих,— объяснили ему.

Коридор был устлан толстым войлоком, так что тишина в крепости была мертвая. Михайлова ввели в номер, на окне которого сидело несколько голубей. Вскоре подали чай на прекрасной посуде, с хорошими булками, совсем по-домашнему, и к чаю пришел комендант и много говорил о Сибири, где он служил.

Из Шлиссельбурга вывезли тем же порядком: сначала ехал возок, а сзади кибитка с Михайловым. Когда они миновали станцию Шальдиху, откуда дорога сворачивала в имение родных Шелгуновых, то Михайлова посадили в его возок, а повозка уехала обратно. Засады нигде не оказалось.

ное доверие. Они тотчас последовали моему совету отцепить свои сабли, от которых им неловко было сидеть, и снять мешавшие им пистолеты. Вечером в Новой Ладоге, где мы ужинали рыбной селянкой в гостинице при почтовом дворе, мы уже были как будто старые знакомые.

Из рассказов их я узнал следующее: между ними был слух, в верности которого они были совершенно убеждены, что волнение в университете было произведено мной, что я был «всем студентам голова». Затем они, на основании слухов, шедших от начальства, были уверены, что меня собрались отнять и отбить у них на первой станции от Петербурга, в Ижоре, и опять-таки студенты, и что их там должно было собраться человек двадцать. Вследствие этого меня отправили не в моем возке, а в мой возок посадили других жандармов и на одного из них надели мою арестантскую шапку, чтобы его можно было принять за меня. Впереди поехал фельдъегерь, за ним возок, а моя кибитка должна была отставать немного. В Ижоре разъезды наши происходили оттого, что неизвестно было, где остановился возок и фельдъегерь.

Затем Каменев показал мне маршрут, которого сначала никак не хотел вынимать, потому что не велено, и я увидал, что меня повезут дорогой, которой я никогда не езжал,— именно на Мологу, Ярославль, Кострому, Вятку, Пермь и т. д.

В какой мере установилось между нами доверие, яснее всего увидал я на другое утро.

Незадолго до света приехали мы в Тихвин, где при почтовой станции были прекрасные комнаты (даже с зеркальными стеклами в окнах), и мы расположились тут пить чай. Мне очень захотелось написать вам несколько строк, что я и сделал совершенно явно. Когда мы вышли садиться, я сказал Бурундукову, чтобы он бросил письмо в ящик, прибитый у почтамта, насупротив станции, и видел сам, как он опустил его.

Когда я в первый раз вынул свою записную книжку и стал в ней писать карандашом, Каменев спросил меня: «Не жизнь ли вы свою описываете?» Я ответил утвердительно, и он потом обыкновенно говорил мне при каждом удобном случае: «А что, записали про то, как опрокинулись? А про то, как смотритель содрал за студень целковый, не забыли?» и т. под.

Его очень интересовало, что такое могло быть написано в листе, за который меня не только ссылали, но еще и заковали. Последнее, как говорили они, было для них совершенною неожиданностию и очень их смутило; им случалось уже препровождать таким образом разных господ, но в кандалах никого не возили. «Уж, видно, бедовый!» Потом, когда я передал им, сообразно их понятиям, содержание воззвания, Каменев очень серьезно заметил, что со мной поступают несправедливо, что дело было там написано, что я за правду пострадал. И он повторял это часто во все продолжение дороги. Особенное впечатление произвели на него, кажется, мои слова о том, что крестьян обманули волей и что необходимо уменьшить срок службы солдатам.

Впрочем, мы скоро обо всем переговорили, и я большую часть дороги мог молча предаваться моим бесконечным, тяжелым и грустным думам.

Раз я как-то начал говорить о том, какая гадость жандармская обязанность, какой позор служить в Третьем отделении, какая низость всякий донос и так далее в этом роде. Провожатые мои, особенно Каменев, слушали меня с большим вниманием. Им казалось это совершенно ново.

— Ну, что, правду я говорю? — спросил я наконец.

— Правду,— отвечал, задумавшись, Каменев.— Вот хоть бы у нас был такой случай. Что уж гаже может быть? А есть этакие подлецы!

И он мне рассказал об одном жандарме, который за какое-то преступление был приговорен к шпицрутенам. Он прошел сквозь тысячу человек. Когда его привезли в лазарет, один из товарищей, видя страшное положение его, подошел к нему с сожалением и предложил ему чарку вина, чтобы он подкрепился; наказанный жандарм, почти умиравший, не нашел ничего другого сказать товарищу, что он донесет на него за это противузаконное предложение.

Я так засиделся в последние три месяца, что мне беспрестанно хотелось ходить, хотя этому и значительно мешали кандалы. Как только мы отъехали станции три от Шлиссельбурга, я стал выходить из возка почти при каждой перемене лошадей. Меня смущало только отчасти бряцанье моих цепей; но сделать их менее звонкими мне не удалось. Станции за две до Новой Ладоги Бурун-

дуков принялся обматывать их нашедшимся у нас холстом; но это не помогло. Главное неудобство заключалось в том, что в городах, где не случалось на станции ничего поесть, нельзя было, не возбудив придирок, идти в гостиницу или в трактир, особенно если он еще был далеко от почтового двора. Один неприятный случай такого рода я сейчас расскажу, а теперь стану продолжать по порядку.

Я уж сказал, что в Тихвин мы приехали рано утром 16 декабря. Хозяин дома не хотел здесь взять ничего с меня за чай, сливки, хлеб, говоря, что это было бы грех. Здесь еще не привыкли к «несчастным», едущим в своем экипаже. Дальше, около Тобольска и за Тобольском, наоборот, кажется, потому и норовили взять с меня за все подороже, что я — «секретный», а еду сам по себе, а не тащусь с партией.

Когда я садился в возок в Тихвине, ко мне подошла нищая и стала просить. И ямщик и все стоявшие близко начали останавливать ее, крича: «Разве не видишь? Разве у таких просят? Ты посмотри ему на ноги-то!» И тут разница между местами, близкими от Сибири и далекими. Здесь я уже не встречал больше нищих; а там, то есть подальше от Петербурга, они на всякой почти станции обступали меня, и я брал постоянно медные деньги у Каменева, которому жалко было платить их не только даром, но даже и за дело, хоть бы, например, за еду, за чай.

На следующее утро мы приехали в Устюжну во время обедни. День был воскресный, и над городом стоял гул благовеста. Здесь при станции была гостиница; мы остались поесть, потому что дальше трудно было рассчитывать на обед, и я очень обрадовался трем-четырем нумерам «Северной пчелы», в которых, впрочем, не было ровно ничего интересного.

Так как было еще рано — обедня только что начиналась,— и в трактире еще не было посетителей, то мы расположились в общей зале, рядом с бильярдной. Там скоро раздалось стуканье бильярдных шаров, и в полуотворенную дверь было мне видно, как там какой-то офицер принялся играть с маркером. Он то и дело заглядывал в комнату, где я сидел, и наконец вошел.

— Вы, вероятно, господин Михайлов? — спросил он

меня и отрекомендовался офицером Софийского пехотного полка.

Его особенно интересовало студенческое дело. Он спрашивал меня, выпущены ли студенты из крепости и на каких основаниях, много ли из них сослано, куда именно, надолго ли. Я, насколько мог, удовлетворил его любопытству.

Замечу кстати, что весть о моей ссылке как-то особенно быстро прошла по всей дороге, которую я совершал. Не говоря уже о городах, не было почти станции, где бы смотритель не знал моего имени и, завидев жандармов, не спрашивал: «Не Михайлов ли это?» Жандармы не раз выражали мне свое удивление по этому поводу.

Вечером на четвертый день по выезде из Шлиссельбургской крепости мы добрались скучной и утомительной дорогой до Ярославля. Целый день мне не удалось нигде перекусить. Богатый торговый город Рыбинск тоже не выручил: гостиница была где-то за версту от станции, а в другой поблизости ничего не готовили по случаю поста. Я решил перетерпеть голод до Ярославля.

На станции тоже ничего нельзя было достать здесь, кроме чая.

Жандармы мои решили ехать в гостиницу, куда привели бы и почтовых лошадей. Мы отправились, и скоро возок мой остановился у хорошо освещенного подъезда очень большого здания, какие редко встречаются в наших губернских городах.

Бурундуков пошел справиться, есть ли отдельный номер, и, после каких-то долгих переговоров, пришел с трактирным слугой во фраке объяснить, что свободные два-три номера есть только в третьем этаже. В общих залах довольно-таки гостей, а идти в номера можно по коридорам только мимо их. Бурундуков замечал, что это «ничего». Я вынул из дорожного мешка два полотенца и опутал ими кандалы; но они не брякали только до входа моего в большую, очень хорошо убранную прихожую, где передо мной растворил дверь весьма приличный швейцар. Эта прихожая и широкая, устланная ковром лестница напомнили мне хорошие заграничные гостиницы, и я никак не мог не подумать, что там нигде не был бы возможен визит вроде моего.

Слуга слегка поддерживал меня, чтобы я мог ступать не так твердо, когда мы всходили по лестницам и шли по

широким и светлым коридорам. Кандалы мои предательски позвякивали, несмотря на мои старания ступать как можно осторожнее. Мы прошли мимо ярко освещенной столовой. Двери в коридор были отворены; но господа, бывшие там, были слишком заняты разговором или обедом и не слыхали интересного звяканья. Рядом были отворены двери и из бильярдной. Там шла игра; но один господин взглянул-таки на меня в коридор. Замечательно то, что звука кандалов нельзя принять ни за что другое. Всякий сейчас же устремляет глаза на ноги и никак не подумает, как бы тихо они ни брякали, что это звенят медные деньги в кармане или что-нибудь другое. Выглянувший господин, к счастию, не отличался, верно, чуткостью.

Наконец взобрались мы в третий этаж, в просторную и чистую комнату, и я заказал обед. Мы еще не успели кончить обеда, как явился в комнату какой-то маленький горбун, слабое подобие Квазимодо, в черном сюртуке. Это, как оказалось, был староста со станции, явившийся за получением денег.

Он, впрочем, не удовольствовался тем, что взял прогоны, и, надеясь, вероятно, получить еще хоть целковый, поднял вопрос о том, имели ль право жандармы въезжать со мною, «секретным» арестантом, в гостиницу.

— Это так нельзя оставить,— говорил он гадким, каким-то разбитым голосом.— Мне законы известны. Вам следовало въехать в станционный дом. Вы еще за это ответите.

Бурундуков вспылил.

— Прогоны ты получил? — раскричался он,— так и ступай себе. Что ты тут за начальник, что пришел спрашивать? Да я и отвечать-то тебе не хочу. Почем ты знаешь, какие у меня инструкции? Вон сейчас отсюда!

Горбун, вероятно ждавший мировой сделки, начал ворчать что-то под нос себе, из чего можно было разобрать только:

— Здесь ведь тоже есть и ваше начальство... Штаб-офицер... Здесь же назад-то поедете... Заставят вас ответить!

— Пошел, тебе говорят, вон!.. Жалуйся кому знаешь! — крикнул Бурундуков уже так решительно, что поганый горбун рассудил убраться поскорее от греха.

Каменев все это время сидел молча и, с совершенно

бесстрастным спокойствием в лице, пил чай, стакан за стаканом. Надо заметить, что хоть ему и были вверены деньги и бумаги, но он старшинством уступал Бурундукову и был облечен доверием начальства, вероятно, в этом случае только по знанию своему грамоты да по примерной своей «умеренности и аккуратности». Даже у меня в возке принадлежало ему лишь второстепенное место. Он сидел задом к кучеру на чемодане моем, вместо скамейки, и, только когда особенно уставал и хотел спать, Бурундуков уступал ему место, да и то большею частью лишь тогда, как сам уже хорошо выспался.

Только по уходе горбуна Каменев, опрокидывая стакан на блюдечко, заметил:

— Чего ему, дураку, нужно было?

Мы выехали из города благополучно; но нас как будто преследовало проклятье горбуна. Зимняя дорога шла Волгой. Вскоре после того как мы выехали, поднялся ветер, не особенно сильный, но со снегом и поднял небольшую метель. Мы преспокойно задремали, никак не воображая, чтобы, едучи по льду реки, можно было, даже при сильной метели, сбиться с дороги. Но это именно случилось.

Когда кто-то из нас проснулся и тотчас разбудил других, мы стояли над полыньей. Ямщик не знал, что делать и где дорога. После долгих поисков он решил, что мы не по той дороге едем, и повернул назад. Потом он еще раза два ворочался и наконец с самым твердым убеждением заявил, что дорога найдена и что теперь остается до станции не больше половины пути. Спал он, что ли, или ехал в первый раз или по какой рассеянности потерял действительно занесенную снегом дорогу,— но он сваливал все на каких-то проезжих в санях, которые, видимо, *обошли* его. Мы беспрестанно спрашивали его, скоро ли наконец станция. Он отвечал все, что сейчас.

Ночь была довольно темна, но скоро на снегу можно было рассмотреть чернеющие строения, а за ними белеющую церковь.

— Это станция?

— Станция.

Не успели мы успокоиться на этом известии, как ямщик, повернувшись к нам, как-то странно проговорил:

— А ведь это не станция.

— Так что же?

— Да я и сам не знаю.

Это был — снова Ярославль, но ямщик, как Одиссей, вынесенный на родной берег, не узнал его, он долго не хотел согласиться и с жандармами, когда те начали уверять его, что он обратно привез нас в Ярославль.

Когда он убедился наконец в этом, отчаяние его было невообразимо, и он и дорогой и по приезде на почтовый двор не переставал изумляться своей ошибке и изрекать проклятия на встретившиеся ему сани и на каких-то леших, сидевших в них. К досаде его прибавилось еще что-то вроде лихорадки: отыскивая дорогу, он вымок по пояс в сугробах и зажорах.

Горбун, вероятно удовлетворенный нашею неудачной поездкой (оказалось, что мы плутали пять часов), смотрел уже кротко и помалчивал. Но для производства следствия явился почтосодержатель, какой-то отставной офицер, и распорядился, чтобы с нами отправился провожатый с фонарем.

В утешение он сообщил, что и сам начальник губернии этой же дорогой ездит всегда и недавно еще застрял где-то в зажоре.

На этот раз мы доехали до станции, хоть и тащились опять пять часов.

Если бы не это плутанье, поутру могли бы мы быть в Костроме, но были только в Нерехте, а Кострому проехали только в середине дня.

Я был уже сильно истомлен дорогой, потому что нигде не отдыхал; но мне хотелось сделать хоть половину пути, который казался мне бесконечным. Спутники мои мне надоели и опротивели; в голове была какая-то путаница от неизвестности того, что меня ожидает; на сердце горько и одиноко, сны виделись все о свободе, да о бегстве, да о вас,— а иногда и такие, что я просыпался от испуга. С самого отъезда из Петербурга и до Тобольска я вообще был словно растерянный какой и не мог ничего сообразить хорошенько, и все как будто что-то щемило мне сердце. Спать приходилось мне сидя, и это еще более утомляло меня. Протянуть ноги — значило только подвергнуть их холоду. И так они у меня беспрестанно зябли, несмотря на толстые и теплые сапоги. Как ни старался я укрывать свои кандалы, они быстро холодели; холодели и кольца, которые, как когти, охватывали мне ноги, и ноги начинали ныть и тосковать.

Но мне хотелось ехать скорее, чтобы скорее добраться до места. Я лишь ненадолго остановился в Вятке, чтобы пообедать да написать письмо, которое ты и получила. Хозяйка дома, в котором помещается почта, видя, как я изнеможен, упрашивала меня остаться переночевать, а на ночь сходить попариться в баню. О бане, разумеется, нечего было и думать, потому что я не мог бы снять с себя брюк при узких кольцах кандалов; но и ночевать, несмотря на явное желание и моих провожатых отдохнуть немного, я не хотел остаться. «Доеду хоть до Перми и там отдохну. Все-таки хоть половина первой части дороги будет позади»,— думал я и так и сделал.

Утро рождества встретили мы в только что отстроенной, сырой и холодной станционной избе. Горница была очень большая; везде от стен дуло; из окон — тоже. Одиночные рамы в окнах дрожали и скрипели от жестокого ветра, который выл как бешеный около одиноко стоящего дома. Это был праздник только для Каменева. Он мог разговеться и перестать завидовать мне, что я пью чай с молоком, когда случалось найти молоко. В горнице ярко топилась большая печь, и мы оттащили стол из переднего угла к ней и тут напились чаю; с одного боку подпекала нас печка, а с другого обдувал ветер так, что пламя свечи на столе колебалось и сало оплывало. Было еще темно.

В ночь этого же дня добрались мы наконец до Перми. Мы приехали туда часу во втором. Отдохнуть было уже решительно необходимо: у меня ломило спину и все кости; ноги были как онемевшие. Дорога становилась все хуже и хуже — то ухабы, то снег по колена, то снег сдуло с дороги. В иных местах так было выбито, что я ехал с постоянно замирающим сердцем: вот сейчас ухаб! и каждый толчок экипажа отдавался резкой болью у меня в голове.

Во втором этаже пермского почтового дома было нечто вроде гостиницы — три-четыре просторных комнаты с узкими диванами по стенам и с голыми кроватями. Побоявшись клопов, я улегся на диване и проспал ночь как убитый, несмотря на скованные ноги. Утром я чувствовал какое-то дрожанье во всем теле,— вероятно, застоявшаяся кровь расходилась, хотел было написать к тебе письмо, но у меня было какое-то отупение в голове и руки дрожали, как у горького пьяницы. Мне почему-то думалось, что я получу здесь какую-нибудь весточку от вас.

Спросил, не справлялись ли обо мне до моего приезда — нет. Утром увидал я, идет казак. Действительно, он справлялся, кто приезжие; но собственно мною никто не интересовался,— значит, письма ко мне не было. Зашел на несколько минут бывший студент Петербургского университета, поляк, остановившийся тут же, рядом со мной. Он уехал из Петербурга до волнений в университете на службу сюда. Мне не понравился он, и самую фамилию его я забыл.

Из окон моей комнаты виднелась огромная пустынная площадь, вся покрытая снегом. Праздничный звон гудел, наводя еще более тоску, и я торопил жандармов ехать.

Во всю почти дорогу от Вятки, чуть не на каждой станции, приходилось слышать:

— Вот недавно из Варшавы двух провезли.

Или:

— Третьего дня ксендз проехал из Варшавы с жандармами.

В Кунгуре, где я был вечером в тот день, мне сказали, что тут провезли, одного вслед за другим, шесть ксендзов.

Тут меня еще более напугали дорогой. Отсюда-то только и начинаются ухабы.

Это оправдалось как нельзя лучше. Бесконечные обозы с чаями потянулись навстречу и до самой Тюмени почти не прерывались. Дорога действительно была беспримерно выбита. Селения, правда, начинали смотреть несколько зажиточнее: не кидалась уже в глаза та голая, вопиющая нищета, какая возбуждала тягостную тоску в Вологодской, в Вятской губерниях. Но зато горько и тяжело было от другого зрелища. Около каждой деревни темнели средь глубокого снега серые частоколы этапов. По ранним утрам около их ворот стояли бабы с калачами, с молоком для несчастных. Попадались партии ссыльных: скованные по четверо вместе железными наручнями, с заиндевевшими бородами, шли впереди каторжные; без оков, сзади, в жалкой одежонке, в куцых, негреющих казенных полушубках — отправляющиеся на поселение; еще дальше — дровни с бабами, с больными, с детьми, закутанными в разное жалкое тряпье. Солдаты и казаки шли, как пастухи за стадом.

Екатеринбург проехал я в три часа ночи с 27-го на

28-е число. Я, вероятно, остался бы до утра, если б брат Павел был в это время здесь; но мне сказали на почте, что он не приезжал.

О дальнейшей дороге до Тобольска нечего было бы и говорить, если б с нами не случилось смешного происшествия, станции за две — за три от города Тюмени.

На этой станции мы рано пообедали, чем нашлось. Когда выходили садиться, ямщик, еще молодой парень, с круглым красным лицом, с смелыми глазами, сделал нам упрек, что мы долго слишком проклаждались с чаем, что лошади не стоят.

— Ну, так поезжай скорее!

И действительно, лошади помчались как стрела.

— Не гони; пристанут потом — станция длинная! — останавливал его Каменев.

Вдруг лошади остановились.

— Что такое?

— Где у вас ямщик-то? — спрашивал мужик, стучась в затворенное окно.

Оказалось, что ямщик слетел с козел и остался позади.

Когда он догнал нас, мы увидели, что он еле держится на ногах. Видно, на морозе его разобрало.

— Да ты, парень, пьян? того и гляди, опять слетишь, да и повозку повалишь.

— Пьян! так закачу, только держись.

— Легче! легче!

Он погнал опять как сумасшедший. Возок трещал на ухабах.

На шестой версте лошади вдруг стали как вкопанные. Как ни кричал на них ямщик и с козел и слезши, они не делали ни шага вперед. Так простояли мы по меньшей мере четверть часа.

Бурундуков вышел из терпения и выскочил из возка.

— Ведь говорили тебе, чтобы ты не гнал? Вот, стали теперь лошади.

Ямщик вдруг разразился самою скверною бранью. Его уже совсем разобрало.

— Оттого и стали, что ты гнал меня,— кричал он, чуть не к каждому слову прибавляя отвратительное русское ругательство,— ты и меня всего избил! Саблей меня в бок тыкал!

Он врал все это.

Шагах в двадцати виднелась крайняя изба, только что проеханной нами маленькой деревушки.

— Что с ним толковать? — обратился ко мне Бурундуков.— Он пьян и как одурелый какой-то. Надо тут спросить лошадей в деревне; эти не довезут, он их совсем загнал.

Из деревни кто-то уж увидал, что с нашим возком что-то случилось, и тут как раз подошло мужиков пять-шесть. Лошадей у них не оказалось. Ямщик, обрадовавшись слушателям, начал кричать с тою же бранью еще громче.

В каждом слове его выражалось то ожесточение, которое глубоко таит в себе наш простолюдин против всякого, в особенности же против военного начальства. В солдате он привык видеть не собрата своего, который несчастным случаем попал сам чуть что не в каторгу, а грабителя своего и притеснителя. Да, впрочем, и не из чего было вынести иной взгляд. Особенно жандарм должен быть ненавистен, по своему произволу, по безнаказанности.

Ямщик ругался и кричал, не умолкая. Он на каждом слове клеветал на моих провожатых.

— Они избили меня,— вопиял он,— гнали во всю мочь. Только и кричали, что пошел да пошел. С козел меня столкнули. А ты кто такой? — обратился он к Бурундукову, размахивая руками.— Генерал ты, что ли, какой? ты солдат (и крепкое словцо) — солдат бесштанный (и опять крепкое словцо).

Бурундуков и Каменев объяснялись между тем с мужиками, и из этих объяснений выяснилось, что в деревушке всего-то три двора и лошадей нет.

— Надо съездить назад на станцию, за лошадьми. Помогите-ка кто-нибудь отпречь пристяжную.

Мужики не двигались.

— Что ж вы?

— Не замай, братцы! — кричал ямщик.

— Что ж — наше дело тут сторона. Чего ж мы?

— И то, братцы.

Бурундуков пошел отпрягать лошадь.

— Нет, ты не смеешь отпречь,— закричал ямщик.— Не дам я тебе.

Он рванулся было к нему, но свалился и едва приподнялся, скользя на обледенелом снегу дороги.

— Видите, как он пьян,— заметил Каменев мужикам.

— Точно, что маленько выпивши.

Но не успел Каменев отойти шага на два — на три, как они принялись науськивать ямщика:

— Не давай, паря, не давай!

Ямщик кинулся — и на этот раз удачнее,— да поздно. Вдвоем жандармы успели уже отпречь лошадь, и Бурундуков сел на нее верхом.

Тут-то разразился наш ямщик.

В то время как Бурундуков удалялся от нас назад, он напустился на Каменева, который, как и товарищ его -- надо признаться,— вел себя как нельзя лучше во всей этой истории.

Теперь ямщик дал другой оборот своим ругательствам.

— Ты кого везешь? — кричал он, все с теми же неизбежными приговорками.— Ты секлетного везешь. Вот кого! Не генерала ты везешь, а секлетного. А в чем ты его везешь? Я, брат, законы знаю. Разве в этакой избушке секлетных возят? На то перекладная есть. А ты его проходной везешь.

— Молчи ты, когда с тобой не разговаривают,— попробовал кротко заметить ему Каменев.

— Не стану молчать! — еще громче голосил ямщик.— Секлетных-то ты в избушке в этой везешь? Ты кто такой? Жандар ты... (словцо). А сабля у тебя где? Захочу, я тебе все рыло расхлещу. С секлетным ты едешь, а где у тебя сабля? А!.. Жандар ты, а я плевать хочу на тебя. А пистолет у тебя где? Секлетного ты везешь... Секлетного али нет?.. А как же ты его без сабли везешь?

Каменев подошел к растворенной дверце возка и начал говорить со мной.

Тут совершилось нечто совсем неожиданное.

Пользуясь, вероятно, тем, что жандарм не обращает на него никакого внимания, и подзадоренный мужиками, ямщик вдруг вскочил на козлы, крикнул на лошадей в источный голос, и лошади, вероятно с испугу, помчались. Я захлопнул поскорее дверцу возка и отворил маленькое оконце впереди.

— Стой! куда ты? Остановись! Держи лошадей! — кричал я ямщику.

Но он ничего не слушал, размахивал кнутом как сумасшедший и только отчаянно ухал на лошадей.

— Что, плохо везу? Плохо? — восклицал он по временам.— Пристали лошади? А! Вот как я на паре троих везу.

Ясно было, что он ничего не помнит.

Видя, что слова мои не помогают, я схватил его за пояс, потом за плечо, но толку никакого не было: он продолжал гнать все сильнее и сильнее.

Наконец уже он как-то неловко пошатнулся, неловко потянул вожжи, и лошади круто повернули в сторону и уперлись в сугроб. Мы проскакали версты три.

Тут догнал нас Каменев верхом. Мужики испугались, видя, что может выйти плохо для них, и поспешили дать ему лошадь. Он с великим трудом усадил ругавшегося ямщика на козлы, сел с ним сам, и мы поехали назад, чтобы встретиться с Бурундуковым.

Замечательнее всего то, что, когда, стоя около сугроба, ямщик опять принялся за ругательства и опять кричал: «Ты секлетного везешь... Как же ты его в избушке везешь?» и проч., и когда я крикнул ему: «Да перестанешь ли ты ругаться?» — он вдруг несколько присмирел, подошел к окошку, в которое я глядел, снял шапку и принялся оправдываться передо мной, называя меня «ваше превосходительство». Не думайте, чтобы в этом названии, как и вообще в обращении ко мне, была хоть искра иронии.

Когда мы отъехали немного назад и Бурундуков встретился нам в санях с посланным со станции и с парою свежих лошадей на подкрепление остальных, ямщик перепугался и, по-видимому, совсем отрезвел. Лошадей припрягли, и он, извиняясь, стал просить, чтобы ему дозволили довезти нас до следующей станции. Он и повез нас — уже тихо и смирно, и довез исправно.

Если б мне в то время, как мы мчались только вдвоем с пьяным ямщиком, попался какой-нибудь исправник или становой, он легко бы мог принять меня за беглого, улепетывающего от погони. Кандалы мои могли бы только утвердить его в этом предположении.

Вот самое интересное из происшествий со мной по пути от Петербурга до Тобольска. Затем только разве упомянуть, что мы четыре раза сваливались с возком и выбирались из него в одну из дверок, которая оказывалась обыкновенно на месте крыши. При этом, конечно,

всегда почти надламывалась одна из оглобель, и в ближайшей по дороге деревне производилась чинка. Любопытно, что три последних падения с возком случились как раз в три последние дня моего пути к Тобольску — по падению на день. Одно окно разлетелось вдребезги, и мы забили его войлоком.

Мне не хотелось приехать в Тобольск ночью, и мы решили ночевать на последней станции. Здесь мы въехали на так называемую земскую квартиру, в опрятную, теплую и довольно просторную избу. Было еще не поздно. Напившись чаю, я принялся писать к тебе письмо, чтобы отправить его с жандармами. Они обещались доставить его аккуратно. Я не знал, где будут держать меня в Тобольске и допустят ли их ко мне,— и потому лучше было сделать дело заранее. Тут же решил я дать им на водку. Денег у меня, как ты знаешь, на руках не было. Вывести в расход по данной Каменеву книжке слишком много — мне не хотелось. Я еще не искусился опытом в этом отношении и думал, как бы не было потом каких придирок. Поэтому я распорол подкладку своей шапки, в которую вы зашили мне на всякий случай денег, и вознаградил жандармов довольно щедро. Они были, конечно, как нельзя более благодарны. Остальные выпоротые из шапки деньги я просто-напросто, без всяких опасений и предосторожностей, положил себе в карман.

По мере приближения к Тобольску мне не раз встречались на станциях проезжие и оттуда и из дальнейших мест Сибири. Все почти обнадеживали меня, что меня не ждет ничего ужасного, что со мною будут обращаться как нельзя лучше, и проч., и я, признаюсь, несколько успокоился. Меня несколько смущало только то, что я первый и единственный политический преступник, ссылаемый в нынешнее царствование в каторжную работу. От подобных ссылок успели уже несколько отвыкнуть в Сибири, и, пожалуй, я буду поставлен в исключительное положение, которое, во всяком случае, неприятно, потому что возбуждает внимание, а следовательно, и более строгий надзор. Я знал, что в Нерчинском округе не осталось уже никого ни из декабристов, ни Петрашевского и сосланных с ним вместе трех его товарищей.

К счастию, того, что я предполагал, не случилось. Время все-таки сделало успехи, и я встретил здесь вме-

сто прежнего равнодушия или притеснения более или менее искреннее сочувствие и всевозможные удобства.

Привычка ли к дороге или все-таки приятное чувство, что в Тобольске узнается хоть что-нибудь решительное,— только я не чувствовал уже того утомления, как в Вятке и Перми. Я уснул очень хорошо, но проснулся довольно рано,— и мы почти тотчас же отправились.

Двадцать верст, считавшиеся от станции, скоро остались за нами, и вот забелели на горе здания и церкви Тобольска. Было около десяти часов.

МЕСЯЦ В ТОБОЛЬСКЕ

Жандармам была дана из Петербурга бумага только в Тобольский приказ о ссыльных, но я настоял, чтобы ехать прямо к губернатору, который мог бы, как мне казалось, распорядиться сам, куда поместить меня. К тому ж день был воскресный, и в приказе, верно, никого не было.

Мы остановились у нового тесового крыльца с таким же навесом, пристроенного к каменному дому. Бурундуков пошел с пакетом; но тотчас же почти возвратился и сказал, что губернатор пакета не принял и приказал отвезти и пакет и меня в приказ.

Губернаторский дом стоит в нижней части города. Теперь нам пришлось подыматься на высокую гору, где белели здания присутственных мест, собор, кажется, гимназия или семинария. Там же помещался тюремный замок и приказ. Поднявшись по отлогому, но длинному откосу горы и миновав памятник Ермаку и будущее мое помещение — острог, мы наконец достигли и до приказа о ссыльных, небольшого и грязноватого здания, куда я уже пошел прямо вместе с обоими своими спутниками.

Отворив первую дверь из темного и грязного коридора, мы как раз очутились в одном из отделений приказа. Тут была и канцелярия и прихожая вместе. Стояли канцелярские столы и близ дверей вешалка для теплой одежды.

Против ожидания, в приказе не было пусто. Там было человек десять,— по-видимому, служащих тут чиновников. Это можно было заключить разве по тому, что некоторые из них писали, некоторые расхаживали, как

дома, с развязностью хозяев этих грязноватых мест, и все обступили меня с расспросами, с предложениями погреться у громадной железной печи, которая, как ад, пылала в углу, или сесть, или покурить. Но если бы судить по одежде, их никак бы не принять за чиновников. Такие жалкие костюмы можно встретить, да и то не всегда, разве в казарме, где помещаются ссыльные из бедных слоев общества. Продранные сапоги, продранные валенки, покрытые заплатами штаны, замасленные до последней степени сюртуки с оборванными пуговицами и продранными локтями, какие-то онучки на шее вместо галстука, какие-то странного покроя (и тоже в дырах) одежды — не то ваточные халаты, не то пальто, обличающие под широкими рукавами отсутствие хоть какой-нибудь рубашки. Говорят, что приказные эти побираются гривенниками и даже пятаками от несчастных, проходящих через их руки. Оно и не удивительно. Кроме зверообразного воспитания, полученного большею их частью, они лишены всякой иной возможности добыть себе денег на существование. Последний лакей получает более лучшего из них; а работы много. Мне невольно пришло в голову: если такая голь — управляющие судьбою людей, в число которых попал и я, то какова же голь должна быть управляемые. Я теперь сомневаюсь, чтобы и каторжный согласился обменяться своим местом, платьем и делом с кем-либо из канцелярских чиновников тобольского приказа о ссыльных.

Ямщик в мохнатой белой шубе, вверх шерстью, привезший меня, вошел почти вслед за нами в канцелярию, попросил у одного из жандармов моих папироску и закурил ее у печки. Куря, как дома, он с таким сознанием своего превосходства смотрел на приказных, что они казались еще жалче. Когда кто-нибудь из них заговаривал с ним, он отвечал с таким достоинством, что заговоривший как будто еще более умалялся и чуть не начинал заискивать его расположения. А между тем этот ямщик ждал от меня гривенника на водку.

Кто-то из приказных, более приличного и опрятного вида, побежал к управляющему приказом с пакетом и известием о моем приезде. Прошло минут двадцать, пока он возвратился и объявил, что управляющий скоро будет сам. Надо подождать. Я прождал еще минут десять. Тут пришел еще какой-то посланный и сказал, что управляю-

щий не велел ждать его, а приказал отвезти меня в тюремный замок.

Поехали. До замка было недалеко, и мы скоро были уже у железных решетчатых ворот, около которых стояло и сидело с десяток баб, торговок калачами, молоком и пр. Здание тюрьмы имеет довольно внушительный вид: оно ново, выбелено чисто и не напоминает унылые, полуразвалившиеся тюрьмы этапов, мимо которых я проезжал.

Часовой, стоявший за решеткой ворот, дернул за звонок, проведенный в кордегардию; на звонок его вышел с ключом дежурный старший и отпер перед нами завизжавшие на петлях ворота.

Тут тотчас очутился передо мной смотритель замка, толстенький, невысокого роста человечек с каким-то сероватым лицом, и заговорил скороговоркой, раза по три повторяя почти каждое слово. Он чуть открывал рот, когда говорил, и так торопился, что надо было с напряжением слушать его, чтобы понять.

— Вещи ваши, вещи ваши посмотрите-с,— суетился он.— Жандарм, жандарм, выкладывай. Продерни, ямщик, возок-то, возок-то.

Возок продернули из ворот во двор, довольно просторный, окруженный со всех сторон белыми стенами. Прямо против въездных ворот были другие растворенные ворота, проходившие под такого же почти объема, как и наружная часть острога, зданием о трех этажах. Справа и слева были каменные белые стены, отделявшие главный двор от дворов разных отделов тюрьмы. И с той и с другой стороны в этих стенах было по двое ворот.

— Выкладывай тут все из возка, из возка! — торопливо распоряжался смотритель.

Жандармы вынимали мои пожитки и клали всё в кучу, на землю.

— Всё вынимай! все вынимай! А то ведь тут оставить ничего нельзя. Как раз растащут, растащут, анафемы. Войлочек-то вынь. Окна-то не вынаются ли?

И он расшатывал окна, предполагая, вероятно, что и их могут утащить.

— Пожалуйте-с, пожалуйте-с в канцелярию. Ты побудь тут покамест, покарауль,— крикнул он одному из жандармов.

Я не понимал, да и теперь не понимаю, зачем мне нужно было подыматься чуть ли не в третий этаж, в гряз-

ную и пустую комнату, именовавшуюся канцелярией. Каменев, пошедший со мной, предлагал смотрителю принять от него мои деньги, но он восстал против этого всеми силами и говорил о них, как будто это были раскаленные угли, до которых его рукам страшно притронуться. (Потом полицеймейстер разбранил его за это и велел получить от жандарма мои деньги.) Он исчез минут на десять, я походил из угла в угол, посидел и уж начинал, признаюсь, сильно злиться на эти проволочки, как смотритель вернулся.

— Пожалуйте-с, пожалуйте-с! — заговорил он опять так же торопливо.

Мы спустились.

— Пожалуйте за мной-с! Эй вы! берите, берите вещи! Несите сюда, сюда!

Два-три не то казака, не то мужика взвалили мою поклажу на плечи и понесли все за мной. Мы прошли в средние ворота на так называемый кандальный двор; посреди его стояло невысокое здание о двух этажах (верхний, впрочем, больше похож был на чердак). Тут влево от ворот виднелась над дверьми крупная надпись славянскими буквами, какой-то текст. Это был вход в церковь. Двор, собственно говоря, обходил вкруг этого здания лишь как коридор.

Мы повернули влево, потом за угол. Солдат отпер решетчатую тяжелую дверь. Мы вошли в темный, сырой и довольно зловонный коридор с тюремными дверями по одну сторону. Одна из этих дверей была перед нами распахнута, и я вошел в назначенное мне помещение.

Это была комната саженей в шесть квадратных. Она еле освещалась маленьким полукруглым окном, которое ближе было к потолку, чем к полу. По двум сторонам прилажены были к стене несколько покатые широкие нары. Стены были запотевшие и покрытые плесенью. Воздух спертый, пропитанный махоркой, сапожной кожей и прелью. На нарах помещались два арестанта — оба пожилые, небольшого роста. Один зашивал себе что-то, другой сидел свесив ноги.

— Вот вы в уголок тут, в уголок пристройтесь,— посоветовал мне смотритель.— А ты оттащи свою-то ло́пать да подушку-то,— крикнул он шившему в углу арестанту.

Уголок зарос весь зеленою плесенью.

— Нет, уж я лучше в середине помещусь,— заметил я,— там сыро слишком.

— Как угодно-с. Да их и вывести отсюда можно. Вот надо надзирателю, надзирателю сказать.

Надзиратель, худощавый, старый казак, вошел вместе с нами.

— А впрочем, погодить можно; вы покамест, покамест не раскладывайтесь. Может, полицеймейстер прикажут вас отсюда перевести.

Вещи мои сложили на нары, я сел около них.

Тут вошел молодой караульный офицер.

— Вам угодно-с, угодно-с будет освидетельствовать вещи? — спросил смотритель.

— Нет, не нужно,— отвечал офицер, поклонился мне и ушел.

— У вас, может, чернильница есть? — спросил меня смотритель.

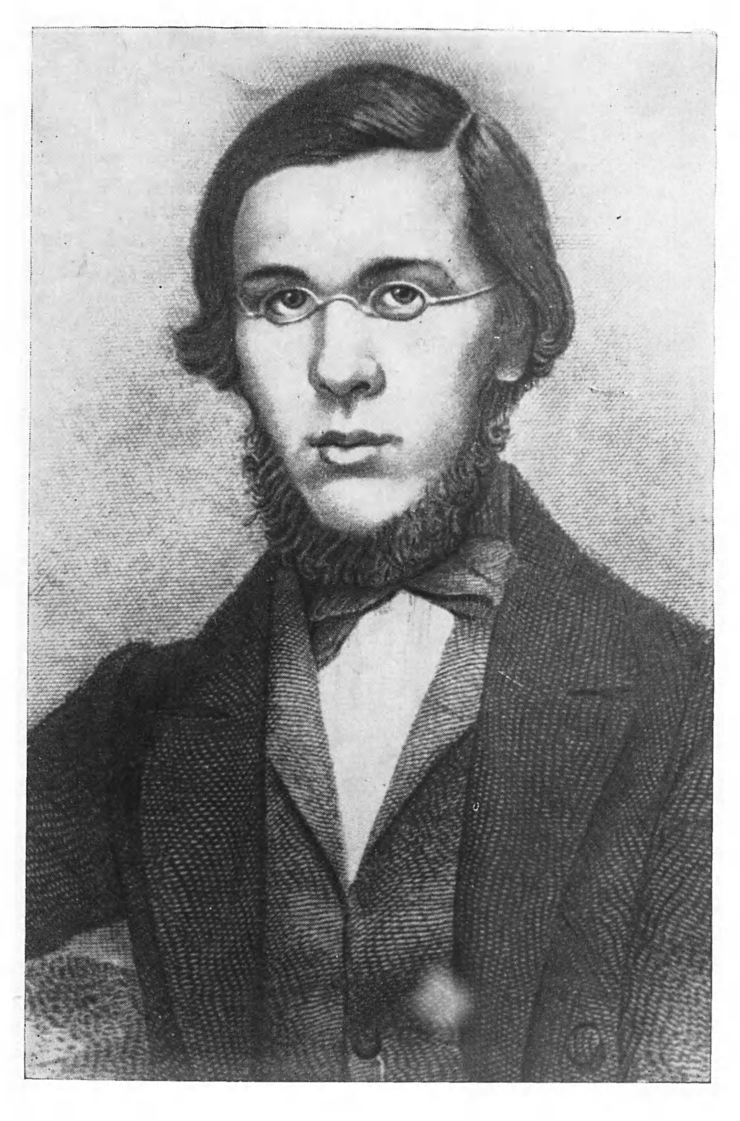
— Есть.

— Здесь ведь не позволено-с. В канцелярии-с только дозволяется писать, если что нужно.

— Мне нечего писать теперь, и она у меня далеко заложена. Потом об этом.

— Очень хорошо-с. Так вы извольте посидеть-с покуда здесь, а я к полицеймейстеру съезжу-с. Ты уж побудь здесь,— обратился он к надзирателю,— чтобы не беспокоили их, не беспокоили. Или понадобится что.

Я закурил папироску и стал ждать. Мне пришлось просидеть тут с полчаса. Я был так озлоблен, что я все еще как будто не на месте, что меня бесил каждый вопрос надзирателя. А он считал, кажется, своею обязанностью занимать меня, как гостя. Арестанты, сидевшие тут, как оказалось из его слов, были только подсудимые. Они то выходили из камеры, то опять приходили. Вероятно, слух о новоприезжем «кандальщике» из благородных разнесся по всему отделению. Дверь ко мне беспрестанно отворялась, и то высовывалось любопытное лицо с обритой наполовину головой, то смело переступал порог, вероятно, более опытный ссыльный и, чтобы иметь возможность постоять тут и взглянуть на меня (а может, и попользоваться какою мелочью), начинал какую-нибудь пустяшную просьбу. Надзиратель едва успевал отделываться от этих посетителей, крича им: «Потом придешь! Что вы лезете сюда? Пошел вон! Не сметь растворять



Н. А. Добролюбов
Гравюра П. Ф. Бореля с фотографии 1860 г.

дверь!» Это не помешало ему уверять меня, что мне было бы гораздо лучше, если б я остался в его ведении, что для меня можно бы очистить «секретную» получше других, и проч. Мои чемоданы заметно внушали ему уважение, и он рассчитывал, что, теряя меня, теряет очень выгодного жильца.

— Право, лучше бы вам здесь было,— шепнул он мне и тогда, как явился смотритель с известием, что полицеймейстер приказал перевести меня в дворянское отделение.

Я, разумеется, не увлекся советом надзирателя. Если в дворянском будет не лучше, то ведь и хуже не может быть — трудно, по крайней мере.

Опять понесли мои вещи той же дорогой. Мы вышли на главный двор, потом влево во вторые ворота, около которых выходил сюда узкою стороной с одним высоким, маленьким, полукруглым окном флигель, где помещалось дворянское отделение. Под навесом неподалеку я увидал свой возок.

Смотритель, идя со мной, объяснял скороговоркой:

— Вы покамест вдвоем-с, вдвоем-с будете. Один молодой там человек. Тоже-с из дворян. Номеров теперь свободных нет-с. А вот-с, вот-с как партию отправим — вам отдельную можно будет дать-с.

На небольшой продолговатый двор, куда мы вступили, флигель смотрел довольно длинным рядом таких же маленьких окошек и казался подслеповатым. У крыльца, на дальнейшем конце, стоял часовой около будки. Решатчатых дверей не было, а простые — и те не заперты. Вот уж и лучше, значит.

Смотритель просто толкнул из сеней дверь. Она тяжко растворилась, притягиваемая кирпичом на веревке вместо блока,— и меня охватило удушливым теплом и масленым чадом.

Такой же мрачный (разве немножко лишь светлее) коридор и с такими же окнами под потолком, как и в кандальном отделении, был передо мной. От грязных полов и отсыревших, покрытых темными пятнами стен он казался еще темнее. Притом он наполнен был сероватым паром или чадом, и сразу я ничего не мог рассмотреть.

Двери номеров были и здесь лишь по одну сторону. Мне назначалась шестая дверь от входа.

Приход мой, сопровождаемый необычным здесь бряканьем цепей, возбудил, конечно, любопытство моих новых товарищей. Из дверей выглядывали то мужчины, то женщины; два расхаживавшие по коридору арестанта, один в сером арестантском длинном до пят халате, другой в дикого цвета каком-то пальто, остановились посмотреть на мое лицо и на мои ноги. Откуда-то слышался крик грудного, и, по-видимому, новорожденного, младенца.

В отведенной мне комнатке, которая была меньше шлиссельбургской, встретил меня мой сожитель, Станислав Крупский, как он мне тотчас отрекомендовался. Смотритель нас оставил.

— Вы меня застали за обедом,— сказал он,— не хотите ли вместе?

У него стояли на столе две оловянные тарелки с жирною бараниной и кашей.

Говорить по-русски он затруднялся, и я предложил ему, чтобы он говорил по-польски, а я буду отвечать по-русски; но он мне сказал, что охотно и хорошо говорит по-немецки.

Это был молодой человек, двадцати трех-четырех лет, довольно хорошего роста, не полный, но очень крепко сложенный и очень красивый: прекрасные светлые глаза, прекрасные светло-русые волосы и свежий, юношеский цвет лица. У него было то типическое выражение, которое можно заметить у большей части поляков. В губах и глазах какая-то смесь горечи и ласковой хитрости; в улыбке что-то полупечальное, полузлое, полунасмешливое; на Крупском была почти новенькая синяя венгерка польского покроя, пестренький цветной галстук. Вообще видно было, что он занимается собою даже посреди всей этой тюремной грязи.

У него тут было и кой-какое хозяйство: маленький самовар, маленький погребец, чемодан, окованный сундучок. Когда внесли вдобавок все мое имущество, нам почти повернуться было негде. В комнате была одна только койка, и надо было устроиться как-нибудь.

Крупский с услужливостью младшего брата принялся суетиться, передвигать чемоданы, развешивать по гвоздям шубы и проч. Он отстранял меня от всего, и я с благодарностью принял его услуги, потому что еле шевелился от усталости. Ноги у меня ныли страшно.

Когда все было приведено в некоторый порядок, я

спросил Крупского, нельзя ли распорядиться насчет чая. Он прибыл сюда дней за пять до меня и успел уже прино-ровиться ко всем здешним обычаям.

— Здесь все можно достать,— заметил он,— и вообще ничего, можно еще жить. Тут два человека для прислуги. Василий! — крикнул он, выглядывая в коридор.

— Сейчас, ваше благородие.

И немедленно явился пересыльный Василий Непомнящий, как оказалось потом, удержанный временно в остроге для услуг в дворянском отделении, невысокого роста черноволосый малый лет тридцати пяти, с бойкими, несколько плутовскими черными глазами, с черными усами, с бритой бородой и сережкой в ухе. На нем была ситцевая рубашка, подвязанная тонким пояском; по бойкости и развязности движений, по изысканности фраз он напоминал полового из трактира. Он взял самовар Крупского и унес его греть в коридор. Впоследствии я познакомился с Василием ближе и очень жалел, что ему пришлось покидать острог раньше меня.

Когда мы сели за чай, к нам вошел высокий рыжий арестант с очень решительным, несколько как будто болезненным лицом. У него была густая круглая борода почти огненного цвета; половина головы, как я заметил, всматриваясь потом, была у него, верно, брита, но волосы успели на ней так отрасти, что сразу этого не видно было. Несколько наглые глаза его смотрели прямо, но они были несколько мутны.

— Что вам угодно? — спросил Крупский.

— Я к ним-с,— отвечал он, показывая на меня и кланяясь мне слегка.

Тут и я повторил ему вопрос, что ему нужно; но вместо ответа он сам спросил меня:

— Вы из Петербурга изволите следовать?

— Из Петербурга.

— В крепости изволили содержаться?

— В крепости.

— Er will ein Paar Groschen haben,— мимоходом ввернул Крупский, возясь около самовара.— Wenn Sie kein Kleingeld haben, ich will ihm etwas geben, und mag er wegspazieren [1].

---

[1] Он хочет получить несколько грошей. Если у вас нет мелочи, я ему дам что-нибудь, и пусть он проваливает.

— Lassen Sie ihn sich ausreden[1],— отвечал я.

— Я вам помешал-с,— деликатно заметил нежданный гость.

— Нет, нисколько,— отвечал я.

— Позвольте спросить, в крепости плац-майором все еще полковник Новоселов?

— Нет, теперь другой.

— Кто же-с?

— Не помню фамилию.

— А полковника Новоселова изволите знать?

— Знаю.

— Я им премного был обязан... Во время содержания в крепости... Добрейший, могу сказать, полковник.

— А вы в крепости содержались?

— Точно так-с. Вы, верно, изволили слышать о моем деле. Я Федор Иванов.

— Нет, не слыхал.

— А тогда много было-с шуму в Петербурге. Смею вас спросить, вы в каторжную следуете?

— Да.

— По какому делу, если смею спросить?

— По политическому преступлению.

— Это, значит, как я же-с?

— А вы тоже политический?

— Как же-с!

Это меня заинтересовало.

— Мне это удивительно, что вы не изволили обо мне слышать,— продолжал он.— Кажется, про Федора Иванова все тогда известны были в Петербурге. В газетах было писано.

— Ну уж извините! Я ничего не слыхал. Да когда ж это было?

— В шестидесятом году нас судили-с.

— А вы не одни?

— Нет-с, шайка нас была целая. Большие тогда грабежи происходили.

— А!

— Сквозь тысячу я прошел-с.

— Was ist das? Von was für Tausend spricht er?[2] — спросил меня Крупский.

---

[1] Дайте ему высказаться.

[2] Что такое? О какой тысяче он говорит?

— Spitzruten [1],— отвечал я.

— Точно так-с, шпицрутенами был наказан,— подтвердил рыжий гость.

— Schicken Sie ihn doch weg! — повторил Крупский,— wollen Sie Kleingeld? Man muß mit den Kerls vorsichtig sein [2].

— Wozu? [3]

Я действительно имел случай достаточно убедиться впоследствии, что за немногими исключениями (к ним, впрочем, принадлежал и Федор Иванов) всякий грабитель, вор, убийца и разбойник честнее и во сто раз чище душевно разных Путилиных, Горянских, Кранцов и Шуваловых. Мне часто представляется, как шли бы к их медным лбам черные клейма здешних бедных варнаков.

Мне, впрочем, с дороги и самому начинала уже несколько надоедать беседа с Федором Ивановым, хотя новость и привлекала меня.

— Вы, может быть, имеете еще что-нибудь сказать мне? — спросил я.

— Издержались в дороге-с... Теперь же надо будет скоро дальше идти. Вот на сапоги извольте взглянуть.

— Nun ja! — воскликнул Крупский, обращаясь ко мне с укоризной.— Hab'ich's Ihnen nicht voraus gesagt, Sie wollten mir nur nicht glauben. Haben Sie Kleingeld? Ich kenne schon gut diese Schurken [4].

Только что удалился Федор Иванов, пришел еще один господин, которого я встретил при входе прохаживавшимся по коридору,— именно арестант в диком пальто, небольшого роста, поляк, с мягким голосом, с мягкими глазами и с мягкими манерами. Он следовал чуть ли не за воровство какое на поселение, с семьей, женой и двумя детьми. Это был один из ближайших моих соседей по коридору (Федор Иванов помещался в кандальном отделении). У него был чрезвычайно опрятный вид, так же как и у жены его и детей; но по всему было видно, что они очень бедны. Раза два, лишь намеками,

---

[1] Шпицрутенов.

[2] Прогоните его! хотите мелочи? С такими субъектами надо быть осторожным.

[3] Почему?

[4] Ну да! не предупреждал ли я вас, а вы не хотели мне верить. Есть у вас мелочь? Я прекрасно знаю этих мошенников.

он вызывался в течение моего соседства с ним на мои сигары, и то делал вид, что хотел бы лишь попробовать. Потом он уже не заходил ко мне в комнату, и я встречался и здоровался с ним только в коридоре, где он обыкновенно прохаживался взад и вперед чуть не целый день.

На этот раз он вошел с величайшими извинениями попросить у Крупского на подержание чайного блюдечка.

В этот же день у меня было еще несколько посетителей, но уже другого рода. Председатель губернского правления, учитель словесности здешней гимназии, два доктора — это все были лица, с которыми я потом познакомился ближе и которым был обязан многими удобствами, смягчавшими для меня тюремное заключение.

Отдохнув немного, я вздумал пройтись по двору. Крупский надел красную конфедератку, и мы пошли вместе. Гулять во дворе позволялось сколько угодно, только не из кандального отделения или, по крайней мере, не в кандалах. Поэтому я обращал на себя особенное внимание всех попадавшихся мне товарищей моего заключения из других отделений острога. Некоторые заговаривали со мной, хотя с заметною сдержанностью, будто с опасением. Дворы были почти пусты. Мы обошли их все.

Сожитель мой успел уже близко познакомиться с тюремными порядками. Он знал, где, кто и что помещается.

— Вот это кухня,— говорил он, указывая.— Можно все заказать к обеду, что нужно. Баба тут, кухарка, ходит ко мне. Суп будут вам давать больничный; ну, а жаркое или там что другое лучше заказывать. Она уж все купит. Телятину, рябчиков, что угодно, одним словом. А вон здесь пересыльный двор,— говорил он, входя со мною под ворота,— тут мужское отделение, а вон с той стороны женское. Это баня, это столовая... Обедают они тут. Это вон пекарня.

Мы обошли двор справа от главных ворот (с нашей стороны); потом обошли и двор слева.

— Вот это женское отделение, а вон прачешная, и т. д.

Больница помещалась в заднем фасаде главного строения.

Во дворе нам так мало попадалось людей, вероятно оттого, что был порядочный мороз, и мы тоже воротились скоро. Зато в келье нашей становилось все теплее, и с покатого окна катилась довольно широкими потоками сырость. Кроме печи в самом номере, с топкою из коридора, почти против самой двери нашей устроена была большая железная печь, труба которой перекидывалась через коридор. К вечеру эта печь топилась и нагревала нашу келью с избытком. К утру, однако ж, становилось опять сыро и холодно.

Надо сказать несколько слов о моем сожителе. В первый же день рассказал он мне свою историю; но признаюсь, я немного понимаю в ней и до сих пор. Станислав Крупский — австрийский подданный, бывший студент Краковского университета, а затем — сыщик при краковской, а потом при варшавской полиции. Он старался объяснить мне политическими целями поступление свое как в ту, так и в другую должность; но опять-таки трудно было что-нибудь положительное извлечь из его слов. Он говорил, что ему сам полицеймейстер краковский предложил поступить в его агенты, чтобы шпионить в университете; на это он согласился, предупредив об этом студентов. Он разъезжал на счет полиции по разным городам и доносил о готовящихся демонстрациях, но всегда назначал сроком их день раньше или день позже. Приобретя доверие в краковском полицейском мире, Крупский предложил начальству командировать его секретно в Варшаву для узнания будто бы подробностей по большому общепольскому заговору, готовящемуся там, а в сущности, для установления сношений между краковскими и варшавскими академиками, то есть студентами. В последнем пункте Крупский сбивался: раз он говорил, что ехал именно с помянутою целью, в другой, что он был послан для устройства пересылки оружия, в третий раз опять наоборот. Если он говорил правду в том или в другом случае то мне удивительно только то, что человек с таким невежеством в политических вопросах и незнанием даже позднейших польских происшествий мог быть на что-нибудь полезен польским патриотам. Он был даже не настолько хитер, чтобы обманывать долго варшавскую полицию, хотя этим он хвалился очень. Вообще в каждом рассказе его главным пунктом было то, что он мог отлично жить на счет поли-

ции, разъезжать по театрам и гульбищам, тратить денег сколько вздумается и проч., а что именно сделал он, этого-то и не выходило из его рассказа. Он говорил только, что старался отклонять внимание полиции от действительных движений своими выдумками: сочинял и представлял ей мнимые речи тайного общества, наклеивал на улицах самим им написанные плакаты и потом указывал на них и т. д. Я полюбопытствовал потом посмотреть в Тобольском приказе его статейный список. Решение судебной комиссии подтверждало его слова и прямо называло его вину — составлением фальшивых доносов. Между прочим, там упоминалось о посланных Крупским безыменных письмах к пяти главным сановникам Варшавы с целью устрашить их готовящимся будто бы большим уличным мятежом и заставить удалиться из Варшавы. Крупскому, как он говорил мне, предложили на выбор: просидеть четыре года в крепости и быть переданным Австрии или отправиться в Сибирь на поселение. Он выбрал последнее.

Вообще он произвел на меня не совсем приятное впечатление. Не говоря уже о его крайнем неразвитии умственном, я не заметил в нем никакого политического не то что фанатизма, но даже просто энтузиазма, свойственного такому возрасту, и мне никак не верится, чтобы в таком человеке могло быть хоть зерно того, что составляет сущность характера и действий Конрада Валленрода. Временами он пел патриотические песни, но они выходили у него не выразительнее какой-нибудь «Ваньки-Таньки». Зато с особенным жаром певал он глупые немецкие тривиальности, аккомпанируя себе на гитаре, которую купил в Тобольске на последние свои деньги.

Крупский предлагал мне свою постель, но мне совестно было отнимать у него привычное место, и потому я постлал на полу бывшие у меня войлок и подушку с сиденья из возка и лег, прикрывшись полушубком. Таким образом, между койкой и моим ложем оставалось только такое местечко, чтобы с осторожностью пройти одному человеку. Я улегся очень рано, не для того чтобы спать, но хоть немного расправить разбитую спину. Но большой отрады мне не могло быть, я с каким-то болезненным напряжением думал о том, как бы это было хорошо сбросить с ног кандалы, снять с себя штаны и чулки и вытянуться в опрятной постели. Крупский сел

на постель и рассказывал свою историю. Я только по временам делал ему вопросы.

Вот прошла *поверка*. В нашу полуотворенную дверь заглянули юркий смотритель, караульный офицер и солдат с ружьем и пошли дальше. Сосчитавши арестантов, они удалились. Мало-помалу в коридоре прекращались шаги и разговоры, все утихало, только грудное дитя кричало болезненным голосом да щелкали временами дрова в затопленной на ночь железной печи. По мере того как все угомонялось у нас, все слышнее и слышнее слышались шаги солдата под нашим окном. Крупский говорил тихо, я слушал вяло, полудремля, и только вздрагивал, пока не привык, когда с покатого подоконника вдруг сливалась быстрым ручьем на пол накопившаяся вода.

Вот как весело встретил я новый, тысяча восемьсот шестьдесят второй год.

Я думал скоро уснуть, когда мы погасили свечу (здесь не требуется теплить ночник, хоть и следует по закону); но и это мне не удалось. Только что в комнате нашей водворились тишина и темнота, в углах поднялась шумная возня мышей. Не то чтобы я боялся их, но одна мысль, что мышь может забраться ко мне под полушубок или разгуливать по моей подушке, способна была не дать мне заснуть до утра. Я уже обрекал себя на бессонную ночь. Мыши возились все больше. Я попробовал пугнуть их, ворочаясь и гремя цепями; но они, видно, были тут как дома и угомонялись разве па минуту. Сколько ни старался я не думать о них, это мне не удавалось. Притом они так постоянно напоминали о себе. Я слышал их быстрые шаги по полу почти у себя под носом... Надо было зажечь свечу, что я тотчас и сделал.

Крупский еще не спал и предложил мне поменяться местами.

— Мне все равно,— говорил он.— я сейчас же усну, хоть они у меня на лице сиди.

И точно, не успели мы улечься каждый на новом месте, как он заснул с легким храпом.

Утром к нам явилось немало поздравителей с Новым годом. Прежде всего пришел какой-то солдат с трубой и принялся с великим усердием трубить перед нашею дверью. Потом наша коридорная прислуга, Василий

Непомнящий, в новой цветной рубахе, гладко выбритый и обильно напомаженный коровьим маслом, и Иван, товарищ его, с большой окладистой русой бородой, несколько вялый на вид, с голубыми кроткими глазами и очень приятным лицом, тоже в рубашке, хоть не столь элегантный и не так тщательно причесанный. Голос этого Ивана и его манера говорить напоминали чрезвычайно Огарева. В самой походке, приемах и даже отчасти в лице было много сходного с Николаем Платоновичем. Он расположил меня к себе больше, чем Василий Непомнящий, имевший вид опытного и ловкого дворового, хотя Иван, как потом оказалось, был вовсе не так интересен. Иван был москвич.

Поздравив с праздником, Василий обратился к нам с вопросом, не из нас ли кто обронил в коридоре двенадцать рублей бумажками. Крупский еще вчера, ложась спать, хватился денег и нигде не мог их найти. Больше у него и не было, и потому понятно, как он обрадовался честности Василия Непомнящего и его находке.

За служителями пришел с поздравлением надзиратель нашего отделения, из казаков, невысокого роста, косой, с редкими, вьющимися черными волосами, тихий, смирный, с каким-то женским голосом, с тихим приятным смешком, вообще, насколько я узнал его потом, человек очень добрый и хороший.

— Geben Sie ihm etwas vom Kleingeld,— заметил мне Крупский, вынимая и сам деньги из портмоне.— So ein Rubel ungefähr [1].

— Не следовало бы брать с вас, господа,— отвечал он,— да человек-то я семейный. Благодарю вас нижайше. Желаю вам всего наилучшего.

Поздравления и этим не окончились.

К нам вошел господин в форменном сюртуке с красным воротником, с грубым худощавым лицом, мутноватыми серыми глазами и почтительно-подобострастною улыбкой под густыми рыжеватыми усами. Он ловко отправил к себе под мышку черную мохнатую папаху, расшаркался и протянул мне руку.

— С Новым годом, с новым счастием, Михаил Ларионыч... Так имя и отчество, если не ошибаюсь?

---

[1] Дайте ему что-либо из мелочи. Рубль, что ли.

Я кивнул головой.

— Мне жандармы ваши сказывали. А я-с — имею честь рекомендоваться — помощник здешнего смотрителя Константин Иванов сын Полетаев... Если вам что будет угодно — извольте только мне сказать. Вот с ними мы уже знакомы. С Новым годом, с новым счастьем, пан Крупский.

— Auch diesem? [1] — спросил я Крупского, видя, что он опять взялся за портмоне.

— O, durchaus! [2] — отвечал Крупский, узнавший уже все обычаи острога.

— Благодарю вас, господа. Чувствительнейше меня обязали. Позвольте присесть отдохнуть и выкурить папироску.

Его, впрочем, тотчас же кликнули; но он минут через десять явился с известием, что полицеймейстер приказал снять с меня кандалы.

Принесли большую гирю с весов во дворе, молоток и нож, и уж потрудились же с петербургскими заклепками. Константин Иванович сел на кровать, курил папиросу и представлял из себя руководителя этой операции. Но — надо признаться — руководство его мало помогало, хоть он очень выразительно говорил:

— Правей, анафема! Как ты бьешь? А!

Не раз он порывался и сам приняться; но я его останавливал, говоря, что ведь когда-нибудь разрубятся заклепки, как ни крепко их железо, а что торопиться некуда. У него заметно дрожали руки.

Сначала над ногами моими трудился Иван. Он раз тридцать ударил молотком по ножу и сделал лишь чуть заметную надрубку на заклепке. Потом пришел косой надзиратель и, посмотрев, сказал:

— Эх, не так! Давай сюда. Я это лучше сделаю.

Но тоже ничего не сделал, только вспотел.

— Дозвольте мне-с! — предложил свои услуги Василий Непомнящий.— Мигом разобью-с. Дело знакомое.

— Ну, валяй!

Но и Василий, несмотря на свою опытность, должен был взмахнуть молотком раз по двадцати над каждой заклепкой, прежде чем они разлетелись,

---

[1] И этому?

[2] О, конечно!

Константин Иванович, вероятно успевший надуматься во время этой работы, принялся врать немилосердно. Он утверждал, что, если бы не он, с меня кандалов не сняли бы, что он выставил перед полицеймейстером всю незаконность и бесполезность такого, «можно сказать, тиранского обращения» со мной.

— Если б был порядочный человек смотритель у нас,— продолжал он,— а то такая скотина, дурак. Вместо того чтобы разъяснить все как следует полицеймейстеру, он только и знает, что глазами хлопает. Должен бы, кажется, понять, какой вы человек, Михаил Ларионыч. Вот хоть бы я... Я теперича вижу, какие вам люди вистуют. Вчерась вице-губернатор заезжал к вам и прочие. Как же я-то не стану вистовать. Это надо разве таким олухом быть, как наш Захарка...

Смотрителя звали Захар Иваныч.

Так рассуждал Полетаев довольно долго, пока не пришел сам Захар Иваныч и не сказал, что меня требуют в приказ о ссыльных.

— Вот вы съездите с ними, Константин Иваныч.

— Кстати, у меня кошева готова.

И мы отправились в его кошеве.

На этот раз приказ представлял очень унылое зрелище. Сени и коридор, накануне совершенно пустые, были теперь битком набиты. Мужчины и женщины, в кандалах и без кандалов, но большею частью в арестантских шинелях, толпились тут. Это была пришедшая в то утро партия ссыльных. Кто стоял, кто сидел на полу с устали; тут были и дети — и грудные, и уже умеющие ходить. Мы пробрались сквозь толпу к дверям и вошли в ту же комнату, что вчера. И она была полна народом. Бабы сидели тут, поближе к печке, с детьми в руках, под полушубками. Все остальные стояли ряда в три, ожидая вызова. Шел прием их и поверка по статейным спискам. Посредине комнаты стояла мера для роста. Оборванные чиновники скрипели перьями за всеми столами. Каких выражений не было на лицах этой тесной толпы ссыльных — от спокойствия до страдания, от робости до наглости, от какого-то подобострастного смирения до дерзкой гордости, от плутовства до честного и прямого взгляда, от злобы и ожесточения до тихой доброты. Лица были большею частию утомленные; особенно жаль было смотреть на женщин. Кто был в канда-

лах, на том они сияли, как серебряные: отчистила их дальняя дорога; у кого была подбритая с одной стороны голова, те были повязаны кой-какими тряпками.

Управляющий приказом, недавно назначенный сюда из Петербурга, некто Фризель, маленький, коренастый и плотный человечек, с какой-то бычачьей головой и бычачьим выражением в лице и выставленным вперед лбом, как будто он хочет бодаться, стоял перед строем «несчастных» с бумагой в руке, около него еще какой-то чиновник и тут же два солдата или казака.

— Три с половиной вершка,— восклицал приказный у меры.

Из меры вышел старый «кандальщик», в заплатанном полушубке, со сморщенным лицом, с больными, гноящимися глазами, нетвердый на ногах.

— Сюда! — отрывисто произнес управляющий.

Старик стал перед ним.

— Клейма есть?

И управляющий посмотрел в список.

— Посмотреть, целы ли клейма у него?

Не то солдат, не то приказный какой стащил с головы старика тряпичную повязку, поднял свалившиеся на лоб свалявшиеся волосы.

— Не видать ничего,— произнес управляющий, отрывистым, холодным голосом,— подправить клейма. На щеках покажи.

Старика повертывают за голову сначала одною щекою, потом другою.

— Клейма подправить,— громко распорядился управляющий,— на лбу и на левой щеке. Пошел!

Ссыльный отошел.

— Митрофанов, Андрей! — возглашает управляющий по списку.

— Здесь,— раздается в толпе, и выдвигается Митрофанов.

— В меру!

— Не подгибай колен, стой прямо. Вершок и три четверти.

— Клейма стерлись. Подправить клейма.

Вот какие сцены застал я, войдя в канцелярию приказа о ссыльных.

Глядя на тупую, деревянно-полицейскую фигуру управляющего приказом, слушая его барабанный голос,

так отчетливо распоряжающийся, я невольно вспомнил, как смотрительша-полька на предпоследней станции к Тобольску расхваливала мне его. Она сообщила о его недавнем приезде и называла не иначе, как «милый человек». Ведь, может быть, он и в самом деле милый.

— Потрудитесь подождать немного, *monsieur* (!!) Михайлов! — обратился он ко мне бычачьим своим лбом, когда провожавший меня Константин Иваныч, вдруг принявший самый уничиженно-подобострастный и испуганнейший вид, доложил ему.

Я присел на ближайший стул.

— Айбетов, Ибрагим!

— Здесь.

— В меру.

— Два вершка ровно.

— Клейма есть? Пошел!

Таким образом было *принято* еще человека три.

— Пожалуйте сюда, *monsieur* Михайлов, в присутствие.

Собственно говоря, мне решительно незачем было ездить в приказ. Управляющий спросил меня только (на плохом французском языке), не родня ли я какому-то Михайлову, действительному статскому советнику и камергеру, сказал, что мой статейный список и указ сената еще не получены; что поэтому мне нечего еще торопиться подавать просьбу об отправке меня далее не по этапу, с партией, а одного, на свой счет, и с любезностью, достойною действительно «милого человека», присовокупил, что «все, что только зависит от него, будет сделано по моему желанию».

Я отправился назад и встретил своих жандармов. Они зашли потом ко мне и выражали, кажется, неподдельное удовольствие, что видят меня в моем платье и без кандалов. Я поручил кому-нибудь из них зайти ко мне еще раз перед самым отъездом за письмом к тебе. Ты его получила.

В этот день у меня было еще больше посетителей, чем накануне; что бы ни привело их ко мне — действительное ли сочувствие или простое любопытство — я был рад большей части этих посещений. В сочувствии некоторых я не могу сомневаться, и у меня, вероятно, сохранится навсегда теплое, благодарное чувство к этим лицам. Во все время моего пребывания в Тобольске я

пользовался самым дружеским, почти родственным вниманием многих. Мне не давали ни скучать, ни чувствовать какое-нибудь лишение. Я был буквально засыпаем журналами, книгами; мне присылали со всех сторон всевозможные газеты в самый день получения почты; справлялись о моем деле и в приказе, и у губернатора, и во врачебной управе, предлагали мне отправлять письма. Каждое утро к чаю являлись превосходные сливки, разное печенье, к обеду жареные рябчики, всякие сласти, сыр, масло, наливки и т. п. Обо мне не забывали ни на один день. Я решительно не мог отказываться от этих «подаяний», потому что в большей части случаев не знал, кого и благодарить. Крупский был чрезвычайно удивлен такими знаками общего сочувствия ко мне и говорил, что ему воображалось, будто в Сибири все вроде нашего помощника смотрителя. Особенно поразило его то, что в этот день под вечер, когда мы сидели с ним в полумраке, к нам вошла дама, привезшая мне букет цветов вместо поздравления с Новым годом. Сибирский букет был не пышен: гвоздика, гераний, мирт и несколько полуразвернувшихся китайских роз, но он был, конечно, приятнее мне, чем в иное время и в ином месте самые красивые и дорогие цветы. Я суеверно сберег несколько листков и лепестков его как светлое предвестье, что, может быть, не весь этот год будет так темен для меня, как его начало. Цветы нашли меня в тюрьме; неужто любовь и дружба не найдут меня в ссылке?

Доступ ко мне был нетруден. Следовало, правда, иметь для этого записку от полицеймейстера; но полицеймейстер, круглый как шарик маленький человек самого не полицейского вида, едва ли кому отказывал. Захар Иваныч был большой формалист и без билета никого не пропускал, если не проникался благоговейным страхом перед большим чином и высоким саном посетителя или если посетитель или посетительница не были членами попечительного тюремного комитета. Но дело и в других случаях обходилось без Захара Иваныча. Или вытребовался его помощник, который считал обязанностью «вистовать» мне, потому что мне «вистуют *такие* лица», или, наконец, делалось еще проще. Ко мне ходили три студента Казанского университета, здешние, удаленные частью по последним беспорядкам, частью по истории о панихиде за Антона Петрова и убитых с ним

вместе мучеников. Один из этих студентов обыкновенно на вопрос дежурного ефрейтора у ворот, есть ли у него билет для пропуска, вытаскивал из кармана какую-нибудь случившуюся тут бумажку, показывал ее не развертывая и командовал: «Отпирай!» И ворота перед ним отпирались. Раз на такой вопрос он ответил, что не только у него билет есть, но даже и особое предписание, и при этом вытащил из кармана целую пачку каких-то бумаг. После этого его уж и спрашивать перестали. Одно время, правда, вдруг начались особенные строгости в этом отношении — кажется, потому, что ждали генерал-губернатора Западной Сибири. Часовые, обыкновенно расхаживавшие молча под нашими окнами, начали даже кричать по ночам: «Слушай!» Но это продолжалось, кажется, всего дня два. Получилось известие, что генерал-губернатор (он же был новый) отсрочил свой приезд, и строгости отменились, и «слушай!» умолкло.

С 3-го числа, со дня своего рождения, я много раз и сам выезжал из тюрьмы. Дня через два, через три меня стали приглашать на обеды, и я, конечно, пользовался каждою возможностью хоть временно почувствовать, будто я на свободе. Но я скажу об этом потом, а теперь стану рассказывать последовательно. В недавно полученном мною письме твоем ты говоришь, чтобы я писал тебе все как можно подробнее; где чихну, так и то бы тебе писал. Так не брани же меня за мою многоречивость. Подробности же, которые я буду приводить, мне кажутся довольно характеристичными в истории моих тюремных похождений.

Надо рассказать еще кое-что о нашем помощнике смотрителя.

Вечером в первый день нового года он явился к нам с странною просьбой.

— Господа, я с надеждой одолжиться у вас двумя вещами,— заговорил он, расшаркиваясь и ловко подбросив под мышку свою черную папаху.

— Что такое?

— Дочь пристает — ехать в маскарад. Так не одолжите ли... хочу и я нарядиться... Не одолжите ли вашей фуражечки, господин Крупский, и сюртучка. Буду, знаете, этакой лихой поляк.

— Да будет ли вам впору?

— А вот-с я и примерю сейчас.

Он мгновенно сбросил с себя свой форменный сюртук и натянул на свою ситцевую рубашку щегольскую венгерку Крупского, надел набекрень его красную конфедератку и представился нам таким смешным, что мы оба расхохотались. Крупский с усердием театрального костюмера принялся оправлять его и учить, как придать себе более польский вид, как заправить в сапоги штаны, на который крючок застегнуть венгерку, как приличнее надеть czapkę wolnosci [1], и прочее. Помощник (как аттестовали обыкновенно вкратце Константина Иваныча) был совершенно доволен. Для полноты костюма нужен был еще жилет, но у него такового не оказывалось. Пришлось ему и жилет дать. Он нашел, что весьма прилично было бы украсить жилет часовой цепочкой и что вообще, если он будет *при часах*, то никто — зная его скудные средства — его не узнает. Дали мы ему и часы. Он уж и переодеваться не стал, а только сверху накинул свою баранью шубу и удалился.

На следующее утро, возвращая нам с благодарностью маскарадный костюм, он утверждал, что, если б не дочь, ему и в голову не пришло бы наряжаться «на старости лет» и разъезжать чуть не полночи из дому в дом. Это святочное обыкновение сохранилось в Тобольске во всей своей старинной силе даже в домах местных «аристократов».

— Ну, а весело было?

— А как же-с! Домах мы, никак, в двадцати были. Везде графинчиком просят. Нельзя и отказаться: сам хозяин вистует. Перепустил-таки вчера немного.

Об этом нечего было и рассказывать. Довольно было взглянуть на его измятое лицо и мутные глаза. Букет сивухи, принесенный им в нашу келью, обличал, что он успел уж и опохмелиться.

— И нигде-то меня не узнали,— продолжал он.— В одном только доме по дочери чуть не догадались, потому она была татаркой и как малого роста, так приметно. Господа! не откажите как-нибудь почтить меня своим посещением, с семейством моим познакомиться. Вы вот по двору изволите гулять, так милости прошу ко мне. Во всякое время рад. Я ведь не то, что наш смотритель. Что же вы и хотите от какого-нибудь солдата?

[1] шапку вольности, то есть конфедератку.

Конечно, я сам, по несчастию, тер эту лямку. Так как я из кантонистов (он ударял на *о*)...

И он принялся рассказывать нам свою биографию, как только вследствие несправедливости начальства попал в строй, а то был бы теперь совсем не то. Эту историю он начинал почти при каждом появлении своем к нам, точно так же, как и брань свою на смотрителя.

Захар Иваныч, в свою очередь приходя ко мне утром или заходя вечером, при поверке, пожелать спокойной ночи и приятного сна, тоже не упускал случая сказать своею невнятной скороговоркой, что «помощник дурной и дрянной человек».

Он не прибавлял к этому, что Константин Иваныч вдобавок клянча и надоеда, но это я уже знал и без него и старался поскорее выпроваживать помощника от себя, когда он являлся со своими россказнями.

Одним вечером маскарада он не удовольствовался и на другой вечер опять пришел просить тех же вещей, кроме венгерки. На этот раз ему нужен был полушубок. Он, видите ли, хотел изобразить собою «наемщика» в солдаты. Полушубок, предложенный Крупским, показался ему не довольно изящен, и он взял мой.

Смотритель на третий день после моего приезда завел с нами речь тоже о маскараде, но совсем другого рода, именно о бане. Полицеймейстер дозволил нам, то есть Крупскому и мне, съездить в торговую баню, если мы этого хотим. Мы охотно согласились и отправились туда в так называемой кошеве, санях вроде глубокого ящика, набитых доверху сеном, в котором можно было утонуть по горло. Нас сопровождал и служил нам банщиком казак.

Крупский, кроме того, почти каждый день ходил поутру с косым надзирателем в город «на базар». Иногда они заходили и в трактир, где Крупский играл на бильярде. Пользуясь его частыми странствованиями в город, я давал ему разные поручения, и он закупал мне вещи, необходимые даже для тюремного хозяйства: самовар, погребец, чай, сахар и пр.

Я был очень рад, когда с отходом первой партии очистился один из нумеров в нашем коридоре и в него перевели Крупского. Теснота и беспорядок и постоянное присутствие человека, с которым не имеешь ничего общего, успели мне надоесть в три-четыре дня. Мне при-

том хотелось иногда писать, но я должен был отказываться от этого; не было ни места, ни нужного для этого одиночества. Потом я начал в Тобольске роман, о котором говорил тебе при последнем свидании нашем у коменданта, и перевел последнюю сцену «Прометея», посланную к тебе из Иркутска. Наконец, на пятый или на шестой день по приезде, я стал полным хозяином своей комнатки. Она тотчас получила и более опрятный, и более порядочный вид. Простору, конечно, стало тоже больше. На рисунке, который ты видела, она, впрочем, все-таки кажется лучше, чем была в действительности. От сырости и чада, забиравшегося из коридора, я не раз страдал сильною головною болью.

Уж по первому свиданию моему с управляющим приказом о ссыльных и по разговорам с знающими тобольские порядки посетителями мог я увидать, что мне придется остаться здесь дольше, чем я предполагал. Не будь губернатор такой формалист, такая сухая приказная строка (я его не видал, но таков общий голос, оправдавшийся на мне), я, конечно, мог бы пробыть в Тобольске не более недели, много двух,— одним словом, столько, сколько бы мне хотелось; а я прожил тут целый месяц[1].

Как прошло это время, ты очень хорошо увидишь, если я тебе подробно опишу и один день моей тобольской острожной жизни. Все они более или менее похожи были друг на друга.

Вставал я довольно рано, никогда не позже семи часов. Около этого времени, хотя бывало еще совершенно темно, начиналось уже движение в коридоре. Прислуга носила дрова, воду, затопляла печи, мела полы. Подымались и соседи; слышались детские голоса, и Василий с Иваном (оба чрезвычайно нежные к детям) начинали ласково разговаривать с двухлетней девочкой пересыльного почтмейстера или казначея и шестилетним мальчиком поляка, о котором я говорил. Одна из моих соседок, следовавшая за мужем, разрешилась, сказывали мне, тут в тюрьме. Особенно забавна была девочка, не

[1] Об уме здешнего губернатора может дать понятие следующий случай, бывший во время моего пребывания в Тобольске. Кто-то явился здесь в маскарад, сделав себе маску в виде свиного рыла, и повесил орден на шею. Губернатор принял на свой счет и велел вывести гостя. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

умевшая еще хорошенько говорить. Василий Непомнящий учил ее отвечать на разные вопросы, например: «Кто создал мир?» — Бог. «Кто был первый человек?»— Адам. «Где лучше, на воле или в остроге?» — На воле.

Как только я зажигал свечу, вставал и растворял в коридор дверь нахолодавшего за ночь номера, Василий нес ко мне шайку и ковш с водой для умыванья, а Иван — самовар, всегда уже заранее поставленный. Иван был довольно молчалив; но Василий не мог пробыть минуты без разговора. Подавая мне умываться, он обыкновенно сообщал мне все тюремные новости.

— Партия сейчас пришла-с, ваше благородие, кандальщиков ужасть как много.

— К нам никого нет?

— Слава богу, никого. И так уж у нас теснота.

Или он сообщал, что партия в этот день отправляется дальше. В первый раз, на такое извещение, я сказал, что пойду посмотреть. Василий на это заметил:

— Это что смотреть-с! Партия самая ничтожная. На заводы-с. И всего-то сотни нет. А вот перед вашим самым приездом отправка была. Точно, что посмотреть стоило. Не мало уж я по острогам-то шатался, а этого видать не случалось.

— Что такое?

— Пятьдесят семей тут гнали — по бунту... Без всякого, говорят, без суда. Баб-то, детей-то, девок-то! Шли не мало из Казанской губернии, а все, видно, привыкнуть-то не могли. Пришли, вой да стон стоит, пошли, еще хуже того. Старухи-то с причетами воют, бабы так голосят. Дети малые, на них глядя, тоже рев этакой подняли. Потому разорены как есть в конец. Надзиратель наш смотрел, смотрел в воротах, да и ушел поскорее, слеза прошибла. Говорил я с ними тоже — вина-то их какая! Объявили фальшивую волю, они и пошли помещика спрашивать,— как он, значит, царский манифест скрыл. Помещик за войскием. Стали стрелять, убито сколько. А этих, кого в кандалы, кого так, да в каторгу. И суда, говорят, никакого не было. Ну, наш брат — уж точно, что есть за что. А то просто — сердце мрет, глядя-то. Я тоже могу это хорошо понимать, как сам из этого звания — господский бывший.

В другой раз Василий рассказывал:

— Купчиха вчера-с из Тюмени приехала. Овдовевши,

так на помин души двести рублей привезла содержающим-с — сама и раздавала, по всем камерам ходила. Провизии тоже прислано ею много: трое саней с шаньгами одними.

Или:

— А у нас ноньче похороны, ваше благородие.

— Кто умер?

— Содержающий один. Его хоронить будут. Здоровенный был такой. В одной партии с нами шел. Так его назначили в отправку, а ему идти было неохота. Он и пил табак здесь и поступил в гошпиталь. Эта глупость есть тоже, ваше благородие. Оно точно, что совсем будет казать как хворой. Да он, видно, впервой. Не в меру, значит. А может, и так что попритчилось, и впрямь стал расхварываться. Вот ноньче хоронить будут.

После чаю я обыкновенно ходил гулять по двору. Он вообще редко не бывал пуст, разве производилась перекличка партии, отправляемой в приказ, или партии, возвратившейся из приказа. Да иногда, после метели, бывшей накануне, арестанты занимались разгребанием снега и чисткою двора.

Редкое утро проходило без того, чтобы у меня кто-нибудь не бывал. Если же не приезжал никто из гостей, то можно было поручиться, что придет надоедать или помощник, или турецкий капитан с поздравлением.

— Поздравляю вас, милостивый господин.

— Да с чем же?

— С понедельником.

— Разве праздник?

— Нет, но это так у нас обычай.

Турецкий капитан этот — лицо замечательное и по своей горькой судьбе, и по правосудию нашего правительства. Я застал его уже в тобольском остроге, и, когда уехал, он остался еще там, ожидая себе нового решения из Петербурга.

Это уже старый человек, ему шестьдесят лет; но по всему видно: если б не тюрьма и не тюремные бедствия и лишения, он и теперь поспорил бы силой с любым молодым здоровяком. Довольно коротко остриженные волосы у него на голове еще совсем черны, и только частью усы да длинная и густая борода, вроде наполеоновской, поседели. Большие серые глаза его были бы очень хороши, так же, как и все остальные черты его лица,

правильные и строгие, если б на лице не лежало постоянно выражения слезной сиротливости и некоторого подобострастия, к которым приучило его скитанье по тюрьмам. Оно же, верно, заставило его придавать своему голосу какую-то льстиво-мягкую интонацию.

Привыкнуть ко всему этому было у него время. Семь лет проскитался он по русским острогам. Стоило посмотреть на него, чтобы видеть, как успел он обжиться в своем положении. Жалкая, изношенная одежда его показывала, что ему хотелось и в тюрьме сохранить хоть некоторые внешние признаки своего прежнего достоинства. Он постоянно ходил в какой-то странной шапочке конической формы, собственноручно сшитой из синей крашенины и, вероятно, похожей на ту, которую он носил некогда, будучи воином. Серую арестантскую шинель он тоже как-то особенно переделал, воротник подрезал и обшил его какими-то синими и красными заплаточками, может быть похожими на его прежний турецкий мундир или на народный черногорский костюм. Несмотря на службу в турецком войске, он славянин. Все остальное в его одежде, за исключением шапочки и шинели, впрочем тоже очень уж замасленных, представляло жалчайшие отрепья: и платок, которым он широко обматывал свою старую, черную, истрескавшуюся шею, и в особенности обувь. Трудно было сказать, что у него на ногах. Он сам сшил себе что-то странное из кусков войлока, обрывков кожи и холстины.

Дело его очень просто, и тем ужаснее. В последнюю войну, когда военные действия происходили еще на Дунае, несчастный капитан перебежал к нам с шестью товарищами. Их взяли наши лазутчиками и пользовались их услугами. Когда театр военных действий был перенесен в Крым и войска с Дуная двинулись обратно, турецкие перебежчики по какому-то случаю отстали от армии. Догоняя ее, они попали в руки земской полиции. Военачальники не позаботились снабдить паспортами, по-русски никто из них не знал ни слова, и их признали людьми подозрительными. Произвели немедленно следствие, понятно, как хорошо, представили в суд, и суд приговорил их как бродяг к вечному поселению в Сибирь. Они не раз поднимали дело о несправедливости их приговора, приостанавливаясь по дороге в губернских тюрьмах; но сначала, должно быть, некогда было занять-

ся ими по случаю военных хлопот, а потом и само принявшее их под свой кров военное начальство старалось затушить их протест, потому что само было во всем виновато. Шесть товарищей нашего капитана успели умереть в это время, кто в городской тюрьме, кто на этапе, кто и средь дороги. Остался только он один, но не переставал вопиять о несправедливости. Вследствие этих-то постоянных жалоб он и попал в Тобольск так поздно. Приостанавливаясь в каждом городе и везде жалуясь или прокурору, или стряпчему, он дошел, впрочем, до Тамбова с этапом. Тут по его жалобе пришло распоряжение отправить его в Николаев, вероятно, потому, что он хотел представить объяснение Константину Николаевичу, который где-то его видел. Из Тамбова его препроводили тем же способом, по этапу, так как ему нечем было платить за подводу. В Николаеве посадили в острог, продержали что-то долго, но ничего не спрашивали, никуда не водили, и вдруг в одно прекрасное утро перевели куда-то в другой острог, в другой город, и отправили опять в Сибирь с партией преступников. И шел он опять год без двух недель до Тобольска. Здесь опять поднял свое дело чрез прокурора, и пришло из Петербурга приказание, чтобы он все изложил подробно (вероятно, в сотый раз) для вручения его объяснений в собственные руки его величества. Он и сидит теперь и ждет нового решения, по которому, может быть, опять препроводят его по этапу в Петербург, а оттуда опять назад в Тобольск, если он не отдаст где-нибудь на дороге богу свою многострадальную душу.

Может быть, я что-нибудь и не так рассказал, плохо понимая речь бедного капитана, в которой он мешал русские, сербские, немецкие и турецкие слова; но сущность-то осталась в моем рассказе. О вопиющей несправедливости относительно этого несчастного говорили мне и прокурор, и председатель губернского правления. Не подобного ли рода покровительство так вдохновляет славянофилов, когда они мечтают о том, как хорошо было бы, если бы наш двуглавый орел осенил своим могучим крылом все остальные славянские племена?

Приходя по утрам ко мне, турецкий капитан (так его звали все в остроге, и я не узнал его имени) поздравлял меня не только с понедельником, но и со вторником и со средой и т. д. Принимаясь обыкновенно за свои

жалобы, он имел всегда в виду попросить у меня или табаку, или чаю, или сахару. Он старался подвести разговор к своей просьбе исподволь, но после двух-трех визитов его я уже старался предупреждать его просьбы и избавлять себя от его долгих дипломатических рассказов. Эти рассказы, в которых можно было понять из десяти одно слово, способны были вывести всякого из терпения. Он не только каждую фразу повторял раза по два, но каждый факт принимался пересказывать в другой раз, едва успевши кончить. Я думал, не облегчит ли его, если он будет говорить мне по-сербски, а я буду отвечать ему по-русски. Но я не рад был, что предложил ему это. Он действительно начал говорить на своем языке; но каждое слово переводил на русский, а иногда и на турецкий, и сколько ни толковал я ему, что по-сербски понимаю его лучше, чем по-русски, ничто не помогало.

Турецкий капитан был едва ли не самый смирный из всех жильцов нашего коридора, по крайней мере, он менее всего доставлял работы прислуге; обтирался всегда мокрой тряпкой, служившей ему вместо полотенца, а не умывался, чай заваривал (когда было у самого) из чужого самовара, остатки обеда сам разогревал у железной печки себе к ужину и, надо признаться, не раз производил несносный чад по коридору, расплескав как-нибудь свои щи на раскаленное железо печки. Руки у него слегка дрожали.

Впрочем, ни на кого нельзя было пожаловаться из всего коридора: все были полны того смирения, которое невольно сообщается манерам и голосу в таких стенах. Один только попался строптивый арестант; но он при мне и трех дней не пробыл — ушел с партией. Он был крайне недоволен фамильярным обращением с собою прислуги.

— Ты забываешь, каналья, с кем говоришь?

— Да чего тут помнить-то!

— Как! ты еще смеешь, подлец, этакие мне грубости говорить! Кто ты такой? Бродяга какой-нибудь,— человека, может, убил. А я дворянин. Понимаешь ли ты, подлая твоя воровская рожа,— дворянин!

— Здесь, сударь, все равны.

— Все равны! Никогда я с тобою не буду равен, подлец. Вздумал себя равнять с благородным человеком!

Тебя только бить, мерзавца, а не то что разговаривать с тобой.

— Вы с руками-то подальше! подальше! Я ведь и сдачи дам.

— Что такое? в чем дело? — раздается голос Константина Иваныча.

— Да вот-с они обиделись, что я им сказал: сударь, а не ваше благородие.

— Опять вы шуметь! Я вам найду место, где нельзя вам будет шуметь. Что вы, в самом деле, расходились? И еще на весь коридор крик подымаете! Есть здесь почище вас, да не кричат! Я вам говорю — найду я вам место, найду!

Строптивый дворянин угомоняется, но Константин Иваныч не оставляет без должного наставления и Василья Непомнящего:

— А ты что горло дерешь? а! Где нахлестался, анафема?

— Маковой росинки не было...

— Молчать! Знаю я вас, анафем!

Но я ведь начал было рассказывать, как проходил у меня день обыкновенно, а уж это исключительный случай.

Пока Крупский не отправился в дальнейший путь, мы заказывали себе обед вместе здешней кухарке — щи, лапшу или суп и жареный кусок баранины или телятины с картофелем. К этому у меня находилась всегда еще какая-нибудь прибавка. Потом мы заказывали себе иногда кашу и посылали к воротам за топленым молоком; торговки не отходили от них весь день.

Кухарка питала большое сочувствие к Крупскому, приходила иногда к нему вечером посидеть и называла его «милый человек». Ей было лет пятьдесят, и она любила выпить. Крупский угощал ее только чаем. На меня она почему-то смотрела как на человека более гордого, пока я ей не поднес, придя в нумер Крупского, стакан водки. Это ее примирило со мной, и она тут же стала называть и меня «милым человеком». Ее, как она говорила, смущало во мне и то, что я — как все у них в остроге рассказывают — несметный богач, в каком вон возке приехал, да и дальше не с партией пойду,— и еще то, что я должен быть очень «строгий» человек, потому что хотел царя убить.

— А это вы откуда узнали?

— Да все рассказывают.

Я полюбопытствовал узнать, она-то кто такая.

— Ах, милый человек! — принялась она рассказывать,— не тем бы мне теперь быть, чем я есть. С первым-то мужем мы хорошо жили. Он был строгого такого нрава человек. Вот ты сам посуди! малым еще мальчишкой был, как застал раз мать с любовником... И так ему это запретило, запретило — выдержать не мог и бежал. Ну, а я, грешница, хоть и за вторым мужем теперь... Я ведь, милый человек, как вдовела-то, четыре года с офицером жила... Теперь уж где до офицеров-то. А грешница, что говорить!

За обед, приготовленный этою старой грешницей, мы садились обыкновенно в час или много что в два. Только в это время позволял себе заходить иногда ко мне наш косой надзиратель. Он был человек очень деликатный, не любил мешать не в пору своим присутствием и заходил-то не потому в обед, что его угостят вином или сигарой — он ни того, ни другого не брал в рот. Он являлся ко мне обыкновенно за советами, как ему поступить со своим маленьким сыном (которого он раз приводил ко мне), оставить ли его кончать курс в уездном училище или теперь же перевести в гимназию, а потом, если он пойдет из гимназии в университет, то высвободится ли наконец из казачьего сословия, и т. д. Ему очень желалось, чтобы сын его был доктором. Сам он был простой казак и жил только тем, что получал в остроге жалования, на водку от «дворян» да за стирку белья, которое брала его жена.

В течение месяца, который довелось мне пробыть в Тобольске, я, как уж сказал, несколько раз обедал вне тюрьмы. Это случалось раз около десяти. Обыкновенно за мною заезжал тот, кто меня пригласил, или полицеймейстер, и я отправлялся с ними. Вечером возвращался я, как случится, или с кем-нибудь, или один. Обыкновенно я приезжал обратно в острог пораньше, часам к семи, много что к половине осьмого, чтобы поспеть к поверке, хоть этой тонкости мог бы и не наблюдать.

Когда я оставался дома, в начале сумерек обыкновенно у нас в коридоре бывала некоторая музыка, и я мог услаждаться ею, отворив свою дверь. Или пел турецкий капитан какую-то в высшей степени странную

турецкую песню, всегда одну, чрезвычайно быструю и монотонную; это, должно быть, какая-нибудь очень веселая песня, но она выходила унылою в устах капитана. Голос у него был еще свежий и ровный. Совсем наоборот — очень хорошие и горькие песни выходили у Крупского какими-то безжизненными и бесхарактерными, когда он начинал заливаться с гитарой в своем нумере. «Jeszcze Polska nie zginiela»[1] пел он каким-то плясовым напевом; чудная песня Корнеля Уейского «С дымом пожаров» выходила дикою, тогда как в ней каждое слово и каждая нота кажутся таким отчаянным воплем.

Лучше бы уж он не пел этого дивного гимна.

Иногда (это было, впрочем, не более трех раз) из глубины коридора резко доносился тонкий и звенящий, как хрусталь, голос, певший «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых» или какие-нибудь ирмосы. Я не понимал, кто это так звонко поет,— то, казалось мне, будто женщина, то — будто дитя.

— Это кто запел? — спросил я Василия, когда услыхал его в первый раз.

— Содержающий-с.

— Знаю, да кто такой?

— Андрей-с — вы видели. Он еще судится-с — подсудимый.

Я действительно видал его в коридоре, но не обращал на него никакого внимания. Это был высокий молодой человек, постоянно ходивший в арестантской шинели. Он был тут как свой,— видно, давно уж содержался; надзиратель звал его не иначе как Андрюша.

Вскоре как-то после первого его пения он остановил меня в коридоре вопросом, не знаю ли я, когда будет манифест об тысячелетии. Я ответил, что, кажется, в августе.

— А освободят ли меня-с? — спросил он.

— Да вы за что судитесь?

— Я-с — по скопчеству.

Вглядевшись попристальнее в его одутловатое, дряблое и безбородое лицо, можно было заподозрéть его тайну и не слыхавши его пения. Он рассказал мне весь ход своего дела; но так как в нем нет решительно ничего любопытного, то я и умолчу о нем.

---

[1] «Еще Польша не погибла».

Меня поразило в нем более всего одно. По вечерам, преимущественно после поверки (она большею частью проходила раньше срока, то есть половины восьмого, в сумерках), значительная часть наших жильцов собиралась в коридоре на общую беседу, или, лучше сказать, на сказки, которые мастерски рассказывал Василий Непомнящий. В один из таких вечеров, прежде чем Василий принялся за рассказ, зашел разговор о том крае, откуда был скопец, чуть ли не о Березове,— и я был поражен одушевлением, с каким этот человек говорил о природе. Он рассказывал, как отрадно встречать там весну после долгой зимы, как начинает все зеленеть, какие цветы расцветают, какие птицы прилетают. Он называл каждый цветок по имени, описывал его краски и листки и спрашивал, есть ли здесь такие; также и птиц он называл и рассказывал и о манере их полета, и об отливе их перьев — та словно золотом отливает, та словно серебром, а эта — радугой светит. Как в этом человеке, так враждебно ставшем в отношение к своей собственной природе, могло сохраниться и развиться это живое чувство любви к природе внешней? Или одно сменилось другим? Переставши понимать красоту женщины, он, может быть, стал сильнее чувствовать то, что говорят только зрению, слуху?..

Вечерние беседы в коридоре происходили обыкновенно таким образом. Прежде всего вызывался Василий Непомнящий, и около него садились, кто на длинной скамье, кто на табуретах, Иван, Андрюша-скопец, косой надзиратель и еще человека три-четыре из «содержающих»; последние сменялись, но первые трое оставались постоянно главными слушателями. Василий рассказывал громко, внятно, украшая свои сказки разными подробностями своего изобретения. Он знал их огромное количество — и русских, и из «Тысяча одной ночи». Случалось ему заводить такие длинные, что в один вечер трудно было досказать. Слушатели обыкновенно не отставали и требовали, чтобы он докончил; но рассказчик сам начинал дремать и говорил, что, если станет досказывать в этот вечер, сказка хуже выйдет. Мне незачем было выходить в коридор, чтобы слушать. Беседа происходила неподалеку от моего нумера, и я мог отлично следить за рассказами и разговорами, отворив дверь и улегшись на койку, что я и делал почти каждый вечер.

Василий оканчивал обыкновенно каждую свою сказку известною прибауткой: «Я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало, дали мне шлык, я в ворота шмыг, бежал, бежал, да в острог и попал. Вот и теперь тут сижу». После длинных богатырских сказок, рассказывавшихся в течение двух вечеров, слушатели обыкновенно требовали, чтобы Василий рассказал что-нибудь покороче да посмешнее, не про царевичей уж, а про попа. И про попа Василий рассказывал, и про попадью.

Но у него были в запасе и не такие еще сказки. Раз принялся он рассказывать «Истинное происшествие», про некоего солдата Ивана Долгова и про фрейлину государынину княгиню Нарышкину. Эта история заняла всех едва ли не более всех остальных сказок Василия. И было, впрочем, чем заинтересоваться. Ее стоило бы стенографировать, и я жалею, что не сделал этого. Что за обилие фантазии выказывал тут Василий, и в то же время какую историческую достоверность прибавлял всему самыми мелкими подробностями. Он обрисовывал нам физиономии, манеры каждого действующего лица в своем рассказе и представлял все в самых живых красках и образах. Я не раз думал, что, родись Василий в другом сословии да получи образование, из него непременно вышел бы замечательный романист.

В главных чертах история Ивана Долгова заключается в следующем. Это был солдат и стоял во дворце на часах. Как очень красивый и высокий малый, он обратил на себя внимание фрейлины, княгини Нарышкиной, отличавшейся вкусами Елизаветы и Екатерины. Княгиня узнала стороной, кто такой, какого полка и пр. пленивший ее красавец солдат. Василий описывал ее любовь очень выразительно, как она и есть-то не могла (тут перечислялись все прелести царского стола), как она и спать-то не могла по ночам — все только и думала что об Иване Долгове. Наконец отпросилась она у императрицы в отпуск, будто бы в отъезд в именье свое (губерния, уезд, название деревни, количество душ и пр.), а сама между тем наняла себе квартиру в Петербурге, в доме Жукова (о его табачной фабрике и как он разбогател) на углу Садовой и Гороховой. Тут опять-таки со всеми околичностями, и гораздо большими, чем прежде, рассказывалось о каждом свидании влюбленной княгини с солдатом, о том, как она посылала его в ба-

нию, какое белье ему дарила, какими амбре душила и проч., о великой хитрости самого Ивана Долгова, как он просрочивал в казармы к заре, стал пренебрегать службой, забросил «все эти ихние гультики и пунтики», не ночевал, подкупал и старшего и ротного, а потом и батальонного командира. Дело кончалось тем, что плененный молодцеватостью Ивана Долгова и тронутый любовью к нему княгини Нарышкиной покойный император Николай Павлович произвел его, не в пример прочим, в полковники; а потом тотчас в генералы и сделал его своим адъютантом. Иван Долгов, конечно, женился на княгине Нарышкиной, и все пошло как по маслу.

История эта возбудила в коридоре государственный вопрос о том, могло ли бы это случиться теперь. По мнению косого надзирателя, могло, потому что все в царской воле, но Василий Непомнящий не соглашался с мнением надзирателя. Он прежде всего обратился к причинам — и разъяснил, что этого не может быть по случаю изменения формы. У солдата в нынешней форме нет уже той молодцеватости, какая была при прежних мундирах, и потому никакая княгиня Нарышкина плениться им не может. А форму кто изменил? Нынешняя царица, как она большая богомолка. «Что это, говорит, за гадость такая, что брюхо не прикрыто у солдата? И зад почти что не прикрыт! Кроме, говорит, непристойности, ничего хорошего». Вот царь и послушался и дал новые мундиры. Надзиратель был вполне согласен с высочайшим мнением, что действительно прежняя была бесстыжая какая-то форма.

В другой раз Василий рассказывал, как он провел три года в бегах и заходил домой повидаться с матушкой, с родными. Рассказ был трогательный, задушевный. Надзиратель только поддакивал каким-то особенно мягким и кротким голосом: «Да... да... Эх, что и говорить!.. Точно, что горько, брат...» и т. д. Иван все молчал, и ему, видно, сгрустнулось; когда Василий кончил, он тихо проговорил: «Да, всё бы ничего, только с матушкой охота бы повидаться. Никого не жаль, опричь ее. Были бы крылья, сейчас бы, кажется, взвился и полетел. Посмотрел бы хоть».

У надзирателя была значительная склонность к мистицизму, и он заводил иногда речь о разных сверхъестественных явлениях, о встающих из могилы мертвецах,

об оборотнях и проч. Василий относился ко всему этому скептически и вступал с надзирателем в спор, приводил в пример разные случаи, как мошенники являлись привидениями, чтобы обокрасть или напугать и проч. Но надзиратель был непоколебим.

— А вот недавно еще, в Омске, часовому мертвец ноги обглодал. На это ты что скажешь?

Василий стал действительно в тупик.

— Одно я тебе скажу,— заключал надзиратель,— бога человек должен всегда держать на уме, вот что.

Рассказы тянулись иногда довольно долго. Когда все расходились по своим местам и двери номеров затворялись, мне не раз случалось слышать продолжение беседы между Васильем и Иваном, уже в постели. Иван часто вдавался в печальные размышления о домашних и о родной стороне; Василий же все соображал, как ему лучше сделать, дойти ли до завода и оттуда бежать, или там объявиться, или бежать, не доходя до завода, с дороги. «Тяжко уж мне больно без имени-то быть». Потом он приходил советоваться со мной, как ему поступить, и я справлялся ему по законам, что для него выгоднее.

Василий с Иваном спали в коридоре на полу и, разумеется, нисколько не стеснялись постоянною беготней мышей, которая начиналась в огромных размерах, как только гасла свеча в коридоре; свет от топящейся железной печи нисколько не смущал их. Меня мыши порядочно-таки беспокоили. Виною были, может быть, голова сахара, стоявшая в углу, да крошки хлеба на полу. Они были решительно бесстрашны, лезли иногда по одеялу ко мне на постель, и я несколько раз всю ночь не гасил свечи, чтобы хоть сколько-нибудь угомонить их. При известном тебе отвращении моем от кошек, я добыл себе даже котенка, и он хоть не ловил мышей, но все-таки пугал их, пыжась и сердито шипя над их норами.

Вот как обыкновенно проходили дни мои в тобольском остроге. Раза два в неделю, еще до рассвета, начиналось мытье полов в коридоре и в камерах. Его особенно стали учащать в ожидании скорого приезда нового генерал-губернатора. Полон коридор нагоняли баб из женского отделения пересыльных, и часа два продолжалась эта пачкотня, скобленье и проч. На целый день

оставался везде отвратительный запах сырости, в дополнение к постоянному почти чаду.

Потом раз в неделю приходили партии (обыкновенно по понедельникам) и отправлялись по назначению раз или два, смотря по тому, куда им следовать. Отправился в своей повозке, хоть и с партией, упомянутый мною казначей, вместе с женой, детьми и скудным хозяйством, отправился поляк, отправился не расстававшийся со своим дворянским достоинством арестант. Из вновь поступавших в наше отделение пересыльных не было никого интересного.

Отправка одной из партий не обошлась без порки. Услыхав поутру особенное движение и говор в коридоре, я вышел спросить, что случилось. Все наши дворяне, прислуга и сам надзиратель взмостились на скамейки и смотрели в высокие окна коридора, которые выходили на пересыльный двор.

— Наказывают,— отвечали мне на мой вопрос.

Я взлез на одну из скамеек и увидал густую толпу совсем готовых в путь «несчастных». Посреди ее подымались и опускались поочередно два толстых пучка длинных розог. Константин и Захар Иванычи суетливо распоряжались около этих розог, но наказываемого не было видно. Приятное напутствие в такую нелегкую дорогу! Я спросил: за что? Оказалось, за то, что, имея один полушубок годный, виновные взяли в приказе по другому полушубку и вшили их один в другой.

Вот наконец простился со мной и Крупский. Он купил себе кибитку за три с полтиной, уложил свое хозяйство, не забыл и гитару. Самое начало его путешествия не предвещало ничего доброго. Он выбрал, как нарочно, такую партию, в которой не было никого из «дворян», и у него одного была своя подвода. Она оказывалась лишнею против того числа, к которому подрядчик обязался поставлять лошадей. Он не хотел давать Крупскому лошади и требовал прогонных денег. Его едва убедили; но явно, что такие прижимки должны были повториться.

— Вам надо лошадь купить,— советовали Крупскому.

Хорошо было так советовать; но исполнить, даже при здешней дешевизне, совет этот Крупский мог, только обрекши себя на многие лишения.

После отъезда Крупского стало как-то тише у нас, или — может быть — это казалось только мне, потому что он все-таки каждый день приходил ко мне, и мы — как я уж говорил — обедали вместе, а иногда вместе же пили и чай. Как ни мало внушал он мне симпатии, а мне все-таки было очень его жаль.

Мне еще раз случилось видеть «политического преступника» Федора Иванова. Я сидел и писал, когда он вошел ко мне раз поутру очень рано и, не говоря ни слова, упал передо мною на оба колена разом. Конечно, ему нужны были деньги. Я заметил особую бледность и худобу в его лице. Он был в больнице почти с самого прихода своего в Тобольск и потому мог пробираться в наше отделение.

Дня через два я услыхал в коридоре рассказ Василья, что Федор Иванов ослеп.

— Какой Федор Иванов? — спросил я.

— А кандальщик-с,— отвечал Василий.— Вот что у вас-то был.

— Давно ли?

— Да нынче вдруг это сделалось у него. Паралич, что ли, ударил.

— Это бог его покарал,— заметил Иван.

— За что?

— Да ведь он с нами в одной партии шел, так только и знал, что всех оговаривал. Нехороший он человек, злой. Товарищей двадцать поди дорогой-то под розги подвел наговорами своими. Вот и покарал господь.

Мне нужны были кое-какие справки в уставе о ссыльных, и я привез его раз с собой от прокурора. Василий, знавший немного, хоть и плохо, грамоте, увидал, что я читаю законы, и они вместе с Иваном приходили ко мне за справками. Оба они рассказали мне свои истории и планы о побеге. У Ивана была непреоборимая страсть к перемене мест. Он тосковал без широкого простора перед собой. Он был помещичий крестьянин, его повезли в ближайший город для сдачи в рекруты, а он бежал с дороги и скитался с тех пор, переменяя имена. Василий был сослан в Сибирь на так называемое водворение и жил довольно долго в Омске, нанимаясь в кучера. Он тоже был из крепостных и у барина еще занимался кучерством. По его рассказу, в Омске он получал слишком малое жалованье, и ему хотелось отойти

от нанимавшего его господина к другому, платившему больше; но тот не соглашался, а как Василий вздумал грубить, он отправил его в полицию. Полицеймейстер же был ему приятель, призвал Василья, наругался над ним и отхлестал его по щекам. Василий в ту же ночь и бежал с досады, да и проходил три года, побывал везде, и у родных, и в знакомых городах и местах. Взяли его в Уфе. Теперь их обоих, и Василья и Ивана, отправляли на год на завод, около Тюмени, кажется,— значит, очень недалеко. И Василий, которому надоело быть Непомнящим, решил, что бежит не доходя до завода, прошатается где-нибудь до манифеста, а к тому времени опять явится в Омск и будет по-прежнему с местом и с именем. «Да хоть и до манифеста-то явиться, так не беда. При полиции только накажут — вот и все. Да и то не накажут. Откупиться можно». У Ивана, напротив, не было таких определенных планов. Побег представлялся ему каким-то поэтическим мотаньем по всему белому свету, из края в край.

Оба они ушли из Тобольска днями четырьмя-пятью раньше меня, и тут уж водворилась у нас совершенная тишина. По вечерам не слышалось ни сказок, ни разговоров. На место Василья и Ивана поступило тоже двое: один — мальчик лет шестнадцати, отправлявшийся вместе с отцом на поселение, с виду похожий на калмыка, с хитрым взглядом, но на словах глупый; другой — крестьянин из Тобольского уезда, приговоренный за укрывательство какое-то на полтора года в арестантские роты, но оттуда освобожденный по болезни. Ему поэтому следовало еще выжить полгода в тобольском остроге. Это был человек лет тридцати пяти, смирный и кроткий, мало говоривший и все вздыхавший. Его очень тревожило, что к нему не пускают его незаконную маленькую дочку, которую он называл то «девчоночкой» своей, то «питальницей».

— Хоть бы поисть-то ее пустили,— говорил он.— Этто вышел к воротам,— она стоит там, продрогла вся. «Тятенька, я, говорит, поисть хочу». Хорошо еще вышел я в пору, дал ей калачика; а то ину пору придет — постоит, постоит, зальется слезами, да и уйдет.

Я выхлопотал ему у начальства позволение видеться с нею каждый день в известный срок.

Надзиратель тоже был недоволен уходом прежней

прислуги, и в особенности краснобая Василья. Ему не к кому было уж присоседиться вечером, и он сделался даже что-то ворчлив, чего за ним прежде не водилось.

Я уже говорил о периодическом приходе и отходе арестантских партий. Это было таким обычным делом в остроге, что никто не интересовался им — ни из начальства, ни из «содержающих». Другое дело — приезд с жандармами. Таким образом, и я и Крупский сделались лицами всем известными. В течение моего пребывания в тобольском остроге еще третье лицо обратило там на себя всеобщее внимание. Это было еще в то время, как Василий с Иваном прислуживали мне.

Именно Василий явился ко мне с известием, что еще кого-то привезли с жандармами, в ручных и ножных кандалах. Это было утром. Я наскоро оделся и побежал к воротам. Мне думалось, не из Петербурга ли кто-нибудь, не из наших ли общих друзей и знакомых кто-нибудь. Мне почему-то казалось, что я встречу Владимира Обручева.

Как ни поспешно сообщил мне новость Василий Непомнящий, но я подоспел уж поздно. Не жандармы, а казаки, сопровождавшие арестанта, успели уже удалиться с почтовою кибиткой, и любопытные, сбежавшиеся со двора, разошлись. Я решил зайти справиться к помощнику, которого квартира была в сенях из-под ворот, и вошел в сени. Тут я застал следующую сцену. Смотритель, повторяя ежеминутно: «Чего-с? чего-с?» — суетился около своего нового жильца. Ему перебивали кандалы, которые были слишком узки. Новопривезенный арестант сидел на нижней ступеньке каменной лестницы, ведущей во второй этаж, низко понурив голову, так что видна была только часть его бороды из-под нахлобученной на уши мохнатой меховой шапки; одна нога его лежала на знакомой мне гире, и стоявший на коленях казак взмахивал над нею молотком, заклепывая новые кандалы. У меня сердце сжалось! Такая это была унылая и в то же время возмутительная операция. Формалист смотритель, заметив мое присутствие, поспешно подбежал ко мне и попросил меня удалиться. Тут были еще какие-то неизвестные мне чиновники, и я с досадой исполнил его просьбу.

Вскоре я узнал, что привезенный — пермский крестьянин Кокшаров, который был доверителем от пермских

заводских крестьян и подавал от лица их просьбы и протесты. Говорили, что он объяснял им их положение и возбуждал неудовольствие. Последним делом его была поездка в Петербург, для подачи просьбы государю по доверенности от трех тысяч заводских крестьян. Что сделали с его просьбой в Петербурге, неизвестно; но ему велено было возвратиться домой. Вскоре, однако ж, пришло распоряжение арестовать его. Крестьяне не хотели выдавать его, и Кокшарова пришлось брать военной силой, причем убито несколько человек, защищавших его (об этом что-то умалчивает Валуев в своих отчетах по крестьянскому делу). Кокшарова схватили-таки, сковали и бросили в пермский острог. Тут продержали его всего два дня, не предлагали ему никаких вопросов, не производили над ним никакого следствия и на третий день отправили с двумя казаками в Тобольск, для препровождения в каторжную работу. Он не был наказан телесно (кроме кандалов, которые у нас, как известно, вопреки закону, на практике не считают и телесным наказанием). Такое скорое решение свидетельствует, конечно, главным образом об успехах науки в России. Ведь из Перми уж действует телеграф, и, разумеется, пермское начальство поступило не по своему собственному побуждению. Кокшаров уже не юноша, ему под сорок, если не больше.

Мне очень хотелось увидаться с ним и узнать от него лично, насколько правды в том, что я слышал и пересказал теперь; но это мне не удалось. Кокшарова посадили в так называемую секретную, и я два дня сряду пытался проникнуть к нему. Но, как нарочно, надзиратель кандального отделения отлучался куда-то, и его заменяло лицо, мне совершенно неизвестное. Я не рискнул вручить ему за пропуск пятирублевую бумажку, которую с этою целью носил в кармане,— тем более что приходилось говорить с ним сквозь железную решетку в присутствии часового. Я наконец взял с собою Константина Иваныча; но и тут вышла неудача. Надзирателя в это время совсем не было дома, а с ним и ключей от секретных номеров. Я подошел к тому, в котором он содержался, и заглянул в щелку двери. Кокшаров в это время спал.

На четвертый день он ушел с этапом, но мне, вероятно, еще придется увидаться с ним в Сибири.

Удачнее было желание мое видеться и познакомиться с другим политическим преступником (какое это было нелепое название, особенно в применении к настоящему случаю), сосланным, впрочем, только на жительство в Тобольскую губернию (хоть и без срока). Я говорю о ксендзе-канонике Маевском, который виноват оказался в том, что не остановил народа в Гродно, желавшего церковной процессии, а, напротив, сам его повел. При этом, впрочем, не произошло никаких ни замешательств, ни столкновений. Епископ, которому Маевский донес о желании народа идти крестным ходом, поступил дипломатически; он не запретил его, а только сказал, что процессия будет остановлена военною силой. Это не помешало Маевскому идти с крестами и пением. Дойдя до места, где были расположены войска, он обратился к богомольцам и сказал, что обет их исполнен, а бороться с вооруженною силой было бы бесполезною резней, которая не может быть приятна богу. Все стали на колени, пропели свои молитвы, возвратились в церковь и потом спокойно разошлись по домам.

Кажется, следовало бы поблагодарить человека за удержание, как говорится, народа в границах спокойствия; но Маевского схватили, продержали в Вильно в тюрьме и препроводили сюда. При следствии не помогла даже проповедь, которую он произнес пред выходом процессии из церкви. В этой проповеди очень ловко говорилось, что цель процессии чисто религиозная, что надо забыть обо всех политических партиях, собравшись молиться богу, что тут должен проявиться не дух партий, не дух Гарибальди, не дух Мирославского, а дух святый. Любопытно замечание, сделанное Маевскому по этому поводу Назимовым. «Вы хотели надуть бога,— сказал он,— но люди в девятнадцатом столетии вас разгадали». Назимов-то человек девятнадцатого столетия! Не правда ли, это очень мило?

Я рассказал в нескольких словах то, что Маевский передавал мне со всеми подробностями, но они, вероятно, давно уже появились в иностранных журналах. Мы обедали с ним вместе у Соколова и потом просидели часть вечера. По русским фразам, которые он приводил в своем рассказе, можно было видеть, что он хорошо говорит и по-русски; но он утверждал, что это ему трудно, и рассказывал по-польски. Вообще он говорил замеча-

тельно красноречиво и умно и, вероятно, пользуется в Гродно большим влиянием и популярностью. Вообще он произвел на меня очень приятное впечатление своими здравыми суждениями, насколько они не разногласили с его католическими, или — лучше сказать — христианскими тенденциями. Впрочем, может быть, он показался бы мне и еще лучше, если б мы разговаривали только вдвоем; официальное положение нашего хозяина должно было несколько смягчать его речь. У нас оказалось человека два-три общих знакомых из гродненских поляков,— между прочим, поэт Желиговский.

Наружность Маевского не особенно представительна. Он невысокого роста и сильно согнувшийся, сутуловатый. Продолговатое лицо его приятно, и в серых, какого-то свинцового цвета, глазах есть что-то действующее магнетически на нервных людей; очень развитые губы показывают, что он не прочь от наслаждений мира сего, ни от вина, ни от женских поцелуев. Ему никак не более на вид сорока лет; коротко остриженные русые волосы его еще довольно густы.

Как присланный на жительство без лишения прав, Маевский избег, разумеется, острожного помещения и жил на частной квартире. Он, кажется, рассчитывал остаться в самом Тобольске, и это — при других условиях — было бы возможно. Он отслужил три обедни в здешнем костеле.

Остроумный губернатор, угадавший свое подобие в свином рыле, нашел это почему-то неудобным,— и вот теперь Маевского хотят перевести из Тобольска в уездный город Курган. Должно быть, хороший город, я о нем никогда и не слыхивал.

Сколько можно было судить по ходу моего дела, я начинал надеяться, что скоро могу и уехать. Я не хотел оставлять Тобольска, не осмотрев хорошенько всего острога, всех его отделений и проч. Для этого я решился воспользоваться услугами помощника, которому всюду открыт был свободный доступ. Одному даже не на все дворы можно было войти. Сначала меня останавливали часовые в моих прогулках, и я только гривенниками покупал у них позволение свободно расхаживать по всем закоулкам и углам восьми (кажется, так) тюремных дворов. Константин Иваныч согласился выводить меня всюду, в надежде, разумеется, на денежную награду.

По мере того как приближался мой отъезд, он становился еще назойливее. Ему, по-видимому, хотелось извлечь из меня все выгоды, какие только можно.

Раз привел он ко мне страшно оборванного мальчика лет десяти и начал рассказывать какую-то длинную историю о его крайней нищете, о том, что он его где-то случайно нашел и решил взять на свое попечение и приютить у себя.

— Будьте отцом родным, Михаил Ларионыч,— заключил он,— посодействуйте сироте. Видите, в каком он рубище. У вас есть полушубочек казенный. Он бы век стал богу за вас молить.

Я отдал полушубок, которым снабдила меня петербургская управа благочиния. Он оказался только что впору мальчику. К слову замечу, что казенные полушубки вообще как будто кроятся и шьются на детей, так они коротки и узки. Это, вероятно, имеет какое-нибудь отношение к экономическим понятиям начальства.

В другой раз помощник приходил и начинал проливать предо мною притворные слезы о потере дочерью трех рублей, с которыми она поехала в город, в гостиный ряд, для покупки себе какой-то обновы. На слезы Константин Иваныч был тороват; они легко вызывались у него водкой, а пьян он был ежедневно, особенно к вечеру.

Так как потеря его дочери меня не тронула, он в следующий раз изобрел новую пропажу.

— Такое со мной, право, несчастие,— рассказывал он.— Верите ли, Михаил Ларионович, говорить-то — уста кровью запекаются. Поехал вчера в город. Давно собирался дочери сатину купить на салоп. Дело-то под вечер было. Сам и правлю всегда. Понес меня маненечко конь. Как уж у меня выпал этот сатин из-под мышки и где — понять я этого не могу. Приехал домой, ну, как я скажу? Так и не сказал. Сегодня встал чем свет, все улицы обошел — снег-то это раскапываю Нет как нет моего сатину.

— Где уж найти!

— Конечно, Михаил Ларионыч,— оно и понятно. Лежит на улице, середи дороги, штука сатину. Да как же ему целу быть. И какой выбрал превосходнейший сатин! Восемь с лишним рублей, легко это сказать.

Я начал было его усовещивать, чтобы он сказал прямо, что ему хочется у меня денег получить, но он стоял на своем сатине.

Точно так же не хотел он признаться, что подрался в пьяном виде, когда пришел раз ко мне с огромными синяками под глазами и с раскроенными в кровь виском и лбом, которые он напрасно старался скрыть волосами. Он утверждал, что это его конь побил.

— Подошел я это ему ноздри протереть. Мороз, знаете, заиндевело все. Как хватит он меня вдруг уздой. И что это с ним сделалось, понять не могу. Этакий был смирный, послушливый конь и вдруг,— только что я подхожу к нему, начинает меня хлестать уздой по лицу. Искровенил всего.

Василий Непомнящий иначе не называл Константина Иваныча как бесстыжими глазами.

— Ведь это известно-с,— пояснял он,— у писарей стыда нет, а он из писарей-с.

В то утро, как помощник согласился сопровождать меня по острогу, он, против обыкновения, не был пьян. Вероятно, опохмелиться было не на что. Мы пошли.

Оставляя его в стороне, я расскажу в немногих словах то, что видел. И так рассказ мой о тобольском остроге вышел бесконечно длинен.

Самое интересное отделение, конечно, кандальное. Комната, в которой я был помещен на время по приезде, принадлежала к числу номеров, назначенных для подсудимых. Таких номеров идет несколько подряд по темному коридору. Они не заперты, потому что в них содержатся подсудимые не по важным преступлениям. В иных на нарах помещается человека по три, по четыре. Далее идет коридор секретных, то есть тоже отчасти подсудимых, отчасти пересыльных, возбуждающих почему-нибудь опасение. Здесь двери уже заперты,— и что странно, они глухие, без маленьких окошечек. За содержащимися там можно наблюдать только в небольшие дырки, просверленные где попало. Этот коридор несколько светлее и опрятнее, так как по нему мало ходят. Я заглянул в две-три щели. Номера были пусты, только в одном сидел какой-то офицер, судимый, кажется, за убийство.

По шаткой и узкой деревянной лестнице поднялись мы в другой этаж, который правильнее назвать просто

чердаком. Это и есть помещение пересыльных «кандальщиков». У всякого, кроме таких тюремных стражей, как наш помощник, невольно содрогнется и сожмется сердце при входе под эти темные, низкие своды, при взгляде на эту горькую голь и унижение, которые кидаются в глаза на каждом шагу. Как бы ни были преступны и черны душой все эти несчастные, набитые тут, как звери в клетке, в душе не возбуждается ничего, кроме жалости к ним. Христианское законодательство наше не понимает, что оно только портит и нравственно ухудшает своими мерами преступников, вселяя в них ожесточение и ненависть к человеческому обществу. Ведь большинство преступлений все-таки совершаются в минуты страсти, в минуты увлечения. В значительной степени случаев преступление даже не кладет резкой печати на нравственную сторону человека. Пыл страсти миновал, и наступило раскаяние, а это чувство, незнакомое до тех пор, заставляет человека вдумываться в себя, анализировать свои побуждения и, стало быть, возвышает нравственный его уровень. Иной преступник, после того как на его руки брызнула кровь убитого им ближнего, становится нравственнее, чем был до тех пор. Много ли этих холодных, ожесточенных убийц, которые находят наслаждение в проливаемой ими крови? Не выродки ли это? Не физические ли недостатки их мозга и черепа виной этому? А воспитание ничего не делало для них. Если же и не так, то откуда приходит ожесточение, как не из условий самой жизни, обреченной на невежество, нужду и невыносимые ни для какого животного лишения? Неужто нельзя положить границ между побуждениями людей к преступлениям и разделить их на основании этих побуждений? Смешивая всех в одном понятии «преступник», правительство только развращает лучших из них. Только тогда уж надо вверить надзор и попечительство над ними не безграмотным и жестоким солдатам, вроде Захаров и Константинов Иванычей.

Острог в Тобольске новый; в нем, как говорят, сделано очень много улучшений в сравнении с тем, что было прежде, в старом здании, находившемся неподалеку от нынешнего и теперь обращенного, кажется, в арестантскую роту. Уж из того, каково теперь помещение у кандальщиков, можно заключить, как их содержали прежде. Я уж не говорю о сырости, без которой, по-видимому,

никак не могут обходиться наши тюрьмы, даже стоящие так долго, как, например, Петропавловская крепость. Кроме сырости, помещение кандальных лишено всяких удобств. Под низкими сводами, где только можно распрямиться стоя, не устроено даже нар. Это чердачное отделение состоит из нескольких комнат, большею частью небольших, соединенных между собою арками сводов. Это еще хорошо,— будь тут двери, которые бы затворялись, воздух был бы ужасный. Он уж и теперь никуда не годится. В других отделениях устроены хоть отдушины, которые очищают его немного, а здесь и этого нет. Все арестанты помещаются на полу. Из опасения драк или просто из пренебрежения к этим несчастным тут нет ни стола, ни стула. У редкого подостлан под себя потник или войлок. В любом зверинце лучше содержатся звери. Константин Иваныч торопил меня, будто опасаясь проходить один и без всякого оружия посреди сотни этих жалких и оборванных людей, с клеймеными темными лицами, с подбритыми головами. Мне было жаль, что я не мог побыть с ними дольше и поговорить. Все они сидели или лежали на полу — кто приспособлял свои кандалы, чтобы они меньше терли ноги, кто завтракал черным хлебом, кто чинил свою одежонку.

Многие лежали, закинув за голову руки. Были тут и больные, стонавшие, но, вероятно, лишь от угару, потому что не поступили в больницу. Духота, жалкий полусвет, грязь, голоданье, нищета, унижение — все эти исправительные меры нашего законодательства являлись тут в полном своем значении.

Отделения переселенцев и женское могут показаться раем после этого помещения. Они размещены по разным дворам. То большие камеры, в которых, не особенно теснясь, могут поместиться человек по пятидесяти, с нарами посредине. Но когда приходят большие партии, помещается, конечно, вдвое и втрое больше. Кому нет места на нарах, тот помещайся под нарами. Таково устройство и всех наших тюрем, да не только тюрем, и казарм. Отделения эти показались мне приветливее не только потому, что я пошел в них из кандального, но и потому, что они были почти пусты. Последняя партия состояла по преимуществу из кандальщиков. В женском отделении, несмотря на детей — и грудных и едва начинающих лепетать и становиться на ноги,— было гораздо

больше чистоты, порядка. Все больше сложено к месту, не раскидано, как на мужских половинах.

Меня больше всего удивило, что в здании, рассчитанном на столько людей (хоть и плохо рассчитанном), нет порядочного помещения для столовой. Она помещается в какой-то упраздненной бане, довольно темной, с почерневшими от копоти и пропитанными банным запахом стенами.

Как ни вяло подвигалось дело об отправке меня с жандармами на свой счет, а все же оно подвигалось. Нужно было прежде всего подать просьбу в приказ о моем желании; потом составили журнал о ней; журнал пошел к прокурору, к губернатору и странствовал недели две. Меня записали в больницу, сочинили мне медицинское свидетельство. Врачебная управа должна была подтвердить это свидетельство своим свидетельством. Меня, к счастию, не требовали в управу; один из членов ее заехал ко мне, и тем дело было кончено. Наконец-то можно было приказу потребовать от полицеймейстера мои деньги и написать жандармскому штаб-офицеру, чтобы он назначил мне двух «благонадежных» проводников.

В течение всего этого времени мне довелось быть раза три или четыре в приказе. Когда я был там во второй раз, я получил твое письмо. Мне передали его нераспечатанным. Фризель вообще был любезен, насколько может быть любезен такой бык. Он разговаривал со мною по-французски, предлагал мне в присутствии кресло за столом, на котором стоит зерцало, и проч.

Еще накануне отъезда познакомился я в приказе с моими новыми жандармами. Они даже и на первый взгляд не имели уже того официального характера, как петербургские. В самый день отъезда были получены деньги мои в приказе и при мне были переданы жандармам.

Возвратившись из приказа к острогу, я был встречен у самых ворот смотрителем. Он объявил мне, что за мною прислал лошадь Пушкин и что полицеймейстер просит его приехать вместе со мной. Время как раз (по тобольскому) подходило к обеду. Мы тотчас же отправились.

Там решили, что смотритель распорядится вместе с жандармами уложить в возок мои вещи (все было

у меня уже с утра готово) и жандармы приедут за мной уже на почтовых сюда. При отправке моей следовало быть полицеймейстеру, а так как он обедал вместе со мной, то и это, значит, было удобно.

Таким образом, в сумерках, 27 января я поехал из Тобольска дальше. Почти все обедавшие, и мужчины и дамы, отправились провожать меня, и я окончательно простился с тобольским обществом, о котором у меня осталось самое приятное воспоминание, уже за городом, на том историческом месте, где, по преданию, высадился Ермак.

ДОРОГА ДО ИРКУТСКА

О тобольских моих провожатых не стоит говорить так много, как я говорил о петербургских. Они, как я уже сказал, имели гораздо менее специально жандармского характера. Мне уже нечего было испытывать их, насколько можно им довериться, и я мог прямо поручать им то или другое, противное их инструкции, не опасаясь, что они захотят меня выдать. Это были тоже два урядника, и тоже нисколько не похожие один на другого. Один, Берников, темно-русый, с рыжеватым отливом, красивый и ловкий, отличался аккуратностью и постоянно веселым нравом; другой, рябоватый и золотушно-кудрявый, Николаев, был мало находчив, хвастлив, но вообще вял, любил выпить и быстро пьянел. Он был писарем, а Берников берейтором. Это отчасти объясняет и разность их характеров. Кроме своей жандармской обязанности, Берников занимался отчасти торговлей, отчасти ремеслом. Он шил оленьи перчатки. Оба они были люди женатые, но только у одного Берникова проявлялась хозяйственность и положительность; Николаев, напротив, способен был при первом удобном случае замотаться и завихриться в каком-нибудь кутеже. В местах, где мы останавливались несколько подольше, надо было держать ухо востро, чтобы он не напился пьян. Это, однако ж, случилось-таки с ним раза три-четыре, и его приходилось садить на козлы для протрезвления. Мы пускали его тогда в возок, лишь убедившись, что он успел уже немного продрогнуть и протрезвиться.

Мне еще раз привелось видеться с Станиславом Крупским. Видя крайние нужды его, я поделился с ним

чем мог и сказал двум-трем моим тобольским знакомым о его положении. Сочувствия к нему ни у кого, правда, не было; но это не помешало, однако, сделать для него подписку, по которой собрали пятьдесят рублей. Он между тем уже уехал. Мне привезли почтовую расписку об отправке ему этих денег в Томск, в тамошнюю экспедицию о ссыльных, и просили передать ее Крупскому, если я увижу его в дороге. Он был назначен на поселение в Красноярск и должен был отправиться туда с партией.

Партия эта вышла из Тобольска 12 января, а я выехал вечером 27-го, то есть через две недели; но то, что партия сделала пути в эти две недели, я мог проехать в сутки с небольшим. По этапному маршруту я мог рассчитать, что застану Крупского на ночлеге в деревне Ачимове, кажется, или Ачилове, верстах в трехстах от Тобольска.

На станцию эту я приехал на вторые сутки, часов в пять утра. Было еще совсем темно. Я заказал поставить себе самовар, чтобы не будить Крупского так рано, напился сначала чаю и потом попросил хозяина станции дать мне сани, чтобы съездить в этап, так как он был совсем на другом конце деревни, именно на том, который мы уже проехали.

Часов около шести мы с Берниковым уселись в глубокую кошеву и отправились. Все еще было темно; морозило крепко.

В деревне пахло уж дымом, но за серым тыном этапа все спало еще крепким сном. Берников добился, что нас впустили во двор, и мы пошли к офицеру.

На стук наш в дверь нам скоро отворила полуодетая женщина, по-видимому только что начинавшая подыматься с постели. Она без всякого опроса ввела нас в прихожую, бывшую в то же время, кажется, и кухней. В большой русской печи, занимавшей значительную часть ее, тлелся огонек. Баба, впустившая нас, накинула на него лучины, и свет облил и ее и нас.

— Вам кого? Поручика?

Я объяснил ей, что поручика, пожалуй, и не нужно, если можно без него увидаться с одним пересыльным — «из дворян, поляком».

— Да это, знать, тот, что у барина ночует. Я пойду их разбужу.

И она пошла. Почти тотчас же выбежал ко мне Крупский в полушубке своем и босиком.

Я вошел вместе с ним в следующую маленькую комнату, где застал еще в постели молодого этапного офицера. Крупский спал на диване: тут лежала его подушка. В этой горенке заключалась, кажется, и вся квартира офицера. Тут был, кроме кровати, и его письменный стол, и шкафчик в углу с посудой. Эта была своего рода тюремная келейка. Офицер, вероятно, недавно был на месте, не успел еще обжиться со своей должностью, и на нем не лежало печати той грубости, которую я замечал на всех этапных офицерах, встречавшихся мне.

Бедный Крупский был полубольной, распростуженный. Он и похудел заметно и сильно кашлял. Это был первый офицер по дороге из Тобольска, приютивший его у себя на квартире.

Тобольские предвестья оправдались. На каждом привале ему делали затруднения относительно лошадей, говорили, что если б в его кибитке можно еще было помещаться четверым, так лошадь бы, пожалуй, и дали, а то плати, да и не просто прогоны, а дороже. Решившись отказывать себе в чем-нибудь другом, Крупский купил себе лошаденку. Тут пошли опять неудобства, как ее кормить, и опять расходы. Он продал лошадь, и опять на каждом привале приходилось ему выслушивать недовольные речи и платить из своего скудного кошелька. Он жаловался на грубое обращение этапных офицеров, на брань и даже на побои конвойных солдат и казаков. Только ачимовский офицер обещал снабдить его рекомендацией к начальнику следующего этапа, и это хоть отчасти могло успокоить Крупского.

Мне было очень жаль его и досадно, что я не мог ничем помочь ему. Еще в Тобольске думал я, нельзя ли бы мне было довезти Крупского до места назначения в моем возке; но об этом и думать было невозможно, как мне сказали люди, от которых это зависело.

С грустным чувством простился я с Крупским, и он часто приходил мне на мысль, когда я начинал или досадовать на неудобство помещения в дороге, или на холод и угар станции, или на мороз и ветер. Какой еще я был счастливец в сравнении с ним!

Дорога от Тобольска шла такая же дурная, если не хуже, как и к нему. Такие же станции, то холодные и

полные синего чаду, то теплые до чрезвычайности и довольно уютно прибранные. Станционные смотрители и писаря стали чаще попадаться из поляков. Найти чего-нибудь поесть было бы трудно, если б меня в Тобольске не снабдили разными запасами — бураком, или, по-здешнему, «туесом», с мороженными щами, пельменями, пирожками.

Разнообразие дороги заключалось и здесь в том, что где было больше ухабов, где меньше. Сваливаться набок с возком, ломать оглобли, разбивать при этом стекла приходилось не раз. Под конец я уж забил два окна наглухо войлоком.

Проехали мы несколько жалчайших городов: Тару, наполовину татарскую, Катик, Колывань. Наконец близко уж и Томск, половина пути.

Надо было хоть немножко отдохнуть от ухабов и холоду. На предпоследнюю к Томску станцию мы приехали вечером и тут ночевали, отправившись на так называемую земскую квартиру. Здесь написал я тебе письмо, которое на другой день отправил из Томска. Я сначала не хотел было писать с дороги; но расчел, что из Иркутска ты не получишь моего поздравления с днем рождения. К несчастью, как я вижу из твоих писем, ты и томского письма моего не получила. А по моему расчету оно должно было прийти как раз вовремя. Я адресовал его через Пекарского.

На другой день, в десять часов утра, я был в Томске. Я рассказываю все мелочи только для тебя, и знаю, что ты не соскучишься над ними, как соскучился бы всякий другой, как соскучился бы их описывать сам я, если бы писал не по твоему желанию и не для тебя. Я, как ты знаешь, никогда еще не занимался так долго своею особой, но до конца моих рассказов уж недалеко, и я стану продолжать и кончать, как начал.

Так как мне нужно было запастись какою-нибудь провизией в дальнейший путь, то я остался в Томске часа на три, на четыре. Берников, отправленный за покупками, считал неудобным не явиться к местному штаб-офицеру, будто бы для просьбы пробыть в городе нужное нам время. Иначе он мог попасться ему на глаза и навлечь против себя какое-нибудь неудовольствие. Я не имел, конечно, ничего против его намерения. Оставшись в гостинице «Золотого якоря», при которой находилась

и станция, я принялся от скуки играть на бильярде с другим жандармом.

Явки Берникова к штаб-офицеру было достаточно, чтобы обо мне узнали в городе еще в десяти местах. Сначала пришел ко мне один молодой человек, которого я не узнал. Это был Кузнецов, с которым я познакомился в Уфе, где он был тогда семинаристом, давал уроки в одном знакомом мне доме и собирался ехать не то в академию, не то в университет. Этому уж лет шесть есть. Теперь он учителем в Томске, в гимназии. Пришли еще два молодых человека, которых имен не помню. Заехал совершенно неожиданно *сам* голубой штаб-офицер, толстый, заплывший господин, с предложением, не хочу ли я остаться в Томске подольше, день, два, не имею ли каких желаний. Я имел желание, чтобы он убирался поскорее, но его по деликатности не выказал. Он, впрочем, и сам пробыл не более десяти минут. Более всего был я доволен приездом ко мне управляющего томскою экспедицией о ссыльных. Я мог попросить его о выдаче Крупскому на руки денег, присланных в Томск, и он любезнейшим образом обещал мне это.

Позавтракавши или, пожалуй, пообедавши в гостинице, мы двинулись далее. Через двое суток мы переехали границу Западной и Восточной Сибири, отмеченную двумя кабаками по ту и по эту сторону.

В унылом городе Ачинске, первом восточносибирском, где я и из возка не хотел вылезать, оказался почтмейстером мой земляк и прислал просить меня войти на станцию. Я зашел и напился чаю в его семействе, которое все провожало меня потом до экипажа и напутствовало самыми хорошими желаниями.

Та же дорога с ухабами и метелями потянулась до Красноярска. Здесь я решился пробыть подольше, чтобы видеться с Петрашевским. Он, как ты знаешь из «Колокола», попал в немилость у Муравьева за то, что говорил против скверной истории Беклемишева и — не помню, как зовут его жертву. Петрашевского выслали из Иркутска, а Беклемишев, вместо того чтобы попасть в соседство ко мне, в каторгу, назначен, как я видел в последних газетах, вице-губернатором в Саратов. Муравьевское начало не умерло с ним. Для замазки разных щелей и трещин своего ломового управления он посадил на свое место невежду и глупца Корсакова, своего

родню и креатуру, быстро выскочившего в генералы разве по способности своей скакать тысячи верст на курьерских для безгласного и точного исполнения самодержавных повелений своего патрона.

В Красноярск приехал я поутру 7 февраля. Станция находится там при гостинице. Толстый, улыбающийся немец Иван Иваныч вышел встречать меня и объявил, что меня давно уже ожидают и многие желали бы со мною видеться. Первым вопросом моим было, здесь ли Петрашевский. Немец отвечал утвердительно и обещал немедленно послать известить его.

Не успел я вполне разоблачиться от дорожных шуб и шарфов, как у меня оказалось уже четверо гостей. Один был местный казачий офицер, брат известного мне по имени издателя какого-то маленького журнала, «Вазы» или «Северного цветка»; трое остальных были проезжие в Петербург офицеры же с Амура. Из них особенно заинтересовал меня моряк, капитан-лейтенант Сухомлин. С его парохода или фрегата бежал Бакунин. Корсаков, получивший сильную головомойку из Петербурга за этот побег, вздумал было задержать Сухомлина в Иркутске, пока не кончится следствие. Но Сухомлин ехал с семьей, по требованию своего начальства, и не мог терять ни времени, ни денег на праздное житье в корсаковской столице. Пришлось ограничиться вопросными пунктами и отпустить капитана дальше. Да и какое тут следствие, когда у Бакунина был открытый лист для проезда куда он хочет за подписью того же Корсакова? Умеренные прогрессисты в Иркутске находили, что Бакунин поступил нехорошо, изменив честному слову, которое он дал Корсакову, что не убежит. Я в этом случае не совсем согласен с умеренными прогрессистами и — если бы считал полезным для себя — поступил бы на месте Бакунина точь-в-точь так.

Скоро пришел ко мне и Петрашевский. Не знаю почему, я воображал его человеком совсем иной наружности, чем каким увидел. Портрета его мне не случалось видеть; говоря о нем с некоторыми из тех, кто были сосланы по его делу, я как-то не спрашивал о его наружности,— и он представлялся мне высоким, худым, с резкими и строгими чертами лица, да вдобавок еще блондином. Я не могу понять, почему составилось у меня такое о нем представление. Разве не на основании ли

читанных мною в «Колоколе» официальных бумаг его, наполненных юридическими тонкостями, к которым был я всегда так холоден, пока теперешнее мое дело не показало мне, что я поступал нерасчетливо, пренебрегая знакомством с дичью, именуемою законами Российской империи. Впрочем, едва ли мое представление о Петрашевском составилось не раньше. Я увидал совершенную противуположность тому, что ожидал.

Петрашевский не высок — он среднего роста, и не худой, а очень полный. Походка его напомнила мне отчасти походку Герцена, и в самой фигуре его есть с ним сходство. Черты лица его довольно правильны, мягки и приятны. Большие черные глаза, очень выпуклые, обличают в нем сразу говоруна, и он действительно говорит много и хорошо; но, вероятно, именно потому, что много и хорошо, речь его полна противоречий. На голове у него осталось уж мало волос — перед весь голый, и только сзади низко опускаются на воротник сюртука их поредевшие черные пряди. Большая, что называется апостольская, борода, напротив, еще очень густа; по ней длинными белыми нитками прошла уже седина. Одет он был во все черное. И сюртук, и жилет, и панталоны — все было очень потерто и замаслено и обличало не совсем-то блестящие его обстоятельства. Оно так и было действительно, как я слышал впоследствии.

Видевшись с ним всего один день, я не могу, разумеется, сказать о нем многого; но общее впечатление было для меня приятно. Я нашел только, что местные интересы, в которых Петрашевский принимал участие (разумеется, только словом) в последнее время своей ссылки, разные иркутские интриги и дела как будто заслонили от него интересы более широкие и общие. То, что для человека нового представляется не более как местным провинциальным дрязгом, для него, при постоянном столкновении с здешними властями, приняло слишком большие размеры и заставило как будто отчасти забыть о том, что сердиться следует на причины, производящие дурные явления, а не на самые явления. Слушая Петрашевского, я, признаюсь, не раз подумал, что было бы очень грустно, если б тесный круг местных интересов успел со временем втянуть и меня в свои границы. Повторяю, все эти интересы входят лишь как ничтожная доля в ту общую систему нашего управления и

нашей жизни, против которой одной борьба не бесплодна. То же сужение понятий от долгой жизни в ограниченной и жалкой среде проявил и товарищ Петрашевского, Львов, в своих «Выдержках из воспоминаний ссыльнокаторжного», вторая часть которых дошла ко мне лишь недавно. Меня просто возмутило то место, где он говорит о действии ссылки на политических преступников. Надо слишком поверхностно и мелко всматриваться в окружающую жизнь, чтобы дойти до таких ограниченных взглядов. Ты статью Львова, конечно, читала и, вероятно, помнишь это место. На него нельзя не обратить особенного внимания в статье именно бывшего «политического преступника». Рассуждать об исправлении зла «последовательными реформами *при помощи служебной или открытой общественной деятельности»,* толковать о развитии гражданского чувства, откладывая в долгий ящик «последовательных реформ» (иначе «медленного прогресса») «благие учреждения», которые одни создают граждан,— все это мог бы говорить другой Львов, автор знаменитой комедии с добродетельным становым приставом, или не менее знаменитый герой соллогубовского «Чиновника»; но слышать эти речи от «ссыльнокаторжного» Львова не только досадно, но и тяжело и грустно. Если бы еще он говорил об этом изменении во взглядах «политических преступников» как о развращающем влиянии житья в ссылке,— а то ведь это, по его мнению, хорошая сторона ее, хорошее и благое влияние. Кстати замечу, что вся вторая статья Львова (первой я не помню) показывает, что он совершенно незнаком даже с общим характером мест и людей, посреди которых привелось ему прожить так долго, или не умел всмотреться в смысл окружавших его явлений и только наблюдал их внешнюю сторону. Можно, пожалуй, было бы извинить жалкую ничтожность этой статьи недостатком таланта, но ведь в ней нет *дела,* а уж это не зависит от таланта. Я заговорил о статье Львова именно потому, что нечто вроде того не совсем веселого чувства, которое испытал я, читая ее, проходило иногда по моим нервам и при разговоре с Петрашевским. Нет, что ни толкуй, а горе и лишения ссылки взяли-таки свое, печать их осталась, и, мне кажется, первое, о чем должен постоянно думать и стараться всякий сосланный за политические убеждения,—

это вырваться отсюда и окунуться в поток более широкой жизни.

Львов говорит об уме «охлажденном и опытом и зрелостью возраста» как о шаге вперед от горячего и страстного энтузиазма молодости. Да ведь это просто притупившиеся от слишком слабых потрясений нервы. Не желал бы я себе такой зрелости, хотя, может быть, уж и теперь для нового подрастающего племени человек отживающий. Как на одно из важных противоядий нашей провинциальной малярии смотрю я на свою возможность уходить от пошлости наших житейских отношений в чисто умственную деятельность,— и я считаю себя счастливым, что могу заниматься литературным трудом.

Я никогда не работал так много, как теперь, в эти два-три месяца, как поселился в Казаковском золотом промысле, и как бы ни ничтожны были плоды этой работы, я уверен, они полезнее и для общества, и для моего личного достоинства так называемой «борьбы» с местными обстоятельствами. Эта борьба сильно граничит с тем, что на более простом языке называется дрязгами, кляузами, сплетнями — и мало ли еще чем. Вот почему я особенно доволен, что не остался в Иркутске, а попал сюда, в глушь. Замечательно, что только те из политических преступников, бывших здесь, оставили по себе действительно полезное влияние, которые действовали словом, брались за воспитание или вообще старались проводить в сознание молодых людей основные начала нравственности и гражданских обязанностей человека. А те, что вступали в ряды местных «борцов», от пропаганды обращались к делу, только низводили и свои лучшие стремления, и свое личное достоинство к тому уровню, где они теряли всякое высшее значение, а потому и влияние, да и сами деятели мало-помалу начинали мельчать и все более суживать свои нравственные интересы. Да и какая тут борьба для человека, поставленного своим положением политического преступника вне всякой общепризнанной деятельности, когда и в сфере-то более широкой у нас удел разумной жизни, как выразился Добролюбов: «Для блага родины страдать по пустякам».

То, что я наговорил, было предметом нашего довольно продолжительного спора с Петрашевским. Я только из его слов узнал о всех неприятных столкновениях,

которые рискую я испытать, оставаясь в Иркутске. Если б я не слыхал этого предупреждения о тамошних полицейских надзорах, о шпионстве, подпечатывании писем, о доносах, то достаточно было мне пробыть в Иркутске два-три дня, чтобы не хотеть оставаться там даже при согласии на то местного начальства. Только живя в совершенной дали от общества (как теперь и делает Львов), можно еще там сделать сносною свою жизнь. То, что именуется на иркутском наречии политическими неприятностями, есть не что иное, как мелкие сплетни, раздражающие человека хуже, чем «по пустякам».

Петрашевский советовал мне ехать в Нерчинский округ, где менее будет для меня стеснений, и, для подтверждения его слов, повидаться в Иркутске со Львовым. Я сделал бы последнее и так, но, чтобы увидаться с ним поскорее, взял у Петрашевского записку. Он обедал у меня в этот день, и вечером располагал я уехать, но это не удалось. Один из моих жандармов, Николаев, отпросился у меня к каким-то своим знакомым и воротился домой пьян как стелька. Я остался ночевать.

После обеда Петрашевский уходил на час домой и потом опять пришел — и на этот раз не один, а с тремя молодыми людьми, которых отрекомендовал мне, и при них и заочно, как *лучших* из здешней молодежи. Признаюсь, грустно мне было за Петрашевского, когда эти лучшие представители молодого поколения города Красноярска сидели у меня с ним вечером. Это были, может быть, и даже вероятно, очень добрые молодые люди, но... И тут я узнал о существовании секретного циркулярного предписания министра внутренних дел к губернаторам, от 2 декабря, не выдавать литератору Николаю Чернышевскому заграничный паспорт. Это известие поставило меня в тупик; я решительно не знал, как объяснить его, и отчасти усомнился в его верности; но молодой человек, от которого я слышал об этом, прислал мне на следующее утро и номер и дату предписания, с подтверждением, что дело идет именно о литераторе Николае Чернышевском.

Петрашевский пришел проводить меня, и я отправился из Красноярска часов в одиннадцать утра.

— До свидания — в парламенте! — сказал мне на прощанье Петрашевский.

«Блажен, кто верует, тепло ему на свете»,— думал я не раз, когда припоминал об этом прощанье.

Николаев не успел протрезвиться и был посажен на козлы. Дорога пошла получше и поглаже, и мы ехали очень хорошо почти до самого Иркутска, уже нигде не останавливаясь[1]. На последнюю станцию прибыли мы уже ночью, часу в первом, на пятые сутки по выезде из Красноярска. Надо было и тут, как перед Тобольском, обождать утра, и я прилег было в станционной комнате. Но спать тут от холода было невозможно. На дворе стоял сильный мороз, а дверь, выходящая прямо на крыльцо, без сеней, беспрестанно отворялась. Пришлось поискать себе другого ночлега, и мы отправились в так называемую земскую квартиру, довольно тесную, но зато теплую избу, где и расположились.

Только что начало светать, горлан петух крикнул у меня под самым ухом, и я вскочил с испуга. Он не умолкал, выглядывал из-под печки, и мы стали вставать.

Я забыл сказать, что по распоряжению тобольского жандармского полковника меня следовало отправить из Тобольска опять-таки в кандалах. Впрочем, он распорядился, чтобы они были на замочках, и я мог снять их тотчас по выезде из города. Перед въездом в Иркутск следовало их опять надеть на меня. Но я не исполнил ни того, ни другого,— и они ехали со мною в мешке с другими арестантскими принадлежностями. Жандармы подтверждали меня в убеждении, что их не следует надевать. Да и замочков-то у нас не было.

В половине двенадцатого утра 13 февраля я был в Иркутске, перед воротами исправлявшего должность военного губернатора.

ИРКУТСКАЯ ТЮРЬМА

В Иркутске, как и в Тобольске, пришлось мне немало поездить, прежде чем я попал в свойственное мне место, то есть в острог. Меня привезли к исправляющему должность военного губернатора, а не к генерал-губернатору, согласно принятым правилам. Его уже не было

[1] Тут города Канск и Нижнеудинск. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

дома. Он был в губернаторской канцелярии. Ко мне вышел какой-то чиновник, вроде писца, и поехал вместе в канцелярию. Там мне тоже пришлось подождать, пока не пришел откуда-то господин Шелехов. Пока я дожидался в приемной, похожей на дрянную прихожую, я думаю, все чиновники канцелярии прошли мимо меня один за одним, с любопытством оглядывая меня с головы до ног.

Наконец явился и Шелехов, штатский господин полный и несколько аляповатый с виду, и попросил меня в присутствие. Там никого еще не было, но когда мы входили, за нами следом вступил какой-то трясучий старик в генеральском мундире.

— Позвольте попросить ваше превосходительство повременить немножко,— сказал ему Шелехов.— Мне нужно поговорить одному.

Старик ретировался, и, когда двери за ним затворились, Шелехов с каким-то несколько чичиковским видом протянул мне руку и начал говорить нечто о том, что «понятно, что мы все вам сочувствуем».

Он спросил меня, куда я желаю быть назначенным, в Нерчинский ли округ или на ближайший к Иркутску, но глухой, не помню как называющийся завод. Я, разумеется, упомянул о том, что меня, наверно, причислили к первому разряду, что по всей справедливости меня можно бы назначить в один из иркутских заводов и что я — уж если хотят знать мое желание — желал бы остаться в солеваренном заводе Усолье, в сорока верстах от Иркутска. Шелехов обещал просмотреть внимательнее мои бумаги и поговорить с Корсаковым.

Кстати замечу, что Шелехов занял временно должность военного губернатора после Венцеля, того самого Венцеля, который теперь сенатором и был в числе моих судей. А на место его назначается, или уже назначен теперь, Щербацкий, тот самый Щербацкий, петербургский полицеймейстер, который был у меня при втором моем обыске. Вот и еще, пожалуй, в этом роде сближение: бывший у меня в Томске жандармский полковник (кажется, Герасимов) сообщил мне, между прочим, что у него есть близкий родственник в Третьем отделении, а именно — Кранц, тот самый Кранц, который и проч. Не правда ли, какие все милые и отрадные напоминания?

Но не в том дело.

Шелехов сказал, что он послал уже за полицеймейстером, который сейчас приедет и свезет меня в тюрьму, где отведут мне возможно лучшее помещение; а между тем просил меня обождать в одной из комнат канцелярии, что-то вроде бухгалтерской, куда и проводил меня.

Мне точно пришлось недолго ждать. Приехал полицеймейстер, высокий, несколько худощавый офицер с зарумянившимся лицом и нехорошими, не то наглыми, не то как будто пьяными глазами. Он расшаркался по-гвардейски и сказал, чтобы я садился в свой возок, и велел ехать вслед за ним. Он поскакал вперед на своей паре, с горластым по-полицейски кучером. Моя тройка не скоро догнала его. Мы выехали за город, и я увидал белое здание классической постройки, напоминавшей мою тобольскую резиденцию. Пара полицеймейстера подкатила, впрочем, не к этому зданию, а к жалкому деревянному, тоже значительных размеров строению, и мы въехали за нею под ворота, где оказался тоже часовой при будке. Это был старый острог, теперь упраздненный больше чем на половину.

Шатким деревянным крыльцом и темными деревянными сенями вроде коридора прошел я в квартиру жившего тут смотрителя, куда вошел еще до моего приезда полицеймейстер.

— Вот-с, вы здесь и поместитесь, в этой комнате,— обратился ко мне, также ловко расшаркиваясь, полицеймейстер.— Извините, пожалуйста. Это лучшее помещение, какое мы можем предложить вам. Все, что вам угодно будет, вы можете получить от господина смотрителя. Вот-с он. Это его квартира.

Я заикнулся было, что ведь это ему стеснение и что лучше отвели бы мне просто номер в секретном или в дворянском отделении; но таких номеров, годных для житья, не оказывалось,— и полицеймейстер сказал, что этою комнатою смотритель почти не пользуется и она существует, собственно, на такие случаи, как настоящий. Комната о трех окнах смотрела светло и весело, и, уж конечно, в остроге не найти мне было другого такого помещения.

Смотритель был маленький, сухонький человечек средних лет, с какою-то особенно серьезною, даже и при

частых своих улыбках, физиономией, в застегнутом на все пуговицы мундирном гражданском сюртуке.

Полицеймейстер спросил меня, не желаю ли я передать чего-нибудь генерал-губернатору, и после отрицательного моего ответа удалился, обещая заезжать. Я сказал, что хочу пробыть здесь несколько дней, как для того, чтобы отдохнуть от дороги, так и для справок по своему делу.

Жандармы внесли мою поклажу и откланялись со мной; смотритель расспросил меня, чего я хочу к обеду и скоро ли, и тоже удалился.

В первый еще раз после отъезда от Аларчина моста был я в таком опрятном и веселеньком помещении, хотя, как потом оказалось, оно было во многих отношениях далеко стеснительнее для меня, чем моя тобольская конурка. Зато первое впечатление было приятно. Ничто не напоминало мне, что я в тюрьме. В окна, драпированные скромными, но чистыми белыми кисейными занавесками, ярко светило солнце, все они были заставлены цветами; в соседней комнате распевала канарейка. С десяток стульев, три стола и диван составляли меблировку комнаты. Я был доволен и тем, что усну на диване после тюремных коек, хотя он был и жестче их соломенных тюфяков. Я принялся раскладывать свои вещи и только что успел кончить, как мне принесли заказанный мною обед (суп, жареную баранину и гречневую кашу с молоком). Кухарка смотрителя, Арина, лицо интересное. Это была небольшого роста баба, лет за сорок, с круглым апатическим, несколько обрюзгшим лицом, с повязкой на голове и вечно растрепанная. Она постоянно услуживала мне, подавала утром и вечером чай, топила печь и мела комнату.

В первый приход ко мне она была молчалива, но со второго же не делала шагу ко мне без того, чтобы не начать то вздыхать, то стонать, говоря, что вот ее какое горемычное житье, что здесь все не так, как «у нас в России». И дрова тут не такие, и печка не так устроена, и хлеба не умеют так печь, и люди не такие обходительные, и веники не такие — пол не столько выметешь, сколько насоришь.

— Ах, барин, барин! Знали бы вы только мою-то долю,— стонала она.— Вы ведь тоже российские. Сами знаете, такая ли у нас в России жизнь.

Я расспросил ее подробно, как она попала в Сибирь.

— Да ты откуда?

— Из Ярославской губернии, барин. Господские мы были, да я двенадцать лет скрывалась. Ушло нас от помещика-то десять человек тогда. Управляющий больно был лютой. Ну и ушли. По разным все городам. Пашпорты себе фальшивые выправили. Я вот все по хорошим господам нанималась. В Нижнем жила, в Казани,— где в прачках, где в стряпках. Двенадцать лет так-то скрывалась.

— Замуж не вышла?

— То-то и глупа-то была, барин, что не вышла. Жила бы теперь на всей своей воле. И женихи были, да глупость все... Думала, девка все вольнее бабы, а теперь вон куда попала, в экую волюшку. Ох, ох! И тоже все от глупости от своей.

— Да как же?

— А вот поверила, стали везде говорить — воля всем господским объявлена. Я и надумала пойти на село к нам. Что ж, уж не молодой я человек! Помереть-то бы хоть любо дома-то. Ну, пришла, объявилась. Думала, примут меня; ан, заместо того меня сюда, с арестантами, на поселенье, значит. Больше году мы, барин, шли. Вот попала как сюда, смотритель и взял меня к себе — на другой же день стряпать заставил. Скоро третий уж месяц пойдет. И как у него этакие женки живут, на каком, то есть, положении, ничего этого мне неизвестно. Жалованье, что ли, какое положит или как. А то отправят, что ли, куда. Здешние-то вот тоже сказывают: так, говорят, тут и помрешь. Ох, барин, жизнь мне не мила стала. Уж и помирать-то, так скорее бы. И вся-то эта воля — сказывают теперь — одни сказки. Много тоже сюда господских-то гонят. А я-то, дура, и поверь! Где уж воле быть? захотели от каменного попа железной просвиры. Всех, слышь, опять на барщину посадили да пуще прежнего томят.

Если бы можно было из двух примеров выводить общее правило, я сказал бы, что смотрители тюремных замков отличаются формализмом. Иркутский смотритель был не лучше в этом отношении тобольского Захара Иваныча. Он исполнил строжайшим образом приказ полицеймейстера не допускать ко мне никого без его записки. А записок он, как после оказалось, никому не давал,

кроме таких лиц, которые могли бы иметь доступ в острог и без его позволения.

В первый же день по приезде были у меня вскоре после моего раннего обеда Кретчер, а вечером Малиновский, который так обрадовал меня твоим письмом. Я ждал с таким томительным нетерпением вести обо всех вас, что готов был и плакать и скакать от радости. Потом он привез мне и еще твое письмо, неделю спустя.

Кроме этих двух гостей, да еще Дадешкальяна и молодого доктора, я не видал в своей комнате никого из людей, которые могли бы мне доставить удовольствие своим посещением. Зато самым беспрепятственным входом пользовались ко мне господа, с которыми у меня не было ничего общего, как, например, временный губернатор Шелехов, инспектор врачебной управы, какой-то нелепый глухарь, да два старика, знакомых моего отца. Можно, пожалуй, к этому числу отнести и полицеймейстера, очень деликатного и развязно-глупого, да жандармского штаб-офицера, который тоже счел своим долгом навестить меня два раза. Мне рассказывали, что он после первого же визита ко мне отправился к Корсакову с просьбой позволить ему взять меня на поруки и отвести мне частную квартиру. Я уж не знаю, что подвигло его к такому поступку; но не думаю, чтобы у него был злой умысел. Мне он ничего не говорил об этом и только находил, что у меня помещение нехорошо и что вообще неприятно жить в остроге. Корсаков отказал ему, не справившись, захочу ли еще и я-то быть на поруках у жандарма.

Полицеймейстер, заехав ко мне на другой день, сообщал мне, что Корсаков поручил ему сказать мне, чтобы я отдохнул пока; кстати же теперь масленица. А на первой неделе поста рассмотрят мои бумаги, и тогда можно будет решить, куда меня назначить. Заехав вскоре еще раз, полицеймейстер сказал мне, что его осаждали просьбами о пропуске ко мне; но что он, не желая, чтобы меня кто-нибудь беспокоил посещениями (вероятно, кроме его), всем отказывал, так что уж и просить его перестали. «Знаете, всё разные этакие восторженные молодые люди». Я не поблагодарил его за эту заботу о моем спокойствии.

Время в Иркутске прошло для меня очень скучно. Читать было нечего, кроме «Петербургских ведомо-

стей»[1], а писать целый день я решительно не могу. Мне оставалось часто мерить из угла в угол мою комнату, как это я делал в Третьем отделении и в крепости, или развлекаться разговорами с шестилетним сыном смотрителя Кирей.

Я думал сначала, что его зовут Кириллом; но родитель его объяснил мне как-то, что Киря есть уменьшительное не от Кирилла, а от Кирика.

— У меня, видите ли, дети всё не жили,— добавил он,— так знающие люди посоветовали: если сын родится —Кириком назвать, а дочь, так Улитой. Вот-с и назвали его Кириком. Слава богу, до сих пор мальчик здоровенький.

Только после этого объяснения обратил я внимание на один из образов в большом киоте в углу, где был изображен святой младенец Кирик с матерью своею преподобною Улитою.

Киря приходил ко мне довольно часто, рассказывал, как он ездил с отцом кататься, приносил показывать свои игрушки. Раз, забравшись на диван, ко мне за спину, в то время как я сидел с номером «Ведомостей» в руках, он принялся заигрывать со мной, дергая меня слегка за волосы, и вдруг воскликнул:

— Отчего это у тебя столько белых волос?

Это было для меня совершенною новостью. Я подошел к зеркалу и, наклонившись к нему поближе, увидал действительно значительную седину в висках, где еще недавно не было ничего на то похожего.

В pendant[2] к святым Кирику и Улите я могу сообщить тебе, что память святого Федора Тирона празднуется православною церковью 15 февраля. Это драгоценное сведение получил я от моего тобольского спутника Берникова, который явился ко мне утром этого числа, как именинник, с огромным кренделем.

Я был очень доволен его приходом не ради кренделя, а ради того, что мог побранить его за неисполнение моего поручения — отнести записку Петрашевского к Львову. Я предполагал, что она не доставлена, потому что от Львова не доходило ко мне, что называется, ни слу-

---

[1] С удовольствием прочел я здесь указ о награждении сенатора Григория Митусова орденом св. Александра Невского и мысленно поздравил его с монаршею милостью. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

[2] В дополнение.

ху ни духу. Берников уверял меня, что товарищ его, Николаев, ходил к Львову, но не застал его дома. О записке же он ничего не знал и обещал прямо от меня пойти к нему еще раз и в тот же день дать мне знать.

Действительно, он был у Львова и в этот же вечер принес мне от него такую записку: «Я порывался три раза к вам, но меня не пускают. Если можно будет, постараюсь на первой станции с вами свидеться. С высшими властями я не в ладах. Просить их — это значит отдать себя под присмотр и помешать себе видеться с вами. В Нерчинских заводах вас ожидают, и вы будете назначены к брату на промысел; это мне известно наверно. На первое время, я думаю, вам лучше будет там, нежели в Иркутском солеваренном заводе, потому что здесь скорее могут повредить вам доносы».

Предостережение Львова было совершенно справедливо. Это я мог понять и из разговоров с другими, достойными веры лицами, посещавшими меня. По-видимому, поведение Петрашевского и Львова в деле знаменитой (для Иркутска) дуэли (в комнате, которую мне отвели, содержались и лица, замешанные в это дело дуэли),— поведение совершенно справедливое, потом бегство Бакунина возбудили в глазах здешнего правительства недоверие вообще к людям в таком положении, как они, отразившееся и на мне. Корсаков мог оставить меня в солеваренном заводе, но не хотел этого. Мне сказывали, что за одним праздничным обедом влиятельные лица прямо толковали, что, оставив меня в Иркутске (чего, собственно, я и сам не хотел), наживешь только неприятности. Он-де будет драпироваться здесь в свое политическое преступление, захочет играть роль в обществе, составить себе партию и проч. в этом роде. Гораздо вернее было, по-моему, тоже переданное мне мнение здешнего архиерея или архимандрита, что меня покарал бог за то, что я «хотел снять узду с женщин».

Надо было постараться увидаться с Львовым. На сухого и дрянного смотрителя в этом отношении нечего было возлагать надежду. Он берег меня, как цепная собака. Раз он вздумал не пускать ко мне даже таких посетителей, которые были уже у меня, и даже с запиской полицеймейстера. Я услыхал громкие и крупные переговоры в сенях и вышел туда. Тут смотрителю нечего уж было делать, и он впустил гостей.

Я придумал поступить вот как. Поручил смотрителю спросить у полицеймейстера позволения погулять. Это позволение было мне дано, хотя я мог выйти не иначе, как в сопровождении казака во всей форме, чтобы всякий мог видеть, что это прогуливается арестант. Молодого доктора, который заезжал ко мне каждое утро, я попросил побывать у Львова и передать ему, что если он хочет видеться со мною, то выходил бы часа в три навстречу мне. Далеко уйти от острога я не мог, но мы могли поговорить на мосту по дороге в город.

Это удалось как нельзя лучше. Я пошел в сопровождении казака и, только что вступил на мост, увидал издали небольшого господина в шинели и фуражке, который держал в руке белый носовой платок, видимо желая дать этим знать мне, что он меня ожидает. Не правда ли, это таинственное свидание в Иркутске больше чем смешно после тех свиданий в Петербурге, которые были позволены мне официально?

Когда мы сошлись и раскланялись, казак оказался настолько деликатен, что перешел от нас на другой тротуар моста. Мы пошли со Львовым дальше к городу, потом назад.

Мне приходится сделать по поводу свидания со Львовым такое же почти замечание, как и по поводу свидания с Петрашевским. Прежде всего о наружности: я опять-таки воображал и его не таким. Мне почему-то казалось, что он должен походить на Плещеева; но это оказался маленький худенький человек не с особенно приятным лицом, исчерченным глубокими морщинами. Все это не обличает во мне лафатеровских способностей. Представляя себе Петрашевского и Львова по тому, что было писано ими, я думал, что Львов должен быть для меня симпатичнее Петрашевского. Вышло совсем наоборот. Львов мне вовсе не понравился. Я говорю, конечно, о первом впечатлении, которое потом, может быть, изменилось бы. Ведь я пробыл с ним не более как полчаса. Мне не понравилась в нем какая-то искусственность фразы, выражения, в которых проглядывало что-то вроде фатовства. Я заметил и на нем, что он придает преувеличенные размеры своим враждебным отношениям к здешним властям. Вообще местные интересы и его вовлекли в свой узкий круг, едва ли с пользой для его общего развития. Я опять-таки скажу, что, становясь

в оппозицию действиям Муравьева, они поступали честно и хорошо; но эта оппозиция принимает в их глазах совсем не те размеры и не то значение, какие представляет на самом деле.

Львов передал мне также несколько сведений об ожидающей меня в Нерчинских заводах жизни и значительно уменьшил мои опасения. Разговор у нас шел довольно отрывочный; мы не могли в такой короткий срок ни поспорить, ни поговорить о чем-нибудь серьезно.

Когда мы вернулись к концу моста, бывшему как раз против ворот нового тюремного замка, нас увидал оттуда караульный офицер и поспешно подошел. К счастию, это был хороший знакомый Львова и не сделал никакой придирки.

Больше мне уже не удалось видеться со Львовым. И это свидание устроилось лишь за три дня до моего отъезда из Иркутска.

Конец масленицы и начало великого поста были мне возвещены довольно оригинально. Я сидел утром в чистый понедельник за чаем, как ко мне распахнулась дверь и буквально влетел толстый рыжеватый поп. Он поспешно поклонился мне и, не давши мне даже спросить его, зачем он, подошел прямо к переднему углу, вынул из-под своей епитрахили требник и принялся громогласно читать что-то о изъятии меня «из руки хищного Велиара» и о том, что я «в бездне греховной валяяся» вопию ко господу. Конечно, все это относилось ко мне более, чем к кому-нибудь, потому что у меня стоял на столе молочник со сливками. Поп, впрочем, заметил его, вероятно, уж потом, как отбарабанил свой урок и закончил его аминем.

— Это что же такое, батюшка? — спросил я его, когда он кончил.

— Молитва великопостная-с. Имею честь кланяться.

— Прощайте.

Эта великопостная молитва напомнила мне, что и моим делом теперь, вероятно, займутся по случаю конца праздников с их катаньями, вечерами и фоль-журнеями [1].

И точно, во вторник же приехал ко мне Шелехов с извещением от Корсакова, что я остаться в солеваренном Иркутском заводе не могу, а должен — по точному

---

[1] безумными празднествами.

смыслу высочайшего повеления — отправиться в Забайкалье, в Нерчинский горный округ. Мне дадут лишь одного казака в провожатые и известят меня, когда все формальности будут кончены, с тем чтобы я сам назначил день отъезда.

С этим извещением, с расчетом денег и проч. заезжал ко мне раза два советник из экспедиции о ссыльных, и я назначил днем отъезда субботу потому что хотел подождать еще письма из Петербурга. Расчет мой был верен, и точно Малиновский привез мне накануне отъезда еще письмо твое.

Я пока осмотрел свой возок, велел починить в нем кое-что, запасся кое-чем из съестного на дорогу и переписал для отсылки к тебе сцену «Прометея». Ты, вероятно, получила ее лично вместе с письмом, от студента Рассказова, которого привез ко мне Кретчер.

Накануне отъезда приехал ко мне полицеймейстер с приглашением от Корсакова — приехать к нему. Я заметил было, что так как я уже не остаюсь здесь и не имею никакой просьбы к генерал-губернатору, то могу, кажется, и обойтись без этого визита. Но полицеймейстер сказал мне на это, что, кажется, у Корсакова есть что-то сообщить мне,— и я решился отправиться с ним: кстати посмотрю, что за зверь.

Корсаков принял меня очень вежливо, сказал, что не может переменить высочайшего повеления, что получил письмо от Суворова о делании мне всякого снисхождения и напишет в этом же смысле в Нерчинский завод к горному начальнику.

До сих пор шло ладно; но Корсаков не сумел удержаться вовремя. Он начал вдруг говорить, как дурно зарекомендовали себя политические преступники, бывшие в Иркутске, как-то Петрашевский, Львов и Бакунин, и кончил дружелюбным мне советом не ссориться с будущим моим начальством и не жаловаться на него. И во всем, что он говорил, не было ничего умного, а тут уж он показался мне совсем глупым. Я сдержал улыбку, но сказал, что, кажется, он меня слишком мало знает, чтобы выводить какие-нибудь заключения о моем характере, а относительно будущих моих действий заметил, что они будут зависеть от хода дела, а уж никак не от чьих-либо советов.

Корсаков увидал, что лучше будет просто пожелать

мне счастливого пути, и сделал это. Затем проводил меня из кабинета в залу, где навытяжку дожидался полицеймейстер, и меня с ним же вернули в острог.

В Корсакове я нашел сходство с Шуваловым, не столько в лице, сколько в манере и в голосе, и это, конечно, не произвело на меня особенно приятного впечатления.

В субботу, 24 февраля, с утра уже был у меня казак; но мне пришлось еще посылать менять деньги, и я выехал только в два часа пополудни. Меня приехал проводить Малиновский.

ОТ ИРКУТСКА ДО НЕРЧИНСКОГО ЗАВОДА

Жандармы, провожавшие меня из Петербурга и из Тобольска, показались бы Голиафами перед казаком, отправленным со мною из Иркутска. Несмотря на свою чисто казачью фамилию,— Донской, он едва ли бы, впрочем, был способен выказать и давидовскую храбрость. Довольно будет сказать, что он чуть не головой был ниже меня и так жидок весь, что, кажется, я бы мог свалить его одним щелчком. Такого вялого, кислого, бессловесного и, надо полагать, безмозглого существа не часто случалось мне встречать. Он мне просто опротивел на другой же день. Я спросил его, постоянно ли он в Иркутске; он ответил, что нет, а только что приехал с Амура. Я думал было порасспросить его о тамошнем житье, но он отвечал так глупо и такими общими фразами, как будто и не видал там ничего. Еще два-три вопроса, предложенные мной ему, убедили меня, что от него не добьешься никакого разумного ответа, и я уже не заводил с ним и речи во всю дорогу. Он сидел около меня словно мертвый, не шевелясь, не двигаясь: только маленький нос его выглядывал из-под огромной черной папахи, и нельзя было разобраться, спит он или нет. Единственный знак жизни, который он проявлял, это какое-то полусонное, едва внятно восклицание к ямщику, которое он повторял довольно часто:

— Попопуживай, брат, попопуживай!

Шагом ли плелся ямщик или гнал, что называется, во все лопатки, казак мой бормотал из-под своей папахи:

— Попопуживай, брат, попопуживай!

— Да ведь он и без того едет отлично,— замечал я.

Донской поправлял немного кверху свою папаху, взглядывал своими молочно-голубыми глазами, опушенными желтыми ресницами, вперед; потом папаха опять надвигалась ему на брови и на глаза, опять глядел из-под ее черных косм только один глупый нос,— и минут через пять опять раздавалось:

— Попопуживай, брат, попопуживай!

Последний переезд мой, как ты сейчас увидишь, был самою неприятною и неудобною частью моего дальнего странствия. Постоянное присутствие этого отвратительного кисляка еще более отравляло мне дорогу. Кто это только порадел мне так в Иркутске?

Уже вечером в день выезда подъехали мы к Байкалу. Переехать его было еще можно, хоть он и дал уж много трещин. Напившись на станции чаю, я тотчас отправился далее и так хорошо заснул, что не слыхал, как мы переехали Байкал. Я проснулся, как было уже почти светло и мы въезжали в село на другом его берегу.

Меня стращали еще в Иркутске, что дальше этого села я в своем возке не доеду, что там пойдет уж колесная дорога. Я уговорился с Кретчером отослать ему отсюда свой возок обратно в Иркутск, а тут взять оставленный кем-то тарантас. Но этого пока не понадобилось. Впереди было еще довольно снегу, и я мог продолжать путь в своем возке весь этот день до самого Верхнеудинска, куда приехал вечером. Здесь пришлось мне бросить мой возок. Это затруднило бы меня порядком, если б на станции не случился какой-то господин, ехавший в Иркутск, которому я и передал его.

Смотритель станции, поляк, был пьянехонек; с ним, не менее пьяный, бушевал тут какой-то его приятель. Прочитавши мою подорожную, где я был прописан государственным преступником, он и приятель его приступили ко мне с пьяными речами и начали рассказывать, что они тоже пострадали за правду. Из рассказа смотрителя оказывалось, что он хотел выслужиться и донес на своих приятелей, а приятели запутали и его. По его мнению выходило, что правительство честности не умеет ценить. Потом он принес какие-то доказательства своего дворянского происхождения и неизвестно зачем показывал мне. Приятель его сообщал тоже, что он государ-

ственный преступник: золото перевозил через китайскую границу. Я насилу отделался от этих надоедал.

Ночь уж не привелось мне спать. Тряские перекладные кибитки отбивали и грудь и спину. В продранную со всех сторон рогожу кузова свистел ветер. Тут уж «попопуживай» моего казака вывело бы меня окончательно из терпения, если бы его слушался хоть один ямщик.

Дальше, после двух станций на колесах, приходилось ехать две станции на полозьях, потом опять на колесах, и так все вперемежку. Ямщиками стали попадаться буряты с косичками позади и с особенною грацией умеющие закладывать под мышку свой бич. На станциях останавливались мы большею частью у так называемых «семейских», то есть переселенных некогда сюда семьями старообрядцев.

Следующей ночи я уже не рискнул провести в повозке, и мы остановились ночевать в тесном и грязном уголке станционного дома, потому что места получше были уже заняты четырьмя проезжими, прибывшими раньше меня. Между прочим, тут был один молоденький морской офицерик со спутником в обыкновенном платье, молчаливым, суровым на вид, белокурым молодым человеком. Оба ехали на Амур. Я вписываю эту встречу для того, чтобы ты напомнила мне при случае рассказать тебе подробно трагический конец этого белокурого господина. Я познакомился с ним в Нерчинске, потом он был и здесь, на промысле, и возвратился в Нерчинск как будто только для того, чтобы быть там зверски зарезанным.

Я отдыхал и дальше, только когда дорога шла по льду и можно еще было добираться от станции к станции на санях. В кибитке же, кроме тряски, немалую неприятность доставляла пыль, которая подымалась на дороге столбом, несмотря на то что везде кругом еще лежал снег.

Наконец на пятый день мы спустились с Яблонного хребта и часов в шесть приехали в столицу Забайкалья Читу. У меня было из Иркутска письмо к одному из местных жителей, и я послал его с казаком. Этот господин скоро приехал ко мне на почтовый двор и просидел у меня весь вечер, так как я решил тут переночевать. Он предложил прислать мне для дальнейшей дороги

крытую кошеву и говорил мне, что я еще до самого Нерчинского завода могу доехать на санях.

Он же обещал мне дать знать о моем приезде Завалишину, и на следующее утро Завалишин пришел ко мне. Это еще чрезвычайно бодрый старик, живой и бойкий, не хуже нашего приятеля Цебрикова, но нисколько на него не похожий наружностью. В густых еще темнорусых, довольно коротко остриженных, волосах его чуть заметна легкая седина; роста он небольшого, худощавый; гладко выбритый подбородок выдался немного вперед, в тонких губах заметна хитрая ирония, небольшие, точно прищуренные, глаза, живые и быстрые, нос с легкой горбинкой, немного пригнутый к губам, лоб невысокий и прямой, виски зачесаны к глазам, как носили когда-то. Он вошел ко мне в длинной шубке, надетой в рукава и подвязанной и подпоясанной крест-накрест вязаным шарфом, в меховой шапке с ушами. Когда он снял все это, то остался в каком-то казакине со стоячим воротником, застегнутом сверху донизу на крючки, и в заправленных в меховые сапоги (или, по-здешнему, унты) штанах. Вообще он имел вид казака. Недаром он писал столько в защиту несчастного здешнего, созданного Муравьевым, казачества. Он и мне принялся рассказывать о положении казаков.

Когда я спросил его, отчего он не поедет в Россию, он отвечал, что не хочет ехать до тех пор, пока его не отвезут туда на казенный счет; а переписка, которую он завел по этому поводу, не привела, да и не приведет, вероятно, ни к чему. Такого же рода переписку ведет с цензурой о печатании своих статей о Сибири, и тут ничего не выходит. Вообще он, кажется, такого характера, что не может оставаться ни минуты без какой-нибудь тревожной деятельности. В манерах, в словах постоянная какая-то беспокойная торопливость. Во всем, что он ни говорил, проглядывало как будто совершенное довольство своим положением (то есть лично за себя), участие, которое он принимает во всех местных интересах, достойно было бы лучшего предмета,— и тогда, конечно, было бы и плодотворнее. Грустно, а между тем надо признаться, что правдивые статьи Завалишина об Амуре только озлобили против него местные власти, но никого здесь не просветили и не улучшили положения несчастных переселенцев ни на волос. Не далее как в эту

весну отправилось туда против желания пятьсот казачьих семей из здешних окрестностей. Все это шло как на смерть, разоренное, несчастное, словно их вели на казнь за какое-нибудь страшное преступление. Весна стояла суровая, беспрестанно грозившая возвратиться к зимним обычаям. Дули пронзительные студеные горные ветры, веяли снежные пурги, сменялись по временам морозами,— и в такую-то пору жалкий обоз потащился отсюда с женщинами, с еле прикрытыми от холода детьми. Стон стоял в этом унылом таборе. Хоть бы подождали лета-то и тепла. Но у здешних администраторов дальновидные соображения. Они принялись за переселение так рано, чтобы это несчастное новое поселение успело, прибывши на Амур, возделать ныне же землю для себя. А о том никто не подумал, что ведь до этого надо еще где-нибудь усесться, устроить себе хоть какой кров от непогоды, хоть чем-нибудь защитить семью и детей от окончательной гибели. Вместо отдыха после этого каторжного пути надо было заняться рубкою леса, стройкою изб и уж потом разве думать о хлебопашестве. И весь этот народ был оторван от устроенного уже своего хозяйства, от готового дома и поля. Привычка смотреть на народ как на какую-то глину, из которой можно месить что угодно, до того сильна, что теперь иркутские администраторы находят нелепыми притязания (это притязания, по их мнению) сохранить на Амуре свои человеческие и гражданские права, свое самоуправление и самостоятельный суд. «Дать копеек тридцать лишних нашим,— рассуждают государственные люди Иркутска,— так и наши пойдут». А не пойдут — предполагается при этом — так на это есть нагайки. Страх, как бы что свежее не забралось в страну и не уронило их авторитета,— вот единственный рычаг всех действий здешней власти.

Говоря о предстоящей мне жизни на Нерчинских заводах, Завалишин отзывался уж чересчур снисходительно (даже панегирически) о том обществе, в какое я попаду. Это сильно свидетельствовало о том, как успел он обжиться здесь и сжиться с тем, что человеку новому и свежему вовсе не может казаться особенно привлекательным. Судя по словам Завалишина, можно было подумать, что я попаду сразу в общество таких прогрессистов, что и не замечу, что попал в него из другого

круга. «Если б знали в Петербурге,— говорил Завалишин,— сюда бы не ссылали. Это все равно что щуку в море утопить». Да, действительно, в словах гуманности, прогресса, свободы здесь нет недостатка, но затем... Впрочем, мне совестно нападать на здешнее общество за его разлад по словам и делам. А выше-то не то ли же самое... Где же наше-то «словопренье» перешло в дело?

Мне было интересно послушать Завалишина о том, как препровождали их сюда; но он мало останавливался на подробностях этого давнего для него прошедшего и больше говорил об Амуре. Вот, однако ж, две-три черты. Завалишин следовал со второю партией. Первая была закована в кандалы, как следует. Для второй была сделана льгота и позволено было запирать цепи на замочки, так чтобы можно было их снимать по желанию. Замков в крепости не оказалось, послали на рынок, и там были приобретены маленькие медные замочки. Многие были с разными чувствительными девизами, например: «Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь», «Кого люблю, того дарю». У Завалишина были замочки именно с последнею надписью.

В Ярославле их поместили в гостинице. Они там ужинали. Так как не велено было никого допускать к ним, то разные местные жители (в том числе и власти, начиная с губернатора) поместились в коридоре со свечами в руках вместо прислуги, чтобы посмотреть, когда они выходили садиться в экипажи.

В Тобольске всю партию приютил у себя в доме губернатор. Их сводили в баню и дали хорошие постели. Но ночлег не удался. Вслед была отправлена третья партия. Съезжаться они были не должны, и ночью прискакал курьер с известием, что третья партия близко. Всех подняли с постелей и повезли далее.

Вот и все, что рассказал мне Завалишин собственно о себе.

Он остался у меня до тех пор, пока в мою новую повозку не запрягли лошадей и я не двинулся со двора. Повозке своей я был как нельзя более благодарен; я не зяб, сидеть было хорошо. Да и дорога шла очень хорошая почти до самого Нерчинска. Мы ехали всё по льду, реками, и только на станциях тяжело было подыматься на берег, уже совершенно обнаженный от снега.

Мне кажется, с самого отъезда моего из Петербурга не сжималось у меня сердце такою болезненною грустью, как в то время, когда я въезжал в город Нерчинск. Это было часа в четыре дня 2 марта. Самое ли название это или то, что печальная цель моего пути уже так близка, но я с трудом удерживал наплывавшие на глаза слезы.

Писарь в жаркой и угарной станции сказал мне, что брат мой был здесь на масленице и что ему поручено дать знать о моем приезде одному знакомому брата. Я расположился пить чай и велел ему сходить.

Через полчаса этот господин явился и пригласил меня к себе, с тем чтобы я переночевал у него. Он хотел сейчас отправить эстафету к брату и известить о моем приезде и попросить его выслать лошадей на первую станцию от Нерчинска, чтобы я мог проехать к нему на Казаковский золотой промысел. Тут я узнал, что брат болен; у него отнялись ноги от простуды. Я написал тотчас же письмо к нему, с тем чтобы выехать из Нерчинска, когда он возвратится с ответом. Вялый казак мой, разумеется, остался пассивным зрителем всего этого и делал, что я хочу.

Ответ пришел часов в одиннадцать утра на другой день, и с ним три твои письма, которых я ждал более всего. Брат, разумеется, выехал бы сам ко мне навстречу, если б болезнь не удерживала его в комнате. Я поспешил в дорогу.

На первой станции, Бянкине, куда я доехал еще довольно изрядно, меня уже ждала тройка лошадей и кучер из Казаковского промысла. Делом нескольких минут было переменить лошадей, но не так-то скоро пошла дальнейшая дорога. Она была отвратительна, шла горными хребтами, где из-под снегу торчали остроконечные камни, пни, местами и снег был сдут ветром. Только часам к семи вечера дотащился я эти без малого сорок верст. Вот спустились мы в темную падь, запахло дымом, заслышался лай собак; повозка моя миновала ряд жалких домишек, видных в потемках только по бледному огоньку в их крошечных оконцах, и наконец перед нами распахнулись ворота белого приставского дома, в котором все окна ярко светились. Брат, ожидая меня, велел зажечь свечи по всем комнатам.

Как я был рад свидеться с ним после стольких лет разлуки, как легче вздохнулось мне в этот вечер после почти трехмесячного скитанья, мне нечего рассказывать. Мы поплакали и проговорили потом за полночь.

Но ведь и тут все еще был не конец пути. Мне оставалось ехать еще двести пятьдесят верст: сделать этот путь в сутки нельзя было надеяться при здешних дорогах. Меня уже опять начали пугать, что до Нерчинского завода я не доеду на полозьях.

Следующий день я весь пробыл у брата и только на третий, после обеда, часа в три, поехал дальше. Брат говорил мне утвердительно, что я могу оставить все лишнее из своего хозяйства у него, потому что из большого завода вернусь к нему же. Там уже решили поместить меня в Казаковском промысле.

Мне остается рассказать уже очень немного. С теми же почти неудобствами, то есть с перекладками из саней в телегу и обратно, отчасти также с холодом и голодом, добрался и по горам и долам до Нерчинского завода только часов около девяти вечера на другой день.

Чтобы соблюсти все формальности, я отправился прямо к дому горного начальника и послал к нему своего казака с бумагами и с просьбой — дозволить мне остановиться в гостинице. Казак возвратился с дозволением и с провожатым. То, что называется в Нерчинском заводе гостиницей, есть пустой небольшой дом, нанимаемый от казны для приезжающих, и на гостиницу так же мало похож, как любой дом [1].

Я только что расположился около самовара в довольно просторной, едва меблированной комнате, как ко мне приехал сам горный начальник и подтвердил мне то, что говорил брат. От меня зависело уехать из большого завода, когда я хочу. Само собою разумеется, я был этому чрезвычайно рад и сразу решил не оставаться тут более двух-трех дней.

Так я и сделал. Я познакомился в это время почти со всеми официальными лицами завода и встретил во всех большое к себе внимание. Меня каждый день при-

---

[1] Тут слугой был дослуживший свой срок каторжный, из помещичьих крестьян Екатеринославской губернии. Их было сослано шесть человек за то, что они наказали (как говорил он мне) помещика лозами. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

глашали на обеды и вечером на чай. Я нашел тут людей вообще довольно просвещенных, с довольно здравыми взглядами на вещи, хотя, как уже заметил прежде, и не могу подтвердить преувеличенного мнения о них Завалишина. О том, что такое здешняя даль и как скоро получаются здесь сведения из метрополии, ты можешь лучше всего судить по тому, что в бытность мою в Нерчинском заводе, стало быть около половины марта, здесь не получалось еще ни одной ни петербургской, ни московской газеты от первого января.

Внешний вид завода произвел на меня самое неприятное впечатление. Все так жалко, бедно, как-то полуразрушено, ничем не скрашена эта заброшенная, глухая жизнь. Горы кругом стоят голые, неприветливые, темные лачужки раскиданы в яме, без всякого порядку, без всякой, по-видимому, мысли о каком-нибудь удобстве. Дома для горных чиновников получше других; но и они построены кое-как и не обещают долго простоять. Кроме этих домов, приезжий может приютиться только в этом ветхом сарае, который называется гостиницей. Частные дома — это избушки об одной, много о двух тесных горенках. Квартиры побольше и такой, где бы можно было спастись от холода зимой или, по крайней мере, от простуды, нет. И все это имеет вид каких-то бивуаков, какой-то временной стоянки, перепутья. Вот-вот все снимутся с места, совьют свои шатры и откочуют дальше. А между тем ведь это главный пункт всего горнозаводского управления в Забайкалье. Остаться жить тут было бы очень уныло для меня, и я радовался, что могу поехать обратно в Казаково.

Мой кислый казак отправился на другой же день обратно с почтой, и с ним послал я письмо к тебе для отправки его через Малиновского из Иркутска. Познакомившись со здешними почтами, я боюсь, что ты так и не получила его, если оставила Петербург в мае.

Обратная поездка моя к брату была уже лишена всякой официальности. Я поехал с нерчинским заводским доктором, который отправлялся по округу. Я был при нем как «будущий».

Меня официально вписали в число работников на какой-то, впрочем, другой рудник, название которого я не узнал до сей поры. Поднимать дело о переводе меня на заводы мне не посоветовали, потому что расчет годов

по третьему разряду (к которому я причисляюсь) для меня гораздо выгоднее. Выходит не шесть, а четыре года, да из этого времени можно будет выкинуть еще полтора года, которые кладутся на путь сюда.

Одиннадцатого марта, на закате, я мог бы воскликнуть: «Берег!» — если бы и этот берег, несмотря на все свои внешние удобства, не был все-таки если не тюрьмой, так землею изгнания.

Я начал писать этот длинный рассказ, когда горы, обступившие со всех сторон наш золотой промысел, были еще совсем голы, а лощина, где он выстроился, покрыта снегом, и дом, в котором я живу с братом, часто весь дрожал от порывистых и холодных ветров, предшествующих весне. Оканчиваю его уже посреди лета. Легко сказать,— ведь уж полгода, как я простился с тобой, и три с небольшим месяца, как я на месте ссылки. С томительным нетерпением ждал я весны, следил каждый день за этими горами, за этим лугом, которые начинали зеленеть так туго, напрасно поджидая дождя. Наконец-то тучи над ними сжалились и стали поливать их. Теперь так хорошо все кругом моего жилища; зеленая падь полна цветов, горы тоже позеленели и стоят уже не сплошной темной грудой, ближайшие гряды их отделяются от дальнейших, которые чем дальше, тем голубее. Хорошо кругом, а грустно. Я по целым часам простаиваю иногда на деревянной террасе дома, глядя и направо и налево, и меня не покидает такое точно чувство, какое внушило прекрасную немецкую песню: «Wenn ich ein Vöglein wär» [1]. Из-за этих гор идут несколько дорог к самому почти дому; но как редко, какими урывками приходят по этим дорогам дорогие вести! Кукушка не перестает кричать надрывающимся голосом, и я теперь очень хорошо понимаю, почему ссыльные ждут весной ее зова, чтобы уйти куда глаза глядят.

Дни мои скучны и однообразны, от пера к книге, от книги к перу. Но вместо книг (и какие это книги! русские журналы в каторге, доходящие ко мне урывками, где мысль напрасно напрягается найти выражение),

[1] «Если б я птичкою был».

вместо книг хочется живого слова, вместо пера хочется живого дела, живых забот. Я основал здесь школу и каждое утро часа до два провожу здесь с мальчиками,— и это лучшее мое развлечение. Как ходил я из угла в угол в своих тюрьмах, так брожу я часто и здесь по саду и по террасе, и с такими же почти мыслями. Не думаю, что мне было бы тяжелей, если б я возился с лопатой или погонял лошадей на так называемом разрезе, то есть на настоящей-то каторге, откуда до дому нашего доносится грохот бочки, промывающей золото, и журчанье запруженной речки.

С грустным чувством дописываю я свой рассказ. Я как будто прерываю беседу с тобой. Когда же сменится она живою беседой?

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ПИСЬМА М. Л. МИХАЙЛОВА К ШЕЛГУНОВЫМ ИЗ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

1

«<8 ноября 1861 года>

Сегодня именинник милый Мишутка. Здоров ли он? Ходит ли, кричит ли? А дядю своего, конечно, забыл. Но вы его не забыли, милая, дорогая Людмила Петровна и ты, дорогой друг Николай Васильевич. Написал я вам давно уже длинное письмо, и лежит оно у меня до сих пор, потому что на комендантской бумаге какого-то особенного качества; а через него не хочется передавать. Пишу вам теперь на обертке «Атенеума», чтобы отдать в день, как прочтут мне в сенате приговор. Сегодня слышал, что порешили в сенате двенадцатью годами каторги. Верно, смягчат; но все-таки перспектива темная. У меня все на уме сегодня из стихов Шевченко: «Тяжко, важко!» Даже всплакнул, да и теперь плачу. Разорено наше гнездо, и совьем ли мы его когда по-прежнему? Вряд ли. Не скоро-то сломится эта тупая и злобная сила. Тут же, около меня, сидят под сводами сотни юношей — ведь это все лучшие надежды и целое поколение. И его сомнут и разнесут на все четыре стороны. Злости и желчи накипает много, да какой от нее теперь прок? Стены толстые — их и лбом не прошибешь; окна за решетками. А сегодня радость была великая: крестили кого-то, и пушки здесь целое утро рявкали. Хотел было я описать вам все свое дело, да тяжело. На словах лучше скажу. И без того половина моих мыслей вертится все около поганых подробностей этого дела. Почти никогда снов не вижу, а тут и снится-то все эта мерзость — допросы и шпионские физиономии. Когда я приехал сюда, мне вздохнулось свободнее и легче. И как подумаешь, что за насмешка судьбы! Выдаст тебя человек из жела-

ния спасти. А потом уж и сам не понимает, что делает. Впрочем, вовсе не судьба виновата, а наше тупоумие да старая позорная трусость. Мамка в детстве запугала. Голубушка Людмила Петровна, мне и отрадно слышать, что вы не покинете меня в ссылке, и горько за вас. А больше всего боюсь я, чтобы вы не вздумали ехать зимой. Я ведь все не верю, чтобы вы были здоровы. Да и при здоровье, как вы Мишу повезете? Ведь не оставите же вы его. Если б еще и <я> мог как-нибудь остаться здесь до весны; тогда другое бы дело. Ради бога, берегите себя и Мишу. Я постараюсь быть покорным судьбе и ждать вас терпеливо. Ваше здоровье и здоровье Миши дороже моего спокойствия. Мне пришло как-то в голову, что хорошо бы, если б меня выслали вон из России; да это несбыточная мечта. Вместо какого-нибудь Мюнхена очутишься в Тобольске. Мне часто больно вспомнить, как спокойно уезжал я из дому, точно в гости, точно надеялся воротиться через несколько часов. Миша плакал и просился на руки, а я чуть поцеловал его в темечко и со всеми простился не так тепло и хорошо, как бы следовало; с улицы даже на окна не взглянул, а вы, верно, смотрели. Кланяйтесь, пожалуйста, от меня всем домашним; скажите им, если кто был мною когда недоволен, чтобы простили меня. Может, уж никогда не придется и увидаться. Тоже, разумеется, и всем друзьям и знакомым скажите, когда увидите, и всем самое сердечное спасибо за участие ко мне. В этаком положении, как мое, отрадно вспомнить каждый добрый взгляд, каждое ласковое слово. В прежнем письме я написал было, что мне нужно в случае ссылки; да что заранее толковать: может, и ничего не понадобится. Будьте же здоровы да тотчас после решения приезжайте. Я, как вернусь из сената, зайду к коменданту и буду просить свидания с вами. Целую вас крепко, крепко».

2

«<13 ноября 1861 года>

Милая моя Людмила Петровна и дорогой Николай Васильевич!

Как жаль, что я не знал, что следует обратиться к Суворову. Он был у меня, и я мог бы сказать ему все

лично. Впрочем, завтра постараюсь написать, и о том же в сенате буду просить. Как ни уныл исход дела, а хотелось бы, чтоб решенье вышло скорее. Вы рисуете мне светлые картины: иногда, хоть и редко, они и мне снятся. Только все-таки надежды мало. Костомаров виноват тем, что глуп и наболтал хуже старой бабы. Я крепился, пока он не сказал на очной ставке, что ему странно, что я играю роль невинной жертвы, и что он удивляется, что я молчу. Тут я все сказал. Если б не это, дело, вероятно, кончилось бы арестом и — много-много — высылкой меня на время из СПб. Но об этом не стоит уж и говорить теперь. Хорошо, что я совсем здоров, особенно здесь, а на прежней квартире, признаюсь, боялся, чтобы у меня не сделалось постоянное сердцебиение. Сегодня ходил гулять. День такой чудный, солнечный. Посмотрел через мерзлую Неву на Петербург. Хоть он и очень скверен и холоден, а все же жаль будет кинуть его. Много тут было для меня и светлого и счастливого. Что это вы не написали мне, отняли ль Мишу от груди? Я забыл спросить, а уж сколько раз думал. Лечитесь ли вы, дорогая Людмила Петровна? Ради бога, лечитесь хорошенько. А ведь ты не ворчишь, голубчик Николай Васильевич? Не ворчи, пожалуйста. И ведь так уж Gemüt [1] разлетелся прахом. Как вздумаешь сердиться, вспомни, что есть такой человек, которому вдвое тяжелее покажется и горе и неволя, если он будет бояться этого. Жаль мне моих книг. Да неужто их отнимут? Бумаги-то нельзя хоть спасти? По слабости человеческой, я и при полной невозможности все строю разные литературные планы. И тем бы занялся и этим, а придется, вместо пера и бумаги, вооружиться, может быть, лопатой и тачкой. Мне бы доставило большое удовольствие, если б стихи мои, как вы писали, собрали и напечатали. Только надо строже обращаться с ними. Гейне, впрочем, всего можно напечатать (кроме, разумеется, предисловия в прозе и примечаний). Гербель, которому к[ла]няюсь, может очень помочь в этом деле как знаток, чтобы все расположить как следует. Как бы цензура не запретила теперь некоторых вещей с моим именем, хоть они и были все напечатаны. Например, «Белое покрывало». А было бы жаль. Хотелось бы хоть что-нибудь оставить на память по себе;

[1] Здесь — домашний очаг.

а стихи мои едва ли не лучшее из всего, что мною написано. Вот о каком вздоре говорю. Но уж так, видно, человек устроен. Вот и еще. Купите, пожалуйста, у Рихтера, у другого какого оптика для меня очки, обыкновенные консервы, самые бледные, почти белые, с не очень тонкой оправой, и возьмите два футляра. Хотелось бы на дорогу записную книжку с карандашом. Неужели и те записные книги, письма и проч., что у меня взяли при аресте, мне не отдадут назад? Что же это такое? Или им все мало для их мести? Мебель, скажите, что ваша вся. Как дело кончится, известите, пожалуйста, о результате через Авдеева братьев и сестру. Вот какой я гадкий человек. Бывало, и не соберусь написать письма; а в несчастье-то не раз их вспоминал. Не через Уфу ли и повезут меня? Тогда можно бы и повидаться. Статьи твои, Николай Васильевич, прочел и одобрил. Теперь, благо начал, тебе, я думаю, и удержу не будет, только не дичись добрых людей. Кстати, меня очень изумило, что в последнем «Современнике» нет ничего Добролюбова. Что это значит? Уж не болен ли он? Я выучил наизусть стихи Некрасова «Холодно, странничек, холодно», придумал музыку и пою, когда хожу из угла в угол для моциона. Надо вам заметить, что так прохаживаюсь я раз тысячу в день. Отчасти также занимаюсь пением. Жаль только, что репертуар не велик: «Ты не пой, соловей», да «Сладко пел душа-соловушко», да «Что затуманилась» — вот и все; теперь еще «Странничек» прибавился... Завтра ровно два месяца, как меня вычеркнули из жизни, а кажется, уж бог знает сколько времени прошло. Каково же двенадцать лет! Если доживешь, поседеешь, одичаешь и непременно поглупеешь. Тридцать три да двенадцать — итого сорок пять; на воле года и не старые, ну а каторга состарит. Я все не могу понять, как это у них вышло — двенадцать, а не шесть лет. Вот что у кого болит, тот о том и говорит. Хотел написать вам письмо веселое или, по крайней мере, бодрое, а тяну канитель. Простите, голубушка моя, прости, Николай Васильевич. Если опишут и станут продавать мои книги, нельзя ли их купить? Ведь, верно, оценят в грош. Видите, вот и опять надежда. Как бы хотел расцеловать милого соловушку Мишутку, и понянчить его, и показать ему снежок беленький; этого ведь я еще не объяснял ему. Если б вздумал я писать поклоны всем, кому хочется поклониться, то бумаги бы

недостало. Уж вы сами пожмите от меня руку всем. Markeловой кланяйтесь и скажите, что я прошу ее поклониться Ал. Якоби и Хвощинской. Ах, кабы сбылись ваши золотые слова, душечка Людмила Петровна, о гнезде-то. Что Дарья Ад.? Скажите ей от меня самый сердечный привет. Я ведь вам возвращаю ваши письма: вы их сберегите для меня на память. Авось хоть они не пропадут, как пропадет в Третьем отделении, вероятно, вся моя переписка. Испанскую грамматику хорошо бы; но притом ведь надо бы и хрестоматию какую-нибудь или вообще книгу, да лексикон. А это много; здесь не успеешь ничего сделать, а с собой не повезешь.

Бумага к концу, а потому целую вас крепко и без счету, милые мои, милые друзья.

Скажите Гербелю, чтобы он оставил в покое Надежду Ивановну, а то она еще хуже чего-нибудь напакостит. Нельзя ли вам большую часть книг взять к себе, как свою собственность? Или квартира опечатана?

3

<Середина ноября 1861 года>

Я так и думал поступить.

Относительно сочинений пусть напечатают стихотворения. Они у меня переписаны и расположены в порядке. Следует только прибавить из книжки «Песни Гейне». Нужно много выкинуть, но вообще расположить в том порядке, как они лежат. Гейне надо разместить так, как в подлиннике. Можно, пожалуй, прибавить к ним из «Русского слова» «Северное море» без прозы. У меня где-то и предисловие было набросано к собранию стихотворений. Если найдете, попросите исправить Николая Гавриловича. Только не знаю, годится ли? Выбрать из стихов, что стоит напечатать, а что надо выкинуть, не возьмет ли на себя Некрасов с Полонским и Майковым — с ними следует посоветоваться. Вообще мало-мальски плохого не допускать отнюдь. Я уже под арестом написал несколько стихотворений; но доставить их теперь не могу.

Не знаю, в каком смысле будет произнесено смягчение приговора. Это может изменить дело.

4

<Вторая половина ноября 1861 года>

Удивляться нечего. Это своего рода последовательность. Если не теперь, то потом тебе будет ясно как дважды два четыре. Стихи, голубушка Людмила Петровна, те самые. Так и печатайте: в шести отделах.

I. Подражания восточным (здесь только Саади, Джелаль Руми, из Корана, и больше ничего).

II. Из английских поэтов.

III. Из немецких поэтов (здесь, где следует, вставить всю книжку: песни Гейне, кроме прозы. Пожалуй, в таком же порядке. К отделу «Песни» прибавить все стихи из рукописи без заглавия. «К Гарцу» тоже пополнить по рукописи, справившись с подлинником. К балладам — «Асра». К отделу «На смертном одре» — «В мае». Пьесу «Сумерки» (конец, как в «Современнике») после «Грез» поместить. В конце все «Северное море» без прозы и без предисловия из «Русского слова».

IV. С венгерского (Петефи).

V. Из славянских поэтов (здесь Красинский и Шевченко).

VI. Народные песни (Эдварда непременно выкинуть). Из древних совсем не нужно. Хорошо бы, если бы кто-нибудь, хоть Николай Гаврилович, написал предисловие — строк двадцать, не более. Примечаний никаких не надо. Гербель может отлично привести все в порядок. Только бы не пропустил третью «Горную идиллию» да в «Песни» не попало бы два раза одно и то же. Заглавие просто сделать: «Стихотворения М. Л. М—ова» и в предисловии объяснить, что все переводы и подражания.

Вот сколько места занял пустяками, а остается его немного. Перемена с Николаем Васильевичем, признаюсь, не огорчает меня. Мне почему-то кажется, что это к лучшему,— хотя бы даже в отставку. Только сначала будет трудненько; но он не такой человек, чтобы пропасть. Я хоть и спокоен, но стараюсь всячески гнать от себя светлые надежды, чтобы не разочароваться потом горько. Слава богу, что вы, милая моя и добрая, здоровы и что Миша тоже здоров. Если будем вместе, то

Шлоссера непременно следует взять; если я буду на поселении, и я бы стал переводить. Николаю Васильевичу, во всяком случае куда бы и как бы он ни поехал, следует набрать с собой книг для работы: его статьи прекрасны, и я убежден, что их везде будут с руками у него брать. Только бы вы, моя родная, были здоровы. Вот это заботит меня больше всего. Хоть доктора нигде такого, как Китер, не будет, но зато ведь и климата петербургского другого нет. Вы не поверите, как у меня сжимается сердце за бедного Добролюбова. Неужто его не спасут? Вот будет потеря-то страшная. Ведь как он молод! Крепко целую вас, крепко.

Какая это отрада, что хоть письмами можно перекинуться, милая, милая Людмила Петровна; как бы хотел увидеть вас и хоть словечко сказать...

Александра Александровича целую наикрепчайшим образом.

PS. Только рукопись и уничтоженные для печати стихотворения, пожалуйста, сохраните.

5

<7—14 декабря 1861 года>

Ваше письмо полно такого теплого участия, такого отрадного сочувствия ко мне и к моей темной судьбе, что у меня нету слов благодарности. Да и какие слова — особенно писанные — способны выражать во всей полноте наши чувства? Дай бог, чтобы пророчество ваше сбылось, и я мог viva voce[1] выразить вам хоть часть того, чего не сумеет написать мой тупой карандаш. Память о каждом добром слове, о каждом искреннем привете будет и греть и озарять мою темную и холодную каторжную нору. Без надежды ведь и жить нельзя бы, а потому не прощайте, а до свидания.

Мих.

---

[1] в живой беседе.

II. «КОЛОКОЛ» О «ДЕЛЕ» М. Л. МИХАЙЛОВА

МИХАЙЛОВ И СТУДЕНТСКОЕ ДЕЛО
(Прибавление к 119 и 120 листу «Колокола»)

СТИХОТВОРЕНИЕ Н. П. ОГАРЕВА

МИХАЙЛОВУ

Сон был нарушен. Здесь и там
Молва бродила по устам,
Вспыхала мысль, шепталась речь —
Грядущих подвигов предтеч;
Но, робко зыблясь, подлый страх
Привычно жил еще в сердцах,
И надо было жертвы вновь —
Разжечь их немощную кровь.
Так, цепенея, ратный строй
Стоит и не вступает в бой;
Но вражий выстрел просвистал —
В рядах один из наших пал!..
И гнева трепет боевой
Объемлет вдохновенный строй.
Вперед, вперед! разрушен страх —
И гордый враг падет во прах.
Ты эта жертва. За тобой
Сомкнется грозно юный строй,
Не побоится палачей,
Ни тюрьм, ни ссылок, ни смертей.
Твой подвиг даром не пропал —
Он чары страха разорвал;
Иди ж на каторгу бодрей,
Ты дело сделал — не жалей!

Царь не посмел тебя казнить...
Ведь ты из фрачных... Может быть,
В среде господ себе отпор
Нашел бы смертный приговор...
Вот если бы тебя нашли
В поддевке, в трудовой пыли —
Тебя велел бы он схватить
И, как собаку, пристрелить.
Он слово «казнь» не произнес,
Но до пощады не дорос,
Мозг узок и душа мелка —
Мысль милосердья далека.
Но ты пройдешь чрез те места,
Где без могилы и креста
Недавно брошен свежий труп
Бойца, носившего тулуп.
Наш старший брат из мужиков,
Он первый встал против врагов,
И волей царскою был он
За волю русскую казнен.
Ты тихо голову склони
И имя брата помяни.

Закован в железы с тяжелою цепью,
Идешь ты, изгнанник, в холодную даль,
Идешь бесконечною, снежною степью,
Идешь в рудокопы на труд и печаль.
Иди без унынья, иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен и святы страданья.
И верь неослабно, мой мученик ссыльный,
Иной рудокоп не исчез, не потух —
Незримый, но слышный, повсюдный, всесильный.
Народной свободы таинственный дух.
Иди ж без унынья, иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен и святы страданья.
Он роется мыслью, работает словом,
Он юношей будит в безмолвье ночей,
Пророчит о племени сильном и новом,
Хоронит безжалостно ветхих людей.

Иди ж без унынья, иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен и святы
страданья.
Он создал тебя и в плену не покинет,
Он стражу разгонит и цепь раскует,
Он камень от входа темницы отдвинет,
На праздник народный тебя призовет.
Иди ж без унынья, иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен и святы
страданья.

СТИХОТВОРЕНИЕ Н. А. РОЖДЕСТВЕНСКОГО

УЗНИКУ

Из стен тюрьмы, из стен неволи,
Мы братский шлем тебе привет,
Пусть облегчит в час злобной доли
Тебя он, наш родной поэт!

* * *

Проклятым гнетом самовластья
Нам не дано тебя обнять,
И дань любви и дань участья
Тебе, учитель наш, воздать.

* * *

Но день придет, и на свободе
Мы про тебя расскажем все,
Расскажем в русском мы народе,
Как ты страдал из-за него.

* * *

Да, сеял доброе ты семя,
Вещал ты слово правды нам,
Верь, плод взойдет и наше племя
Отмстит сторицею врагам.

* * *

И разорвет позора цепи,
Сорвет с чела ярмо раба,
И призовет из снежной степи
Сынов народа и тебя.

СТИХОТВОРЕНИЕ М. Л. МИХАЙЛОВА

ОТВЕТ

Крепко, дружно вас в объятья
Всех бы, братья, заключил
И надежды и проклятья
С вами, братья, разделил.

* * *

Но тупая сила злобы
Вон из братского кружка
Гонит в снежные сугробы,
В тьму и холод рудника.

* * *

Но и там, назло гоненью,
Веру лучшую мою
В молодое поколенье
Свято в сердце сохраню.

* * *

В безотрадной мгле изгнанья
Твердо буду света ждать
И души одно желанье,
Как молитву, повторять:

* * *

Будь борьба успешней ваша,
Встреть в бою победа вас,
И минуй вас эта чаша,
Отравляющая нас.

Спасибо вам за те слезы, которые вызвал у меня ваш братский привет. С кровью приходится мне отрывать от сердца все, что дорого, чем светла жизнь! Дай бог лучшего времени, хоть, может, мне уже и не суждено воротиться.

ЗАМЕТКА А. И. ГЕРЦЕНА

ГОДОВЩИНА ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ДЕКАБРЯ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ.

Утром четырнадцатого декабря (26) прочли перед Сытным рынком приговор *Михайлову,* он осужден *в рудники на 6 лет,* и государь утвердил *каторжную* работу за несколько независимых слов... На сколько ступеней сошел он вниз к Николаю с тех пор как, краснея, велел выпустить из крепости невинно посаженного туда Огрыску? Сенатор Бутурлин хотел еще полнее отпраздновать годовщину, он предлагал Михайлова повесить.

Шесть лет каторжной работы за то, что из груди, переполненной любви и негодования, вырвалась страстная речь... а впрочем—лишь бы физические силы выдержали.

Иди же с упованьем, молодой страдалец, в могилу рудников, в подземной ночи их между ударами молота и скрипом тачки ты еще ближе услышишь стон народа русского, а иной раз долетят до тебя и голоса твоих друзей — их благословенье, их слезы, их любовь, их гордость тобою. А там... мало ли что может быть в шесть лет!

СТАТЬЯ А. И. ГЕРЦЕНА

ОТВЕТЫ М. Л. МИХАЙЛОВА

Сенаторы и вообще сановники были до настоящего времени мало речисты, они представляли молчащий хор, обои, почетную обстановку самодержца всероссийского, бессловесные орудия, которыми он дрался. В его присутствии они не смели говорить; в его отсутствии с ними не смели говорить никто, кроме равных по чину, а тем нечего было сказать.

Но времена двигаются вперед, а с ними двигаются вперед и наши сенаторы. И вот нам удалось на seaside[1] встретить усовершенствованного сенатора с даром слова, с *репетицией.* Последний русский сановник, которого я

[1] Взморье, морском курорте.

видел лет двенадцать тому назад, сановник первой величины, был Виктор Панин, сидевший согнувшись в *карете* на пароходе. Прогресс огромный. Панин все молчал в карете, сенатор постоянно говорил в вагоне.

Заметив его наклонность к велеречию, я вдруг спросил его:

— Вы были в Петербурге во время суда Михайлова?

— Как же.

— Тут, несмотря на восхваляемый прогресс, ваши товарищи поступили не лучше николаевских палачей и инквизиторов, разных Бибиковых и Гагариных.

— Позвольте,— перебил меня сенатор,— я, по счастию, не был в числе его судей, стало, я не себя защищаю; по человечеству мне его жаль, я видел его: болезненный, худой,— но с тем вместе я вам должен сказать, что такой закоснелой дерзости, какую показал Михайлов, я не видывал, c'est du Robespierre...[1] Вы не имеете идеи, что такое. Прежде, по крайней мере, люди отпирались, чувствовали ужас своего положения, а этот господин щедушный, в очках, прямо говорит: так и так. Я помню некоторые из его ответов... в Англии, сидя вдвоем в вагоне, страшно повторить. Что же правительству делать, что делать судьям?

— Да вы припомните что-нибудь!

— Такие вещи не часто удается слышать, я у себя в памятную книжку записал.

— Это чрезвычайно любопытно.

— Да-с, я думаю. Вот постойте, она у меня тут в саке,— он порылся и достал книжку, потом добавил: — Посудите сами.

Тут он начал читать — пропуская, останавливаясь, повторяя.

На вопрос: *Каких вы убеждений относительно русского правительства?* Михайлов отвечал:

— Я давно уже имел случай ознакомиться с принципами нашего правительства и нахожу их таковыми, что честный человек не только не может разделять, но и одобрять их.

Напрасно уничтожением крепостного права на бумаге вы хотите включить Россию в число умеренно-либеральных цивилизованных держав. Она теперь не что иное,

---

[1] это впору Робеспьеру.

как огромное имение, расстроенное распутством богатого своего помещика.

Напрасно в «Своде законов» вы поместили слово «гражданин», потому что где нет гражданских прав, там это слово мертвая буква. У нас вместо прав существуют сословные привилегии и преимущества, выросшие на почве личного произвола.

Не выражали ли вы ваших убеждений публично?

— За неимением публичной общественной мысли и при нынешнем положении прессы, которое действительным гнетом лежит на дороге нашего национального развития, писателю невозможно высказаться перед народом, а народу невозможно высказаться в писателе. Уничтожьте цензурный комитет, если вас интересует взгляд мыслящего общества на правительство. Вы только откройте инструмент, а музыка будет.

Не действовали ли вы против правительства и как именно?

— Вы дошли наконец до такого вопроса, на который привыкли получать отрицательный ответ. Но на этот раз откровенность взяла верх. Я не буду спорить с вами. Да, я действовал против правительства путем пропаганды, тем последним путем, который вы стараетесь запереть легионами ваших сыщиков. А кстати, по какому праву эта подлая сволочь, спрошу я вас, содержится на счет правительства, а не государя? Кому нужно, тот пусть и оберегает и холит это нежное, боящееся света растение нашей отечественной флоры, взращенное в жандармски полицейском цветнике.

Вы хотите знать, в чем состояла эта пропаганда? Я в этом случае поспешу, как я умею, удовлетворить вашей любознательности. Я старался сообщить народной массе те идеи, при понимании которых невозможен существующий порядок вещей. Будьте уверены, что, если бы все общество получило хоть какое-нибудь социальное образование, в России была бы конституция. Министры и весь этот штат вельможно-лакейских воров, прихлебателей, с расшитыми золотом воротниками были бы стерты с лица земли. Зимний бы дворец опустел. Памятник Николая Незабвенного не обезображивал бы больше Исаакиевскую площадь.

Насколько верны записки сенатора, я не знаю, но общий характер, кажется, сохранен.

III. НА СМЕРТЬ М. Л. МИХАЙЛОВА

Своей отчизне угнетенной
Хотел помочь он...

М. Л. Михайлов (Из М. Гартмана)

3/15 августа <1865 года> умер в Кадае известный литератор Михаил Ларионович Михайлов, замученный болезнью, лишениями, каторгой.

Михайлов принадлежал к числу весьма редких теперь у нас литературных дарований, и с этой стороны он достаточно известен всему читающему люду. Нам он еще дороже как человек, как один из еще более редких у нас мучеников свободной мысли.

Михайлов родился тридцать шесть лет тому назад в Илецкой защите, в Оренбургской губернии. Дед Михайлова был крепостной человек, засеченный до смерти за неповиновение помещичьей власти. Отец Михайлова (начальник Илецких заводов), умирая, говорил Михаилу Ларионовичу, чтоб он помнил историю своего деда, никогда не делался барином и стоял за крестьян. Это Михайлов сказал в сенате при допросе. Дед описан в «Семейной хронике» С. Т. Аксакова, которому принадлежало имение. Одним из воспитателей Михайлова был сосланный поляк, и от него Михайлов заимствовал то истинное понимание патриотизма и гражданского долга, которое весьма редко в нас, русских.

Патриотизм наших масс, там где он есть в них, чрезвычайно топорной работы; тогда как в наших угнетенных родичах-поляках он сплошь и рядом доходит до истинно высокого — до сознательности. Мы способны искренне гордиться тем, что «земля наша велика и обильна», что одна наша Оренбургская губерния больше целой Франции. И при этом нам в голову не приходит спросить себя, что же мы сделали с той железной силой, с теми

громадными богатствами, которые безо всякой доблести с нашей стороны даны нам природою. Таков гуртовый, повальный факт. А что из него бывают редкие, но блистательные исключения, этому доказательство опять-таки тот же Михайлов...

Образование свое он окончил в Петербургском университете, где товарищем его был Чернышевский; некоторое время они даже жили вместе.

Чернышевский в университете был верующим до фанатизма. Михайлов успел гораздо раньше отделаться от всякого мистицизма и догматизма. Юношеский жар своей души, требовавшей фанатических привязанностей и страстной любви, он перенес на дело свободы и мысли. Чернышевский впоследствии всегда говорил, что первый толчок на пути к развитию был дан ему Михайловым.

Со своей стороны Михайлов, развившийся в те времена, когда положение России казалось вполне безвыходным, безотрадным, тем склоннее был к апатическому отчаянию, чем сильнее любил свою родину, чем яснее понимал свои обязанности как человека и гражданина. В этом отношении влияние гениальной энергии Чернышевского было для него спасительною поддержкою.

Михайлов не был бойцом от природы, как Белинский, как Чернышевский и Добролюбов. Поэтому он и не выступил на полемическое поприще, которое из всех представлявшихся косвенных путей было бы ближайшим к цели. Он избрал себе иную дорогу, и, как поэт, он остался верен себе, своему долгу, своей мысли. Немногие из наших оригинальных поэтов высказали столько самобытности и такое богатство внутреннего содержания, как Михайлов своими переводами.

Когда наконец тронулся лед, чуткие натуры почуяли рассвет после долгой зимней ночи, казавшейся безрассветною,— Михайлов, как и другие, радостно встрепенулся навстречу желанному дню.

Долгая безотрадность разъела когда-то богатые силы. Много больного шевельнулось в Михайлове рядом с поздно проснувшейся надеждой. Он понял, что ничего, кроме горячей любви, кроме горького опыта и долгой работы мысли, он не может отдать дорогому делу.

Новому делу и новые люди.

И он обращается к этим новым людям, *«к молодому поколению»* с твердой верой в него, без зависти к ним за

то, что они счастливее его поставлены к общему делу, без страха перед тупою силою, которая задавит и его и тех, кто смело откликнется на смелый призыв: самого дела она не задавит.

Четырнадцатого сентября 1861 года Михайлов был арестован за распространение воззвания «К молодому поколению» по доносу Вс. Костомарова, бывшего его помощником в этом деле.

Началось одно из безобразнейших даже в летописях русского правительства будто бы судебных следствий.

Придерживаясь чичиковского правила, что «не столько самое дело, сколько соблазн вреден», правительство ни по чему не хочет огласить дела о распространении воззваний. Со всевозможными натяжками оно притягивает Михайлова к делу московских студентов и тайных типографий.

Тут же делается первый опыт поручения следствия по политическим делам полицейскому сыщику. Выписывают из Москвы какого-то доморощенного Видока, Путилина, плутоватого, но преданного, как пудель, и обладающего уму непостижимым чутьем гончей собаки.

Суд Михайлова — первый шаг правительства Александра II на том пути бесстыдства, на котором очень скоро потом оно достигло столь замечательной степени совершенства. Тут еще, за неимением улик, считают необходимым добиться личного признания обвиняемого. При суде Чернышевского подобными соображениями уже не стеснялись: его сослали на каторгу так, как Муравьев вешал в Литве, *то есть не только после полнейшей невозможности юридически доказать голословно предполагаемую виновность, но даже после того, что суд и следствие открыли неопровержимые доказательства его безвинности!* Как тут удержаться от восклицательных знаков...

Конечно, в средствах добиться признания от Михайлова не стеснялись. В. Костомаров, в минуту испуга решившийся сделать первый шаг, пока еще воздерживался от дальнейших показаний... И вот московская ищейка изощряет свое полицейское воображение, исчерпывает над несчастным все пытки, которыми можно истерзать

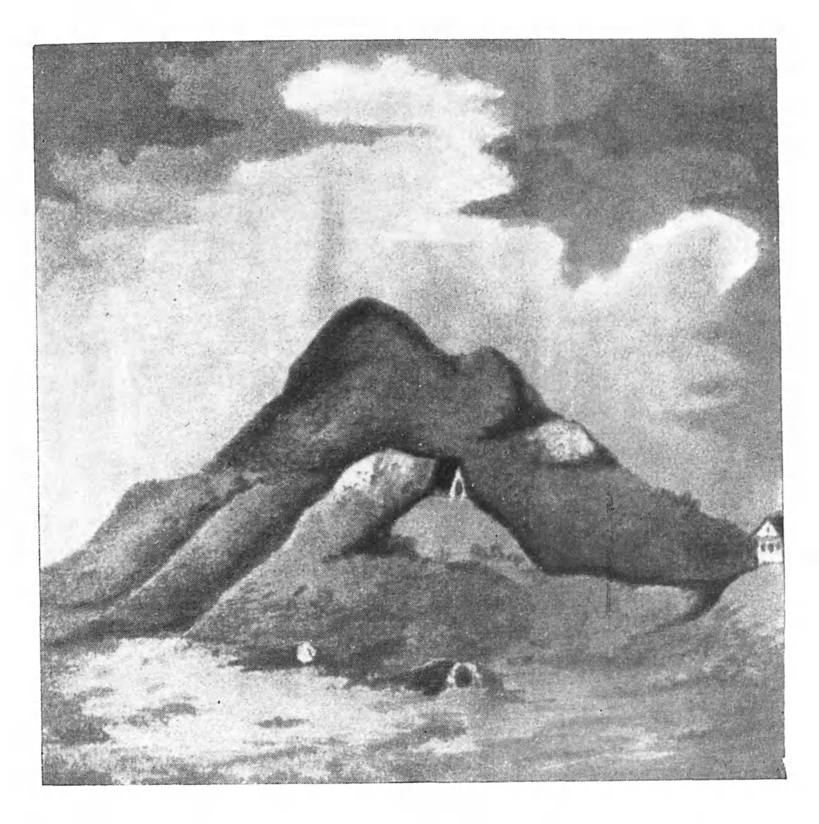
человека, не сдирая с него кожи и не поджигая его на медленном огне. Ему грозят гибелью любимой им женщины и ее ребенка; в течение нескольких дней он слышит детский плач в соседней комнате — однако же, остается тверд...

Относительно В. Костомарова полицейская изобретательность оказалась действительнее... Во время одной из очных ставок он объявил Михайлову, что если тот не сознается, то он намерен рассказать *все*. Это уже была чистая угроза запутать в дело лиц, невинных ни душою, ни телом; в предупреждение чего, конечно, Михайлов поспешил принять на себя все, в чем только его ни обвиняли.

Кроме уже упомянутого воззвания «К молодому поколению», было найдено еще несколько прокламаций — произведений петербургской безымянной рукописной литературы, деятели которой точно так же, как, например, авторы народных сказаний и песен, остаются вечно неизвестными и друзьям и недругам. Михайлов и эти прокламации принял на себя. За это ему было прибавлено полгода каторги, так что полный срок осуждения составил шесть с половиной лет.

Ради каких-то высших политических соображений или по непонятной игре полицейского воображения поторопились приговором, чтобы прочесть его непременно *14 декабря.*

Как ни безобразно со стороны правительства рассказанное дело, оно никого, однако же, не удивит, в особенности после того, чего мы были недавними свидетелями в Польше и у себя дома. Юргенс замучен в тюрьме за то, что имел влияние на польскую молодежь; Траугут повешен *со сломанными пыткой костями;* Хмелинский расстрелян, и Сераковский повешен — оба смертельно раненные. Это поляки. Аргиропуло и Спасский замучены в тюрьме, только не плетью и каленым железом — это до сих пор было исключительною привилегиею поляков,— а нравственной пыткой. Студент Бекман точно так же замучен в ссылке в Вятской губернии; говорят, и Яковлева на каторге постигла та же участь. Это уже русские, и притом едва не дети. Преступление их состояло в тайном перепечатании запрещенных изданий, да и то еще не до-



Кадая. Сопка, на вершине которой погребен М. Л. Михайлов. *Рисунок 1865—1866 гг.*, из тетради рисунков неизвестного художника, привезенной О. С. Чернышевской из Сибири в 1866 г.

казанное. А Чернышевский, умирающий на каторге, когда невинность его доказана?..

Сравнительно со всем этим нравственная пытка в форме суда и следствия, которой подвергали Михайлова, может показаться чем-то довольно мягким и кротким. Что ж делать, если правительство до того шатко, что одно искреннее, смелое слово может подорвать основы трона, ниспровергнуть царство объедал и палачей народа. Вепрь задет за живое этим искренним словом; он огрызается дико, тупо: на то он и вепрь.

Но преследования не кончаются каторгой. Вепрю совестно себя самого; он хочет спрятать свою звериную натуру под какою-то человеческою внешностью. Он вынужден к этому опасением выказать свой страх, свое ничтожество пред свободным словом. Плеть прикрылась листком продажной газеты, жандарм вышел из своей третьеотделенской берлоги и по долгу службы и присяги клевещет в форме светского разговора в уфимских приемных на того самого Михайлова, которого он только что забивал в кандалы и препровождал в каторгу.

Положим, никто из знавших хоть сколько-нибудь Михайлова не поверит жандармской клевете; тем более что идеальное благородство его, высказавшееся особенно ярко в его ответе сенаторам, поразило самих следователей,— что рассказы о нем ходили по всему Петербургу и подтверждались свидетельством лиц, враждебных как лично самому подсудимому, так и тому явлению нашей общественной жизни, которое представлял он собою.

Но не все в равной мере закалены против клеветы — это во-первых. А во-вторых, может случиться между слушателями жандармских сказок человек, которого возмутит до глубины души отъявленная наглость выдумки, и он бросит в лицо лазутчика желчное, едкое слово. Этого и довольно: материалы для доноса, для ареста, для следствия, а стало быть — если понадобится,—то и для осуждения.

Мы говорим не то, что могло бы быть, а то, что было в действительности.

Михайлов стоит настолько выше всякой клеветы, что никому не придет в голову оправдывать его. Он не избегал опасности для себя, но он не задумывался ни на миг пожертвовать собою, чтобы предотвратить тень опасности, грозившей другим.

Какой плод принесет дело, за которое погиб Михайлов? Это решит то будущее, которому он принес себя в жертву... Но какой бы ни был этот плод, Михайлов святой пример для нас: он честно сделал то, что мог, и если бы каждый следовал его примеру, Россия не была бы тем, что она теперь...

Перед судом честных людей того поколения, к которому принадлежал Михайлов, перед судом уже зрелого теперь более юного поколения дело его представляется далеко не маловажным. Смело заявить перед целым Петербургом *«чего мы хотим?»,* до чего доработалась мысль в наше время,— это не бесплодное дело в стране, где доступ к трудам современной мысли, особливо же по вопросам общественным, закрыт для громадного большинства; где ни одна живая речь не может стать гласною, не заплатив предварительно «варварской дани попам и государству»; где даже частный обмен воззрений возможен не иначе, как урывками, тайком, контрабандою.

Михайлов мог ошибиться насчет числа и силы тех, кому нужно живое слово, кто может принять его и развить в себе. Но точно ошибся ли он или нет? Это, как уже сказано, может быть разрешено только в будущем. Ошибка если и оказалась бы, то падет не на его голову.

Многих шокировали в михайловской прокламации фразы вроде следующей: «Лучше пожертвовать несколькими тысячами дворян, чем семьюдесятью миллионами народа». В этом хотели видеть призыв к избиению. Подобное толкование, если оно не плод тупоумной трусости, может быть приписано только рассчитанной злобе.

Не говоря уже о том, что отстаивать привилегии шести дармоедов против семидесяти тружеников было бы бесчеловечно,— оно просто невозможно. Как факт, этот нелепый порядок может еще продержаться несколько времени, но доказывать разумность его словом или чем бы то ни было, кроме плети, виселицы, штыка? Это верх безумия, и притом еще продажного.

Втолковывать дворянам и не дворянам о неотразимости падения всяких сословных привилегий, политических или общественных, вовсе не значит подводить кого бы то

ни было под топор или под гильотину, а совершенно напротив. Если бы привилегированные сословия настолько убедились в этой неотразимости, что исподволь и добровольно — пока еще время — слились с народом, то и самая возможность всякой пугачевщины исчезла бы сама собою. Если бы, с другой стороны, народ убедился нравственно в полнейшем праве своем на землю, то он стал бы требовать ее себе гораздо спокойнее. Где есть сознание и своего права и своей силы, там жестокость и зверство возможны как случайность, как исключение. Давит зверски тупая, бессознательная сила, действующая под влиянием темных влечений... Конечно, нет надежды на разрешение не только вполне, а хотя бы приблизительно мирное социального вопроса. С одной стороны, тупой консерватизм привилегированных сословий, с другой — несчастное положение масс служат страшным препятствием к распространению каких бы то ни было убеждений и обусловливают неизбежность кровавого столкновения в будущем.

Но тем не менее всякое слово людей, подобных Михайлову, всякая попытка убедить какую бы то ни было из враждебных сторон в неизбежности социального переворота благотворнее всех возможных полулиберальных реформ по английскому образцу и с оттенком французского полицейского демократизма. Эти последние раздражают только обоюдную доверчивость, первые же отводят роковой топор, занесенный над кем-нибудь из нас или из детей наших.

Михайлов один из первых понял лицемерие правительства и указал нашим общественным деятелям давно забытую дорогу на каторгу.

Правительство, с своей стороны, увидело на Михайлове, что либерализм нашего общества, которого оно боялось, был немногим почтеннее его собственного благодушия.

Начав довольно робко, отправив сначала Михайлова на Казаковский прииск, которым начальствовал брат сосланного, оно поспешило поправиться. В Сибири получено было приказание отправить Михайлова *непременно в рудники.* И действительно, его перевели в Зерентуев-

ский рудник, оттуда в Кадаю, где он покончил наконец свою мученическую жизнь.

Затем оно принялось ссылать направо и налево и усердно клеветать на сосланных. Осужденных за нигилизм — обвиняли в поджогах, осужденного за делание фальшивых ассигнаций — в нигилизме. Имелось в виду только одно: очернить и оклеветать все честное и благородное в глазах народа.

Чернышевский, Обручев, Заичневский, Баллод, Мартьянов, Яковлев и сколько еще других сослано на каторгу? А сколько на поселение, а сколько в изгнании? Сочтите сами, хоть по «С.-Петербургским ведомостям». Студент Михаэлис пересылался из губернского города в уездный, пока наконец не попал в Тару. Причина этого перемещения едва ли и самому богу известна. Григорьев отправлен в Охотск *за разговоры с крестьянами,* Красовский *пропал без вести,* будучи взят в Киеве за человечное обращение с солдатами.

А Серно-Соловьевич, Освальд? А Шелгунов, сосланный в Тотьму за недоказанное участие в деле сочинения и распространения прокламации к войску? А гарибальдиец Бейдеман, содержащийся уже несколько лет в крепости без суда и следствия...

Сколько еще... да всех не перечтешь...

IV. ПИСЬМО П. Л. МИХАЙЛОВА К Л. П. ШЕЛГУНОВОЙ О СМЕРТИ М. Л. МИХАЙЛОВА

«Нерчинск, 9 мая 1868 года

Многоуважаемая Людмила Петровна.

Простите, ради бога, мое молчание. Несмотря на желание мое писать вам раньше, я решительно не знал вашего адреса и свое желание могу выполнить только теперь, после вашего последнего письма. Со времени кончины Миши вы не имели, кажется, от меня никаких известий ни о смерти его, ни о дальнейших последствиях. Поэтому расскажу вам все по порядку.

Миша скончался 2 августа 1865 года в Кадаинском руднике, в пятидесяти верстах от Нерчинских заводов, от быстро развившейся в нем болезни Брайта. Почти за полгода до своей смерти он уже жил на частной квартире и, следовательно, пользовался относительной свободой, насколько она мыслима и доступна была в его печальном положении, в то время когда ссылка больших партий польских повстанцев вызвала строгие меры в содержании ссылаемых вообще по политическим преступлениям. Первые припадки кризиса его болезни начались в июне, что я узнал по частным слухам, и, отправившись немедленно в Нерчинские заводы, не имел решительно никакой возможности навестить его вследствие отказа в этой моей просьбе коменданта Шипова (он заведовал всеми свободными и не свободными преступниками), так как в это время, по приговору военного суда, которому я и Дейхман были подвергнуты по высочайшему повелению за послабления в содержании Миши, я был арестован; но

как бы то ни было, я, сознавая обязанность свою быть при Мише, чтобы своим присутствием облегчить его душевные и физические страдания, так как неизвестность решения моего дела его сильно тревожила, успел в том, что приехал к нему. Это было в половине июля. Я застал его уже малоспособным к свободным движениям, так как в ногах его образовался отек от быстро развивавшейся водянки. Его лечили два доктора из политических преступников-поляков, Стецевич и Пашковский, по разрешению коменданта, кроме заводских докторов. От них-то я в первый раз узнал и о неизлечимости Миши, и о близком конце его жизни. Неожиданный приезд мой так обрадовал его, что в первые дни нашего свидания болезнь, видимо, уступила хорошему и спокойному настроению духа, но это было очень непрочно и недолго. Жизнь его через несколько дней снова уступила болезни и заметно угасала; образовался изнурительный кашель с отделением крови, всякую пищу он принимал с трудом, вместо подкрепляющего сна впадал в кратковременную дремоту, и видимо исчезали его последние силы: за две недели он перестал вставать с кровати. Меры докторов были уж только пальятивные, а прибегать к другим мерам, как они мне объяснили, было положительно невозможно, так как все радикальные меры были употреблены ими уже раньше. Со дня моего приезда я безотлучно находился при Мише, ухаживая за ним; за несколько дней до его смерти появление в его комнате всякого другого человека, кроме меня, даже докторов, раздражало его, и он просил меня никого к нему не впускать и быть постоянно при нем. Замечая появлявшееся в нем по временам беспамятство, я должен был наконец решиться на тяжелый вопрос, не имеет ли он чего передать мне, так как частовременные его обращения ко мне — «Неужели я умираю» — сознательно говорили мне, что он понимает свое положение. Накануне своей смерти он объявил мне, что все принадлежит Мише. В день с первого на второе августа он уже никого не узнавал и только машинально, слабо называл меня Pierre'ом, указывал мне, чтобы я сидел на его кровати; бред был почти непрерывный, с конечностей ног он начал охладевать и не имел уже в них чувствительности; по мере охладевания частей тела начинала появляться сильная испарина от живота и выше, которая наконец дошла до того, что пот лил потоками с него в то самое

время, как более и более охладевали все части тела, лежащие ниже живота. Почти <беспрестанно> следя ощупыванием его тела за быстрым приближением к нему смерти, я не мог наконец удержаться и заплакал навзрыд, припав к его руке. Это еще на одно мгновение вызвало в нем слабую сознательность, и он сказал мне: «Об чем ты плачешь? Ведь я не умираю еще, правда, ведь я не умру?» С этими словами он попросил меня приподнять его на подушках, сказав: «Ох, тяжело умирать!» Потом попросил меня спустить ему ноги с кровати и, не дождавшись, вдруг быстро сбросил их вниз; едва успел я его поддержать, как он уже начал испускать предсмертные вздохи и опрокинулся на моих руках мертвый. Это было ночью, в два часа, на второе августа. Я один был свидетелем этой невыносимо грустной минуты, хотя за стеной сидели близкие люди, готовые служить, но не решавшиеся войти в комнату, где был Миша.

Вот вам, добрейшая Людмила Петровна, грустная повесть грустного прошедшего. Не буду вам теперь говорить, сколько моральных тревог пришлось мне испытать в то время, когда брат лежал еще на столе и когда комендантская административная свора нагрянула с своими обысками. Скажу только одно, что все предупредительные меры, необходимые с моей стороны, были приняты настолько, насколько указывала их сущность дела, мне близкого и хорошо знакомого. Остальные подробности оставляю до следующего письма, при котором вы получите роман. Опасаясь того, чтобы с неисправностью наших почтовых учреждений не пропала рукопись, я переписываю ее теперь и к следующей почте окончу. Роман прекрасный, но едва ли доступный нашей свободной печати. Вслед за романом отправляю вам все оставшееся в рукописях по настоящему адресу.

Движимое имущество, заключавшееся по преимуществу в книгах, я большую часть продал и деньги употребил частью на расчет с кредиторами брата, частью на себя, потому что мне нечем было жить без обязанностей и места. Вся сумма проданного едва достигла, впрочем, трехсот рублей. Вся русская и французская библиотека осталась при мне.

Перевороты в моей жизни следующие: я в отставке, занимаюсь частными делами, беден, как и прежде, женат и ожидаю потомства.

Низкий, пренизкий поклон мой Николаю Васильевичу.

Мишу целую и желаю ему хорошего здоровья. Дай бог ему, мальчугану, всего в будущем лучшего.

Напишите, что и как продажа Звонареву сочинений Павлом. Я дам новую доверенность на вас или Николая Васильевича.

Глубоко любящий и уважающий вас *П. Михайлов»*.

V. ИЗ ДНЕВНИКОВ И ВОСПОМИНАНИЙ ОБ М. Л. МИХАЙЛОВЕ И Л. П. ШЕЛГУНОВОЙ

Е. А. Штакеншнейдер

ИЗ «ДНЕВНИКА И ЗАПИСОК»

«Четверг, 19 января 1856 года

<...> С Шелгуновой и Михайловым мы видаемся ежедневно; Михайлов без памяти влюблен в нее. Полонский, как мотылек, который летит на огонь, летит тоже туда, где есть любовь, не обжигая себе крыльев, впрочем, а так только греясь. На него Шелгунова не производит впечатления, но, смотря на нее глазами Михайлова, и он ее — il l'admire [1],— русского выражения не приберу. Вообще окружают Шелгунову почти поклонением. Она не хороша собой, довольно толста, носит короткие волосы, одевается без вкуса; руки только очень красивы у нее, и она умеет нравиться мужчинам; женщинам же не нравится. Я все ищу идеальную женщину и все всматриваюсь в Шелгунову, не она ли. До сих пор кажется, что нет. Она умна, то есть она может говорить обо всем. Не знаю, что говорит она, когда сидит вдвоем с Полонским, Тургеневым, Григоровичем и другими, с мама́ же вдвоем она чаще всего рассказывает анекдоты, которые сама называет скабрезными, и потому обыкновенно велит мне уйти. Мужа своего она называет «Николай Васильевич» и говорит ему «вы»; он также говорит ей «вы», но зовет ее Людинькой. Ей лет двадцать семь; детей у них нет, и потому она свободно может располагать своим временем. Михайлов от нее без ума. Михайлов чудесный человек. Так ли он умен, как добр, честен и талантлив, не

[1] обожает.

знаю, так как в настоящее время он ведь без ума от Шелгуновой. К тому же он много занимается френологией; а мне кажется, что умный человек этой наукой долго заниматься не может. Эта наука для женщин, поэтов и сумасшедших; впрочем, Михайлов — поэт. Собой Михайлов очень безобразен; редко увидишь такое лицо, как у него, с глазами, еле прорезанными, и густыми черными бровями. К тому же он мал ростом, худенький, черненький, с землистым цветом лица и вообще некрасивыми чертами. Но зато голос его, когда он заговорит,— я такого чудесного голоса никогда не слыхала, и читает он превосходно. Да и вообще он такой симпатичный, что забываешь его безобразие. Он, кажется, калмыцкого рода, по крайней мере, происходит из тех мест; этим отчасти объясняются его глаза, но и для калмыка они все же исключение; у него верхнего века почти нет. Что чувствует к нему Шелгунова, не знаю; она с ним ласкова. Они часто целые вечера просиживают где-нибудь в углу вдвоем и о чем говорят — не знаю. Я думаю, что если бы Шелгунова ему сказала броситься в огонь, он бы бросился с радостью; если бы она убила кого-нибудь, он бы был счастлив взять грех ее на себя. Шелгунов сам кажется не то что умнее, но хитрее Михайлова; он совсем не поэт и совсем не симпатичен. Убеждения же, которые он высказывает как-то жестко-насмешливо, самые новые и противоположные всему привычному <...>.

1861 год

<...> Это было в лето 1861 года, может быть, в августе. Гости расходились от Василия Степановича Курочкина. В их числе были Иван Карлович, Лавров, Михайлов (М. И.), Шелгунов, Серно-Соловьевич. Они собирались толковать о Шахматном клубе, который и устроили вскоре после того и который с тех пор давно уж рушился. Лавров жил недалеко от Ивана Карловича, он предложил ему проводить его и, заговорившись, вероятно, проводил на самую его квартиру. Там Сергей, лакей Ивана Карловича, подал ему пакет, полученный в его отсутствие. Иван Карлович вскрыл его — прокламация!

Поднялся шум. Иван Карлович был так поражен, что совсем растерялся. Прибежал на шум его брат, живущий с ним, досталось Сергею, ничего не понимавшему. Кто принес? Сергей не знал,— какой-то маленький, худенький,

черненький. Мало ли таких. Кто бы это был, не прибрали. Когда стало известно, чья это прокламация, тогда догадались, что маленький, худенький и черненький господин был сам Михайлов, но что даже близкие друзья Михайлова этого не предполагали. Когда он был взят и посажен в Третье отделение, общество литераторов написало адрес государю, в котором просило освободить Михайлова и ручалось за его невинность. Адресов было несколько, выбрали один. Между прочим, писал Лавров, но его отвергли за *резкость* выражений. Он в своем адресе, вполне убежденный в своих словах, писал: «Михайлов настолько же виновен, насколько мы все виновны». Так был он убежден в невинности Михайлова, так были в этом убеждены Розенгейм и, кажется, Серно-Соловьевич, составлявший вместе с ним адрес <...>.

Пятница, 4 декабря <1864 года>

Не знаю, отчего мне сегодня все мерещится Михайлов. Что-то он делает «Во глубине сибирских руд»? Последнее от него известие я имела 26 сентября прошедшего 1863 года. Я имела? Я ли? Все равно. На письме было его дрожащей рукой написано мое имя, и писал он его 5 августа 1863 года в Сибири. Мне все мерещатся сегодня среды Шелгуновой: маленькие комнаты, музыка, расстегаи за ужином, а главное, Михайлов, душа этих сред. Он мне толкует о френологии. Он верил когда-то в эту будто бы науку, а теперь? Не кажется ли, что человек, свершивший подвиг Михайлова, должен был бы меньше верить, хоть бы в френологию? А его вторая вера, или, лучше сказать, первая,— Шелгунова? Не кажется ли, что он должен был и любить иначе? Было ли бы без этой любви его дело разумнее или его совсем бы не было? Я думаю, совсем бы не было.

Раз вечером Михайлов, Шелгунова, Шелгунов сидели у нас; Полонский был тут же. Говорили о каких-то стихах, кажется Огарева; тогда еще не было ни «Колокола», ни «Полярной звезды». Шелгуновой захотелось, чтобы прочитали эти стихи; у нас их не было; Михайлов вызвался их достать, и достал через час. За это он попросил себе в награду поцеловать у Шелгуновой руку; она ему подала ее милостиво и со смехом.

У Шелгуновой чрезвычайно красивые руки, я часто на них любовалась; вообще было время, когда я не только любовалась Шелгуновой, но поклонялась ей. Михайлов был от нее без ума; Полонский всегда больше чем интересуется, именно, можно сказать, поклоняется тем, кого любят. Он точно греется в этой атмосфере, которая окружает любимое существо. Они с Михайловым пели неумолчные хвалы своему идолу. Я в то время искала идеала женщины и не удивительно, что почти остановилась на Шелгуновой. Говорю «почти» потому, что, несмотря на все заражающие их восторги, несмотря на всю мою жажду идеала и способность поклонения, меня смущал дух критики, я не могла приобщиться взгляду Шелгуновой на эмансипацию женщин. Ее свободные женщины были Панаева, какие-то француженки, с которыми она познакомилась в Париже. Слово «лоретка» я в первый раз слышала от нее. Иногда восхваление их доходило до того, что меня высылали из комнаты, чтобы удобнее было исчислять их подвиги по пути прогресса. Вообще, сколько я ни слушала и ни видела Шелгунову, я или не поняла, или не добилась толку, во имя чего она разрушала; что всякое разрушение законно, благородно, это никогда так не чувствовалось, как в то время, и оттого, может быть, так мало спрашивалось: за что? Всякое разрушение, отрицание в то время доставляло такое же наслаждение, какое доставляет томимому жаждой *первый* глоток воды. Связанное общество до того истомилось, лежа без языка и движения, что готово было все поломать, лишь бы хватило смелости; готово было признать своего в каждом разрушителе, лишь бы только явился таковой.

Меня потому берет раздумье насчет Шелгуновой, что михайловская прокламация неглубока, слишком неглубока. В ней как-то больше желания «руку правую потешить», чем высказать истину. Я не говорю про Михайлова,— человек, давший на подобное дело свое имя, достоин всякого уважения,— но меня удивляет то, что вдвоем они не сумели написать ничего лучше. Так как, зная их обоих, нельзя сомневаться, что первая мысль о прокламации принадлежит Шелгуновой, а прокламация холодна, неубедительна, не «прочувствована», одним словом,— то меня и берет раздумье, скорбела ли Шелгунова в самом деле о людских неправдах, любила ли истину

или у ней только руки чесались и идеал жил посреди лореток? Таких речей, как речи Лаврова, Ивана Карловича, даже Курочкиных, не говоря уже о студентах, я от Шелгуновой не слыхала никогда, сколько ни вслушивалась, но очаровывать она умела.

С. В. Максимов

ИЗ СТАТЬИ «ЗА А. Ф. ПИСЕМСКОГО»

(По литературным воспоминаниям)

<...> Михайлов <...> этот некрасивый человек с киргизскими чертами лица, как уроженец Приуральского края, владел прекрасным, добрым сердцем, был симпатичен по тем искренним отношениям, которые устанавливал с людьми одинакового с ним оружия, и до самоотвержения крепок и стоек в налаженных приязни и дружбе. Он целыми часами просиживал в Уральске у постели моего умиравшего отца <...>. Он действительно владел привлекательными манерами и уменьем держаться в обществе, быть находчивым, занимательным, бойким собеседником; очень любил детей, умел занимать их играми и действительно нравился женщинам. Он в то же время не только был искренно и горячо предан нравственным интересам и успехам «Современника», как его самый неизменный сотрудник, но и как друг. Столько же усердно, как и сам действительно добрейший человек Иван Иванович Панаев, Михаил Ларионович хлопотал о новых сотрудниках и неустанно разыскивал, выслушивал и прочитывал всякие чем-либо выдающиеся литературные работы. Будучи в то же время и сотрудником «Библиотеки для чтения», он все же лучшие свои вещи непременно отдавал в «Современник», который был для него, не на одних словах только, некоторым святилищем. В первом журнале он считал себя случайно забредшим гостем и печатал статьи о «старых книгах», «Современнику» он беззаветно отдал свою душу, хотя иногда ворчал и жаловался на кое-какие неудобства сотрудничества. А деньги ему надобились сугубо: кроме личной расточительности, он нес

доброхотную обязанность воспитания в Горном корпусе двух родных братьев, которых вывез из Оренбурга.

В редакции «Библиотеки для чтения» я с ним познакомился, был им обласкан, услышал первые приветливые слова и поощрение к тем работам по изучению крестьянского быта, которые я тогда робко начинал. Он свел меня к Тургеневу и ввел в тот кружок литературных корифеев, который тогда около него группировался. Он указал Панаеву на одну из моих статеек, и из уст последнего я получил первую ободрительную и поощрительную похвалу в печати. Личные самые искренние чувства благодарности невольно останавливают меня здесь при воспоминании об этих двух лицах, которым я многим обязан и, к глубокому сожалению, не имел до сих пор случая и поводов высказать сердечную признательность их доброй памяти. <...>

П. В. Быков

ИЗ КНИГИ «СИЛУЭТЫ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО»

Когда я углубляюсь в свои воспоминания о далеком былом, мне особенно живо рисуется сгорбленная фигура в поношенном сюртуке, подслеповатые глаза в очках, поникшая голова и на бледном, желтоватом лице явные следы пережитых мук, душевных и телесных. Это — Михаил Ларионович Михайлов, знаменитый переводчик «Песен» Гейне, имевших когда-то огромный успех. Он впервые познакомил русского читателя с великим немецким поэтом в этих переводах, так художественно точных, как никогда ни до того времени, ни после не переводили Гейне.

С Михайловым я познакомился в 1860 году, вскоре после его приезда из-за границы. Несмотря на свой слабый организм, он был бодр, словоохотлив и мало думал о том роковом ударе, который зорко сторожил поэта, еще полного впечатлений, вынесенных им из недавнего пребывания в Лондоне. Рассказывал он красиво, очень образно, не без лиризма, могу смело сказать, мастерски, умея передавать до тонкости виденное и испытанное, в особенности политические воззрения свои и русских эми-

грантов. Голос его слегка дрожал, когда он говорил, что народ просыпается, прозревает и скоро нужно ждать дня, когда он поднимется и «растопчет многоглавую гидру» (подлинные слова его). Вместе с тем меня приводили в восторг необыкновенная добросердечность Михаила Ларионовича, прямота, глубокая искренность и большой ум в соединении с огромной начитанностью, разнообразием знаний и любовью ко всему угнетенному, подавленному, его надежды на возрождение лучшего мира, лучших времен, на исчезновение тлетворной гнили.

М. Л. Михайлов не был красив, ростом невелик, хотя был тонок и строен и вообще имел изящную фигуру, сообщавшую его манерам и движениям грацию. Ему не придавали красоты ни бледный, смуглый цвет лица, ни загнутые дугой брови, которыми он делал усилия, чтобы открыть глаза, маленькие, узкие, словно прорезанные, как у киргиза. Но, несмотря на все это, лицо его светилось особенной внутренней красотой, кротостью, успокоительной мягкостью, что невольно влекло к нему сердца и умы. Он был вообще несказанно обаятелен, бесконечно добр, мягок, общителен, способен к самому широкому самопожертвованию, вплоть до принятия на себя хотя бы и очень серьезной чужой вины. Мягкость, деликатность, благодарность даже за пустое одолжение, величайшая терпимость у Михаила Ларионовича не имели границ и доходили, по выражению его друга Шелгунова, до легкомыслия. Он был едва ли не первым глашатаем женских прав. Он прямо и твердо шел по своему тернистому пути. Литератор-боец, человек редкой духовной красоты, он и погиб вследствие своей самоотверженности, не дожив и до сорока лет. В Кадаинском прииске был выстроен острог, куда политические попадали наравне с уголовными арестантами, ворами и убийцами. Михаил Ларионович отбыл уже срок наказания в сыром остроге (получив от сырости брайтову болезнь), но после него должен был досиживать какой-то поляк-пов[illegible]нец, и Михайлов из дружбы к нему остался в тюрьме.

Без дальних дум, готовый на самые высокие подвиги, писатель взял на себя вину Николая Васильевича Шелгунова, который вез из-за границы составленную им прокламацию «К молодому поколению» в Россию, уложив ее на искусственное дно чемодана. Михайлов был арестован и отправлен в каторгу. Когда допрашивали Михай-

лова, он всячески пытался обелить Шелгунова. Сидя в остроге, Михаил Ларионович не переставал работать и строить планы будущих литературных трудов своих. Работал он напряженно и неустанно, отбывая наказание, длившееся четыре года, а затем на поселении в Сибири, живя то у своего брата Петра Ларионовича, на Казаковском прииске, то в Кадае, в маленьком домике местного старосты, состоявшем всего из одной комнаты.

О значении Михайлова как поэта-переводчика корифеев западной литературы много говорить не приходится. Его недюжинный поэтический талант особенно ярко выразился в переводах из Беранже и из Гейне, капризную музу которого Михаил Ларионович сумел уловить так мастерски, в особенности ее дух, ее настроение и ловко затаенную, замаскированную мысль, тенденцию. Стоит вспомнить хотя бы это:

Брось свои иносказанья
И гипотезы святые,
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые.

Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?

Кто виной? Иль силе правды
На земле не все доступно?
Иль она играет нами?
Это подло и преступно.

Так мы спрашиваем жадно
Целый век, пока безмолвно
Не забьют нам рта землею...
Да ответ ли это, полно?..

Михайлов дал нам не менее блестящие переводы творений Беранже, Томаса Гуда, Бернса, Фелиции Гименс, Ленау, Шамиссо, Уланда, Готье, Шиллера, Гете, Морица Гартмана, Рюккерта, Шенье, Теннисона, Лонгфелло и других иноземных поэтов. Талантливы и оригинальны его стихотворения, особенно те, в которых воспевается любовь к свободе, к народу, призыв к верности идеям радикализма, возмездия за зло, причиненное властями народу,

свободному слову и т. п. Будучи кроток, не без жестокости он говорит:

Во мне не дрогнет бровь —
Что свет и зол и груб —
За око — око, зуб за зуб,
И кровь воздать за кровь!

Он хорошо известен и как прозаик. Его романы и повести, такие, например, как «Перелетные птицы» из быта провинциальных актеров, «Адам Адамыч», «Он», «Нянюшка», являются горячими проповедями идей добра, света, свободы и любви к униженным и оскорбленным. Михайлову принадлежит также целый ряд критических статей, замечательных по чуткости рецензий, чуждых кумовства.

В раннем детстве, обнаружив отличные способности, Михайлов начал писать стихи и еще на школьной скамье пытался переводить Гейне и других иностранных поэтов, так как знал языки английский, французский и немецкий. Литературное дарование сказалось в нем тоже довольно рано, наравне с наклонностью к этнографии, к изучению быта и местностей, где протекала его жизнь. Он получил прекрасное образование. Под влиянием своего родственника, Владимира Ивановича Даля, известного лексикографа и беллетриста-народника (писавшего, как известно, под псевдонимом «Казак Луганский»), Михайлов рано пристрастился к литературе и рано решился всецело посвятить себя ей. Не кончив гимназии (Уфимской), он устремился в Петербург, куда влекло его как в литературный центр, и двадцатилетним юношей поступил в университет вольнослушателем, около 1845 года. Тогда же началась и его литературная деятельность.

Стихи чередовались у него с прозой. Переводы его сделаны мастерски. Помимо безукоризненной техники, в них ярко переданы дух, настроение, манера подлинника. Здесь у него нет соперников. Язык изящен, стих всегда музыкален. В беллетристических произведениях талант его не менее значителен. В них видно знание особенностей провинциального быта и нравов, не теоретическое, а практическое изучение разных народностей. С этой целью он изучал татарский, зырянский, киргизский языки.

Одно время Михайлов пользовался в литературе большой популярностью не только как поэт-переводчик, но и как критик и публицист, всегда верный себе, зорко следивший за всеми явлениями литературы, искусства,

общественности. Проникновенная любовь к народу, страдание за его угнетенность и беспомощность сквозят во всех его произведениях — и беллетристических, и посвященных современности. Он всюду — враг насилия, произвола, дикости нравов, разнузданности[1] и друг свободы, верности беззаветному служению родине.

Михайлов горячо любил свое дело, свою профессию, свою работу, трудясь, что называется, до самозабвения, порой с утра и до глубокой ночи, уделяя лишь кратчайшее время отдыху. Он растрачивал свои последние силы, невзирая на свое расшатанное здоровье. Когда он писал повесть или рассказ, он глубоко проникался жизнью выводимых в этом произведении героев, улыбался, расцветал, видя их счастье, искренно мучился, замечая их ошибки или страдания, словно это были живые люди, а не созданные его воображением, его пламенной фантазией.

Пишущий настоящие строки застал однажды Михайлова в довольно мрачном настроении и спросил о причине этого.

— Я пишу теперь комедийку «Тетушка», и судьба ее героини серьезно беспокоит меня — что с ней будет, что ждет ее? — ответил он мне и задумался.— Простите мне эту странность, у меня обычную... Я всегда живу одной жизнью с моими героями... Верите ли, я не мог удержаться от слез, переживая судьбу одной моей героини в повести «Благодетели».

По свидетельству Л. П. Шелгуновой, с которой он был очень близок, Михайлов не покидал надежды, что его скоро вернут из Сибири на родину, и писал любимой женщине, как много он работает, какие произведения, стихотворные и прозаические, задумал и уже много выполнил из задуманного. Чуть не до последнего дня писал он новые вещи или перерабатывал прежнее.

В «Ведомостях с.-петербургской городской полиции» от 14 декабря 1861 года напечатано следующее:

«Определено: отставного губернского секретаря Михайлова, виновного в злоумышленном распространении сочинения, которое имело возбудить бунт против верховной власти, для потрясения основных учреждений госу-

---

[1] Дед поэта был засечен до смерти, что описывается в одном из его романов. Об этом рассказывает и Аксаков в своей «Хронике». *(Прим. П. В. Быкова.)*

дарства,— лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на шесть лет».

Михайлов во время объявления приговора хотел что-то сказать, но загремели барабаны, и жандармы подхватили и увели осужденного. С момента ареста имя Михаила Ларионовича Михайлова стало запретным; стихи, как-нибудь уцелевшие в сборниках, вырезывались, а то, что присылалось им из каторги, печаталось с большой опаской и под псевдонимами. К Михайлову прекрасно подходят слова Некрасова, говорящие, что и в произведениях певца-каторжанина

Кипит живительная кровь,
Торжествует мстительное чувство,
Догорая, теплится любовь,
Та любовь, что добрых прославляет,
Что клеймит злодея и глупца...
И венцом терновым наделяет
Беззащитного певца...

Брат Михаила Ларионовича рассказывал мне вскоре после его смерти о последних минутах покойного, глубоко захваченный скорбью утраты:

«Мне пришлось закрыть глаза брату,— говорил он,— человеку, который был велик душой в самом широком смысле этого понятия. На моих руках ушел он в вечность со своей обычной улыбкой всепрощения на устах. О, лучше я сам бы ослеп, чтобы только не видеть этой улыбки, до сих пор еще терзающей мне душу...»

И в самом деле, смерть поэта-каторжанина и вся скорбная участь его при жизни были только горькой улыбкой и в то же время беспощадным упреком современной ему действительности...

Е. О. Дубровина

ПАМЯТИ М. И. МИХАЙЛОВА

I

С лишком четыре десятка лет прошло с того ясного весеннего дня, когда я, пятнадцатилетняя девочка, только что отбывшая наказание mademoiselle Девиль, нашей гувернантки, влетела в уютный кабинет — салон моей

матери — и остановилась на пороге, не зная, что мне делать: обратиться вспять или храбро двинуться вперед. Обратиться вспять было куда интереснее, ибо в гостиной мамы сидел какой-то новый незнакомый мне гость, прямо испугавший меня своею наружностью. Я так любила, когда у мамы были гости: тогда на меня обращалось гораздо меньше внимания, и m-elle Девиль, помогая маме занимать гостей, предоставляла мне полную свободу бегать на pas de geant[1] с братьями и сестрами или — что было еще интереснее — уйти в кленовую беседку с нашей бонной, молоденькой фрейлейн Мари Шет, и слушать с замиранием сердца ее передачу «Матильды», романа Евгения Сю. <...>

Обиженная m-elle Девиль, я вбежала к матери, с тем чтобы поделиться с нею моим горем, и — пугливо попятилась за дверь: в большом кресле-качалке сидел гость, которого я никогда не видала прежде и не желала бы видеть потом, до такой степени он мне не понравился. Лицо его, густо обросшее черными волосами, худое, скуластое, в рамке длинных черных волос, с бородою и усами, с первого взгляда казалось прямо уродливым; особенно неприятное впечатление производили его глаза: ему как будто прорезали кожу и втиснули в узкие прорези два черных жучка, беспокойных, пытливых, как-то напряженно в вас вглядывавшихся. Веки над ними вспухли и так тяжело подымались, что хотелось просить его опустить их. Широкие, высоко поднятые брови придавали лицу гостя удивленное выражение. На бескровной белой коже алел яркий крупный рот с какой-то болезненной улыбкой, открывавшей оба ряда белых ровных зубов. Впоследствии я не понимала, как это лицо могло казаться некрасивым, но вначале — оно навело на меня страх и отвращение.

Я спряталась за дверь с твердым намерением бежать от неприятного гостя, но мать окликнула меня, заставила подойти к нему и сказала с приветливой улыбкой:

— Вот ваша будущая ученица, Михаил Илларионович. Я уверена, что вы будете ею довольны: Иван Иванович Горбачевский и Федор Николаевич Львов — хорошо ее подготовили.

---

[1] гигантских шагах.

Я сделала робкий книксен перед креслом-качалкой и вложила руку в протянутую мне бескровную длань, с длинными тонкими пальцами. Гость несколько привстал, приподнял голову и, поглядев на меня своими оригинальными пытливыми глазками, широко улыбнулся.

— Познакомитесь со мною поближе, молодая девица, и увидите, что я только с виду страшен, а на самом деле буду вам добрым товарищем.

У него был необыкновенно гармоничный голос, несколько глухого тембра, а улыбка, добрая и беспечная, прямо очаровывала; я тоже улыбнулась ему в ответ, снова присела и, подойдя к маме, поместилась у ее ног, на маленькую скамеечку. Это было мое любимое место.

— А вы не боитесь *преемственности* в выборе учителей для вашей дочери? — обратился гость к маме, и лукавый огонек блеснул в его калмыцких глазах.

Мама вспыхнула:

— Если б даже и боялась, то нам ничего другого не остается. Нельзя же оставить детей без образования, а здесь образованных людей нет. Кроме того, Катя уже кончает свое образование, да и не думаю я, чтобы влияние чужого человека пересилило наше влияние на детей.

Она на минуту задумалась и прибавила, с оттенком тонкой иронии:

— Ни мне, ни моему мужу эта мысль и в голову не приходила: мы имели и имеем дело с людьми честными, идейными, которые не способны вносить смуту в детскую душу.

Михайлов покраснел:

— Вы совершенно правы, Александра Петровна, доверяя нам; я позволил себе бестактную шутку и прошу за нее извинения.

— Я и приняла ваши слова за шутку.

II

Михайлов начал часто бывать у нас, и мы все так быстро привыкли к нему, что начали смотреть на него как на своего человека. Отец мой был начальником Нерчинского края, и на его обязанности лежало распределять ссыльных по тем приискам, куда они были назначены. М. И. Михайлов должен был отправиться на Шехтамин-

ский рудник. Но это был человек до такой степени хрупкий и болезненный, что, если бы его заставили нести тяжкие каторжные работы, он не выдержал бы и месяца. Отец мой, известный всему Забайкалью своей безграничной добротой и глубокой честностью, не умел играть роли палача и, жалея Михайлова, разрешил ему жить в Нерчинском заводе, где он мог лечиться. Как оправдательный документ, он имел письмо от генерал-губернатора Восточной Сибири, Михаила Семеновича Корсакова, дружески просившего отца оказывать всевозможные льготы Михайлову, как человеку больному и во всех отношениях исключительному. Когда Михайлова провозили через Иркутск — резиденцию генерал-губернатора,— дамы забросали его венками и букетами. Карточки Михайлова, закованного в цепи, ходили по рукам и покупались за огромные деньги. Фотограф Петерсон нажился на его карточках. Ни один из декабристов, ни один из петрашевцев не пользовался такою популярностью, как Михайлов. Это можно приписать тому, что *они* подготовили умы к уразумению того значения, которое он имел в истории русского прогресса как художественный переводчик, талантливый беллетрист и лирик-поэт, сочетавший тонкий юмор с нежной поэзией.

Увы, недолго пришлось нам наслаждаться обществом и беседами этого удивительного человека. В одно чудное, весеннее утро отец вернулся из горного управления бледный и взволнованный.

— Из Петербурга прислан запрос, почему Михайлов освобожден от работ и живет в заводе,— сказал он маме.— Придется отправить его к брату, на Казаковский промысел. Я могу серьезно пострадать, если не сделаю этого.

Мать моя перепугалась не на шутку. По счастию, брат Михайлова, Петр Илларионович, еще молодой горный инженер, певец модных тогда романсов и герой наших скромных, хотя и веселых балов, как раз приехал в завод навестить любимого брата. К вящему благополучию Михаила Илларионовича, брат привез ему радостную весть: на Казаковский промысел ехали муж и жена Шелгуновы, старинные, любимые друзья Михаила Илларионовича.

Нет, что бы ни говорили, а он родился под счастливой звездой, мой знаменитый учитель, невольно, независимо

от себя внесший много горя в нашу семью. Переводить Михайлова без серьезного повода с одного места на другое было бы послаблением, по закону недозволенным. А тут вышло так, что отец *должен* был препроводить его к брату именно тогда, когда туда приехали его лучшие друзья.

Простился с нами Михаил Илларионович сердечно, дружески. У мамы он расцеловал ее белые ручки, отца горячо обнял и сказал: «Кто вспомнит когда-нибудь меня, вспомнит и вас, дорогой Оскар Александрович!»

А через неделю мы получили следующее письмо: «Глубокочтимые Оскар Александрович и Александра Петровна! Людмила Петровна Шелгунова, женщина европейски образованная, просит вас прислать к нам в Казаково погостить мадемуазель Catherine. Она хочет позаняться с нею языками и музыкой, а брат Миша познакомит ее с историей русской и иностранной литературы. Было бы очень приятно, если б вы согласились на это предложение. Делаём его вам от искренно любящего и глубоко благодарного сердца. Ваш *П. Михайлов*».

Это письмо инженера Михайлова искренно тронуло и обрадовало моих родителей: о Людмиле Петровне Шелгуновой говорили как о женщине не только образованной, но прямо ученой, талантливой, сильной лингвистке, сведущей музыкантше и певице, искусно ставящей голоса по вновь изобретенной — шифровой — методе Шевэ или Шефэ, хорошенько не помню. К нам в Россию эта метода перешла только во второй половине семидесятых годов; но Людмила Петровна познакомилась с нею за границей, где жила долгое время, ухаживая за больным Серно-Соловьевичем, другом Н. В. Шелгунова.

Это было время, когда наука и развитие занимали первое место в оценке личности. И моя мать, горячо меня любившая, пошла бы на все, чтобы видеть свою дочь на верху этой лестницы, ведущей в широкий и светлый храм науки. Женщина того времени могла мириться со всеми материальными лишениями, могла идти на высокие материальные невзгоды, лишь бы полон был ее духовный мир, лишь бы жизнь ее давала ей пищу, мозговую и душевную. Освободившаяся от предрассудков и суеверия, она смело и свободно шла навстречу жизни и высоко держала знамя женских прав своих, стараясь всеми сво-

ими наличными силами и средствами, чтоб они доросли до прав общечеловеческих.

Через два дня я уже ехала на Казаковский промысел, в сопровождении няни Анны Кирилловны, которой мать моя доверяла гораздо больше, чем m-elle Девиль. Кстати, эта Девиль была уже невестой доктора Олисовича, и ей не хотелось расставаться со своим futur'ом [1], чтоб провожать к «каким-то parvenus» [2] свою бывшую воспитанницу, «балованную девчонку», зараженную «вредными идеями этих проходимцев». А что «девчонка» уже успела «заразиться», m-elle Амалия Девиль видела из того, что она выучила грамоте всю крестьянскую молодежь в селе Горбуново, где была выстроена чудная дача на берегу реки Аргуни для семьи горного начальника. Отец и мать не только не противились моей затее, но еще отдали мне под школу зимнюю баню, устроили парты и выписали много книг для крестьянских детей.

III

Встретили меня на Казаковском промысле, как родную. Женщина большого ума и больших эстетических запросов, Л. П. Шелгунова ухитрилась пересоздать в изящное гнездышко пустую скучную квартиру инженера Михайлова, напоминавшую до тех пор глухой станционный двор. Мне отведена была комната в мезонине, рядом с комнатой Людмилы Петровны. Окна выходили в огород, засаженный деревьями и заменявший сад. В большой комнате, носившей название «зала», стоял великолепный рояль Эрара, два ломберных стола и легкие стулья черного дерева, то есть выкрашенного в черный цвет. Утрами я шла в комнату Михаила Илларионовича, и мы читали с ним классиков, переходили к Гончарову и Тургеневу, завершали Белинским, выбирая из него статьи, соответствующие тем беллетристическим произведениям, которые только что были прочтены. После обеда Людмила Петровна играла со мной в четыре руки, и затем еще час уходил у нас на чтение Гюго, Шиллера и Гейне — в подлинниках. Мать передала няне Анне Кириллов-

---

[1] будущим женихом.
[2] выскочкам.

не триста рублей за мое содержание и образование — и эта сумма не только не пропала даром, а и наполовину не вознаградила этих людей за все, что они для меня сделали. Благодаря им я выступила на дорогу самостоятельной деятельности, и мне не пришлось вступать в сделки с умом и сердцем, чтоб прожить жизнь без чужих помочей.

А вечера наши,— я не могла бы забыть их, проживши хоть сотню лет! Вся горная молодежь, жившая по соседним приискам, бросила вино и карты и, как по руслу, стекалась к нам, в Казаково. Начинались горячие споры, интересные беседы, вопросы и разъяснения, тянувшиеся далеко за полночь. После ужина Людмила Петровна играла нам Шопена или Бетховена — и потом мы шли провожать наших гостей до разреза, мимо которого лежал их путь. Михаил Илларионович обыкновенно оставался дома: его здоровье все сильнее расшатывалось, и только боязнь за него отравляла мое блаженное существование.

А дома у меня надвигались в это время грозные тучи; да скоро их мрачные тени показались и над Казаковским промыслом. Я начала замечать странное явление: оба брата Михайловы и чета Шелгуновых становились все озабоченнее и начали как бы сторониться меня; замолкали, когда я входила в комнату, уединялись для долгих совещаний. Мне начинало казаться, что я сделала что-то очень дурное, но что именно, никак не могла сообразить.

— Идите играть этюды, роза Нерчинска,— как-то сказала Людмила Петровна, войдя в мою комнату.— Вот вам камертон, вот часы. Играйте час... Потом я приду.

— А вы... уходите?

— Нет, но сегодня я не могу следить за вами; у меня есть большое, серьезное дело.

В первый раз еще она удаляла меня из своего кружка. Я сидела за роялем, читая ноты, и добросовестно отчеканивала Крамера, с того дня ставшего мне ненавистным. Но когда я перешла к пленительному чудному Rovina, нервы мои не выдержали, и я громко, истерически разрыдалась.

Боже, какая тут поднялась беготня! Все накинулись на Людмилу Петровну. Ее называли педанткой, говорили, что она замучила «ребенка» своими дурацкими этюда-

ми. А она стояла, бледная, стиснув руки, со своими огромными голубыми глазами, и оправдывалась чуть слышно:

— Нет-нет, господа... Тут ни при чем этюды... Это не то... Вы нас оставьте...

— Это правда... уйдем, господа,— раздался глухой голос Михаила Илларионовича.

Я подняла голову, и слезы мои высохли: он еле держался на ногах, такой желтый, худой, похожий на мертвого.

— Прошло... все прошло! — вскрикнула я, вскакивая с табуретки.— Я совсем здорова... Это было так... Я по доме соскучилась.

— И пора уезжать, дитя мое,— сказал Михаил Илларионович,— здесь вам больше нечего делать.

Они поспешно вышли, точно боялись, что я опять расплачусь. И я готова была зареветь, когда Людмила Петровна обняла меня и ласково шепнула мне на ухо:

— Бедная моя роза Нерчинска! Начинаются для всех нас тяжелые дни испытаний. Я страшно боюсь за вашего милого, доброго отца: он тоже может пострадать за свое чудесное сердце.

— Что же случилось, Людмила Петровна?

— Сегодня ночью, когда вы уже спали, нас, меня и Николая Васильевича, вызвали к жандармскому полковнику Дувингу, вчера вечером приехавшему из Иркутска. Он так добродушно говорил с нами и предупредил, что замысел наш открыт, что нам надо скорее уезжать отсюда и бросить Михаила Илларионовича. И придется так сделать...

В ее нежном, откровенном лице чистого славянского типа не было ни кровинки; крупные слезы стояли в больших ясных глазах, и красивый маленький рот судорожно подергивался. Видно было, что, если б она дала себе волю, ее глубокое горе вылилось бы в громких рыданиях, в безумных воплях. Но это была сильная женщина, оставшаяся таковою до своего горького конца. Я не смела спросить Людмилу Петровну, о каком «замысле» она говорит, и только впоследствии узнала, что Шелгуновы приезжали в Восточную Сибирь с целью освободить Михайлова и всем бежать за границу.

IV

Через два дня из завода приехал нарочный с письмом от мамы, которым она благодарила Людмилу Петровну за ее попечения обо мне, желала ей и ее семье всех благ, а главное — побольше терпения и покорности судьбе. «И нас не пощадила разразившаяся над вами гроза,— писала она.— А ведь мы — «без вины — виноваты». Высылайте скорее Катюшу. Хорошо, если б можно было скрыть, что она гостила у вас». <...>

На прощанье Михаил Илларионович обнял меня и поцеловал в голову. Руки его дрожали, лицо его перекашивалось.

— Сохраните до конца свой аромат, наша милая роза Нерчинска! — сказал он дрожащим, ласковым голосом.— Нам — тлеть, а вам — цвести. И пусть бог любви, милосердия и равенства никогда не умрет в вашем сердце. Отцу и матери отвезите мое «спасибо». Что могу, все сделаю, чтобы исправить невольно причиненное мною горе.

Это были его последние слова, и они не были фразами, брошенными на ветер. Не брайтова болезнь, а циан-кали прекратил эту, духовно богатую жизнь, когда Михайлов узнал, что по доносу В. В. П—нова отца моего, Оскара Александровича Дейхмана, из полковника разжаловали в солдаты, за «послабления, оказанные политическому преступнику, М. И. Михайлову»,— он, то есть Михайлов, принял яд и через несколько секунд перестал дышать.

Увы, эта страшная жертва оказалась напрасной: отец почти десять лет считался разжалованным <...>.

V

Мне остается немного досказать. С Петром Илларионовичем Михайловым, женившимся на воспитаннице сибиряка-американца, М. Д. Бутина, красотке Нюточке, и с семьей Шелгуновых нам пришлось встретиться в Петербурге в 1875 году. Мы встретились, как родные, и даже поселились вместе с Михайловыми. Н. В. Шелгунов был в это время выслан в Новгород, и я ездила к нему с Людмилой Петровной и с их детьми в 1877 году <...>.

П. В. Засодимский

ИЗ КНИГИ «ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ» Л. П. ШЕЛГУНОВА

I

В начале апреля 1868 года мне пришлось поехать из Петербурга на родину, в Вологду.

В то время я работал в «Деле». Г. Е. Благосветлов, узнав о моем отъезде, дал мне письмо для передачи Шелгунову, проживавшему на ту пору в Вологде, и при этом заметил мне:

— Николай Васильевич что-то приуныл... Постарайтесь-ка расшевелить его!

Ранее я еще никогда не встречал Шелгунова, и мне очень хотелось познакомиться с этим человеком, которого я уже давно заочно уважал и любил.

Вскоре же по приезде в Вологду я отправился к Шелгунову и застал его за довольно странным занятием. Он сидел за большим столом и оклеивал серебристой бумагой картонные латы и шлемы. Он встретил меня радушно, весело и, смеясь, объяснил мне, что устраивается с благотворительной целью любительский спектакль и его заставили делать рыцарские шлемы и латы. Он показался мне таким бодрым, энергичным, таким жизнерадостным, что вовсе не представлялось необходимости «расшевеливать» его... Я подал ему письмо, и он, извинившись, тут же разорвал конверт и стал быстро пробегать письмо.

В то время, когда Николай Васильевич читал письмо, а я с живейшим интересом смотрел на того, кто уже давно «по мысли» был мне так близок и дорог, в комнату тихо вошла какая-то дама, держа в руке небольшую тетрадь, свернутую трубкой. Прижав к груди тетрадь, она медленно шла и, как сомнамбула, рассеянно смотрела перед собой куда-то вдаль и что-то шептала про себя. При входе в комнату она, по-видимому, меня не заметила.

— Людичка! — крикнул Шелгунов, обращаясь к даме.— Вот сотрудник «Дела»... только что из Петербурга... привез письмо от Григория Евлампиевича!

Сначала дама на мгновенье остановилась как вкопанная, а затем, слегка смутившись и сама смеясь над своею рассеянностью, подошла к нам. Николай Васильевич познакомил меня с нею. Это была Людмила Петровна Шелгунова... Она, как оказалось, принимала участие в предстоявшем спектакле и теперь, ходя по комнате, заучивала свою роль.

— И о тебе идет тут речь! — сказал Николай Васильевич, подавая ей письмо.

Блондинка, лет тридцати пяти или тридцати шести, среднего роста, довольно полная, с густыми белокурыми волосами, с умными, проницательными глазами, с милым, симпатичным лицом, свободно, просто, но изящно одетая,— вот какою в первый раз я увидал Шелгунову сорок лет тому назад.

Прочитав письмо, она присела к столу, и между нами завязался оживленный разговор. Николай Васильевич говорил о вологодском обществе и, помню, отзывался о нем хорошо, расспрашивал меня о «Деле», об «Отечественных записках», перешедших в то время к новой редакции с Некрасовым во главе,— вообще говорили о литературных новостях, о петербургской жизни.

Так началось мое знакомство с Шелгуновыми, и хорошие отношения между нами порвались только с их смертью.

Осенью того же года Людмила Петровна уехала в Петербург хлопотать о муже и об устройстве своих журнальных дел. Я же оставался в Вологде до октября 1869 года.

Во второй раз я встретился с Шелгуновой уже в Петербурге на вечере у Благосветлова в декабре 1869 года. Из знакомых мне людей, кроме Шелгуновой, там были Шеллер, Бажин, Филиппов (автор известных юридических статей в «Современнике»), Омулевский, Минаев, были незнакомые мне писатели, были какие-то офицеры, дамы, несколько студентов... Я сидел с Шелгуновой в зале у окна и беседовал с нею о Николае Васильевиче и о наших общих вологодских знакомых. В это время Благосветлов своею грузною переваливающейся походкой подошел к нам и попросил Людмилу Петровну сыграть «Марсельезу». И она села за рояль.

При первых звуках знакомых боевых мотивов вышел из соседней комнаты в залу какой-то высокий худоща-

вый старик во фраке и встал у рояля, а когда Людмила Петровна кончила, он наклонился и, как старый знакомый, дружески заговорил с нею. Этот старик заинтересовал меня, и я спросил у Минаева: кто это?

— «Подводный камень»... Авдеев! — прохрипел Дмитрий Дмитриевич.

(«Подводный камень» — роман Авдеева, пользовавшийся в свое время большой известностью среди читающей публики.)

Появление Авдеева во фраке тогда, помнится, объясняли тем, что он к Благосветлову приехал прямо из дворца великой княгини Елены Павловны.

С тех пор я постоянно видался с Людмилой Петровной, когда она бывала в Петербурге, и в 1871 году, женившись, я познакомил с нею и мою жену.

В течение тридцатилетнего знакомства я, конечно, имел возможность узнать ее характер, ее взгляды, отношения ее к общественным вопросам и к нашим литературным деятелям...

Л. П. Шелгунова была женщина умная, развитая, всесторонне образованная, деятельная, энергичная. До конца жизни она оставалась верна тем взглядам и убеждениям, которые теперь известны под именем «идей шестидесятых годов». Она предоставляла мужу полную свободу в его личных делах и сама пользовалась такой же свободой.

Шелгунов, как известно, почти постоянно мыкался из города в город, и Людмила Петровна то приезжала к нему, жила с ним несколько времени, то уезжала в Петербург, хлопотала о Николае Васильевиче, о переводе его в другой город, посредничала между ним и редакцией и пристраивала в редакции свои статьи и переводы. Затем, устроив в Петербурге свои и мужнины дела, она снова возвращалась к Николаю Васильевичу и жила в добровольной ссылке, деля с ним радости и горе. Вообще, насколько мне известно, они всегда, живя ли вместе или в разлуке, оставались в самых дружеских отношениях. (Читатель найдет не мало интересного в книге Л. Шелгуновой «Из далекого прошлого», в которой помещены ею отрывки из ее воспоминаний и из переписки с нею Николая Васильевича.)

В письмах Н. В. Шелгунова к жене, даже в деловых письмах, постоянно встречаются выражения: «Друг Людя!», «Дружок мой Людя!», «Прощай, мой голубчик. Целую тебя»... «Ах, как тяжело и скверно жить на свете! Чего бы я не дал, чтобы быть с тобой, мой друг» («Из далекого прошлого», стр. 184). «Прочел сейчас еще раз твое письмо, и так мне хорошо стало» (стр. 120). «Твое письмо — письмо чистого и благородного человека» (стр. 161). «Тоска, и никого я не люблю. Есть только одна прочная связь — это с тобою, так что я не могу представить себе жизни без тебя» (стр. 169). «Раздражаюсь теперь всякой мелочью... жду тебя, как ангела-успокоителя» (стр. 201).

II

Когда в начале восьмидесятых годов Шелгунов наконец добрался до Петербурга, то он жил на квартире вместе с Людмилой Петровной (на Пушкинской улице), где и бывали у них многолюдные и очень оживленные jours fixes'ы[1]. И когда Николай Васильевич, уже больной, приехал в 1890 году в Петербург, то он опять-таки поселился с нею и с дочерью.

Немало горя испытала Шелгунова на своем веку; немало пережила она всяких житейских неприятностей, волнений и тревог — за мужа, за детей, за людей, ей близких...

В половине восьмидесятых годах Шелгунову постигло большое горе: один из ее сыновей привлекался к суду по обвинению в государственном преступлении. Тогда Шелгунову разбил паралич, и после того ее здоровье уже не могло вполне оправиться. Вскоре же после того она похоронила мужа и своего старшего любимого сына...

Людмила Петровна была замечательно хорошая работница, добросовестная, точная, аккуратная. Она прекрасно знала иностранные языки и была поистине неутомимой переводчицей; для детей она очень умело составляла компиляции; в «Русском слове» и в «Деле» пе-

[1] приемные дни.

читались ее оригинальные рассказы,— один из них (из крепостных времен), под заглавием «Зеленые глазки», производил особенно сильное впечатление живостью и яркостью образов. Она работала регулярно, постоянно, много читала и интересовалась текущей жизнью. И, можно сказать, до последнего момента жизни Людмила Петровна не переставала интересоваться общественными делами, политикой, литературой. Уже больная, разбитая параличом, не без труда ходя на костылях, она посещала общественные собрания, ходила в редакции к издателям и к своим старым знакомым, где надеялась услыхать живое слово, знакомые речи. И такою бодрою, деятельною, отзывчивою она оставалась до последних дней, до последней болезни, сведшей ее в могилу...

Не раз уже незадолго перед смертью она говорила моей жене:

— Ах, Александра Ивановна, как я хорошо жила последние годы! Как мне было хорошо!..

В этих словах ее слышалась горячая благодарность судьбе, даровавшей ей под конец ее жизни несколько спокойных лет, которые она провела в среде близких, любивших ее людей.

Она жила с дочерью и с зятем посреди внучат, любивших ласковую бабушку. Зять ее М. А. Лукин (педагог) был для нее не зятем, а скорее нежным, почтительным сыном. Старший сын ее, Михаил, очень талантливый юноша, умер за несколько лет до ее смерти, а другой, младший сын, жил где-то на юге, и М. А. Лукин действительно заменял ей сына. Да и Шелгунова не принадлежала к тому типу тещ, на котором сатира острит свое жало.

Смерти она, по-видимому, не боялась. В течение последних двух месяцев умирала она изо дня в день с полным сознанием близкого, неизбежного конца, умирала, так сказать, с полным достоинством.

— Ну, что ж! Мне уже под семьдесят! — спокойно говорила она.— Пора! Надо и честь знать!

Она производила впечатление человека, страшно уставшего и мечтавшего лишь об отдыхе и успокоении.

Наряду с достоинствами в Шелгуновой, как в каждом человеке, находились и более или менее крупные

недостатки: она, как и все мы, грешные, иногда ошибалась, заблуждалась, поступала неправильно. В нашем мире нет ангелов... Но, очевидно, было же в Шелгуновой что-то такое, что ставило ее в интеллектуальном отношении выше среднего уровня, если многие высокодаровитые люди, известные русскому обществу своим умом и талантом, искали ее знакомства и находили наслаждение в беседе с нею.

Увлечения ею нельзя приписывать лишь одним чарам женской красоты. В среде мужчин ведь находятся и такие Самсоны, для которых Далил не существует... Да к тому же Шелгунова и не была выдающейся красавицей, «приковывающей к себе взоры и сердце», как выражаются поэты. Знавшие Людмилу Петровну молодою, мне говорили, что она была привлекательна, мила, но далеко, как говорится, не писаная красавица, да и смазливым личиком или «блестящими взорами» трудно было бы очаровать таких людей, как М. Михайлов, Н. Шелгунов, Герцен, Н. Огарев, А. Майков, Б. Ауэрбах и др. Конечно, молодое смазливое личико им могло бы понравиться, но оно не заставило бы их сделаться друзьями Людмилы Петровны, если бы за красивой внешностью не было чего-нибудь более ценного, более интересного для них. Шелгунова была привлекательна для них своим умом — живым, острым, проницательным, своею тонкою наблюдательностью, силою непосредственного чувства, своею чуткостью, отзывчивостью...

Яков Полонский говорил ей: «Я был богов твоих певец, когда я пел ума свободу, неискаженную природу»... А. Майков, видя Шелгунову в обществе, сравнивал ее с живой, «свежей розой, вплетенной в венок из искусственных цветов». Бенедиктов назвал ее «воплощенным весельем», «радостью в живом образе», сказал, что у нее «ум с мечтами заодно». М. Михайлов, обращаясь к Людмиле Петровне, говорил: «Душа полна тобой, как святой молитвой».

У Людмилы Петровны был альбом, и, благодаря Л. Н. Лукиной (дочери покойной Шелгуновой), я мог сделать из этого альбома несколько выписок.

Альбом открывается стихотворением <Михайлова> «Перепутье». <...>

И далее есть его же стихотворение:

НА ПУТИ

Май 1856

За туманами потух
Свет зари вечерней...
Раздражительнее слух,
Сердце суеверней.
Мне грозит мой путь глухой
Злою встречей, битвой.
Но душа полна тобой,
Как святой молитвой.

Лисино, 10 июня 1857 года <...>

«Я не умею писать в альбомы. Простите меня, вместо нескольких строк — легких и веселых — я вписал вам целую страницу, печальную и длинную, из моей тетради «Былое и думы». Страницу эту мне только что принесли из типографии. К тому же в ней говорится о Лондоне,— вспомните иной раз, что в этом тумане и поднесь бродит русский, душевно уважающий вас *Искандер*»

15 марта 1859 года.
Park-house. Fulham. <...>

Н. Некрасов написал в альбом Шелгуновой свои известные «Стихи»:

Стихи, стихи! свидетели живые
За мир пролитых слез!
Родитесь вы в минуты роковые
Душевных гроз
И бьетесь о сердца людские,
Как волны об утес.

СПб. 21 февраля 1858 года

Это прекрасное стихотворение, помеченное в печати под 1862 годом, как оказывается, было написано за четыре года до появления его в печати и для печати изменено в нем лишь начало первой строки: «Стихи мои!..»

Н. Огарев вписал в альбом четыре строки из своих монологов:

Чего хочу?.. Чего? О, так желаний много,
Так к выходу их силе нужен путь,
Что кажется порой — их внутренней тревогой
Сожжется мозг и разорвется грудь...

И затем ниже, на той же странице, его небольшое стихотворение под заглавием: «Женщине-медику». <...>

Михаил Шелгунов (старший сын Людм. Петр.) вписал в альбом следующее стихотворение:

Вперед, друзья, скорей за дело,
Работы братской пробил час,
В последний бой идите смело,
Да не слабеет вера в вас.
В одну семью сомкнитесь дружно,
Грудь с грудью и рука с рукой,
Не мало сил для дела нужно,
А вы разделены враждой.
Не слов, а дел настало время,
Оставьте споры, шум пустой,
На ниву брошенное семя
Ростки пустило под землей...
В полях зазеленели всходы,
Нас урожай в грядущем ждет...
Вперед на бой! В войне свободы
Он жатвой пышною взойдет.

30 января 1883 года.

«До свиданья, моя добрая, хорошая! Спасибо вам за вашу приветливость, которая так согревала меня среди того тупоумия и бездушия, которыми я была окружена. Где бы я ни была, что бы со мною ни случилось,— одно воспоминание о вас будет мне говорить, *как* надо любить всех униженных и оскорбленных, голодных и холодных. На борьбу за них я отдаю всю мою жизнь, свободу, личные радости, но если, несмотря на это, я не сумею ничего для них сделать, не бросьте в меня слишком жестким словом: желания много, но, быть может, не хватит уменья».

1873 года, января 18.
Калуга[1] *А. Дементьева*

В альбоме, кроме того, встречаются стихотворения Ник. Гербеля, А. Плещеева, Вас. Курочкина и многих других писателей — русских и иностранных.

---

[1] Дементьева была арестована по делу печатания прокламаций, сколько помнится, привлекалась по делу Ткачева. Она находилась в ссылке в Калуге, где жил в то время и Н. В. Шелгунов с женою. *(Прим. П. В. Засодимского.)*

В альбоме Л. П. Шелгуновой я нашел еще два листочка, на одном из которых было написано стихотворение П. Л. Лавровым (дата — 23 мая 1862 года), а на другом рукою Некрасова были набросаны отрывки из стихотворения «Рыцарь на час». Оба эти стихотворения, по-видимому, не принадлежали к альбому, были лишь вложены в него. Стихотворение П. Лаврова не может быть сообщено здесь. Отрывки же из стихотворения «Рыцарь на час» привожу буквально в том виде, как они записаны самим поэтом.

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «РЫЦАРЬ НА ЧАС».

...В эту ночь я хотел бы рыдать
На могиле далекой,
Где лежит моя бедная мать...
В эту ночь со стыдом сознаю
Бесполезно погибшую силу мою,
И трудящийся бедный народ
Предо мною с упреком идет,
И на лицах его я читаю грозу,
И в душе подавить я стараюсь слезу,
Да, теперь я к тебе бы воззвал,
Бедный брат, угнетенный, скорбящий!
И такою бы правдой звучал
Голос мой, из души исходящий,
В нем такая бы сила была,
Что толпа бы за мною пошла...
О, мечты! о, волшебная власть
Возвышающей душу природы!
Пламя юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы —
Все в душе угнетенной моей
Пробудилось... Но где же ты, сила?..
Завтра встану ягненка смирней,
Целый день промаячу уныло,
Ночью буду *пилюли* глотать,
И пугать меня будет могила.
Где лежит моя бедная мать...
Все, что в сердце кипело, боролось,—
Все *погаснет, бесследно замрет*.
И насмешливый внутренний голос
Злую песню свою *запоет*:
«Покорись, о ничтожное племя,
Неизбежной и горькой судьбе:
Захватило вас трудное время
Неготовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно;
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...»

Под стихотворением рукою же Некрасова написано:

«Редки те, к кому нельзя применить этих слов, чьи порывы способны переходить в дело... Честь и слава им — честь и слава тебе, брат!

24 мая в 6 час. утра. *Некрасов».*

Эти слова, очевидно, относятся к Михаилу Илларионовичу Михайлову.

ПРИМЕЧАНИЯ

Л. П. ШЕЛГУНОВА

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО ПЕРЕПИСКА Н. В. ШЕЛГУНОВА С ЖЕНОЙ

(Стр. 7)

Впервые — в журнале «Женское дело», 1899, № 6, стр. 22—44; № 7, стр. 25—44; № 8, стр. 23—40; № 9, стр. 38—57; № 10, стр. 66—81; № 11, стр. 54—66; 1900, № 8—9, стр. 35—96; № 10—11, стр. 86—114; № 12, стр. 75—117. Печатается по тексту отдельного издания — СПб. 1901, тип. И. Н. Кушнерева и К°.

Рукописи и корректуры не разысканы.

Свои воспоминания Шелгунова писала на склоне жизни, в 1896—1900 годах. Об этом свидетельствуют разбросанные в разных местах книги замечания: «А я в настоящее время, как старуха» (стр. 63); «теперь, через сорок с лишком лет» (стр. 76); поскольку в последнем случае речь идет о событиях 1856 года, ясно, что эта фраза писалась после 1896 года.

Текст мемуаров несколько раз перерабатывался автором. Первоначально Шелгунова предполагала печатать свои воспоминания в «Историческом вестнике». Приготовив пробную главу, она предложила ее в конце 1895 года одному из редакторов журнала — С. Н. Шубинскому. Но тот счел воспоминания неподходящими для печати и предложил изъять из них все письма Шелгунова. «Я послушалась вашего совета,— писала Шелгунова Шубинскому 16 октября 1895 года,— и переделала свои воспоминания, сделав их личными, без примеси писем покойного Николая Васильевича. Если в таком виде они годятся, то будьте так добры, напишите мне для того, чтобы я могла просмотреть продолжение и начать писать конец» [1]. Однако переделки, видимо, не удовлетворили редакцию консервативного «Исторического вестника» — воспоминания не появились на его страницах. И Шелгунова, очевидно, возвратилась к своему первоначальному замыслу — дать в воспоминаниях летопись жизни Шелгунова, запечатленную в его письмах к ней.

---

[1] Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, Отдел рукописей, арх. С. Н. Шубинского, ф 874, ед. хр. 63.

Только в начале 1899 года воспоминания приняла редакция журнала «Женское дело». 20 мая Шелгунова сообщала редактору-издателю журнала А. Н. Пешковой-Толиверовой: «Я написала и приготовила «Воспоминаний» очень много, жду только первого выпуска, чтобы послать»[1]. «Первым выпуском» стала июньская книжка, продолжение появлялось ежемесячно, по ноябрь. В декабрьской книжке редакция сообщила, что продолжение «Из далекого прошлого» переносится печатанием на следующий год. Продолжение появилось в августе 1900 года. Причины столь длительного перерыва установить не удалось.

Сразу же по выходе последней книжки журнала Шелгунова приступила к печатанию в той же типографии И. Н. Кушнерева (где печатался журнал) отдельного издания «Из далекого прошлого». Сличение обоих изданий показывает полное тождество текста: тот же шрифт, формат страниц, количество строк в странице, те же опечатки.

По выходе отдельного издания мемуаров Шелгунова обращается 6 октября 1901 года к писателю Н. И. Познякову с письменной просьбой дать в «Новом времени» отзыв о ее книге[2]. 14 октября с аналогичной просьбой она обращается в журнал «Нива» к Р. И. Сементковскому[3]. Однако ни в одном из этих изданий рецензий на книгу не появилось.

«Из далекого прошлого», как указывает подзаголовок,— произведение не чисто мемуарного жанра, это скорее литературный монтаж. Личные воспоминания сочетаются в нем с дневниковыми записями автора, выписками из ее альбома и письмами к ней мужа. В обширной публикации писем Шелгунова (в книге приводится целиком или в извлечениях двести сорок пять его писем) и заключается основная ценность воспоминаний Шелгуновой. Эти письма знакомят читателя с важнейшими фактами общественной деятельности и личной жизни, с настроениями и развитием политических взглядов и нравственных принципов Шелгунова с юности до последних лет. Сохраняя в неприкосновенности мемуарный текст и дневниковые фрагменты (рукописи дневников не разысканы), составители устранили в настоящем издании купюры, сделанные автором в ряде писем Шелгунова по цензурным и личным соображениям. Это относится к следующим письмам, автографы которых хранятся в

---

[1] ИРЛИ, арх. А. Н. Пешковой-Толиверовой, ф. 227, ед. хр. 80.
[2] Государственный литературный музей в Москве, арх. В. Я. Богучарского, ф. 2.
[3] ИРЛИ, Отдел рукописей, арх. Р. И. Сементковского, ф. 445, ед. хр. 293.

Отделе рукописей ИРЛИ:[1] 1848 г.— май, 1857 г.— июль, 25; август 2, 5; сентябрь, 2, 1865 г.— январь: 8, 9, 11, 16, 29; февраль — 22, 26; март — 1, 5, 15, 22, 25; апрель — 4. Кроме того, в настоящее издание дополнительно включено шесть писем: 1865 г.— март, 1 и 15; 1883 г.— январь, 27; февраль, 7 и 17; 1885 г.— ноябрь, 28. Они публикуются впервые, по автографам[2].

Помещенные в книге выписки из альбома сверены с текстом «Альбома Л. П. Шелгуновой», опубликованным П. А. Картавовым в его издании «Литературный архив» (СПб. 1902).

Стр. 9. *...у меня было два старших брата...*— Александр (судьба его неизвестна) и Евгений Михаэлисы. О втором, участнике студенческого движения шестидесятых годов, рассказывает в своих воспоминаниях Шелгунов (см. стр. 155—158 и 246—247 тома I наст. изд.).

Стр. 10. *Первый шифр* — знак отличия в виде вензеля царицы, высшая награда воспитанницам Смольного института, отлично кончившим курс.

...бабушка получила казенное место в Александровском корпусе...— А. И. Афанасьева взяла это место, чтобы облегчить племяннику поступление в кадетский корпус.

Стр. 11. *В Перми знакомство с сосланными туда Герценом и Оболенским...*— Герцен пробыл в Перми около месяца, со второй половины апреля до половины мая 1835 года, и был переведен в Вятку, «потому что другой сосланный, назначенный в Вятку, просил его перевести в Пермь, где у него были родственники» (А. И. Герцен, Былое и думы, часть первая, глава XIII). «Другим сосланным» был И. А. Оболенский, товарищ Герцена по Московскому университету. В это время, очевидно, с ними обоими и познакомилась Е. Е. Михаэлис.

Стр. 12. *...я написала повесть...*— Никаких следов этой повести обнаружить не удалось: по-видимому, она действительно была сожжена Шелгуновой.

Стр. 13. *Бразильский император дон Педро* — Педро I, сын португальского короля Жуана VI.

Стр. 25. *...имение <...> в Шлиссельбургском уезде...*— Имение Подолье (или «Подол»), ставшее затем собственностью родителей Шелгуновой П. И. и Е. Е. Михаэлисов. 15 сентября 1861 года, на другой день после ареста Михайлова, в Подолье был сделан обыск, не давший никаких результатов. Летом 1863 года, после возвращения из Сибири, Шелгунова жила здесь со старшим сыном. Затем

---

[1] Арх. Н. В. Шелгунова, ф. 21203/сх4у 1 б. 2.
[2] Там же.

она периодически бывала в Подолье, а в последние годы жизни проводила там с детьми и внуками летние месяцы.

В 1870 году народоволец Н. Н. Богданович — муж сестры Шелгуновой, Марии Петровны, устроил в Подолье кузницу, в которой работали студенты, готовясь к «хождению в народ».

В настоящее время дом в Подолье закреплен за внуками Шелгуновой (детьми ее дочери, Людмилы Николаевны Шелгуновой, в замужестве — Лукиной): Н. М. Садиловой, С. М. Лукиным и Е. М. Лукиной-Фишер, и охраняется государством как историко-революционный памятник.

Стр. 27—28. *...Григорий Петрович Данилевский <...> был арестован по ошибке вместо другого Данилевского...* — Арест писателя Г. П. Данилевского в 1849 году в связи с делом петрашевцев объяснялся многими тем, что его спутали с однофамильцем Н. Я. Данилевским, впоследствии публицистом и ученым, привлеченным по делу Петрашевского. Однако в действительности Г. П. Данилевский тоже был арестован за близость к петрашевцам и освобожден через два с половиной месяца. Н. Я. Данилевского после более чем трехмесячного заключения выслали в 1850 году в Вологду.

Стр. 28. *Мать моя сотрудничала в «Сыне отечества»...* — в сороковых годах, под псевдонимом «Каминова». В 1847 году в № 5 была помещена повесть Е. Е. Михаэлис «Разочарование».

...первая статья Николая Васильевича была помещена там же. — См. прим. к стр. 67 тома I наст. изд.

Философия Надеждина — «Очерк истории философии по Рейнгольду» (СПб. 1837) или «Опыт науки философии» (СПб. 1845) Ф. М. Надеждина.

Стр. 40. *...перевод романа Ж. Санда «Франсуа-Найденыш»...* — напечатан в журнале «Сын отечества», 1849, книга 4, под названием «Франсуа», без указания фамилии переводчицы.

Стр. 57. *Гримме* — сослуживец Шелгунова по Лесному департаменту.

Пекарский писал тогда свой первый труд... — «Наука и литература в России при Петре Великом», в двух томах, СПб. 1862. Отдельные главы из этого труда Пекарский печатал в «Современнике» в 1857 и 1859 годах.

Стр. 58. *К осени мы переехали в Петербург...* — к осени 1853 года.

...уже в штатском платье, а не в сюртуке с синим воротником... — то есть не в студенческой форме.

Стр. 59. *Пекарский рассказал мне, что <...> приехал в Петербург его знакомый Михайлов...* — О начале знакомства Шелгуновых с Михайловым см. также прим. к стр. 108 тома I наст. изд.

Стр. 60. *...Михайлов <...> оказался кумом Чернышевской.*— П. В. Быков, близко знавший Чернышевских и Михайлова, в предисловии к собранию сочинений Михайлова писал: «Ольга Сократовна, жена Чернышевского, не менее своего мужа симпатизировала Михайлову, который был ее кумом, крестил одного из сыновей Чернышевского» (М. Л. Михайлов, Полн. собр. соч., т. I, изд. А. Ф. Маркса, СПб. 1913, стр. IX).

Стр. 61. *Михайлов жил с Полонским и был с ним очень дружен.*— Несмотря на разницу в возрасте (Полонский был на девять лет старше Михайлова), их связывала тесная дружба, особенно в последний период жизни Михайлова — конец пятидесятых — начало шестидесятых годов. Уже находясь в Нерчинской каторге, Михайлов, крайне обеспокоенный арестом приехавших к нему в Сибирь Шелгуновых (сентябрь 1862 года), обращался к Полонскому с просьбой разузнать, за что они арестованы «здесь, в Сибири, в Нерчинском округе, где даже самые страшные преступники, убийцы и проч. не могут называться арестантами». Свое письмо Михайлов заканчивал такими словами: «Я слышал, что ты был недоволен мною за то, что я не посылал тебе поклонов. Таким вещам я никогда не придавал значения и думаю, что в лучшие минуты сердце твое говорило тебе, что я все-таки искренно и тепло люблю тебя...» (Т. А. Богданович, Любовь людей шестидесятых годов, «Academia», 1929, стр. 378—379). Много позже, уже после смерти Михайлова, Шелгунова писала Полонскому 22 января 1870 года: «Вы, конечно, знаете, что я, как и покойный Мих <прозвище Михайлова в дружеском кругу.— *Э. В.* и *Л. Р.*>, всегда чувствовали к вам слабость, так что Мих мне постоянно говорил в Сибири, что если он умрет, то желал бы, чтобы биография его была написана вами» (ИРЛИ, Отдел рукописей, арх. Я. П. Полонского, ф. 12628 LXX б. 7, л. 43).

Стр. 62—63. *...Тургенев, Дружинин и Григорович предложили пьесу под названием «Школа гостеприимства» <...> вряд ли она теперь существует <...> приехал Григорович и стал извиняться за конец пьесы, будто бы обидевший <...> генералов.*— Текст пьесы действительно не сохранился. Первоначально она была написана в мае 1855 года Дружининым, В. Боткиным и Григоровичем в гостях у Тургенева в его имении Лутовинове и там же разыграна. В этой редакции «Школы» авторы в комическом виде вывели самих себя и других сотрудников «Современника»: Панаева, Некрасова, Чернышевского. В том же году Григорович под влиянием Дружинина переделал пьесу в рассказ, где Панаев, Некрасов и особенно Чернышевский изображались в пасквильном виде. Рассказ появился в «Библиотеке для чтения», 1855, № 9. Некрасов, по совету Чернышев-

ского, дорожившего сотрудничеством Григоровича в «Современнике», положительно отозвался в «Заметках о журналах за сентябрь 1855 года» о рассказе, заметив, однако, что нельзя вносить в такой степени «свои антипатии в литературные произведения» («Современник», 1855, № 10, стр. 182). Для домашнего спектакля Штакеншнейдеров текст «Школы» был восстановлен по памяти Дружининым, но литератор Чернушкин, под именем которого в рассказе фигурировал Чернышевский, отсутствовал в данной редакции, и пьеса вообще не носила пасквильного характера. Об этом говорит и тот факт, что текст был получен у Дружинина Михайловым, дружеские отношения которого с Чернышевским известны (Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки (1854—1886), «Academia», 1934, стр. 115—116). Авторы пьесы в постановке не участвовали. Главные роли: помещика Лутовицына, зазвавшего к себе в имение гостей, которых негде было принять и нечем угощать, и его сварливой жены — исполняли Михайлов и Шелгунова. Задетым этим спектаклем оказался Н. И. Греч, «сидевший в первом ряду и как нарочно надевший в этот вечер свою звезду». Он «привстал и, с негодованием указывая публике на сцену, произнес: «Полюбуйтесь, милостивые государи, вот она, натуральная школа!» (Д. В. Григорович, Литературные воспоминания, Гослитиздат, М. 1961, стр. 150).

Стр. 65. *В утро отъезда...* — 7 марта 1856 года. Эта дата подтверждается дневниковой записью Е. А. Штакеншнейдер от 8 марта 1856 года. «Вчера Шелгуновы уехали за границу» (Е. А. Штакеншнейдер, Дневник..., стр. 122).

Стр. 66. *Сталюпень* — то есть Сталупёнен, городок в 10—12 км. западнее первого пограничного прусского города Эйдкунена.

Стр. 69. *...опера Мендельсона «Сон в летнюю ночь».* — То есть музыка к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Стр. 70. *...дал мне «Былое и думы» Герцена.* — Очевидно, его первые три части, напечатанные в альманахе «Полярная звезда» и в книге «Тюрьма и ссылка» (1854). К выпуску «Былого и дум» отдельным изданием Герцен приступил позднее — в 1861 году.

Стр. 78. *...купил <...> Шиллера, издание Гербеля.* — То есть сборник «Лирические стихотворения Ф. Шиллера в переводах русских поэтов», изданный под редакцией Н. В. Гербеля (СПб. 1857).

Стр. 83. *...в Лисино приехал Михайлов...* — 6 июня 1857 года.

Осенью мы переехали в Петербург... — осенью 1857 года.

Стр. 84. *Щербина <...> никого не оставлял в покое своими эпиграммами <...> они <...> когда-нибудь выползут на свет.* — В 1929 году в изд-ве «Прибой» вышел «Альбом ипохондрика», в котором собраны эпиграммы и сатиры Н. Ф. Щербины.

Гербель в это время начал собирать переводы для издания Шиллера... — для собрания сочинений Ф. Шиллера, часть 1—9, вышли в 1857—1861 годах.

Стр. 85. *Он сам рассказывал всем это происшествие...* — Иначе излагает этот эпизод П. Д. Боборыкин (Воспоминания, т. II, изд-во «Художественная литература», М. 1965, стр. 203—204).

Стр. 86. *Он написал мне стихотворение...* — Автограф стихотворения Л. Мея «Загадка» не известен.

А. Н. Майков написал ему письмо <...>. *Вот оно...* — В настоящем издании текст его исправлен по автографу (ИРЛИ, ф. 7, ед. хр. 145, лл. 1—2).

Стр. 89. *И ответ пришел, но я его даже не помню.* — Ответа не могло быть, как свидетельствуют следующие строки из письма Майкова к Тургеневу от 8 февраля 1858 года: «Теперь во мне это просто лирическое стремление к вам, а месяца два тому назад <то есть в декабре, когда писалось сообщенное Шелгуновой письмо.— *Э. В.* и *Л. Р.*> это было совсем другое. Тогда во мне — да и во всех нас — были злость и негодование: зачем здесь нет Тургенева <...> Я <...> грянул вам письмом, длинным письмом, где ото всей души и укорял и уговаривал вас; по счастью, вы его не получили и не получите, ибо оно отправлено по ошибочному адресу, данному мне Капустиным, в Вену, poste restante <до востребования>» («И. С. Тургенев. Статьи и материалы». Сб. под ред. М. П. Алексеева, Орел, 1960, стр. 195).

За границу мы поехали... — в мае 1858 года.

...встретились с <...> *Колбасиным, напечатавшим какую-то повесть.* — С Е. Я. Колбасиным. Лучшие повести его печатались в «Современнике»: «В деревне и Петербурге» (1855, № 5), «Два зайца» (1857, № 11), «Семь клевет на любовь» (1861, № 5) и др.

Стр. 94. *Перечитывая письма Полонского...* — восемь писем 1857—1860 годов Полонского к Шелгуновой были опубликованы в газете «Русская земля», 1904, № 3, 3 января.

...поехал в Женеву учиться живописи у Калама <...> *получил* <...> *приглашение быть редактором «Русского слова».* — В 1857 году Полонский приехал в Женеву, намереваясь брать уроки живописи у Калама, однако последний отказался принять его в число своих учеников. Затем Полонский жил некоторое время в Ницце и Риме. К этому времени относится его встреча с Кушелевым. Из Рима Полонский писал 14 января 1858 года Шелгуновой о Кушелеве: «Он просит меня быть постоянным помощником его в деле издания...» — и просил Шелгунову сообщить об этом Михайлову, с которым он хотел посоветоваться, браться ли ему за редактирование «Русского слова» («Русская земля», 1904, № 3, 3 янв.).

Стр. 95. *На свадьбу к Полонскому...*— Полонский женился в Париже 14 июля 1858 года на Е. В. Устюжской.

Стр. 96. *...на мотив известного романса «Талисман»...*— Романс Н. С. Титова на стихи Пушкина. Михайлов, очевидно, использовал первые восемь строк стихотворения:

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.

Эдредон — пуховая перина.

Стр. 97. *В начале марта мы с Николаем Васильевичем поехали в Лондон <...> к Герцену.*— Шелгуновы посетили Герцена в марте 1859 года (см. стр. 9 тома I наст. изд.).

...только что разыгралась его история с Некрасовым...— Герцен ошибочно обвинял Некрасова в присвоении так называемого «огаревского наследства» (подробно см.: Я. Черняк, Огарев, Некрасов, Герцен и Чернышевский в споре об огаревском наследстве, М.— Л. 1933).

Стр. 98. *Огарев <...> написал даже мне стихотворение...*— См. его текст в воспоминаниях Засодимского (стр. 482). Кроме того, Огарев посвятил Шелгуновой специально для нее написанное стихотворение:

ЖЕНЩИНЕ-МЕДИКУ

На новом поприще, в полезных изученьях
Умейте к жизни подходить
С вопросом внутренним,— в причудливых явленьях
Подсматривать простую нить.

Умейте вдуматься, внимайте чутким ухом
И, звук мгновенный уловив,
В громадной музыке поймете верным слухом
Простой виющийся мотив.

1859, март — апрель

Впервые стихотворение было напечатано в журнале «Русская мысль», 1902, № 3, стр. 8. Одновременно, по тексту альбома Шелгуновой,— в «Литературном архиве», издаваемом П. А. Картавовым; СПб. 1902, стр. 97, по которому и цитируется.

Стр. 101. *...знаменитую щеголевскую батарею.*— 10 апреля 1854 года, во время Крымской войны, англо-французская эскадра подвергла бомбардировке Одессу. Батарея № 6 под командой юного прапорщика Щеголева выдержала шестичасовую артиллерийскую дуэль с девятью кораблями противника, вооруженными тремястами пятидесятью пушками, отвечая им из четырех, а потом из двух оставшихся орудий.

Стр. 102. *«О казаках».*— Автора этого произведения установить не удалось.

...о распоряжении императора Александра II уничтожить Черноморский флот.— После поражения России в Крымской войне, по Парижскому мирному договору (см. прим. к стр. 114 тома I наст. изд.), Россия могла содержать на Черном море лишь небольшое число легких военных судов. Остальной флот подлежал потоплению.

Стр. 106. *...какой Матюша, Матвеев ли — доктор?* — По-видимому, доктор Матвеев, лечивший Шелгуновых и Михайлова в Лисине.

Стр. 109. *Я счастлив, что буду читать <...> лесные законы.*— По возвращении из заграничной поездки осенью 1859 года Шелгунов некоторое время читал лекции в Лесном институте (Петербург).

Стр. 110. *Веня и Маша* — Евгений Петрович и Мария Петровна Михаэлисы, брат и сестра Шелгуновой.

Петр Иванович.— П. И. Михаэлис, отец Шелгуновой.

Стр. 111. *...куда менонистам!* — Шелгунов говорит о меннонитах — членах религиозной секты, возникшей в XVI веке в Голландии. В Россию меннониты приехали в 1789 году по приглашению Екатерины II заселить окраины России. Меннонитам были предоставлены всяческие льготы, они были освобождены от многих налогов, от несения военной службы. Их хозяйства в большинстве своем носили кулацко-фермерский характер.

Стр. 112. *...речь Я. Грота выпускным студентам Лицея...*— 24 мая 1859 года в Александровском лицее происходил выпуск окончивших курс воспитанников. Профессор русской словесности Я. К. Грот обратился к ним с речью, в которой призывал их трудиться «не для виду и личной корысти, а для истины и самого дела, твердо веря, что все, совершенное в духе правды, как бы незначительно оно ни казалось в настоящем, переживет нас и останется добрым семенем для будущего» («Московские ведомости», 1859, № 151, 27 июня).

Стр. 114. *В эту поездку мы пробыли за границей ровно год...*— с мая 1858 по май 1859 года.

...пригласил какого-то Хмельницкого.— О Хмельницком подробнее см. стр. 129 тома I наст. изд. и прим. к ней.

...за какую-то маленькую вещицу Писемского <...> было заплачено полторы тысячи рублей.— Возможно, за произведение Писемского «Батька» («Русское слово», 1862, № 1).

...перевод трехтомного романа Фрейтага <...> в печати не появился...— Михайлов и Шелгунова переводили для «Русского слова» роман немецкого писателя Г. Фрейтага «Soll und Haben» («Приход и расход», 1855—1856), но рукопись, посланная в конце ноября 1858 года из Парижа в Петербург, была утеряна («Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения», изд. АН СССР, т. 6, М.— Л. 1961, стр. 185). Михайлов взялся за эту работу исключительно ради денег, которые были ему необходимы для поездки в Лондон к Герцену. «Михайлов не желает, чтобы под переводом стояло его имя, потому что направление романа никак не сходится с образом его мыслей»,— писала Шелгунова Полонскому (там же, стр. 186).

...граф <...> подарил свой журнал Григорию Евлампиевичу Благосветлову.— В июле 1862 года Кушелев-Безбородко направил в петербургский цензурный комитет прошение о передаче права издания и редактирования журнала «Русское слово» Благосветлову (ЦГИАЛ, ф. 775, оп. 1, д. 288, л. 4).

Стр. 115. *...явился Северцев, вернувшийся из плена у кокандцев...*— Известный зоолог, зоогеограф и путешественник А. Н. Северцов. В «Русском слове» были напечатаны две его статьи: «Месяц плена у кокандцев» (1859, № 10) и «Зоологическая этнография» (1860, № 4).

...кузен мой служил в Третьем отделении...— Речь идет об И. А. Нордстреме, старшем чиновнике особых поручений III Отделения.

Стр. 116. *В это лето...*— лето 1860 года.

Стр. 117. *...в феврале месяце был объявлен манифест об освобождении крестьян.*— Манифест, указ сенату и ряд «Положений» и «Правил» о «крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», были подписаны Александром II 19 февраля 1861 года, но обнародованы только 5 марта 1861 года, так как правительство, опасаясь народных волнений, принимало предупредительные меры.

Стр. 118. *Государь прочел вашу записку и велел вас поцеловать.*— Лемке так излагает этот эпизод со слов мемуариста Г. Щербачева: Н. Серно-Соловьевич получил предписание «явиться к князю Орлову в известный день и час. Он поехал. Князь Орлов вышел к нему и громко сказал: «Мальчишка, знаешь ли, что сделал бы с тобой покойный государь Николай Павлович, если бы ты осмелился

подать ему записку? Он упрятал бы тебя туда, где не нашли бы и костей твоих...» Затем, помолчав, он прибавил: «А государь Александр Николаевич так добр, что приказал тебя поцеловать. Целуй меня» (М. К. Лемке, Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПб. 1908, стр. 43—44). См. также прим. к стр. 233 тома I наст. изд.

Стр. 119. *Фиктивный брак был заключен...*— 15 сентября 1868 года.

Стр. 120. *А. С. Суворин написал его некролог, во многих отношениях очень верный.*— 21 апреля 1883 года в газете «Новое время» был опубликован некролог, озаглавленный: «Странная смерть. Самоубийство В. О. Ковалевского». Автор некролога сочувственно писал о покойном как о честном и благородном человеке и отмечал, что причиной самоубийства Ковалевского были запутанные (не по его вине) финансовые дела предприятия, которым он руководил.

...умер от тифа в Иркутском остроге. Второй брат <...> успел уехать за границу...— О Николае и Александре Серно-Соловьевичах подробно рассказано в воспоминаниях Шелгунова «Из прошлого и настоящего», главы XII, XV и XVI (том I наст. изд.; там же см. стр. 233 и 246).

Весною того года меня <...> увезли за границу.— Для лечения, когда после рождения первого сына у Шелгуновой отнялись ноги.

...Ауэрбаха, которому интересно было познакомиться с переводчицей его шварцвальдских рассказов.— В «Русском слове», 1860, №№ 3 и 5, были опубликованы переводы «Шварцвальдских деревенских рассказов» Ауэрбаха, сделанные Шелгуновой. Отдельной книгой, под названием: «Повести и деревенские рассказы Бертольда Ауэрбаха», они вышли в Петербурге в 1871 году.

Стр. 121. *Некрасов хотел купить у него роман...*— Какой именно, установить не удалось. Произведения Ауэрбаха в «Современнике» не печатались.

Уезжая в Россию...— в начале августа 1861 года.

Стр. 122. *Вернувшись в августе в Петербург...*— в августе 1861 года.

Чернышевский поддерживал наше намерение ехать в Сибирь. Он очень любил Николая Васильевича и понимал состояние его духа — Сообщение Шелгуновой говорит в пользу версии о намерении Шелгуновых организовать побег Михайлова и о том, что Чернышевский, знавший, конечно, что подлинным автором прокламации «К молодому поколению», за написание и распространение которой осудили Михайлова, являлся Шелгунов, был осведомлен о цели поездки Шелгуновых.

...Шелгунов описал эту поездку в статьях, помещенных в «Русском слове» под заглавием: «Сибирь по большой дороге».— В №№ 1—3 за 1863 год.

Стр. 123. *Отбыв каторгу, он вступил в пререкательство чуть ли не с сенатом, что осуждены все они были противозаконно.*— В. И. Семевский в своей статье о Петрашевском в Сибири приводит свидетельство Ф. Н. Львова об этой черте характера Петрашевского, который и во время суда над ним в 1849 году в Петербурге «и в ссылке везде зацеплялся за законы и старался на основании их доказать или несправедливость, или нелепость какого-нибудь действия или постановления. Отсюда проистекали его процессы с министром Перовским за городские выборы и протесты на эшафоте, в Шилке, на Нерчинском заводе, в Иркутске и проч.» Семевский добавляет, что на борьбу с сибирской администрацией Петрашевский смотрел как на свой общественный долг, своеобразную форму протеста («Голос минувшего», 1915, № 3, стр. 51—52). См. также стр. 400—405 и прим. к ним.

Эта законность довела его в этом же году до острога <...> куда его засадили местные власти...— После ареста Шелгуновых у Петрашевского был произведен 12 ноября 1862 года обыск. «Но один полицейский предупредил его. Портфель Михаила Васильевича был запрятан, и ничего компрометирующего у него не нашли». Заключен в острог Петрашевский был значительно позже — 16 января 1864 года (В. И. Семевский, М. В. Буташевич-Петрашевский в Сибири.— «Голос минувшего», 1915, № 5, стр. 58, 66—68).

Стр. 124. *На Казаковском промысле мы спокойно прожили очень недолго, то есть месяца два.*— С первой половины августа до 28 сентября 1862 года, когда Шелгуновы были арестованы.

Стр. 125—126. *...рассказывал мне его брат <...> из комнаты покойника ему пришлось выйти с револьвером в руках.*— О последних днях жизни М. Л. Михайлова и обстоятельствах, при которых был спасен архив покойного поэта, рассказывается в письме П. Л. Михайлова к Шелгуновой (см. стр. 453—456).

Стр. 126. *...человек, способный на высокие подвиги самопожертвования.*— Стесненная цензурными условиями, Шелгунова намекает здесь на самопожертвование Михайлова, добровольно пошедшего на каторгу ради спасения подлинного автора прокламации — Шелгунова.

Николая Васильевича повезли в Петербург...— 16 марта 1863 года Шелгунова отправили из Иркутска в Петербург, куда привезли 15 апреля и заключили в Петропавловскую крепость (см. стр. 22 тома I наст. изд.). Оттуда он писал Е. Е. Михаэлис 20 апреля 1863 года: «Вероятно, Евгения Егоровна, вы не ожидаете получить

от меня письмо из Петербурга. А между тем я здесь, Людинька же оставлена в Иркутске. По приезде в Петербург я старался разъяснить ее положение, и мне объявили, что Людинька свободна и может ехать куда хочет.

Попросите Людю похлопотать увидеться со мной и пусть не забудет взять с собой Мишу...

Если вы будете просить о свидании со мной, то не забудьте сказать, что вы мне не только теща, но и сестра». (Т. А. Богданович, Любовь людей шестидесятых годов, «Academia», Л. 1929, стр. 382).

Стр. 127. *...я осталась одна с ребенком и с няней в Иркутске.*— 9 мая 1863 года Шелгунова выехала из Иркутска и, ненадолго заехав в Петербург, поселилась в имении «Подолье».

...успел перевести двенадцать страниц...— Из XII тома восемнадцатитомной «Всемирной истории» немецкого историка Ф. Шлоссера, который Шелгунов начал переводить накануне ареста, в 1863 году. Издательницей «Всемирной истории» (и переводчицей нескольких томов) одно время являлась Шелгунова. Издание осуществлялось в 1861—1869 годах под редакцией Чернышевского, а затем Зайцева.

Стр. 128. *...я, кажется, одна из последних жертв <...> с гласным и словесным судопроизводством наступит и более скорый и менее неприятный порядок.*— Шелгунов имеет в виду подготовлявшуюся тогда судебную реформу 1864 года, в результате которой произошло разделение судебной и административной власти, была провозглашена независимость и несменяемость судей, установлена гласность процесса и введен суд присяжных заседателей. Никаких существенных изменений все эти реформы в решение дел о «государственных» преступлениях и о «преступлениях печати» не внесли.

...плаксивый характер придает ему Витковский своими тоску наводящими повестями.— В 1863 году в «Русском слове» (№№ 1—3, 9) были напечатаны произведения А. Витковского «Карьера», «Две доли» и «Кабала».

«Новые люди».— По-видимому, статья «Литература и образованные люди» («Русское слово», 1863, № 10).

...старики же все вроде Фабия Кунктатора...— то есть нерешительны, медлительны, как древнеримский диктатор Фабий Кунктатор, прославившийся своей осторожной тактикой во время второй Пунической войны.

Стр. 129. *Всех статей три: 1) «Литература и образованные люди», 2) «Старый Свет и Новый Свет» и 3) «Начала общественного быта».*— Первая статья появилась в № 10, вторая и третья — в №№ 11—12 за 1863 год.

А что делает моя статья о Сибири? — То есть статья «Гражданские элементы Иркутского края». Появилась в том же году в «Русском слове», №№ 9—10.

Стр. 130. *«Тысячелетие России» Павлова* — «Тысячелетие России. Краткий очерк отечественной истории» П. В. Павлова. Впервые был напечатан в «Академическом месяцеслове» за 1862 год; отдельное издание — СПб. 1863 (см. также стр. 186 и 187 тома I наст. изд. и прим. к последней)

Жак Араго был бы <...> интересен. — Очевидно, «Записки слепого. Путешествие вокруг света» французского писателя Ж. Араго.

Стр. 132. *«Россия до Петра Великого».* — Точное название статьи: «Россия до Петра I» (см. прим. к стр. 196 тома I наст. изд.).

...не знаю, за что приниматься <...> за историю Америки. — «Очерки из истории Соединенных Штатов» были написаны Шелгуновым и опубликованы в «Русском слове», 1864, № 3.

...напоминает мне самарского доктора — фамилию его забыл... — Речь идет, видимо, о докторе Гамбурцеве, лечившем Шелгунова в Самаре (см. стр. 52).

Стр. 133. *... переводить <...> немецкую историю Северо-Американских Штатов...* — «Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika» (Берлин, 1866) К. Неймана. Возможно, Шелгунов познакомился с этой работой по журнальной публикации.

...смотрю с сильно радостным чувством на март месяц. Не близко! — Видимо, Шелгунов ожидал окончания следствия и приговора в м а р т е. Однако об окончании дела и своей высылке в Вологодскую губернию он смог сообщить жене лишь 26 ноября 1864 года.

Стр. 134. *Если у вас там хорошая погода...* — «Т а м» — в Швейцарии, куда Шелгунова уехала с сыном Мишей в конце ноября 1863 года и где жила до осени 1866.

Стр. 135. *...к тунгусам и калошам!* — Смысл этого иронического замечания Шелгунова неясен. Скорее всего, слово «к а л о ш а м» неправильно прочтено Шелгуновой.

Надя — здесь и далее — сестра Шелгунова, Надежда Васильевна.

Стр. 138. *...от Петербурга до тебя втрое дальше, чем от тебя до Петербурга; подобный вопрос уже разрешался раз относительно Парижа в нашей литературе...* — Возможно, Шелгунов имеет в виду «Опрометчивого турку» Козьмы Пруткова («Современник», 1863, № 4), где речь, однако, идет не о П а р и ж е, а о Рязани.

Один из персонажей этого произведения, на вопрос, сколько верст от Москвы до Рязани и обратно, отвечает, что в один конец

может сказать, даже не справившись с календарем, но сколько обратно — не знает («Сочинения Козьмы Пруткова», Гослитиздат, М. 1955, стр. 275—276).

...умер Помяловский. — 5 октября 1863 года, на двадцать девятом году жизни.

Стр. 142. *Наконец я получил «Русское слово». С моей статьей поступили жестоко.* — Очевидно, номер со статьей «Россия до Петра I» (см. прим. к стр. 196 тома I наст. изд.), подвергшейся жестоким цензурным сокращениям.

Стр. 143. *...начала читать мою вторую статью.* — То есть вторую часть статьи «Россия до Петра I».

Стр. 144. *...читал «Взбаламученное море»...* — Роман Писемского (см. прим. к стр. 226 тома I наст. изд.) был напечатан в «Русском вестнике» (1863, №№ 3—8).

Ты требуешь проекта для детской библиотеки, вот он... — Планы издания, изложенные Шелгуновым в данном и нескольких следующих письмах, осуществлены не были.

Стр. 146. *...в формате изданий Таухница.* — Лейпцигский издатель Х. Таухниц был известен своими стереотипными изданиями классиков.

Стр. 147. *...лучше русского перевода Вагнера.* — То есть лучше «Путешествий и открытий доктора Эдуарда Фогеля в Центральной Африке, Великой пустыне и землях Судана» Г. Вагнера, вышедших в русском переводе (без указания имени переводчика) в изд. Вольфа (СПб. 1861).

«Земля и органическая жизнь», «Причины бедности» — напечатаны в «Русском слове».

Стр. 148. *...из великого дела не делать спекуляцию, как это позволяет себе Вольф.* — М. О. Вольф, прослывший «первым книжным миллионером России», расплачивался с авторами крайне скупо (см.: Е. И. Кацпражак, История книги,«Наука», 1964, стр. 307). У Шелгунова были веские основания судить о Вольфе и по своему личному опыту: в соавторстве с В. П. Греве он издал у Вольфа книгу «Лесная технология» (1858).

Стр. 149. *Доктор Бок говорит...* — Шелгунов приводит данные из книги К. Бока «О здоровом и больном человеке» (перев. с нем. И. Паульсона и Ф. Бемера, СПб. 1856).

...запрещения <...> статьи об уголовном правосудии Западной Европы... — Шелгунов говорит о статье «Современное значение уголовного права в Западной Европе». После цензурных сокращений и переделок была напечатана в «Русском слове», 1864, № 5, под псевдонимом «Т. З.» (см. также стр. 150—151).

Стр. 152. «Отживающие слова» — напечатаны в «Русском слове», 1863, №№ 6 и 7.

Когда Креза поставили на костер, он сказал: «О Солон! Солон!» — Рассказ древнегреческого историка Геродота о намерении персидского царя Кира, покорившего Лидию, сжечь ее царя Креза на костре так же, как и легенда о беседе Креза с знаменитым афинским законодателем Солоном, принадлежит к мифам, которыми широко пользовался Геродот в своей «Истории греко-персидских войн».

Стр. 153. *...кончил <...> статью «Древность и совершенствование человеческого типа»...* — Статьи с таким названием среди опубликованных Шелгуновым нет. Очевидно, это первоначальное название статьи «Развитие человеческого типа в геологическом отношении» («Русское слово», 1865, № 3).

В «Русском слове» опять новый цензор... — За три последних года существования журнала сменилось пять цензоров, наблюдавших за ним: Капнист, Де-Роберти, Ленц, Скуратов, Еленев. Последний особенно свирепствовал (Ф. Кузнецов, Журнал «Русское слово», изд. «Художественная литература», М. 1965, стр. 360).

Стр. 156. *...три мои статьи <...> названы в одном издании замечательными статьями.* — Чей отзыв имеет в виду Шелгунов, установить не удалось.

Стр. 158. *Для кого ты переводишь Гете? если для В., то печально...* — По всей вероятности, Шелгунов имеет в виду издателя М. О. Вольфа.

Стр. 159. *...учился где-нибудь на Уналашке или в Ундинской слободе...* — Уналашка — один из Алеутских островов на Аляске. Ундинская слобода — селение в Нерчинском крае, куда были отправлены Шелгуновы, арестованные во время пребывания на Казаковском прииске в каторге у Михайлова. Шелгунов употребляет эти названия в качестве синонима отдаленных, глухих мест.

Стр. 161. *...моя статья «Статистика смертности и рождений» <...> в той же книжке статью Щапова.* — Статья Шелгунова появилась в № 8 «Русского слова» за 1864 год. В этом же номере была напечатана статья А. П. Щапова «Историко-географическое распределение русского народонаселения».

...я пользовался <...> Шиллингом («Psychiatrische Briefe»)... — «Psychiatrische Briefe, oder die Irren, das Irren das Irresein und das Irrenhaus» И. Шиллинга («Письма о психиатрии, или Сумасшедшие, сумасшествие, дома для сумасшедших», Аугсбург, 1866). Очевидно, Шелгунов пользовался журнальной публикацией этого труда или его части.

По поводу какой-то статьи в «Голосе» «Русское слово» обратилось с вопросом к Альбертини, и затем в «Русском слове» было

напечатано его письмо...— В газете «Г о л о с» (1864, № 169, 21 июня) был напечатан анонимный фельетон «Вседневной жизни», в котором задевалась интимная жизнь одной молодой девушки. «Р у с с к о е с л о в о» очень резко отозвалось в июньской книжке того же года об этом фельетоне. Автор обозрения «Дневник темного человека» обратился к Н. В. А л ь б е р т и н и с в о п р о с о м: «Обо всем этом что скажете вы, г. Альбертини,— вы, *один из главных* сотрудников «Голоса»? Без шуток, очень интересно знать, как вы относитесь к деяниям ваших сотоварищей по газете? Как дышите вы в таком обществе?» (1864, № 6, стр. 142). Альбертини ответил письмом в редакцию «Русского слова», которое было напечатано в июльской книжке журнала. Альбертини заявил, что отнюдь не является *«одним из главных»* сотрудников «Голоса», а выступает лишь по вопросам иностранной политики и несет ответственность (да и то «единственно пред своею совестью») только за то, что исходит от него лично. Что касается методов, которые применяют в своих писаниях некоторые сотрудники «Голоса», то он осуждает их так же, как и автор обозрения в «Русском слове» (1864, № 7, стр. 77—80).

Стр. 162. *Завтра с машиной еду в Вологду...*— 2 декабря 1864 года Шелгунов, по приказу петербургского обер-полицеймейстера генерал-лейтенанта Анненкова, отправился к вологодскому губернатору «на зависящее распоряжение под присмотром рядового с.-петербургского жандармского дивизиона Самсона Яковлева». 6 декабря Шелгунов прибыл в В о л о г д у, о чем конвойному была выдана следующая «квитанция»: «Дана с.-петербургского жандармского дивизиона рядовому Самсону Яковлеву в том, что в сопровождении его отставной полковник корпуса лесничих Николай Шелгунов, высланный из С.-Петербурга под надзор полиции в Вологодскую губернию, в г. Вологду доставлен 6 сего декабря. Вологда, декабря 7-го дня 1864 года. Вологодский губернатор свиты его величества генерал-майор Хоминский» (А. П р у г а в и н, Н. В. Шелгунов в ссылке.— «Русская мысль», 1910, № 2, отд. II, стр. 8).

Стр. 163. *Ратман* — выборный городского самоуправления; здесь — иронически: член купеческой управы.

Стр. 164. *...через неделю отправлю в редакцию первую статью из Тотьмы.*— Очевидно, одну из статей, напечатанных в январской книжке «Русского слова» за 1865 год: «Френологическая оценка человеческих поступков», «Главные моменты в истории Европы» и «Домашняя летопись» (или «с т а т ь я о Т о т ь м е», «Тотьма», как называет далее статьи этой серии Шелгунов в письмах к жене).

Стр. 168. *Варенька* — Варвара Александровна Зайцева (в первом браке — Голицына, во втором — Якоби), сестра В. А. Зайцева,

приятельница Шелгуновой, участница революционного движения шестидесятых годов. Привлекалась в 1863 году по «Делу Андрущенко» (за содействие побегу И. И. Кельсиева). См. также прим. к стр. 140 тома I наст. изд.

...редакция «Современника», показались мелочной лавкой...— Колкости Шелгунова в адрес «Современника» являются отражением полемики, которая велась в то время между этим журналом и «Русским словом».

Стр. 169. *Удим, Соболев.*— Возможно, речь идет о бывшем студенте петербургского университета Д. Гудиме-Левковиче, участнике волнений 1861 года. 12 октября его арестовали и заключили в Петропавловскую крепость, из которой перевезли в Кронштадт, а 6 декабря того же года освободили. Шелгунов мог знать его как товарища Е. Михаэлиса. Соболев — лицо не установленное.

«Тереза» — роман французских писателей Э. Эркмана и А. Шатриана. Был напечатан в переводе Шелгуновой в «Русском слове», 1865, №№ 1 и 2.

Стр. 169—170. *За предложение о разделе семьи благодарю <...> Твое письмо— письмо чистого и благородного человека...*— За границей, в Швейцарии, Шелгунова сблизилась с А. Серно-Соловьевичем, и у них родился сын Николай. В 1865 году они разошлись. В недошедшем до нас письме Шелгунова предложила мужу взять на воспитание ее младшего сына, что могло скрасить его одинокую жизнь в ссылке. Шелгунов принял предложение жены. Мальчика привезли к нему летом 1865 года. Шелгунов горячо полюбил ребенка, заботился о нем всю свою жизнь.

Стр. 171. *...второй статьи «Тотьма»...*— то есть второй статьи из серии «Домашняя летопись»; напечатана в «Русском слове», 1865, № 2.

...что сделала цензура с моей статьей в этой книжке! — Со статьей «Исторические очерки (XVIII столетия)», опубликованной в «Русском слове», 1864, №№ 11 и 12.

Стр. 172—173. *В январской книжке будет моих три статьи. Из них у одной цензура отрезала ровно всю вторую половину.*— См. прим. к стр. 164.

Стр. 173. *...на этой (?) неделе выходит новый цензурный устав...*— См. прим. к стр. 374 тома I наст. изд.

Двенадцатый том все еще не вышел...— XII том «Всемирной истории» Шлоссера (см. прим. к стр. 127).

Два раза <...>, в Тотьме, я наточил на себя ножик и дал его сам другим, чтобы меня порезали.— Шелгунов намекает на свои отношения с Е. Н. Раковой и М. П. Косаревой.

Стр. 173—174. *...неисправность Голицына, который <...> от демократических своих тенденций не сделался аккуратней.*— Князь А. С. Голицын, близкий к революционным кругам шестидесятых годов, был владельцем типографии, в которой печаталась «Всемирная история» Шлоссера.

Стр. 174. *Сегодня послал Благосветлову «Рабочие ассоциации».*— Статья была напечатана в «Русском слове», 1865, № 2.

Вопрос, который ты мне предложила по поводу madame Ольд...— Ольдом Шелгуновы условно именовали в своей переписке А. Серно-Соловьевича, а madame Ольд — саму Людмилу Петровну. В связи с разрывом между ним и Шелгуновой, в значительной мере вызванным психическим заболеванием Соловьевича, Шелгуновой необходимо было изолировать от больного отца их маленького сына Колю и произвести раздел имущества, так как пансион, который содержала в Швейцарии Шелгунова, был открыт на средства Соловьевича.

Стр. 175. *...твой № 15...*— По прибытии в ссылку, в Вологодскую губернию, Шелгунов, вынужденный отдавать свою переписку на цензуру местному исправнику, стал нумеровать письма к жене, чтобы иметь возможность проверить, все ли они дошли по назначению.

Стр. 176. *Вот содержание романа...*— Далее Шелгунов излагает план устройства личной жизни в случае освобождения из ссылки своего и Михайлова. Молодая девушка — Елизавета Николаевна Ракова, с которой Шелгунов познакомился в Тотьме. Один старый друг — М. Л. Михайлов.

Стр. 177. *«Подводный камень», «Полинька Сакс»* — роман М. В. Авдеева (1860) и повесть А. В. Дружинина (1847).

Стр. 183. *Органическая теория* — одна из социологических теорий XIX века, утверждавшая, что законы развития общества и человеческих отношений тождественны законам развития биологического организма.

«Рекрут 1813 года» — выполненный Шелгуновой перевод с французского «Воспоминаний рекрута 1813 года» Э. Эркмана и А. Шатриана («Русское слово», 1865, № 3). В этом произведении авторы выступили в защиту завоеваний французской буржуазной революции XVIII века.

...одного очень умного и порядочного господина, проживающего здесь, в Устюге, на тех же основаниях, как и я.— Речь идет, по-видимому, об участнике революционного движения шестидесятых годов, бывшем преподавателе философии в Нижегородской духовной семинарии, С. П. Автократове, отбывавшем в эти годы административную ссылку в Великом Устюге (М. П. Сажин (Арман Росс), Воспоминания. 1760—1880 годы, М. 1925, стр. 26).

Стр. 184. *...арест Зайцевых.*— Об аресте Зайцевых в 1865 году данных не имеется. Известно лишь, что Зайцев и его мать М. Ф. Зайцева были с 1865 года в Петербурге под негласным надзором полиции за «заявление ими учения своего о нигилизме» («Литературное наследство», т. 71, М. 1963, стр. 459). Зайцев подвергся аресту позже, в 1866 году, в связи с делом Каракозова (см. прим. к стр. 156 тома I наст. изд.), но через три месяца был освобожден под надзор полиции.

Стр. 185. ... *господина, который по опыту говорит, что в крепости сидеть легче, чем быть в ссылке.*— По-видимому, речь идет о С. П. Автократове (см. прим. к стр. 183).

Уж я примирился с мыслью, что я пробуду в ссылке лет десять...— По приговору военного суда от 26 октября 1864 года Шелгунов был лишен прав на пенсию и ношение мундира в отставке, а также подлежал высылке под строгий надзор полиции в одну из отдаленных губерний. Министр внутренних дел Валуев определил местом ссылки Вологодскую губернию, куда Шелгунова и отправили 2 декабря. Срок ссылки указан не был, но Шелгунов понимал, что он будет длительным.

Стр. 187. *...я писал тебе о померанцах первого и второго сорта: я писал тогда о ней.*— То есть о Е. Н. Раковой и М. П. Косаревой.

Сегодня отправлял статью в «Русское слово»...— Вероятно, статью «Цивилизация Китая». Опубликована в №№ 9, 10 за 1865 год.

Стр. 188 *...«Голос» <...> назвал мою статью болтовней, а меня — старой бабой.*— В редакционном обзоре майских номеров журналов в «Голосе» (1865, № 203, 25 июля) о статье Шелгунова «Женское безделье» («Русское слово», 1865, № 5) сказано: «...Что за болтовня статья г. Шелгунова «Женское безделье»... Стремление популяризировать научные вопросы,— впрочем, очень почтенное стремление — г. Шелгунов доводит до того, что статьи его принимают характер россказней старой бестолковой няньки».

Стр. 189. *...Маша действительно выходит за Ковалевского, и <...> в половине сентября должна быть свадьба.*— Свадьба сестры Шелгуновой, М. П. Михаэлис, и В. О. Ковалевского не состоялась. Впоследствии Ковалевский женился на С. В. Корвин-Круковской, Мария Петровна вышла замуж за народника Н. Н. Богдановича (см. об этом стр. 119).

Стр. 190. *...прочел в «Книжном вестнике», что милый Михайлов умер в Кадаинском прииске.*— Михайлов умер в Кадае в ночь на 3 августа 1865 года. Краткий некролог о нем был помещен в «Книжном вестнике», 1865, № 17, стр. 331—332.

Месяц тому назад я получил от Зайцева письмо...— Автографы писем Зайцева к Шелгунову неизвестны.

...Писарев находится в уединенном положении.— Писарев был арестован 2 июля 1862 года и заключен в Петропавловскую крепость, где пробыл до 18 ноября 1866 года.

Стр. 191. *...я <...> никогда не верил в искренность его липких и сладких фраз.*— Упреки Шелгунова в адрес Благосветлова вызывались задержками гонорара и неаккуратными ответами на письма. В условиях ссылки и заброшенности это воспринималось Шелгуновым очень тяжело. И все же Благосветлов довольно тепло относился к своему сотруднику, вполне понимал меру его таланта и высокое душевное благородство. П. В. Быков, близко соприкасавшийся с Благосветловым и Шелгуновым (он был членом редакции, а затем и редактором «Дела»), пишет о Благосветлове в своих воспоминаниях: «О двух только лицах отзывался он без тени критики, без малейшей иронии: о Николае Васильевиче Шелгунове и Петре Лавровиче Лаврове. Относительно первого Благосветлов не был ни в чем виноват и одинаково любил его всегда, во все тяжелые моменты своей жизни, когда цензура держала дамоклов меч над «Делом» и когда Григорий Евлампиевич разражался по отношению к другим. Посещая меня особенно часто перед отъездом своим за границу... Благосветлов каждый раз просил меня беречь Николая Васильевича и следить, чтобы он не работал до переутомления, и прибавлял при этом, «чтобы Шелгуниха — как называло большинство жену Николая Васильевича — не тревожила его в редакции долгими визитами» (П. В. Быков, Силуэты далекого прошлого, М.— Л. 1930, стр. 40—41).

...в письме от 4 сентября Благосветлов мне пишет...— Автографы публикуемых здесь писем Благосветлова к Шелгунову неизвестны.

Серьезный отдел — отдел журнала, где помещались статьи научного и политического характера.

Стр. 192. *...хуже всякого Веселаго.*— То есть известного своими придирками к печати генерала, историка русского флота, Ф. Ф. Веселаго, служившего цензором в петербургском цензурном комитете.

Стр. 194. *...доброжелатели, которые желают меня отправить в Колу.*— По-видимому, намек на устюжского следователя Сутоцкого, с которым у Шелгунова были крайне натянутые отношения (см. стр. 202), в результате чего Шелгунова в январе 1866 года перевели из В. Устюга в Никольск. Кола — древнейшее русское поселение в Мурманской области, в данном случае — синоним заброшенного, глухого угла.

...sans façon'ство Благосветлова с твоими переводами Шатриана. Где он их напечатал? — В «Русском слове», а затем в «Деле» было помещено несколько произведений Э. Эркмана и А. Шатриана в переводе Шелгуновой. Кроме упоминавшихся выше «Терезы» и «Вос-

поминаний рекрута 1813 года» (см. прим. к стр. 169 и 183), среди них: «Ватерлоо» и «Воспоминания пролетария» («Русское слово», 1865, №№ 4—6, 11, 12); «На рассвете» («Дело», 1868, №№ 4—8). В чем выражалась «бесцеремонность» Благосветлова, установить не удалось.

Стр. 195. *Сегодня мне привезли «Голос». Зайцев и Соколов отказываются от сотрудничества в «Русском слове»...* — В газете «Голос» (1865, № 333, 2 декабря) было напечатано письмо Н. Соколова и Зайцева о том, что они не желают сотрудничать в «Русском слове», так как, по их словам, редактор и издатель журнала — Н. Благовещенский и Благосветлов — отказались от ими самими предложенной реформы издания журнала и, в частности, от удешевления подписной цены по мере увеличения подписчиков. Кроме того, Зайцев, которого не утвердили в качестве самостоятельного редактора критического отдела, требовал, чтобы редактором отдела был назначен Соколов. В своем письме они указали, что Писарев (находившийся в это время в заключении в Петропавловской крепости) присоединяется к ним.

Этому заявлению предшествовал скандальный инцидент. В девятой книжке «Русского слова» было напечатано, без ведома Благосветлова, «открытое письмо» Соколова «Маску долой!» с грубыми, вызывающими нападками на критику, которой подверг «Современник» его статью «О капитале» («Русское слово», 1865, № 8). Возмущенные этой выходкой, Благосветлов и Благовещенский в своем ответе на заявление Соколова и Зайцева писали: «Одною из главных причин выхода их из журнала было то обстоятельство, что г. Зайцев, считая себя солидарным с г. Соколовым, требовал, чтобы редактором 2-го отдела журнала был избран г. Соколов. Но мы, вместе с другими сотрудниками «Русского слова», не согласились на это, признавая г. Соколова не способным к подобному делу и не желая более позорить журнал такими бестактными выходками, как наглый вызов «Современнику», сочиненный г. Соколовым и напечатанный под личною ответственностью г. Зайцева. Этот *вызов* дал нам понять, как г. Соколов повел бы дело, если бы взял в свое полное распоряжение целый отдел журнала, без контроля других членов редакции».

Соколов и Зайцев прекратили сотрудничество в «Русском слове». Что же касается Писарева, то в декабрьской книжке журнала было объявлено, что «недоразумения, случайно возникшие между редакциею и г. Писаревым, устранены и он по-прежнему остается постоянным сотрудником «Русского слова».

...ничего подобного не случилось бы, если бы была в Петербурге Варвара Александровна. — Сестра Зайцева (см. прим. к стр.

168), волевая и энергичная женщина, имела большое влияние на брата.

Стр. 196. *Понедельник вывез меня раз из Орла и привел в департамент...*— Шелгунов говорит о своей поездке по России в 1859 году от Крыма до Петербурга (см. стр. 99—113), после которой он поступил на службу в Лесной департамент министерства государственных имуществ. Очевидно, выехал Шелгунов из Орла в понедельник.

...в октябре ты приедешь в Петербург.— Шелгунова находилась в это время еще в Швейцарии, откуда вернулась в сентябре или октябре 1866 года.

Стр. 197. *«Русским словом» получено второе предостережение...*— За октябрьскую книжку 1865 года «Русское слово» получило первое предостережение, за ноябрьскую — второе, за декабрьскую — третье, с одновременным прекращением журнала на пять месяцев (см. также прим. к стр. 230 тома I наст. изд.). Первое предостережение было вызвано статьями Писарева «Новый тип», Соколова «О капитале» и «Библиографическим листком», содержавшими, по мнению цензуры, «крайние социалистические или материалистические идеи»; второе — статьями Писарева «Исторические идеи Огюста Конта» и Шелгунова «Рабочие ассоциации». В докладной записке цензурного комитета Главному управлению по делам печати сообщалось: «В статье «Рабочие ассоциации» Шелгунова представляется очерк коммунистических и социалистических идей Фурье и Сен-Симона. В этом очерке всего более достойно замечания то, что автор опередил этих пресловутых утопистов в их намерениях и осуждает те начала действительной жизни и существующего общественного порядка, которых даже они не решились затронуть <...> автор превзошел Фурье в коммунизме и фурьеристов в революционном направлении, *мирные демократы,* очевидно, не удовлетворяют требованиям и целям «Русского слова» (Ф. Кузнецов, Г. Е. Благосветлов и «охранители».— «Русская литература», 1964, № 1, стр. 169—170).

Стр. 198. *...я в статье «Честные мошенники» придаю воровству значение «труда»...*— За эту статью («Русское слово», 1865, № 12) и ряд других материалов журнал был распоряжением министра внутренних дел Валуева от 16 февраля 1866 года приостановлен на пять месяцев. «...Статья «Честные мошенники» Н. Шелгунова (стр. 8 и 9) придает воровству значение «труда» и свойства неизбежных последствий нынешних условий гражданского быта общества»,— говорилось в этом распоряжении (Ф. Кузнецов, Г. Е. Благосветлов и «охранители».— «Русская литература», 1964, № 1, стр. 170).

Стр. 199. *...твоя история с Варей.*— Причину размолвки между Шелгуновой и В. А. Зайцевой установить не удалось.

...Благосветлов арестован....— Эти слухи об аресте Благосветлова не соответствовали действительности, его арестовали позже (см. прим. к стр. 203).

Стр. 200. *Мария Федоровна* — мать Варфоломея Александровича и Варвары Александровны Зайцевых.

Стр. 202. *Служить по акцизу у Грота.*— К. К. Грот в 1863—1870 годах был директором департамента неокладных сборов, в ведении которого находилось акцизное управление. Шелгунов был знаком с ним по службе в министерстве государственных имуществ.

Стр. 203. *...Благосветлов свободен и очень весел.*— Благосветлов и Зайцев были арестованы (первый — 14 апреля, второй — 28), в связи с делом Каракозова (см. прим. к стр. 156 тома I наст. изд.) и заключены в Петропавловскую крепость. Благосветлов пробыл там три недели. 7 июня 1866 года он писал Шелгунову: «...Вчера меня выпустили из крепости на свободу. «Русское слово» запрещено безусловно; это вы, конечно, уже знаете из газет <...> жить и работать почти не дают возможности. Но человек изобретателен, когда его очень прижимают, а потому я и думаю, что «Русское слово» воскреснет в другой форме» (Ф. Кузнецов, Журнал «Русское слово», изд-во «Художественная литература», М. 1965, стр. 390—391).

«Русское слово» и «Современник» запрещены.— См. прим. к стр. 230 тома I наст. изд

Стр. 204. *Посоветуйся с <...> В. Матв. Лазаревским...*— Лазаревский с 1866 года был членом совета Главного управления по делам печати и членом совета министра внутренних дел. О роли Лазаревского, являвшегося своего рода «адвокатом» демократической журналистики в совете Главного управления, см. в статье С. Макашина и Б. Папковского: «Некрасов и литературная политика самодержавия» («Литературное наследство», т. 49—50, М. 1949, стр. 488—506). Шелгунов советовал жене обратиться к Лазаревскому еще и потому, что был с ним близко знаком: в конце пятидесятых годов они оба служили в министерстве государственных имуществ.

...уроки давать строго запрещено.— Подтверждения этих слов долго ждать не пришлось. В июне 1867 года Шелгуновы переехали из Кадникова в Вологду. Здесь Шелгунова взяла для обучения языкам шестилетнюю дочку некоего Морозова, служащего вологодского помещика Лихачева. Об этом узнало губернское начальство, и Морозову было предписано немедленно взять свою дочь от Шелгунова, «находящегося под полицейским надзором». Никакие доводы Шел-

гунова, что воспитателем девочки является не он, поднадзорный, а его жена, не помогли (А. Пругавин, Н. В. Шелгунов в ссылке.— «Русская мысль», 1910, № 3, стр. 19—20).

Стр. 205. *Надо дождаться более умеренной температуры.*— Намек на крайне напряженную политическую атмосферу в Петербурге в связи с делом Каракозова (см. прим. к стр. 156 тома I наст. изд.). Благосветлов советовал Шелгуновой несколько повременить с возвращением из-за границы, так как обстановка для хлопот об облегчении участи ссыльного Шелгунова была явно неблагоприятной.

Второй том «Луча» должен был выйти около 20 июня.— После запрещения на пять месяцев «Русского слова» редакция его издала два тома сборника «Луч», каждый из которых представлял собой, по существу, сдвоенный номер «Русского слова». В объявлении, напечатанном 31 марта 1866 года в «С.-Петербургских ведомостях», говорилось, что «при главной конторе «Русского слова» вышел и продается «Луч», учено-литературный сборник, том первый». Далее указывалось, что «для подписчиков «Русского слова» на 1866 год этот сборник выдается бесплатно, взамен приостановленных книжек журнала». Первый том поступил к подписчикам, второй, после судебного дела, возбужденного цензурой против издателя «Луча» (сотрудника «Русского слова» П. Ткачева), был задержан, а отпечатанный тираж — 3500 экз.— арестован и спустя почти восемь лет, в октябре 1874 года, уничтожен (Ф. Кузнецов, Журнал «Русское слово», изд-во «Художественная литература», М. 1965, стр. 385—390).

...сажусь писать по поводу Гризингера «Душевных болезней».— Статья на эту тему не появилась в печати. Возможно, что Шелгунов не осуществил свое намерение или просто не смог опубликовать работу, так как «Русское слово» уже прекратило существование, а «Дело», в котором впоследствии стал сотрудничать Шелгунов, только начинало свою жизнь.

Она чего-то все ждала...— Неточная цитата из поэмы И. И. Козлова «Безумная». У. Козлова: «Она кого-то все ждала...»

Стр. 206. *Могут повторить опять историю Кулиша.*— Украинский писатель П. А. Кулиш за связь с тайной политической организацией — «Кирилло-Мефодиевское общество» — был арестован в марте 1847 года (одновременно с Н. И. Костомаровым и Т. Г. Шевченко) и сослан на три года в Тулу. До 1856 года ему было запрещено печататься.

Холера в Петербурге ослабевает...— 1866 год был одним из «холерных годов» в России. А. В. Никитенко записал в своем дневнике 14 июня 1866 года: «...На Васильевском острову появилась холера»; 23 июня: «В Петербурге холера...»; 28 июня: «Холера рас-

пространяется»; 1 июля: «Холера усиливается...» (А. В. Никитенко, Дневник, т. III, Гослитиздат, Л. 1956, стр. 39—40).

Стр. 207. *...письмо к Шувалову.*— Не разыскано.

Что «имею вредный образ мыслей, доказывающийся непропущенной цензурой статьей».— То есть статьей «Журнальные споры» (первоначальное название — «Русское слово»), написанной еще в 1862 году, до ареста. Она предназначалась для журнала «Русское слово», но была запрещена цензурой «как противная в целом ее составе коренным государственным постановлениям». На следствии она была предъявлена Шелгунову в качестве улики («Красный архив», т. 1 (14), М.—Л. 1926, стр. 129).

Стр. 208. *Евграф Егорович* — вероятно, брат Евгении Егоровны Михаэлис.

Стр. 209. *Из сорока восьми листов, набранных для первой книжки «Дела», двадцать два запрещены.*— О начале журнала «Дело» см. в воспоминаниях Шелгунова, стр. 205 тома I наст. изд.

Стр. 210. *...Хоминский перевел бы меня в другой город, но не знаю, сделает ли это Ушаков.*— Отчаявшись получить перевод в другую губернию, Шелгунов 2 ноября 1866 года пишет вологодскому губернатору С. Ф. Хоминскому письмо с просьбой перевести его в город Грязовец: «...Ко мне возвращается из-за границы жена, женщина больная, несколько лет лечившаяся на заграничных водах и на расстроенное здоровье которой суровый климат северо-востока Вологодской губернии обнаружит губительное влияние. Дети наши, проведшие большую часть своей жизни за границей, будут страдать неизбежно. Я уже заметил это на сыне, находящемся при мне, который с прошедшей зимы болен грудным катаром» (А. Пругавин, Н. В. Шелгунов в ссылке.— «Русская мысль», 1910, № 3, стр. 13). 19 декабря 1866 года Шелгунову было разрешено за собственный счет, в сопровождении конвойного, выехать в Кадников Вологодской губернии. В скором времени к нему приехала туда Шелгунова со старшим сыном.

...вследствие моего письма к государю...— Это письмо не разыскано.

4 апреля.— См. прим. к стр. 156 тома I наст. изд.

...по случаю приезда принцессы и свадьбы наследника (когда — не знаю) собираются уже справки от министерства.— Свадьба наследника (будущего императора Александра III) и датской принцессы Дагмары (впоследствии императрицы Марии Федоровны) состоялась 28 октября 1866 года. Надежды Шелгунова на предполагавшуюся по этому случаю амнистию не оправдались.

Стр. 211. *...высылаю последнюю статью...*— из предназначавшихся для № 1—2 «Дела». Если исключить статью «Потерянный

труд», отосланную значительно позже (16 декабря) и напечатанную в этой книжке журнала, возможно, под названием «Убытки земледельческой России», то последней статьей является одна из двух других, появившихся там же: «Статистика самоубийств» или «Великие люди».

Стр. 212. *...обязательна Ветлуга или нет?* — В декабре 1866 года Шелгунова обратилась к министру внутренних дел Валуеву с просьбой перевести мужа в другую губернию. Шелгунову был предложен перевод в уездный город Ветлугу Костромской губернии. Учитывая отдаленность Ветлуги от Вологды, от железной дороги, Шелгунов отказался от перевода.

Я в эти три года жила в Швейцарии <...> с осени до января обила в Петербурге все пороги... — См. прим. к стр. 196. О переводе мужа из Кадникова в «более благоприятный город» Шелгунова хлопотала с осени 1866 года до 1867.

Одну из таких коммун устроил <...> Слепцов. — Так называемая «Знаменская коммуна» была организована Слепцовым в сентябре 1863 года и просуществовала до июля 1864 года. Это была бытовая коммуна, состоявшая из интеллигентных трудящихся женщин и мужчин. Среди членов коммуны были переводчицы М. Н. Коптева, Е. И. Ценина, А. Г. Маркелова (Каррик); А. Ф. Головачев, В. Н. Языков, Е. А. Макулова. О «Знаменской коммуне» см. статью К. И. Чуковского «История слепцовской коммуны» в сборнике «Люди и книги» (Гослитиздат, М. 1958), а также материалы в посвященном В. А. Слепцову томе 71 «Литературного наследства» (М. 1963, стр. 441—460).

Стр. 213. *В это лето у нас в деревне гостили Зайцевы...* — Они гостили в Подолье летом 1863 года. Шелгунова жила там после приезда из Иркутска весной 1863 года и до отъезда в Швейцарию осенью того же года.

Стр. 214. *...Суворов заметил его <...> Николая Васильевича <...> перевели в губернский город Вологду.* — Весьма возможно, что перевод Шелгунова действительно был связан с его свиданием с Суворовым. 20 июня 1867 года вологодский губернатор получил бумагу от министра внутренних дел Валуева по поводу Шелгунова, которого министр «признал возможным <...> перевести на жительство в город Вологду с продолжением за ним там *полицейского надзора*» (А. Пругавин, Н. В Шелгунов в ссылке.— «Русская мысль», 1910, № 3, стр. 17).

...к нам приехал Лавров с своей старушкой-матерью. — После двухлетнего пребывания в ссылке в Тотьме П. Лаврову разрешено было осенью 1868 года переехать в Вологду. Здесь уже жил переведенный из Кадникова в июне 1867 года Шелгунов с семьей,

Лавров поселился в доме, стоявшем наискось от дома, где жил Шелгунов. Однако общение их в ссылке было очень кратковременным: в октябре того же года Лавров, по представлению начальника вологодского жандармского управления Мерклина, был выслан в Кадников (П. Витязев, Ссылка П. Л. Лаврова в Вологодской губ. и его занятия антропологией, Вологда, 1915, стр. 3).

Стр. 215. *От Писарева <...> письмо <...> о своем полном разрыве с Благосветловым.*— Об этом см. также стр. 204—206 тома I наст. изд.

...а тут подвернулась женщина.— Двоюродная сестра Писарева, М. А. Маркович (Марко Вовчок); см. также стр. 204 тома I наст. изд.

...письмо к Зайцеву и Писареву.— Не разыскано.

...устрой примирение.— Примирение не состоялось, разрыв Писарева с Благосветловым был окончательным (см. стр. 207—208 тома I наст. изд.).

О новых сотрудниках пусть при тебе же напечатают объявление.— Было напечатано в «Деле», 1868, № 2.

Какие мои статьи будут напечатаны во второй книжке? — В «Деле», 1868, № 2 были напечатаны: «Американские патриоты прошлого столетия», «Исторические увлечения» и «Уголовное правосудие и психология».

...проглядывал библиографию Ткачева <...> едва ли удастся примирение «Дела» с Зайцевым, ибо его крепко ругают.— Библиография — библиографические обзоры, которые вел в «Деле» Ткачев. В его обзорах этого времени не содержится никаких выпадов против Зайцева. Возможно, Шелгунова опустила часть письма мужа, и последняя фраза (с «едва ли» до «ругают») относится не к обзорам («библиографии») Ткачева, а к полемике Зайцева и Соколова с Благосветловым и Благовещенским (см. прим. к стр. 195).

Стр. 216. *В Вологде жил в то время сосланный туда же <...> Берви...*— Служивший в министерстве юстиции В. В. Берви (Флеровский), впоследствии известный народнический публицист, был в 1862 году арестован за протест против привлечения к суду тринадцати мировых посредников Тверской губернии (см. прим. к стр. 184 тома I наст. изд.) и выслан в Астраханскую губернию, потом в Сибирь, а в 1868 году он находился в ссылке в Вологде.

Стр. 217. *Благодарю тебя за хлопоты о моем переводе.*— 2 мая 1868 года Шелгунова уехала из Вологды в Петербург хлопотать о переводе мужа в местность, более благоприятную по климату и близкую к Петербургу или Москве.

Стр. 218. ...*«Старый вопрос» посылаю вам.*— Благосветлов возвратил Шелгунову статью «Новый ответ на старый вопрос». Какого характера недоразумения были по поводу этой статьи у Шелгунова с редакцией «Дела» — неизвестно. Вскоре статья появилась в «Деле» (1868, № 8).

Отказ объявлен мне официально.— 23 февраля 1868 года Шелгунов подал губернатору просьбу о переводе в Ярославль. 10 июля министерство внутренних дел отказало Шелгунову в его просьбе (А. Пругавин, Н. В. Шелгунов в ссылке.— «Русская мысль», 1910, № 3, стр. 23).

...предпринять целую серию детских изданий под одним общим названием...— Шелгуновым не удалось.

Стр. 219. *...вышли русский перевод Адама Смита, Мальтуса...*— Очевидно, «Исследования о природе и причинах богатства народов» А. Смита и «Опыта о законе народонаселения» Т. Мальтуса.

«История открытий и изобретений» — по-видимому, издание М. О. Вольфа «Вокруг света. Сборник землеведения, естественных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений», т. I—VIII, СПб. 1861—1868.

...Негрескуло живет в деревне <...> узнай, когда Негрескуло приедет в Петербург.— Несомненно, за этим поручением скрывалась просьба Лаврова, отбывавшего вместе с Шелгуновым ссылку в Вологде: участник революционного движения шестидесятых годов, М. Ф. Негрескул был женат на дочери Лаврова, Марии Петровне.

Стр. 220. *...я писал <...> к Шульгину и Ткачеву.*— Эти письма не разысканы.

Стр. 221. *Был я у Мерклина.*— Через начальника вологодского губернского жандармского управления Мерклина Шелгунов ходатайствовал о переводе в другую губернию.

Стр. 222. *«Внутреннее обозрение»* — отдел журнала «Дело».

Стр. 223. *Еду хоть к черту на кулички, лишь бы не оставаться дольше в Вологде.*— 20 апреля 1869 года Шелгунову было разрешено переехать в Калугу, где он прожил до 28 февраля 1874 года (А. Пругавин, Н. В. Шелгунов в ссылке.— «Русская мысль», 1910, № 3, стр. 23).

В. С.— Кто скрыт под этим криптонимом, установить не удалось.

Кончил сегодня статью «О школьной грамотности» <...> это вопрос, за который меня выругали в «Голосе» и не согласились <...> в «Новом времени».— Эта статья, напечатанная в «Деле», 1869, № 4, под названием «Односторонность промышленного прогресса», была ответом Шелгунова на разбор его статьи «Задача зем-

ства» (там же, № 1) в газетах «Голос» (1869, № 54, 23 февраля) и «Новое время» (1869, № 35, 19 февраля). В «Задаче земства» Шелгунов писал, что распространять грамотность, не развивая «промышленный быт», то есть индустрию и сельское хозяйство, означает «делать второй шаг, не сделавши первый». П. Д. Боборыкин (под псевдонимом Нила Адмирари) обрушился в «Голосе» на Шелгунова как на «апостола невежества». В «Новом времени» анонимный автор обзора журналов, отметив важность поднятых Шелгуновым проблем, в особенности то место, где он утверждал, что в борьбе с такими пороками, как пьянство, «обыкновенная школа не поможет ничему и нужна школа иная. Безнравственность нашего народа есть его бедность», писал: «Вполне сознавая всю непреложность последней истины, мы, однако ж, не можем признать абсолютно справедливыми все доводы г. Шелгунова...»

Стр. 225. *...вместе проехали в Калугу, где прямо наняли дачу...*— Шелгуновы приехали в Калугу 22 мая 1869 года и поселились на лето в пригородной деревне Подзавалье.

Я послал в «Дело» статью против Каткова <...> пойдет ли она в феврале? — Возможно, Шелгунов справляется о статье «Глухая пора» (была напечатана в апреле), где он полемизирует с катковскими изданиями.

Стр. 226. *Что ты падаешь духом? Что за страхи?* — В это время Шелгунова ждала ребенка. Через две недели, 30 мая 1870 года, родилась дочь Шелгуновых — Людмила (см. о ней также прим. к стр. 25).

Христиан Андреевич — Х. А. Нордстрем, двоюродный брат Шелгуновой, врач.

Стр. 227. *А вот статья о Страхове (женский вопрос)...*— «Суемудрие метафизики» («Дело», 1870, № 6).

Ольга Андреевна — знакомая Шелгуновых, учительница Ольга Андреевна Карачарова (см. также стр. 237). Ей посвящена статья Шелгунова о Тургеневе «Неустранимая утрата» («Дело», 1870, № 6).

Я объяснился с губернатором.— С калужским губернатором А. Г. Казначеевым.

М.— Возможно, Н. В. Мезенцев, управляющий III Отделением и начальник штаба корпуса жандармов.

Буду и через Смирнова, но он еще не приехал из Москвы.— То есть через начальника калужского губернского жандармского управления С. И. Смирнова, находившегося в это время в служебной командировке в Москве.

Стр. 228. *«Русский вестник» в июле и, кажется, в августе или сентябре 1870 очень усердно меня ругает.*— В «Заметках» в июль-

ской и сентябрьской книжках «Русского вестника» за 1870 год содержались грубые нападки на статьи Шелгунова в «Деле» за 1870 год: «Глухая пора» (№ 4), «Бессилие мысли и сила жизни» (№ 5), «Внутреннее обозрение» (№ 6), «Право и свобода» (№ 7), «Первый немецкий публицист» (№ 8).

...статью о Писареве, которую я думаю приготовить для январской книжки...— Статья «Сочинения Д. И. Писарева. 10 ч. С.-Петербург. 1866—1869» поступила из редакции «Дела» в петербургский цензурный комитет в гранках и была запрещена. Впервые опубликована в «Литературном наследстве», т. 25—26, М. 1936.

За что этот подарок? — Очевидно, Шелгунова сообщила мужу о своем решении переехать с детьми к нему в Калугу. С 1871 года по 1874 она жила там безвыездно.

Стр. 229 *«О раздумье».*— То есть «По поводу одной книги» (Соч., т. 2, 1871), о сб. Герцена «Раздумье».

Хотелось бы мне писать по поводу Авдеева, но удобно ли в «Деле», где он печатает? — Статья «Неоконченный вопрос» — о сочинениях М. В. Авдеева — была опубликована в «Деле», 1871, № 4.

...я пишу по поводу Ожигиной («Своим путем») и «Алины-Али».— Статья «Творческое целомудрие», посвященная критическому разбору произведения Л. Ожигиной «Своим путем» (СПб. 1870) и романа Андре Лео «Алина-Али» (М. 1870) была напечатана в «Деле», 1871, № 1.

Евдокимов — возможно, В. Я. Евдокимов, участник радикальных кружков шестидесятых годов, работавший в книжном магазине Серно-Соловьевича, а позже — Черкесова в Петербурге.

Стр. 231. *В «Московских ведомостях» телеграмма от 22 о высочайшем повелении...*— В № 23 «Московских ведомостей» от 24 января 1874 года было напечатано «повеление» от 9 января в ознаменование бракосочетания княжны Марии Александровны «О даровании некоторых облегчений лицам, подвергшимся по 1 января 1871 года обвинениям в государственных преступлениях, если они не совершили после того каких-либо новых преступлений и не были замечены ни в чем предосудительном». Третьим пунктом его предусматривалось освобождение из-под полицейского надзора ссыльных, находящихся в Европейской России. Шелгунов безуспешно надеялся, что на него будет распространено действие этого повеления.

Губернаторская аттестация к 1 января уже в Петербурге. Баранова тоже.— То есть и аттестация, сделанная К. И. Барановым, начальником Калужского губернского жандармского управления.

...мне кажется, что Петербург тебя обманул...— Шелгунова поехала в Петербург хлопотать о переводе мужа в Новгород. 22 февраля 1874 года по телеграфу в Калугу пришло распоряжение о переводе в Новгород, куда Шелгунов выехал 28 февраля (Д. И. Малинин, Н. В. Шелгунов в Калуге.— «Голос минувшего», 1915, № 11, стр. 273).

«Попытки русского сознания» — были опубликованы в «Деле», 1874, №№ 1 и 2.

Стр. 232. *В Новгороде мы прожили что-то около года с небольшим, и затем Николая Васильевича перевели в Выборг...*— Шелгунов приехал в Новгород 3 марта 1874 года. 25 мая 1875 года он был переведен по его просьбе в Выборг, где находился до 19 апреля 1876 года, а затем снова вернулся в Новгород. 19 декабря 1876 года на имя новгородского губернатора Лерхе пришло уведомление от министра внутренних дел, что Шелгунов освобожден от надзора полиции «с дозволением жительства повсеместно, за исключением столиц и столичных губерний». 21 июня 1877 года Шелгунову было разрешено «жительство в столицах и столичных губерниях». Однако негласный надзор сохранялся и позже (О. П. Пресняков, Н. В. Шелгунов в Новгороде.— «Ученые записки Новгородского педагогического института», т. II, вып. 2, Новгород, 1957, стр. 33—50).

...принялась за переводы фельетонных романов и детские рассказы.— Литературная деятельность Шелгуновой за этот период была очень плодотворной. Она перевела для русского юношества десятки произведений иностранных классиков. В издательстве Ф. Павленкова (СПб.) вышла серия «Иллюстрированные романы Чарльза Диккенса в сокращенном переводе Л. П. Шелгуновой», куда вошло двенадцать романов. В серии «Иллюстрированные романы Вальтера Скотта в сокращенном переводе Л. П. Шелгуновой» в том же издательстве вышло шесть романов. В издательстве В. Губинского вышел ее перевод романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1899). В полном собрании сочинений Ж. Верна (изд. М. Вольфа, 1891—1897) был напечатан перевод Шелгуновой романа «Приключения капитана Гаттераса». Кроме того, в ее переводах вышли два романа Г. Эберса: «Серапис» (1894) и «Клеопатра» (1896); роман Альфреда Рамбо «Печать Цезаря» (1899), «Рождественские рассказы» Ч. Диккенса (журнал «Детское чтение», декабрь 1894), «Тысяча и одна ночь. Сказки Шехерезады. Перев. с английского» (1894).

В эти годы Шелгунова написала и составила много детских книжек. Среди них: «В стране контрастов. (Из жизни и природы Туркестанского края. Составлено по Каразину, Иванову и др.)» (СПб. 1890), «Звездочка» (СПб. 1894), иллюстрированные таблицы

с рисунками «Животные» и «Растения и минералы» (СПб. 1897), «Русские исторические рассказы» (СПб. 1901).

В 1882 году вышла первым изданием книга Л. Шелгуновой и Е. Михаэлис «Дешевый домашний стол, скоромный и постный», выдержавшая при жизни автора пять изданий. В 1914 году вышло ее седьмое издание.

Шелгунова написала также много сказок и рассказов, печатавшихся в детских журналах. В 1903 году эти сказки и рассказы были переизданы И. Сытиным в его «Детской библиотечке». Среди них: «Бой и Шнель», «Маруська. Рассказы про кошек», «Медведь», «Храбрый лев», «Шалунья» и др.

Из следующих писем видно, как Николай Васильевич торопился уехать.— Шелгунова включила в свою книгу лишь одно письмо этого периода.

Стр. 235. *Я в продолжение пяти лет работала в «Новостях». В «Живописном обозрении» я работала двадцать лет.*— Работа Шелгуновой в газете «Новости» относится, по-видимому, к 1889— началу 1890-х годов. 4 февраля 1889 года она писала А. М. Скабичевскому, прося рекомендовать ее издателю-редактору «Новостей» О. К. Нотовичу: «Попросите его дать мне переводы романов (с трех языков), и цену он может мне сбавить перед другими переводчиками. Нет такой цены, за которую я не взялась бы теперь за постоянную работу» (ИРЛИ, Отдел рукописей, арх. А. М. Скабичевского, ф. 283, оп. 2, ед. хр. 199, л. 1). Для публикации в приложениях к журналу «Живописное обозрение стран света» Шелгунова переводила романы Г. Эберса, «Тысяча и одну ночь» и др. произведения.

...он поехал лечиться.— Весной 1882 года — в Крым. По дороге Шелгунов остановился в Киеве, где навестил знакомых.

Стр. 236. *На следующий год, 6 декабря, технологи давали бал <...> — его обвинили в речи, которой он не говорил...*— Вечер (бал) состоялся не в следующем, а в том же 1882 году. Участие Михайловского и Шелгунова в нем было лишь поводом для их высылки. Истинная причина заключалась в связях Михайловского и Шелгунова с революционным народничеством. Правительству было известно по агентурным донесениям о связях Михайловского с народовольцами-террористами, в частности с Верой Фигнер. Шелгунов печатал на страницах редактируемого им «Дела» революционеров-эмигрантов С. Степняка-Кравчинского, Л. Тихомирова и др. Не мог, конечно, забыть департамент полиции и о прошлой деятельности Шелгунова, за которую он поплатился пятнадцатью годами заключения и ссылки, откуда вернулся в Петербург лишь несколько лет

назад. На этот раз Шелгунова выслали в Выборг, куда он выехал в конце декабря (см. также стр. 375 тома I наст. изд.).

Николаю Васильевичу позволили переехать в Царское Село и поехать за границу...— В Царское Село Шелгунову было разрешено переехать в начале апреля 1883 года, а в середине июля его освободили от высылки (ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 181, оп. 1, д. 768, лл. 3—4, 12 об.). В первых числах марта 1884 года Шелгунов выехал из Петербурга. 4 марта, проездом, был в имении Поповых Воробьеве, затем уехал в Ниццу.

Людмила Николаевна — жена Михайловского.

Стр. 237. *Гайдебуров мне пишет как о слухе, что редактор «Делу» утвержден не будет.*— В 1883 году «Дело» подписывали следующие лица: №№ 1—5 — редактор К. М. Станюкович, № 6 — за редактора Лебедев (владелец типографии), №№ 7—12 редактор В. П. Острогорский. 14 июля 1883 года Шелгунов писал из Царского Села Михайловскому: «Не утвердили нам редактором Лебедева как «заведомо подставного» (ИРЛИ, Отдел рукописей. ф. 181, оп. 1, д. 768, л. 11). Острогорский был утвержден редактором в конце июля.

Стр. 238. *...Вольфсон <..> переговоры <...> ведет с Станюковичем через поверенного...*— О неудавшейся попытке продать «Дело» Вольфсону см. прим. к стр. 290 тома I наст. изд. Станюкович в это время находился в заключении в Петропавловской крепости (см. прим. к стр. 377 и 312 там же).

Как видно, Александр Николаевич не прочь видеть «Дело» в руках Ольги Николаевны...— Александр Николаевич — Попов, близкий знакомый Шелгунова. Ольга Николаевна — жена Попова, впоследствии известная издательница. Шелгунов в письмах к Попову от 27 мая и 21 июня 1884 года («Современный мир», 1911, № 5, стр. 149—151) подробно сообщал о своих переговорах с Вольфсоном, Цебриковой и другими литераторами и издателями. Очевидно, в не дошедших до нас письмах Попов писал Шелгунову о своем желании приобрести «Дело» для жены.

Стр. 239. *...говорят, заводит толстый журнал Суворин.*— Эти слухи не подтвердились. Единственный «толстый» журнал, издававшийся Сувориным,— «Исторический вестник» — был им основан еще в 1880 году.

Вольфсон больше ученый, чем журналист... — См. иную его характеристику на стр. 291 тома I наст. изд. и в прим. к ней.

Станюкович оказался вполне на высоте своей задачи: на «Деле» тридцать три тысячи (с сотнями) долгу...— В письме к Попову от 27 мая 1884 года Шелгунов выразился еще резче: «Когда <после ареста Станюковича.— *Э. В.* и *Л. Р.*> контора и ее книги доста-

лись нам, то и обнаружилась вся беспорядочность и неспособность Станюковича вести дело. Состояние кассы равно нулю» («Современный мир», 1911, № 5, стр. 149).

Стр. 240. *...остаться до возвращения из плавания Коли и уехать на мельницу.*— Коля — Николай Николаевич Шелгунов — учился в это время в Петербургском военно-морском училище и находился в учебном плавании. Мельница, на которую хотел уехать Шелгунов, принадлежала его друзьям Поповым. Об этой мельнице он писал 14 ноября 1885 года С. Н. Кривенко: «Насчет мельницы ваши сведения не точны. Там, где я живу, есть, точно, мельница, но она не моя, и на ней я ничего не мелю и живу в великой тоске по людям, которых, должно быть, мне уже больше не увидеть» («Вестник Европы», 1911, № 4, стр. 225).

Осуществление моего так хорошо задуманного плана, как ты видишь, остановилось на самой первой его части.— За день до написания данного письма, 28 июня 1884 года, Шелгунов был арестован и отправлен в дом предварительного заключения. Об этом подробно рассказано в его воспоминаниях «Арест и высылка 1884 года» и в воспоминаниях Е. Ардов-Апрелевой «Муки редактора» (см. том I наст. изд.).

...«Мальтийского жида» в переводе Миши.— Сын Михайлова и Шелгуновой, М. Н. Шелгунов, отличался большими способностями к языкам и, подобно отцу, занимался стихотворными переводами. В числе его работ был перевод с английского трагедии К. Марло «Мальтийский жид» (СПб. 1882). В. И. Дмитриева в своих воспоминаниях писала о Михаиле Николаевиче: «...Он довольно недурно переводил Гейне, перевел стихами либретто оперы «Фауст». <...> Способный был человек и чрезвычайно остроумный в спорах; своим хладнокровием и иронией он доводил оппонентов до белого каления, и редко кто выдерживал спор с ним до конца. <...> Несмотря на иронический склад своего ума и склонность к скептицизму, Шелгунов не лишен был некоторой дозы романтизма, любил разные конспирации и окружал свою жизнь таинственностью» («Так было. (Путь моей жизни.)», М.— Л. 1930, стр. 214—215). М. Н. Шелгунов участвовал в революционном движении восьмидесятых годов.

Стр. 241. *...я поступил в лазарет...*— См. прим. к стр. 317 тома I наст. изд.

Стр. 242. *Особенно о твоем приезде хлопочет Люба.*— Любовь Васильевна, прислуга, много лет находившаяся у Шелгуновых.

Училище — Петербургское военно-морское училище, в котором учился в то время Н. Н. Шелгунов.

Стр. 243. *...я начинаю сомневаться, чтобы пословица о битой посуде была справедлива.*— Шелгунов, по всей вероятности, говорит о пословице: «Битая посуда два века живет».

Двое суток по железной дороге и сорок верст на колесах...— 25 октября 1884 года Шелгунов был освобожден из дома предварительного заключения с запрещением проживать в столицах и столичных губерниях и с обязательством оставить Петербург не позже, чем через три дня. Выбрав местом высылки село Воробьево (см. прим. к стр. 244 и 246), Шелгунов выехал туда из Петербурга 29 октября.

Стр. 244. *...Александр Николаевич, встретивший меня на вокзале...*— В имении Попова — с. Воробьево-Соболево, Смоленской губернии — Шелгунов жил почти безвыездно последние шесть лет жизни после освобождения из дома предварительного заключения (см. предыдущ. прим.). С Поповым он познакомился в середине семидесятых годов, в Новгороде, где тот был председателем губернской земской управы и давал работу политическим ссыльным, в том числе и Шелгунову. В середине восьмидесятых годов это знакомство перешло в близкую дружбу. В Воробьеве Попов выстроил для Шелгунова маленький домик.

В Петербурге <...> камертоны, которые есть, не в мой тон...— Намек на «Неделю» и «Вестник Европы», в которых пытался было сотрудничать Шелгунов.

Катерина Григорьевна — Бартенева.

Стр. 245. *Процесс Мироновича* — проходил в ноябре — декабре 1884 года в петербургском окружном суде. Отставной подполковник, владелец ссудной кассы И. И. Миронович, обвинялся в убийстве тринадцатилетней Сары Беккер, дочери его конторщика. 5 декабря 1884 года суд признал Мироновича виновным и приговорил его к каторжным работам сроком на семь лет («Санкт-Петербургские ведомости», 1884, № 336, 5 декабря). О поведении Мироновича в заключении см. на стр. 317 тома I наст. изд.

Отослал я статью в «Неделю» <...>. Послал <...> еще статейку (передовую)...— Эти статьи напечатаны не были, и рукописи их не разысканы.

Задумал я ряд статей <...> «Из прошлого и настоящего».— См. текстологический комментарий к тому I наст. изд.

Уж я боюсь, чтобы не случилось то же, что у Костомарова.— Н. И. Костомаров сообщал в своей «Автобиографии», что, находясь в Саратове, куда он был выслан после ареста в 1847 году (см. прим. к стр. 206), он заболел. Его «одолела невыносимая головная боль и нервные припадки, сопровождаемые галлюцинациями слуха». От этих болезней Костомаров лечился холодными обливаниями

(«Автобиография Н. И. Костомарова», изд. «Задруга», М. 1922, стр. 44, 206).

Стр. 246. *Послал статью в «Вестник Европы»...*— См. текстологический комментарий к «Из прошлого и настоящего» в томе I наст. изд.

... *желание выскочить из Воробьева <...> все чужие <...> остается или повеситься, или убежать.*— Письмо это писано в один из самых трудных периодов жизни Шелгунова, в мае 1885 года, когда он находился в угнетенном душевном состоянии, был лишен любимой журнальной работы, материально зависел от Поповых. Лишь в конце года, когда «Русская мысль» предложила Шелгунову вести «провинциальное обозрение» (вылившееся затем в ставшие популярными во всей России «Очерки русской жизни»), Шелгунов снова обрел душевное равновесие. Его отношение к Поповым было за все последние годы жизни неизменно хорошим. 27 марта 1891 года смертельно больной Шелгунов писал Попову: «Я, вступив с старостью в последний акт своей жизни, чувствую, что привязан к вам тысячами ниточек и мои нравственные корни у вас. <...> Храмом моего труда за последние шесть лет, когда я вновь поднялся в общественном мнении, был мой воробьевский кабинет и мой письменный стол». И наконец, в последнем письме, написанном под его диктовку 31 марта 1891 года, умирающий Шелгунов мечтает о «воробьевском рае»: «Все мои мысли теперь только об этом да о вас, в котором я ищу и знаю, что найду все, что может дать любовь и дружба, и взаимное береженье и взаимное уважение, а главное — взаимное пониманье» («Современный мир», 1911, № 5, стр. 166—167, 168).

... *какое влияние на смерть имело заключение. <...> История <...> Петра Ларионыча <...> по поводу оставшихся рукописей.*— Об этом рассказывается в письме П. Л. Михайлова, напечатанном в приложениях к наст. тому.

Стр. 247. *Благодарю за письмо Петра Ларионовича и за сведения.*— То есть за пересылку письма П. Л. Михайлова о последних днях жизни брата и сведения, о которых Шелгунов запрашивал в предыдущем письме.

... *нажали и больше писать не придется.*— См. текстологический комментарий к «Из прошлого и настоящего» (том I наст. изд.).

Истомился я весьма этими неизвестностями...— Речь идет о судьбе сына Шелгуновой и А. Серно-Соловьевича, Николая, находившегося в заключении в Петропавловской крепости. Н. Н. Шелгунов возглавил с 1884 года военно-революционную группу воспитанников Петербургского военно-морского училища. В 1887 году он в числе других участников организации был арестован на клипере

«Наездник», совершавшем трехгодичное кругосветное путешествие. Суд состоялся в Петербурге в ноябре того же года. Н. Н. Шелгунова приговорили к каторжным работам, которые были заменены разжалованием в солдаты (сб. ««Народовольцы» 80 и 90-х гг.», кн. XXXIX, М. 1929; В. Селиванов, Моряки-народовольцы, М. 1931, стр. 125—126; «Письма Н. В. Шелгунова к С. Н. Кривенко».— «Вестник Европы», 1911, № 4, стр. 224—242; «Письма Н. В. Шелгунова В. А. Гольцеву».— Сб. «Памяти В. А. Гольцева», М. 1910, стр. 166—183).

Стр. 248. *Спроси, кстати, какая судьба постигла мою рукопись о сибирской печати...*— Статья о сибирской печати была послана Шелгуновым 15 декабря 1886 года Михайловскому для «Северного вестника», но напечатана не была, очевидно, по цензурным соображениям.

Стр. 249. *...одно из Курска, другое из Харькова.*— Н. Н. Шелгунов посылал письма с дороги в Александрополь Эриванской губернии, куда его сослали рядовым в 6-й Кавказский резервный батальон. В Александрополе он пробыл три года, затем был переведен в Пятигорск и произведен в офицеры.

Стр. 250. *...книжные поручения Коли?* — Н. Н. Шелгунов давал уроки восьмилетней дочери своего ротного командира, Ф. В. Еманцеля. В письме к издателю «Русской мысли» В. М. Лаврову от 9 июля 1888 года Шелгунов просит в счет своего гонорара выслать в адрес Н. Н. Шелгунова французскую книжку с картинками (ЦГАЛИ, ф. 640, оп. 1, ед. хр. 238). Редактора «Русской мысли» Гольцева он в письме от 29 января 1889 года просит выслать Коле «Всеобщую историю» Вебера в переводе Андреева (сб. «Памяти В. А. Гольцева», М. 1910, стр. 179).

Стр. 250—251. *Анна Федоровна.*— По-видимому, служащая или компаньонка Шелгуновой.

Стр. 251. *...пошли прилагаемое письмо к Александру Константиновичу...*— Это письмо к Шеллеру-Михайлову не разыскано.

...а воды побросал, ибо занялся делами.— В Пятигорске Шелгунов усиленно хлопотал об облегчении участи Коли (см. прим. к стр. 247 и 249), для чего и предполагал выехать в Тифлис, где находилось местное воинское начальство. По-видимому, кто-то из начальства Коли приехал на воды в Пятигорск («Тифлис сам сюда приехал»— см. ниже). После перевода в конце 1889 года Н. Н. Шелгунова в Пятигорск и последовавшего производства в офицеры находившийся на лечении в Пятигорске Н. В. Шелгунов постоянно виделся с ним. «Колю вижу по десяти раз в день,— писал счастливый Шелгунов Гольцеву 12 мая 1890 года,— и думаю, что он будет лучшим моим лекарством» (сб. «Памяти В. А. Голь-

цева», М. 1910, стр. 183). Уже после смерти Н. В. Шелгунова Н. Н. Шелгунову в 1895 году удалось поступить в Горный институт, который он закончил в 1898 году. Жизнь Н. Н. Шелгунова закончилась трагически: в 1909 году, на Урале, где он служил управляющим одного из заводов, его, при невыясненных обстоятельствах, убила собственная дочь («Современный мир», 1911, № 5, стр. 162).

Стр. 252. *...какие такие могут быть у тебя дела, чтобы за них потерпеть.*— Очевидно, Шелгунова сообщала о каких-то неприятностях, скорее всего связанных с «конспирациями» ее старшего сына, М. Н. Шелгунова, у которого производились полицейские обыски (В. И. Дмитриева, Так было. (Путь моей жизни.), М.— Л. 1930, стр. 216).

Лаврову о высылке твоих переводов написал...— Видимо, о переводе романа Т. Харди «The Woodsanders», который Шелгунова предлагала В. Лаврову для «Русской мысли» (см. ее письмо к Лаврову от 7 июня 1888 года.— ЦГАЛИ, ф. 640, оп. 1, ед. хр. 238).

Людинька — Людмила Николаевна (см. прим. к стр. 226 и 25).

Стр. 253. *...его сочинений. Павленков начал тогда издавать их.*— См. стр. 28 тома I наст. изд.

Стр. 254. *...стали приходить целые толпы студентов и дам.*— См. воспоминания современников о последних днях жизни и похоронах Шелгунова в приложении к тому I наст. изд.

М. Л. МИХАЙЛОВ

ЗАПИСКИ

(Стр. 257)

При жизни Михайлова не публиковались. Написаны вскоре после его прибытия на каторгу в Казаковский прииск, в марте — июне 1862 года, как это указано самим автором (см. стр. 426). «Записки» предназначались не для печати, а были адресованы Шелгуновой и поэтому не имели заглавия, а также не получили окончательной отделки, что выразилось в разнохарактерной разбивке на главы и подглавки. Шелгунова же являлась и владелицей автографа, местонахождение которого теперь неизвестно.

Впервые отрывок из «Записок», повествующий о пути Михайлова в Сибирь, был опубликован через сорок лет после их написания Н. Белозерским в вольном изложении, под заглавием «От

Петербурга до Нерчинска», в журнале «Русская мысль», 1902, № 12. Имел ли публикатор в своем распоряжении автограф или список, неизвестно. В 1905 году Б. Базилевский (В. Богучарский-Яковлев) привел краткое изложение воспоминаний Михайлова (до отправки в Сибирь), под заглавием «Отрывки из записок М. Л. Михайлова» с отдельными цитатами из них, в книге «Материалы для истории революционного движения в России в 60-х гг.», изданной в Париже. В примечании к публикации говорилось: «Эти отрывки мы помещаем в том виде, в котором они переданы нам одним русским литератором, имевшим возможность ознакомиться с подлинными записками Михайлова. Опубликовать эти записки полностью по некоторым причинам не представляется еще возможным»[1]. Из этого примечания следует, что у Богучарского был список, а не автограф.

Лишь после революции 1905 года, когда цензурные тиски были временно ослаблены, воспоминания Михайлова смогли увидеть свет, причем одновременно в двух журналах — в «Русском богатстве» (1906, № 6, стр. 32—85; № 7, стр. 39—64; № 8, стр. 34—74; № 9, стр. 37—62) и в «Русской старине» (1906, № 8, стр. 388—455; № 9, стр. 536—581; № 10, стр. 162—199). В первом они были озаглавлены «Из записок М. Л. Михайлова», во втором — «Из дневника М. И. Михайлова».

Обе публикации не полны, что и отмечено в их заглавиях предлогом «из». В них отсутствуют главы, освещающие гражданскую казнь Михайлова, встречу с друзьями перед отправкой из Петербурга и начало пути в Сибирь. В «Русском богатстве» этот пропуск не оговорен, лишь отмечен строкой отточий. С многоточия начинается здесь и следующий за пропуском текст, озаглавленный «В дороге». В «Русской старине» пропуск возмещен подстрочным примечанием, где кратко, но осведомленно перечисляются некоторые факты из жизни Михайлова за опущенный в публикации период. Кроме того, в примечании к началу следующей за пропуском главы, открывающейся тоже тремя точками, говорится, что в рукописи не хватает одной страницы. Однако, учитывая скрупулезность описания событий, которой отличаются «Записки», надо думать, что пропуск значительно обширней.

Вряд ли этот пропуск, одинаковый в обеих публикациях, связан с цензурными препятствиями. В результате революционного натиска на самодержавие борьба с цензурой в это время была значительно облегчена, особенно когда дело касалось материалов, освещающих события прошлого. Неизвестно к тому же, были ли

[1] «Материалы для истории революционного движения в России в 60-х гг.», Париж, 1905, стр. 2.

эти главы более «нецензурны» с точки зрения требований 1906 года, чем весь остальной текст «Записок», содержавший откровенную сатирическую критику самодержавия. Богучарский обрывает свое изложение «Записок» на тех же событиях, что даны в «Русском богатстве» и «Русской старине», хотя печатал «Материалы» за границей и без цензуры. А его ссылка на «некоторые причины», не позволяющие полностью опубликовать «Записки», указывает на существование каких-то других соображений, не связанных с цензурой. Такого же рода беглое замечание содержится в рецензии сотрудника «Голоса минувшего» В. Мияковского, человека весьма осведомленного, который, говоря о появлении в печати «Записок» Михайлова, пишет, что отдельные места их «ждут еще некоторой давности» [1]. Так как никого из людей, причастных к конспирациям Михайлова или его интимным отношениям с Шелгуновой, уже давно не было в живых [2], то остается предположить, что срок давности был определен самой Шелгуновой. Видимо, в опущенных главах содержались какие-то подробности личного порядка, появление которых в печати при жизни знавших ее людей было для нее нежелательным. Примечание, восполняющее пропуск в «Русской старине», могло принадлежать Шелгуновой или лицу, знавшему содержание этих глав либо знакомому, со слов Шелгуновой, с некоторыми подробностями жизни Михайлова.

Существует мнение, будто в редакции «Русской старины» рукопись «Записок» была получена непосредственно от Шелгуновой. На это указывает якобы следующее примечание в журнале: «В доставленной в редакцию рукописи г-жи Шелгуновой недостает одной страницы» [3]. Между тем это примечание не дает оснований для такого заключения: в нем говорится о принадлежности рукописи Шелгуновой, а не о том, что именно ею она была доставлена. Шелгунова умерла за пять лет до напечатания «Записок». При ее жизни, когда и самое имя Михайлова было под запретом, она не могла передать рукопись в редакцию, так как публикация воспоминаний совершенно исключалась. Весьма сомнительна возможность передачи ею рукописи в расчете на лучшие времена, а тем более в «Русскую старину» — журнал весьма умеренный после смерти его основателя М. И. Семевского. Во всяком случае, первый появившийся в печати отрывок, который в приглаженном виде оказалось возможным напечатать и при строгой цензуре, был опубликован

---

[1] «Голос минувшего», 1914, № 6, стр. 289.

[2] К этому времени умерли не только Михайлов и Шелгуновы, но и сын Шелгуновой от Михайлова, М. Н. Шелгунов, скончавшийся в 1897 году.

[3] «Русская старина», 1906, № 9, стр. 536.

Белозерским не в «Русской старине», а в «Русской мысли» — и лишь через год после смерти Шелгуновой. Гораздо больше оснований считать, что Шелгунова при жизни не только не могла, но и не хотела публиковать воспоминания Михайлова даже в отрывках.

Принадлежность Шелгуновой рукописи, о которой говорится в примечании «Русской старины», не дает оснований считать, что это был автограф. О нем вообще нет никаких сведений. Имеющиеся данные о судьбе литературного наследства, принадлежавшего Шелгуновой, также не вносят ясности в этот вопрос. Архив Шелгуновой перешел по наследству к ее дочери Л. Н. Лукиной. Непричастная к литературе и ничего не публиковавшая, она в мае 1902 года продала библиофилу П. А. Картавову рукописи воспоминаний Шелгуновой и всех сочинений и переводов Михайлова вместе с правами на их публикацию[1]. Были ли в числе проданных рукописей «Записки» Михайлова — неизвестно. Картавов, лично издававший имевшиеся у него материалы и рекламировавший свои публикации, нигде о «Записках» не упоминал. У Лукиной после продажи рукописей Картавову сохранялась еще немалая часть архива матери[2], но также неизвестно, оставались ли у нее воспоминания Михайлова.

Вопрос о том, по каким источникам печатались «Записки» в «Русском богатстве» и «Русской старине», можно решить лишь сличением текстов публикаций. Значительное число имеющихся в них разночтений свидетельствует, что в каждом из журналов воспоминания печатались по разным рукописям. Неисправность же того и другого текста, изобилующих совершенно явными, порой очень грубыми ошибками, не оставляет сомнения в том, что ни в одной из двух редакций не было автографа, а имелись лишь два разных списка, принадлежавших разным же владельцам, чем объясняется и факт одновременного печатания «Записок» в двух журналах.

Кто были эти владельцы, неизвестно[3]. Остается неизвестным и

[1] Договор с П. А. Картавовым «О продаже в вечную и потомственную собственность принадлежащих Л. Н. Лукиной прав на издания» хранится в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Отдел рукописей, арх. П. А. Картавова, ф. 341, д. 246, лл. 1—4 об.

[2] В частности, у Лукиной в доставшемся ей по наследству имении Михаэлисов Подолье, где последние годы жизни проживала вся семья Шелгунова, хранился дневник Шелгуновой (позже украденный), письма Шелгунова к жене (переданные Лукиной в Отдел рукописей ИРЛИ) и другие неизвестные материалы, погибшие при пожаре в 1959 году. (Сообщено внуками Шелгуновых — Н. М. Садиловой и С. М. Лукиным.)

[3] В архивах журналов «Русское богатство» и «Русская старина» не удалось обнаружить ни переписки, проливающей свет на вопрос о публикации воспоминаний Михайлова, ни гонорарных ведомостей, по которым можно было бы установить владельцев рукописей.

имя русского литератора, передавшего Богучарскому список воспоминаний Михайлова. Вероятно, списков было несколько. В частности, надо думать, что собственный список должен был быть у П. В. Быкова, близкого знакомого Михайлова и Шелгуновых, составлявшего еще в восьмидесятых годах библиографию сочинений Михайлова [1]. Очень возможно, что именно ему и принадлежит публикация в «Русской старине» [2] (из чего, впрочем, не следует, будто его список был исправнее других [3]) и текст примечания, заменяющего опущенные главы.

Большинство разночтений в «Русском богатстве» и «Русской старине» являются результатом неисправной переписки с подлинника. Число таких разночтений приближается к тысяче.

В обеих публикациях обнаруживаются пропуски отдельных слов (в «Русской старине» около ста, а в «Русском богатстве» — более восьмидесяти), целых фраз и даже нескольких, следующих одно за другим предложений. В обеих публикациях содержатся явные смысловые и стилистические погрешности — результат ошибочного прочтения близких по написанию слов (например, «лгать» — «мать», «желтым» — «железным», «следственная комиссия» — «следующая комната», «характеристически» — «характера артистически», «полковница» — «писательница» и т. д.). По числу явно ошибочных прочтений публикация «Русской старины» менее исправна, чем публикация «Русского богатства». Однако, кроме явных ошибок, устанавливаемых по смыслу или по типичным для Михайлова и его времени словоупотреблениям (например, «характеристический» вместо современного «характерный»), имеются в большом количестве и такие разночтения, по которым нельзя определить, какое написание ближе к подлиннику.

---

[1] В письме к Быкову от 5 ноября 1887 года Шелгунова просила прислать ей «список вещей Беранже в переводе М. Л. Михайлова, бывших в печати», которые ей «надо переписать <...> пока не уехал Николай Васильевич» (ИРЛИ, Отдел рукописей, арх. П. В. Быкова, ф. 273, оп. 1, д. 670, лл. 3—3 об.).

[2] Не является ли рукопись, хранящаяся в частном собрании Розинер (нам неизвестная), о которой сообщает Г. Ф. Коган в текстологической заметке к «Запискам» Михайлова (М. Л. Михайлов, Сочинения в трех томах, Гослитиздат, М. 1958, т. III, стр. 685), оригиналом, по которому делалась публикация в «Русской старине»?

[3] На тот факт, что «Русская старина» при печатании «Записок» допустила «вопиющие неточности и искажения, так характерные для этого журнала после смерти М. Семевского», обратил внимание еще М. К. Лемке (Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг.». М.— Пг. 1923, стр. 58), а на небрежность публикации Быковым сочинений Михайлова — В. Мияковский («Голос минувшего», 1914, № 6, стр. 288—292).

В обеих публикациях легко обнаруживается вмешательство редакций в полученный ими текст. Это касается заглавий, разбивки на главы, подглавки и их нумерации.

«Русская старина», озаглавившая воспоминания «Из дневника М. И. Михайлова» (или принявшая заглавие публикатора), допустила явное невнимание и к тексту, и к его автору. Воспоминания писались не как дневник, а как рассказ о недавних событиях; отчество Михайлова сам он и его друзья писали и произносили «Ларионович», а не «Илларионович». В этом отношении «Русское богатство» придерживалось большей точности, озаглавив воспоминания «Из записок М. Л. Михайлова».

Несомненно редакционное вмешательство в структурное оформление «Записок». Совершенно очевидно, что Михайловым не был отработан единый принцип при разбивке текста на главы, подглавки и их нумерации. Так в обеих публикациях две первых главы не занумерованы и состоят из мелких занумерованных подглавок, тогда как остальные главы лишены внутренней разбивки, но в подавляющем большинстве имеют свою нумерацию. Ясно, что эта структурная непоследовательность была допущена самим Михайловым. В «Русском богатстве» всех глав десять, каждая имеет односложное заглавие. В «Русской старине» всех глав восемь, озаглавлена только одна — «В Тайной канцелярии». Остальные же либо не озаглавлены вовсе, как глава первая (в «Русском богатстве» — «Дома») или глава, повествующая о начале пути на каторгу (в «Русском богатстве» — «В дороге»), либо имеют лишь развернутые подзаголовки, первые фразы которых соответствуют заглавиям глав в «Русском богатстве». В разбивке на главы редакция «Русской старины» допустила совершенно очевидную неправомерную вольность. Ко второй главе — «В Тайной канцелярии»,— состоящей из двадцати четырех маленьких подглавок, она присоединила в качестве подглавок XXV—XXVII еще три больших и явно самостоятельных главы — «В Петропавловской крепости», «Суд в сенате», «Переселение на главную гауптвахту», в которых освещены события, происходившие с Михайловым уже не в III Отделении (то есть не в Тайной канцелярии) и которые поэтому нельзя объединять под заглавием «В Тайной канцелярии». Так же произвольно в «Русской старине» глава «Месяц в Тобольске» разбита на две особые главы (XI и XII), причем глава XII здесь не имеет ни развернутого подзаголовка, ни заглавия, а освещаемые в ней факты перечислены в развернутом подзаголовке главы XI.

Труднее определить, Михайлову или редакции «Русской старины» принадлежат развернутые подзаголовки, появляющиеся здесь с подглавки «В Петропавловской крепости». Структурная разноха-

рактерность «Записок» допускает, казалось бы, предположение, что сам Михайлов мог ввести эти подзаголовки, которые он давал, как верно отметила Г. Ф. Коган, и в писавшихся для печати путевых очерках (правда, далеко не во всех). В пользу мнения о принадлежности подзаголовков Михайлову отчасти говорит ошибка в подзаголовке, начинающемся со слов «В Петропавловской крепости». Здесь последняя фраза «Арестованные солдаты» соответствует рассказу о находившихся в Петропавловской крепости студентах и должна читаться как «Арестованные студенты». Она могла быть прочитана неправильно при переписке, хотя могла также быть простой типографской опечаткой.

С другой стороны, поскольку известно, что «Записки» писались не для печати, у Михайлова не было необходимости давать для Шелгуновой развернутое содержание каждой главы в подзаголовке, что обычно делалось только для читателей. Наконец, не исключена возможность, что это были не подзаголовки, а краткий план главы, предварительная наметка автора, которой он руководствовался при написании.

Неясным остается и вопрос о нумерации глав. В «Русском богатстве» три первые главы не занумерованы, все последующие имеют нумерацию, начинающуюся, однако, цифрой II перед четвертой по счету главой — «Суд в сенате». Кроме того, цифрой IV здесь занумерованы две главы — «В дороге» и «Месяц в Тобольске». Неизвестно, редакцией, переписчиком или самим автором допущены эти ошибки. В «Русской старине» нумерация глав появляется лишь с главы «Месяц в Тобольске», перед которой стоит цифра XI. На этом основании Г. Ф. Коган высказала предположение, что «Записки» состоят из трех частей, каждая с особой нумерацией, и что ненапечатанный текст (купюра) охватывает собой десять глав [1]. Однако как по формальным признакам (разнобою в структурном оформлении и в нумерации), так и по содержанию «Записок» такое предположение представляется сомнительным. К первой части Г. Ф. Коган относит события, связанные с арестом, ко второй — следствие и суд, к третьей — гражданскую казнь, путь в Сибирь и первые месяцы пребывания на каторге. Но тогда первая часть составляет всего одну главу («Дома»), которая фактически служит введением к истории следствия и суда и органически связана с этими главами. Логичней разделить «Записки» на две части: I — арест, следствие, суд; II — путь в Сибирь. Но нет прямых данных для того, чтобы считать, что у Михайлова существовала и такая

---

[1] М. Л. Михайлов, Сочинения в трех томах, т. III, Гослитиздат, М. 1958, стр. 685.

разбивка. Цифра XI перед главой «Месяц в Тобольске» могла появиться в результате неправильного прочтения римской цифры V как X, но могла быть и правильной, если отбросить предположение, что она относится к нумерации третьей части. К тому же не логично было бы в третью, а не во вторую часть относить гражданскую казнь, встречу с друзьями, заковку в кандалы и выезд из Петербурга, так как все эти события заключают следствие и суд. Кроме того, трудно себе представить, чтобы эти события двух-трех дней и пребывание в Шлиссельбурге могли занять девять-десять глав. Но если предположить, что они заняли четыре главы (что вполне соответствует четырем перечисленным темам), то тогда цифра XI у главы «Месяц в Тобольске» становится понятной — это действительно одиннадцатая по счету глава. Однако и это предположение не может претендовать на категоричность.

Другого рода редакционное вмешательство, исказившее самый характер воспоминаний, допустила редакция «Русского богатства». Здесь в тексте «Записок» все обращения к Шелгуновой были заменены либо ее фамилией в третьем лице, где это оказалось возможным, либо словом «друзья», либо вовсе опущены. Причем порой вместе с пропуском имени исключался и важный текст, указывающий на целевое назначение «Записок» или сообщающий отдельные сведения о творческой их истории и т. д. Так оказалось изъятым такое, например, место: «Я рассказываю все мелочи только для тебя, и знаю, что ты не соскучишься над ними, как соскучился бы всякий другой, как соскучился бы их описывать сам я, если бы писал не по твоему желанию и не для тебя. Я, как ты знаешь, никогда еще не занимался так долго своею особой, но до конца моих рассказов уж недалеко, и я стану продолжать и кончать, как начал» (см. стр. 399). В другом случае выброшенный текст дает возможность установить, когда именно Михайлов заканчивал свои «Записки». «Легко сказать,— пишет он на заключительных страницах воспоминаний,— ведь уж полгода, как я простился с тобой, и три с небольшим месяца, как я на месте ссылки» (см. стр. 426).

Руководствовалась ли редакция «Русского богатства» собственным стремлением отвести внимание читателя от интимной стороны воспоминаний Михайлова или же выполняла волю Шелгуновой — остается, повторяем, неизвестным. Однако приведенные выше слова Богучарского, а также тот факт, что в его изложении имя Шелгуновой ни разу не упоминается, наводит на мысль, что и составитель «Материалов...», и редакция «Русского богатства» выполняли волю Шелгуновой. Этическими соображениями можно объяснить и то, что в «Русском богатстве» многие фамилии, раскрытые в «Русской старине», были обозначены лишь первой буквой.

Таковы в общих чертах разночтения, возникшие в результате редакционного вмешательства в текст. Возможно, что редакции повинны и в различной разбивке его на абзацы.

Хотя по общему количеству явных ошибок и их большей грубости текст «Русской старины» менее исправен, чем текст «Русского богатства», однако решающим преимуществом первого является наличие в нем обращений к Шелгуновой и часто сопровождающих их важных сведений. Поэтому в основу печатаемого издания, как и предыдущих изданий, подготовленных А. А. Шиловым и Г. Ф. Коган, принята публикация «Русской старины» с внесением поправок по «Русскому богатству». Эти поправки, общим числом около 440, касаются пропусков, явных смысловых или стилистических ошибок в тексте «Русской старины». Вследствие неясности вопроса, кому принадлежит общая нумерация глав, в настоящем издании оставлена лишь нумерация подглавок внутри первой и второй глав как не вызывающая сомнений. По той же причине опущены развернутые подзаголовки.

Все имевшиеся в тексте «Русской старины» криптонимы, за исключением двух, были раскрыты А. А. Шиловым, Б. П. Козьминым и Г. Ф. Коган. Первый, N. (человек, догнавший Михайлова на лестнице в сенате после зачтения приговора и пожавший ему руку,— см. стр. 327), раскрыть до сих пор не удалось. Второй оставался незамеченным в результате ошибки в тексте «Русской старины». Там говорилось об обеде у «смотрителя». На самом деле речь шла об обеде у «С.», то есть у тобольского вице-губернатора Соколова (см. стр. 389).

Стр. 257. *Книжная лавка Кожанчикова* — служила одним из центров демократической интеллигенции Петербурга. Вокруг Кожанчикова, по словам Елисеева, группировалась почти вся либеральная пресса тогдашнего времени» («Отечественные записки», 1876, № 3; Внутр. обозрение, стр. 141). См. также прим. к стр. 178 тома I наст. изд.

Стр. 258. *Тайная канцелярия.*— Здесь и ниже Михайлов именует так «III Отделение собственной его императорского величества канцелярии».

...в газетах было напечатано, что кто-то (кажется, Мухин по фамилии) читал в одном трактире в Петербурге во всеуслышание «Колокол» и был за это т о л ь к о сослан...— Об этом сообщалось в «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции» и немецкой газете «Allgemeine Zeitung» от 3 февраля 1858 года, а также в «Ко-

локоле» (л. 10, 1 марта 1858 года) в заметке Герцена «Не стыдно ли?». О высылке Мухина есть запись в дневнике Е. А. Штакеншнейдер от 2 февраля 1858 года (Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки (1854—1886), изд-во «Academia», М. 1934, стр. 172).

...забыл бы об этой встрече, если бы о ней не напомнило <...> следующее утро.— Благодаря случайной встрече Ракеева с Михайловым III Отделению стало известно, что Михайлов возвратился из-за границы, тогда как, по сведениям полиции, он считался еще отсутствующим в Петербурге

Стр. 259. *...в половину Шелгуновых.*— Михайлов жил в одной квартире с Шелгуновыми.

Стр. 260. *...вот Пушкина есть берлинское издание...*— изданный в 1861 году Р. Вагнером сборник запрещенных цензурой стихотворений Пушкина.

...Осипом, кажется, или Семеном звали...— Камердинера Пушкина, служившего у поэта с детства и сопровождавшего его тело в Святогорский монастырь, звали Никитой Тимофеевичем Козловым.

Стр. 261. *«Французская революция» Карлейля* — «The French Revolution, a History» (1837) английского историка Т. Карлейля.

Речи международного революционного комитета, изданные под заглавием «Народный сход» — брошюра «27 февраля 1855 года. Народный сход в память переворота 1848 года в St. Martin's Hall Long Acre», в Лондоне (1855), посвященная состоявшемуся в этот день международному митингу эмигрантов, организованному чартистами (первой рабочей политической организацией). На митинге в числе других ораторов выступал Герцен.

Стр. 263. *Им, конечно, нужен был мой автограф.*— III Отделение хотело заручиться автографом Михайлова для сличения с почерками, которыми были написаны прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и «Русским солдатам от их доброжелателей поклон». Жандармский подполковник Житков, посланный в Москву для расследования доноса Н. Костомарова, приславшего в III Отделение рукописи этих прокламаций, сообщал оттуда своему начальству: «Не подлежит никакому сомнению участие писателя Михайлова, его рукою писано воззвание к крестьянам, и так как, быть может, оно будет нужно для сличения его руки, то я при сем его пересылаю» (Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., М.—Пг. 1923, стр. 9).

Стр. 264. *...подозрение по делу московских студентов, у которых открыта тайная типография и литография...*— Подразумевается дело московских студентов П. Э. Аргиропуло и П. Г. Заичневского, а также присоединенное к процессу этих лиц дело о

корректоре П. С. Петровском-Ильенко и студентах Я. Сулине, И. Сороко и др., организовавших в Москве тайную типографию и напечатавших запрещенную брошюру Огарева «Разбор книги барона Корфа «14 декабря 1825 года». Михайлов также привлекался по этому делу в связи с передачей им В. Костомарову упоминавшихся рукописей двух прокламаций.

...на сходке у Николая Курочкина по поводу Шахматного клуба...— Шахматный клуб, открытый в Петербурге в январе 1862 года, по замыслу его организаторов должен был служить политическим центром, объединяющим прогрессивных литераторов. Деятели петербургского революционного подполья во главе с Чернышевским использовали Шахматный клуб для конспиративных встреч. В июне 1862 года клуб был закрыт правительством.

Стр. 265. *У меня искали именно ее.*— Мнение Михайлова о том, что во время обыска 1 сентября жандармы искали прокламацию «К молодому поколению», ошибочно, как свидетельствуют о том документы, приведенные в вступительной статье в томе I наст. изд.

...особенно старался <...> частный пристав Путилин.— Известный сыщик по уголовным делам И. Д. Путилин был привлечен III Отделением для содействия розыску лиц, распространявших первые прокламации (см. стр. 160—161 тома I наст. изд.). Им была раскрыта причастность В. А. Обручева к «Великоруссу» (см. прим. к стр. 291). Будучи в связи с делом Михайлова приставлен к В. Костомарову, Путилин завязал с Костомаровым личные дружеские и «деловые» отношения, позже вел с ним зашифрованную переписку, касавшуюся создания процесса Чернышевского (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 205—218, 242—262 и др.).

...от цензурного глухаря, барона Медема...— Н. В. Медем, председатель петербургского цензурного комитета, был глух.

...рукописями, взятыми у Костомарова (вернее — представленными им)...— Рукописи прокламаций «Барским крестьянам...» и «Русским солдатам...» были представлены в III Отделение не В. Костомаровым, а его братом Николаем.

...нашли, что я писал то, чего никогда не писал.— Михайлова подозревали в написании прокламации «Барским крестьянам...» (см. стр. 284). В литературе долго считалось, что она переписана его рукой. Как доказал С. Рейсер в докладе на Группе по изучению революционной ситуации в России в 1859—1861 годах (Институт истории АН СССР), прокламация переписана не почерком Михайлова.

...хотят сделать обыск в какой-то деревне...— В имении Михаэлисов Подолье Шлиссельбургского уезда действительно был сделан обыск.

Стр. 265—266. *...я продолжал относить всю вину на человека, который был нисколько в этом не виноват...*— Очевидно, Михайлов подозревал И. К. Сороко — студента Московского университета, которому была передана рукопись прокламации «Барским крестьянам...» для напечатания (см. прим. к стр. 264). Михайлов знал его меньше, чем Костомарова, и, должно быть, поэтому меньше и доверял ему. На это предположение наводят слова Михайлова о том, что он был удивлен, узнав, что Сороко разыскивается III Отделением, так как еще до собственного ареста, по слухам, считал его арестованным (см стр. 285).

Стр. 266. *...Костомаров, в последний приезд свой из Москвы...*— 20 августа 1861 года, то есть за пять дней до ареста (см. также прим. к стр. 159 тома I наст. изд.).

Я думаю <...> никакой брат не думал на него доносить...— Н. Костомаров еще до поездки В. Костомарова в Петербург действительно донес на брата (см. т а м ж е).

...во вкусе Конрада Валленрода...— то есть подобно герою одноименной поэмы А. Мицкевича (1828), вступившему в немецкий орден меченосцев, чтобы, состоя в нем, отомстить меченосцам за разорение его родины — Литвы.

Стр. 267. *Твердо, добро* — церковнославянские названия букв *т* и *д*.

Стр. 268. *...и о н и (он кивнул на кабинет), может быть, должны будут быть удалены из квартиры.*— Житков запугивал Михайлова возможностью ареста Л. П. и Н. В. Шелгуновых, рассчитывая таким путем принудить его к откровенным показаниям.

Стр. 269. *Николай Васильевич и Веня* — Н. В. Шелгунов и Е. П. Михаэлис.

Стр. 276. *Надпись над вратами Дантова ада.*— Имеется в виду строка из третьей строфы Песни третьей «Ада» — первой части «Божественной комедии» Данте: «Оставь надежды всяк сюда входящий» (н а д п и с ь н а д в р а т а м и а д а).

Стр. 277. *В письме Костомарова, адресованном к Ростовцеву...*— Лемке утверждает, будто Я. А. Р о с т о в ц е в «лицо несуществующее» (М и х. Л е м к е, Политические процессы..., стр. 83). Но это не так, Ростовцев упоминается в адрес-календарях 1860—1861 годов как преподаватель кадетского корпуса и в ряде библиографических справочников, а также в переписке некоторых писателей, в частности Тургенева. Сообщено Б. П. Козьминым.

...одна писана рукою М. Михайлова...— В письме к Я. А. Ростовцеву В. Костомаров не сообщал, которая из двух прокламаций писана рукой Михайлова. На допросе же показал, что Михайлов

переписал прокламацию «Русским солдатам...», хотя, по утверждению Шелгунова, знал, что она принадлежала Шелгунову и им же была переписана. Позже, в 1863 году, он выдал и Шелгунова и заявил, что Михайловым была переписана прокламация «Барским крестьянам...», о чем сообщал в своих доносах и его брат Н. Костомаров в августе 1861 года.

Стр. 278. *...пять строк, написанных моею рукой...* — в воззвании «Русским солдатам...» (см. стр. 331 тома I наст. изд. и прим. к ней).

...могут сопровождаться еще большими откровениями. — Имеются в виду показания В. Костомарова, который мог открыть авторов прокламаций «Русским солдатам...» (Шелгунова) и «Барским крестьянам...» (Чернышевского).

Арестованы мать и сестра Костомарова. — Горянский пытался запугать Михайлова и скрыть предательство В. Костомарова. В действительности ни мать, ни сестра последнего не были арестованы. Более того — в конце сентября его семье было выдано «негласное пособие» от III Отделения в сумме ста рублей (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 14).

...взята и полковница Шелгунова. — Это сообщение также было ложным и имело целью вынудить у Михайлова откровенные показания. В брошюре «На смерть М. Л. Михайлова», писавшейся, несомненно, на материалах, сообщенных Шелгуновой, говорится даже о доносившемся в камеру Михайлова детском плаче, то есть инсценировке, устроенной III Отделением (см. стр. 448). Полковницей Шелгунова стала позже: чин полковника ее мужу присвоили при отставке.

Стр. 279. *Следственная комиссия, назначенная над студентами* — министром внутренних дел Валуевым 30 августа в составе И. Ф. Собещанского (председатель) и А. П. Стороженко (от министерства внутренних дел), А. С. Любимова (от министерства юстиции) и И. С. Фонвизина (от управления московского генерал-губернатора) при делопроизводителе Незнамове, в помощь которому был дан Вильчевский (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 12). Она занималась расследованием дела московских студентов, обвинявшихся в тайном литографировании и печатании (см. прим. к стр. 264).

Граф Петр Андреевич — Шувалов.

Стр. 281. *...к этому привык в полиции.* — До назначения начальником III Отделения Шувалов был петербургским обер-полицеймейстером.

Стр. 284. *...студентов Петровского и Сороки.* — Михайлов показывал в комиссии Собещанского, что воззвание «Барским крестьянам...» он передал студенту Сороко, находившемуся в Петербурге

и пришедшему к нему от имени В. Костомарова, а прокламацию «Русским солдатам...» — В. Костомарову лично. Согласно показаниям Сороко, он получил от Михайлова запечатанный пакет для передачи Костомарову, не зная, что в нем содержится (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 33—34). Костомаров несколько раз изменял свои показания. Первоначально (на допросе 14 сентября 1861 г., то есть в день ареста Михайлова) он утверждал, будто не имел никакого отношения к обеим прокламациям, узнал о них от Сороко и Сулина, а обнаружив в одной из них руку Михайлова, «считал своим долгом не допустить владетелей станка до исполнения их предприятия». С этой целью он предложил перевезти станок к себе на квартиру, затем сфабриковал анонимную записку, адресованную себе же, о якобы готовящемся обыске, а когда станок разбирался и укладывался, он «в суматохе <...> завладел двумя рукописями воззваний и спрятал их». Впоследствии (28 октября) он признался, что одну рукопись получил от Михайлова, а другую, в Москве,— от Сороко (через Сулина) («Красный архив», 1923, т. III, стр. 230—231).

Стр. 285. *...тут-то именно и письма специальным образом подпечатываются.*— После перлюстрации, то есть вскрытия и просмотра.

Оказалось, что до показания Костомарова на них и подозрения никакого не падало.— Михайлов не знал, что во втором доносе, от 18 августа 1861 года, посланном Н. Костомаровым Шувалову после личной встречи с Житковым, Сороко и Петровский-Ильенко были названы в списке «заговорщиков» (Мих. Лемке, Политические процессы.... стр. 10).

Стр. 286. *На принесенные мне Горянским вопросные пункты о прокламации «К молодому поколению» я ответил то же, что и на словах...*— В своих письменных показаниях (ответах на вопросные пункты) от 18 сентября 1861 года Михайлов сообщал, что прокламацию «К молодому поколению» получил от Герцена в количестве десяти экземпляров, из которых четыре-пять экземпляров сжег и никому, кроме Костомарова, прокламации не показывал. О рукописях воззваний «Барским крестьянам...» и «Русским солдатам...» Михайлов сообщал, что они широко ходили по рукам и он получил их в списках, написанных неизвестными почерками (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 88—89).

...рукописи, конечно, казались им не особенно важным делом.— На запрос сената, судить ли Михайлова «отдельно за то преступление, за которое он был предан суду 1-го отделения 5-го департамента сената, то есть за распространение воззвания «К молодому поколению», или совокупно с падающим на него обвинением в отно-

шении сочинения воззваний к барским крестьянам и солдатам, государь император высочайше повелеть соизволил: судить Михайлова за распространение прокламации «К молодому поколению» отдельно от других падающих на него обвинений» (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 481—482).

...перед самым переводом меня в крепость...— Из III Отделения в Петропавловскую крепость Михайлов был переведен 14 октября («Политические процессы 60-х гг.», под ред. Б. П. Козьмина, М.— Пг. 1923, стр. 285).

...вероятно, в это время держали его в Третьем отделении, дожидаясь, что я скажу.— Е. П. Михаэлис был арестован 26 сентября 1861 года как один из главных руководителей студенческих волнений за выступление в качестве депутата студентов для объяснения с попечителем учебного округа, а затем выслан в Петрозаводск. Его участие в распространении прокламации «К молодому поколению» осталось III Отделению неизвестным.

Стр. 288. *...узнал по попавшему ко мне отдельному номеру «Русского мира», что университет закрыт.*— По сообщению в № 75 газеты «Русский мир» от 27 сентября 1861 года закрытие университета и прекращение доступа студентам в аудитории (где происходили их сходки) было предпринято правительством в самом начале волнений, 24 сентября.

Стр. 291. *...кажется, Обер-Миллер фамилия.*— Михайлов, несомненно, имеет в виду И. И. Гольц-Миллера — талантливого поэта, студента Московского университета, члена кружка Заичневского и Аргиропуло, у которого при обыске были найдены отлитографированные экземпляры «Колокола». Арестованный по доносу Н. Костомарова в августе 1861 года, он был приговорен к трехмесячному заключению в смирительном доме, после чего выслан под надзор полиции в Корсунь.

...увидал <...> Владимира Обручева <...>. Я думал, не ошибся ли.— В. А. Обручев, сотрудник «Современника», был арестован 4 октября 1861 года по делу о распространении прокламаций «Великорусс», которых вышло три выпуска (в июле, начале и конце сентября). Прокламации призывали к созданию тайного общества для подготовки путем агитации за подачу конституционного адреса демократического переворота и уничтожения самодержавия. Обручев, не назвавший авторов «Великорусса», был приговорен к трем годам каторжных работ. Тайну «Великорусса» он унес с собой в могилу.

...Перцов <...> все еще содержится у Цепного моста...— Э. И. Перцов, находившийся под наблюдением полиции после поступившего на него анонимного доноса, что он является «самым

ожесточенным корреспондентом Герцена», был арестован 29 августа в связи с адресованными ему и перехваченными III Отделением письмами от брата из Казани, содержавшими подробное сообщение о крестьянских волнениях в Бездне (см. прим. к стр. 170 тома I наст. изд.). Административно подвергнутый заключению в крепость на шесть месяцев, он был выслан под надзор полиции в Вятку в начале ноября 1861 года, то есть до отправки Михайлова на каторгу.

...проходил по двору Боков.— Доктор П. И. Боков, женатый на сестре Обручева, привлекался вместе с последним по делу о распространении «Великорусса», но за неимением прямых улик был по суду освобожден от ответственности.

Стр. 292. *...брату литератора, именно Серно-Соловьевичу...*— Литератор — Н. А. Серно-Соловьевич, сотрудник «Современника». Его брат А. А. Серно-Соловьевич участвовал в распространении воззвания «К молодому поколению», о чем III Отделение так и не узнало.

...знаю ли я эту печатку.— Печатка принадлежала Шелгуновой и была отобрана при втором обыске у Михайлова. Ею были запечатаны конверты с прокламациями «К молодому поколению».

Стр. 293. *...ответы Костомарова на предложенные ему вопросные пункты.*— Эти показания (ответы) В. Костомарова были даны 20 сентября (опубликованы: Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 96—98).

Стр. 294. *...все, что касалось мéня в вашем деле, я объяснил, хоть и со вредом для себя.*— Через полтора года, во время следствия по делу Чернышевского, В. Костомаров в своих показаниях писал: «Михайлов до *конца* вынесет на себе, вместе со своим грехом, грех других; а и в своем-то грехе он признался только из сострадания ко мне» (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 302).

Стр. 296. *Ты знаешь уже это показание в его позднейшей форме.*— В этом показании Михайлов сообщал, что, выехав за границу вместе с Шелгуновыми, он, оставив их в Германии, поехал один в Лондон, где по предложению Герцена написал статью. Но после ее напечатания Михайлов, как он объяснял, обнаружил, что из нескольких страниц, им написанных, в воззвании не осталось и половины. По его показаниям, он взял с собой двести экземпляров (в действительности — шестьсот) из числа напечатанных и по возвращении в Петербург подготовил их к распространению (то есть разложил по пакетам), спеша сделать это до приезда из-за границы Шелгуновых, от которых он якобы скрывал свою деятельность. Он сообщил также, что во время первого обыска прокламации находились под золой и ненужными бумагами в печи, к которой было придвинуто кресло, и что сразу после обыска он распространил сам

все экземпляры, подкинув и к дверям своей квартиры пакет с прокламациями. Михайлов объяснял, что написанием и распространением прокламаций он хотел добиться цензурных облегчений (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 102—107).

Стр. 299. *...явиться у Аларчина моста.*— У Аларчина моста (Екатерингофский проспект, № 65, дом Валуевой) находилась квартира Михайлова и Шелгуновых.

...в предпоследнюю нашу поездку за границу.— Весной 1858 года.

Стр. 300. *...арестованы все, кто издавал «Великорусса».*— По делу о распространении «Великорусса» были арестованы, кроме В. А. Обручева и П. И. Бокова, студенты Петербургского университета Ф. Р. Данненберг (исключен из университета и выслан под надзор в отдаленный уездный город), В. Лобанов («прощен») и М. Н. Сваричевский, одновременно привлекавшийся по делу московской студенческой типографии за распространение книги Огарева.

Стр. 301. *...студенты наделали «глупостей» в университете, нагрубили начальству <...> многие арестованы...*— См. стр. 143—158 тома I наст. изд. и прим. к стр. 146 там же.

Стр. 302. *...такую комиссию, как, например, по делу Петрашевского.*— Для расследования дела арестованных в 1849 году членов кружка Петрашевского была образована специальная следственная комиссия под председательством князя А. Ф. Голицына, ранее председательствовавшего в следственной комиссии по расследованию дела Герцена и Огарева. Такие комиссии создавались для расследования особо важных политических дел. С 1862 года подобная комиссия стала постоянно действующей.

...скорого возврата князя (Долгорукова).— В. А. Долгоруков, шеф жандармов, начальник III Отделения, в это время возвращался в Петербург из Ливадии, куда сопровождал Александра II.

...вместо его назначен будет Анненков, брат апоплексического критика...— И. В. Анненков в это время был начальником 1-го округа корпуса жандармов (с 1862 г. — петербургский обер-полицеймейстер). Его брат — П. В. Анненков, критик, мемуарист, исследователь и издатель наследия Пушкина, назван «апоплексическим», потому что отличался значительной полнотой.

Стр. 303. *...правда ли <...> что Герцен был нынче в Гамбурге и оттуда собирался в Петербург?* — Слухи о приезде Герцена в Петербург циркулировали и позже. Так, в ноябре 1861 года в III Отделение поступил анонимный донос, в котором говорилось, будто Герцен жил в Петербурге более двух недель под именем Джона Чарльза Пейса и что волнения в Петербургском университете были связаны с его приездом (А. И. Герцен, Полн. собр.

соч. под ред. М. К. Лемке, т. XI, П. 1919, стр. 353—354). Все это было вымыслом.

Стр. 304. *Рассказывают, что вас здесь, в Третьем отделении, отравили.*— См. прим. к стр. 163 тома I наст. изд.

Стр. 305. *Я постарался написать покороче...*— Прошение Михайлова царю опубликовано: Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 109—110.

Стр. 306. *...оно пришло накануне или даже за день.*— Александр II повелел предать Михайлова суду 9 октября, то есть за пять дней до того, как было написано прошение Михайлова.

Литераторы подавали адрес об освобождении вас из-под ареста.— См. прим. к стр. 161 тома I наст. изд.

Стр. 308. *Я прочитал <...> в «Инвалиде» <...> приказ по военному ведомству о предании суду и аресте Семевского, Энгельгардта и Штрандена за участие в беспорядках, произведенных студентами.*— Этот приказ был напечатан в «Русском инвалиде», № 226, 14 октября 1861 года. Поручик Энгельгардт был арестован 27 сентября, когда некоторые артиллерийские офицеры пришли на студенческую сходку к университету, чтобы предотвратить выступление войск против студентов; поручика А. И. Семевского и прапорщика А. П. Страндена арестовали 12 октября.

...до куртины, где меня заключили...— до Невской куртины Петропавловской крепости.

Стр. 311. *...сложились у меня в голове известные тебе стихи с этим припевом.*— Эти стихи неизвестны.

Стр. 312. *...поминая Анну Павловну, королеву нидерландскую.*— Анна Павловна — дочь царя Павла I. Описывая свое свидание с ней, Б. Н. Чичерин замечал, что Анна Павловна была известна в России тем, что «ее имя последнее провозглашалось на ектинье в те времена, когда еще диакон с амвона перечислял одних за другими нескончаемых членов царской фамилии» (Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 22, СПб. 1910, стр. 17).

Стр. 317. *...довольствоваться одним чаем, если бы...*— По мнению А. А. Шилова, здесь опущены какие-то места из рукописи. Действительно, в публикации «Русского богатства» за данной фразой следует строка отточий, ставившаяся в этом издании только взамен опущенного текста, и отсутствует следующий абзац, имеющийся в тексте «Русской старины». Видимо, в опущенном тексте шла речь (или содержался прозрачный намек) об установившейся между Михайловым и Шелгуновыми тайной связи через крепостных плац-адъютантов, в результате которой появились и личные деньги, о чем говорит Шелгунов в своих воспоминаниях (см. стр. 163 тома

I наст. изд.), и чашка с серебряной ложечкой (см. стр. 330 наст. тома).

...приезд Суворова, о назначении которого генерал-губернатором я еще не знал и потому думал, что это Игнатьев ко мне приехал.— А. А. Суворов, близкий к Александру II и пользовавшийся репутацией либерала, был назначен генерал-губернатором Петербурга вместо П. Н. Игнатьева, исполнявшего эту должность с 1854 года. Игнатьев был отставлен в связи с его действиями во время студенческих волнений (вызов войск, аресты и т. д.), вызвавшими недовольство даже в умеренно-либеральных кругах.

Стр. 318. *...раскланяться с Залесским...*— со студентом третьего курса физико-математического факультета Петербургского университета, являвшимся одним из депутатов от студентов во время волнений в университете.

И перед воротами и во дворе была толпа народу...— См. стр. 162—163 и 241 тома I наст. изд.

Стр. 319. *...сидело пять сенаторов...*— В состав суда над Михайловым входили: первоприсутствующий (председатель) Г. П. Митусов, Н. М. Карнеев, К. Б. фон Венцель, А. П. Бутурлин, М. М. Карниолин-Пинский (позже первоприсутствующий на процессе Н. Г. Чернышевского и других политических процессах) и А. А. Волоцкой (находился в отпуске). Обер-прокурором был Н. А. Буцковский (позже один из деятелей судебной реформы 1864 года), обер-секретарем — Кузнецов, его помощником — Орестов; дело докладывал секретарь Шишкин (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 116).

Бурхан — металлическое, каменное или деревянное изваяние божества у монголов-буддистов.

Стр. 322. *...из начатков христианского благочестия протоиерея Кочетова.*— Из «Начертания христианских обязанностей по учению православно-кафолической церкви» (1827) Н. С. Кочетова.

Стр. 323. *...не могу уже припомнить, в какие именно дни были три допроса мне в сенате.*— Первый допрос происходил 18 октября, второй — 23 и третий — 31 октября (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 117—122).

Стр. 323—324. *...ярко светится в этих тюремных потемках несколько отрадных минут, о которых пока я не вправе говорить.*— По-видимому, Михайлов намекает на тайные встречи с Шелгуновой в Петропавловской крепости, устроенные кем-то из сочувствовавших ему жандармских офицеров.

Стр. 324. *...для чего было говорить о том, чего никто не знал, кроме меня, да и знать не мог.*— Эта фраза указывает, что показания Костомарова не являлись измышлением, если не считать его

попыток, выгораживая себя, переложить всю ответственность на Михайлова и московских студентов. Михайлов в это время не догадывался о предательстве Костомарова.

Стр. 324—325. *...вследствие глупой выходки моей...* — то есть подачи прошения Александру II.

Стр. 325. *...получил я известные стихи и письмо от заключенных в крепости студентов.* — «Из стен тюрьмы, из стен неволи...» (см. стр. 440).

...и тотчас же отвечал им стихами... — «Крепко, дружно вас в объятья...» (см. стр. 441). Первые агентурные сведения об этих стихах, ходивших по рукам в Петербурге, относятся к 17 декабря 1861 года («Красный архив», 1926, т. 1 (14), стр. 102).

Стр. 326. *«Ограничиваю каторгу шестью годами...»* — О приговоре Михайлову см. прим. к стр. 163 тома I наст. изд.

Стр. 327. *Варенька и Машенька* — сестры Шелгуновой, В. П. и М. П. Михаэлис. Вторая из них (в замужестве — Богданович) бросила в 1864 году во время гражданской казни Чернышевского на эшафот букет цветов, за что была взята под надзор полиции. В семидесятых годах вместе с мужем Н. Н. Богдановичем участвовала в пропаганде среди крестьян.

Стр. 328. *...еще в куртине узнал о смерти бедного Добролюбова, а 20-го я написал стихи на его смерть...* — О безнадежном состоянии Добролюбова Михайлов знал из тайных писем к нему Шелгуновых (см. стр. 437 и 556 наст. тома). Стихи на смерть Добролюбова («Вечный враг всего живого...») были опубликованы без подписи в л. 119—120 «Колокола» от 15 января 1862 года.

...не могу не вспомнить с особенно теплым чувством доброго и милого Пинкорнелли. — Несомненный намек на роль плац-адъютанта И. Ф. Пинкорнелли в тайной переписке, а возможно, и свиданиях Михайлова с Шелгуновой. В секретном архиве III Отделения сохранились доносы на Пинкорнелли, в которых говорится, что он передает письма заключенных и даже устраивает им свидания с друзьями. В частности, сообщалось о свиданиях при его посредстве Д. И. Писарева с участником радикальных кружков Петербурга Д. А. Саранчовым (ЦГАОР, ф. 109, Секретн. арх., д. 228). Пинкорнелли изображен на известной картине, запечатлевшей акт заковки Михайлова в кандалы.

Стр. 329. *«Всемирная история» Вебера,* — то есть «Всеобщая история» немецкого историка Г. Вебера.

«Солдатское чтение». — По-видимому, Михайлов имеет в виду журнал «Солдатская беседа», издававшийся в то время А. Ф. Погосским.

Что было причиною внезапных строгостей... — Судя по тому, что

солдаты, подглядывавшие в дверное оконце, следили за тем, не пишет ли Михайлов, можно думать, что строгости были связаны с просочившимися слухами о тайных связях Михайлова с Шелгуновыми.

Стр. 331. *...страшился, что вам придется уехать из Петербурга раньше меня...*— О своем намерении ехать в ссылку за Михайловым Шелгунова писала ему в Петропавловскую крепость. Ответ см. в письме Михайлова на стр. 431—432.

Стр. 332. *Он назвал поименно всех.*— Разрешением проститься с Михайловым воспользовались Шелгуновы, Полонский, Пекарский, Чернышевский с женой, А. Серно-Соловьевич, Гербель и мать Шелгуновой — Е. Михаэлис.

Все свидания были с двенадцати часов пополудни по билетам, подписанным петербургским генерал-губернатором А. А. Суворовым. На билете Шелгунова написано: «Подполковник Шелгунов вместе с супругой имели свидание, снабдили дорожными потребностями. Михаэлис имела свидание одновременно с Шелгуновыми» («Литературное наследство», т. 25—26, М. 1936, стр. 592).

...в дороге мне будут предоставлены все удобства...— В письме к Авдееву от 2 декабря Шелгунова сообщала: «М. приговорен к каторге в рудниках на шесть лет; так как все дело шло как бы легальным путем, то и отправить его <должны будут> по пересылке, то есть пешком. Можете себе представить наш ужас; мы подали записку и испросили позволение внести прогоны до Нерчинска, что нам и позволили. Всех прогон и кормовых для жандармов пришлось 1500 р., деньги уже эти собраны, и, кроме того, осталось коечто и на <прожиток>» (ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 28 «А», л. 4).

Стр. 333. *Утром в пять часов 14 декабря Михайлова вывезли <...> на Мытнинскую площадь...*— 14 декабря в восемь часов утра на Сытной (а не на Мытнинской) площади в Петербурге состоялся обряд гражданской казни Михайлова. Воздвигнутый там эшафот был оцеплен эскадроном лейб-гвардии казачьего полка и петербургским батальоном внутренней стражи. Сообщение об объявлении приговора, которое должно состояться перед гражданской казнью, было напечатано лишь в день казни и только в «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции» и осталось никому не известным: III Отделение опасалось скопления сочувствующих Михайлову. Агент Отделения доносил: «Объявление приговора кончено благополучно. Народу было очень мало — человек до двухсот, не более, и всё простой народ. Читали не очень громко, так что большинство даже не знает фамилии преступника. Студентов положительно никого. Человека три-четыре чиновника. До приезда Ми-

хайлова в толпе говорили, что казнят какого-то генерала, но за что — неизвестно. После прочтения же некоторые, не понявшие указа, болтали, что он хотел сменить государя и всех министров — настоящего же почти никто не слыхал. Он был очень покоен, но бледен и во все время не произнес ни слова. Его привезли в наемной карете под прикрытием трех взводов казаков; таким же образом увезли обратно в крепость рысью... По окончании толпа тотчас разошлась; часть побежала за ним, но далеко от всего кортежа отстала. Ни Шелгунова, ни других лиц, нами подозреваемых и мною виденных на похоронах Добролюбова, положительно не было. Были при этом обер-полицеймейстер и комендант. Это происходило на Сытной площади, окруженной жильем торговцев и, большей частью, рабочих, которые и собрались; до остальных же жителей Петербургской стороны весть об этом дойдет позже; с городской стороны тоже не видать было, чтобы кто-нибудь туда приехал» («Русское прошлое», сб. 2, М.— П. 1923, стр. 152).

Это было устроено на тот случай, если бы молодежь вздумала отбивать Михайлова.— См. также прим. к стр. 164 тома I наст. изд.

Стр. 334. *...написать вам несколько строк...*— Письма Михайлова к Шелгуновой с пути на каторгу не разысканы.

Стр. 340. *Зажор* — подснежная вода в образовавшихся на дороге выбоинах.

Стр. 342. *Вот недавно из Варшавы двух провезли.*— Подъем национально-освободительного движения в Польше в 1861 году выразился в уличных манифестациях и молебствиях в костелах. В связи с этим значительное число поляков, в частности ксендзов, было арестовано и выслано в отдаленные губернии Европейской России и Сибирь.

Стр. 347. *...в Нерчинском округе не осталось уже никого ни из декабристов, ни Петрашевского и сосланных с ним вместе трех его товарищей.*— Декабристы были освобождены по амнистии от 26 августа 1856 года по случаю коронации Александра II. По той же амнистии петрашевцы были «выпущены на поселение». (В Нерчинский округ вместе с Буташевичем-Петрашевским были высланы Ф. Н. Львов (см. стр. 403—405, прим. к стр. 403), Н. П. Григорьев, Н. А. Момбелли и Н. А. Спешнев).

Стр. 348. *...ехать прямо к губернатору...*— Гражданским губернатором Тобольска был А. В. Виноградский, ничем не выразивший участия к судьбе Михайлова. Однако «за превышение и бездеятельность власти» во время пребывания Михайлова (а затем В. А. Обручева) в Тобольске Виноградский позднее был предан суду («Колокол», 1866, л. 218, 15 апреля, стр. 1786).

Стр. 350. *Смотритель замка* — то есть смотритель тюрьмы З. И. Казаков. Позднее он, как и Виноградский, был предан суду.

Стр. 351. *Лóпать* — одежда (сибирск.).

Стр. 358. *Председатель губернского правления, учитель словесности здешней гимназии, два доктора...* — Председателем губернского правления был М. Г. Соколов, преданный суду «за превышение и бездеятельность власти» во время пребывания в Тобольске Михайлова, а позже Обручева и Макеева, по отношению к которым также допускались «послабления». Кроме тюремного лекаря, Михайлова посещал и приглашал к себе в дом военный медик Анучин, уволенный в связи с этим со службы. У него бывали также учителя тобольской гимназии Белорусцев и А. В. Плотников, приговоренные определением сената к административному взысканию (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 138—140, 142—149).

Стр. 359. *...рассказал он мне свою историю...* — Рассказ Крупского о себе близок к действительности. Авантюрист и предатель, он и позже стремился к тайной полицейской деятельности. В 1863 году он бежал с поселения, но был задержан в Перми. Здесь Крупский подал донос на Михайлова, в котором говорилось, будто Михайлов рассказывал ему о существовании в России тайного общества и уговаривал заняться пропагандой среди солдат и арестантов. Позже Крупский признался, что все это является вымыслом. Возвращенный в Сибирь, он в 1866 году бежал в Австрию (М. Л. Михайлов, Записки, М. 1922, стр. 103, прим. А. А. Шилова).

Стр. 363. *...полицеймейстер приказал снять с меня кандалы.* — Полицеймейстер Кувичинский был позже предан суду за приказ о снятии с Михайлова кандалов и широкий допуск к нему посетителей.

Стр. 364. *...вице-губернатор заезжал к вам...* — то есть председатель губернского правления Соколов, выполнявший обязанности вице-губернатора.

Стр. 367. *...без билета никого не пропускал...* — Смотритель Тобольской тюрьмы Казаков, вначале дававший показания о том, что у Михайлова бывали посетители только с пропуском (билетом) от вице-губернатора, позже от этих показаний отказался, признавшись, что пускал посетителей он сам (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 144).

Ко мне ходили три студента <...> удаленные частью по последним беспорядкам... — Добродеев, Семенов и, должно быть, Тутолмин (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 144; «Колокол», л. 169 от 15 августа 1863 г., стр. 1392). Волнения студен-

тов в Казанском университете («последние беспорядки») начались вслед за петербургскими (см. прим. к стр. 146 тома I наст. изд.), в связи с введением новых правил министерством просвещения. 9 октября на площади перед университетом студентами была устроена демонстрация протеста, направленная против попечителя казанского учебного округа князя Вяземского как представителя министерской власти, после чего были арестованы и исключены из университета некоторые студенты.

...о панихиде за Антона Петрова... — См. прим. к стр. 170 тома I наст. изд.

Стр. 368. *...ждали генерал-губернатора Западной Сибири.* — А. О. Дюгамеля, назначенного в 1861 году.

Стр. 371. *...я начал в Тобольске роман <...> и перевел последнюю сцену «Прометея»...* — Речь идет, вероятно, о романе «Вместе» (см. прим. к стр. 455). Под «Прометеем» подразумевается отрывок из трагедии Эсхила «Скованный Прометей», переведенный Михайловым и опубликованный в «Современнике», 1863, № 1—2, под псевдонимом «Мих. Илецкий».

Стр. 372. *Шли немало из Казанской губернии...* — Крестьяне, высланные за участие в бездненских волнениях (см. прим. к стр. 170 тома I наст. изд.).

Стр. 373. *Шаньги* — род ватрушек с различной начинкой (сибирск.).

Стр. 374. *В последнюю войну...* — в Крымскую войну 1853—1856 годов.

Земская полиция. — Так называлась, в отличие от городской, полиция, ведавшая судебно-полицейскими делами в уездах.

Стр. 375. *...хотел представить объяснение Константину Николаевичу...* — великому князю, брату Александра II, в то время управлявшему морским министерством.

Прокурор — Жемчужников; привлекался к следствию по делу о «послаблениях», оказанных Михайлову в Тобольске.

Стр. 379. *...чудная песня Корнеля Уейского...* — Хорал «С дымом пожаров» на слова этого польского поэта стал гимном польских повстанцев 1863 года.

Ирмосы — церковные песнопения.

...когда будет манифест об тысячелетии. — То есть предстоявшее в сентябре 1862 года празднование тысячелетия России, по случаю которого ожидалась амнистия, однако не состоявшаяся.

Стр. 381. *Шлык* — шапка.

Стр. 387. *...пермский крестьянин Кокшаров, который был доверителем от пермских заводских крестьян...* — По материалам III Отделения, Кокшаров — беглый крестьянин княгини Бугеро, вла-

делицы горных заводов в Пермской губернии. Назвавшись царским посланным, он именем царя запрещал крестьянам подписывать уставные грамоты (документ, определявший наделы, повинности и отношения бывших крепостных крестьян к помещикам после реформы) и убеждал их в том, что «воля», объявленная манифестом 19 февраля 1861 года, не настоящая и что им надлежит ожидать новой, настоящей воли («Крестьянское движение. 1827—1869», вып. II, Соцэкгиз, М.— Л. 1931, стр. 41).

Стр. 389. *...о ксендзе-канонике Маевском, который виноват оказался в том, что не остановил народа в Гродно...*— Министр внутренних дел Валуев так описал в своем дневнике этот инцидент: «В Гродне декан Маевский организовал процессию, объявив о ней заранее, и привел в исполнение, несмотря на увещания и запрещения начальствующих <...>. В назначенный день и час вынуждены были вывести войско <...>. Губернатор сам выехал на площадь. Развели мост и действительно не пропустили процессию за Неман. Но Маевский отслужил литанию на площади и сказал слово народу, объявив, что правительство помешало выполнить обет, но что бог видел их желания. Затем все разошлись. Губернатор при сем пишет: «Порядок не был ни на минуту нарушен; никаких происшествий и несчастий не было, и никто не арестован» («Дневник П. А. Валуева», т. I, М. 1961, стр. 108—109). Виленский генерал-губернатор Назимов тем не менее арестовал Маевского, хотел судить его и даже расстрелять, но встретил возражения со стороны Валуева, опасавшегося, что в таком случае «он из него сделает святого» (там же, стр. 114). Маевского сослали административным порядком без суда и через год разрешили возвратиться на родину. О гродненской манифестации Иозеф Маевский впоследствии рассказал в записках «Гродненская процессия 14 августа 1861 года» («Русская старина», 1891, № 5, стр. 489—497).

...не дух Гарибальди, не дух Мирославского...— то есть не революционный дух, которым были проникнуты движения за объединение Италии и национальное освобождение Польши. Тогда еще не было ясно, что деятельность Мерославского разовьется не в революционном, а в националистическом духе.

Стр. 395. *...сочинили мне медицинское свидетельство.*— Тобольская врачебная управа выдала Михайлову свидетельство в том, что он, «благодаря болезненному его состоянию, выразившемуся в сильном кровохаркании», не может следовать с партией пересыльных, а должен ехать за свой счет на почтовых.

Стр. 396. *Берейтор* — объезжающий верховых лошадей и обучающий верховой езде.

Стр. 397. *...в деревне Ачимове, кажется, или Ачилове...*— Пра-

вильное название — А й ч к у л о в а, в трехстах пятидесяти верстах восточнее Тобольска.

Стр. 399. *Бурак, туес* — берестяной короб цилиндрической формы с крышкой (сибирск.).

...адресовал его через Пекарского.— Михайлов опасался, что письмо в адрес Шелгуновой может быть перехвачено.

Стр. 400. *...с Петрашевским. Он <...> попал в немилость у Муравьева за то, что говорил против скверной истории Беклемишева и — не помню, как зовут его жертву.*— Михайлов имеет в виду наделавшую много шума дуэль между Б е к л е м и ш е в ы м и Неклюдовым, чиновниками особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. М у р а в ь е в е - Амурском, состоявшуюся в Иркутске весной 1859 года, на которой Неклюдов был убит.

П е т р а ш е в с к и й, по словам одного из современников, «принял горячее участие в волнении, произведенном в городе этим событием, а равно и в похоронах убитого Неклюдова», за что попал в немилость к Муравьеву, покровительствовавшему Беклемишеву, и был выслан в Минусинск (затем в село Шушу) замещавшим Муравьева во время его отсутствия М. С. Корсаковым. В приложении к «Колоколу» — «Под суд!» (1859, № 2, 15 ноября) — была помещена корреспонденция из Иркутска, разоблачавшая Беклемишева, написанная известным либеральным деятелем Н. А. Белоголовым («Литературное наследство», т. 63, М. 1956, стр. 229).

Стр. 401. *...по способности своей скакать тысячи верст на курьерских...*— Как сообщает сестра Петрашевского А. В. Семевская, Петрашевский «часто называл М. С. Корсакова почтовой лошадью, так как он шестнадцать раз ездил курьером в Европу» (А. В. С е м е в с к а я, Заметка о М. В. Буташевиче-Петрашевском.— «Русская старина», 1901, № 2, стр. 494).

...капитан-лейтенант Сухомлин. С его парохода или фрегата бежал Бакунин.— М. Л. С у х о м л и н командовал клипером «Стрелок», следовавшим в июле 1861 года из Николаевска-на-Амуре в залив Де-Кастри. На этом клипере ехал М. А. Б а к у н и н, находившийся в ссылке и прибывший в Николаевск для сбора сведений о торговле края. С разрешения Сухомлина Бакунин пересел на купеческое судно и отплыл в Японию, откуда через Америку эмигрировал в Лондон (А. И. Г е р ц е н, Полн. собр. соч. и писем, т. XI, П. 1919, стр. 276—280).

Корсаков, получивший сильную головомойку...— По поводу разрешения М. С. Корсаковым Бакунину поездки на Амур Александр II на докладе шефа жандармов написал: «Оплошность со стороны генерал-майора Корсакова непростительная, и если побег Бакунина подтвердится, то он заслуживает строжайшего выговора»

(А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. XI, П. 1919, стр. 278—279).

Стр. 402. *...читанных мною в «Колоколе» официальных бумаг его...*— В «Колоколе» в 1861 году (лл. 92 и 93 от 15 февраля и 1 марта) были опубликованы прошение Петрашевского министру внутренних дел по поводу его незаконной высылки из Иркутска и другие, с этим связанные, документы.

...местные интересы <...> заслонили от него интересы более широкие и общие.— Михайлов имеет в виду реформистские настроения Петрашевского (как и Львова, о котором пишет дальше), питавшиеся условиями ссылки.

Стр. 403. *...Львов, в своих «Выдержках из воспоминаний ссыльнокаторжного»...*— Ф. Н. Львов отбывал двенадцатилетнюю каторгу в Восточной Сибири. Речь идет о его мемуарных очерках, напечатанных в «Современнике» (1861, № 9, 1862, №№ 1, 2).

...другой Львов, автор знаменитой комедии...— Н. М. Львов, автор комедии «Предубеждение, или Не место красит человека, человек — место» (1858).

...герой соллогубовского «Чиновника»...— Герой комедии В. А. Соллогуба «Чиновник» (1857) Надимов утверждает, что если честные и просвещенные люди пойдут на государственную службу, то можно будет искоренить злоупотребления, беззакония и взяточничество.

Стр. 404. *...как выразился Добролюбов: «Для блага родины страдать по пустякам».*— В стихотворении «Нет, мне не мил и он, наш север величавый...» (1861).

Стр. 405. *...я узнал о существовании секретного циркулярного предписания министра внутренних дел к губернаторам, от 2 декабря, не выдавать литератору Николаю Чернышевскому заграничный паспорт.*— Этот циркуляр Валуева датирован не 2 декабря, а 23 ноября 1861 года (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 199). Непосредственным поводом для этого решения Валуева послужило выступление Чернышевского на похоронах Добролюбова, в частности, его слова, что «гражданская скорбь» явилась причиной гибели Добролюбова.

Стр. 406. *«Блажен, кто верует, тепло ему на свете».*— Слова Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума» (действ. I, явл. 7).

Стр. 407. *...меня, наверно, причислили к первому разряду...*— Каторжные работы по уложению 1845 года подразделялись на три разряда: на рудниках (первый), в крепостях (второй) и на заводах (третий). В мотивировочной части приговора сената по делу Михайлова говорилось, что «по закону в подобных случаях виновные <...> приговариваются к лишению всех прав состояния и

к ссылке в каторжную работу или в рудниках на время от 12 до 15 лет». В окончательной же формулировке значилось: «Сослать в каторжную работу в рудники» (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 130, 131), то есть по первому, наиболее тяжкому разряду. В «Русском богатстве» это место «Записок» читалось иначе: «...меня неверно причислили к первому разряду...». Однако такое прочтение представляется сомнительным: вряд ли Михайлов даже в разговоре с глазу на глаз с Шелеховым, лицом официальным, да еще в должности военного губернатора, решился бы так явно оспаривать правильность приговора и справедливость «высочайшего повеления». Кроме того, Михайлов действительно не знал «хоть что-нибудь решительное» о своем местоназначении (см. стр. 348).

Стр. 411. *...да еще Дадешкальяна...*— Впоследствии Дадешкальян предупредил Михайлова и Шелгуновых о приезде на Казаковский прииск жандармского полковника Дувинга, посланного для ареста Шелгуновых (см. также стр. 124).

Стр. 413. *...к брату на промысел...*— то есть на Казаковский золотой промысел, где брат Михайлова Петр Ларионович, инженер-поручик Нерчинского горного округа, был в то время приставом, то есть фактическим управителем прииска.

...что я «хотел снять узду с женщин».— Имеются в виду статьи Михайлова о женском вопросе (см. о них стр. 9, 120—121, 240—241 тома I наст. изд. и прим. к ним).

Стр. 414. *Лафатеровские способности* — умение пользоваться физиогномикой — теорией, созданной швейцарским писателем И. Лафатером, согласно которой характер и душевную жизнь человека можно определить по чертам лица и строению черепа.

Стр. 420. *...созданного Муравьевым, казачества.*— Амурское казачье войско было образовано в 1858 году для защиты устья реки Амура от набегов кочевников.

...правдивые статьи Завалишина об Амуре...— напечатанные в 1858—1859 годах в «Морском сборнике» и других изданиях статьи, «раскрывшие закулисную сторону занятия Амура», как сообщает один из современников Завалишина (В. Арефьев, М. В. Буташевич-Петрашевский в Сибири.— «Русская старина», 1902, № 1).

Стр. 423. *На первой станции, Бянкине...*— Правильнее — Бянкинское, в семнадцати верстах восточнее Нерчинска.

Стр. 424. *...прямо к дому горного начальника...*— Нерчинским горным начальником был О. А. Дейхман, тепло принявший Михайлова и впоследствии смещенный за это со службы.

Стр. 425. *Я был при нем как «будущий».*— В подорожных свидетельствах едущим на почтовых лошадях оговаривалось право

взять с собой любого попутчика, который обозначался в них в качестве «будущего».

Стр. 426. *...прекрасную немецкую песню: «Wenn ich ein Vöglein wär»...* — Михайлов имеет в виду переведенное им стихотворение Гейне «Ich steh' auf des Berges Spitze...» («Я стою на вершине горы...») из «Книги песен», строку из которого он цитирует.

Стр. 427. *Не думаю, что мне было бы тяжелей...* — В тексте «Русского богатства» — «Не думаю», в тексте «Русской старины» — «Но думаю». Установить, что соответствует подлиннику, невозможно.

Когда же сменится она живою беседой? — Шелгуновы приехали на Казаковский прииск, очевидно, в первой половине августа 1862 года, так как в письме к Н. Серно-Соловьевичу из Иркутска 29 июля Шелгунов сообщал: «Через неделю или десять дней остановимся» (Мих. Лемке, Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПб. 1908, стр. 98).

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ПИСЬМА М. Л. МИХАЙЛОВА К ШЕЛГУНОВЫМ ИЗ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

(Стр. 431)

Письма написаны Михайловым в ноябре — декабре 1861 года во время заключения в Петропавловской крепости в связи с делом о написании и распространении воззвания «К молодому поколению» (см. в томе I наст. изд.). Письма передавались адресатам через плац-адъютанта крепости И. Ф. Пинкорнелли (см. о нем стр. 233 и 457 тома I наст. изд., стр. 328 наст. тома и прим. к ней).

Впервые письма были опубликованы П. В. Быковым (см. о нем стр. 571) в 1912 году, в № 9 журнала «Современник», под заглавием «Из переписки М. Л. Михайлова. (К материалам для его биографии.)». «Эта незначительная часть переписки,— писал там Быков,— уцелела благодаря лишь особенному стечению обстоятельств. Все письма относятся к 1861 году, но, к сожалению, ни месяцы, ни числа на них не обозначены» [1].

Пути, по которым письма Михайлова попали в руки Быкова, остаются невыясненными. Зная, однако, о дружеской близости Быкова к семье Шелгуновых (в восьмидесятых годах Быков и Шелгунов работали бок о бок в журнале «Дело», а в дальнейшем поддерживали добрые отношения), можно предположить, что Шелгунова разрешила Быкову скопировать некоторые из хранившихся у

[1] «Современник», 1912, № 9, стр. 203.

нее писем Михайлова. Судьба подлинников писем остается неизвестной. Неизвестна и судьба писем Шелгуновой к Михайлову.

Текст писем печатается по публикации Быкова в «Современнике», стр. 204—210.

Изучение текста писем позволяет установить даты их написания, в одних случаях — точные, в других — приблизительные. В связи с этим в настоящем издании письма Михайлова расположены в ином порядке, нежели это сделано в публикации Быкова.

Первым публикуется письмо от 8 ноября 1861 года, дата которого устанавливается по фразе: «Сегодня именинник милый Мишутка» (то есть сын Михайлова и Шелгуновой). По церковному календарю день Михаила-архангела приходится на 8 ноября.

Вторым публикуется письмо от 13 ноября. Дата его была установлена Быковым, очевидно, по фразе: «Завтра ровно два месяца, как меня вычеркнули из жизни». Известно, что Михайлов был арестован 14 сентября — следовательно, письмо написано 13 ноября.

Третьим публикуется письмо, датируемое серединой ноября. Время написания устанавливается фразой: «Не знаю, в каком смысле будет произнесено смягчение приговора. Это может изменить дело». Следовательно, Михайлов знал уже от кого-то о предварительном решении сената о сроке каторги (двенадцать лет). Но окончательный приговор был объявлен ему официально лишь 7 декабря. Кроме того, здесь подробнее говорится о составе издания переводов и подражаний Михайлова, лишь мимоходом упомянутого во втором письме.

Четвертым публикуется письмо, датируемое второй половиной ноября. Оно тесно связано с предыдущим — третьим, здесь уже детально излагается содержание всех разделов будущего издания переводов и подражаний Михайлова. Фраза: «...у меня сжимается сердце за бедного Добролюбова. Неужто его не спасут?» — свидетельствует, что либо письмо написано до 17 ноября, до дня смерти Добролюбова, либо несколькими днями позже, когда друзья еще не успели сообщить Михайлову о ней. Известно, что Шелгунов навестил смертельно больного Добролюбова за несколько дней до его смерти (см. стр. 200 тома I наст. изд.) и, несомненно, сообщил Михайлову о состоянии больного друга.

Пятым публикуется письмо (скорее даже записка), где Михайлов прощается с Шелгуновыми. Оно датируется приблизительно 7—14 декабря. Дата устанавливается фразой: «Память о каждом добром слове, о каждом искреннем привете будет греть и озарять мою темную и холодную каторжную нору». Следовательно, письмо написано после объявления приговора (то есть после 7 декабря), когда Михайлов узнал, что осужден на каторгу. Крайней датой

допустимо предположить 14 декабря — то есть тот день, когда утром над Михайловым был совершен обряд «гражданской казни», а вечером его отправили из Петропавловской крепости в Сибирь.

Быковым эти письма были опубликованы в следующем порядке: пятое, третье, четвертое, первое, второе.

Письма из Петропавловской крепости представляют собой существенное дополнение к «Запискам» Михайлова. В них запечатлены мысли, настроения и чувства, владевшие Михайловым в ожидании и после приговора сената, далекого и трудного пути на каторгу. Кроме того, третье и четвертое письма фактически содержат в себе литературное завещание Михайлова, в них указаны принципы отбора стихотворений и порядок их расположения в готовившемся его друзьями и выпущенном за границей еще при жизни поэта сборнике его стихотворений (см. постранич. прим.). Они учитываются и в советских изданиях поэтического наследия Михайлова.

Стр. 431. *...из стихов Шевченко: «Тяжко, важко!»* — Из стихотворения «К Основьяненке», переведенного Михайловым в 1860 году и впервые опубликованного в 1862 году («Стихотворения М. Л. Михайлова», Берлин).

...около меня, сидят под сводами сотни юношей... — студенты Петербургского университета, арестованные в связи с волнениями 26 сентября и 12 октября (см. подробнее на стр. 143—158 тома I наст. изд. и прим. к стр. 146 там же).

Выдаст тебя человек из желания спасти. — Намек на В. Костомарова. Михайлов еще не знал, что тот стал провокатором.

Стр. 432. *...отрадно слышать, что вы не покинете меня в ссылке...* — В марте 1862 года Шелгунова писала их общему приятелю М. В. Авдееву, что уверенность в том, «что и в каторге он <Михайлов> не будет один, не оставляла его никогда во все время пути» (ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 28 «А», л. 12—13).

Стр. 432—433. *...я не знал, что следует обратиться к Суворову. Он был у меня <...> завтра постараюсь написать, и о том же в сенате буду просить.* — О посещении Михайлова петербургским генерал-губернатором А. А. Суворовым см. в «Записках» (стр. 317 и прим. к ней). Позднее Михайлов послал Суворову письмо, содержавшее просьбу разрешить ему отправиться к месту ссылки в собственном экипаже, «который был бы куплен в Москве, и в своей одежде, хоть и с редкими остановками по ночам для отдыха». Он просил также разрешить ему свидание «с подполковником Шелгуновым и его супругой, у которых на квартире я жил. Если мне будет позволено пробыть здесь дня три-четыре после приговора, то я был

бы несказанно обязан за позволение видеться с некоторыми лицами». Это письмо сохранилось в черновике и не датировано («Литературное наследство», т. 25—26, М. 1936, стр. 590).

Стр. 433. *...сказал <...> что он удивляется, что я молчу.*— Об очной ставке с Костомаровым см. подробнее на стр. 294—296 и в прим. к стр. 294.

Прежняя квартира — камера в помещении III Отделения (см. главу «Записок» «В Тайной канцелярии»).

Жаль мне моих книг. <...> Бумаги-то нельзя хоть спасти? — Часть библиотеки Михайлова была пущена в лотерею в его пользу. Остальные книги отправлены к нему в Сибирь, а после его смерти увезены братом, П. Л. Михайловым (см. его письмо к Шелгуновой). О бумагах Михайлова, отобранных при аресте, нет никаких сведений.

«Белое покрывало» — этот перевод стихотворения австрийского поэта М. Гартмана был напечатан в «Современнике», 1859, № 3.

Стр. 434. *...записные книги, письма и проч., что у меня взяли при аресте...*— Судьба их неизвестна.

...известите <...> братьев и сестру.— О братьях М. Л. Михайлова — Петре, Павле и Николае, см. в прим. к стр. 461—462. О сестре конкретных сведений нет. В письме к М. В. Авдееву в марте 1862 года Шелгунова упоминала, что сообщила о судьбе Михайлова его сестре, но ответа не получила (ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1862 г., 230, ч. 28 «А», л. 6—7).

Статьи твои, Николай Васильевич, прочел и одобрил.— Михайлов, очевидно, прочел две статьи из цикла «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции» («Современник», 1861, № 9, 10). См. также стр. 9—10 тома I наст. изд.

...в последнем «Современнике» нет ничего Добролюбова.— То есть в октябрьском номере, вышедшем в свет 10 ноября. Последняя статья Добролюбова — «Забитые люди» (о Достоевском) — была напечатана в девятом номере «Современника» за 1861 год, вышедшем в свет 8 октября.

Стихи Некрасова «Холодно, странничек, холодно» — «Песня убогого странника» из поэмы «Коробейники» (1861).

«Ты не пой, соловей» — песня А. Г. Рубинштейна на слова А. В. Кольцова.

«Сладко пел душа-соловушко» — песня на слова А. Мерзлякова, музыка народная.

«Что затуманилась» — то есть «Песня разбойников» из поэмы А. Вельтмана «Муромские леса», музыка А. Е. Варламова.

Стр. 435. *Дарья Ад., Надежда Ивановна* — лица не установленные.

Относительно сочинений пусть напечатают стихотворения.— Указания относительно отбора сочинений, содержащиеся в данном письме, и план сборника, изложенный в письме от второй половины ноября, были впервые осуществлены друзьями М. Л. Михайлова при издании в 1862 году в Берлине книги «Стихотворения М. Л. Михайлова».

Я уже под арестом написал несколько стихотворений...— Известны следующие стихотворения, написанные Михайловым в Петропавловской крепости: «Смело, друзья! Не теряйте...», «Памяти Добролюбова», «Крепко, дружно вас в объятья...».

Стр. 436. *Гербель может отлично привести все в порядок.*— В 1866 году в Петербурге Н. В. Гербель предпринял попытку издать «Стихотворения М. Л. Михайлова» — сборник его переводов и подражаний, окончившуюся неудачей (см. прим. к стр. 456).

Перемена с Николаем Васильевичем — его решение оставить государственную службу и всецело отдаться литературной работе (см. стр. 9—10, 19—20 тома I наст. изд. и стр. 122 наст. тома).

Стр. 437. *Если будем вместе, то Шлоссера непременно следует взять...*— Об этом издании см. прим. к стр. 127. Михайлов перевел XV том; книга вышла уже после его смерти.

Неужто его не спасут? — См. вводную заметку к письмам.

Александр Александрович — А. А. Серно-Соловьевич.

II. «КОЛОКОЛ» О «ДЕЛЕ» М. Л. МИХАЙЛОВА

В «Колоколе» появились первые бесцензурные отклики на «дело» Михайлова. Имя Михайлова как первой жертвы царизма после крестьянской реформы не раз встречается в статьях Герцена этого времени. Кроме печатаемых материалов, на страницах «Колокола» появлялись сообщения о выходе книги стихотворений Михайлова, изданной в пользу автора в Берлине, была опубликована краткая некрологическая заметка о его смерти — «Убили», принадлежавшая перу Герцена, помещено обращение ко всем, кто был свидетелем последних лет жизни поэта, сообщить подробности о его пребывании в Кадае.

МИХАЙЛОВ И СТУДЕНТСКОЕ ДЕЛО

(Стр. 438)

Под этой рубрикой в Прибавлении к 119 и 120 листу «Колокола» от 15 января 1862 года были опубликованы стихи Огарева «Сон был нарушен...» («Михайлову»), стихотворение «Из стен

тюрьмы, из стен неволи...» («Узнику»), посланное заключенными в крепости студентами находившемуся там же поэту, и его «Крепко, дружно вас в объятья...» («Ответ» студентам), а также заметка «Годовщина четырнадцатого декабря в С.-Петербурге». Печатаются по тексту «Колокола».

Стихи Огарева написаны, как это видно из их содержания, после осуждения Михайлова на каторгу. Стихотворение «Узнику», принадлежащее перу студента Петербургского университета И. А. Рождественского[1], написано в конце ноября — начале декабря 1861 года, так же как и «Ответ» Михайлова. В середине декабря оба стихотворения уже распространялись в списках по Петербургу, о чем доносил агент III Отделения 17 декабря[2]. Должно быть, тогда же они были посланы и Герцену. Сохранилось несколько списков «Ответа» Михайлова, имеющих разночтения[3]. Заметка «Годовщина четырнадцатого декабря в С.-Петербурге», подписанная «И — р», то есть «Искандер» (Герцен), составлена, очевидно, на основании корреспонденции из Петербурга. Это был первый печатный отклик на дело Михайлова. В стихах и заметке звучит уверенность в близости революции, которая принесет освобождение и поэту-каторжанину.

Стр. 439. *...Недавно брошен свежий труп // Бойца, носившего тулуп.*— То есть казнен Антон Петров (см. прим. к стр. 170 тома I наст. изд.).

Стр. 442. *Годовщина четырнадцатого декабря* — тридцать шестая годовщина со дня восстания декабристов.

...велел выпустить из крепости невинно посаженного туда Огрыску? — И. П. Огрызко, редактор польской газеты «Slowo», был арестован 26 февраля 1859 года за опубликование письма участника польского восстания 1830—1831 годов И. Лелевеля и по резолюции Александра II заключен на один месяц в Петропавловскую крепость, но освобожден раньше — 13 марта (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. IX, Пг. 1919, стр. 545—550).

Сенатор Бутурлин <...> предлагал Михайлова повесить.— Возможно, такое мнение высказывалось Бутурлиным в частной беседе; в официальных источниках об этом предложении не упоминается.

---

[1] «Литературное наследство», т. 51—52, М. 1949, стр. 480.
[2] «Красный архив», 1926, т. 1(14), стр. 102.
[3] М. Л. Михайлов, Сочинения в трех томах, т. 1, Гослитиздат, М. 1958, стр. 547—548.

ОТВЕТЫ М. Л. МИХАЙЛОВА

(Стр. 442)

Впервые — в «Колоколе», л. 131, от 1 мая 1862 года, без подписи. Доказательство авторства Герцена см.: А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XVI, М. 1959, стр. 384 (см. также прим. к стр. 443 ниже). Печатается по тексту «Колокола».

Приводимые в статье со слов «сенатора» ответы Михайлова апокрифичны и расходятся с его показаниями в сенате, но интересны как отклики радикально настроенных кругов и, в частности, революционной эмиграции на безукоризненное поведение Михайлова во время процесса над ним.

Стр. 443. *...Виктор Панин, сидевший согнувшись в карете на пароходе.*— «В «Былом и думах» Герцен писал: «Один русский министр в 1850 году с своей семьей сидел на пароходе в карете, чтоб не быть в соприкосновении с пассажирами из обыкновенных смертных. Можете ли вы себе представить что-нибудь смешнее, как сидеть в отложенной карете... да еще на море, да еще имея двойной рост?» (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. X, М. 1956, стр. 21). Это место из «Былого и дум» подтверждает принадлежность Герцену «Ответов М. Л. Михайлова», как отмечено комментатором данной статьи в XVI томе сочинений А. И. Герцена.

Стр. 444. *Напрасно в «Своде законов» вы поместили слово «гражданин»...*— Герцен издевается над официальным толкованием этого слова в царской России. Слово «гражданин» в царском законодательстве означало особое городское привилегированное сословие, установленное грамотой Екатерины II в 1785 году,— «именитые граждане», затем преобразованное манифестом 10 апреля 1832 года в «почетное гражданство» и разбитое на две категории — личное и потомственное. Это последнее толкование и зафиксировано в «Своде законов Российской империи».

III. НА СМЕРТЬ М. Л. МИХАЙЛОВА

(Стр. 445)

Впервые — в 1865 году в Женеве, в виде брошюры. Печаталась в Вольной русской типографии. Объявление о выходе и продаже опубликовано в «Колоколе», л. 207, от 1 ноября 1865 года, что

позволяет датировать написание брошюры октябрем того же года. Перепечатана Е. Н. Кушевой в «Литературном наследстве», т. 25—26, М. 1936, стр. 596—601. Печатается по публикации «Литературного наследства».

Автограф брошюры не разыскан, автор ее неизвестен. Помета в конце: «Издано в пользу кассы взаимного вспомоществования русских эмигрантов», основанной 1 сентября 1865 года в кругу «молодой эмиграции», указывает на то, что из этого круга брошюра, очевидно, и вышла. Публикатор брошюры в «Литературном наследстве», Кушева, выразив справедливое сомнение относительно авторства А. Серно-Соловьевича (находившегося в то время в психиатрической больнице), высказала предположение о принадлежности брошюры перу Л. Мечникова, возглавлявшего в то время кассу. Однако документальные обоснования этого предположения пока отсутствуют. Отсутствуют такие обоснования и для другого предположения — о причастности к написанию брошюры Шелгуновой, хотя эта причастность представляется более чем вероятной: Шелгунова находилась в то время в Женеве, где содержала пансион для русских политических эмигрантов, и автору брошюры было вполне естественно обратиться к ней, чтобы узнать из «первоисточника» детали биографии Михайлова.

Женевская брошюра-некролог является единственным развернутым откликом на смерть поэта и содержит некоторые факты, неизвестные по другим источникам (см. постранич. прим.). Однако она имеет не только мемориальное значение, но и ясно выраженную революционную направленность. В ней совершенно отчетливо проводится мысль о невозможности решить «социальный вопрос» мирными средствами, о неизбежности и справедливости насильственной революции.

Стр. 445. *Своей отчизне угнетенной...*— из стихотворения М. Гартмана «Белое покрывало» в переводе Михайлова (см. прим. к стр. 433).

Михайлов родился <...> в Илецкой защите...— Он родился в Оренбурге; в Илецкую защиту семья Михайлова переехала в 1835 году.

Это Михайлов сказал в сенате при допросе.— В показании в III Отделении Михайлов писал: «Покойный отец мой происходил из крепостного состояния, и семейное предание глубоко запечатлело в моей памяти кровавые события, местом которых была его родина. По беспримерной несправедливости, село, где он родился,

было в начале нынешнего столетия подвержено всем ужасам военного усмирения. Рассказы о них пугали меня еще в детстве. Гроза прошла недаром и над моими родными. Дед мой был тоже жертвою несправедливости: он умер, не вынеся позора от назначенного ему незаслуженного телесного наказания. Такие воспоминания не истребляются из сердца» (Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 106—107).

Дед описан в «Семейной хронике» С. Т. Аксакова... — См. стр. 108—109 тома I наст. изд.

Одним из воспитателей <...> был сосланный поляк... — Имя этого воспитателя Михайлова неизвестно.

...«земля наша велика и обильна»... — слова, приписываемые русской летописью новгородцам, призывавшим варягов на Русь (Повесть временных лет, ч. I, М.—Л. 1950, стр. 18).

Стр. 446. *Образование свое он окончил в Петербургском университете...* — Поступив в университет вольнослушателем осенью 1846 года, Михайлов, однако, в феврале 1848 по «расстройству денежных дел» был вынужден уехать в Нижний Новгород и стал служить в тамошнем соляном правлении.

...некоторое время они даже жили вместе. — О дружеских отношениях Михайлова и Чернышевского в это время известно из писем Чернышевского к родным (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч. в пятнадцати томах, т. XIV, Гослитиздат, М. 1949, стр. 66—67, 83, 93, 97, 99, 109, 110 и др.). Однако, кроме данной брошюры, в других источниках нет указаний на факт их совместного проживания.

Чернышевский в университете был верующим до фанатизма <...> первый толчок на пути к развитию был дан ему Михайловым. — Других указаний относительно влияния Михайлова на формирование атеистических взглядов Чернышевского в литературе не имеется, хотя в дневниковых записях Чернышевского встречаются ссылки на Михайлова, как на авторитет в вопросах литературы, а в письмах к родным — отзывы о нем как о человеке большого развития (там же, т. I, Гослитиздат, М. 1939, стр. 70, 145, 363 и др.; т. XIV, стр. 83, 110 и др.).

Полемическое поприще — литературная критика и публицистика, которые в условиях царской России, и особенно в период николаевской реакции, служили главным средством пробуждения общественного мнения на борьбу с крепостничеством и самодержавием.

Когда наконец лед тронулся... — то есть когда после поражения России в Крымской войне и смерти Николая I в стране начался

общественный подъем (см. вступит. статью в томе I наст. изд. и главы IV, VII, VIII «Из прошлого и настоящего» Шелгунова там же).

Стр. 447. *...правительство <...> притягивает Михайлова к делу московских студентов и тайных типографий.*— См. прим. к стр. 264 и 284.

...Чернышевского <...> сослали на каторгу <...> после полнейшей невозможности юридически доказать голословно предполагаемую виновность...— Таково было общее, вполне справедливое мнение, господствовавшее не только в радикальных кругах (см.: А. В. Никитенко, Дневник, т. II, Гослитиздат, Л. 1955, стр. 441—442).

В. Костомаров <...> пока еще воздерживался от дальнейших показаний...— то есть от раскрытия авторства Чернышевского и Шелгунова в отношении прокламаций «Барским крестьянам...» и «Русским солдатам...»

Стр. 448. *Ему грозят гибелью любимой им женщины и ее ребенка...*— Михайлову говорили, что Шелгунова арестована (см. стр. 278 и прим. к ней).

Во время одной из очных ставок он объявил Михайлову, что если тот не сознается, то он намерен рассказать все.— Более точно этот эпизод изложен в «Записках» Михайлова (см. стр. 294—295 и прим. к стр. 294).

...найдено еще несколько прокламаций <...> Михайлов и эти <...> принял на себя. За это ему было прибавлено полгода каторги...— Ошибка. См. прим. к стр. 163 тома I наст. изд. и стр. 326 наст. тома.

...Юргенс замучен...— Деятель патриотического движения польской молодежи Э. Юргенс был в феврале 1863 года арестован и умер в том же году в варшавской цитадели.

...Траугут повешен...— Глава польского повстанческого Национального правительства Р. Траугот был 30 марта 1864 года схвачен и 26 июля казнен.

...Хмелинский расстрелян, и Сераковский повешен — оба смертельно раненные.— Начальник штаба одного из повстанческих корпусов З. Хмеленский был взят в плен и казнен в декабре 1863 года. О судьбе Сераковского см. стр. 192 тома I наст. изд. и прим. к ней.

Аргиропуло и Спасский замучены...— О деле П. Э. Аргиропуло см. в прим. к стр. 264. Он заболел воспалением мозга в полицейской больнице в Москве и умер 18 декабря 1862 года. Участник студенческих волнений в Петербурге (см. стр. 143—158 тома I наст. изд. и прим. к стр. 146 там же) Н. П. Спасский забо-

лел во время заключения в Петропавловской крепости тифом и умер 29 ноября 1861 года.

Студент Бекман <...> замучен в ссылке в Вятской губернии...— Умер от лихорадки в Самарской губернии, куда был выслан после ареста 1862 года за украинофильскую пропаганду.

...Яковлева на каторге постигла та же участь.— Участника студенческих волнений 1861 года в Петербурге А. А. Яковлева в 1862 году арестовали за распространение прокламаций и пропаганду среди солдат и приговорили к смертной казни, которую заменили каторгой, где он и умер в 1864 году от тифа.

Стр. 449. *А Чернышевский, умирающий на каторге...*— Находясь на каторге в Кадае (где умер Михайлов), Чернышевский заболел ревматизмом, сведения о чем дошли за границу.

Стр. 450. *«Чего мы хотим?»* — Фраза из прокламации «К молодому поколению» (см. в томе I наст. изд.).

Стр. 451—452. *...его перевели в Зерентуевский рудник...*— 18 октября 1862 года (ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 28 «А», л. 148).

Стр. 452. *Осужденных за нигилизм — обвиняли в поджогах, осужденного за делание фальшивых ассигнаций — в нигилизме.*— Поджоги — петербургские пожары 1862 года (см. стр. 188 тома I наст. изд. и прим. к ней). За выдачу фальшивых документов судился врач И. И. Ганценбах. Сообщение о публичном объявлении ему приговора было включено в общее извещение об объявлении приговоров Н. Серно-Соловьевичу и другим лицам, обвинявшимся в сношениях с «лондонскими пропагандистами» («Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции», 1865, № 116, 1 июля).

...Обручев, Заичневский, Баллод, Мартьянов <...> и сколько еще других сослано на каторгу? — О делах Обручева, Заичневского, Баллода см. прим. к стр. 291 и 264 наст. тома и к стр. 203 тома I наст. изд. П. А. Мартьянов, выкупившийся крепостной крестьянин, ставший купцом первой гильдии, в 1861 году приехал в Лондон, сблизился с Герценом и Огаревым и напечатал в «Колоколе» письмо Александру II с требованием созыва Земской думы (1862, л. 132, 8 мая), за что по возвращении в Россию был арестован и приговорен к пяти годам каторжных работ. В 1865 году умер в иркутской тюремной больнице.

...Михаэлис <...> попал в Тару.— См. стр. 155—158 тома I наст. изд.

Григорьев отправлен в Охотск...— Подпоручик Н. А. Григорьев был в 1862 году арестован за пропаганду среди солдат и приговорен к пожизненной ссылке в Сибирь, поселен в Забайкалье, а в 1863 году переведен в Амгинскую слободу (Якутия).

...Красовский пропал без вести... — Подполковник А. А. Красовский за распространение в 1862 году среди солдат воззвания с призывом не поднимать оружия против крестьян был приговорен к расстрелу, замененному потом двенадцатилетней каторгой, которую он отбывал в Александровском заводе вместе с Чернышевским. В 1868 году Красовскому удалось бежать с каторги, но в дороге он покончил самоубийством.

А Серно-Соловьевич, Освальд? — О деле Н. А. Серно-Соловьевича см. прим. к стр. 176 и 233 тома I наст. изд. Студент Н. Н. Освальд был за литографирование и распространение прокламации «Великорусс» приговорен в 1862 году к каторге, замененной ссылкою в Сибирь на поселение. Поселен в Красноярске, а с апреля 1865 года в Енисейской губернии.

А Шелгунов, сосланный в Тотьму... — См. об этом во вступит. статье в томе I наст. изд. (стр. 23) и стр. 162—178 наст. тома и прим. к ним.

А гарибальдиец Бейдеман... — См. о его деле стр. 99 тома I наст. изд. и прим. к ней.

IV. ПИСЬМО П. Л. МИХАЙЛОВА К Л. П. ШЕЛГУНОВОЙ О СМЕРТИ М. Л. МИХАЙЛОВА

(Стр. 453)

Письмо Петра Ларионовича Михайлова (1834 — ?), брата поэта, написано им, как видно из его даты, через полтора года после возвращения Шелгуновой из-за границы и, очевидно, в ответ на ее давнюю просьбу. Письмо П. Михайлова — единственное свидетельство очевидца о последних днях жизни поэта.

Петр Михайлов служил горным инженером на Казаковском промысле, в сорока верстах от Нерчинска, места каторги брата. С 1 января 1864 года П. Михайлов был назначен управляющим Казаковским промыслом. Однако 7 апреля того же года П. Михайлова сняли с должности и привлекли к суду за «послабления, оказанные им в содержании государственного преступника» М. Михайлова. Поэта перевели в Зерентуйский рудник, оттуда в Кадаинский, а брат его, после месячного заключения на гауптвахте, подлежал переводу в другой горный округ. Но, как видно из письма, в июле 1865 года П. Михайлов, несмотря на запрет администрации, приехал к больному брату в Кадаю и находился с ним до самой его смерти. Вскоре после этого Петр Ларионович подал в отставку, которую получил 14 января 1866 года. Все, что ему удалось спасти из литературного архива брата, он передал впоследствии Шелгуно-

вой. Благодаря этому после 1868 года смогли появиться в печати, под разными псевдонимами, многие стихи поэта, написанные им в Сибири, неоконченный роман «Вместе» и др.

В. В. Мияковский, опубликовавший письмо П. Л. Михайлова в № 9 «Голоса минувшего» за 1915 год, указывает, что оно «печатается с копии, сообщенной редакции Л. Ф. Пантелеевым»,— а «найдено в бумагах Николая Васильевича Шелгунова». Письмо могло попасть туда в 1885 году, когда Шелгунов готовил к печати свои воспоминания «Из прошлого и настоящего». 28 ноября он писал жене, что ему необходимы материалы и факты из жизни М. Михайлова, и просил, в частности, сообщить «историю (кратко) Петра Ларионыча <...> по поводу оставшихся рукописей» Михайлова (см. стр. 246). Людмила Петровна переслала Шелгунову письмо П. Михайлова. 19 декабря 1885 года он подтвердил получение этого письма (см. стр. 247). Оно так и осталось в бумагах Шелгунова.

Пантелеев, по его собственному признанию [1], получил в 1901 году от Михайловского копию текста «Отрывков из воспоминаний» (то есть «Первоначальных набросков») Шелгунова «об обстоятельствах, касающихся начала шестидесятых годов». В конце их была копия данного письма П. Михайлова. Это письмо переписано на той же бумаге и тем же почерком, что и отрывки [2]. Пантелеев передал, очевидно, полученные от Михайловского материалы редактору «Голоса минувшего» В. И. Семевскому, который предложил Мияковскому подготовить публикацию.

Местонахождение этой копии письма, как и автографа, в настоящее время неизвестно.

Печатается по публикации Мияковского в «Голосе минувшего», стр. 225—227.

Стр. 453. *Миша скончался 2 августа <...> от <...> болезни Брайта.*— Эта дата смерти не сходится с официальным уведомлением, полученным III Отделением, где говорится, что М. Л. Михайлов «умер 3-го числа сего августа» (А. И. Герцен, Собр. соч в тридцати томах, т. XVIII, М. 1959, стр. 663). В заметке «Убили» в «Колоколе» также указывается 3 августа («Колокол», 1865, л. 205, 1 октября). Однако сообщение П. Л. Михайлова, что поэт умер от Брайтовой болезни, очевидно, заслуживает доверия и

---

[1] «Былое», 1906, № 2, стр. 270.
[2] «Голос минувшего», 1918, № 4—6, стр. 55.

лишает достоверности утверждение Е. О. Дубровиной о самоубийстве М. Л. Михайлова (см. стр. 475). В упоминавшемся выше уведомлении в III Отделение указывается та же причина смерти поэта — «болезнь почек», то есть Брайтова болезнь.

...ссылка больших партий польских повстанцев... — После поражения польского восстания 1863 года в Сибирь было выслано около восемнадцати тысяч человек.

...вследствие отказа <...> коменданта Шипова... — В воспоминаниях И. Г. Жукова говорится о коменданте Шилове, бывшем директоре оренбургского Неплюевского военного училища, командированном из Петербурга в Нерчинск специально для наблюдения за политическими заключенными («Литературный Саратов», кн. 8, 1947, стр. 252).

Стр. 454. *...он объявил мне, что все принадлежит Мише.* — Сыну Л. П. Шелгуновой и М. Л. Михайлова, М. Н. Шелгунову.

Стр. 455. *...за стеной сидели близкие люди <...> не решавшиеся войти в комнату...* — политические ссыльные. Основываясь на воспоминаниях И. Г. Жукова, можно считать, что среди них мог быть и Чернышевский (см. там же).

Остальные подробности оставляю до следующего письма, при котором вы получите роман. — Это письмо не разыскано. Роман — «Вместе», который М. Михайлов начал в Тобольске (см. стр. 371) и закончил в Кадае, после отъезда Шелгуновых. Первые его четыре главы были опубликованы Шелгуновой в «Деле», 1870, № 1. О романе «Вместе» см. статью Г. Коган «Судьба «неоконченного» романа М. Л. Михайлова о «новых людях» («Вопросы литературы», 1962, № 1). Из приведенных в статье документов видно, что роман Михайловым был закончен, а из отзыва цензора даже известно содержание ненапечатанных глав (5—8). Однако дальнейшее печатание романа было запрещено цензурой в августе 1870 года, а корректура возвращена редактору журнала «Дело» Шульгину. Рукопись романа и корректура не разысканы.

...библиотека осталась при мне. — Судьба ее неизвестна.

Стр. 456. *...продажа Звонареву сочинений Павлом.* — Павел — один из братьев М. Михайлова (см. прим. к стр. 461—462). Еще в 1866 году друзья поэта попытались с помощью издателя Звонарева выпустить «Стихотворения М. Л. Михайлова» (см. прим. к стр. 436). Однако тираж, отпечатанный в количестве двух с половиной тысяч экземпляров, был, по распоряжению Главного управления по делам печати, уничтожен в октябре того же года. Петр Ларионович, очевидно, об этом не знал.

V. ИЗ ДНЕВНИКОВ И ВОСПОМИНАНИЙ ОБ М. Л. МИХАЙЛОВЕ И Л. П. ШЕЛГУНОВОЙ

Е. А. Штакеншнейдер

ИЗ «ДНЕВНИКА И ЗАПИСОК»

(Стр. 457)

Дочь придворного архитектора, в доме которого собиралась передовая петербургская интеллигенция — от крупных писателей, художников, артистов и до студентов,— Елена Андреевна Штакеншнейдер (1836—1897) имела богатую пищу для наблюдений, которые и запечатлевала в своих дневниковых записях. Михайлов и Шелгуновы были постоянными посетителями салона Штакеншнейдеров с конца 1855 года до весны 1858 года, когда между ними произошел конфликт на личной почве. Шелгуновы и Михайлов сразу обратили на себя внимание молодой девушки, зафиксировавшей в дневнике и свои первые, внешние впечатления, и размышления над внутренним миром новых знакомых. Дневниковые записи Штакеншнейдер о Шелгуновых и Михайлове интересны не столько освещением тех или иных фактов, сколько ее наблюдательными характеристиками и догадками о роли Шелгуновой в революционной деятельности Михайлова.

Печатаемые отрывки из «Дневника и записок» Штакеншнейдер впервые были опубликованы после ее смерти в журнале «Голос минувшего», первый отрывок — 1915, № 11, второй и третий — 1916, № 4. Затем перепечатывались в книге: Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки (1854—1886), «Academia», 1934. Печатается по тексту этого издания, стр. 110—112, 293—294, 343—345.

Стр. 458. *Иван Карлович* — один из братьев Гебгартов, близких друзей Штакеншнейдеров.

Они собирались толковать о Шахматном клубе, который и устроили...— См. прим. к стр. 264.

...подал ему пакет <...> *— прокламация!* — «К молодому поколению».

Стр. 459. *...общество литераторов написало адрес государю...*— Точнее — министру народного просвещения (см. прим. к стр. 161 тома I наст. изд.).

«Во глубине сибирских руд» — начальная строка стихотворения Пушкина «В Сибирь».

На письме было <...> мое имя... — Очевидно, Михайлов адресовал на имя Е. А. Штакеншнейдер письмо для кого-либо из близких. Это письмо не разыскано.

Стр. 460. *«Руку правую потешить»* — строка из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» Пушкина.

С. В. Максимов

ИЗ СТАТЬИ «ЗА А. Ф. ПИСЕМСКОГО»

(Стр. 461)

Сергей Васильевич Максимов (1831—1901) познакомился с Михайловым в середине пятидесятых годов. Студент петербургской Медико-хирургической академии, он в 1854 году опубликовал в «Библиотеке для чтения» ряд очерков и решил оставить медицину ради привлекавшей его этнографии и литературы. Михайлов, видя недюжинные способности своего молодого друга, поддержал его в этом решении. По рекомендации Михайлова и Ив. Панаева, его привлекли к участию в «литературной экспедиции», организованной морским министерством.

Максимов получил командировку к Белому морю. Результатом этой поездки был ряд очерков, составивших книгу «Год на севере» (СПб. 1859). На появление книги одобрительной рецензией откликнулся Шелгунов [1].

Статья Максимова «За А. Ф. Писемского» написана по частному поводу: автор стремился опровергнуть обвинения, выдвинутые в адрес Писемского А. Я. Панаевой, утверждавшей в своих «Воспоминаниях», что Писемский — участник «литературной экспедиции» — не выполнил якобы своих обязательств, не написал ни одной статьи. Вспоминая все обстоятельства экспедиции, Максимов мимоходом коснулся и своих встреч с Михайловым. В этом фрагменте содержится та достоверность и теплота, которые помогают очень живо представить чистый и благородный образ Михайлова.

Впервые статья была опубликована в газете «Новое время», 1889, № 4880, 29 сентября, и впоследствии не перепечатывалась. Настоящий отрывок печатается по этой газете.

Стр. 461. *Он целыми часами просиживал в Уральске у постели моего умиравшего отца...* — в 1856 году, находясь в Уральске как участник «литературной экспедиции».

---

[1] «Русское слово», 1860, № 2.

Статьи о «старых книгах» — «Старые книги. Путешествие по старой русской библиотеке» («Библиотека для чтения», 1854, №№ 2, 5, 9).

Стр. 461—462. *...он нес доброхотную обязанность воспитания <...> двух родных братьев...* — У М. Л. Михайлова было три брата, на попечении его находились младшие: Николай и Павел, рано осиротевшие (мать Михайловых умерла в 1841 году, отец — в 1845). Впоследствии (в 1862 году) Николай Ларионович служил чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Оренбургского края А. П. Безаке. О старшем — Петре Ларионовиче — см. в комментариях к его письму Шелгуновой.

П. В. Быков

ИЗ КНИГИ «СИЛУЭТЫ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО»

(Стр. 462)

Библиограф и критик Петр Васильевич Быков (1843—1930) — один из немногих современников Михайлова, изучавший творчество поэта и много сделавший для публикации его литературного наследия. Познакомившись с ним в начале шестидесятых годов, Быков после ареста и ссылки Михайлова начинает трудное дело составления полной библиографии его произведений.

В 1913—1914 годах Быкову удалось осуществить в издательстве А. Ф. Маркса выпуск четырехтомного собрания сочинений Михайлова. В нем была дана библиография, не потерявшая своего значения и в настоящее время, помещен критико-биографический очерк.

Мемуары «Силуэты далекого прошлого» были написаны Быковым в глубокой старости и вышли в свет в 1930 году. В них он посвятил Михайлову специальную главу, где нарисовал образ убежденного революционера, искреннего художника. Воспоминания Быкова раскрывают творческую лабораторию писателя, разносторонность и глубину его литературных интересов и, наконец, ту преданность революционному делу, которую Михайлов сохранил до конца жизни.

Впоследствии мемуары Быкова не переиздавались. Глава (XVIII) из них о Михайлове печатается по изданию: П. В. Быков, Силуэты далекого прошлого, ЗИФ, М.—Л. 1930, стр. 149—153.

Стр. 462. *...знаменитый переводчик «Песен» Гейне...* — В 1858 году вышли «Песни Гейне в переводе М. Л. Михайлова»

(СПб.), которые высоко оценил Добролюбов («Современник», 1858, № 5). Михайлов продолжал переводить Гейне и на каторге.

...после его приезда из-за границы.— См. вступит. статью в томе I наст. изд., стр. 9.

Стр. 463. *Он был едва ли не первым глашатаем женских прав.*— См. стр. 9 и 120—122 тома I наст. изд. и прим. к ним.

...должен был досиживать какой-то поляк-повстанец, и Михайлов из дружбы к нему остался в тюрьме.— Имя этого ссыльного не установлено.

Стр. 464. *Брось свои иносказанья...*— Перевод этой «Думы» Гейне цитируется Быковым по книге «Стихотворения М. Л. Михайлова», вышедшей в 1866 году (см. прим. к стр. 436 и 456). В автографе (хранится в Отделе рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина) девятая строка читается: «Кто виной? иль воле бога».

Стр. 465. *Во мне не дрогнет бровь...*— Неточная цитата из стихотворения И. И. Гольц-Миллера: «Дай руку мне, любовь моя...». У автора:

Что нам — что свет и зол и груб?
Во мне не дрогнет бровь —
За око — око, зуб за зуб,
И кровь воздать за кровь.

Впервые это стихотворение было напечатано в «Отечественных записках» в 1870 году (№ 3, стр. 228) за подписью «М». Быков счел его принадлежащим Михайлову и включил в собрание сочинений Михайлова, вышедшее под его редакцией в 1913/14 году. В 1930 году вышел сборник стихотворений Гольц-Миллера, составители которого Б. Козьмин и Г. Лелевич установили, что автором этого стихотворения является Гольц-Миллер. В 1936 году И. Ямпольский в своей публикации «Неизданные стихотворения И. И. Гольц-Миллера» («Литературное наследство», т. 25—26, М. 1936, стр. 448—450) привел дополнительные, не известные ранее документальные доказательства в пользу авторства Гольц-Миллера. С тех пор «Дай руку мне, любовь моя...» нигде не приписывалось Михайлову за исключением издания: «М. И. Михайлов. Стихотворения», т. I, Чкаловское обл. изд., 1951, в котором на стр. 172 напечатано это стихотворение. В примечании (на стр. 599) сказано: «Принадлежность данного стихотворения Михайлову устанавливается письмом автора к Я. П. Полонскому от 21 октября 1862 года». Однако указание на место хранения письма отсутствует.

«Перелетные птицы», «Адам Адамыч», «Он», «Нянюшка» — опубликованы соответственно в «Отечественных записках», 1854, №№ 9—12, и «Москвитянине», 1851, сентябрь, кн. 2; октябрь, кн. 1 и 2; 1852, март, кн. 2; 1851, июль, кн. 1.

Под влиянием своего родственника <...> Даля <...> Михайлов рано пристрастился к литературе... — Литературная деятельность Михайлова началась в 1845 году, еще до переезда в Нижний Новгород (в феврале 1848 года), где он встречался с В. И. Далем. Но последний, несомненно, оказал некоторое влияние на его дальнейшую судьбу. Именно Даль познакомил Михайлова с редактором «Москвитянина» М. П. Погодиным, напечатавшим на страницах своего журнала повесть Михайлова «Адам Адамыч», рассказ «Он. Дневник уездной барышни», сатирические сцены «Нянюшка».

...поступил в университет вольнослушателем, около 1845 года. — Это произошло годом позже. См. прим. к стр. 446.

Стр. 466. *Дед поэта был засечен <...> описывается в одном из его романов. Об этом рассказывает и Аксаков в своей «Хронике».* — Дед Михайлова был выведен поэтом в повести «Былое», напечатанной после смерти автора («Дело», 1868, № 7). О «Семейной хронике» Аксакова см. стр. 108—109 тома I наст. изд.

«Тетушка» — была напечатана в «Русском слове», 1860, № 1.

...не мог удержаться от слез, переживая судьбу одной моей героини в повести «Благодетели». — Пашеньки Шавровой, которую хотели насильно выдать замуж за нелюбимого.

...из Сибири <...> писал любимой женщине... — Эти письма не разысканы.

Стр. 467. *Кипит живительная кровь...* — неточная цитата из стихотворения Некрасова «Праздник жизни — молодости годы...» (1855). У Некрасова: «Но кипит в тебе живая кровь...»

...о последних минутах покойного... — см. письмо П. Л. Михайлова к Шелгуновой.

Е. О. Дубровина

ПАМЯТИ М. И. МИХАЙЛОВА

(Стр. 467)

Писательница Екатерина Оскаровна Дубровина (урожд. Дейхман; 1845—1913), по словам П. В. Быкова, «принадлежала к выдающимся русским женщинам, видела воочию шестидесятые годы и принимала участие в движении русского общества той памятной эпохи» [1].

---

[1] Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, Отдел рукописей, арх. Быковых, ф. 118, ед. хр. 28, л. 1.

Дочь начальника далекого Нерчинского горного округа О. А. Дейхмана, Дубровина, однако, с детства испытала на себе передовые влияния времени. Ее первыми учителями были ссыльные: декабрист И. И. Горбачевский и петрашевец Ф. Н. Львов. А в пятнадцать лет она познакомилась со своим новым учителем — каторжанином Михайловым и с Шелгуновыми.

Воспоминания Дубровиной — почти единственный мемуарный источник о жизни Михайлова и Шелгуновых в Нерчинске. Не все убедительно и достоверно в этом источнике. Так, например, совершенно неверные сведения сообщает Дубровина об обстоятельствах и причинах смерти Михайлова: он будто бы принял яд, узнав, что за послабление его участи пострадал ее отец. Но это противоречит фактам. Михайлов умер в ночь со второго на третье августа 1865 года, а Дейхман уволен от должности в сентябре — почти через два месяца после смерти поэта [1].

Впервые очерк Дубровиной был опубликован в журнале «Беседа», 1905, № 12, и больше не перепечатывался. Печатается в сокращении по этому журналу, стр. 13—25.

Стр. 470. *...письмо от генерал-губернатора Восточной Сибири, Михаила Семеновича Корсакова...* — Об этом см. в «Записках» Михайлова (стр. 416).

Стр. 471. *...мы получили следующее письмо.* — Автограф этого письма, как и цитируемого ниже письма жены О. А. Дейхмана к Шелгуновой, не разыскан.

Эта метода... — упрощенный метод обучения хоровому пению, созданный французским музыкальным педагогом Э. Шеве.

Стр. 473. *...отчеканивала Крамера...* — то есть этюды из его «Большой школы игры на фортепьяно».

Стр. 474. *...Шелгуновы приезжали в Восточную Сибирь с целью освободить Михайлова...* — См. об этом стр. 20—21 тома I наст. изд. и прим. к стр. 122 наст. тома.

Стр. 475. *...по доносу В. В. П — нова.* — Речь идет о Владимире Васильевиче Полтаранове, служащем управления Нерчинских горных заводов.

...отец почти десять лет считался разжалованным... — О. А. Дейхман был «исключен из службы» в сентябре 1865 года, а 5 мая 1866 года по «высочайшему повелению» объявлен «уволенным от

---

[1] Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., М.— Пг. 1923, стр. 149.

службы» («Голос минувшего», 1915, № 9, стр. 36). На службе он был восстановлен не через десять лет, а на следующий же год.

Н. В. Шелгунов был в это время выслан в Новгород...— См. стр. 232 и прим. к ней.

П. В. Засодимский

ИЗ КНИГИ «ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ»
Л. П. ШЕЛГУНОВА

(Стр. 476)

Книга писателя-народника Павла Владимировича Засодимского (1843—1912) «Из воспоминаний» повествует о встречах со многими видными писателями и публицистами второй половины прошлого столетия. Но Шелгуновым в этих воспоминаниях отведено особое место. Автор познакомился с ними в 1868 году, в один из приездов на родину, в Вологду. С тех пор и до самой смерти Шелгуновых Засодимский сохранял с ними дружеские отношения. Одну из первых своих повестей — «Темные силы» (1870) — автор посвятил Шелгунову. По словам Засодимского, замысел этой повести возник «под влиянием бесед с Шелгуновым» (Н. Якушин, По градам и весям, Сев.-зап. книжное изд., Вологда, 1965, стр. 55).

На похоронах Шелгунова Засодимский выступил с речью, глубоко взволновавшей всех присутствовавших, и поплатился за нее высылкой из Петербурга.

Со смертью Шелгунова общение Засодимского с его семьей не прервалось, он непосредственно наблюдал неутомимую литературную деятельность Шелгуновой. После смерти писательницы он выступил с воспоминаниями о ней, как о «человеке шестидесятых годов». В них, несомненно, выражено общее положительное отношение народнических кругов к ее общественной (а в шестидесятые годы — и революционной) деятельности и творчеству. Кроме воспоминаний Засодимского, в мемуарной литературе не сохранилось другой сколько-нибудь полной и достоверной характеристики Шелгуновой.

Книга Засодимского «Из воспоминаний» вышла в 1908 году в Москве и впоследствии не переиздавалась. Глава из нее о Шелгуновой печатается в сокращении по этому изданию, стр. 425—437.

Стр. 477. *...об «Отечественных записках», перешедших в то время к новой редакции с Некрасовым во главе...*— В декабре 1867 года Некрасов заключил с издателем А. А. Краевским договор, по

которому начиная с 1868 года журнал издавался Некрасовым при совместном редактировании с Салтыковым-Щедриным и Елисеевым («Литературное наследство», т. 53—54, М. 1949, стр. 329—356). См. также стр. 208 тома I наст. изд.

Шеллер — писатель А. К. Шеллер (Михайлов).

...Филиппов (автор известных юридических статей в «Современнике»)... — Имеются в виду статьи М. А. Филиппова «Взгляд на русское судоустройство и судопроизводство» («Современник», 1859, №№ 1, 3, 4, 7, 8), «Взгляд на русские гражданские законы» (там же, 1861, № 2 и 3; 1862, № 3 и 4).

Стр. 478. *Шелгунов, как известно, почти постоянно мыкался из города в город...* — Намек на неоднократные ссылки и высылки Шелгунова.

Стр. 479. *Дочь.* — См. прим. к стр. 226 и 25.

...один из ее сыновей привлекался к суду по обвинению в государственном преступлении. — Н. Н. Шелгунов. См. прим. к стр. 247.

...похоронила <...> старшего любимого сына. — Михаила, умершего в ноябре 1897 года (похоронен в Петербурге, на Волковом кладбище).

Стр. 479—480. *...печатались ее оригинальные рассказы,— один из них <...> «Зеленые глазки»...* — Этот рассказ принадлежит Михайлову, но опубликован был за подписью Шелгуновой («Дело», 1867, № 12), так как имя «государственного преступника» нельзя было упоминать в печати.

Стр. 480. *...младший сын, жил где-то на юге...* — О судьбе младшего сына, Николая Николаевича, см. в прим. к стр. 249 и 251.

Стр. 481. *У Людмилы Петровны был альбом...* — См. о нем также стр. 491.

Стр. 483. *Женщине-медику.* — См. его текст на стр. 496.

Стр. 484. *Стихотворение П. Лаврова не может быть сообщено здесь.* — Это стихотворение было посвящено Михайлову и вручено автором Шелгуновым перед их отъездом в Сибирь к поэту-каторжанину. Оно приводится во вступительной статье в томе I наст. изд., стр. 20—21.

Из стихотворения «Рыцарь на час». — Первые двенадцать строк этого отрывка не вошли в окончательный текст стихотворения, вероятно, потому, что «Некрасову была с самого начала ясна невозможность провести их через цензуру» (Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., т. II, М. 1948, стр. 653, комментарий К. И. Чуковского).

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

В указатель включены личные имена и названия периодической печати, прямо или косвенно упомянутые в воспоминаниях и справочном аппарате первого и второго томов настоящего издания, кроме упоминаемых лишь в библиографических отсылках. Названия произведений указываются под фамилией автора.

Аннотации даются применительно ко времени, охватываемому публикуемыми мемуарами. Имена общеизвестные, а также имена и названия, встречающиеся только в справочном аппарате издания, не аннотируются. (Страницы вступительной статьи и примечаний набраны курсивом).

Все не переведенные в тексте иноязычные имена и названия собраны отдельно в конце указателя, расположены в порядке латинского алфавита и все аннотируются.

Указатель составила Л. Ройтберг.

19*

СОДЕРЖАНИЕ

Н. В. Шелгунов
Л. П. Шелгунова
М. Л. Михайлов

ВОСПОМИНАНИЯ
ТОМ II

Редактор *В. Панов*
Художественный редактор *С. Данилов*
Технический редактор *Л. Заселяева*
Корректор *Т. Лукьянова*

Сдано в набор 15/VI 1966 г. Подписано в печать 12/X 1966 г. Бумага типографская №2, 84×108[1]/[32]. 19,87 печ. л. 33,39 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 35, 26+10 вкл.= =35,76 уч.-изд. л. Тираж 50000. Заказ № 570. Цена 1 р. 29 к.

Издательство
«Художественная литература».
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР.
Москва, Ж-54, Валовая, 28